

Анатолий **А**наниев

2

Анатолий Ананьев

Анатолий Ананьев

**СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ**



**МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1985**

P 2
A-64

Анатолий Ананьев

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ВТОРОЙ

Версты любви

Роман

Повести



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1985

P2
A64

Оформление художника

Г. ШИПОВА



10672 ч/з

А 4702010200-200 подписное
028(01)-85

© Состав. Оформление. Издательство «Художественная литература», 1985 г.

**Версты
ЛЮБВИ**

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Я не люблю приезжать в незнакомый город ночью, особенно когда льет дождь, автобусы уже не ходят, кроме, разумеется, дежурных, в которые обычно набивается много разного народу: запыляющего, угрюмого, неразговорчивого, неохотно отвечающего или вовсе ничего не отвечающего на вопросы, а тебе даже приблизительно неизвестно, где, на какой площади или улице расположена гостиница, да и номер в этой гостинице не заказан, а есть ли свободные или нет, никто сказать не может, но, кроме как в гостинице, ночевать негде, ни родных, ни близких, ни даже мало-мальски знакомых в городе нет, и ты смотришь на стекла автобуса, по которым стекают, поблескивая в свете уличных фонарей и витрин, дождевые капли, и нерадостные мысли о тяготах командировочной жизни, о частых поездках (есть же, однако, люди, которые завидуют этим поездкам!) проникают в сознание, и ты уже недоволен жизнью, собой, своей однажды выбранной профессией, всем на свете. А профессия — что же обижать ее? Можно было не отрываться от земли, как твои друзья, закончившие в свое время вместе с тобой сельскохозяйственный техникум, а затем институт, и как сам ты начинал когда-то, именно когда-то, лет, однако, девятнадцать — двадцать назад, когда были еще свежи следы недавней войны и деревенские ребяташки играли в «Сталинград» и «рейхстаг», а женщины, не веря похоронным, выходили на полустанки и станции встречать пассажирские поезда и воинские эшелоны; да, в памяти возникают именно те, первые после окончания техникума годы работы, когда ты вставал еще не по будильнику, как теперь, в уже привычной городской жизни, а поднимался с зарей, вместе со всем колхозным народом, как будто что-то подталкивало, будило, словно слышно было, как шевелилась, втягиваясь в ритм долго-

го трудового дня, деревня, и ты, еще не совсем проснувшийся, в сапогах и брюках, выбежав во двор, до пояса окатывался холодной колодезной водой. А за вербовыми плетнями, за огородами, что разделены неполотыми зелеными межами (эти огороды были, как мне казалось, остатками той, чересполосной России), виднелась по взгорьям черная пахотная земля; она словно проступала, прояснялась сквозь стекавший в низины белый, но уже редющий утренний туман, и, я думаю, есть что-то притягательное в этом виде черной земли, есть какое-то даже, пожалуй, необъяснимое или, вернее, не вполне объяснимое чувство огромной, неуываемой, не страшщейся никаких невзгод силы жизни. Поля становились зелеными, потом желтели, когда пшеница, налившись зерном, опускала долу колос и, взвихривая серую предосеннюю пыль, плыли по этим взгорьям комбайны, сновали машины, отвозившие в кузовах на ток зерно, и ветерок по утрам, теплый, сухой, хлебный, врываясь в подворье, обдувал, охлаждал, заветривал облитые водою лицо, шею, грудь, плечи, спину. Чувство это неповторимо. И странно: тогда, в те годы, когда все это происходило, не было такого ощущения полноты жизни, как теперь, или, точнее, как потом, когда только вспоминалось, что и как было. Но отчего человек так устроен, что нет, в сущности, для него осознанного счастья, а вечно он к чему-то стремится, что-то ищет, ждет, тогда как надо остановиться и жить! В каком смысле остановиться? Не вообще, не на достигнутом, как принято говорить у нас теперь, — не это я имею в виду; остановиться в том смысле, что не искать себе иного рая, а работать и украшать землю, на которой живешь, в себе чувствовать ее неуываемую силу и уметь радоваться траве, воде, ветру, солнцу. Те самые распаханые черные взгорья, что открывались взгляду со двора, я исходил вдоль и поперек за то недолгое время, пока работал в Долгушине, которое находилось километрах в пятнадцати от центральной усадьбы колхоза и в ста пятидесяти, это уже к слову, от ближайшей железнодорожной станции. Далековато? Да, и я так думал; только теперь вот, вспоминая, думаю иначе. В сапогах по стерне, по распаханному под зябь клевернику, по клиньям озимой, проверяя заделку семян, в дождь, ветер, когда все небо обложено низкими осенними тучами, и нет, кажется, и не будет просвета, и не будет конца этому окладному дождю, в зеленом брезентовом плаще с откинутым капюшоном (в таких рисуют

теперь лишь районщиков, посмеиваясь над ними и над неуклюжестью их одежды, а напрасно, потому что именно она, эта одежда, остается незаменимой и до сих пор на селе), — я часто снова вижу себя на Долгушинских взгорьях, и на душе становится тревожно, тоскливо. Как солдат, пришедший с войны, хранит свою выдавшуюся старую, потертую, иссеченную осколками шинель, так храню я тот зеленый брезентовый дождевик с капюшоном, и каждый раз, когда, перекладывая, беру его в руки, мне бывает приятно чувствовать его грубость и слышать его особенный жесткий шорох, он кажется мне промокшим, как и в оные времена, и крупные капли, дробясь, будто стекают с него на пол. «И этот дождь, что за окном автобуса, и тот, что хлестал на полях, и вообще... кому-то надо же работать в управлении!» — говорю я себе в такие минуты для утешения и оправдания. Но грустное настроение и воспоминания продолжают идти своим чередом, и все более жизнь кажется направленной не по тому руслу, по какому бы надо, а цель — неясной, скрытой, как та гостиница в дождевом мраке ночи, в которую везет тебя автобус и в которой еще неизвестно, есть ли свободный номер или нет его.

«Да скоро ли она, эта гостиница?»

«Смотря какая. У нас в городе две: «Заря» и «Колос».

«Мне все равно; которая ближе».

«Вам лучше в «Колос». Это два квартала, если вы сойдете на площади Партизан, а если немного раньше, на углу Пролетарского проспекта, возле универсама, то вам придется...»

Плываю богу, на сей раз повезло, сосед по сиденью оказывается отзывчивым, и я с благодарностью смотрю на него, слушаю, что он говорит; я все понимаю, как нужно идти, поворачивать налево, где направо, мимо какой-нибудь витрины, но это лишь кажется, что все понятно; как только ты вышел из автобуса и очутился на мокром асфальте, среди редких уже огней, среди темных, темных домов, мрачно возвышающихся над тем же ночным мрачным дождевым небом, все ориентиры вдруг как бы исчезают, и ты уже не видишь того здания, о котором говорили тебе, и витрина давно уже не горит, а за углом направо здание оказывается не таким, как оно было обрисовано, и ты идешь, захлестываемый дождем и ветром, несешь в руке свой надоевший и кажущийся тяжелым чемодан, произносишь про себя не раз говоренное и переговоренное: «Ну и выбрал же

ты себе жизнь!» — и уже мысли о доме, семье, о тепле и уюте, который ты вынужден был оставить ради этой, может быть даже незначительной, во всяком случае, конечно же, не срочной командировки, постепенно возникают и заслоняют собой все. Я знаю, есть любовь к земле, к родным местам, к Долгушинскому отделению, например, как у меня, где прошли самые счастливые, как я уже говорил, годы моей жизни, но есть еще любовь к жене, детям, и она так же сильна и так же порой необъяснима (говорят же: «Что он нашел в ней: и не броска, и не красива, и характером строга, а вот поди ж ты — нашел!»), как десятки других человеческих привычек и слабостей; она необъяснима и во мне, но она есть, и я рад, что она есть, и в трудные и одинокие, как теперь, минуты я вижу комнату, где лежит Наташа, вижу тусклый розовый ночничок, без которого ни она, ни дети, когда остаются одни, не могут спать, и весь уклад жизни, все, что повторялось изо дня в день, будничное и незаметное, открывается вдруг как бы новою, неведомою раньше стороною, становится ближе, дороже, роднее. И хотя гостиница уже найдена, и тебя определили, может быть не в лучший, но все же в довольно приличный номер, волнения кончились, и ты лежишь, укрывшись холодным казенным одеялом, но долго еще не можешь заснуть, потому что воспоминания так навязчивы и так приятны, что тебе не хочется ни выключать стоящую на тумбочке лампу, ни ворочаться, ни разглядывать обои в незнакомой комнате, а шум дождя за окном уже не вызывает тревоги, и весь ты как бы переходишь в иной и привычный тебе мир, каким жил только что, день назад, перед тем как ехать сюда, но с той лишь разницей, что все, что ты делал и о чем думал дома, ты повторяешь сейчас как бы на виду у себя, в воображении, и даешь всему другие, порой удивительные и неожиданные оценки. Я люблю эти минуты; они мне кажутся откровением перед самим собою, чего лишены мы в повседневной нашей жизни, вечно стремясь, спеша, суетясь и, в конце концов, не успевая, в сущности, сделать ничего значительного.

Я вижу свой дом в нешумном городском проезде, как будто, возвращаясь с работы, подхожу к нему со стороны сквера, и зеленые ветви лип, свисающие к земле, обтекают лицо, плечи, и кажется, что так и веет от них сыростью и свежестью леса, чем-то грибным, устоявшимся, знакомым еще с далеких детских лет, и усталость

дня словно снимается с плеч; особенно когда ручной косилкой, жужжалкой, как еще называют ее в народе, постригают травяные газоны, полянки, и тогда, как со скошенных лугов, тянет запахом подсыхающего сена, я останавливаюсь и с наслаждением вдыхаю этот редкий в условиях городской жизни и, надо добавить, дорогой, бесценный воздух. Я стою и смотрю на дом, машинально отыскивая взглядом балкон на шестом этаже и окно своей квартиры, и чувство удовлетворения, что живу именно здесь, в лучшем, по моему твердому убеждению, и самом зеленом квартале города, и что не просто живу, а достиг чего-то, заслужил, заработал, хотя бы квартиру в этом вот месте и этом будто плечом выдвинутом на улицу кирпичном доме. Но сейчас я лишь наблюдаю за собой — тем, стоящим в сквере, и наблюдать приятно, и приятно испытывать то знакомое чувство. Когда я выхожу с работы, всегда звоню жене: «Иду!» — и эта уже укоренившаяся привычка тоже представляется теперь особенной; там, со сквера, откуда я смотрю на дом, я вижу открытую форточку в кухонном окне и знаю, что Наташа в эту минуту собирает на стол. Накормить семью, накормить человека — это не просто. Чаше всего мы не задумываемся над этим, а садимся за стол, берем ложку или вилку и начинаем есть, улыбаясь и не замечая, как вкусно все это приготовлено, и, конечно же, не спрашивая, сколько потрачено на этот обед или ужин времени и усилий, сколько вложено выдумки, старания любви; нам важно, что все это есть на столе и что есть вечерняя газета, кресло, в котором можно, откинувшись и вытянув ноги, посидеть, получитая, полудремля, или поволноваться у телевизора, когда идет перекубкового матча, и все это не только не представляется предосудительным, но кажется, что ничего иного может быть, что в этом и заключается теплота семейной жизни. Я тоже по вечерам сижу в кресле рассматриваю газеты, и теперь, лежа в номере на готической койке, с удовольствием думаю, что у меня такая возможность; но вместе с тем именно здесь, вдали, вдали, жизнь как бы выходит из личных рамок, чувствуешь не только себя, вернее, не столько себя, как близких, родных тебе людей, и жизнь их становится тебе понятней, дороже и трогает душу. Десятки раз я открывал дверь Наташе, когда она по воскресным дням, возвращаясь из магазинов, входила в прихожую с переполненными и оттягивающими руки сумками, и откры-

ваю ей теперь, в воображении, но только теперь я вижу, как белы от напряжения ее пальцы, слышу вздох облегчения, когда она ставит на пол сумки, и вижу слегка бледноватое, усталое, но иногда счастливое (счастливое тем, что удалось достать что-то вкусное к обеду) лицо, и мне ясно, чем она живет, что думает, чувствует, и оттого, что ясно все, и еще более оттого, что я знаю, что делается это от любви ко мне, к семье, и делается с добрым чувством, я не просто удовлетворен, но испытываю то маленькое счастье, какого часто бывает достаточно человеку, чтобы быть довольным судьбой.

Наташа не работает в школе, и уже давно, с того года, когда у нас появился второй ребенок. Мы не спорили, увольняться ей или нет; перед нами не стоял вопрос, что лучше: воспитывать детей или иметь трудовой стаж, чтобы под старость получать пенсию; все произошло как-то само собой, просто и незаметно, как того требовали обстоятельства и домашние дела. Я и теперь никогда не думаю об этом. В каждой семье, очевидно, жизнь складывается по-своему, в зависимости от того, есть ли бабушки и дедушки, кто и, главное, *какие* они; мы же с первого дня жили отдельно, вдвоем, самостоятельно, и все приходилось делать самим, постигать премудрости семейной жизни, и это обычно тоже накладывает свой отпечаток на воспоминания. Я вижу своих девочек Валю и Ларочку в тот момент, когда они, одетые в чистенькие школьные формы, в коричневых платьицах и черных отутюженных фартучках, с желтыми портфелями в руках готовятся идти в школу, и Наташа еще хлопочет возле них, поправляя белые нейлоновые воротнички, красные галстуки и коричневые ленточки в косичках; я смотрю на них издали, находясь возле приоткрытой кухонной двери, одним ухом как бы прислушиваясь к тому, о чем вещает радио в последних известиях, а другим — о чем говорят Валя, Ларочка и Наташа, чему улыбаются, что забавляет и веселит их, и может быть, не столько тогда, в минуту, когда все происходило, как теперь, чувствую, как дорога и приятна мне эта будничная, самая обычная сценка семейной жизни, и что, не будь Вали, Ларочки, Наташи, жизнь оказалась бы неполной, движущейся не в том направлении, как это только что казалось мне, когда я думал и вспоминал о Долгушинском отделении и черных вспаханных Долгушинских взгорьях. Валя учится в пятом, Ларочка в четвертом; но дело в том, что и мы с Наташею учимся вместе с ними, как бы заново

проходим школьную программу. Прежде я не знал, что люди в большинстве своем дважды оканчивают десятилетку: один раз сами, второй раз вместе с детьми, а иногда и третий раз — уже с внуками; но теперь я глубоко убежден в этом и говорю себе: «Ну что же, коль так устроена жизнь, я принимаю ее и радуюсь ей». То Валя, то Ларочка после полудня, когда готовят уроки, часто звонят мне на работу.

«Папочка, не получается...»

«Что же у тебя не получается?»

«Задача».

«На движение?»

«Да».

«А ты двигайся, раз на движение, не сиди на месте».

«Ты шутишь, а мне не до шуток».

«Ну, раз не до шуток, то давай уж, читай условие, кто там у тебя или что движется от пункта А до пункта Б?»

Ничего не поделаешь, приходится записывать условие задачи и, отложив все, высчитывать, с какой скоростью движутся от А до Б велосипедисты, автомашины, пароходы, где, на каком километре и в каком часу могут они встретиться, отправившись одновременно или в разное время навстречу друг другу; или еще что-то в этом роде, часто настолько замысловатое и запутанное, что не так-то просто отыскать верный ход решения. Иногда приходит Петр Семенович из соседнего кабинета. Разумеется, приходит по служебным делам, но и у него есть в доме ученики, ему тоже случается решать задачи. «Ну-ка, я посмотрю, — говорит он, — может быть, точно такая же, какую вчера Виктору моему задавали». Бывает, что такая, а бывает, и нет, и мы уже вместе испещряем цифрами белые листы бумаги. «То ли еще будет, когда начнутся алгебра и логарифмы!» Да, пожалуй, то ли еще будет! Но я с улыбкой смотрю на это будущее; я мысленно говорю сейчас в трубку: «Валюша, Ларочка, берите тетрадки и карандаши» — и диктую решение. Я слышу их радостные голоса, вижу их лица и вижу склонившегося над столом Петра Семеновича, и все это вызывает во мне улыбку. А свет все еще горит в номере, ровные края металлического абажура, падая полукругом на стены, как бы делят комнату на две части по горизонтали, на два пласта, светлый и темный, и я лежу в нижнем, светлом, и думаю, что, может быть, оттого и светлы и приятны сейчас мои воспоминания.

В Калининвичи я приехал тоже поздно, хотя, правда, не было дождя, а стояла теплая и ясная летняя ночь, но зато не было и свободного одноместного номера в гостинице, и меня определили в двухместный, в котором, как пояснила администраторша, жил хороший, спокойный человек, и что с ним даже интересно будет познакомиться. «Какой уж интерес, — про себя говорил я, открывая дверь и осторожно входя в номер. — Лишь бы не храпел, и то ладно».

В номере было темно; только постояв немного и приглядевшись, я увидел свободную кровать и направился к ней. Раздеваясь и устанавливая чемодан, я старался делать все так, чтобы не шуметь, и, кажется, ни разу не задел ни за угол стола, ни за ножку стула, и мне было удивительно, когда спавший как будто человек (так мне показалось, потому что за все время, пока я ходил и раздевался, он ни разу не пошевелился) неожиданно громко и совсем не сонным голосом сказал, обращаясь ко мне:

— Зажгите свет, не стесняйтесь, я все равно не сплю.

— Ничего, уже не надо, спасибо, — ответил я, так как и в самом деле зажигать свет было уже ни к чему. — Бессонница? — спросил я затем, ложась и натягивая на плечи одеяло.

Говорить мне, откровенно, не хотелось, я произнес это так, к слову, лишь бы сказать что-то человеку, с которым придется теперь жить несколько дней вместе; так же, как и он первую свою фразу, я уже теперь, заранее, как бы спешил выказать расположение к нему, чтобы эта наша случайная совместная жизнь уже завтра с утра не оказалась ни мне, ни ему в тягость.

— Да, — сказал он.

— Давно страдаете?

— Нет. Иногда, временами.

— Ну, это еще не худший вариант. Хотите, я дам вам совет: ложка меда на стакан теплой воды, и до звонка будильника вас уже ничто не разбудит.

— Вы думаете?

— Уверен, — подтвердил я.

«Какие-нибудь неприятности, неудачная командировка, но что же тут переживать? Мало ли чего в жизни не бывает? Надо смотреть на все проще, философски», — уже про себя dokonчил я, поворачиваясь на бок и закрывая глаза, и вместе с тем как бы сразу отходя от этого реального мира, и не видя уже ни сумрачных стен, ни за-

крытых гардинами окон, и не думая о соседе, которого бог весть отчего мучает бессонница; на завтра мне самому предстояло много дел, в том числе и несколько довольно серьезных встреч с работниками исполкома и руководителями «Сельхозтехники», и я принялся размышлять, как лучше организовать день, к кому пойти прежде и к кому потом, чтобы за отведенные трое суток, которые должен буду прожить в Калининчиках, успеть сделать все дела. «Надо непременно успеть, — говорил я себе, — так как потом, в поездке по колхозам, уже невозможно будет натянуть день, но и не вернуться домой к сроку нельзя: у Ларочки день рождения, она будет ждать и все в доме будут ждать, ведь я обещал, и еще надо подумать о подарке. Но что купишь в Калининчиках? Да хоть что-нибудь, ведь это будет из другого города, а значит, и памятно. И Валюше что-то надо, как же», — продолжал я, как обычно, думая уже только о доме, вспоминая жену, дочерей. «Да, — уже почти сквозь сон мысленно проговорил я, — я не сказал соседу, что самое лучшее средство от бессонницы — это воспоминания. Завтра непременно надо будет сказать ему об этом».

Утром, когда я проснулся, соседа моего в номере уже не было. Он ушел, очевидно, по своим делам, и я вскоре тоже забыл о его существовании; но прежде я обратил внимание, что кровать его была заправлена аккуратно и что ни на стульях, ни на тумбочке не висели рубашки и не валялись галстуки, а все было прибрано, и даже вечерние газеты были сложены на столе ровной стопкой. «Это уже неплохо, — подумал я. — Аккуратность — черта хотя и не исключительная, но кое-что говорящая о характере человека». У нас почему-то принято считать, и чуть ли не с петровских времен, что аккуратность, пунктуальность, определенный и размеренный ритм жизни не имеют ничего общего с натурой русского человека, что все это наносное, привезенное из-за границы, немецкое, тогда как это чистейший вздор, выдумки людей, которым хочется скрыть свой иногда далеко не упорядоченный образ жизни, и они приписывают народу какую-то якобы исконную разгульную бесшабашность, а в сущности — небрежение к себе, к будущему; я должен сказать, что, по крайней мере, во всех тех людях, с кем сводила меня дорожная судьба, я всегда чувствовал (как, впрочем, всегда чувствовал и в самом себе) постоянное стремление к ровной, размеренной жизни, к аккуратности и красоте, и это представлялось мне естественным

так же, как земля, небо, деревья, дома — все то, что окружает нас и составляет основу нашего бытия. Нет, аккуратность — это не порок, и такие люди всегда производят на меня хорошее впечатление. Прежде всего они добры и чутки к ближним. Так подумал я и о своем соседе по номеру, которого по-настоящему и разглядеть-то не успел вчера среди ночи; когда же потом сблизился с ним, только сильнее укрепился в своем мнении. Мне показались отмеченными каким-то особенным вкусом (вкусом в подборе вещей) и лежавший на подставке чемодан с чехлом, и куртка с застежками-«молниями» на плечиках в шифоньере; по вещам обычно в какой-то мере можно определить возраст их владельца, и я подумал, глядя особенно на куртку, что сосед мой — человек еще довольно молодой, может быть, лет тридцати, не старше. Откровенно говоря, я больше люблю беседовать с молодыми людьми, потому что тут встречаешься как бы с новым для себя видением мира, и это новое видение даже будто чем-то обогащает тебя; мне приятно было сознавать, что я проведу вечер в обществе молодого человека. Но я ошибся, посчитав своего соседа молодым; вечером, когда вошел в номер, я увидел совершенно иного, чем представлял себе, человека, и прежде всего поразила меня густая шапка седых, почти белых волос.

— Добрый вечер, — сказал я, удивленно рассматривая его.

Я стоял в прихожей, в тени, снимал пиджак, и думаю, что он не заметил этого удивленного выражения на моем лице; он встал и, сделав несколько шагов навстречу, протянул худую белую и мягкую, какие бывают лишь у людей, не занимающихся физическим трудом, руку.

— Евгений Иванович Федосов, — представился он, четко, как старый военный, выговаривая каждое слово. — Вы ужинали? — сейчас же спросил он, как только я назвал себя.

— Нет еще.

— Может быть, составите компанию? Спустимся вниз, в ресторан, кухня здесь неплохая.

Ужинать мне еще не хотелось, я чувствовал себя усталым после какого-то особенно хлопотливого, как мне казалось, сегодняшнего дня и желал лишь одного: постоять под душем, переодеться и полежать, вытянув ноги и заложив руки за голову, поразмышлять, что удалось и чего еще не удалось сделать, но, как ни сильно

было во мне это желание, я все же не смог отказать Евгению Ивановичу, может быть, по тому, как он смотрел на меня, приглашая, может быть, по тону его голоса, как он произносил слова, может быть, еще по каким-нибудь иным признакам, не замеченным мною тогда, сразу, поняв искренность и доброту его намерения; я лишь попросил его дать мне возможность надеть светлую рубашку и галстук, и через несколько минут мы уже входили сквозь раскрытые стеклянные двери в небольшой, обставленный цветами вдоль окон зал ресторана. Народу было еще немного, было не накурено, не шумно, музыканты еще не играли, и охрипшая певица в платье до полу и с микрофоном в руке (ничего иного я никогда не видел в гостиничных ресторанах; очевидно, и здесь должно было происходить то же) еще не появлялась, и какая-то атмосфера чистоты, свежести и уюта царила в зале; официантки улыбались, начиная свой трудный вечерний бег, было приятно смотреть на их еще не помявшиеся фартучки, на белые салфетки, пирамидами уложенные на столиках, и предвкушение ужина уже само собою поднимало настроение. Евгений Иванович шагал впереди. Он знал здесь все и шел к своему излюбленному месту, а я смотрел на его как будто сухощавую, но широкую спину, на скрещенные позади белые на фоне темного пиджака руки и думал, что есть в этом человеке что-то противоречивое, что по сложению он должен бы заниматься физическим трудом, но он занимается, как видно, умственным и так же, наверное, как и я, как многие в наше время, тяготеет своею сидячею работой. «Вот уж где она, проблема века, — мысленно произносил я. — Мы сами лишаем себя движения, изобретаем машины, называем это прогрессом, и никто и ничто не сможет остановить этого прогресса. Человечество стремительно несется вперед, а человек испытывает неудобства. Странно и непостижимо. Однако кем он работает? Какие дела привели его в Калининичи?»

Как только мы сели за столик, я тут же спросил его об этом.

— Преподаю, — ответил он.

— Где?

— В техникуме.

— Что?

— Математику.

Он говорил как будто с неохотою, может быть, потому, что перелистывал меню; но мне молчание предста-

влялось неловким, и я снова, когда официантка приняла заказ и отошла, спросил:

— Вы были на войне?

— Да. Почему, собственно, вы задали этот вопрос?

— Смотрю на вашу раннюю седину.

— А-а...

— Мне кажется, с левой стороны у вас волосы темнее, меньше седины, а с правой — светлее. Такое бывает только после контузии.

— Не только. Но у меня — да, после контузии.

Сказав это, он опять замолчал; он и ел молча, когда подали заказанные бифштексы, и только время от времени каким-то долгим и внимательным взглядом смотрел в зал, на столики, будто искал или ждал кого-то; он щурился, и на бледном лице его, у глаз, собирались морщины. Я тоже несколько раз невольно оглянулся на зал, потому что любопытно было увидеть, кого искал взглядом этот седой человек, но, разумеется, я ничего не мог увидеть, кроме того, что зал все более наполнялся посетителями, а над столиками уже поднимались облачка табачного дыма, и я лишь яснее ощущал запах вина и жареного лука и отчетливее слышал сливавшийся в один сплошной рокот говор пришедших отужинать и поразвлекаться людей.

— Вы кого-нибудь ждете? — наконец не выдержав, спросил я.

— Нет.

— Вы по каким делам здесь в командировке?

— Я не по делам и не в командировке. Я отдыхаю здесь.

— Отдыхаете?!

— Вы удивлены? Впрочем, вы удивитесь еще больше, — так же неторопливо и все еще будто с неохотой продолжил он, — если я скажу вам, что вот уже пятнадцать с лишним лет, — он чуть подумал, как бы прикидывая, верна ли названная им цифра, — да, пятнадцать с лишним лет подряд я каждый год провожу свой отпуск в этом городе. Родных у меня здесь нет, отдохнуть, сами понимаете, негде, а вот приезжаю. Вы спросите почему? Что за причина? Причина есть, конечно, но что о ней говорить! Она личная и вряд ли кому-нибудь будет интересна.

— Отчего же, — возразил я. Я с удовольствием слушаю, тем более что-нибудь связанное с войной.

— И с войной, и после... да стоит ли? Я никогда и никому не рассказывал, но если у вас есть желание...

— Конечно, — подтвердил я.

— Только не здесь, не среди этого шума и чада. Вернемся в номер, и если у вас по-прежнему будет желание...

— Разумеется, — снова подтвердил я.

Я давно заметил, и заметил это прежде всего по себе, что чужая жизнь всегда интересна людям; я люблю слушать, особенно про войну. Чувства, которые пережили люди в те годы, наверное, неповторимы; но вместе с тем каждый раз, когда я слушаю рассказ старого военного, мне кажется, что я понимаю, что испытывал он в разные минуты боя, и именно это, что понимаю и как бы сопереживаю с ним, это всегда оставляет в душе приятный и неизгладимый след. «Ну что ж, будет неплохой вечер», — про себя говорю я, глядя на Евгения Ивановича и все более убеждаясь в том, что, должно быть, что-то интересное и чрезвычайное было в жизни этого человека. Но то, что услышал я, когда мы, придя в номер, устроились в креслах друг против друга у полуоткрытой балконной двери, превзошло все ожидания и предположения; мне и теперь кажется, что я не просто слушал и смотрел на Евгения Ивановича, но словно сам принимал участие в тех событиях, о которых рассказывал он. Мы сидели так, что я хорошо видел его лицо, которое сначала было освещено еще ярким предзакатным уличным светом, а потом, когда стемнело, — и люстрой, и зажженной за моею спиной на письменном столе голубою настольною лампой; я видел его глаза, руки, которые он большей частью держал на коленях, то сцепив пальцы, то просто положив ладонь на ладонь; в голосе его не было особенной взволнованности, он говорил ровно и даже как будто спокойно, но за каждым словом чувствовалась большая наболевшая правда. Он рассказывал все так, что ни о чем не нужно было дополнительно спрашивать, и за весь вечер я, кажется, не произнес ни одного звука, слушая Евгения Ивановича.

Час первый

— Прежде мне часто казалось, что жизнь человеческая состоит из цепи случайностей, — начал Евгений Иванович. — В детстве, например, я мечтал стать военным.

Дело доходило до смешного. Бывало так: идем куда-нибудь с матерью по городу, и не дай бог, если навстречу попадется колонна солдат. Стану будто вкопанный и смотрю, как идут бойцы, и тут уже никакая сила не сдвинет меня с места, пока колонна не скроется за углом. Мечтал, думал, фантазировал, знаете ли, в своем мальчишеском воображении, а в жизни все получилось иначе — не только до генерала, но и до капитана не дослужился, и не по своей, разумеется, вине. А вот еще, если хотите: в школе я больше всего любил географию и ботанику, а в педагогический институт поступил на факультет математики. Почему? Да потому что, когда был на подготовительном курсе, мне понравились уроки, которые давал математик Иван Иванович Ким. Кореец. Он так увлекательно и так виртуозно доказывал теоремы, что не только я, многие из нашего потока поступили тогда на математический. А если бы не было Кима, а был кто-то другой? Десятки раз можно сказать «если», но суть от этого вряд ли изменится. Когда я уходил на фронт, была у меня невеста, ну может быть, не совсем невеста, договоренности между нами не было, но я любил ее, и мне казалось, что я женюсь только на ней, Рае Скворцовой, и что никого на свете, кроме нее, мне не надо, я и прощался больше с ней, чем с матерью, и письмо первое с фронта написал ей, но ведь в жизни не получилось так, как было задумано, и опять, если хотите, виновата какая-то нелепая случайность. Вот здесь, в Калинковичах, во время войны я встретил другую девушку, Ксеню, и она сразу как бы перечеркнула все мои мечты и планы, но и с ней не свела меня судьба близко, и живу я сейчас ни женатый, ни холостой, а так, что-то между: вроде и дом есть, и женщина в доме, и в то же время такое ощущение, словно все вокруг тебя пусто, какая-то тяжесть, постоянная тревога на сердце; в таких случаях говорят — томится душа, и это, мне думается, очень точное выражение. Вроде и работа есть, специальность, и как будто люблю я свою работу — какой еще вы найдете на свете более удивительный и податливый материал, чем дети! — а удовлетворения и спокойствия нет. Когда в Чите — думаю о том, что здесь, в Калинковичах, тянет сюда (я же читинец, сибиряк); когда здесь — начинаю волноваться, что и как там, дома, и тянет туда. Так и мотаюсь, а почему? Что это, безволие? Эгоистическое желание чего-то такого, что выше обычных человеческих потребностей и чего, собственно, не может дать

жизнь? Или — от большого чувства? Но что такое большое чувство и зачем оно, если не приносит человеку удовлетворения и счастья? Не берусь, разумеется, утверждать, но полагаю, что еще более неисследованными, чем космос, являются человеческие чувства. Как они возникают, от чего зависит все, почему, к примеру, мне нравится синий цвет, а другому зеленый? Природа любви, долга, чести? Все написанное об этом (по крайней мере, из того, что я прочитал) можно сравнить лишь с понятием «степь широка». Да, степь широка, но не больше, да, у человека есть любовь, но что это за сила, как измерить, скажем, ее мускулы, величину, измерить, в сущности, душу, некий такой абстрактный, нематериальный, как принято считать, комочек человеческих переживаний, — тут уж мало сказать только, что «степь широка».

Я не психолог, а математик, и, может быть, многие суждения мои покажутся вам дилетантскими, но дело не в этом; скажите, вы смогли бы объяснить, почему — вы женаты? — почему, допустим, вы полюбили эту женщину, которая стала вашей женой, а не какую-нибудь другую, почему именно она представлялась вам, может быть, представляется и теперь самой лучшей, доброй, единственной и неповторимой, тогда как вокруг, стоит лишь оглянуться, живут десятки других красивых женщин и, очевидно, не менее добрых, но они не прельщают вас, вы равнодушно проходите мимо — почему? Можно пуститься сейчас в воспоминания и перечислить многие достоинства вашей супруги, которые, кстати, выявились уже потом, в совместной жизни, как, впрочем и некоторые неприятные черты (они есть у каждого человека!), но ведь в то время, когда вы впервые встретились с ней, вы же ничего этого не знали, ну в лучшем случае, что-то предполагали, а в общем-то, какая-то совершенно необъяснимая сила тянула вас к этой женщине. Что это за *необъяснимая* сила? Она же была в вас, вы носили ее? Она была и во мне, возникала и угасала, вы понимаете, во мне самом, не то что где-то в космосе, а я не знаю, что это такое, не могу постичь.

Конечно, проще всего сказать: такова природа человека, и это тоже будет объяснение. Но разве оно дает возможность мне управлять моими чувствами, приводить их в соответствие с разумом? Я понимаю, что, допустим, мне нельзя любить ее, нельзя, а я люблю; или, напротив, знаю, она хорошая и достойна большой люб-

ви, знаю, что ее надо любить, а не могу. Не могу! И это, знаете, страшно.

Вы не думайте, что я занимаюсь каким-то исследованием в этой области; я говорю вам сейчас об этом потому, что мне самому выпала на долю такая жизнь, эти волнения, и вот теперь, к сорока пяти годам, когда, видите, я уже весь седой и когда жизнь, в сущности, как говорят в таких случаях, уже сделана, — с какой-то опять-таки непонятной навязчивостью, как будто кто-то заставляет меня, я день за днем возвращаюсь к прожитым годам и стараюсь уяснить себе, почему именно моя жизнь сложилась так, а не иначе, где начало и где конец чувствам и переживаниям. Я никогда, разумеется, не напишу об этом книгу, но так уж, наверное, устроен человек, что вольно или невольно он не только старается обобщить накопленный опыт, но и передать этот свой опыт жизни другому. Может быть, потому и так подробно сейчас рассказываю вам о себе.

С чего все началось?

Жизнь, конечно же, не цепь случайностей; одно вытекает из другого, все связано, переплетено, обычно десятки обстоятельств, сотни подробностей определяют тот или иной, зачастую кажущийся нам неожиданным поступок. Надо же было, чтобы дивизия, в которой я служил, воевала в составе Первого Белорусского фронта и чтобы мы прорывали линию обороны именно здесь, под Калининскими, и наступали затем на Калинин (в сорок четвертом, в январе, если помните, мы хотели захлопнуть несколько немецких дивизий в очередной, Калининский котел), и, главное, надо же было, чтобы я командовал орудиями как раз в этой батарее, которую бросили на подмогу танкистам, и чтобы бой был именно таким, каким был, и я пережил тот страх, и то возбуждение и радость, те чувства, какие и теперь, когда вспоминаю, видите, морозом пробегают по мне.

Мы стояли справа от дороги, в лесу, приготовив орудия к бою; перед нами лежало болото, заросшее высоким кустарником, и сквозь этот кустарник, синий от игольчатого инея, ничего не было видно, что делалось впереди. Какая-то немецкая батарея издали и методически обстреливала лес. Снаряды рвались сверху, задевая за макушки деревьев, рвались с таким резким, как будто обрушивающимся грохотом, что даже привычных, казалось бы, уже ко всему солдат охватывало неприятное

и жуткое чувство. Я видел это по их лицам, по тому, как они жались к стенкам наскоро вырытых щелей; да и сам я тоже с чувством обреченности прислушивался к разрывам. Ни окоп, ни ровик, ни щель при таком обстреле не укрытие; осколки летят вниз, как град, под прямым углом, и треск по лесу — словно прокатывается над головой сильная низкая гроза. А мы не стреляем, цели не видно, комбат никакой команды не подает; но и стрелять-то, собственно, опасно — наша пехота уже просочилась сквозь кустарник и топь на противоположный берег и вела бой где-то то ли в деревне (деревня Гольцы), то ли еще у околицы, а танки, которые должны были поддерживать ее, стояли за лесом, за нами, и не двигались с места; по болоту они не могли пройти, а дорога и бревенчатый настил через болото насквозь простреливались двумя, как потом выяснилось, немецкими самоходками. Двумя «фердинандами». Перекрыли дорогу и держат. Уже одиннадцать, двенадцатый час, наступление захлебывается, пехоту нашу теснят, вот-вот сбросят в болото. На дороге горят два наших танка, танкисты один за одним выскакивают из люков, и это происходит буквально на наших глазах. Метрах в трехстах за танками, на обочине дороги чей-то расчет устанавливает восьмидесятипятимиллиметровую зенитную пушку. Через минуту-две начнется дуэль между зенитчиками и немецкими самоходками, я знаю это и неотрывно слежу за действиями зенитчиков. И бойцы мои смотрят. А по лесу все так же прокатывается треск разрывов, летят вниз срезанные ветви, осколки, и в этом раскатистом грохоте не слышно было, когда выстрелили зенитчики; только вдруг — синяя вспышка, мгновенная, как молния, и красная, стелющаяся над дорогой трасса бронебойного снаряда, метнувшаяся в кустарник, и сейчас же — раз! раз! раз! раз! — четыре такие же огненные трассы вынырнули из кустарника, и один за одним вспыхнули разрывы позади зенитчиков. Снова трасса в кустарник, и снова целая серия огненных пунктиров назад, к зенитчикам, и нам хорошо было видно, как немецкий снаряд угодил в орудие, разметав стоявших возле него бойцов. Черная воронка еще дымилась, а чуть выше нее зенитчики уже выкатывали второе орудие, и снова с минуты на минуту должна была начаться дуэль. Как раз в это время и вызвал меня к себе командир батареи капитан Филев. Василий Александрович Филев, я еще расскажу о нем, это был смелый на войне человек.

Есть у людей предчувствие, или, сказать точнее, предвидение; а в общем, тут и без предвидения было ясно, я знал, какое задание получу от комбата, и не без страха и содрогания оглядывался на все еще как будто дымившуюся черную воронку, где только что стояло орудие и откуда несли сейчас по лесу на плащ-палатках уже, наверное, мертвых солдат. Я знаю, что такое прямое попадание; под Веткой, на Соже, когда нашу батарею нащупала и накрыла немецкая артиллерия и снаряд угодил в четвертое орудие, все, кто находился возле него, были изрешечены осколками, одежда на них дотлевала, они лежали, как разбросанные головешки, и я до сих пор не могу без ужаса вспоминать эту картину. Да, так вот, уносили мертвых, и я смотрел на них, на воронку и на то новое орудие, которое зенитчики устанавливали позади воронки, и говорил себе: «Может быть, все еще кончится прежде, чем я дойду до комбата, может быть, они подобьют эти проклятые немецкие самоходки. Ну же, ну!» И действительно, все кончилось раньше, чем я успел дойти до комбата, только не для немецких самоходок, а для наших зенитчиков; так же как и первое, это орудие тоже едва успело сделать два или три выстрела, как огненные трассы, змеясь над дорогой, — раз! раз! раз! — накрыли зенитчиков. Теперь уже на обочине зияли две воронки. Я остановился и несколько мгновений стоял неподвижно, прислонившись к холодному шершавому стволу, и лицо мое было, наверное, таким же белым, как снег вокруг, как кора на березе, к которой я приложился щекой. Я не думаю, что струсил тогда: трусость в девятнадцать лет — явление вообще редкое; скорее всего вот сейчас я бы мог действительно струсить, потому что с годами человек все бережливее относится к себе; я не струсил, но, понимаете, страшно было подумать, что через несколько минут и ты со своим орудием будешь вот такой же мишенью, как только что были зенитчики, на обочине прибавится еще одна воронка, а тебя, окровавленного и изрешеченного, понесут, это в лучшем случае, в медсанбат; страшно было представить, что те самые бойцы, с которыми ты прошел в боях почти от Курска до этих белорусских болот, отцы семейств (многие, во всяком случае; во взводе управления был у нас даже один пятидесятилетний связист, так мы его чаще в ровике держали, у аппарата, не пускали на линию), с которыми не просто сблизился, подружился, но которые стали тебе родными, как свои, — страшно было представить их раз-

бросанными и дотлевающими возле изогнутых ору-
дйных станин. А что делать, какой выход? Танки стоят
за лесом, наступление захлебывается; пехотинцы, сбро-
шенные в болото, отстреливаются автоматными очередя-
ми, а немцы, словно почувствовав нашу нерешитель-
ность и заминку, усиливают навесной огонь по лесу.
Когда я, добравшись до наблюдательного пункта, прыг-
нул в траншею, из-за треска и грохота рвавшихся снаря-
дов я даже, кажется, в первую минуту ничего не слышал,
что говорили мне.

Рядом с капитаном Филевым на наблюдательном
пункте стоял командир полка подполковник Снежников.
Не знаю, заметили ли они мою взволнованность или
нет, только я хорошо помню, как подполковник Снеж-
ников, приблизившись ко мне, прямо и пристально загля-
нув в лицо, вдруг спросил:

«Коммунист?»

Вы видите, я сейчас улыбаюсь, потому что вопрос
этот звучит, как вы, наверное, уже заметили, как-то
слишком традиционно, я бы сказал, литературно (я
и сам не в одной книге читал про это), но, поверьте,
я ничего не выдумываю, да и какой смысл мне олитера-
туривать то, что действительно происходило со мной?
Вот так прямо и спросил меня подполковник, и я отве-
тил ему:

«Да».

Но коммунистом в полном смысле этого слова я тог-
да еще не был, а был всего лишь кандидатом с двухме-
сячным стажем; кандидатская карточка лежала у меня
в боковом кармане гимнастерки, под полушубком; вру-
чили мне ее в декабре сорок третьего в освобожденном
нами Новозыбкове.

«Вы понимаете, что происходит здесь?» — снова спро-
сил подполковник.

«Да».

«Сможете подавить?»

«Попробую, товарищ подполковник», — ответил я.

«Ну что ж, лейтенант, тогда — с богом!»

Я откозырнул как положено и кинулся было теперь
уже бегом на батарею выполнять приказание, но на вы-
ходе из траншеи догнал меня капитан Филев.

«Ни в коем случае не оттягивай орудие к зенитчи-
кам, — сказал он, — а ставь ближе к кустарнику, прямо за
горящими танками».

«Но в танках начнут рваться снаряды», — возразил я.

«Пусть рвутся, это не прямое попадание».

«Но!..»

«Никаких «но», я приказываю!»

«Ясно, товарищ капитан!»

Но ясно мне стало потом, после боя, когда мы вместе с комбатом и солдатами перебирали все мельчайшие подробности, вспоминали, кто что и как делал и вел себя, а в ту минуту я совершенно не представлял, для чего нужно было ставить орудие непременно за горевшими танками и подвергать бойцов, в сущности, еще одной, дополнительной опасности. Однако нарушить приказ я, разумеется, не мог: и потому, что это было бы прежде всего нарушением воинского устава, но, главное, потому, что и я, и все мы на батарее любили и доверяли своему командиру; я-то начал войну в сорок третьем, летом, под Курском, а он тянул ее с самого начала, с сорок первого, и повидал, конечно, многое, побывал в разных переплетах, и отступал, и наступал, и еще в финской участвовал, штурмовал линию Маннергейма. Он уловил, я говорю сейчас не военным языком, самую суть момента, точно определил, что происходит на поле боя, и я считаю, да и тогда считал, что он спас мне и бойцам моего взвода жизнь. Поставь мы орудие выше, расстреляли бы нас немцы, как только что расстреляли зенитчиков. А дело-то было простое, нехитрое: любое орудие при выстреле дает вспышку, и немцы, хотя зимой мы красили наши пушки в белый цвет и на снегу не так-то легко было заметить их, засекали вспышку и поражали цель; за горевшими танками же, за языками пламени не было видно вспышки.

Но, может быть, я зря забегаю вперед.

Я собрал солдат своего взвода и сказал им о поставленной перед нами задаче. Все слушали молча, никто и потом не проронил ни слова, и в этой тишине, казалось, с каким-то особенным, придавливающим треском прокатывались тяжелые разрывы по лесу. Я не стал вызывать охотников. «Пойдет первое орудие, — сказал я. — Сержант Приходько, за мной». И через несколько минут мы были уже на обочине и выбирали огневую позицию.

«Видите?» — спросил Приходько, когда мы выползли на заснеженную дорогу.

«Еще бы, — ответил я. — Как открыто стоят!»

«Обнагтели! Ну ничего, мы их сейчас потревожим».

«Или они нас, — подумал я, но сержанту сказал совер-

шенно другое: — Вот здесь и поставим! Давай за людьми, катите орудие. Развернем его на дороге, а у обочины надо соорудить щель. Да не поперек ройте, а повдоль, понял?»

Пока подкатывали орудие и рыли щель, я лежал на дороге и то в бинокль, то простым глазом наблюдал за неподвижно стоящими за бревенчатым настилом немецкими самоходками. Жерла их пушек, казалось, были направлены на меня, на весь наш расчет и на орудие, которое уже подталкивали к обочине, а впечатление, когда, знаете ли, целятся в тебя, не очень приятное. Я боялся пошевелиться и то и дело посматривал, скоро ли будет вырыта щель, чтобы спрыгнуть в нее, хоть не на виду будешь, а в укрытии, но в то же время я знал, что не только за моими действиями, но за всем тем, что происходит здесь, следят с наблюдательного пункта капитан Филев и подполковник Снежников, и оттого где-то, может быть подсознательно, — мне не хотелось показаться в их глазах трусом, и даже когда была отрыта щель, я еще продолжал лежать на снегу, понимая, однако, бессмысленность того, что делаю. Мне до сих пор кажется, что все, что я делал тогда, какие отдавал распоряжения, а главное, почему принялся стрелять сам и отстранил наводчика Мальцева, у которого, я видел, были белые, как будто закоченевшие руки, — все делал только из того чувства, как могут подумать обо мне. «Убьют, — думал я, — но убьют на виду, на людях, а это уже не так страшно». Но ведь душу не раскроешь и не посмотришь, что в ней. Я наводил орудие, нащупывая перекрестием панорамы серый лоб немецкой самоходки, а солдатам приказал укрыться в щель; план был такой: я цельюсь, нажимаю на гашетку и тут же, вроде как кошка, прыгаю на обочину, к своим, и пусть тогда немец бьет по орудию, если, конечно, засечет его, — возле орудия никого не будет; если и подобьет, выкатим другое. Я цельюсь, секунда — и красная трасса, змеясь, понеслась над бревенчатым настилом, и я как будто замер, следя за ее полетом; как ни рассчитывал, видите, а все-таки не отпрыгнул сразу в щель. Вы, наверное, испытывали: бывает, держишь в руке прутик, водишь им и вдруг ощущаешь легкий толчок в руке, когда кончик прутика упрется в землю; мне кажется, я почувствовал такой легкий толчок, отдачу, когда трасса, искрясь, ткнулась в броню самоходки; на самом деле такое, конечно, исключено, но я точно помню, было у меня это ощущение, будто я держал в ру-

ках, как прутик, конец огненной трассы. Я понял, что попал в самоходку, и мгновенная радость охватила меня; но вместе с тем во мне же, как чувство самосохранения, рядом с этой мгновенной радостью жила иная, предупреждающая мысль: «Но самоходки две, прыгай, прыгай!» — и я метнулся через станину на обочину, в щель. «Ложись!» — крикнул я, падая, хотя на самом деле, как потом говорил Приходько, я вовсе не крикнул, а прошептал, и команду эту слышал только он один, а все лишь по инстинкту пригнулись, зная, как страшны осколки, когда в трех метрах от тебя рвется фугасный снаряд. Кажется, еще в тот момент, когда я скатывался к щели, две огненные черты, разрывая морозный воздух, пронеслись над орудием, и было слышно, как они — шлеп! шлеп! — ткнулись где-то далеко позади нас, в том районе, где стояли подбитые зенитки. Через минуту снова «шлеп! шлеп!» — опять позади нас; и еще трижды сдвоенные разрывы взвихривали снег, укладывая рядом с уже черневшими воронками новые, и я с радостью говорил себе: «Там ищут, а мы здесь!» В горячке боя, когда сознание не опережает, а следует за действиями, которые ты совершаешь, ни я, ни Приходько не заметили, что стреляла-то одна немецкая самоходка, а от второй уже начинал расплзаться и стелиться над снегом черный такой, специфический, когда горит железо, дымок. Мы выждали, пока выстрелы смолкли, потом сначала заряжающий перезарядил орудие, а следом за ним поднялся на огневую я и припал к панораме прицела; я наводил с той же тщательностью, подтягивая перекрестие панорамы к серой броне самоходки, и то же чувство страха — «Надо первым! Надо успеть прежде, чем выстрелит он!» — как ледяной ветерок, пробежало по телу. Секунда, выстрел, уткнувшаяся в броню трасса, и — я опять уже лежу в щели рядом с Приходько и вслушиваюсь, как шлепаются далеко позади нас снаряды, которые посылает немецкая самоходка. На этот раз она стреляла дольше, и в стрельбе ее была заметна растерянность и нервозность. А мы, выждав, опять поднялись к орудию, и все повторилось сначала; потом еще и еще, и я вдруг заметил, что уже не спрыгиваю в щель и что не только я, но и весь расчет находится возле орудия, как будто мы стреляем с закрытой позиции и ничто не угрожало и не угрожает нам. Но немцы и в самом деле уже не отвечали; и в перекрестие панорамы, и потом, когда, поднявшись над щитом, я смотрел в сторону чадивших самохо-

док, было хорошо видно, как фрицы, выскакивая из люков, стремились укрыться за обочиной дороги. «Фугасным! — закричал я. — Да колпачки отверните, колпачки!» И мы еще сделали несколько выстрелов уже, в сущности, по разбегавшейся пехоте.

Метрах в пятидесяти перед нашим орудием все еще горели два наших танка; они спасли нас, но они были для нас и угрозой, а мы, увлекшись поединком, совсем забыли про них. И странное дело — я ведь смотрел на них, вот так, как сейчас вижу вас, видел их черные, закопченные бока; и Приходько видел, и, наверное, весь расчет; иногда ветерок относил дым и гарь на нас, и лица наши были, как у кочегаров, в размазанной копоти. Да, я смотрел и с каким-то чрезвычайным трудом думал, что еще что-то надо сделать, но что? И в это время в дальнем от нас танке грохнул взрыв, плеснув на нас волну теплого воздуха, снега, земли и осколков. Мы снова кинулись в щель, и, к нашему счастью, никто не был ранен, лишь у Приходько оказалась продырявленной отвернувшаяся пола шинели. Потом грохнул взрыв и во втором танке, и все стихло; развороченная башня, как сбитая с головы шапка, лежала рядом с танком.

«Ну вот и все», — сказал я, когда мы поднялись к орудию.

Приходько, достав кисет, закурил, и кисет его тут же пошел по рукам.

У меня от той минуты осталось лишь ощущение, как я сидел на холодной станине и держался за нее рукой; я часто и теперь ощущаю под ладонью тот металлический холод, особенно по ночам, когда вспоминаю, — протянешь, случится, руку назад, возьмешься за железную спинку кровати, вот за такую, как здесь, в нашем номере, видите, а она холодна, и сейчас же все встает перед глазами, и уже не до сна.

Мы сидели, курили, разговаривали, как лесорубы после двух-трех десятков поваленных сосен, отдыхая и оглядывая свою работу, а мимо нас, огибая все еще стоявшее с развернутыми станинами орудие, уже двинулись из-за леса танки к бревенчатому настилу; они шли на скорости, выбрасывая и выжимая из-под гусениц сдавленный снег, обдавая нас черным утарным выхлопным газом и оглушая грохотом и лязгом, и на них было приятно смотреть, приятно слышать этот оглушающий грохот, потому что то, что творилось в душе, — сознание

одержанной победы и сознание того, что ты жив, незредим и что наступление продолжается, сознание не столько своей, как общей, народной силищи, которая взяла верх, давит, прет и которую словно уже никто и ничто не сможет остановить, — чувства эти как бы сливались с движением и грохотом танков. А со стороны леса к нам подходили командир батареи и командир полка. Первым их заметил сержант Приходько. Он встал, и следом за ним вскочил со станины и я; мне кажется, что я проделал все так, как положено по уставу (как бывало на смотре в военном училище): и подал команду «встать» и «смирно», и доложил, что задание выполнено, самоходки подбиты, но я хорошо помню, что сам я не слышал своего голоса; не слышал и того, что ответил подполковник Снежников; заглушал ли все грохот проходивших танков, или во мне самом еще звенели отзвуки выстрелов, — лишь после того, как подполковник, обняв и поцеловав, выпустил меня из своих сильных рук, я начал понимать, что происходило на огневой.

Снежников обошел бойцов, каждого обнял и каждому пожал руку.

«Всех к награде, — затем ясно и громко сказал он, повернувшись к командиру батареи, и тут же, не задумываясь, добавил: — Сержанта к боевому Знамени, лейтенанта к Герою!»

Вы понимаете, что значило для меня тогда, в девятнадцать лет, услышать о себе такое; слова подполковника, пожалуй, взволновали меня сильнее, чем только что окончившийся поединок; во всяком случае, сам себе я казался самым счастливым на земле человеком.

Час второй

— Героя, конечно, я не получил, — продолжал Евгений Иванович, — это, думаю, вполне справедливо. Да и не в награде, собственно, дело, а в том состоянии, в каком находился я, когда мы на другой день остановились в нами же освобожденных Калинковичах на отдых. Тогда никто на батарее еще не знал, что не утвердят мне Героя, а напротив, все были уверены в этом и относились, как мне кажется, или, по крайней мере, казалось тогда, с подчеркнутым уважением и вниманием. Старшина достал где-то комплект нового офицерского зимнего обмундирования — синие суконные галифе с красным, как

принято у нас, артиллеристов, кантом и защитного цвета диагональную гимнастерку, — принес новые валенки и новую шапку с мягким сизоватым пушистым мехом и положил все это в избе на стул, перед моей кроватью; комбат называл меня уже не иначе, как Героем, да и хозяйка дома, в котором я ночевал, смотрела на меня не так, как на всех, а было что-то особенное, матерински заботливое и нежное в ее взгляде.

Калинковичи запомнились мне тогда низким деревянным городком с избами, широко, как в деревне, расставленными друг от друга, с огородами, плетнями, калитками и палисадниками у окон; многие крыши, особенно на окраине, где мы остановились, были соломенными. Занесенные снегом избы казались маленькими и чернели издали, как чернели вокруг них и на дороге воронки и наскоро вырытые и брошенные уже солдатами окопы. Через огороды тянулись глубоко врезанные в снег следы гусениц, и были видны подмятые танками ограды, разрушенные бревенчатые амбары и сараи. Город только-только остывал от боя, на вокзале еще доглевали склады, догорали цистерны с горючим, пахло гарью, жженым толком, но уже и тянуло жилым дымком от разожженных походных кухонь. Орудия и машины мы подогнали к избам, как это и положено для маскировки, старшина отыскал на задах баньку, и через какие-то пару часов вместе с первой партией бойцов капитан Филев, я и еще командир второго взвода младший лейтенант Антоненко, забравшись на полок, с наслаждением обхлестывались березовыми вениками. Раскаленные камни шипели, когда на них плескали воду, и сухой чистый пар обжигал лицо, руки, спину. Мы были красные, разморенные и довольные, когда вышли из бани. До ужина было еще далеко, и я отправился в свою избу, намереваясь полежать и отдохнуть, но как только прилег на кровать, незаметно для самого себя заснул.

Разбудил меня ординарец комбата.

«Зовут», — сказал он.

«Что случилось, не знаешь?» — спросил я, подымаясь.

«Нет. Велено позвать, и все».

«Ну хорошо, скажи: сейчас иду!»

Изда комбата через дорогу, идти было недалеко, и я, накинув наскоро полушубок, вышел сквозь морозные сенцы на улицу.

Стоял поздний зимний вечер, но мне показалось тогда, что уже наступила глубокая ночь, я долго пригляды-

вался к темноте, прежде чем начал различать предметы; я помню, как спускался по ступенькам крыльца, держась за холодные и заиндевелые перила, и, очутившись уже на дорожке, прошел еще несколько шагов, упираясь ладонью в бревенчатую стену избы. За избыю, на той стороне, скрипя валенками на снегу, прохаживался вдоль машины и орудия часовой. С минуту я прислушивался к его шагам, да, пожалуй, не столько к шагам, как к отдаленному орудийному грохоту, к канонаде, которая то, казалось, усиливалась, то затихала за домами и лесом. На слух трудно было определить, как далеко за городом шел бой, но так или иначе, а было радостно оттого, что война, вот она, неудержимо катится на запад, пушки гремят там, за лесом, с десятков километров отсюда, зарницами озаряя морозное ночное небо. Когда я пересекал дорогу, я увидел зарева пожарищ по горизонту в той стороне, откуда доносился бой. Горели подоженные немцами деревни. Всю осень и зиму, пока мы наступали, нас сопровождали такие пожары, так что это не было чем-то необычным; но как ни говорят, что человек привыкает ко всему, в том числе и к войне, к свисту пуль и осколков, но привыкнуть к зловещему виду горевших деревень в ночи я так и не смог; как будто и в полушубке, в валенках и шапке, а по спине каждый раз прокатывается ледяной ветер, когда смотришь на зарева. Избы горят, жилье, кров, труд людской. Я шел через дорогу, оглядываясь на эти зарева, и чувство, с каким вчера еще целился в немецкие самоходки, как бы само собой подымалось во мне, оборачиваясь злостью, той, когда, знаете (может быть, это только у нас, артиллеристов — истребителей танков), поймана в перекрестке прицела броня и ты мгновенно нажимаешь на гашетку; мне кажется, я даже делал какие-то усилия рукой, будто под ладонью была та самая гашетка. На крыльце комбатовской избы я еще раз оглянулся на зарева. Я не думал, для чего нужен был капитану, но вполне ясно сознавал, что каким бы ни было задание, готов выполнить его; с этим чувством, оббив прежде валенки у порога и застегнув на все петли полушубок, я вошел в избы.

Но никаких приказаний на этот раз мне выполнять не пришлось. Еще днем комбат обещал собрать вечер в честь моего тогда не состоявшегося еще награждения («Надо сегодня и непременно, — говорил он, — а то, когда пойдем в бой, вряд ли будет у нас время!»), и я был приглашен теперь именно на этот маленький торжественный

вечер; я вошел сосредоточенный, с определенным настроением, и когда увидел накрытый по-праздничному, как только можно было в тех условиях, стол, увидел подвешенную над столом и ярко горевшую керосиновую лампу — это, знаете, роскошь для того времени; увидел уже слегка разгоряченные за столом лица — все, знаете, как по команде, смотрели на меня и чему-то улыбались, чему, я еще не знал тогда, — я растерялся от неожиданности и стоял у порога, не решаясь, докладывать ли комбату, что прибыл, или просто, как было заведено у нас на батарее, когда обедали или ужинали вместе, снять полушубок и присесть к столу. Щурясь, я вглядывался, кто был в комнате. Ближе всех ко мне сидел капитан Филев, ворот гимнастерки его был расстегнут, и белый, только что подшитый подворотничок как-то особенно был заметен на его смуглой, с зимним загаром шее; рядом с ним, откинувшись на спинку стула и тоже с расстегнутым воротом, сидел его друг, командир четвертой батареи старший лейтенант Сургин (я знал его; полк у нас небольшой, пять батарей, мы все знали друг друга); за столом были и Антоненко, и наш старшина Шебанов, и хозяйка дома с дочерью. Они тоже выглядели нарядно, особенно дочь, в светлом платье с таким немного открытым воротом, с косами наперед, на грудь, и особенными, как мне сразу показалось, ясными детскими глазами. Да и вся она была как школьница, у которой еще далеко впереди выпускной десятый класс. Может быть, я бы не стал так пристально всматриваться в нее, может быть, и вовсе не обратил внимания — ну, сидит девочка, дочь хозяйки, ну и что в этом! — если бы не командир батареи, который, пока я в недоумении и растерянности топтался у порога, не встал бы из-за стола и, подойдя ко мне и хлопнув по плечу, не сказал бы:

«Ну вот и жених наш пришел, смотри, мать. — Он протянул руку, как бы приглашая хозяйку дома (которую он, кстати, тут же назвал Марией Семеновной) подойти и посмотреть, как молод, статен и красив «жених». — Да сними полушубок, — затем, взглянув на меня, проговорил он, — предстань пред тещины очи. Мы тебя, понимаешь, сватаем здесь, рассказываем о твоих подвигах, а ты бока пролеживаешь! Дайте место жениху! Место Герою!» — уже с заметною командирскою ноткой добавил он, повернувшись к столу, ко всем, и когда я снял полушубок, провел и усадил меня рядом с Ксеньей.

Я понимал, что все это было шуткой. Перед моим приходом, наверное, чтобы занять время, они затеяли игру в сватовство, игра понравилась, и они охотно продолжали ее теперь, разливая по стаканам водку, провозглашая тосты, шумя и закусывая; вместе со всеми опустошил свой стакан и я и сидел розовый — не столько от выпитой водки, сколько от смущения, чувствуя себя сначала неловко в непривычной роли жениха. Я улыбался и поглядывал то на будущую тещу, то на невесту, и, знаете, как сейчас помню: находили минуты, когда мне хотелось, чтобы все происходившее было не шуткой, а правдой. Я смотрел на Ксению и говорил себе: «Да она же красива, черт возьми, она просто красавица!» — и во мне возникало желание обнять ее, ощутить ее близость, но я лишь еще больше краснел, сознавая это, и старался отворачиваться и не смотреть на нее. Я спрашиваю сейчас себя: что такое красота? Очевидно, это не только внешний облик человека, не только цвет волос, глаз, черты лица или покрой платья, а есть еще нечто такое, что заставляет жить и сверкать все эти внешние формы; есть чувства, сгусток чувств, с которым мы идем по жизни, к людям, есть понимание добра, наконец, у каждого человека есть свой мир, которым он живет, и каким бы ни был этот мир, прекрасным или плохим, и как бы мы ни старались скрыть его в себе, он непременно выявится или в движениях, или в выражении лица, или, если хотите, в тоне голоса и привлечет к нам или оттолкнет от нас людей. И что главное, мир этот не читается в глазах, а угадывается; угадывается красота души, красота человека. Я сидел так близко возле Ксении, что мне до сих пор кажется, что я чувствовал тепло ее тела. Я смотрел на ее косы, и хотя, знаете, я понимаю, что тут может быть удивительного и необычного, что у девушки косы, но для меня и теперь есть нечто неповторимое в том, как были заплетены и как спускались на грудь, прикрывая уши и шею, ее серебристо-серые (серебрились они от света керосиновой лампы, которая, как я уже говорил, висела над столом) волосы; когда она поворачивалась к матери, я видел ровный пробор на ее голове, и короткие, не вошедшие в косу волосы мягким светлым пушком кудрявились вокруг шеи; когда же она поворачивалась ко мне, я видел ее глаза, брови, темные ресницы; покрытые румянцем от волнения и возбуждения щеки ее, казалось, так и дышали здоровьем, молодостью, счастьем. Я помню ее оголенную до локтя бе-

люю руку, как она держала в пальцах хлеб и черпала ложечкой насыпанный старшиною прямо на стол горкой сахар; я мог бы сейчас пересказать все движения, сколько в них было простоты, естественности и привлекательности, но главное, конечно, заключалось не в этом; какой-то невероятной силой жизни, добра веяло от нее, будто движения ее были не просто движения и слова — не просто слова, а одухотворены, как бы подсвечены очень ясным и чистым чувством, и я помню, как действовало на меня именно это ее одухотворяющее, ясное и чистое чувство. Но представьте себе — это я уже рассуждаю теперь, — представьте, что творилось у нее на душе, какие мысли в ту минуту волновали ее? Для нее тот вечер, я так думаю, был своеобразным итогом жизни. Не возможность замужества, нет, не игра в сватовство, а совершенно другое; та радость жизни, то сознание счастья и доброты в себе, сознание доброты в людях, что окрыляло нас в детстве (что, по-моему, непременно должно окрылять каждого человека, входящего в жизнь), было отрезано у нее черными годами оккупации; зло, насилие, ужасы и ожидание просвета; мы были для нее (если бы не мы, а кто-то другой, все равно) теми, кто вернул ей ту самую радость жизни, сознание доброты и надежду на счастье; мы были освободителями, и надо полагать, как она волновалась, о чем думала и что испытывала в эти минуты. Я не спрашивал ее ни о чем, но я понимал ее, и мне радостно было оттого, что я понимал ее; да ведь и сам я был, знаете, в таком состоянии — Герой, центр торжества и внимания!

Разговор в основном шел между капитаном Филевым и Марией Семеновной; комбат четвертой Сургин и старшина Шебанов лишь изредка вставляли свои реплики, а больше смеялись, следя за перепалкой, так как Мария Семеновна держалась бойко, решительно, и только младший лейтенант Антоненко оставался как будто безучастным, ему не нравилось затейное сватовство, он то и дело подкладывал себе на тарелку крупную и рассыпчатую картошку, беря ее не вилкой, а пальцами, и ел молча, по-крестьянски подставляя ладонь под крошки. Вообще он был немного странным человеком, во всяком случае, мне так казалось тогда; на батарее у нас он пробыл очень мало, так что я, в сущности, и не узнал его как следует. Его прислали к нам с расформированного бронепоезда, а потом, сразу же где-то после Калинковичей, опять отозвали. Ну да что о нем? За весь вечер, мне по-

мнится, он так ни разу и не улыбнулся и вышел из избы первым, поклонившись хозяйке. Зато капитан Филев не умолкал ни на минуту, хотя в моем представлении — с ним-то я воевал уже не один месяц! — он тоже был всегда человеком молчаливым и суровым. Что же случилось с комбатом в тот вечер? Потом я узнал, что с ним случилось, но тогда — возбужденный выпитой водкой, видом сидевшей рядом Ксени, занятый своими размышлениями и чувствами, я даже не заметил этой перемены в комбате; в какие-то минуты мне вдруг начинало казаться, что капитан не шутит, и я, насколько это было удобно, старался пристальнее всмотреться в его лицо и яснее уловить интонацию его голоса. Он говорил:

«Да где же вы еще встретите такого жениха? И работу невесте на батарее найдем — санитаркой! — а старого Трифоньча в орудийный расчет заряжающим». И в то время как Мария Семеновна, которой давно уже было ясно, что шутка со сватовством перевалила за положенные пределы и что бог знает во что еще все это может вылиться, возражала: «Никуда я ее не отпущу, и не думайте», — капитан снова и снова, улыбаясь, начинал все сначала.

«А если они сами захотят?» — говорил он.

«Пусть распишутся сперва, а потом и решают сами».

«Так ведь еще ни горсовета, ни загса в городе нет!»

«Нет, так будут».

«Когда будут, нас здесь не будет».

«И слава богу, другие придут».

«Другие, да не такие».

«Может, и получше, кто знает».

«А если не придут?»

«Придут, куда денутся».

«Э-э, мать, давно говорят: держи синицу в руке, а не ищи журавля в небе. Ну как, порешили?»

«Не отпущу».

«Да вы что, не доверяете нам, что ли, Мария Семеновна?»

«Сказано, не отпущу, и все тут. И не сманивайте мне девку».

«А если, Мария Семеновна...» — продолжал капитан, обдумывая новый заход.

Мы же с Ксеньей за весь вечер почти не сказали друг другу ни слова; по крайней мере, сколько я ни вспоминал потом, я не мог припомнить, чтобы она спрашивала о чем-либо еще, кроме того, что «долго ли вы простои-

в Калининвичах и действительно ли девушки служат на батареях саптарками?», и чтобы я отвечал на ее вопросы как-либо подробнее, чем только «да» или «не знаю»; и тогда и теперь, спустя столько лет, мне кажется, что вечер прошел так быстро, что не успел я как следует осмотреться и прочувствовать *все*, как уже комбат четвертой Сургин, выйдя из-за стола, начал прощаться, а младший лейтенант Антоненко уже стоял одетым у дверей; и старшина Шебанов потянулся за шинелью, и лишь я еще сидел за столом, возбужденный, с выражением какого-то, наверное, глупого счастья на лице. Конечно, глупо, да и как оно могло быть иначе тогда, в девятнадцать лет? Мне хотелось, чтобы вечер продолжался, но оставаться за столом, когда все уже встали, было неприлично, я тоже поднялся и, сказав Марии Семеновне: «Спасибо за угощение» — и повторив те же слова Ксене, пошел за своим полушубком. Не знаю, не могу понять до сих пор, каким образом, когда я, уже одетый и готовый к выходу, топтался у двери, ожидая старшего лейтенанта Сургина, который о чем-то еще разговаривал с нашим комбатом, — каким образом Ксения очутилась возле меня? Она смотрела на меня ясно, открыто; косы ее теперь были откинуты назад, на спину, и лицо, шея (она стояла вполоборота к свету, к лампе, и я своей тенью не загораживал ее) и худенькие и покатые под платьем плечи — все снова показалось мне в ней особенным, и я, знаете, часто и сейчас вот так вижу ее перед собой. Я сразу догадался, что она хочет что-то сказать мне, и — может быть, действительно существует какой-то бессловесный язык между людьми? — по глазам ли, по всему ли выражению лица или только по тому, как дрогнули и шевельнулись ее губы, на которые я смотрел, но так или иначе, а мне кажется, я понял, что она хотела сказать, понял прежде, чем она успела вымолвить первое слово, и потянулся к ее худенькому, прикрытому платьем плечу.

«Возьмите меня», — сказала она.

«Санитаркой?»

«Все равно, возьмите!»

Надо было слышать, как она произнесла это, и видеть, как смотрела при этом. Но ведь мы глупы в молодости и часто теряем голову и говорим не то, что надо, а хороши бываем лишь потом, когда перебираем все в памяти, — тогда вдруг и слова находятя, и движения красивы, и все бывает вообще-то просто и ясно. А в тот момент, когда все происходит? Что я ответил Ксене?

Я был рад тому, что она сказала; она как бы продолжила во мне то, в сущности, неземное, сказочное состояние, в каком пребывал я, сидя рядом с нею за столом.

«Хорошо, я поговорю с комбатом, — прошептал я, не столько словами и тоном, как прикосновением руки передавая ей все то, что думал и чувствовал в эту минуту. — Непременно поговорю», — повторил я и, как будто боясь чего-то, может быть, боясь прервать то самое ощущение счастья, какое охватило меня, — как застенчивая девчонка, торопливо открыл дверь и вышел на улицу.

Сейчас я поступил бы иначе; да, наверное, будь на моем месте кто-нибудь другой, не с моим характером, тоже не стал бы суетиться и спешить, потому что ничего, в сущности, не произошло. Но ведь для меня ее слова, голос, все в ней — лицо, шея, плечи, платье, — все было чем-то особенным, неповторимым, я радовался, что есть на свете такая красота, радовался тому, что встретился с ней, и встретился не просто, а в лучший для себя момент — как-никак, а я был представлен к Герою! — и главное, что мои мысли и желание, как мне казалось, и ее были одинаковыми, теми же; в юношеском воображении моем, как только она произнесла: «Все равно, возьмите!» — я хорошо помню, мгновенно возникли картины любви и жизни с нею. «Да что я вообразил, — в то же время говорил я себе, стоя уже на крыльце, на морозе, и вглядываясь в дальние и ближние зарева пожарищ по горизонту, которые теперь, в густой полуночной синеве, были как будто видны отчетливее, чем прежде, с вечера. — Смешно, глупо, и чего я вообразил себе!» Так же, как и несколько часов назад, когда я шел сюда, под ладонью снова как будто была гашетка, и надо сказать, ощущение это воспринималось еще реальнее, потому что я положил руку на холодные, заиндевелые перила; я нажимал ладонью на перила, производя только мне одному слышные выстрелы, но делал это теперь не со злостью и стрелял не по немецким самоходкам, а просто, знаете, как бы салютовал от радости, от чувства любви, доброты, счастья, которое, может быть, вам покажется странным, было даже не во мне, а там, за дверью, в ней, согласной выйти за меня замуж и пойти санитаркой на батарею. Я понимал, что это неосуществимо, но мне не хотелось прерывать ход своих мыслей, и я снова и снова нажимал на подтаявшие под ладонью

деревянные перила крыльца. «Огонь! Огонь! Огонь!» — про себя повторял я, не замечая, что произношу слова команды. Я вот и теперь нажимаю на подлокотник кресла — видите? — и рассказываю, хотя все было давно пережито и прошло, а тогда — ведь было бы смешно, если бы вдруг я сказал Ксене о своих чувствах! А они были. Мальчишество ли, воображение ли, фантазия ли, но они были.

«Я вижу, лейтенант, ты и в самом деле влюбился, — сказал Сургин, когда мы, уже спустившись с крыльца, выходили на дорогу. — Она красива, и удивительно, как только мать от немцев уберегла ее! А ты на всякий случай адрес возьми, после войны надумаешь и вернешься», — добавил он, когда прощались.

«Да что адрес, — мысленно возразил я, — и так найду, если понадобится, кончилась бы война да живым бы остаться».

Я не торопился к себе в избу; сначала обошел и проверил посты возле машин и орудий, а потом, сняв полушубок и валенки, долго лежал на кровати не раздеваясь, и все переживания вечера вновь как бы возникали и проходили через меня, я слышал голоса комбата, Марии Семеновны, Ксени, особенно последние ее слова, которые сказала она, когда я уже стоял одетым у порога. «А что, если на самом деле поговорить? — спрашивал я себя. — Нет, не согласится. А может, согласится? Может, он тоже — все совершенно серьезно?» Я заснул с мыслью, что завтра непременно поговорю с комбатом, в конце концов, чем черт не шутит, и даже не просто поговорю, а попробую убедить его, потому что Трифоньча, конечно же, даже нужно в расчет, к младшему лейтенанту Антоненко в четвертое орудие, там не хватает заряжающего.

Но утром все сложилось так, что я не смог как следует поговорить с комбатом. Батарее приказано было собираться в дорогу. Нас перебрасывали в новый район боев, под Озаричи. Расположившиеся было на недельный, как предполагалось раньше, отдых, солдаты спешно укладывали вещевые мешки и батарейное имущество в кузова машин, прицепляли передки и орудия, и батарея, как, впрочем, и весь наш полк, выстраивалась в походную колонну на улице. Снег скрипел и вминался под ногами бойцов, под резиновыми скатами машин; было безветренно, морозно, все вокруг искрилось в холодных лучах встававшего низкого зимнего солнца. Мы

стояли у головной машины; я, капитан Филев и младший лейтенант Антоненко. Капитан должен был еще сходить в штаб полка и уточнить маршрут движения, а пока отдавал последние перед маршем распоряжения по батарее. Улучив минуту, когда все уже как будто было сказано комбатом, я спросил, оглядываясь на Антоненко и смущаясь почему-то именно его, а не капитана:

«А как быть с санитаркой, товарищ комбат?»

«Какой еще санитаркой?»

«А что вчера...»

«Да вы что?! Ей еще и семнадцати нет, вы что? Выбросьте из головы вашу дурь, для всякой шутки есть место. Мы и так вчера натворили, вон, глядите...»

На крыльце избы, куда мы с Антоненко, повернувшись, посмотрели, том самом крыльце, где я пережил вчера несколько счастливых минут, положив руку, как на гашетку, на холодные, заиндевевшие перила, стояла подбочась Мария Семеновна; она глядела на нас, на машины, на орудия, на всю уже выстроившуюся вдоль улицы колонну, и хотя издали трудно было разглядеть выражение ее лица, но по виду, как она держалась, нельзя было не заметить, что она недовольна и строжится. Дверь в избу за ее спиной была подперта широкой, местами обледенелой доскою, и Мария Семеновна, то и дело оборачиваясь, то окидывала взглядом доску, то дотрагивалась до нее рукой, проверяя, не сдвинулась ли, прочно ли держит дверь.

«Чего это она?» — спросил Антоненко.

«Дочь стережет, не пускает, а та в одну душу: пойду на батарею, и все. Слезы, рев, боже мой!»

«А почему бы не взять, если просится?»

«И вы тоже?!»

Не знаю, о чем еще говорили Антоненко и комбат, для меня разговор их уже не существовал; как-то вдруг, мгновенно я как бы отключился от всего внешнего мира и мыслями, всем собою был там, в избе, где в слезах и отчаянии — я сразу представил себе, как и что с ней, — находилась Ксения. Если накануне вечером, когда мы сидели рядом и я смотрел на нее, мне казалось, что я понимал ее, то теперь, утром, глядя на подпертую доской дверь, я чувствовал себя так, будто сам был за той дверью и рвался наружу. Я понимал порыв ее души; хотя, в общем-то, мы не сказали вчера друг другу ни одного нежного слова, а утром, занятый сборами, я и вовсе

не видел ее, но мне казалось, я твердо знал, что то чувство, какое испытывал к ней я, передалось ей, не могло не передаться, как всякое чистое, доброе и сильное чувство, и она рвется теперь и на батарею и ко мне. «Ко мне, да, ко мне, — мысленно произносил я. — Что-то же надо делать! Что?» Молча, не оглядываясь на комбата и Антоненко, я решительно направился было к избе, но громкий голос капитана остановил меня:

«Назад!»

Я замер и продолжал смотреть на крыльцо, на Марию Семеновну, на доску, которой была подперта дверь, на всю избу, ни секунды не сомневаясь в том, что там сейчас и «слезы», и «рев», и «боже мой», как сказал комбат. Но Ксения оказалась совершенно иной девушкой. Она недолго плакала; надев пальто и закутав голову шалью, она через сенцы забралась на чердак и как раз в те минуты, когда все мы смотрели на избу, в ту самую секунду, когда комбат остановил меня окриком, — плечом выдавливала узкую, подгнившую, но еще крепкую теперь, на морозе, и синюю от инея тесину на крыше. Я увидел, как дрогнула, сдвинулась, роняя снег, хрустя и потрескивая, сначала одна, потом другая тесина и в образовавшуюся щель высунулась по пояс Ксения. Мария Семеновна по-прежнему еще стояла на крыльце, ничего не слыша и не подозревая, а мы — я, комбат и младший лейтенант Антоненко — во все глаза смотрели на Ксению, недоумевая, что же еще будет она делать теперь. Она выбралась на крутую, скользкую, покрытую снегом и ледком под снегом крышу и приготовилась прыгать. Я до сих пор не могу простить себе, что не побежал, не остановил и не предупредил ее, что нельзя прыгать в том месте, где она решила, — там был расчищен снег, это был двор, там не было сугроба, который мог бы смягчить удар при падении; когда я бросился вперед, крикнув: «Нельзя, Ксения!» — она уже летела вниз, распластав руки, к сизой и жесткой мерзлой земле; черное пальто, распахнувшись, хлопало полами за ее спиной.

Я не помню, как я бежал; я видел только черный ком на мерзлой земле и спешил к нему, ни на что не обращая внимания; но когда подбежал и, склонившись, ладонью приподняв от снега голову Ксении, спросил: «Вы живы! Вы ушиблись?» — вокруг уже толпились подоспевшие сюда комбат, Антоненко, несколько бойцов с передней машины и, конечно же, Мария Семеновна. С испуганны-

ми глазами, еще, как видно, не вполне успокоившаяся от недавнего разговора с дочерью и не ожидавшая, что все так обернется, она опустилась на колени и, бледная как снег, смотрела на дочь. «Ты что же это наделала», — проговорила она, продолжая еще как бы строжиться, но глаза уже заволакивались слезами и посиневшие на морозе губы дрогнули. Ксения же молча смотрела на всех нас, кто окружил ее, переводя взгляд с одного лица на другое, и в этом тихом, спокойном, как будто молящем взгляде было отражено все ее душевное состояние в те минуты; я не заметил ни боли, ни раскаяния, хотя, как потом утверждал Трифоныч, у нее был будто бы закрытый перелом бедра; своим взглядом она как бы старалась внушить всем: «Вот видите, а вы не хотели брать меня!» Я держал на ладони ее голову, от дальней машины уже бежал Трифоныч с носилками и санитарной сумкой за спиной, а комбат говорил старшине Шебанову: «Отвезешь на своей машине. Да мигом, ждать долго не могу. Пока уточняю маршрут, чтобы все было сделано». Потом подошел к Ксении, наклонился и долго, как мне показалось, вглядывался в ее лицо; притронувшись к ее руке, он заметно пожал ее и сказал: «Ничего, до свадьбы заживет», — затем поднялся и, уже не оборачиваясь, зашагал к штабу полка. А я помог Трифонычу уложить Ксению на носилки и проводил ее до машины.

«Почему вы не взяли меня?» — негромким, еле слышным голосом спросила Ксения, когда я прощался с ней в машине.

«Возьмем. Все решено, обязательно возьмем», — ответил я, совершенно искренне веря в тот момент, что теперь действительно все решено, что комбат не сможет отказаться и что мы непременно возьмем ее санитаркой на батарею.

Она ничего не сказала, а только продолжала смотреть на меня.

«Я обязательно приеду за вами, — тут же добавил я, беря ее руку и так же, как это только что сделал капитан Филев, слегка пожимая ее. — До свиданья, поправляйтесь скорее».

Спустя час мы уже проезжали последние улицы Калининской, сквозь стекло машины я смотрел на серые деревянные избы, на тесовые и соломенные крыши, покрытые ледком и снегом, и думал о Ксении; мне было жаль ее, я чувствовал себя виноватым перед ней, мне хо-

телось вернуться и крикнуть: «Простите! Извините!» — и сказать эти слова Марии Семеновне, которая, так и оставив дом с подпиравшею дверь доскою, вместе с Трифоньчем и старшиною поехала сопровождать дочь до санчасти. Я видел перед собою лицо Марии Семеновны — недавнее, бледное как снег, когда она опустилась на колени перед дочерью; и видел лицо Ксении — то розовым, разгоряченным, красивым, с косами вокруг шеи и по груди, какой она сидела вечером возле меня, то как будто угасшим, спокойным, как в минуту, когда прощались, и все то, что должно было твориться в ее душе, я чувствовал в себе, понимая ее желание (ведь еще совсем недавно, всего лишь год с небольшим тому назад, сам я забрасывал военкомат заявлениями, прося досрочно призвать в армию, — я еще расскажу об этом, — забирался в проходившие через Читу воинские эшелоны, стремясь попасть на фронт, и вырывался и дрался, когда снимали с платформы или выводили из вагона), и оттого еще больше жалел ее. Мне кажется, всем на батарее было как-то не по себе, грустно от этого случая, но никто не осуждал Ксению; лишь когда старшина Шебанов, оставив ее в санчасти, догнал колонну, комбат, спросив его: «Ну как, все в порядке?» — и услышав ответ: «Все в порядке, товарищ капитан», — сказал: «Дите, девчонка, вообразила!» — но ни Шебанов, ни я ничего не ответили на это комбату.

Час третий

— Через неделю, в Озаричах, во время одной из ночных контратак немцев, — продолжал Евгений Иванович, — меня ранило в ногу; мина разорвалась недалеко позади орудия, и маленький шершавый осколок влетел прямо в подколенную ямку. Я говорю «маленький» и «шершавый», потому что держал его в руках, вот, на ладони, разумеется, после того, как хирург извлек его из ноги; я завернул его тогда в кусочек бинта, положил в полевую сумку, и с тех пор он так и лежит в сумке, которую я храню, а для чего, спросить, и сам не знаю: если как память, то воспоминания навеиваются не из приятных, да и сумка довольно потертая, ветхая, ни к чему не пригодная, а вот — храню! Ну, а в общем, это не к делу. За всю неделю ни комбат, ни Антоненко, ни старшина Шебанов, ни я ни разу не заговорили между собой

о Ксене; правда; во время боев не очень-то поговоришь о постороннем, потому что все нервы и все внимание сосредоточено на другом, но выпадали же, однако, и минуты передышек, когда мы сходились на командном пункте или на батарее вместе и ужинали или обедали, но и тогда ни Ксени, ни всего, что случилось с ней, как будто не существовало для нас. Только я один, как мне казалось, ни на мгновение не забывал о ней; во мне происходило, как вам сказать, ну, примерно то же, как на экранах телевизоров во время трансляции матчей, когда показывают повторно, да еще в замедленном темпе, как был забит гол, и вся секунду назад виденная картина проходит перед глазами вновь, уже в подробностях, в деталях, и ты видишь не только, как взлетел и упал вратарь, но и на сколько сантиметров он не дотянулся рукой до мяча; во мне как будто включалась эта повторная и замедленная лента, и я все видел с мгновения, когда на крыше вдруг дрогнула и с хрустом, роняя снежок, сдвинулась тесина, другая, и вот уже Ксения лежит на снегу возле бревенчатой стены, на сизой и мерзлой земле, и я подбегаю к ней; и ее глаза, и заплаканные глаза Марии Семеновны, даже то, как комбат, прощаясь, пожал Ксене руку, — все это не по одному и не по два раза прокручивалось в воображении. А главное, я постоянно чувствовал, что я понимаю ее, и это какое-то единство духа, что ли, как будто перекачивалось во мне, держало поминутно в приподнятом, счастливом настроении. Я уже тогда говорил себе: «Я приеду к тебе, Ксения, как только кончится война, сразу же приеду. А может быть, и раньше, после ранения, по пути из госпиталя. Все может быть». Да, мне казалось, что я один помнил о ней, но на самом деле все было иначе, и через два года, когда демобилизовавшись, я действительно приехал за ней в Калининичи, я с горечью узнал, что не только я один все эти месяцы вспоминал и думал о ней.

Но — давайте по порядку, как все было.

После госпиталя я уже не попал в свою часть. Меня направили в новый, сформировавшийся тогда под Брянском артиллерийский корпус, нас бросили на юг, под Будапешт, против танковых дивизий Гудериана, потом мы освобождали Пап, Вену, а закончил войну я почти у самой швейцарской границы, в небольшом австрийском городке Пургшталь. Это был красивый зеленый городок, совершенно не тронутый войною, и я как сейчас вижу словно сгрудившиеся у канала одноэтажные и двух-

этажные белые домики с островерхими черепичными крышами; мы простояли в том городке до поздней осени, и все эти месяцы, разумеется, я жил лишь одной мыслью — поскорее пройти медицинскую комиссию, демобилизоваться и уехать к ней, в Калинковичи. Я вспоминал и о нашей батарее, и о капитане Филеве, и о том поединке с немецкими самоходками под деревней Гольцы, с чего, собственно, и началось все, но вспоминал лишь потому, что все это было связано с думами о ней. «Какой же я был дурак, — говорил я себе, — надо же было так опростоволоситься, не взять ее адрес! А ведь старший лейтенант Сургин советовал, так нет, куда там, найду, если понадобится!» В том, что я найду ее, я не сомневался, но у меня было такое желание написать ей, что иногда хотелось прямо-таки взять и крикнуть: «Отпустите! Да отпустите же, я не могу, видите!» — но я, разумеется, не кричал, а закрывался в своей комнате, брал листок бумаги и, торопясь и брызгая чернилами, писал очередной рапорт об увольнении. Ранение у меня было тяжелое, и я знал, что так или иначе должны демобилизовать, и ждал только своей очереди. Домой я уже не сочинял и не отправлял, как бывало прежде, подробных писем — ни матери, ни Рае; события детства представлялись мне какими-то поблекшими, далекими, и все заслоняла собою встреча в Калинковичах с Ксеньей; да и поединков с танками было сколько и до и после Калинковичей, особенно когда под Будапештом «тигры» Гудериана прижали нас к Дунаю, а вот помнится же яснее, чем все другое, бревенчатый настил, горящие наши танки, заснеженный лес с прокатывающимся по нему грохотом разрывов, и как будто вновь возвращаются ко мне те чувства, с какими я целился, стрелял и отпрыгивал затем в щель, на обочину дороги. Но почему так? Что было особенного в тот вечер, когда я впервые увидел Ксенью? Ничего, а вот как будто стоят передо мною ее глаза, ее косы, и я не могу ничего поделать, чтобы не смотреть на них, вернее, чтобы забыть о них; я чувствую ее доброту и нежность, вот так просто, чувствую, и все, и доброта эта мысленная, ее словно согревает во мне что-то, я волнуюсь, радуюсь, десятки планов на будущее пробегают в сознании, и я тороплю день и час своего увольнения; когда же наконец с чемоданом в руке и вещевым мешком за спиною я очутился в поезде, — почти целые сутки, не присаживаясь и не ложась, простоял у окна, глядя на пробегавшие мимо города, разъезды

и станции; каждая отстуканная колесами вагона верста приближала меня к желанной цели.

В Калининичи я приехал поздней декабрьской ночью, и с первой же минуты, я даже не знаю отчего, как только вышел на перрон, какое-то странное беспокойство начало овладевать мною; может быть, происходило оно оттого, что было слякотно и неуютно на тускло освещенной ночной незнакомой станции (мы ведь тогда только пересекли город и не были на вокзале), может быть, от вида дощатого барака, который, так как здание вокзала только еще восстанавливалось, был наскоро сколочен для пассажиров как зал ожидания (все шли к этому бараку; немного постояв на перроне, и я направился к нему), а может, как я думаю теперь, главной причиной была вдруг возникшая неуверенность, как, знаете, случается иногда на состязаниях: несется конь по плацу легко, лихо, и кажется, без труда возьмет сейчас все барьеры, но перед первым же препятствием вдруг останавливается, приседает на задние ноги и шарахается в сторону; нечто такое, по-моему, произошло и со мной. Препятствия, собственно, еще не было, я лишь подумал, что — а вдруг все совершенно не так, как я представляю себе? Вдруг отказ? Мысль о том, поправилась ли она после падения или нет, никогда не возникала во мне; раз в госпитале, значит, непременно поправится, говорил я себе, и это разумелось само собой, а тревожило другое — живы ли в ней те чувства, которые так поразили меня тогда и в существование которых я до этого самого часа, пока не ступил на перрон калининичского вокзала, твердо верил. Забравшись в теплый дощатый барак — тепло в нем было от людской тесноты, а не оттого, что топили, — до самого рассвета я просидел на чемодане, у стены, положив вещевой мешок между ног, и думал о завтрашней встрече с Ксеньей. То, что всегда представлялось мне простым и ясным, как я приду и скажу: «Здравствуй, Ксения, вот и приехал твой жених, принимай!» — теперь казалось неприемлемым, грубым; я перебирал десятки вариантов, как войду в избу и что скажу, и чем больше было этих вариантов, тем сильнее я волновался и тем нерешительнее чувствовал себя. Ни для Марии Семеновны, ни для Ксении у меня не было никаких подарков, я не собирал за границей часов и браслетов; в вещевом мешке лежала полная фляжка водки, маргарин, несколько банок консервов и сухари, что, в общем, было положено тогда офицеру по пищевому до-

вольствию, и я воображал, как буду выкладывать все это на стол.

«Помните, Мария Семеновна?»

«Как же».

«По пути заглянул посмотреть, как вы тут живете».

«Спасибо. Мать-то жива?»

«А как же».

«Ждет, поди».

«А как же».

Вот так мысленно я разговаривал то с Марией Семеновной, то с Ксеньей и уже заранее, еще ничего не зная, как все будет, то чувствовал себя неловко, стесненно, когда мне казалось, что я буду принят равнодушно, холодно, то как будто вдруг все заливалось во мне счастьем, и я, наверное, улыбался в сумрачной духоте зала, когда видел (словно все происходило наяву) радостные и доверчивые, обращенные на меня глаза Ксении; я воображал все до деталей, как буду встречен, но то, что на самом деле ожидало меня, обладай я даже сверхвоображением, я бы ни за что на свете не смог представить себе. Но ведь я тревожился и теперь знаю, что было причиной этой тревоги; теперь, но ни в коем случае не тогда. Я с нетерпением ждал рассвета и, когда в маленьких низких окнах ясной синевой забрезжило утро, оставаться в бараке уже ни одной минуты не мог; на привокзальной площади в занесенном снегом сквере отыскивал место, где снег был чистым, сбросил шинель и гимнастерку и умылся этим снегом, натерев докрасна лицо, шею, руки, и бодрый, свежий, как будто и не было ни долгой утомительной дороги, ни прошедшей бессонной ночи в бараке (да и что значило для меня тогда не поспать ночь! Это теперь — чуть что, уже и лицо помято, и вялость, и все на свете, а тогда!), готов был идти и отыскивать дом Ксении.

«Мы въезжали в город со стороны шоссе Мозырь — Калинковичи, — рассуждал я, — с севера, или, вернее, северо-востока, и остановились где-то сразу на окраине. Значит, прежде всего надо выйти на то шоссе».

Я определил приблизительно, где была северная сторона города, и, надев вещевой мешок и взяв чемодан, зашагал необычной для себя размашистой походкой по слякотной, — в те дни стояла оттепель! — разбитой машинами дороге. Движение было еще редкое, город только просыпался от долгой зимней ночи, открывались ставни на окнах изб, закуривались дымки над трубами, и двор-

ники с деревянными лопатами еще только закручивали свои неизменные козьи ножки, примериваясь и приглядываясь к снежной жижице, прежде чем начать работу. Я шел, заткнув полы шинели за пояс, перебрасывал с руки на руку чемодан и оглядывал улицы. Мне казалось, что город мало изменился за те два года, пока меня не было здесь. Это сейчас — другое дело; от того деревянного городка сейчас, в сущности, мало что осталось; и вокзал не тот, многих старых улиц и в помине нет, а выросли новые кварталы; если хотите, и той избы, в которой жила Ксения, тоже нет, а стоит на том месте белый пятиэтажный панельный корпус; но в то раннее декабрьское утро, когда я пересекал город, все мне казалось как будто знакомым — и избы, и ограды, и сами улицы, широкие и слегка изогнутые, как в деревнях, и лишь не было заметно ни окопов, ни черных воронок, как в памятную зиму, ни остовов сгоревших машин и танков, ни кирпичных развалин, потому что все это было убрано, расчищено, заделано; и все же, знаете, чем-то еще как будто фронтовым, военным веяло от всего, на что я смотрел. Может быть, потому я так думаю теперь, что не везде лежал плотно снег, а местами были проталины, проглядывала черная земля, чернели оголенные тесовые крыши, и эта черно-белая пестрота как раз и создавала такое впечатление, но мне, собственно, не было тогда никакого дела до того, что *создавало* впечатление, я просто видел знакомый освобожденный город, и те прежние чувства, когда мы впервые морозным утром въезжали в него, и все, что было пережито мною вечером в избе Ксени и что я затем пронес в себе по всем дорогам войны, и эти теперь охватившие меня волнения перед встречей — все сливалось в одну счастливую и тревожную ношу, которую, казалось, было тяжелее нести, чем отдавливавший плечи вещевой мешок и оттягивавший руки чемодан.

Было уже около одиннадцати, когда я наконец вышел к шоссе Мозырь — Калинковичи.

Едва я очутился на шоссе, как тут же мысленно повторил весь маршрут нашего движения и сразу узнал улицу, на которую мы, въезжая, свернули тогда, и еще издали увидел и узнал и избу, в которой ночевал сам, и комбатовскую избу, что стояла напротив, через дорогу, вернее, *ее* избу, в которой были ли дома теперь Мария Семеновна и Ксения? Я тотчас же как бы увидел нашу выстроившуюся вдоль улицы колонну, готовую к маршу,

и определил место, где стояла головная машина и где стояли мы — я, младший лейтенант Антоненко и комбат. Да я и в самом деле стоял на том месте, как в памятное утро, и, опустив чемодан на снег, к ногам, смотрел на избу Ксени; я испытывал, как вам пояснить лучше, такое чувство, словно все мне здесь было не просто знакомо, а было дорогим, близким: и крыльцо, на которое я смотрел, с перилами и ступеньками — все-все, как было тогда, и даже, я сразу заметил, рядом с крыльцом, у стены, лежала та самая широкая доска, которой Мария Семеновна когда-то подпирала дверь, и несколько ржавых гвоздей торчало по краям этой доски (я не сказал вам, но я ведь еще тогда обратил внимание на торчавшие из доски гвозди); и двор, расчищенный от снега, как он был расчищен в то утро, сизые от времени, неизвестно с каких лет не крашенные наличники и ставни на окнах, такой же сизый, некрашенный фронтон и козырек тесовой крыши, а главное — на месте тех самых хрустнувших и надломившихся тесин чернела теперь толевая заплатка; вот она, так и стоит перед глазами, я смотрю на нее и чувствую, как все пережитое подымается во мне. Когда позднее я подходил к родному дому в Чите — у нас тоже дом деревянный, дедом еще моим, отпущенным поселенцем, рубленный, — мне кажется, я так не волновался, так не билось сердце, как в эти минуты, когда стоял перед избой Ксени. И снова, но уже сильнее, чем на вокзале, когда я только-только сошел с подножки вагона на тускло освещенный слякотный перрон, сомнение охватило меня, и я в растерянности и нерешительности говорил себе: «Входить? Не входить? Что я скажу? Зачем пожаловал? Мои чувства! А ее? А Мария Семеновна?» Я оглядел свои забрызганные снежной кашицей и грязью сапоги и опустил полы шинели. Чего я ждал? Чего волновался? Глупо, и теперь я вполне понимаю, что глупо, но ведь в том-то и дело, что понимаем мы все задним числом; я мог бы смело войти в любую другую избу к совершенно незнакомым людям, а к *ней* — все во мне замирало от какого-то странного и тревожного предчувствия. Я смотрел на окна, и за белыми занавесками никого не было видно, и труба над крышей не дымилась, и никто не выходил из двери во двор и не возвращался в избу. «Да дома ли они? Может, и дома-то никого нет?» Я вошел во двор и постучал в окно, и почти тут же занавеска отогнулась, и я увидел прислонившееся к стеклу лицо Марии Семеновны. Я сразу узнал ее, но она

долго смотрела на меня, и по ее взгляду было ясно, что я для нее — незнакомый, чужой, неизвестно зачем поступивший к ней человек.

«Это я, Мария Семеновна, я, помните?» — сказал я через стекло, но она, по-моему, либо не разобрала, либо просто не расслышала моих слов, потому что, когда вышла на крыльцо (она вышла налегке, закутав лишь грудь и шею шалью), спокойным и, чего я более всего опасался, холодным, равнодушным голосом спросила:

«Вам кого?»

Я смотрел на нее, не говоря ни слова, лишь стараясь всем видом своим напомнить ей, кто я. «Узнаете? Неужели не узнаете?» — глазами говорил я ей.

«Вам кого?» — снова и тем же как будто холодным тоном спросила она.

«Вы не помните меня, Мария Семеновна?» — наконец выговорил я.

«Нет. А кто вы?»

«Я тот самый лейтенант, Женя Федосов». Я не стал ничего пояснять дальше, полагая, что уже это сказанное должно ей сразу напомнить все.

«Да мало ли тут вас стояло за войну, рази всех упомнишь».

«А Ксения дома?»

«Дома. Только что с ночного дежурства пришла».

«Можно мне повидать ее?»

«Отчего же нельзя, можно, еще не спит, входите», — сказала Мария Семеновна, открывая передо мною дверь и приглашая пройти через сенцы в избу.

В сенцах, прежде чем переступить порог комнаты, я долго и старательно обметал веником ноги, мысленно и с тревогою снова говоря себе: «Может быть, ничего не было, я все вообразил, и мне не надо было приходить?» — и хотя не оборачивался и не смотрел на Марию Семеновну, которая стояла тут же и ожидала, пока я управлюсь, я чувствовал, что она следит за мною, ежась от холода в своем старом цветном ситцевом платье и кофте с заплатами на локтях, и мне было неловко под этим взглядом. Я вошел в избу бледный и уже совершенно не знал, что и как говорить. Да и на самом деле, что я мог сказать Ксене? Ведь между нами ничего не было, я не писал ей, прошло два года, она могла позабыть обо мне (как позабыла Мария Семеновна), и вдруг вот я, явился! Только в молодости — сколько

мне было тогда? Двадцать один? Да, уже двадцать один, — только в молодости можно еще совершать такие необдуманные поступки и ставить себя в столь неловкое положение; я ведь делал все не по разуму, а по чувству: что испытывал, что воображал, то и казалось действительностью, и был счастлив от этого воображения и чувств, и только в то утро впервые, уже когда обметал ноги в сенцах, ощутил отрезвляющее дыхание жизни. Я переступил порог и остановился у двери, не снимая вещевого мешка с плеч, лишь опустив чемодан на пол, и оглядывал комнату; я сразу заметил, что все здесь было не так, как прежде, что комната перегорожена надвое не окрашенной, не оклеенною обоями и не успевшею потемнеть еще дощатою перегородкой, и еще стоял невыветрившийся запах свежеструганной сосны; огромная русская печь, занимавшая, как мне раньше казалось, добрую четверть комнаты, была теперь в первой, и меньшей, половине, а во вторую вел ничем пока не занавешенный дверной проем, и там, за этим проемом, за перегородкою была Ксения. Я не видел ее; только было слышно, будто кто-то передевался, шурша платьем.

«Ксения, к тебе пришли», — сказала Мария Семеновна, направляясь к печи, не оглядываясь на меня и не предлагая ни пройти дальше, ни сесть.

«Кто?»

«Какой-то военный».

«Кто, мам?»

«Да шут вас знает кто, выйди да посмотри».

«Сейчас!»

В шинели, в сапогах, с шапкою в руке я продолжал стоять у порога. Ксения же появилась в проеме дверей неожиданно, вдруг. Так же, как минуты прощания, когда она лежала на носилках в машине, как те часы, когда вечером, при свете висевшей над столом керосиновой лампы я сидел с нею рядом и смотрел на ее лицо и серебристо-серые спадавшие на грудь косы, — так запомнилось мне и это мгновение, когда после двух лет военных дорог, двух лет постоянной думы о ней я вновь увидел ее. Она, наверное, уже собиралась отдыхать после ночного дежурства, была в халате, и лишь услышав, что кто-то пришел к ней, быстро надела платье и принялась заплетать косу, я так думаю, потому что, когда она стояла в дверях и я смотрел на нее, тонкие белые пальцы ее еще укладывали последние витки в косе; лицо ее выражало

удивление, и ясные, чистые глаза тоже выражали удивление; она была как бы вся на свету, немного пополневшая с того времени, но еще более женственная от этой полноты, и я, знаете, глядя на нее, чувствовал, что не зря все эти годы думал о ней. Вместе с тревогой и растерянностью я испытывал прилив счастья; я старался уловить в ее взгляде прежние и дорогие мне чувства и мысли, и хотя их не было и не могло быть в ней, все же то удивление, какое светилось в ее глазах, было как бы обещанием, надеждой, что все еще вспомнится, вернется и она заживет той жизнью, какой жила тогда, в часы, когда мне понятным и близким был весь мир ее радостных желаний; я говорил ей, мысленно, разумеется, взглядом: «Ну же, ну, вспомни!» — и всматривался в каждую черточку ее лица, ожидая, что вот-вот она ответит, пусть так же беззвучно, мысленно, выражением глаз, я пойму, почувствую и успокоюсь. То, что она была не так свежа после ночного дежурства и лицо ее было утомленным, я заметил позднее, когда уже сидел за столом и она угощала меня чаем и отварной картошкой, залитой подсолнечным маслом; да и сам я, как ни бодрился, как ни казался себе полным сил и энергии, тоже, конечно, выглядел утомленным, и Ксения не только заметила, но и сказала мне об этом; но произошло это потом, позже, а пока я ничего не видел, кроме ее ясных и светлых, обращенных на меня глаз и белых пальцев, которые, замедлив движение, как бы вдруг остановились, так и не закончив плести косу.

«Это вы?!» — не очень громко, с явным удивлением и, как мне показалось, с ноткою радости в голосе сказала наконец Ксения.

«Да, я».

«А Вася мне ничего не сказал, — добавила она с тем же удивлением. — Вы раздевайтесь, что же вы стоите! — Она подошла ко мне и помогла снять с плеч вещевой мешок. — Mam, ты знаешь, кто к нам пожаловал? — принимая от меня шинель и вешая ее на гвоздь, продолжала она. — Это же тот самый жених мой, помнишь?»

«Господи! — сказала Мария Семеновна, отрываясь от своих дел и уже не с равнодушием, а с заинтересованностью глядя на меня. — Так ты опоздал, парень!»

«Как это опоздал, Мария Семеновна?»

«Ксения наша уже замужем, уже и свадьба сыграна».

«Как замужем?»

«Как замуж выходят? Вот так и замужем. За тем капитаном твоим. Опередил он».

Я не поверил тому, что сказала Мария Семеновна, принял ее слова за шутку. «Капитан Филев? Василий Александрович? Да зачем ему, он же в военную академию собирался». Я посмотрел на Ксеню; лицо ее, может быть, от смущения, как это бывает, я уже теперь знаю, у молодых супругов, когда при них вдруг начинают говорить об их женитьбе, но, может, от возникшего неожиданного сожаления, что она поторопилась, не подождала меня, от чувства, может быть, вины передо мною (так я думаю для утешения), лицо ее вспыхнуло румянцем, и смотрела она теперь не на меня, а куда-то вниз, то ли на мои сапоги, то ли на половичок, на котором я стоял, а пальцы снова принялись заплетать косу. Я не стал спрашивать ее; я все еще не хотел верить тому, о чем сказала Мария Семеновна, но чем дольше смотрел на Ксеню, тем яснее становилось, что все это правда и что вот отчего так тревожно было у меня на душе еще на вокзале, когда я только вышел из вагона, и так беспокойно билось сердце, когда подходил сюда, к дому. «Не может быть!» — однако продолжал говорить я себе, переводя взгляд с Ксени на Марию Семеновну и снова на Ксеню. Они молчали; и я молчал; и всем нам было, по-моему, нехорошо, неловко от этого молчания.

«А я ведь не за *тем*, я просто так, по пути, проведать», — сказал я, краснея оттого, что произносил ложь, и чувствуя, что ни Мария Семеновна, теперь как будто с еще большим вниманием смотревшая на меня, ни Ксения, тоже взглянувшая на меня, не верят мне. Но что я мог еще сказать им?

«Да что же вы не проходите? — сказала Ксения, разрушая эту минуту неловкости. — Проходите в комнату. Вот Вася-то будет рад, — добавила она, пододвигая мне стул. — Он на работе, в диспетчерской. А вы завтракали? Могу угостить картошкой с постным маслом, уж что есть, могу приготовить чай. Да что, собственно, я спрашиваю, боже мой, человек с дороги, а я спрашиваю. Посидите, я сейчас». И она вышла, оставив меня одного в комнате.

Не знаю, сколько времени я просидел, ожидая, пока войдет Ксения и начнет накрывать стол; минуты эти показались мне долгими, но я был так ошеломлен и растерян, что не успел ничего разглядеть, что и как было

убрано в комнате; я думал о своем бывшем комбате, который, как сказала Мария Семеновна, опередил меня, он вставал передо мною таким, каким запомнился в те годы, когда служили вместе: то вот он на наблюдательном пункте с биноклем у глаз, молчаливый, решающий все сам, про себя, и отдающий распоряжения лишь короткими, ничего не объясняющими фразами («Делать так, и все, и не иначе!»), то проверяющий стволы орудий на батарее, как вычищены и смазаны после боя, перед маршем; то вдруг вижу его за ужином или обедом — единственно когда появлялась на лице его улыбка; мне он нравился таким, суровым, и я теперь, представляя его себе, не без зависти и не без гордости смотрел на него, но вместе с тем сейчас я искал в нем то, что могло быть привлекательным для Ксени, и казавшаяся замечательной тогда суровость его души, а может быть, черствость, которой я восхищался, представлялась теперь несовместимой с чистым, добрым и доверчивым сердцем Ксени. «Будет ли она счастлива с ним? — спрашивал я себя и тут же отвечал: — Нет». Мне не хотелось думать плохо о бывшем своем комбате, я видел лишь несоответствие характеров, и было в этом несоответствии что-то обнадеживающее для меня. Но, знаете, я ошибался тогда, потому что рассуждения мои были продиктованы не разумом, а опять-таки чувством, мне казалось, что то, что испытываю я к Ксене, не может и не в состоянии испытывать никто другой, что только во мне столько нежности и любви, столько доброты, что я могу одарить не только Ксению, но весь мир своею щедростью, и что *это*, что есть во мне, не может и не должно быть, по крайней мере, по отношению к Ксене, ни в ком другом на свете; к сожалению, думая так в молодости, мы все ошибаемся: то, что есть во мне, вполне может быть и в другом, и в третьем, и в четвертом. Но я вот так думал о своем бывшем комбате и, сравнивая его с собою, чувствовал, что я бы более осчастливил Ксению, чем он; и чем отчетливее представлял себе это, тем мучительнее и больнее было на душе. Я сидел неподвижно, склонившись, обхватив виски ладонями и упершись локтями в колени, и лицо мое, наверное, было красным от возбуждения, мыслей и чувств; за перегородкой о чем-то разговаривали Мария Семеновна с Ксеньей, я слышал отрывки фраз, смысл которых, однако, совершенно не доходил до моего сознания; я был занят собою и говорил себе: «Так вот почему он так долго смотрел на нее тогда, в то утро, когда она,

прыгнув с крыши, лежала на снегу, а я держал на ладони ее голову, и вон что означали его нежное пожатие и его слова: «До свадьбы заживет!» Как же я не сообразил тогда? Вот что все это значило», — повторял я, ясно представляя, как все было в то морозное утро, и какой-то как будто нерассасывающийся клубок боли все сильнее сдавливал мне грудь. «Зачем я приехал? Для чего завтрак? Надо сейчас же встать и уйти, да, сейчас же, и забыть, не думать, все равно уже ничего не вернешь», — про себя произносил я, продолжая, однако, сидеть все в той же позе, не двигаясь, даже когда по звукам шагов почувствовал, что вошла Ксения и что, остановившись, смотрит на меня.

«Вы устали?» — спросила она.

«Да, немного есть», — подтвердил я, разгибаясь и глядя на нее. — Но ничего, что вы, пусть это вас не волнует, — тут же поправился я, заметив озабоченность на ее лице. — Горячего чайку, и все пройдет. Я ведь только проведать... после того... помните? А вечером — дальше, домой».

«Когда ваш поезд?»

«Вечером. Ночью».

«Вася придет с работы в шесть, вы уж дождитесь, он будет рад. Мы ведь не раз вспоминали о вас, — сказала она, и при этих словах опять румянец вспыхнул на ее лице. — Вы, может быть, хотите умыться с дороги? — сейчас же спросила она, чтобы, наверное, перевести разговор на другое. — Умывальник в сенцах, там и полотенце чистое я повесила, пожалуйста, а потом и к столу, пока картошка горячая и чай».

Я умывался и не чувствовал, что вода была холодной; все та же мысль — *опоздал!* — как будто переполняла мою голову, но думал я уже не о бывшем своем комбате, а о том, что если бы отпустили меня по первому поданному мною рапорту, а было это еще ранней осенью, как только дошла до нас весть о разгроме Квантунской армии и капитуляции Японии, — если бы тогда сразу отпустили, все было бы иначе, и не я, а комбат хлюпался бы сейчас под умывальником, ругая себя, досадуя и переживая; того, что ему еще на Сандомирском плацдарме оторвало руку, что приехал он уже около года назад и что, подай я рапорт даже раньше, сразу после взятия Берлина, все равно бы не успел, — этого я еще не знал и проклинал про себя тот маленький зеленый австрийский городок Пургшталь, по улицам которого бро-

дил в ожидании, когда наконец будет решен мой вопрос, и в тоске по этим нашим теперь заснеженным и еще как будто пахнувшим фронтовым дымком русским деревянным избам Калинковичей. Уже сидя за столом, я продолжал думать все о том же, о своем, и прилагал немало усилий, чтобы хоть на время приглушить этот поток расстреливавших душу мыслей и послушать Ксению. Она рассказывала, как лежала в Брянске в госпитале, куда отвезли ее вместе с ранеными в санитарном поезде и куда несколько раз, упрасывая кондукторов и забираясь в попутные эшелоны, приезжала к ней мать, Мария Семеновна, но из всего того, что говорила Ксения, я понял лишь одно: что все обошлось, слава богу, благополучно, что пока никаких последствий нет, хотя и надо беречься; она еще говорила, как, вернувшись домой, пошла работать нянечкой в стоявший тогда в Калинковичах военный госпиталь (теперь это была уже городская больница) и поступила на курсы медицинских сестер; я слушал, смотрел на нее с болью, чувствуя, как счастье уплывает от меня; я бы не мог сейчас пересказать с подробностями, о чем она говорила, но одну фразу помню дословно, потому что она особенно поразила меня: «Зря вы не взяли меня тогда санитаркой на батарею, я так хотела, я, вы знаете, готова была на все», — и слова эти ее как бы вновь мгновенно вернули меня в то морозное январское утро, когда она, худенькая девочка, лежа на носилках, спросила: «Почему вы не взяли меня?» Краснея в который раз за эти часы, пока был здесь, в доме Ксении и Марии Семеновны, и разговаривая с ними, я протянул руку и, как тогда, в машине, пожал мягкую и теплую ладонь Ксении. Слов, чтобы выразить свои чувства, у меня не было, и я сделал это — пожал, и все! — хотя и сознавал, что нельзя было так делать, что это было неловко, глупо, смешно, наконец, нетактично, ведь она замужняя женщина, но я не мог сдержаться, и, понимая свою нетактичность и видя, как взглянула на меня при этом Ксения, как посмотрела сидевшая тут же Мария Семеновна, покраснел еще больше и, как будто намереваясь протереть глаза, прикрыл ладонью лоб и щеки. «Теперь-то для чего все это», — торопливо сказал я себе. Я ни минуты уже не сомневался, что они знают, для чего я приехал к ним, и мне было, с одной стороны, приятно сознавать, что понимают, а с другой — я чувствовал себя в каком-то глупейшем, униженном положении. Я ел мало, и чай казался мне безвкусным и пресным; о том, что лежало в моем

вещевом мешке и что собирался я с торжественностью (вот ведь как играет иногда воображение!) высыпать на стол, я совсем забыл; мне было не до этого; допив чай и поблагодарив Ксению и Марию Семеновну, я сказал, что хочу пройтись по городу и посмотреть, как он выглядит теперь, этот самый их город, который когда-то, два года назад, я освобождал вот в такую же зимнюю пору, и что уже по одному этому он и мне дорог и памятен; фактически же я уходил просто потому, что не мог оставаться далее в избе, рядом с Ксенией, хотелось побыть одному, чтобы пережить и обдумать все то, что случилось со мной.

«Пусть пока чемодан и вещевой мешок полежат у вас», — попросил я.

«Какой разговор», — ответила Мария Семеновна.

«Может быть, вы бы отдохнули с дороги», — сказала Ксения, на лице которой я все более замечал растерянность и какое-то еще чувство, будто жалости или сострадания ко мне, чего я еще не мог да и не в состоянии был определить.

«Нет, спасибо. У меня ведь только один день, и я все должен посмотреть».

«Но к обеду мы вас ждем, возвращайтесь непременно!»

«Постараюсь», — сказал я и, слегка поклонившись сам не зная для чего, в знак благодарности за гостеприимство и завтрак, что ли, вышел на улицу.

Но куда мне было идти? Что смотреть? Я зашагал к центру, разбрызгивая сапогами жидкую снежную кашу, глядя по сторонам и снова как будто чувствуя, что да, чем-то фронтным веет от этих обветшалых деревянных изб; кое-где из-под снега проглядывали то фундамент, то остов кирпичной печи на месте разнесенных когда-то снарядами и сгоревших домов. Я дошел до вокзала, до барака, в котором ночевал, и повернул обратно к центру; несколько раз я то оказывался вдруг на шоссе Мозырь — Калинковичи, то опять у дощатого барака, вышагивая, наверное, по одним и тем же улицам, но не замечая этого, не замечая оживления возле магазинов и киосков, возникавшего к полудню; я не замечал даже усталости, потому что мир, которым я жил все эти часы, не имел ничего общего с тем внешним — избами, людьми, магазинами, тротуарами, — который окружал меня; то, что за многие месяцы было создано в моем воображении, что представлялось и в напряженные минуты боя,

и затем; в далеком Пургштале, не только возможным, но неизменным, неминуемым, неизбежным, теперь рушилось во мне, рушился мир, в котором я мог бы жить и чувствовать себя счастливым. Но что все же так влекло меня к Ксене: тот ли порыв души; когда она, преодолевая все преграды, стремилась к нам на батарею (я знаю, она бы вышла тогда за меня замуж, не колеблясь ни одной секунды, хотя, как я узнал уже спустя много лет, была у нее и другая, *своя*, личная причина пойти на фронт хоть санитаркой, хоть заряжающим к оружию, все равно, как она сама говорила); или вид ее серебристо-серых кос, ясных глаз и неповторимых, как мне и теперь кажется, линий ее лица; или то неразгаданное, что я только чувствовал в ней, улавливая огромную доброту ее души, ту женскую доброту, которая может сделать счастливым любого живущего на земле человека; да, скорее всего именно это было главным, отчего я так тянулся к ней, и проявлялась эта доброта в ней не отчетливо, не вдруг, не так, чтобы сразу видна и понятна, и в разных как будто мелочах, в движениях, во взгляде, в тоне голоса, в незначительных поступках, свидетелем которых я был и в тот далекий вечер, когда впервые увидел ее, и вот сейчас, в день этой встречи, — как она принимала, разговаривала и как вела себя; доброта в ней была естественной, природной, а не вынужденной или продиктованной рассудком, и этого нельзя было не почувствовать с первой же минуты знакомства с ней, и я снова убедился в этом, когда вечером, вернувшись, наблюдал, как она распоряжалась и хозяйничала в доме. Я пришел поздно, было уже довольно темно; уставший, в заляпанных грязью сапогах, я еще стоял у калитки, а на крыльцо, приготовившись встречать меня, уже вышел капитан Филев, бывший мой комбат и теперь счастливчик, опередивший меня, — я сразу узнал его и сразу же заметил пустой рукав еще армейской гимнастерки, заткнутый за широкий офицерский ремень; вышла и Ксения в платке; и даже Мария Семеновна, не желавшая, очевидно, отставать от всех и проникшаяся общим добрым настроением, стояла тут же, позади дочери.

«Ты что же это, — с упреком и радостью сказал Василий Александрович, шагнув мне навстречу и одною рукою обнимая меня, и я почувствовал, как теплые губы его и жесткая щетина не бритого, наверное, со вчерашнего дня лица прильнули к моей щеке. — Мы тебя ждем, Ксения ко мне на работу бегала, я пришел пораньше,

отпросился, мы ждем тебя, а ты, чертяка.. — И он снова обнял меня и приложился своею жесткою щетиной. — До старшего дослужился, вижу. В отпуск? Или по чистой?»

«По чистой».

«Домой?»

«Да».

«Гражданку тянуть?»

«Да».

«Ну, заходи, чертяка. Орден боевого-то получил? Но-сишь? А жаль, что Героя не утвердили. Я часто вспоминаю, как ты лихо тогда!.. И подполковник Снежников... как он настаивал! Мы ведь все видели, мы ни на минуту не спускали с тебя глаз», — говорил Василий Александрович, снимая с меня шинель и усаживая за стол, на котором уже были расставлены тарелки с квашеной капустой, мочеными яблоками, солеными огурцами и залитой уксусом селедкой, а в центре возвышалась бутылка с коричневой сургучовою головкой; да, было видно, что они ждали давно, и Василий Александрович особенно суетился, выказывая гостеприимство. Во все время вечера он казался возбужденным и веселым, и было что-то необычное, вернее сказать, непривычное для меня в этом его настроении; я знал его другим, угрюмым, малоразговорчивым; лишь однажды, в день того ложного сватовства в этом же вот доме, он держался оживленно, но тогда заметна была искусственность в его шутках; теперь же будто что-то изменилось в нем, и чем внимательнее (насколько, разумеется, хватало у меня внимания при том моем состоянии) я слушал его и наблюдал за ним, тем сильнее утверждался в догадке, что, да, что-то действительно изменилось в характере бывшего моего сурового и строгого комбата. На самом ли деле радовался он моему приезду, или перемена имела иную и более вескую причину — доброе влияние Ксении? — я еще не знал тогда, лишь отдаленно возникала у меня такая мысль, но время показало, что я был прав в своем предположении, которое, кстати, в те минуты отнюдь не радовало, а, напротив, только огорчало меня. Я вспомнил о времени потому, что много лет спустя Василий Александрович как-то в порыве откровения сказал мне такую фразу: «Очень важно, Женя, кто рядом с тобой. Важно для жизни». А ведь рядом с ним была Ксения, и для меня в тот вечер было особенно больно, что она с ним, а не со мной. Я выложил из вещевого мешка кон-

сервы, сухари, все, что было из продуктов, и достал фляжку с водкой; рюмку за рюмкой поднимал я вместе с бывшим своим комбатом, теперь — Ксениным мужем, провозглашая тосты за их счастье, за победу, потому что все мы жили тогда еще тем радостным чувством, что разгромили врага, что тяжелые будни войны уже позади и что — пусть потихоньку, по-малому, но жизнь теперь пойдет в гору, на улучшение, что легче будет народу, а значит, легче и нам; словом, разные тосты поднимали мы, я пил, закусывал, но в противоположность Василию Александровичу не только не пьянел и не веселел, но с каждой минутой все более тревожные и мучительные думы охватывали меня. В голосе Ксени, когда она, обращаясь к мужу, произносила: «Вася!» — мне казалось, было что-то особенное, и я пытался уловить ту особенность интонации, представить, как бы звучало мое имя в ее устах; до боли в сердце мне нравилось, как она ухаживала за всеми нами, в том числе и за матерью, Марией Семеновной, заменяя тарелки, предлагая кушанья и не оговариваясь, не стесняясь той скромности угощений, какие были на столе; она знала, что подано все, что только имелось в доме лучшего, щедрость эта была для нее естественной и потому радовала ее; как и во время первой встречи, когда я смотрел на ее лицо, оно представлялось мне не просто красивым само по себе своими правильными и четкими линиями, — оно опять будто было подсвечено тем внутренним светом, теми чувствами (может быть, и воспоминаниями того морозного январского вечера), какие теснились в ней теперь и отражали всю ее ясную, чистую и щедрую своей добротой натуру. Эти чувства были обращены не ко мне, а к мужу, Василию Александровичу, я понимал это, и именно это делало мучительной для меня встречу. Чем более я сознавал, что Ксения потеряна для меня, тем отчетливее, казалось; чувствовал, что никогда не смогу позабыть ее и что жизнь без нее будет для меня пустой, неинтересной, ненужной. Не в силах сдерживать себя, я мрачнел и все чаще поглядывал на часы, будто и в самом деле надо было спешить на вокзал, к поезду, хотя никакого билета у меня не было и утром я сказал неправду Ксене, что уезжаю сегодня же; но сейчас я даже сам как будто верил, что мне надо спешить на вокзал.

«Во сколько отходит?» — спрашивал Василий Александрович.

«В три тридцать».

«О-о, еще есть время, еще успеешь».

Немного погодя я снова смотрел на часы, и опять между нами происходил тот же разговор.

«Еще успеешь! Мы с Ксеньей проводим тебя. Ей завтра все равно на работу не идти, а я ничего, еще отосплюсь. Как хорошо все-таки, что ты приехал, черт-ка!» — говорил он, но я все явственнее чувствовал, что не могу более оставаться здесь.

В двенадцатом часу наконец я встал и решительно заявил, что уйду.

«Собирайся, Ксения, проводим».

«Нет, не надо», — возразил я.

«Почему?»

«Не надо», — повторил я даже, наверное, немного грубовато, потому что мне действительно не хотелось, чтобы они провожали меня. Пожав всем руки и пожелав Ксене и Василию Александровичу счастья, я надел шинель, накинул на плечи теперь уже порожний вещевой мешок и вышел на крыльцо.

Следом за мною вышли Василий Александрович и Ксения.

К ночи подморозило, перила крыльца схватились тонким скользким ледком, я почувствовал это сразу, едва положил на них руку, и ощущение холода под ладонью живо напомнило тот казавшийся мне теперь далеким-далеким морозный январский вечер, когда вот так же, разгоряченный, но с совершенно иным настроением, счастливый, я стоял здесь, на крыльце, на этом же самом месте, ожидая комбата четвертой старшего лейтенанта Сургина, и, как на гашетку — «Огонь! Огонь! Огонь!» — нажимал на заиндевелые и начавшие уже подтаивать под рукою перила крыльца, салютуя своим радостным чувствам, а впереди по горизонту полыхали зарева пожара; и хотя теперь передо мною в ночи не было горевших деревьев, а лишь мирно светились уличные фонари засыпавших Калинковичей да редкие еще в то время огни витрин — за этими огнями, вдали, я видел те когда-то озарявшие небо зловещие всполохи войны; инстинктивно, не знаю сам как, возникло во мне это желание, только я раз за разом, быстро и, конечно же, незаметно ни для Ксении, ни для Василия Александровича нажал ладонью на перила крыльца, как на гашетку, точно так же, как тогда, про себя считая: «Раз! Раз! Раз!» — и какое-то страшное, злое чувство охватило меня, будто стрелял я не просто в пространство, а, как в том заснеженном ле-

су, под деревней Гольцы, — по перекрывшим дорогу немецким самоходкам. Но длилось это всего несколько секунд. Ни Ксения, ни Василий Александрович, я думаю, даже не догадывались, что творилось в моей душе, полагая, что я засмотрелся на ночные Калининичи, которые были хорошо видны с крыльца, так как изба стояла на возвышении. Василий Александрович, дружески тронув меня за плечо, спросил:

«Любуешься? Я тоже долго не мог привыкнуть к этим мирным огням. Бывало ведь как — папиросу в рукав, да еще и под полу шинели».

«Да, — ответил я как будто Василию Александровичу, но более своему течению мыслей. — Будем привыкать к новому». И, еще раз пожелав счастья Ксене и своему бывшему комбату, поднял чемодан и пошел по подмерзшей теперь дорожке через двор на улицу.

Ксения осталась на крыльце. Было темно, я не разглядел ее лица, Василий Александрович же проводил меня до калитки.

— Ты погоди, — сказал он вдруг, когда я шагнул было уже на тротуар, — не уходи с сердцем, я же вижу, ты пойми, я не мог иначе. Ты вот едешь домой, к матери, а мне куда было? Сожжено все: ни избы, ни родных, ни деревни, ничего! И к тому же — ведь я люблю ее», — добавил он, и по тону голоса я почувствовал, что он говорит правду.

«Желаю счастья», — однако сухо и даже с раздражением, как мне кажется теперь, ответил я и, ничего не говоря более ему, зашагал по знакомой, исхоженной днем дороге на вокзал.

Я уходил с чувством, что больше никогда не вернусь сюда, а жизнь за моей, как говорится, спиною снова уже прокладывала для меня дорогу к этому дому.

Час четвертый

— Почти двое суток прожил я в станционном дощатом бараке, — продолжал Евгений Иванович, — прежде чем военный комендант поместил меня в один из проходящих на Москву и переполненных до отказа демобилизованными воинами поездов. Днем я то сидел на чемодане, то стоял в тамбуре с обледенелыми и плохо закрывавшимися дверями, и только по ночам, когда особенно поджимал мороз и, казалось, некуда было деться

от сквозняков, грохота, ледящего дыхания железной обшивки стен и никелированных ручек, за которые нельзя было взяться, не почувствовав, как примерзают пальцы, и не ощутив вдруг, как коченеют ноги на вышарканном солдатскими сапогами металлическом полу, — я входил в вагон, вернее, втискивался, чтобы отогреться, говоря спасибо какому-то рябоватому, с оспинным лицом старшине, который уступал мне место, а сам на время уходил в тамбур; он тоже ехал в Сибирь, но куда точно, я уже теперь не помню, как не помню и его фамилии, а знаю только, что звали его Порфирием, что воевал он на Третьем Украинском, где и я, брал Пап, Веспрем, Вену, в общем, почти однополчанин, и, надо сказать, в том положении, в каком я находился, он очень выручил меня. От Москвы же я продолжал путь уже в плацкартном вагоне, и хотя полка была боковая, на проходе, все же я мог часами лежать теперь, вытянув ноги, блаженствуя в тепле, или смотреть в окно то на заснеженные леса, то на деревеньки у замерзших и тоже заснеженных речек, то на разъезды, полустанки и станции, на вокзалы, где как будто и не было никаких следов войны, но где на перронах шумел и толкался с котелками и чайниками все тот же военный люд — в гимнастерках, шинелях, защитного цвета телогрейках, в ремнях и без ремней, с орденами, медалями; казалось, что вместе с поездами прибывало сюда, в малолюдные еще тогда сибирские города, дыхание недавно окончившейся победно войны, оседая, дробясь, растекаясь с вокзалов по деревьям, по притихшим, осевшим и словно почерневшим от ожидания крестьянским избам. Я до сих пор храню в себе это впечатление, и все, на что смотрел тогда сквозь запорошенное снежной пылью и прихваченное морозцем стекло, — все это часто и теперь разворачивается передо мною, я вновь подъезжаю к родному городу и смотрю на сопки, снега, на темную, то подступавшую к самой дороге, то вдруг убегающую к горизонту кромку тайги. За этой тайгой, за сопками, лежала деревня Севастьяновка, куда я уезжал на лето к своему деду по матери, и хотя из окна вагона не было видно этой деревни, но сознание того, что вот сейчас я проезжаю мимо нее, что еще шесть полустанков, всего только шесть отделяют меня от Читы-I и от Читы-II, пассажирской, пробуждало совершенно иные, чем когда я подъезжал к Калининичам, мысли и чувства. Как ни был я огорчен и как ни мучительна была для меня ревность, какую ис-

пытывал я с будто нарастающей, чем дальше отвозил меня поезд из Калинковичей, силой, — все то, пережитое, как бы уходило на задний план, отдалялось, свертывалось, словно укладывалось на покой на время где-то в тайниках души, а на смену этому с каждым часом, особенно в утро, когда подъезжал к Чите, появлялось новое, радостное и тревожное волнение. Мы часто говорим: «Босоногое детство». Вот это самое босоногое детство вставало перед глазами, и было радостно сознавать, что оно было, что живо в памяти, и что все происходило на этой вот земле, что лежит за окном, под снегом, и что именно там, на желтой и мокрой под сугробами траве, на песчаном откосе у парома на Омутовке, тоже, наверное, покрытого ледяною коркой, время еще хранит следы твоих босых ног. Фантазия, конечно, воображение; сейчас как-то не возникает таких ассоциаций; а тогда — хотя за плечами была война, и уже колючею щетинкой покрывались за ночь щеки, и сам я чувствовал себя так, будто был не просто мужчиной, но человеком, прожившим, по крайней мере, первую и главную половину своей жизни, — хотя именно так я думал и считал себя вполне возмужавшим и лишенным всякой *не присущей* мужчинам чувствительности (наивно, конечно, звучит это теперь!), но в воображении я все же представлял себе те самые следы своих босых ног на траве и песке. Мы бежали из деревни на Омутовку не только порыбачить и покупаться, но, главное, интересно было смотреть, как старый, облепленный лягушечьей зеленью паром, нагруженный возами с сеном, скрипя и вздрагивая, двигался от одного берега реки к другому, натягивал висевший над водою толстый железный трос. Я видел все это, а вернее, воображал, глядя на покрывавший землю и замерзшие речушки ослепительно белый под солнцем снег, и воспоминания то словно уводили меня вглубь, к вечерам, когда мы, деревенские ребяташки (хотя я и приезжал всего лишь на лето, но так сживался и так дружил со своими сверстниками из Севастьяновки, что к концу лета обычно не только сам, но и никто не считал меня недеревенским), когда мы собирались у костра, закапывали принесенную за пазухой картошку в горячую золу и потом, обжигая руки и губы, ели ее, иногда непропеченную, иногда наполовину сгоревшую, похрустывая зауглившимися корочками, и слушали, как паромщик рассказывал длинную, мне так казалось, нескончаемую историю про драгоценный, сверкающий золотом и алма-

зами китайский императорский скипетр. Теперь я знаю — есть об этом толстая книга; но тот наш паромщик, дядя Яков, за всю жизнь только и прочитал эту книгу и пересказывал нам ее на свой лад, добавляя, по-своему изменяя и усиливая самые такие шипательные места, и в этом, думаю, был для него какой-то свой, особый интерес и смысл жизни, а для нас — тоже свой, мальчишеский интерес. Да, так вот, то уводила меня память, как я уже говорил, к тому костру, тем вечерам, и я видел себя сидящим перед дядей Яковом с разломленной картошкой в руках и с широко раскрытыми глазами, то вдруг вставали перед мысленным взором месяцы и дни, когда уже шла война и я тайком от матери готовился убежать на фронт. Нас было шестеро — все из одного девятого «Б», — и замысел свой держали в тайне; мы приходили в школу пораньше, засовывали портфели за дровяной штабель, сложенный в школьном дворе, и отправлялись либо в военкомат с зажатými в ладонях заявлениями (в военкомате нас уже, конечно, хорошо знали, и дежурный офицер, еще издали завидя нас, выходил из своего кабинета с окошечком и становился посреди двери, улыбаясь и преграждая дорогу), либо бежали на вокзал, высматривали и выискивали пути, как лучше и незаметнее пробраться в уходивший на фронт эшелон. Но походы эти не всегда заканчивались для нас гладко. Однажды, вернувшись в школьный двор к полудню, как обычно, к концу занятий, мы не нашли своих портфелей за дровяным штабелем; их обнаружил истопник, почтенный Семен Игнатьевич, как его все звали, и отнес директору на стол. Он поджидал нас, стоя за остекленной дверью, и когда мы, озадаченные пропажей — как можно явиться домой без портфеля! — толклись возле штабеля, вышел из-за двери и, растворяя довольную улыбку в окладистой и длинной, какие носят теперь только швейцары в ресторанах, седой бороде и поманивая пальцем, проговорил: «Сюда, сюда, голубчики, к директору в кабинет, там и дорогие мамыши вас поджидают». Стоя у окна вагона, волнуясь и улыбаясь про себя, я как живого видел теперь выходящего из-за двери почтенного Семена Игнатьевича и видел всех нас шестерых, с опущенными головами стоявших в директорском кабинете; на покрытом зеленой суконной скатертью столе лежали рядом, один возле другого, наши набитые учебниками и тетрадами портфели, и даже глобус, по-моему, был переставлен по этому случаю на

подоконник, чтобы освободить место. Что говорил директор? Ну, ясно, что он мог говорить. Как смотрели на нас матери? Как смотрела на меня моя мать? Так же отчетливо, как почтенного Семена Игнатьевича, как наши разложенные на столе портфели, я видел теперь перед собой лицо матери с усталыми, заплаканными глазами, и, может быть, как раз в эти минуты, в поезде, когда вспоминал все, впервые мне стало не просто жалко мать, а какое-то не испытанное прежде чувство вины за причиненную ей боль как бы обожгло сердце. Мать не ругала; она ничего не сказала тогда; мы вышли из школы, она взяла меня за руку, пальцы ее были холодными, глаза то и дело наполнялись слезами, а я чувствовал себя подавленным, видя ее такой, и думал, что все это из-за меня, и только лишь вечером узнал, что пришла похоронная на отца. Эта похоронная лежала на комодe, сложенная вдвое, и я случайно, уже перед самым сном, заметив незнакомую бумажку и, развернув, прочитал ее. У меня не тряслись руки, помню, но я весь белый, как будто обескровленный, стоял у комода; потом прошел в комнату, где лежала мать на кровати, нераздетая, в черном платье и с красными от слез глазами, и, упав на колени, уткнулся лицом в ее мягкую грудь.

«Ничего, — сказала она тихо, почти шепотом, погладив ладонью мою тогда еще, конечно, не седую голову. — Только ты не убегай больше, Женя».

«Не буду, мама».

Я с торжественностью говорил себе, что буду теперь примерным сыном, что не оставлю мать и не побегу больше ни на вокзал, ни в военкомат, а дождусь дня, когда сама собою придет повестка, и уже как положено, без лишних слез и причитаний (как провожала мать в армию отца), соберет она меня в трудную военную дорогу, благословив своим материнским словом, а пока буду помогать ей во всем, как делал отец и как должен я теперь, единственный в доме мужчина; так говорил я себе, но, как мне сейчас кажется, уже тогда, в те минуты, я знал, что не смогу выполнить это обещание, потому что есть еще клятва перед ребятами, есть страшная договоренность: «На фронт!» — которую я действительно-таки нарушить не мог, и похоронная на отца уже в тот вечер вместе с болью и жалостью к матери пробуждала во мне и чувство долга, расплаты за смерть отца. И я все же ушел добровольцем, правда, не на фронт, а в военное училище, как и все друзья мои по девятому «Б», и вот

теперь, в приближавшемся к Чите поезде, те будто забытые за время окопной жизни и будто заслоненные думой о Калининвичихах, о Ксене, о воображенной совместной жизни с ней, переживания повторялись в сознании, и я не в силах был ни долго стоять у окна, ни сидеть на одном месте, ни слушать, что говорили мне и о чем вообще рассуждали в вагоне люди, а, волнуясь, торопил стук колес и отсчитывал в уме остававшиеся еще до Читы перегоны.

Все воспоминания связывались больше всего с матерью: и то, что я писал ей последнее время редко, да и суховато, как мне казалось, и что поехал сначала в Калининвичи, а не домой («Эх, Ксения, Ксения, — говорил я про себя, — а могли бы ехать сейчас вместе!»), и что о своей демобилизации сообщил не из Пургшталя, а только из Калининвичей и в день отъезда, — все это теперь каким-то тревожным упреком ложилось на душу; особенно неприятно было вспоминать тот далекий прощальный вечер, когда, вместо того чтобы побыть с матерью, я почти до трех ночи, как уже говорил вам, пробродил с Раей по морозным улицам Читы, заходя в чужие подъезды и таясь по темным углам. Мне не вспоминалось ни ее лицо, ни черное заталенное пальто с узким беличьим воротничком и такими же узкими манжетами из беличьего меха и опушкой понизу, в каком она была в ту ночь, ни слова, о чем мы говорили, ни чувства, вернее, ничего, что было тогда значительным и казалось незабвенным, а все время как бы стояла перед глазами наша изба со ступенчатым, под навесом крыльцом, с печью на кухне и комнатою, где сидела в одиночестве, скрестив, наверное, на груди руки, мать, ожидая меня и глядя на остывавший на столе прощально-праздничный ужин; я не мог простить себе это бесцельное, как оно представлялось мне теперь, ночное хождение по морозным улицам, и каждый раз, как только передо мной открывалась картина, как я вошел в комнату и увидел дремлющую на стуле мать и накрытый салфетками остывший ужин, я морщился, как от боли, от щемящего чувства вины перед матерью. «Нет, такого больше не будет, — говорил я себе в утешение. — К черту все, и Раю, и Ксению, все-все к черту!» С этим чувством вины и сознанием того, что уже ничто подобное со мной не повторится в жизни, я сошел на родной читинский перрон. Но когда я встретился с матерью, лишь в первые часы (может быть, даже в первые минуты), пока мы смотрели

друг на друга и она, вытирая слезы радости, говорила, что счастлива, что не спала ночи, ожидая, как только получила телеграмму, что еду, — лишь в эти первые часы встречи, как бы забыв все, я испытывал искреннюю радость, был оживлен и весел и тем радовал мать. Мы просидели за столом весь день и вечер, приходили соседи, поднимали рюмки, поздравляли и уходили, а мать, похудевшая с тех пор, как в последний раз, это было зимой сорок второго, я видел ее, поседевшая, в знакомом мне синем шерстяном платье, суетилась, не зная, как угодить, что поставить передо мною, и то и дело, подходя, прижимала мою голову к себе, и гладила, и разглядывала уже начавшие тогда, в двадцать один год, седеть виски. Вот сейчас, когда я рассказываю обо всем этом, мне кажется, что день тот прошел в каком-то хмельном — не столько от выпивки, как от волнений и разговоров — угаре, и я только помню, что, когда уже лежал в постели и засыпал, мать сидела рядом на стуле и все смотрела на меня счастливыми (ни раньше, мне кажется, ни потом я уже никогда больше не видел ее такой счастливой), как только могли быть у матери, дождавшейся с войны сына, глазами.

На другой день как будто еще продолжалось то приподнятое настроение, хотя, в сущности, я уже только казался веселым, только внешне поддерживал тон разговора и улыбался, даже смеялся, когда это было к месту, но время от времени вдруг вспоминались Калининичи, Ксения, опередивший меня комбат, и я весь как бы перемещался в ту сферу мучительных переживаний, будто все еще находился в дощатом станционном бараке, досадуя, злясь и торопя коменданта, чтобы поскорее посадил меня в любой проходивший на Москву поезд; только в первое утро, когда деревянной лопатой расчищал во дворе наметенный за ночь снег, сознание того, что я дома, что вот они, в голубом инее с детства знакомые до каждой трещинки бревенчатые стены родной избы, еще вызывало радостное чувство, но уже на второй и третий все казалось будничным, обычным, и за этими стенами виделись другие, те, что памятли были по Калининичам; только в самом начале, когда ходил в военкомат, чтобы стать на учет, получить военный билет и положенную мне как фронтовику, хотя я еще нигде не работал, хлебную карточку, — еще как бы в новизну были немного забытые и радовавшие теперь глаз кирпичные здания на центральной улице и деревянные избы на окраинах, поч-

ти примыкавших к тайге, я останавливался и любовался всем, но спустя неделю ничто уже не привлекало внимания, а мысли как бы сами собою переносили меня в то недавнее прошлое, к тем событиям, которые еще свежи были в памяти, и я в каждом деревянном домике, в том числе и в своей избе, искал и находил сходство с той, что стояла в Калинковичах на въезде со стороны Мозырского шоссе. Переживал я про себя, молча; матери же представлялся каким-то, как я думаю теперь, чужим, непривычно замкнутым, каким никогда не был прежде; сколько раз я ловил на себе ее вопросительно-тревожные взгляды и понимал, что означали эти взгляды, но не мог пересилить себя и только более мрачнел и замыкался.

Я знаю, что думала обо мне мать: она полагала, что все это от вида крови, от страшных картин войны.

«Слава богу, хоть не пьет», — сказала она однажды соседке, и я случайно, сидя как-то у раскрытого окна, дело было уже летом, услышал этот разговор.

«А у Никитиных вон тоже-ть не пьет, а по ночам такие команды выкрикивает, душу леденит».

«Молчит мой, уж что с ним, молчит. Ни на вечера, ни куда, а ведь и невеста была, и хороша, и характером мягка, а уж угодить готова была, да и в жизни пристроена, учительница, но и слышать не хочет».

«Насмотрелся, поди, смертей-то?»

«Уж как не насмотрелся».

«Вот и отбило охоту жить, это бывает так».

«Не знаю что и думать».

«А по ночам кричит?»

«Нет».

«Ну, милая, тебе еще повезло, скажу».

Не раз, конечно, они говорили вот так обо мне, как говорили тогда о своих вернувшихся с войны огрубевших и очерстневших сыновьях и мужьях, наверное, все матери и жены, но что было делать мне? Матери я ничего не рассказывал; я никому ничего не рассказывал, старался забыть все, не думать, не растревлять душу, но только умом и понимал, что думать не надо, а в том незримом мире, вернее, не видимом для других мире, который, я верю, носит в себе каждый человек, продолжал жить прежними тревожными воспоминаниями; и я никак не мог примириться с тем, что комбат опередил меня; мне казалось, что я имел больше прав на Ксеню, что я сделал бы ее счастливее, чем он, потому что чувство-

вал, сколько копилось во мне добра, тепла и нежности к ней. Оттого и был я неразговорчивым и мрачным. Мать же понимала только одно — война сделала меня таким, как будто не ее сыном, она и умерла, знаете, с этой сокрушавшей ее мыслью, так и не узнав правды, и меня теперь запоздало мучает иногда по ночам совесть. Но, может быть, она и была права: конечно же, война! Иначе разве я попал бы в Калинковичи и случилось ли бы со мной все то, что было? Однако я опять забежал вперед; мать умерла спустя почти семь лет после того, как я вернулся, а в ту первую зиму она еще старалась, как она говорила, вернуть меня к жизни, особенно в первые недели, и то и дело напоминала о Раечке, которая жила теперь уже под Читой, в Антипихе, — есть такая небольшая железнодорожная станция с крутым песчаным откосом и высокими соснами, будто рассыпным строем, как атакующая пехота, вбегавшими в станционный поселок, — и вела там первый класс начальной школы.

«А у нас Раечка была, — обычно начинала разговор мать, когда я возвращался после первых и неопределенных еще поисков работы домой. — Привет тебе передавала. Ты что же, забыл ее?»

«Очень хорошо», — отвечал я и уходил к себе в комнату.

Рая приезжала еще и еще, но каждый раз появлялась в доме в те часы, будто специально, когда меня не было, и я узнавал обо всем лишь от матери; не помню теперь точно, что побудило меня, но однажды, уступив советам матери, я все же решил поехать в Антипиху и навестить Раю.

Было безветренно, тепло, как только может быть тепло в декабре, когда пошедший еще ночью снег продолжал устилать, разумеется, уже не первую порошею землю, и от медленно и густо падавших снежинок, от низко нависшего над головою, отяжелевшего темного неба, от вида будто сгрудившихся домов и спешащих по улицам машин, наконец, от людской толчеи, которая, чем ближе я подходил к вокзалу, тоже торопясь, чтобы успеть на очередной отходивший на Антипиху пригородный поезд, тем становилась заметнее, создавалось впечатление сумрачного зимнего вечера, хотя было всего около двенадцати дня; это впечатление довершали горевшие вдоль всего перрона электрические фонари, возле которых кру-

жились, как мошкара, крупные снежные хлопья, и опущенный снегом состав поблескивал в свете этих фонарей. Все вокруг было словно наполнено нашей особенной, сибирской красотой и размягчало душу; есть все же что-то успокаивающее в мерно падающих белых снежинках, и оттого-то, наверное, и во мне все как бы наливалось покоем, умиротворением, я с удовольствием смотрел на заснеженные фуражки проводников, на лица, мокрые, будто вспотевшие от подтаивавшего на щеках снега, и только в самый последний момент, когда состав уже тронулся, вскочил на подножку и вошел в вагон. За окном, пока поезд шел, был все тот же застилавший все белым снег; той же будто медленно и ровно оседавшей пеленою ложился он под ноги, когда я шагал уже среди деревянных домиков маленького станционного поселка, поглядывая на полузалепленные летящими хлопьями номера на фасадах, с трудом разбирая и отыскивая нужный мне. Я не знал, где жила Раиса теперь, но у меня был ее адрес, и в этот воскресный день я надеялся застать ее дома. От вида ли падающего мерно снега, от чего ли другого, но только, как я уже говорил, какое-то именно удивительное спокойствие, даже будто безразличие владело мною: нельзя сказать, чтобы я совсем не думал о прежних своих отношениях с Раей, о наших встречах, в конце концов, о письмах, которые писал ей в первые месяцы с фронта, но воспоминания эти, пока я не увидел самое Раю, не волновали меня. «Ну, учились вместе, — говорил я себе, — ну и что? Разве первая записка, в которой я написал: «Есть билеты в кино. Хочешь? Буду ждать у входа», — но что та записка и что оттого, что Рая пришла тогда?» С какой-то холодной медлительностью, как падавший на плечи снег (я был в шинели; я ведь, знаете, почти три года носил ее, прежде чем сумел заменить на обыкновенное гражданское пальто), и с какой-то, как теперь мне кажется, непростительной и незаметной, разумеется, на лице усмешкой я вспоминал, как мы сидели в тот вечер в зале кинотеатра, какое уж было там кино, я больше поглядывал на нее, чем на экран, и хотел и боялся дотронуться до нее; мне смешно было теперь видеть себя тем глупым, вообразившим невесть что девятиклассником, а главное, когда я спрашивал себя: «Что я нашел в ней хорошего?» — ничего сколько-нибудь разумительного не приходило в голову. «И отличницей не была, — думал я, — разве что стихи умела читать, как никто в классе. Да, стихи, конечно, она умела читать», —

повторял я, чувствуя, как теплотою вдруг отдалось это воспоминание во мне. Она читала их не на сцене, а в классе на уроках литературы, и все мы, обычно повернувшись, смотрели на нее; она жила тем, о чем говорила, свой, особенный мир подымался и играл на ее лице, и я не мог оторвать глаз от нее в такие минуты; чем-то все-таки привлекала же она меня; но мир этот ее был как бы мгновенным и затухал сразу же, как только, закончив чтение и услышав от учительницы: «Молодец, Скворцова, ставлю «отлично», — она садилась за парту; да, мир ее был мгновенным, вспыхивавшим и угасавшим под влиянием проникновенных ли строк поэтов или еще от чего-то, о чем я не знал, да и не узнаю теперь до конца жизни, а у Ксени, которую я не мог мысленно не сравнивать с Раей и которая в сравнении представлялась мне еще более привлекательной и красивой, у Ксени *мир этот* был постоянным, все время жил в ней и, я лишь повторю сказанное, как бы подсвечивал, одухотворял ее лицо; *мир этот* был естественным состоянием ее жизни, я чувствовал и верил в это, хотя к тому времени лишь два раза встречался с ней; и не ошибался, вы узнаете потом, нет, не ошибался, и это только еще раз подтверждает мое предположение, что есть между людьми какое-то бессловесное взаимопонимание; с горечью, не обращая внимания на залепывший глаза снег, я думал, что потеря Ксени равна для меня, в сущности, потере жизни и что, конечно же, ни Рая, ни кто-либо еще не смогут затмить в моем сознании память о ней, но, думая так, продолжал все же шаг за шагом приближаться к дому Раи. Запорошенный сырым, липким снегом, почти один на широкой пустынной улице станционного поселка, я все чаще останавливался возле длинных, барачного типа, рубленных еще до войны изб и, когда, найдя наконец нужный номер, вошел, стряхнув с себя снег, в тусклый, пахнущий кухней коридор, — вдруг так же, как в Калинковичах перед домом Ксени и Марии Семеновны, остановился, ощутив острое желание сейчас же вернуться домой и лечь на притуленный к теплой печи диван, который уже тогда, в те первые прожитые дома недели, стал для меня излюбленным местом дум и воспоминаний; но если в Калинковичах я не решался войти из боязни, как буду принят, помнят ли меня, из боязни, в сущности, отказа, то теперь, когда стоял перед комнатой Раи, опасения совсем иного порядка заставляли меня молча смотреть на обитую черным дерматином

дверь; мне казалось, что, если я сейчас переступлю порог, что-то святое и чистое будет разрушено во мне и что я уже никогда не смогу простить себе этого; но в то же время и уйти я не мог, потому что как бы чувствовал, что за моей спиной стоит мать и смотрит, как смотрела утром, обрадованная, когда провожала меня, и уже только от одного сознания, что своим уходом я огорчу ее, я мучительно морщился. Вот так, в нерешительности, не вполне уверенный, что делаю то, что нужно, я все же шагнул к двери и негромко постучался в нее.

Я застал Раю в том обыденном, домашнем одеянии — халате — и со слегка взлохмаченными, не очень тщательно причесанными волосами, проще говоря, в том виде, в каком женщины, по обыкновению, не любят представлять перед мужчинами, полагая, что выставляют себя в самом невыгодном для них свете, тогда как именно в этой самой *домашности*, без украшений и подмазок, они бывают гораздо привлекательнее, веет от них сущностью жизни, приятным и добрым семейным уютом. Но это так, к слову. Едва только Рая открыла дверь и увидела меня, руки ее мгновенно схватились за неприлично широко, как ей, наверное, показалось, расстегнутый ворот халата, и она запахнула его, потом поправила ладонями прическу, и снова руки ее прижались к груди у ворота. Так же, как и Ксения (есть, очевидно, что-то общее при неожиданных встречах, во всяком случае, хотя бы в произносимых словах), но только не с удивлением, а скорее с испугом на лице и в глазах Рая спросила:

«Ты?»

«Да, я».

«Что же ты не предупредил? Я в таком виде. Ну входи, входи же, как ты неожиданно! Когда ждала, не приходил, а перестала ждать — явился. Ну проходи же!»

Еще когда только собирался сюда, я знал, что жила Рая одна, что комнату эту предоставила ей школа, а что родители так и остались в Чите и лишь изредка, занятые своими делами, приезжали к ней (или она приезжала к ним), и теперь, войдя, раздевшись и присев на предложенный стул, не без любопытства, хотя все с той же, может быть, даже заметной для Раи, холодностью и отчужденностью поглядывал на кровать, шифоньер, стол, на все то, чем и как была убрана и обставлена комната, и в то же время то и дело вскидывал взгляд на Раю, ко-

торая в совершенной, как мне казалось, растерянности, так и не выпуская из пальцев запахнутый на шею ворот халата, издали, от дверей, глядела на меня, она ждала, что я скажу, и я видел и понимал это; более того, я знал, каких слов она ждала, но слов этих у меня не было, и мне жалко и больно было смотреть на Раю. «Ну вот, пришел, — с раздражением говорил я себе, уже не думая о матери, о всех тех причинах, которые побудили меня прийти сюда (было же в мыслях и такое: «Не только на Ксене все сошлось клином!»), а сообразуясь лишь с теми чувствами, какие сейчас возникали во мне и вызывали как раз это самое раздражение. — А для чего пришел? Кому нужна эта неприятная, по крайней мере для меня, сцена? Ведь я же знал, что она... я же знал...» — продолжал я повторять про себя. Все те перемены, которые произошли с Раей с тех пор, как я в последний раз видел ее, я заметил еще в минуту, когда она только открыла мне дверь, и сейчас — то первое впечатление, что она похудела, вытянулась и что от прежней школьницы ничего не осталось, а что передо мною стояла теперь молодая женщина лишь со знакомыми чертами лица, — то первое впечатление все более утверждалось во мне, чем дольше мы молчали и смотрели друг на друга. На вешалке, и это я сразу отметил про себя, когда еще с шинелью в руках подходил к ней, висело аккуратно надетое на плечики все то же черное, с узким беличьим воротничком и опушкой понизу знакомое мне пальто, и Рая, уловив мой взгляд, еще тогда, в ту же секунду, как-то вдруг съежилась, как бы стесняясь этой подмеченной мною бедности; и халат на ней был хотя чистенький, байковый, но заметно потертый, и она стеснялась и этого; да и все в комнате было скромно, бедно, на покрытом клеенкою столе рядом со стопкою ученических тетрадей, которые она, наверное, только что проверяла, стояла ученическая непроливашка с торчавшею из нее тоненькой и, как мне подумалось тогда, еще школьной ее ручкой, и она, видя, как я оглядываю все это, с тревогою и смущением следила за мною. Я понимаю, да и тогда сразу понимал, как бы ей хотелось устроить жизнь и как принять меня, и как раз оттого, может быть, что понимал, от той все больше возникавшей жалости к ней я чувствовал, как что-то далекое, прошлое и пережитое вдруг шевельнулось во мне, и я уже не с холодностью, а, сам того не замечая пока, с участием посмотрел на нее; и сейчас же, знаете, взгляд этот был принят и понят ею, и она сказала:

«Я рада, Женя, что ты пришел, а то я уже начала думать, что ты совсем забыл обо мне. Как ты возмужал, боже мой, — ни на секунду не отрывая от меня взгляда и теперь уже как будто с удивлением продолжила она. — Боже мой! — громче повторила она, и слова эти, которые прежде я слышал только от матери и вообще от пожилых людей, с той же естественной простотою, как они обычно звучали в устах матери, прозвучали в ее голосе. — Чем же мне угостить тебя? Так все неожиданно, вдруг!»

«Ничем меня не надо угощать».

«Это почему?»

«Я ненадолго».

«Что значит «ненадолго»? Я просто не отпущу тебя, столько не виделась, и вдруг ненадолго», — сказала она, все еще сжимая ворот халата, и белые пальцы ее рук, казалось, слились с таким же белым, чуть удлинненным от худобы и наклоненным теперь к груди подбородком. Ей надо было переодеться и уложить волосы, она с беспокойством то и дело оглядывала комнату, где бы можно было сделать это, я видел ее беспокойство, но не понимал, отчего оно (это ведь только теперь, задним, как говорится, числом мне все ясно, а тогда не только это, но и еще многое другое я толковал иначе, чем оно было на самом деле); взять платье и уйти в общий и холодный коридор она не решилась и, в конце концов, только слегка поправив перед зеркалом волосы и заколов ворот халата какою-то перламутровою в виде тоненького листика брошью, принялась хозяйничать у стола и возле электрической плитки. Лицо ее как бы посветлело, когда она расстилала на столе скатерть, раскладывала и расставляла тарелки, стаканы, вилки и ложечки, и я, совершенно не думая о том, как воспримет Рая, что я смотрю на нее, даже, по-моему, сам того не замечая, что делаю, молча и внимательно следил за ней; она готовила омлет из яичного порошка; движения ее были мягкими, красивыми, и происходило это, наверное, как раз потому, что она, чувствуя на себе мои взгляды, все более обретала уверенность, и минуты эти были для нее, конечно, минутами счастья. Не то чтобы она старалась, но все само как-то особенно ладилось в ее руках, и она радовалась этому, была вполне довольна собой, и когда, улучив мгновение, оглядывалась на меня, все эти мысли и чувства были как бы ясно написаны на ее возбужденном и немного раскрасневшемся от этого возбуждения лице.

Она включила электрическую лампочку, чтобы было светлее, и задернула белые ситцевые шторы на окне; когда омлет был готов, достала бутылку водки и банку консервов со свиной тушенкой, которые приготовила и берегла, разумеется, для этой встречи, и, поставив все это передо мной и извинившись, что только вот хлеба маловато, потому что у нее не *рабочая*, а лишь *служащая* карточка, и что она тут ничего не может поделать, попросила открыть консервы и водку.

«Женя, ты же победитель, — сказала она, когда мы, произнеся первый за встречу и сегодняшней вечер тост, выпили и уже закусывали горячим еще и не осевшим омлетом (она-то лишь отхлебнула глоток и, сморщившись и закашлявшись, поставила стакан на стол; да и потом она только пригубляла и морщилась, произнося каждый раз: «Боже мой, как только вы пьете ее!»). — Ты же победитель, — повторила она, — прошел такую войну, выжил, вернулся, ты должен радоваться, а на тебя скучно смотреть. Ты же победитель, — в третий раз проговорила она, глазами, всем выражением лица, как я теперь вижу, стараясь вызвать во мне то самое чувство, какое должно было стоять за этим словом *победитель*. — Ты должен радоваться, а ты!.. Ну уж мы ладно, мы терпели и делали все, чтобы вам было легче там, на фронте, и мы ждали, я говорю «мы», Женя, не потому, что хочу приобщить себя к какой-то большой, общей жизни, но поверь, я знаю, что думали женщины, по крайней мере, матери моих первоклашек, да и сама я, ах, боже мой, да что говорить, мы ждали, что вот вы, вернувшись со славою, вдохнете жизнь во все это обветшалое, — слегка рукою она показала на стены и сторбленный потолок своей барачной коммунальной квартиры, — заждавшееся настоящих мужских рук, а ты какой-то угрюмый, мрачный. Что с тобой?»

«Вдохнуть жизнь», — с усмешкою повторил я, не скрывая ее от Раи.

Мне странными показались тогда ее слова, как бы наполненные неуместной для той минуты приподнятостью, и потому усмешка, хотя Рая еще долго продолжала говорить об этом, все время, пока она говорила, не сходила с моего лица; но теперь я чувствую себя неловко за то свое поведение; ведь я не понимал ее, она казалась мне неинтересной, скучной с этими своими рассуждениями, в то время как в ней теплился свой и по-своему, наверное, красивый мир забот, счастья и горя; я почти не

смотрел на Раю, но будь я чуть повнимательнее, непременно уловил бы проявление этого мира и в словах и в голосе, как она произносила их и глядела на меня при этом, и заметил бы, сколько тревоги, той, что всегда готова перейти в радость от одного только ласкового жеста или слова, было в ее глазах. Мне думается, что, говоря о женщинах и вернувшихся с войны победителях, которые должны были уже лишь своим настроением вдохнуть жизнь во все истосковавшееся и ожидавшее их, она имела в виду себя, свои желания и надежды, но, может быть — и чем дальше отдаляет меня время от того вечера, тем острее я начинаю осознавать это, — она жила общею с людьми жизнью, их мысли были ее мыслями, она не выделяла себя и была права в своих упреках. Мы иногда считаем (я имею в виду мы — фронтовики), что именно нам выпало на долю перенести всю главную тяжесть войны, тогда как вот сейчас, возвращаясь к прошлому и представляя, как все могло быть с Раей, как ей, в сущности еще школьнице, только-только окончившей десятый класс, с нежною, еще не окрепшею в убеждениях душой пришлось окунуться вдруг, сразу, в мир труда, забот, напряжения и горя, как она, в сущности, я говорю, еще школьница, приняв первый класс, заходила в дома к своим ученикам и, разговаривая с родителями, выслушивала их нужды, читала похоронные, и уже в силу того положения, что она — учительница, должна была утешать, ободрять и вселять надежду во всех этих людей, в то время как отец ее уже без ног лежал в госпитале где-то под Куйбышевом и должен был вот-вот вернуться домой, а от брата-танкиста так и не было еще писем с тех пор, как он отправился на фронт, да и я тоже почти перестал писать ей после Калининичей, так вот, возвращаясь к прошлому и представляя себе все, я уже по-другому смотрю на прожитое, и боль, какую причинял в тот вечер Рае, каждый раз, вспоминая, испытываю сам и говорю себе лишь в утешение известную, с позволения сказать, народную мудрость: «Век живи, век учись». В том своем черном заталенном пальтишке с беличьим воротником и беличьей опушкой понизу, которое я хорошо знал, которым любовался когда-то, когда оно еще было новеньким на ней и которое все еще служило ей и теперь, обветшалое и потертое, и висело на вешалке у входа, в подшитых валенках, которые тоже стояли у порога и на которые я часто взглядывал в тот вечер, сидя за столом напротив Раи, я как живую вижу ее бегущей по

морозу от избы к избе и от барака к барaku в маленькой заснеженной Антипихе со ступившими на улицу заиндевельными соснами и снова и снова ощущаю всю ту несправедливость, может быть даже жестокость, с какою я обошелся с ней в тот вечер. Но что я мог поделаться? Я пил и усмехался всему, что она говорила, и, знаете, удивительно, сколько же было в ней терпения, что она как бы не замечала эту мою усмешку. Мне кажется, она делала все, чтобы удержать меня, и старалась понять, что же произошло, отчего я так переменялся к ней, и надежда, что все еще может наладиться, все эти часы, по-моему, пока я был у нее, ни на секунду не покидала ее; под конец она даже решилась на такой шаг, который стоил ей, конечно же, огромных душевных усилий. Все было так, что я не могу без упрека и сожаления вспоминать об этом, потому что, очевидно, причиняя другому боль, человек не может не чувствовать той же боли в себе или, по крайней мере, не сознавать ее, пусть потом, после, спустя день, год или в конце жизни.

А случилось вот что.

Последний пригородный поезд отправлялся из Антипихи в Читу в двенадцать тридцать ночи, и я, подчиняясь настоянию Раи, согласился ехать этим последним поездом. Было еще только начало одиннадцатого, когда она, по-своему, наверное, истолковывая мое мрачное настроение и желая еще хоть чем-то угодить мне, предложила прилечь на кровать и отдохнуть. «Ты же устал, я вижу, чего уж тут», — говорила она, снимая и аккуратно складывая голубовато-светлое покрывало с кровати, и хотя я не чувствовал себя усталым и в голове, казалось, все было ясно и чисто, я поднялся из-за стола и, охотно входя в эту предложенную роль утомленного и огрузневшего от угощений человека (так легче было скрывать свои чувства от Раи), не раздеваясь и не снимая сапог, прилег на кровать и свесил к полу ноги. Сначала я лежал с открытыми глазами, потом прикрыл их, некоторое время еще прислушиваясь к тому, о чем говорила убиравшая со стола Рая, но я уже как бы погружался в тот мир дорогих мне воспоминаний, который и в этот вечер, да и потом многие годы, что бы я ни делал и о чем бы ни думал, постоянно жил во мне и волновал меня. Иногда Рая спрашивала, перебивая себя: «Ты слышишь, Женя?» — и, не дождавшись ответа и не замечая, что я уже не слушаю ее, продолжала свое. Но в какую-то минуту, наверное, вдруг почувствовав, что я

совершенно не участвую в разговоре, громко спросила:

«Женя, ты что, спишь?»

Я не ответил.

«Ты спишь, Женя?» — повторила она и, чуть выждав и снова не услышав ответа, оставила свое занятие и тихо, на цыпочках, подошла ко мне.

Прошло столько лет, а я хорошо помню, как она, наклонившись и разглядывая мое сонное, как ей казалось, лицо, погладила волосы, прикоснувшись ладонью ко лбу, и мне приятно было это прикосновение; подбородком, щеками, прикрытыми веками чувствовал я на себе ее дыхание, близость ее ласково, конечно, смотревших на меня глаз, и все это тоже вызывало приятное ощущение. Я все еще продолжал думать о Ксене, но вместе с тем представлял себе все то, что делала Рая, — не только выражение ее глаз, не только движение рук и губ, когда она, все еще склоненная надо мной, со знакомой уже и теперь особенно трогавшей естественностью и простою произнесла не раз за сегодняшний вечер слышанное мной «боже мой», относя это уже к тому, как я быстро заснул, но и то, как за провисшим воротом халата должна была проглядывать сейчас оголившаяся до груди ее худая, высокая и, как мне казалось, красивая белая шея; я не только как бы следил за внешними движениями, определяя по звукам, как Рая отошла и, еще убрав что-то со стола и поставив в шкаф, вернулась и принялась стаскивать с меня сапоги, отстегивать ремень и портупею, но и за тем ходом ее чувств, какие она испытывала в минуты, когда, выключив свет и сбросив халат, вся теплая и доступная, съезжившись, укладывалась возле меня на кровати; я понимал, на что она решилась и чего ждала от меня, но не шевелился, сам не зная пока, для чего, может быть, чтобы уловить еще какое-то новое подтверждение ее любви ко мне, что ли, старался как бы продлить у нее то впечатление, будто я действительно сплю и ничего не чувствую и не слышу. Она прижалась щекой к моему плечу и представлялась мне маленьким, доверчивым и беззащитным существом, в котором беспокойно и гулко, так, что, казалось, было ясно слышно в густой темноте комнаты, билось сердце. «Боже мой, — машинально, лишь потому только, что слова эти произносила Рая, мысленно проговорил я себе, — и это она, та самая, на которую я когда-то смотрел на уроках и на переменах в школьном коридоре как на божество, зами-

рая чистой (но я говорил, конечно — глупой) мальчишеской душой!» Я лежал тихо, не ворочаясь, и она, пригревшись, тоже лежала спокойно и, конечно, так же, как и я, не спала, и, наверное, десятки разных дум и надежд возникали в ее голове; я не знаю, что переживала она, но ожидание счастья, это знакомое всем нам чувство, каждому человеку, особенно когда счастье кажется действительно реальным и остается сделать к нему лишь один шаг, — это чувство близости счастья, несомненно, заглушало в ней все иные и то морозцем, потому что я чувствовал, как временами словно дрожь пробегала по ее телу, то жаром, потому что я ощущал и это, как бы вдруг вспыхивавшее тепло, отдавалось в ней. Я совершенно далек от мысли, что ей просто хотелось провести со мной ночь; ни тогда, ни теперь я не могу представить себе такой Раю; перед ее глазами в те минуты, наверное, проходила жизнь, прошлая, девичья, с мечтами и планами, и она воображала меня, каким казался я ей тогда и каким оставался в памяти вплоть до сегодняшнего вечера, и вставали картины ее бытия в Антипихе, и уже новые и не такие возвышенные, как прежде, а основанные на познанной сложности и трудности жизни виделись мечты и надежды, она выстраивала, складывала свою судьбу, тревожась и радуясь, и мне теперь, искренне говоря, жаль, что это ее состояние так ясно я понимаю лишь сейчас, вернее, понял потом, спустя много лет, вспоминая, а не тогда, когда, доверчивая и беззащитная, жаждавшая и ожидавшая от меня счастья, она лежала рядом со мной. Не опасаясь, что она может заметить, я открыл глаза и смотрел в темноту, то видя временами синий просвет окна, как будто где-то далеко за лесом, за снежными сугробами светлую полосую уже начинал брезжить рассвет (на самом же деле это за крышею соседнего барака горел электрический фонарь на столбе, и слабый свет от него, притушенный все еще густо порошившим снегом, падал на окно), то временами как бы не было ни синеющего окна, ни темноты комнаты и даже как будто ни лежащей рядом Раи, а я видел себя бегущим к избе там, в Калинковичах, и вот уже держу в ладони приподнятую от снега голову Ксени, и выражение ее лица, молящее выражение глаз: «Видите, а вы не верили и не хотели брать меня», — как упрек, поднимали во мне всю ту прежнюю, уже пережитую боль. Я прислушался, как дышит Рая, и в то же время весь как бы переносился в тот фронтной вечер, когда

сидел рядом с Ксеньей, и серебристо-серые косы (я уже говорил вам, что серебрились они от света керосиновой лампы, висевшей над столом) и то счастливое лицо Ксении опять и опять словно наплывали на меня; морозное крыльцо, и ощущение холодных перил под ладонью, и ощущение гашетки, как я нажимал на нее, стреляя по немецким самоходкам, и прыгающая с крыши Ксения, и Рая в своем заталенном черном пальто с узким белым воротником, и мать, дремавшая на стуле перед остывшим праздничным ужином тогда, зимой сорок второго на сорок третий, когда я уезжал в военное училище, и ее счастливые глаза теперь, когда я сегодня утром сказал ей, что еду к Рае, и слова Марии Семеновны, что я *опоздал*, и как будто извиняющийся голос бывшего моего комбата капитана Филева: «Но я не мог иначе, пойми!» — все попеременно, вне всякой последовательности прояснялось и угасало, и я ни на чем не мог остановиться, чем более думал обо всем, и чувствовал лишь, что мне жарко, и капельки пота, неприятно щекоча, скатывались со щеки по шее на подушку. Не знаю, долго ли я пролежал так; как будто долго; но постепенно, хотя спать, как мне казалось, я не хотел, все расплывчивее и приглушеннее виделась мне картины, все неслышнее становилось дыхание Раи, и я не заметил, как задремал и заснул. Когда же проснулся, было утро и Рая, уже успевшая сбегать в магазин за хлебом, готовила завтрак.

Как только она заметила, что я поднялся и сел на кровати, она подошла ко мне, вся улыбающаяся, счастливая и совсем не похожая на ту, какой я видел ее вчера вечером, и сказала:

«Доброе утро, Женя. Как спалось?»

«Ничего, спасибо».

«Сейчас будем завтракать», — прибавила она, глядя на меня все теми же светившимися счастьем глазами.

Но в то время как она чему-то (я недоумевал чему) радовалась, я чувствовал себя неловко уже оттого, что сидел перед ней в помятой и расстегнутой гимнастерке; чтобы не смотреть на Раю, а главное, не выказывать своего смущения («Как же я заснул», — говорил я себе, живо припоминая подробности и морщась), я подтянул сапоги и начал обуваться. Пока накручивал портянки, Рая стояла рядом, и хотя я не видел ее, а лишь чувствовал, что она смотрит на меня, но, знаете, стоит мне хотя бы вот сейчас на минуту прикрыть глаза, как она — вся

та, нарядная — снова как бы оживает передо мною. Она была в голубом, с белой отделкой платье, сшитом, наверное, специально для этой нашей встречи, и волосы были причесаны так, что делали ее лицо чем-то очень похожим на прежнее, школьное, какое когда-то нравилось мне, я уловил это, и на мгновение даже старое и забытое уже чувство к ней будто шевельнулось во мне, но именно только на мгновенье, потому что более всего занимало меня то, в каком, как мне казалось, нехорошем и двусмысленном положении я был теперь перед Раей. Оттого, что я не понимал, чему она радовалась, уже сама эта радость ее вызывала неприязнь и раздражение. «Как же я заснул, черт!» — продолжал я говорить себе, не находя ничего другого, и Раины хлопоты с завтраком тоже представлялись мне излишними и ненужными.

«Я тороплюсь, — сказал я Рае, подходя к вешалке и снимая шинель. — Все, конец, надо прервать это состояние и мысли», — для себя продолжил я.

«Как? А завтрак?»

«Я тороплюсь», — повторил я.

«Но хоть чаю выпей».

«Не могу».

Я надевал шинель, застегивал пояс и опять не смотрел на Раю; но когда перед тем, как проститься и открыть дверь, взглянул на нее — лицо ее уже не светилось, как только что, счастьем; но и ни отчаяния и ни испуга тоже не было в глазах, а смотрела она тем особенным, присущим только нашим, русским женщинам взглядом, в котором улавливалось не то чтобы смирение, а какое-то глубокое спокойствие перед тем, что совершилось, и только руки она вновь держала прижатыми к груди возле шеи, как будто стесняясь, как вчера в минуту встречи, когда запахла ворот халата, и, пожалуй, лишь только это движение ее рук выдавало в ней то чувство, какое на самом деле должна была испытывать она; сейчас я это хорошо понимаю и даже могу вполне представить себе мир ее мыслей, но тогда, мрачно и поверх ее плеч глядя на невзрачный, старый и выцветший коврик, прибитый над кроватью, я сказал: «Извини, я тороплюсь. Извини», — открыл дверь и вышел в коридор. Но в коридоре что-то еще как будто заставило меня задержаться у двери, я прислушался; в комнате не раздавалось ни звука, и тогда, как бы подчиняясь этой тишине, медленно, стараясь не стучать каблуками, я прошел по коридору к выходу.

Час пятый

— Может быть, это только у меня такой характер, — переживать за все и за всех, — продолжал Евгений Иванович, — но уж так было, что ни в тот день, когда вернулся от Раи, ни во все последующие, пока устраивался на работу, я не мог не думать о ней, и в то время как мне казалось, что я поступил правильно и что всякое другое решение было бы невозможно и отвратительно для меня, — как только оставался один (дома или где-нибудь в приемной, ожидая очереди, но особенно по вечерам, перед сном, когда, погасив свет, еще лежал с открытыми глазами), я постоянно как бы видел перед собой Раю в той позе, с прижатыми к груди возле шеи руками, как оставил ее, и то ли жалость, а точнее, даже не жалость, а будто все то состояние, что испытывала и о чем думала она в то утро (мне же все это было, в сущности, знакомо, я ведь пережил это в Калинковичах), охватывало меня, и я уже мучался и за себя, вспоминая по-прежнему Ксеню и бывшего своего комбата, и за Раю, потому что причиной ее рухнувших надежд был сам, и по утрам, мрачный и неразговорчивый, стараясь обходить взглядом мать, торопливо завтракал и убегал из дому. В довершение ко всему я чувствовал себя виноватым и перед матерью, которой так хотелось, чтобы я был счастлив, и которая, как все, наверное, матери на земле, по-своему понимая мир и людей, видела именно в ней, в Рае, мое счастье.

Когда в тот день мать открыла мне дверь, она с удивлением спросила:

«Один?»

«Да, мама».

«Вы что, поссорились?» — тут же добавила она, потому что нельзя было не спросить этого, глядя на меня.

«Нет, с чего ты?»

Она ожидала нас вместе, готовилась, и потому ее, конечно, особенно огорчило, что я пришел один, но она больше ничего не сказала, а лишь, вздохнув, принялась за свои домашние дела; и на другой день и на третий тоже ничего не говорила, но я постоянно, как только бывал у нее на глазах, ловил на себе пристальные взгляды, словно она, присматриваясь, как чужого, изучала меня.

Работать я устроился грузчиком на товарную станцию, а с осени пошел учиться в вечернюю школу, потому что надо было еще закончить десятый класс, прежде чем думать об институте; короче говоря, надо было сначала начинать жизнь, и я, знаете, как ни было тогда трудно, всегда с удовлетворением вспоминаю те годы, они кажутся мне удивительными уже тем, как в лишениях и нужде мы настойчиво стремились к цели. Работа и учеба отнимали столько времени, что, в сущности, некогда было думать ни о Ксене, ни о Рае, да, мне кажется, тогда я действительно как бы забыл о них, и на душе было просветленно, легко, хотя физически уставал иногда так, что вечером, когда приходил домой, не хотелось ни раздеваться, ни ужинать, я прямо в гимнастерке, лишь сбросив сапоги и шинель, валился на кровать и засыпал тут же, мгновенно, ни о чем не думая и не тревожась. Я не повторял слова Раи *«вдохнуть жизнь»* и вообще, как мне кажется, не вспоминал о том нашем с ней разговоре, вернее, о ее упреках, которые вызвали во мне тогда лишь усмешку; но именно они, эти слова, были и остаются теперь, как бы сказать точнее, вроде движущей пружиной в моем сознании, и обязан я этим, конечно же, Рае. Сейчас, спустя столько лет, я говорю это особенно уверенно. В каждом человеке, очевидно, само собою живет такое чувство, но иногда до поры до времени остается неразбуженным, и самое страшное, если остается неразбуженным навсегда. Зимой ли, летом ли, в одних и тех же жестких брезентовых рукавицах, на разгрузке или на погрузке, куда бы ни направлял бригадир, я испытывал то самое чувство — *вдохнуть жизнь*, — какое как раз и делало радостной и работу и жизнь. Я прыгал с подножки крана на крышу контейнера, прицеплял крючья и, подняв руку и крикнув «Готово!» — снова, едва успевали натянуться тросы, стоял уже на подножке, и негромкий скрежет этих тросов, скрип плывущих контейнеров, стук колес крана на рельсах, наконец, вся видимая мне как бы с высоты жизнь товарного тупика представлялась частицею огромного, набирающего мощь организма. Да, вот так я вижу теперь то свое прошлое. А может, каждому поколению своя молодость всегда видится особенной? Во всяком случае, не только на работе, но и в школе, а позднее и на лекциях в институте, и в публичной библиотеке, где я просиживал за книгами вечера и воскресные дни, принося с собой карандаши, тетради и завернутый в бумажку ломтик серого хлеба, нама-

занный маргарином, я постоянно испытывал все то же чувство, какое как бы *вдохнула* (видите, я даже теперь употребляю ее слова) в меня Раю, не зная, наверное, сама того, всем своим поведением, как она держалась в тот вечер, всей своей жизнью, как мы теперь называем, тыловика, какую жила она и какая давала ей право на возвышенные слова. Но, еще раз повторяю, все это понял я потом, а тогда главные впечатления моей только начинавшейся, как я считаю сейчас, жизни были связаны с войной, с Калининичами, с Ксеньей; там все было понятно и близко, а этот мир, то самое, что Филев называл «тянуть гражданку», — этот мир был как бы далек от меня, я только начинал познавать его, и как первое соприкосновение с ним, так, впрочем, и второе, и еще более запомнившееся, было связано у меня с Раей.

Тогда я только еще заканчивал первый курс института. В один из холодных дождливых вечеров, вернувшись из публички, где подбирал материалы для курсовой работы, я застал мать какую-то непривычно встревоженной и грустной. Она была в черном платье, как в памятный для меня день, когда мы получили похоронную на отца, я заметил этот ее траурный наряд сразу же, едва вошел в комнату, и еще от порога, сняв с одного лишь плеча шинель и так и замерев в нехорошем предчувствии, проговорил:

«Что-нибудь случилось, мама?»

«Да».

«Что?»

«Рая умерла».

Я повесил шинель и прошел в комнату.

«Отчего?» — спросил я, мгновенно вспомнив все, что было когда-то между мной и Раей, и еще совершенно не зная, отчего она умерла, но невольно связывая тот свой поступок, когда я ушел от нее, с ее смертью. «Что за чушь», — про себя проговорил я, отгоняя нелепую и, казалось, невесть с чего взявшуюся мысль, и снова спросил у матери:

«Отчего?»

Не уверен, что мать не слышала вопроса, но только она ничего не ответила, молча собирая на стол, и можете себе представить, как подействовало на меня это ее молчание. «Да нет, что за ерунда, прошло два с лишним года, что за ерунда», — продолжал я говорить себе. Мысль эта, что я виноват в смерти Раи, конечно же, была неле-

пой, но, вдруг возникнув, до самой ночи, пока не заснул, не покидала меня; тем более, что когда я еще в третий раз попытался было узнать, отчего же все-таки умерла Рая, мать так и не ответила, а лишь, выбрав момент, когда еще сидели за столом и ужинали, сказала:

«Завтра похороны, надо пойти попрощаться».

«Надо бы, — ответил я и тут же, так как мать, как мне показалось, с осуждением посмотрела на меня, торопливо добавил: — Конечно, пойду. Надо сходить, а как же».

В тот вечер, знаете, я не подумал, каким образом мать узнала о смерти Раи; мне казалось, что с тех пор, как я уехал от Раи из Антипихи, она никогда не бывала у нас в доме, да и мать как будто не ездила к ней, и никогда не возникал вообще разговор о Рае; она не существовала для меня, а значит, и для матери, так полагал я, но ошибался. Теперь, конечно, когда ни Раи, ни матери нет в живых, я не могу установить, как и что было, Рая ли приезжала к нам, мать ли ездила к ней, чувствуя какой-то долг перед нею, но то, что они встречались, это несомненно, и можно представить, о чем они говорили, как сокрушались, думая обо мне, тогда как я ничего не знал об этом; мне страшно иногда бывает теперь, что я не замечал ничего, живя своим миром, в то время как рядом существовал огромный и мучившийся мир Раи. Не в этом ли и состоит ужасающее человеческое равнодушие? Или, может быть, не всегда, очевидно, и не между всеми людьми есть бессловесный язык, понимание, какое возникло с первой же, кажется, минуты встречи у меня с Ксеной и какого не было между мной и Раей, даже между мной и матерью, но какое появилось потом, вернее, теперь, когда их уже нет, когда все позади, а появилось, наверное, для того лишь, чтобы приносить страдания. Я говорю «страдания», но ведь если бы жизнь могла повториться, если бы вновь я пришел к Рае, — даже при всем том, что я понимаю теперь, я не мог бы поступить иначе, чем так, как поступил, я знаю, это и оттого, может быть, и мучаюсь, что живу не как все, не разуму подчиняюсь, а чувству, иногда минутному и ложному. А может, мне только кажется, что все в жизни я делал да и продолжаю делать не так, как нужно, но что, напротив, все это естественно и не должно и не может быть иначе?

Дождя не было, но тучи, черные и низкие, неслись

над самыми крышами, и холодный, пронизывающий ветер, казалось, срывал с петель ставни, хлопая ими о бревенчатую стену избы, скрипел калиткой, наваливаясь на нее то с улицы, то со двора. Несколько секунд я стоял на крыльце, прислушиваясь к этим порывам, пока мать заперла комнату, а когда уже вместе с ней очутился на тротуаре, где ветер как будто дул еще сильнее и буквально окатывал лицо сырым и промозглым воздухом, ссутулясь, втянув, как говорится, голову в плечи, я поднял воротник шинели и так, глядя лишь себе под ноги, прошагал почти до самого дома Раи. Может быть, не так уж и было холодно, но удрученное состояние, в каком находился я с самого утра, как только поднялся с постели (все вчерашние мысли и чувства, как лента, как, знаете, конвейер, который только остановили на ночь, снова пришли в движение с началом дня и жизни), заставляло ежиться, мне было жаль Раю, я снова видел ее перед собой со вскинутыми и прижатыми к груди у шеи руками, какой оставил в то уже давнее утро, и жест ее был сейчас особенно ясен мне (как когда-то был ясен взгляд Ксени, когда она, прыгнув с крыши, лежала на снегу и я, подбежав, приподнял ее голову), словно она говорила: «Не уходи, Женя, я не могу одна, со мной непременно что-то случится, не уходи!» Все попытки отвлечься и не думать об этом не приводили ни к чему; идя к Рае и зная, что она лежит сейчас в гробу, я не мог, разумеется, размышлять ни о чем другом, кроме как о ней; иногда я посматривал на мать, которая шагала рядом и тоже, закутанная в шаль и как будто сгорбленная на встречном ледяном ветру, глядела себе под ноги и молчала. Она была худа и тогда уже безнадежно больна и знала это (только я ничего еще не подозревал, потому что она никогда не жаловалась, лишь постепенно и как бы незаметно для меня слабея и усыхая), а смерть Раи, наверное, лишь усугубила ее болезнь; во всяком случае, так я думаю теперь, да, пожалуй, так оно и было, и я, как бы ни хотел, не могу снять с себя эту тяжесть. И еще одно обстоятельство, над которым я тогда не задумывался, часто тревожит меня сейчас: как, каким образом и когда (может быть, в войну, а может, уже потом, после того как я ушел от Раи) мать познакомилась с Раиными родителями — Петром Кирилловичем, когда-то веселым, красивым и разговорчивым, каким я знал его, банковским служащим, а теперь безногим, беспомощным, передвигающимся на роликовой тележке, ка-

ким, ужаснувшись, увидел его в это утро, инвалидом, и Лией Михайловной, тоже когда-то красивой и теперь поседевшей от бед женщиной; мать бывала у них и когда Рая еще была жива, и потом, когда ее не стало, а когда умерла сама, и Лия Михайловна и Петр Кириллович приехали на инвалидной машине на ее похороны, я это хорошо помню, и проводили до самой могилы. Они встречались, разговаривали, дружили, может быть, надеясь еще на что-то, а я ничего не знал; со мной лишь здоровались, не больше, а в сущности, обходили молчаливым, и это, тогда как-то не замечавшееся, чему я не придавал значения, теперь, естественно, видится по-другому и тоже лежит грузом на сердце. Да, тогда я на многое не обращал внимания и, шагая рядом с матерью, был совершенно далек от мира ее восприятий и чувств, и только свое собственное — даже еще не смерть Раи (весь смысл того, что ее уже нет в живых, я ощутил лишь в минуту, когда, стоя перед гробом, смотрел на ее лицо), а то, что я ушел, бросив ее в *том* состоянии отчаяния и растерянности, — подавляло меня.

До войны я бывал в доме Раи; теперь, когда мы с матерью, войдя во двор, поднимались на крыльцо, как ни был я занят своими мыслями, не мог не заметить, как все здесь обветшало за эти годы, потемнело, словно осело в землю: и дровяной сарай со свисавшими с крыши лохмотьями толя, и крыльцо с давно не крашенными, почерневшими и потрескавшимися от ветров, дождей и морозов перилами, и сама изба с завалинкой, поднятой для тепла до подоконников; да и в комнате, куда, протиснувшись сквозь толпу молчаливо стоявших в сумрачных сенцах людей, мы вошли, тоже все показалось обветшалым и мрачным — может быть, от людской тесноты, оттого, что люди заслонили спинами и без того слабо пропускавшие дневной свет низкие и завешенные густым тюлем окна. Но не это, разумеется, не обветшание было главным, что поразило меня; тогда, после войны все мы жили еще бедно и с трудом, с натяжкой входили в привычное житейское русло; я увидел установленный посреди комнаты на табуретках гроб, некрашенный, сосновый, — я говорю так уверенно «сосновый» потому, что, несмотря на духоту, какая была в комнате, и на то, что покойница уже более суток находилась здесь после того, как ее привезли из больницы, смолистый запах свежеструганных сосновых досок еще ясно чувствовался в воздухе. Многие, я знаю, радуются, когда

пахнет обструганной сосной, потому что уже сам запах этот несет какое-то обновление, а для меня он так с тех пор и остался запахом смерти, похорон, горя. Я остановился тогда сразу, как только переступил порог, и несколько мгновений смотрел издали, из-за чьего-то плеча, а потом, следуя за матерью, прошел ближе к изголовью. Гроб был накрыт белой простыней, и под ней заметно бугрились сложенные на груди руки Раи; я медленно как бы двигался взглядом по простыне через эти бугрившиеся руки к лицу, не замечая пока никого и ничего вокруг и только чувствуя, как все во мне словно замирает от напряжения; я боялся взглянуть на ее лицо; что я мог прочитать на нем: упрек ли, осуждение или усмешку: «Не ожидал? Мучайся теперь!» — или вообще просто страшно было вдруг увидеть ее лицо мертвым, не могу ответить, но, так или иначе, даже теперь, когда, вспоминая, рассказываю об этом, то же напряжение, та же боязнь как будто вновь нарастают во мне, и вот-вот, мгновение, еще мгновение — и передо мною откроется ее лицо, вся ее тщательно причесанная худенькая головка на иссиня-белой подстилке гроба. Не могу сказать, как я выглядел, наверное, был бледен так же, как мать Раи, как ее отец Петр Кириллович, как большинство из тех, кто пришел проводить Раю (как потом я узнал, в основном это были ее сослуживцы, учителя и многие родители ее учеников), я все еще не замечал никого и ничего вокруг и, чуть выдвинувшись вперед (разумеется, не замечая и этого, что был теперь у всех на виду), смотрел на Раю; я не увидел на ее лице ни упрека, ни осуждения; как все лица мертвцов, оно показалось мне в первые секунды спокойным и невыразительным, как будто она спала, и только та особенная мертвенная синева проступала на щеках, губах, подбородке; но вместе с тем в те же первые, кажется, секунды я почувствовал, что спокойствие на ее лице неестественное, напускное, как, знаете, когда человек, желая скрыть свои тревоги, как бы накидывает на себя маску равнодушия, и я понял, что то, как Рая жила, наверное, последние месяцы, скрывая за внешним спокойствием свое душевное состояние, так и сохранила все на лице, чтобы даже теперь, когда мертва, никто не мог проникнуть в мир мучивших ее тревог и желаний. Чем дольше я вглядывался, тем яснее становилось мне это ее предсмертное желание, и потому, что я еще не знал настоящей причины ее смерти, виновником всех ее страданий еще более считал себя, и все во мне сжималось от

жалости, отчаяния и боли. «Боже мой», — про себя повторил я те самые слова, какие говорила тогда при встрече Рая, не осознавая, конечно, что это ее слова, не вдумываясь в смысл, а просто вкладывая в них все то чувство, какое испытывал теперь, стоя перед гробом. А в комнате было тихо, никто не плакал, не всхлипывал, и это тоже производило гнетущее впечатление. Мать Раи сидела у изголовья покойной, прямо напротив меня, на той стороне гроба, вся в черном, сгорбленная и неподвижная, и молча и неотрывно смотрела на дочь; пальцами она как бы придерживала темный платок у шеи, и этот уже знакомый мне жест растерянности (как Рая, точно так же, когда я уходил от нее) я тоже до сих пор не могу забыть! Отец же Петр Кириллович, без ног, как обрубок, сидевший на своей плоской и низкой роликовой тележке, бледный и также растерянный от неожиданно свалившегося на семью горя, не понимая, очевидно, того, что делает, то прокатывался от изголовья к ногам гроба, и роликовые колесики скрипели и повизгивали на деревянном полу, то катился обратно, упираясь руками в пол, и, остановившись, вдруг поднимал седую и взъерошенную голову и смотрел на свисавшую по краям гроба простыню.

Около полудня к дому подъехала накрытая полинялым ковриком повозка (тогда, знаете, не было еще, по крайней мере в нашем городе, специальных похоронных машин, и покойников не сжигали, как теперь, а отвозили на городское кладбище, где, в сущности, был свой *город* из деревянных, железных и каменных крестов, оградок, памятников и буйной, как всегда на погостах, зелени); четверо мужчин, незнакомых мне, очевидно соседи, пришедшие помочь безногому Петру Кирилловичу, подняли на полотенцах гроб и осторожно, пригибаясь в дверях, начали выносить его на улицу, и опять — ни вскрика, ни плача, ничего, что обычно сопровождает похороны и что было бы естественно и, если хотите, облегчило бы душу, а все делалось молча, как-то приглушенно, когда что-то надо было непременно сказать, то произносили шепотом, и мать Раи Лия Михайловна, так и не выпуская из пальцев темный платок, с совершенно обескровленным лицом смотрела, как словно уплывал, покачиваясь на полотенцах, некрашенный — концы простыни уже не висели, а были подобраны и подоткнуты — гроб с телом дочери. Первым за гробом, не разрешив никому помочь себе, двинулся Петр Кириллович; развернувшись боком, как

было, наверное, привычно ему, он будто ссаживал себя вместе с привязанной к телу тележкой со ступеньки на ступеньку крыльца, работая лишь руками, и все, остановившись, следили за ним; лишь когда выкатился за калитку и оказался у повозки, те же, что несли гроб, мужчины приподняли его и усадили рядом с покойной дочерью. А Лию Михайловну вывели под руки. «Ты плачь, плачь», — кто-то говорил ей, но она ничего не слышала, для нее не существовало, наверное, ни этого голоса, никого, кроме установленного на повозке гроба, к которому подводили ее. Холодный и пронизывающий ветер по-прежнему, как и утром, гнал низкие темные тучи над крышами, сметал к оврагам уже подсохшую после вчерашнего дождя жухлую прошлогоднюю листву, трепал концы платков, отворачивал полы пальто и шинелей, порывами как бы налегал на спины, торопя и лошаденку, которая тянула повозку, и кучера, который шагал рядом и, забросив вожжи на круп, своим шагом направлял движение лошади, и всей тянувшейся за повозкой процессии; я помню так хорошо эти подробности, может быть, потому, что для меня похороны были не просто утратой близкого человека, как для всех тех, кто пришел проводить в последний путь Раю, но утрата эта с каждым часом, казалось, все сильнее связывалась с чувством вины перед Раей, перед ее отцом Петром Кирилловичем, перед матерью, перед всеми, кто шел сейчас на кладбище и кого я видел перед собою, не замечая лишь одного: что не только не горбился теперь на ветру и не поднимал воротника шинели, а, напротив, как стоял в комнате расстегнувшись и держа за спиною в руках фуражку, так и шагал рядом с какими-то людьми, очевидно Раиными сослуживцами, которые были в шапках и с закутанными в шарфы шеями, и производил на них (это я сейчас, вспоминая их взгляды, думаю) странное впечатление. Но что мне было до них? Я говорил себе: «Вот и все, и нет мира: ни того преходящего, когда она читала стихи, ни этого, которым мучилась перед смертью», — и снова, может быть, уже в десятый раз только за эти часы, вспомнились мне вечер и ночь, та, зимняя, когда я заснул на ее кровати, и утро, как уходил от нее, и я отчетливо представлял себе, что не было и не могло быть ничего ужаснее для Раи, чем то, как я поступил с ней. Я не исключал той возможности, что она умерла от болезни («Да, пожалуй, так оно и было», — думал я), но это ничуть не оправдывало меня; мне казалось, что

если бы не произошло того, что случилось, если бы она была рядом со мной, ничто не сломило бы ее, потому что в каждом человеке есть, так сказать, цепкость жизни, сознание, что ты нужен кому-то, что приносишь радость уже тем, что живешь, и эта сила неодолима в человеке, она способна побороть любые болезни; мне казалось, что и сам я никогда бы не допустил ее смерти, будь рядом с ней, ибо я тоже чувствовал в себе ту самую силу жизни; в общем, целая философия, конечно, примитивная и не новая, но для меня тогда как бы открывавшаяся заново и потому обретавшая власть над мыслями, выросла в сознании, и я, шагая в толпе провожающих за гробом, в одно и то же время как будто и отмечал про себя все, что делалось вокруг, когда пересекли ворота городского кладбища и когда остановились у свежеврытой могилы, и вместе с тем тяжело, с болью нагромождал в себе эту запоздало обнадеживающую философию *силы жизни*. Только неожиданный и резкий вскрик Лии Михайловны, когда двое могильщиков (рабочих кладбища), накрыв крышкой гроб, начали приколачивать ее, как бы вдруг разбудил меня, и я отчетливо услышал и стук молотков, и шорох подсовываемых под гроб канатов, и говор рабочих: «Приподними-ка, еще чуток, еще», — увидел ясно, как бывает, когда после мутного изображения вдруг поймана точка резкости в объективе, и Лию Михайловну, которую, отнеся на руках от могилы и уложив на землю, старались привести в сознание, и с трудом подкатывавшего к ней на своей роликовой тележке по сырой и рыхлой земле Петра Кирилловича, а в это время кто-то из мужчин, тех, что выносили из дому покойницу, торопил спускавших на веревках в могилу гроб рабочих: «Побыстрее, товарищи, можно побыстрее», — и эти слова его «побыстрее» не только не казались странными, потому что где-где, а уж на похоронах все должно делаться размеренно и безо всякой поспешности, но, напротив, представлялись самыми естественными и нужными для данной минуты. Широкими грабарками захватывая влажные комья, рабочие швыряли их в могилу, и было слышно, как эти комья дробно ударялись о крышку гроба; я не знаю, что означает обычай, когда бросают горсть земли в могилу, но все делали это молча, с непокрытыми головами подходя к краю могилы; бросил горсть земли и я, затем стоял и смотрел, как заполнялась яма и вырастал холмик, который могильщики утрамбовывали и оглаживали тыльными сторонами гра-

барок. Все это делалось, как мне кажется и теперь, действительно в какой-то спешке, чтобы, наверное, прервать страдания матери и отца, и тем не менее, когда все было кончено, никто не осмелился воспротивиться желанию Лии Михайловны побыть еще последние минуты с дочерью, полежать, припав грудью к сырому и холодному могильному холмику, и поплакать; спина ее вздрагивала от рыданий, а рядом с нею, как будто вкопанный по пояс в землю, молча и с опущенной головою сидел на своей тележке безногий Петр Кириллович.

С кладбища почти все направились к дому Лии Михайловны и Петра Кирилловича.

Я шел медленно, чуть приотстав от всех, и так уж случилось, что рядом со мною в какую-то минуту опять оказались те самые с закутанными в шарфы шеями Раины сослуживцы по школе, учителя, с которыми лишь час назад шагал сюда, на кладбище. Один из них, назвав другого Юрием Лукичом, сказал:

«Ужасная смерть, не правда ли?»

«Да, — подтвердил Юрий Лукич. — Но ведь на это надо было мужество, — добавил он и, заметив, как я удивленно и вопросительно посмотрел на него, уже обращаясь ко мне, спросил: — Вы разве не знаете, как она умерла?»

«Нет», — ответил я.

«В самом деле не знаете?»

«Нет», — снова проговорил я.

«Да что вы! — как будто даже оживляясь, сказал Юрий Лукич. — По логическому построению фактов... — продолжил он, повернувшись сначала к своему коллеге, затем опять ко мне и тем как бы давая понять, что хочет высказать нечто такое, что должно заинтересовать не только меня. — По логическому построению, а я привык в таких случаях мыслить только логически, вырисовывается следующая картина: кто-то жесточайшим образом, с кем она сошлась близко, обманул ее и бросил, а она к тому времени была уже в положении, и что? Аборт? Но на это она не могла решиться, потому что в ее понимании, как я думаю, это должно было звучать равнозначно убийству, и тут вдруг — ребенок рождается мертвым. Удар, да еще какой! Итак, в итоге: первое — бросил, второе — мертвенький мальчик, чего она уже не могла скрыть от нас, и мы, разумеется, из лучших побуждений, принялись выражать ей сочувствие, иногда и не без намеков, что, увы, мы умеем делать, и каково-то бы-

до ей принимать это наше сочувствие, и что оставалось предпринять при ее-то характере — полотенце на шею! Что она, кстати, и сделала. Вот о чем говорит логическое построение фактов, — заключил он и, так как я, совершенно потрясенный этим неожиданным рассказом («А ведь мать знала, точно знала, потому и молчала», — тут же подумал я), продолжал идти молча, через минуту, посмотрев на нас, снова заговорил: — Я не ходил, не видел, но Пал Палыч, наш завуч, — пояснил он, специально наклоняясь ко мне, — был там, когда взламывали дверь, и рассказывал мне все те ужасающие подробности. Записки она никакой не оставила, кто ее обманщик — неизвестно никому, да и не удастся теперь восстановить, и повесилась она за шифоньером, согнув ноги в коленях, и знаете, всего несколько сантиметров колени не доставали до пола. Всего несколько сантиметров, — повторил он, и все мы снова с минуту шагали молча. — Кто бы что ни говорил, — затем опять начал Юрий Лукич, — но мы, конечно, будь в нас побольше чуткости, могли бы предотвратить это событие, а теперь что ж, пятно на всю школу, да что на школу — каждому на душу, мы же в глаза друг другу смотреть не можем, я не имею в виду Пал Палыча, он что, у него свое моральное кредо, я имею в виду нас, и вынесем ли мы из этого урок и какой — вот вопрос.

Он еще говорил (почти все время, пока шли к дому Лии Михайловны и Петра Кирилловича), что бы можно было предпринять *тогда*, какие *коллективные* меры и какие выводы должен сделать каждый для себя *теперь*, и какими должны быть *коллективные* выводы, но все это, может быть, потому, что интересы школы были далеки от меня, я почти не слушал и не воспринимал; то, что для Юрия Лукича было лишь логическим построением фактов, во мне оборачивалось жизнью, какой жила Рая, и болью, какую испытывала она, а точнее, логическим движением чувств, как они должны были возникать и, нарастая, тяготить ее, и, главное, я не переставал думать, как я сам был виноват в этой ее страшной трагедии. Мать свою я не упрекал за то, что она ничего не рассказала мне о смерти Раи: ни перед поминальным ужином, когда еще стояли во дворе, ни когда возвращались домой, мы вообще ни о чем не говорили, а шли молча, сутулясь, как и утром, на ледяном ветру и торопясь, потому что начинал уже накрапывать мелкий моросящий дождь; продрогшая и уставшая мать сразу легла

в постель, а я, закрывшись в комнате, провел первую, как мне казалось, в своей жизни по-настоящему тяжелую бессонную ночь. Я исключал, разумеется, те, что выпадали на фронте, да и в Калининвичах в станционном дощатом бараке, хотя тоже не спал, но первой и страшной все же и теперь представляется мне именно эта, когда я вернулся с похорон Раи и когда за стеною во тьме, как будто специально для того, чтобы не успокаивалась память, хлопали на ветру не закрытые с вечера на засов ставни.

«Ведь, в сущности, не я, а он, тот, другой, был повинен во всем, что случилось с Раей, — говорил я себе. — Да, конечно, в положении, ребенок...» — повторял я. Но как ни старался внушить себе, что при чем же тут теперь я, весь ход размышлений как бы сам собой разворачивался совсем в другом и мучительном для меня направлении. Всю жизнь Раи, как я знал ее, и мое отношение к ней и чувства, какие испытывал когда-то, я как бы заново пережил в эту ночь, то прохаживаясь от печи к окну и обратно, то сидя за столом перед раскрытой книгой (временами я старался отвлечься, но только пробегал глазами по буквам, ничего не понимая, словно стол, свет, комната и то, что я сижу за столом, было сном, а то, о чем думал, то было жизнью); может быть, вы не поверите, но в равной степени и даже как будто с подробностями, которые мог лишь увидеть и запомнить сам, представлял я себе не только те годы, когда действительно встречался с Раей, но и другие, когда, уйдя от нее, как бы совсем забыл о ней и ничего не ведал о ее существовании; помимо моей воли во мне возникло чувство, в каком я оставил Раю в то зимнее утро, и чувство это — ступень за ступенью, событие за событием, — снова и снова начинаясь, вело к той ужасающей смерти, какою умерла Рая. Я видел ясно комнату Раи с ее скромным убранством, с черным заталенным пальтишком на вешалке, и за столом — так же как когда-то сидел я — сидел теперь тот, другой, о котором она не оставила записки и которого, как выразился Юрий Лукич, никому не удастся теперь *восстановить*, и Рая так же, как для меня, готовила для него омлет, и при виде этой картины (а я видел ее так, словно был в эти минуты там, в комнате) все вздрагивало во мне от протеста, что уже невозможно ничего ни остановить, ни изменить; мне казалось, что Рая знает, что я здесь, и на лице ее то и дело возникает адресованная лишь мне усмешка: «Ну, смотри! Смотри

и мучайся, я специально делаю это, чтобы ты знал и мучался!» — и все, что было со мной, теперь как бы повторяется с тем, другим: он укладывается на кровать, она разувает его, говорит ему «боже мой» и, потушив свет и раздевшись, ложится рядом с ним, доверчиво прижимаясь к его плечу, а мне хочется кричать: «Рая! Рая!» — и я кричу-таки мысленно, стоя возле стола в своей комнате, слушая удары ставней под ветром и до белизны сжимая сцепленные пальцы. Это я мог уснуть, а тот, другой, не спал, и одна эта мысль уже вызывала во мне страдание. С ужасающей ясностью я представлял себе, как тот, другой, опять и опять приходил к Рае, мне кажется, я даже слышал, как и что он говорил ей, и тот момент, когда он, узнав, что она в положении, последний раз уходил от нее, — Рая стояла в глубине комнаты, в растерянности и испуге прижимая к груди у шеи худые белые руки, и оттуда, издали, смотрела на него. Сцена эта как бы повторялась во мне и производила особенно тягостное впечатление. Я не думал, как отнеслись к ее несчастью родители; и вся та атмосфера в школе, как обрисовал ее Юрий Лукич, тоже выпадала из цепи событий, а все, и я уже не знаю теперь почему, сосредоточивалось на родившемся мертвом ребенке. Мне трудно судить (да я и сейчас не знаю), показывают ли мертвеньких младенцев роженицам или нет и как все это там делается, но в моем воображении все это происходило так, словно вот они, нянечки в белых халатах, протягивают Рае завернутое в белую же простынку мертвое, холодное тельце ребенка, и тот ужас, какой должна была испытывать Рая, принимая в руки холодный сверток, охватывал меня, я чувствовал в ладонях этот сверток, и холодок от ладоней растекался и леденил душу. Я думаю, этот холод в ладонях, какой она вынесла из родильного дома, и холод в душе, какой наложила на нее встреча со мной, потом с тем, другим, а в общем, с жизнью, были главной причиной того, на что она решилась: я понимал, как она жила с этим ощущением холода, как ходила по комнате в тот последний для нее вечер, отыскивая место и заглядывая за шифоньер, как оказалось у нее в руках полотенце, и, знаете, вышагивая с заложенными за спину руками по своей комнате, я то и дело останавливался возле своего шифоньера, как бы примеряя, как все могло быть, и минутами, кажется, сам был на грани той страшной решимости. Может быть, оттого, что сквозь занавешенные окна уже начал пробиваться рассвет, и еще, на-

верное, оттого, что мать несколько раз, вставая и приоткрывая дверь в мою комнату, говорила: «Ты не спишь? Спи. Чего не спишь?» — я отрывал взгляд от шифоньера, и воображение снова как бы отбрасывало меня к истоку, к тому событию (когда я ушел от Раи), с чего собственно, и началась вся ее трагедия.

Час шестой

— То ли я действительно испугался, что могу что-либо сделать с собой, — продолжал Евгений Иванович, — то ли просто потому, что хотелось избавиться от предмета, который напоминал о смерти Раи, трудно теперь сказать точно, но только утром, едва мать встала и послышались в комнате ее шаги, я тут же открыл дверь и принялся перетаскивать шифоньер в переднюю. Я делал все торопливо и помню, мать не только ничего не возразила, но и не спросила, чем это было вызвано; вероятно, она понимала, что волновало меня, но я-то — я даже покрикивал на нее: «Ну что стоишь, скрестив руки, подвинь табуретку!» — когда она как будто спокойным и грустным взглядом от плиты следила за мной. «Половик убери, слышишь, половик!» — выглядывая из-за шифоньера и видя, что она опять стоит у плиты со скрещенными на груди руками, кричал я. И на другой и на третий день я был мрачен и раздражителен; но в то же самое время, как я грубил матери и грубил, как мне кажется теперь, товарищам по институту, которые действительно не знали, что со мной происходит, — по вечерам, оставаясь один, я начинал думать, что же, в конце концов, представляет собою добро и зло и существует ли общее для всех людей понимание добра и зла; мне казалось, что нет общего понимания, хотя оно, конечно же, есть, и я знаю, да и все мы знаем, что есть, но в ту весну мне казалось, что счастье одного всегда происходит за счет счастья другого и что такова правда жизни в противоположность тем сказкам о добре и зле, которые внушали нам с детства. «Бывший мой комбат счастлив потому, что, опередив меня, в сущности, отобрал у меня счастье, — рассуждал я. — Я ушел от Раи потому, что хотел лучшего себе, но это мое лучшее для нее обернулось горем; она умерла, а тот, другой (может быть, он и не знает, что она умерла), рад, что снова свободен, и потому несчастье Раи для него, по существу, счастье». Я пони-

маю, что вот так, в пересказе, все это выглядит упрощенно, да и вообще думаю, что нет и не может быть одной и определенной мерки даже для схожих человеческих судеб, но тогда я не просто открывал, как говорится, для себя эту, в общем-то, представлявшуюся мне откровением истину, но жил ею, искренне веря, что все именно так и есть, что счастье одного всегда оборачивается несчастьем для другого, и соответственно с этой истиной старался держаться обособленно, не принимая ни от кого и сам не отдавая никому и частицы своего душевного тепла. Весна не была для меня весной, и я равнодушно смотрел, как подымалась и зеленела во дворе и на обочинах трава, как распускались почки на молодых дубках, когда-то посаженных вдоль улицы, и с безразличием смотрел на цветы сирени, росшей в палисаднике, когда по утрам, просыпаясь, открывал окно, или ночами, когда из того же палисадника как бы незаметным тихим током весны вливался сквозь открытое окно воздух, а я, прохаживаясь по комнате с книгою в руках, вдруг на минуту задумавшись, останавливался перед этим окном; я ничему не радовался, а когда вспоминал о Ксене — неожиданные и странные мысли приходили в голову, и я говорил себе, что, пожалуй, хорошо, что я *опоздал* тогда, и что, появившись я в Калинковичах раньше, просто-напросто отобрал бы счастье у бывшего своего комбата и была бы на свете еще одна трагическая судьба.

В один из таких вечеров, когда были уже сданы все весенние зачеты и экзамены, мать вошла ко мне в комнату и, присев напротив меня, сказала:

«Поехал бы куда-нибудь, сынок, развеялся».

«Ты что, мама!»

«Я же вижу, ты не скрывай. Хотя бы на лето».

«Но куда? В Севастьяновку? Там давно же ни деда, ни бабушки...»

«В лагерь вожатым, как вон у Глушковых».

«Это мне-то? В лагерь?» — с удивлением проговорил я.

«Но ведь так или иначе...»

«Я понимаю, ты хочешь сказать, что так или иначе, а надо идти работать?»

«Не к тому я, сынок. Как-нибудь...»

«Я все понял, ясно, — не без раздражения, конечно, сказал я, потому что вопрос этот и сам не раз уже ставил перед собой, так как жить только на материну пенсию и на мою маленькую, какие выплачивали тогда, стипендию было трудно. — Ясно!» — повторил я еще более

резко, желая закончить разговор на эту неприятную и болезненную для меня тему. «К черту заочное! Ни на какое заочное я не пойду!» — с той же запальчивостью, но уж про себя, мысленно, dokonчил я, когда мать, поднявшись со стула, пошла из комнаты. Но хотя я и решил так осенью все же подал заявление в деканат с просьбой перевести на заочное отделение и затем по направлению областного отдела народного образования, где меня как бывшего фронтовика и теперь студента-заочника педагогического института приняли довольно приветливо, поехал в отдаленный таежный рабочий поселок с названием Москитовка (ужасно комариное место на севере Читы), в школу, вести средние классы. Какая-то, знаете ли, ирония судьбы, что ли, — я повторял путь Раи; и хотя тогда как-то не совсем осознавал это, но все же в глубине души нет-нет и возникало, как волнуется иногда неясное и тревожное предчувствие, беспокойство, что я именно повторяю путь Раи; это лишь потом, спустя почти пять с лишним лет, когда закончил институт и подал в аспирантуру, — только тогда перебрался снова в Читинский техникум, а начинал, как видите, со школы.

Может быть, я бы не стал рассказывать, как жил в этом таежном рабочем поселке, если бы не то обстоятельство, что как раз там-то я и сошелся с женщиной — Зиной, или Зинаидой Григорьевной, так тогда, в первые годы, называл я ее, с которой живу и сейчас как с женой, хотя никогда между нами не было разговора ни о любви, ни о женитьбе, ни вообще о чем-либо подобном, а все произошло как бы само собой, по какому-то обоюдному молчаливому согласию; в какой-то день вдруг, придя из школы, я уже не за квартиру и не за услуги заплатил ей, как делал прежде, а отдал всю зарплату как хозяйке, и для меня это было естественно, так же как, будь я женат на Ксене или Рае, отдавал бы все деньги им, как, впрочем, заведено было у нас в доме между отцом и матерью и как, наверное, живут все счастливые и согласные семьи (конечно, я могу вспомнить, как вспыхнуло радостью лицо Зины, как она взглянула на меня при этом, но для меня, еще раз повторяю, все было тем естественным течением жизни, что я чувствовал, что не могу поступить иначе чем так, как поступил); в какую-то ночь, вдруг проснувшись, я увидел сидящую возле меня на кровати Зину, и она показалась мне особенной в белой ночной рубашке, с распушенными на плечи волосами

и вся освещенная проникавшим в комнату холодным лунным светом (уже потом, спустя много лет, она призналась, что была тогда не первый раз, что приходила и прежде, и только я не просыпался и не открывал глаза); мне, знаете, даже сейчас, когда рассказываю, кажется, что она всегда была рядом, и я не могу представить себе подушку там, конечно, дома в Чите, без рассыпанных по ней темных Зининых волос; и ее тепло, и ее всегда ровное и спокойное дыхание, и то, как она каждый раз неслышно встает по утрам, чтобы приготовить завтрак, — все так прочно вошло в мой быт, что я иногда сам удивляюсь, как, когда и каким образом случилось это. Может быть, как съязвил бы кто-нибудь, что опутала, окрутила, но эти слова не подходят к Зине; она не из тех, кто окручивает, я-то ведь знаю, как все было, и помню, как она, бросив дом и хозяйство, поехала со мной в Читу, когда я, как уже говорил, поступил в аспирантуру; забегая вперед, скажу, что хотя она и не знала ничего о Рае и моем когда-то отношении к ней и не знала ничего о дружбе моей матери с Раинными родителями, но когда Раина мать, Лия Михайловна, умерла, а беспомощный Петр Кириллович (единственное, что он умел, — плести корзинки из краснотала) остался один и я предложил взять его к нам, Зина ни словом, ни взглядом не только не возразила (а ведь за старым и безногим человеком предстояло ухаживать), но, напротив, и, как мне показалось тогда, с охотой согласилась, и в тот же день мы перевезли Петра Кирилловича к себе. Он и сейчас живет с нами. Но не слишком ли я опять забежал вперед, потому что не все складывалось вот так просто, а главное, именно там, в Москитовке, началась для меня та самая двойная жизнь, какой я живу и теперь: с одной стороны, с внешней, конечно, если взглянуть, как все люди, вроде и счастливо, спокойно, в согласии и, может быть, даже в любви с Зиной, а с другой — надо мною постоянно словно висит прошлое, и какой-то иной, воображаемый, что ли, если хотите, но как будто такой же реальный, как и этот, мир людей и событий окружает меня, и то, как бы жила Рая (я думаю о ней и словно продолжаю ее жизнь в себе), как жили бы ее родители, окажись судьба их дочери счастливой (ведь Петр Кириллович, в сущности, постоянно у меня на глазах), и все, что связывало да и продолжает связывать меня с Калининичами: судьба Ксени, ее матери и мужа, Василия Александровича (тут особый разговор,

к этому-то я как раз и веду рассказ), — все это движется, чувствует, мыслит, а в общем, живет во мне своим обособленным миром, и я иногда так явственно ощущаю себя в этом вообразенном обособленном мире (но ведь все могло быть не вообразенным, а действительным, сложись по-другому обстоятельства, ведь вот что страшно!), что порой, как ни наивно звучит сейчас это, мне представлялось, что Зина, дом в Чите, техникум — это в воображении, а Рая, Ксения, Мария Семеновна — это действительность. Да, именно так, и никакие переезды и перемены не оставляют прошлое за чертой; прошлое всегда с нами, и я убежден, что никто и ничто не может снять с нас этот багаж.

Однако тогда, в те годы, я еще думал иначе.

Уезжая в Москистовку, я считал, что начинаю новую жизнь и что ни обстановка, ни люди, с которыми придется работать, уже не смогут будоражить память, все успокоится, уляжется, я погружусь в дела и заботы школы, но вот самым, казалось, неожиданным образом (случись это не со мной, а с кем-нибудь другим или если бы мне сказали об этом заранее, я бы не поверил) именно школа день за днем все более и глубже расшевеливала во мне воспоминания; и не беседы с директором Зиновием Юрьевичем, который тоже был фронтовиком и артиллеристом, воевал на разных фронтах, в том числе и на Белорусском, и даже при форсировании Сожа наши части находились где-то неподалеку, потому что, разговаривая, мы называли почти одни и те же населенные пункты, и он помнил Ветку и Хальчичи на противоположном крутом и обрывистом берегу, — нет, не эти беседы, хотя и они, разумеется, оказывали свое действие (Зиновий Юрьевич был гораздо старше меня, учитель с довоенным, как говорится, стажем, кадровый, и я всегда с добром думаю о нем, как он помогал нам, молодым, не только мне, конечно, но война так въелась в его душу, что ни одного вечера, когда мы собирались вместе, не проходило без того, чтобы он не припомнил и не рассказал какой-нибудь эпизод из своей фронтовой жизни), и все же нет, не эти рассказы Зиновия Юрьевича, а светлый, наполненный детишками класс, девочки с косичками, сидевшие за партами возле солнечных окон, когда я смотрел на них, как бы переносили меня в далекие заснеженные Калинковичи, в избу, где на торжественном в честь моего не состоявшегося еще тогда награждения вечере я сидел рядом с Ксенией, худенькой

девушкой, казавшейся мне школьницей, и с неповторимым уже теперь волнением смотрел на ее серые и серебрившиеся от света висевшей над столом керосиновой лампы косы. Я испытал это в первый же как будто день, как только вошел в класс, во всяком случае, такое осталось у меня с тех пор впечатление; но особенно воспоминания начали тревожить на второй или, вернее, на третий год, когда я уже вел математику в старших классах. Я думаю теперь: школа ли в той таежной Москитовке была построена так удачно, что окна почти всех классов выходили на солнечную сторону, а впрочем, у нас ведь все школы строят так, или что-то еще особенное — девушки с косами, хотя ведь в каждом классе, да вот и в техникуме, где я преподаю сейчас, есть и постриженные коротко, и с косами, — словом, дело, наверное, не в том, какой была школа и какими ученицы в Москитовке, а скорее во мне самом, что каждое утро, как только, открыв дверь, я входил в класс, хотел или не хотел этого, но сразу же невольно обращал внимание, как солнечные лучи, проникавшие сквозь просторные окна, каким-то до боли знакомым серебристым отблеском лежали на косах девушек; и дело не в том, что косы были серыми, черными или каштановыми, и не в том, что лица, что ли, напоминали какими-то своими черточками лицо Ксени, нет, а просто в общей этой картине было что-то такое, что с давних, фронтовых еще лет хранилось в моей памяти, и потому каждый раз, переступив порог, с минуту я стоял молча, не в силах побороть воспоминания и начать урок, и притихшие ребята с удивлением и, конечно, с недоумением смотрели на меня. Иногда такое повторялось среди урока, что было особенно неприятно, и тогда я переживал вдвойне: и за свою минутную растерянность перед учениками, и за те мучительные дни и ночи, которые я провел когда-то в станционном дощатом бараке Калининичей. И ведь что любопытно: вспоминалась не Рая, хотя все школьное у меня было связано именно с ней — мы же учились вместе, — да и трагическая смерть ее была по времени ближе и должна бы помниться отчетливее, но, наверное, ничто не может сравниться с впечатлениями войны, со всем тем, что довелось испытать нам тогда, в самой что ни на есть молодости, когда, в сущности, только-только начинаешь познавать жизнь (девятнадцать лет, что вы хотите!) и все воспринимается острее и ложится глубоким, нестираемым следом. В общем, и в классе, и когда возвращал-

ся домой, а точнее, в дом Зинаиды Григорьевны, который стоял почти напротив школы, маленький, деревянный, чем-то напомилавший и калинковичскую избу Ксени, и мою, ту, в которой жила теперь одиноко мать, — в общем, и когда возвращался домой и садился за проверку тетрадей или, приглашенный Зинаидой Григорьевной к столу, ел поданный ею борщ или картошку, залитую молоком и яйцами и зарумяненную в печи, воспоминания, возникшие еще в классе, продолжали волновать меня, и бывало так до позднего вечера, до самого того момента, пока не смыкал в усталости глаза и не засыпал наконец, чтобы утром, встав, весь вчерашний прожитый день повторить сначала. Не то чтобы я снова хотел увидеть Ксению (я понимал, что она замужем и уже отрезанный, как говорится, ломоть), но как бы исподволь, само собою возникало желание проехать по местам боев, постоять на том повороте шоссе Мозырь — Калинковичи, где горели наши танки и откуда стреляли мы по немецким самоходкам, увидеть бревенчатый настил, где они занимали оборону, и щель у обочины, в которую, нажав на гашетку, я отпрыгивал и скатывался, попадая на руки к бойцам, и увидеть места, где были подбиты одна за одной зенитные установки, — словом, пережить все сначала (конечно же, все предшествовавшее встрече с Ксеньей, но эту мысль я хранил глубоко в себе, подавлял, не давал развиться), и тогда, как мне казалось, будет спокойнее на душе и легче; помню, что, раз зародившись, идея поездки уже не отпускала меня, и еще с зимы я начал готовиться к ней, экономя деньги и приобретая всякие дорожные, а сказать точнее, походные — ведь я собирался пройти пешком по местам боев, доехав поездом лишь до Калинковичей или до Мозыря, что было, в общем-то, еще не решено, — вещи, а с наступлением теплых весенних дней уже с нетерпением ждал часа, когда, наконец, вскинув рюкзак на плечи, зашагаю напрямик укороченною тропкой через тайгу до ближайшей от Москитовки железнодорожной станции. Мать в тот год еще была жива, и я заранее написал ей о своем намерении; с Зинаидой Григорьевной же, мне казалось, не о чем было говорить; тогда между нами еще ничего не было, вернее, я еще не замечал ничего, принимая как должное все ее заботы обо мне и лишь изредка удивляясь доброте и кротости этой молодой женщины, которая и успевала управляться с хозяйством — корова, куры, не так просто! — и еще ходила на какие-то подсобные ра-

боты к лесосплавщикам: то ли распутывать канаты, то ли даже шорничать (овдовев в войну, она научилась всему), я так до сих пор и не знаю толком, так как в то время, в сущности, мне не было никакого дела до ее домашних забот и тревог. Она была старше меня года на три, но выглядела молодо, так, словно и не выходила замуж; да и теперь выглядит, мне кажется, так же молодо рядом со мной, седым издерганным человеком, но это так, между прочим, к слову; с Зинаидой Григорьевной мне тогда не о чем было говорить, да и ей, по-моему, во всяком случае, так представлялось мне, было безразлично, куда я еду — ну, еду и еду, может быть, в Читу к матери, как каждое лето, — но на самом деле, оказывается, все происходило иначе, и только потому, что я был занят собою, жил поездкой и чувствами, которые предстояло испытать, не видел, с каким беспокойством следила за моими приготовлениями Зина. Женщины — мы недооцениваем только — понимают и чувствуют гораздо больше и глубже, чем мы с вами; по каким-то им одним, наверное, приметным деталям они улавливают наши помыслы и настроения. Откровенно говоря, я немало удивился, когда вдруг почти в самый канун моего отъезда, вечером, заведя и поставив квашню на теплую плиту, она сказала, подойдя ко мне и посмотрев на меня:

«Дорога-то дальняя, но вы не беспокойтесь, Евгений Иванович, я наготовлю вам на всю дорогу».

«А вы почему знаете, что дорога дальняя?»

«Как же, аль не вижу, как вы собираетесь?»

«Что рюкзак, что ли?»

«Да и рюкзак. Да и все», — добавила она, и я впервые тогда, удивленно, как уже говорил, глядя на нее, заметил, что в глазах ее было нечто большее, чем если бы просто хозяйка дома провожала своего квартиранта. «Да нет же», — про себя сказал я, смущаясь и думая, что ошибся, что ничего *подобного* нет и не может быть у нее в мыслях и я лишь только вообразил бог знает что.

«Я еду в Белоруссию, Зинаида Григорьевна, — отчетливо проговорил я, тоном голоса и твердостью давая понять, что никакого секрета, разумеется, из своей поездки не делал и не делаю и что, так или иначе, может быть, даже вот сейчас, не заговори она первой, сам бы сказал обо всем этом. — По местам боев. Хочется посмотреть, как там теперь. Тянет. А что дорога даль-

няя — верно, но только зачем вам-то эти лишние хлопоты?»

«Какие уж тут хлопоты».

«Конечно, хлопоты».

«Да разве я могу вас так отпустить!»

«Ну-ну, только чем я оплачивать буду», — как бы в шутку ответил я, продолжая осматривать рюкзак, все ли уложено, и совсем не придавая того значения словам, какое могла придать им Зинаида Григорьевна. Она вышла к себе на кухню, а спустя некоторое время, все еще возясь с рюкзаком, я как-то невольнo опять вернулся к нашему разговору и подумал: «Да нет же, это она просто от доброты... просто повезло мне на хорошую хозяйку, и все. Славная женщина, что и говорить, славная», — повторил я, прислушиваясь, как она осаживала тесто в квашне.

На другой день к обеду, к тому часу, как мне выходить из дому (откровенно, я не заметил, когда она вернулась с работы, отпросилась ли, и когда успела переодеться), как бы неожиданно оглянувшись на дверь, я увидел стоявшую у порога нарядно одетую Зинаиду Григорьевну; я не помню, как посмотрел на нее, очевидно же, не без восхищения и, наверное, с откровенной радостью, потому что, кроме того, что я действительно увидел ее необычной, какой ни разу не видел прежде, и это было приятно мне, никаких иных мыслей не было, но для нее, и я знаю теперь, тот мой взгляд имел свое определенное и важное значение: она все истолковала по-своему (она и сейчас убеждена, что именно тогда понравилась мне, а я уж не хочу разубеждать ее) и чувствовала себя, конечно, счастливой в ту минуту. На ней была новенькая сатиновая кофточка, плотно облегавшая грудь и плечи, какие еще и сейчас, знаете, в отдаленных таежных деревнях носят сибирячки, и волосы — ведь вот как будто и не сидела в парикмахерской, а так неповторимо женственно были собраны и скототы брошью на затылке, что я, видите, и теперь говорю не без волнения, а шелковый платок, будто небрежно соскользнувший на плечи, как раз и открывал эту ее *деревенскую, крестьянскую* прическу и придавал лицу то до сих пор неизъяснимое, по крайней мере для меня, очарование — не красоты, нет, а как бы вам сказать, очарование простоты и естественности жизни; не вполне, конечно, осознанное, но именно это чувство промелькнуло во мне тогда, только промелькнуло, потому что всеми мыслями я был уже, в сущ-

ности, в Белоруссии, в Калинковичах, и чтобы как-то оправдать свой нескрываемо восторженный взгляд, сказал Зинаиде Григорьевне:

«Какая вы сегодня нарядная».

«Вам нравится?» — спросила она, имея в виду то ли новую кофточку, то ли платок.

«Да. И куда вы собрались?» — заметив в руках ее узелок, продолжил я. Все то, что она напекла и наготовила утром на дорогу, было уже собрано и уложено, и я, разумеется, не мог предположить, что и узелок этот тоже предназначался мне.

«С вами. На станцию».

«Как на станцию?» — переспросил я, потому что никогда, сколько я жил, не было у нее никаких дел на станции.

«Разве нельзя?»

«Отчего же, можно. Кто-нибудь приезжает?»

«Кто ко мне может приехать, Евгений Иванович? Кто мог бы, так на того давно похоронная лежит, а кого бы я хотела, тот и не знает, что счастье его от тоски сохнет в тайге».

«И все же?»

«Да что вы пытаете иль не хотите вместе идти?»

«Почему, Зинаида Григорьевна, ради бога, вместе даже веселее. Но ведь это двенадцать верст!»

«Будто я уж и не ходила».

«Ну-ну», — произнес я привязавшуюся ко мне тогда эту присловицу и, подняв набитый вещами и продуктами рюкзак и сказав: «Что ж, идемте», — направился мимо нее из комнаты.

Я стоял во дворе и ждал, пока она запирала избу: потом она помогла мне уместить на спину рюкзак, и мы, выйдя за околицу поселка, свернули на тропинку к тайге, к орешнику, дубам и елям, заслонявшим собой блеклое по горизонту полуденное небо; я шагал впереди и время от времени, когда, приостановившись, оборачивался, чтобы окинуть прощальным взглядом Москитовку, — я любил, уезжая, смотреть на поселок издали, на деревянные домики с тесовыми крышами, на корпуса завода у изгиба реки и на плоты, прижатые к желтому песчаному откосу, на людей и машины возле тех плотов, и вся эта панорама замедленной, будто остановившейся на миг таежной жизни каждый раз вызывала во мне то волнение, какое возникает обычно у людей при виде родных мест (может быть, прижившись, я только не за-

мечал, что и для меня все стало здесь родным и близким), — словом, когда оборачивался, передо мною, как бы специально для того, чтобы я не мог видеть поселка, выростала фигура Зинаиды Григорьевны, и я невольно смотрел на нее, лишь за плечом, вдали, различая знакомые силуэты домиков, и Зинаида Григорьевна, перехватывая мой взгляд и улыбаясь — конечно же, она опять все истолковывала по-своему, — тоже останавливалась и, обернувшись, тоже смотрела на для нее-то уж несомненно родные места. На солнце, на фоне высокой зеленой травы она казалась мне еще нарядней, чем в ту минуту, когда я увидел ее в комнате у двери, и все же при всем том, что я не без восхищения, как уже говорил, разглядывал ее стройную, в длинной и широкой, какие носили тогда, юбке и плотно облегавшей грудь и плечи кофточке фигуру и любовался простотой ее прически (ветерок, набегая, слегка лохматил ей волосы, и оттого она казалась еще привлекательнее), я не могу сказать, чтобы испытывал к ней в те минуты что-либо такое, что хоть отдаленно напомнило бы чувства, какие когда-то обуревали меня в первые же почти мгновения, как только я сел рядом с Ксеной. Во всяком случае, так все представляется мне теперь, и я это хорошо помню, что как только я снова начинал шагать по тропинке, и поселок и Зина словно переставали существовать для меня, и я принимался думать, как, выйдя на перрон в Калинковичах, увижу знакомые места. «Стоит ли еще тот дощатый барак, — про себя говорил я, — может, и стоит, для чего-нибудь и приспособили. А что, все может быть». Мы шли и шли по тайге — два человека, два мира, настолько далеких друг от друга, что трудно представить что-либо такое, что хоть как-то сближало бы нас; в то время как мне рисовались картины, может быть, даже встречи с Ксеной, хотя для чего нужна была эта встреча, я не отдавал себе отчета, Зина, конечно же, думала обо мне, и в ее сознании разворачивался свой, и не менее радовавший ее (чем мой меня) мир надежд, мечты и счастья; так же, как между мной и Раей в *тот* памятный зимний вечер не было взаимопонимания, но которое пришло потом, запоздало, когда оставалось только вспоминать и мучиться, — так не было этого взаимопонимания между мной и Зиной, но которое тоже пришло потом, позднее, и, знаете, мне всегда бывает теперь неприятно и неловко, когда вспоминаю, как был нем к ее чувствам в те часы, когда она, в сущности, не по своим делам собралась на

станцию, а шла проводить меня до поезда, а я понял это лишь тогда, когда мы были уже на перроне, сидели на скамейке и ожидали поезда.

За сопки, за тайгу уходило солнце, и длинные тени от фонарных столбов, что возвышались над устланным досками перроном, словно темные шлагбаумы, лежали на железнодорожных путях, перерезая их, искривляясь во впадинах и на шпалах; почти сразу за путями стеною начиналась тайга, и белые стволы как бы выдвинутых вперед берез, и макушки дальних дубов и елей, освещенные тем заходящим солнцем, будто хранили на себе отсвет далеких пожаров, а мне при виде этих закатных багровых тонов вспоминалась война. На станции не было ни маневрового паровоза, ни разгрузочных площадок, лишь в отдаленном тупике стояло несколько порожних платформ да красный пульман с известково-белыми раздвинутыми дверями, и все же тот привычный станционный запах железа, мазута и шпал, как ни перебивался он вечерней таежной сыростью, был ощутим и тоже пробуждал воспоминания. И только Зина, сидевшая рядом, — ведь должен же был я говорить с ней, не сидеть же молча! — постоянно как бы прерывала мои устремлявшиеся вперед, туда, в Калинковичи, мысли. Она не улыбалась, и я не только не замечал радости и счастья на ее лице, как в полдень, когда выходили из дому, а, напротив, видел, что грустна, что глаза ее с тревогою посматривают на меня, и именно этот ее тревожный взгляд вызывал во мне тоже какое-то, прямо скажу, неприятное беспокойство. «Ну вот, — думал я, — как же это я допустил? И что же она?.. Хотя бы поезд скорее, что ли! Вот ведь как! Ну что теперь? Что вот теперь делать?» — продолжал я.

«Как же вы пойдете домой, Зинаида Григорьевна?» — с как будто передавшейся мне ее тревогой проговорил я, понимая, что не только вечерет, но близится ночь, а на таежной тропе уже теперь сумрачно, да и жутко будет возвращаться одной и небезопасно.

«Иль я не ходила, что ли», — опять ответила она знакомо уже фразой.

«Не боитесь?»

«Чего бояться-то?»

«Так ведь ночь».

«Можно и переночевать, утра дожждаться».

«Что, знакомые здесь?»

«Знакомые, не знакомые — люди же, иль не пустят? Да вы не волнуйтесь за меня, Евгений Иванович. Я-то что, я дома».

«Зря вы все же, зря», — покачав головой, повторил я, так как вся ее затея с проводами действительно представлялась мне нелепой, обременительной и только вызывающей ненужное беспокойство. «Ну что с ней делать теперь, не оставаться же мне здесь», — с досадою подумал я, снова принимаясь смотреть на уже затухавшие на стволах и листве багровые краски летнего таежного вечера.

Я помню, как с радостью (а теперь вот запоздало вижу, как глупо и нетактично поступил тогда) вскочил со скамейки и вскрикнул: «Наконец-то, вот!» — когда за поворотом в уже синеющей дали вдруг показался желтый и рассекающий эту синюю таежную даль глаз паровоза. «Вот!» — повторил я, беря рюкзак, направляясь к краю платформы и чувствуя, как следом за мной, приотстав, может быть, лишь на полшага, двинулась Зина. Мы стояли рядом, когда зеленые пассажирские вагоны, замедляя бег, остановились наконец на минуту, чтобы затем, набрав скорость и ритм, надолго запечатлеться красным удаляющимся огоньком в глазах Зины, — для нее ведь это были не первые проводы, когда-то вот так же она отправляла мужа, который не вернулся, а теперь, может быть, даже с большим волнением, чем тогда, отправляла меня, но для меня в эту минуту не существовало ее любви; я лишь произнес: «Ну, счастливо, Зинаида Григорьевна, только дождитесь утра, обязательно дождитесь», — схватился за поручни, готовый уже вспрыгнуть на подножку.

«Вот, возьмите, Евгений Иванович», — сказала она, подавая мне тот самый узелок.

«Что это?»

«На дорогу».

«А-а, — протянул я, беря узелок. — Ну, счастливо, только утра, непременно утра!»

Я не обнял ее, не пожал ей руку; поезд тронулся, и я из тамбура, из-за плеча проводника, смотрел на удаляющуюся — как будто удалялся не я, а она — фигуру Зины. Она не махала ни платком, ни рукою, как распространено у нас, сколько я езжу и вижу, в народе, и пальцы как будто не держала прижатыми к груди у шеи, как Рая, когда я уходил от нее, а, напротив, руки ее были опущены и вся она стояла неподвижно, даже не

качнувшись в сторону уходившего поезда, но и в этой ее прямой осанке, в неподвижности были еще как будто яснее, чем в жесте Раи, я отчетливо почувствовал это тогда, выражены и спокойствие, и тревога, и смирение, если случится вдруг еще раз пережить горе, и надежда на счастье, какая всегда живет в русском человеке в любой, даже самый безысходный час, особенно в русской женщине, на долю которой веками выпадали такие испытания.

Станция уже скрылась из виду, я вошел в вагон, но Зина еще долго как бы стояла на удалявшемся дощатом перроне перед моими глазами.

Как это обычно бывает, в первый же вечер, пока ехали по тайге и пока свежи еще были впечатления от прощания с Зиной, я думал о ней, о Москитовке, которая действительно-таки уже вошла в мою жизнь как что-то родное, близкое, может быть, как раз благодаря только тому, что Зинаида Григорьевна (я повторял и еще сто раз буду повторять: как все-таки жаль, что обо всем хорошем, что делается для нас, мы лишь вспоминаем, а в самый тот момент, когда все происходит, слепы, да-да, слепы!) по-своему, как могла, создавала уют и скрашивала мое, особенно в первую осень, не очень-то радостное бытие, думал и о школе, и о Зиновии Юрьевиче («Сколько же повидал за свою жизнь этот человек, — говорил я себе, — будь он теперь в вагоне, до утра хватило бы разговоров!»), но как ни свежи были эти впечатления, вместе с затихавшим как будто стуком колес, вместе с той дремотою, которая как раз после всех пережитых волнений дня и вечера все сильнее одолевала меня, и воспоминания и думы словно отдалялись, уходили и растворялись, как только что, когда я еще стоял в тамбуре и смотрел на огоньки станции, уплывал и растворялся в синем ночном сумраке короткий дощатый перрон со стоявшей на нем Зинаидой Григорьевной; я не заметил, как заснул, убаюканный ритмом движения, монотонным покачиванием вагона, а утром, когда проснулся, так же как я сам был уже далек от Москитовки, так же далеки были и воспоминания о ней. В дороге, и я давно заметил это, волнует тебя не то, что осталось где-то позади, а другое, что ожидает, к чему едешь и что — именно потому, что ты еще не знаешь, как все обернется, — вызывает особенные чувства. Мне казалось тогда, что я не ду-

мал о Ксене, а все мысли были сосредоточены только на одном: как я ступлю на землю, на которой воевал, где и в морозные и в слякотные зимние дни пришлось испытать немало страшных минут, где все и теперь еще, наверное, было наполнено звуками стрельбы и разрывов, где были похоронены (не под деревней Гольцы, нет, а вообще в Белоруссии) боевые друзья, солдаты нашей батареи, и те зенитчики, что выдвигали свои орудия против немецких самоходок и которых затем уносили на плащ-палатках лесом, в общем, мне казалось, что я думал лишь об этом, и с каждым километром, чем ближе подвозил меня поезд к заветным местам, тем отчетливее вспоминалось прошлое; о том, чтобы задержаться в Москве, как предполагал, отправляясь из Москитовки, потому что надо было выполнить кое-какие поручения, в том числе и Зиновия Юрьевича, теперь не могло быть и речи; я говорил себе: «На обратном пути, только на обратном», — и едва лишь сошел на перрон Казанского вокзала, как тут же нанял такси, перебрался на Белорусский и в тот же вечер уже снова лежал на полке в купе, и будто не было пересадки и не прерывались доставлявшие мне и удовлетворение и тревогу размышления.

В Калининвичи я приехал утром.

Я ступил на перрон с тем чувством, словно не там, в Чите, а здесь была моя родина, и с такой жадностью всматривался во все: в новое здание вокзала, в киоски, в людей, в пристанционные деревянные избы (только они тогда, в сущности, да еще дощатый барак, приспособленный, как я и предполагал, под пакгауз, напоминали *те*, старые и жившие в моей памяти Калининвичи), — что со стороны, наверное, казался странным, будто впервые приехавшим невесть из какой глуши в город человеком; может быть, потому-то возле пакгауза, когда я, обходя вокруг него, всматривался в потемневшие от времени доски — для меня они были книгой, рассказом, памятью, — какой-то железнодорожник в форменной фуражке, думаю, весовщик из этого же пакгауза, довольно громко и резко спросил: «Вам чего здесь нужно, гражданин?» Несколько мгновений я смотрел на него; лицо его было не очень приветливым, и я, решив про себя: «Да что он поймет!» — повернулся и зашагал на привокзальную площадь. Я уже не помнил, что минуту назад, на перроне, мысленно провел черту между собой и домом Ксении; потемневшие стены станционного дощатого барака так живо восстановили в памяти прошлое, что теперь, когда

я удалялся от него, хотя и говорил себе: «В Гольцы! Сейчас же, сразу в Гольцы!» — все же не сел в автобус и не поехал к центральному колхозному рынку, где легче всего можно было найти попутную машину в Гольцы, а невольно, почти не осознавая того, что делаю, с тяжелым рюкзаком за спиною пошел через весь город по знакомой — правда, она была не заснежена, как тогда, все было обрамлено зеленью, но для меня она по-прежнему оставалась той, заснеженной, — улице, чтобы если уж не зайти, то, по крайней мере, взглянуть на дорожную мне избу с высоким крыльцом и высокими и холодными, как мне почему-то и теперь кажется, перилами; ведь я только внушал себе, что тянуло к местам боев, тогда как настоящей причиной было, конечно, другое, и я постоянно чувствовал это, а подходя к дому Ксении, чувствовал особенно. И все же я не зашел в тот день к Ксении; издали, с обочины, оглядел я до мелочей памятные мне фасад и крышу и затем, остановив какую-то направлявшуюся через Гольцы райпотребсоюзскую, кажется, полуторку, забрался в кузов на ящики и, чтобы не видеть удалявшихся окраинных домиков Калинковичей, принялся смотреть вперед, на дорогу. Я узнавал, разумеется, лесные опушки, на которых когда-то мы разворачивали батарею, и взгорья, по которым, то залегая в снег, то подымаясь, когда-то двигалась наступающая пехота, но вместе с тем я не испытывал того радостного, что ли, волнения, какое, как мне казалось, должен бы испытывать (какое, помните, овладевало мною в вагоне, когда только подъезжал к Калинковичам); напротив, будто даже с безразличием смотрел я вокруг, и были минуты, когда хотелось тут же постучать в кабину водителя, остановить машину и, спрыгнув на шоссе, кинуться обратно: на вокзал, на поезд, в Читту, в Москировку, где все — и эти места (в мыслях, конечно), — все представлялось наполненным жизнью. «Вот уж действительно дурная голова ногам покою не дает, — с усмешкою думал я про себя. — Ну, были здесь бои, ну что? Стоят хлеба, все запахано, заросло, а там... зарастает могила Раи. И Зинаида Григорьевна! Как неподвижна была она на растворявшемся в сумерках дощатом перроне», — продолжал я, попеременно возвращаясь то к одному, то к другому, но с одинаковым как будто равнодушием, и соглашаясь лишь, как вам сказать, с формулой, что ли, «жизнь есть жизнь, и каждому в ней свое». «А мне свое — эта тряская дорога, кузов и прыгающие ящики

в нем», — продолжал я. Так как в Гольцы мы приехали под вечер, я вошел в первую приглянувшуюся на краю деревни избу и, ничего не рассказывая о себе хозяйке Евдокии Архиповне, как назвалась она, попросился на ночлег.

«Отчего же нельзя, можно, ночуйте», — сказала она.

«А что-нибудь поужинать — молока, картошки, я заплачу».

«Да чего уж, можно».

Она отварила картофель, принесла молоко из погребца, и я, поужинав, отправился на сеновал, не желая нарушать привычной вечерней жизни хозяев дома — Евдокии Архиповны и ее дочери Вари. Тогда я еще не знал, что у нее есть и сын, который учился в то время в городе; да многого я еще не знал о ней: ни того, что муж ее партизанил и погиб в здешних лесах, ни, главное, того, что в памятный для меня холодный январский день, когда мы вели поединок с немецкими самоходками, за бревенчатым настилом, здесь, в деревне, в промерзшем подполе своей избы двое суток отсиживалась она со своими маленькими детишками, а когда в деревню ворвались наши автоматчики, кто-то из бойцов, видя окоченевших ее детей, снял из-под своей шинели ватную телогрейку и укутал ею ребят; словом, ничего этого я не знал, да и не стремился в тот вечер узнать хоть что-либо, занятый весь собою и жаждавший уединения, — я ведь потом, приезжая в Гольцы, всегда останавливался у нее в доме, и сын ее Костя, Константин Макарович, на моих, в сущности, глазах был и учителем, и директором местной школы, и много лет затем секретарем партийной организации колхоза, и вот теперь уже третий год председательствует, и, говорят, неплохо, да и дочь вышла в лаборантки на молочном приемном пункте, ну а вообще-то вспомнил я это так, не к делу, просто становились на моих глазах жизни, и все, а в тот вечер мне хотелось уединения, и я, с удовольствием растянувшись на прошлогоднем, пересохшем и колком под тонкой подстилкой сене, долго смотрел на синее звездное июльское небо. Я был огорчен и разочарован своей поездкой, ничто не утешало меня, никакие, даже добрые воспоминания. «Нет, порывы души — это одно, а жизнь — это совсем другое, — говорил я себе. — Жизнь проще, и она требует рассудка». Ведь все это, что теперь происходит со мной, можно было предугадать, предвидеть, и Зинаида Гри-

горьевна (она все время возникала передо мной в воображении: то на дощатом перроне, какой я оставил ее, то в комнате у двери, нарядная и с тем выражением надежды и счастья на лице, какое я уловил тогда) — вот она все, конечно, знала, потому и была так грустна, стояла неподвижно, и в этой ее неподвижности — как же я сразу-то не сообразил! — было сказано все: «Куда, зачем и для чего едешь?» Я думал так, вместе с тем прислушиваясь, как засыпала деревня, как затихали дальние звуки и как именно оттого, что затихали те, яснее слышались ближние, и мне чудилось, что будто где-то совсем рядом со мною (на самом деле под сеном, под жердевой крышею, в хлеву), облизывая, наверное, языком свои мокрые розовые губы, непрерывно и бесконечно жевала жвачку хозяйская корова; я и проснулся утром с тем ощущением, что напрасно приехал сюда, что всякие чувства — это ложь и что никогда нельзя поддаваться порывам. «Да хотя бы и Ксения, — думал я. — Благородный порыв, минутное чувство, и что из этого? В госпиталь! А ведь все могло быть иначе, да и было бы все иначе, что говорить — ясно бесспорно, а главное, просто, так все просто, что удивительно, как можно было видеть когда-то все по-другому!» Не позавтракав, не сказав никому ничего, я вышел со двора мрачным, нахмуренным, и только когда, очутившись уже за деревней, ступил на бревенчатый настил (тогда, в первый мой приезд, был еще этот бревенчатый настил через заросшую кустарником топь и маленькую речушку, а дорогу насыпали потом, спустя лишь несколько лет, и тоже, как говорится, на моих глазах), — да, так вот, только когда ступил на бревенчатый настил, как будто что-то переключилось во мне; не сразу, разумеется, не вдруг; сначала я принялся искать место, где стояли тогда немецкие самоходки, и хотя никаких следов с тех пор, само собой, не сохранилось, да и бревна в настиле были давно подновлены, но, как бывший военный, бывший комбат — если помните, ведь я закончил войну в должности командира батареи, — я прикидывал, осматривая местность, где удобнее было им стоять, где бы, вернее, я сам поставил их, будучи, скажем, немцем; незаметно, но все явственнее втягиваясь в атмосферу того боя, какой когда-то разыгрался здесь и участником которого я был, я торопливо зашагал через бревенчатый настил на другую сторону болота, на *нашу*, чтобы час за часом, минута за минутой вновь пережить весь поединок с немцами, и, еще не выйдя из

кустарника и не войдя в лес, уже чувствовал — не в самом себе, нет, а как будто вокруг — звуки нараставшего артиллерийского обстрела. В лесу, где стояла наша батарея (следов от окопов и ровиков не было и здесь, трава закрывала все, а я не раздвигал ее и не всматривался), я прижался щекой к стволу ближней березы (мне казалось, к той, что и тогда, в январе сорок четвертого) и совершенно отчетливо слышал, как тяжелые, резкие и оглушительные разрывы прокатывались по лесу. «Вон там стояли зенитные орудия, — говорил я себе, — а здесь горели наши танки, а вот тут, перед самым кустарником, были врыты орудия нашей батареи». Я смотрел, говорил себе это, и прошлое, пережитое, как бы само собою разворачивалось во мне, и хотя я, то и дело поправляя на спине тяжелый рюкзак, шел к тому месту, где были подбиты зенитные орудия (именно туда в первую очередь тянуло меня, хотя я и теперь не могу объяснить почему), в то же время в мыслях я как будто бежал на командный пункт к комбату и, вытянувшись и замерев, выслушивал приказание подполковника, а потом, вернувшись на батарею, отдавал распоряжение сержанту Приходько и вместе с бойцами его расчета вытягивал к обочине дороги орудие; для меня одинаково реально было и то, к чему я подходил и что осматривал сейчас, и то, что происходило тогда и горячило теперь воображение. Постояв возле нескольких обмелевших, если так можно выразиться, и заросших травой воронок, которые когда-то устрашающе чернели на белом снегу и от которых уносили убитых и раненых зенитчиков, я спустился ниже по дороге, где мы разворачивали перед горящими танками наше орудие на прямую наводку, и с удивлением в первое мгновение увидел, что щель на обочине жива, понимаете, *жива*, хотя тоже обмелела и тоже заросла, и я с минуту стоял перед ней, как перед памятником, и смотрел, как по краям рядом с жилистыми листьями подорожника на высоких зеленовато-белых стрелках чуть шевелились на ветру крупные белые головки одуванчиков. Затем, повернувшись, взглянул на дорогу, на бревенчатый настил, который теперь, в ясное солнечное утро, был виден намного отчетливее, чем тогда, в пасмурный зимний день, казался совсем рядом, будто начинался вот, метрах в пятидесяти от места, где я стоял, и хотя, разумеется, никаких самоходок сейчас на нем не было, а даль просматривалась так хорошо, что можно было различить крыши окраинных изб деревни, но для меня

все вокруг, может быть, на какие-то доли секунды словно преобразилось, и не было листвы на кустарнике, и по краям дороги лежал снег, багрово-розовый от горевших танков, а я, пригнувшись, ловлю в перекрестие прицела бронированный лоб самоходки и чувствую, как ладонь ложится на холодную, покрытую, как перед тем, первым, выстрелом, колким игольчатым инеем металлическую гашетку; мгновение, сейчас грянет выстрел, я прыгну и покачусь в щель, и все оживет: и лица, и руки, и согнутые спины солдат в шершавых и обсыпанных комками красной глины шинелях, и звонкое «шлеп! шлеп!» раздастся там, возле уже подбитых зенитных установок, и сержант Приходько шепотом скажет: «Пронесло», — скажет так, с тем неповторимым оттенком, как произносилось это слово только на войне и только в определенные минуты боя. Я слышал и видел все, глядя на щель и бревенчатый настил, но вместе с тем, как эта ожившая картина казалась мне реальностью (она продолжалась и потом, когда я, уже сняв рюкзак, сидел на траве, свесив ноги в бывшую глубокую и теперь обмелевшую щель, вырытую, как я и сейчас с удовлетворением отмечал про себя, разумно и расчетливо, не поперек, а вдоль дороги), я не пригнулся и не кинулся в щель, как тогда, во время поединка; я медленно сошел с дороги и сел, как путник, решивший отдохнуть, а в ушах все еще гремели выстрелы и разрывы, перед глазами все еще прочерчивались огненные трассы бронебойных снарядов, а со стороны леса уже доносились голоса подходивших к орудию подполковника Снежникова и нашего комбата капитана Филева; вот-вот они примутся обнимать и пожимать руки и прозвучат и теперь дорогие мне слова: «Всех к награде! Сержанта — к боевому Знамени, лейтенанта — к Герою!»

Не помню, сколько времени просидел я возле той заросшей одуванчиками и подорожником щели и сколько выкурил папирос; по шоссе проезжали машины, правда редко, и обдавали газом и пылью, но я, по-моему, не замечал и этого; вероятно, они тоже воспринимались как те танки, что, огибая орудие, когда-то с рокотом и треском устремлялись мимо нас вперед; мне действительно казалось, что только что отгремел бой, и не было еще у меня ни Пургшталя, ни Калинковичей, ни Читы, ни Москитовки, а все только еще должно было быть, и в этом *должно* на первом плане стояла встреча с Ксеньей. В какую-то минуту я снова вышел на дорогу, остановил

машину, но шедшую не в сторону Мозыря, а в противоположную, на Калининичи, и в сумерках — правда, еще хорошо были различимы заборы и избы — на самом въезде в город попросил водителя затормозить и, расплатившись с ним и поблагодарив, остался один на дороге.

Как и много лет назад, в ту фронттовую снежную зиму, когда, разбуженный ординарцем комбата и весь находившийся еще, хотя и после сна, под впечатлением недавнего боя, я появился в избе Ксении, готовый выполнить любое задание, так и теперь во мне как будто жило то же чувство: и когда открывал калитку, и когда затем, поднявшись на крыльцо, проходил через сенцы и переступал порог комнаты. Но, знаете, как ни ярко бывают в человеке воспоминания и прежние чувства — сейчас-то я вполне могу судить об этом, — отключиться полностью от того, что окружает его, он не может, каждая минута жизни рождает новые ощущения и мысли, и, вероятно, потому-то, как не спешил я увидеть Ксению, как ни представлялось мне, что все пережитое должно сейчас повториться, волнения дня, иллюзия боя и встречи — все, как спадает иногда с плеч наспех накинутое пальто, стоит лишь резко повернуться, все как бы вдруг спало, осело во мне, едва только, войдя в избу, я увидел Марию Семеновну, Василия Александровича и Ксению. Не то чтобы они встретили нерадушно, напротив, и Василий Александрович, сразу же принявшийся обнимать меня своею крепкою, мускулистою рукою, и Ксения, помогавшая снимать с плеч рюкзак, и даже Мария Семеновна, ничуть, как мне казалось, не постаревшая за эти годы, молчаливо, но приветливо оглядывавшая меня со своего, наверное, привычного уже места, от печи, — все как будто были рады моему неожиданному появлению, и, естественно, должен был радоваться и я, и я действительно улыбался, проходя в комнату и усаживаясь на предложенный стул, но, сказать откровенно, никакой радости на душе у меня не было. Я то и дело посматривал на Ксению, хотя было неловко и неприлично делать это, я понимал, краснел, но, говоря себе: «Нельзя, не надо», — продолжал смотреть, и Василию Александровичу, я видел, было неловко, да и Марии Семеновне — она постоянно отзывала Ксению, то чтобы сказать что-то, то просила помочь, и все это, конечно же, для того, лишь бы поменьше на глазах; и все же, как бы там ни было, а я, пожалуй, только и видел в эти первые минуты Ксе-

ню, куда бы ни поворачивал голову, и мне казалось, что и она не изменилась с тех давних пор, а была все такая же красивая, и в свете (уже, разумеется, не керосиновой, а электрической) горевшей под потолком лампы серые волосы ее отливали тем же серебристым блеском, а в глазах, я уловил сразу же, в голосе, как она произносила слова, даже будто в движениях рук жил все тот же понятный мне огромный мир человеческой доброты, щедрости и счастья. Я говорю «понятный», но если бы вдруг тогда спросили меня, в чем же состояли эти ее доброта, щедрость и счастье, вряд ли сказал бы что-нибудь вразумительное; теперь-то я знаю в *чем*, потому что позднее открылись мне многие стороны ее жизни, а в тот вечер, как, впрочем, и в первые мои встречи с ней, мне лишь казалось, что я понимал ее, и мир ее представлялся прекрасным, как и сама она, ее лицо, глаза, косы, ее голос, в котором, пожалуй, обращалась ли она к матери, мужу или ко мне, более всего чувствовалась вся ее доверчивая к людям натура. Я почти обожествлял ее, разумеется, не сознавая этого и не задумываясь над тем, хорошо ли, глупо ли это; когда я смотрел на Марию Семеновну или Василия Александровича, одна и та же мысль приходила мне в голову, что они не видят и не понимают, какой человек живет рядом с ними, и что, не понимая, не могут оценить всей прелести ее души (только я один вижу и могу сделать это!), и что оттого счастье Ксени должно быть неполным, но что она, по всему, не замечает этого, а если и замечает, то в силу опять-таки своей щедрости прощает им эту их близорукость. Вот так думал и так чувствовал я в те первые минуты встречи, хотя внешне все было просто: в доме гость, хозяйева рады гостю и собирают на стол, идет разговор, какой обычно бывает в таких случаях, о прожитых годах, и Ксения — может быть, действительно в ней не было ничего особенного, женщина, как сотни других, но вот представлялась же она мне необыкновенной, а чем объяснить это — *чем?* — откровенно, до сих пор не знаю; разве только тем самым пониманием, тем бессловесным, как я уже говорил, языком, который все же существует между людьми? Чем дольше я смотрел на Ксению и думал о ней, тем острее, потому что человек не может жить только в мире воображаемых картин, чувствовал неловкость и оттого, может быть, держался смущенно, скованно, в то время как Василий Александрович, Мария Семеновна, Ксения словно не замечали этой моей скован-

ности и в разговоре между собой, и в обращениях ко мне вели себя просто, не выказывая ни особенной радости, ни того, что гость, так неожиданно нарушивший привычный ритм их семейной жизни, был им в какой-то мере в тягость; и все же, думаю, Василий Александрович чувствовал напряженность встречи, потому что иногда в его взгляде, когда он смотрел на меня, вдруг появлялось что-то недоброе, будто он спрашивал: «Зачем пришел? Я же все объяснил тогда тебе» (и был, конечно, прав, как я понимаю теперь), — но взгляды эти были мимолетными, и он до конца, пока я не ушел, оставался внешне, по крайней мере, радушным и спокойным хозяином.

Когда мы уже сидели за столом и минуты первых волнений были позади — может быть, потому, что я понимал, что ни Василий Александрович, ни Ксения, ни тем более Мария Семеновна не расскажут всего, как они живут («Как все, не лучше, не хуже, «тянем гражданку», — только и сказал о себе, слегка усмехнувшись, Василий Александрович), — я невольно, вместе с тем как будто все время видел перед собой только Ксению, приглядывался и к вещам, что наполняли комнату, и к одежде, в чем были Мария Семеновна, Василий Александрович, Ксения. Я не придавал значения тому, что все они были одеты скромно, по-домашнему, как я застал их, и что ситцевый фартук на Марии Семеновне был прожжен и в неотстирывавшихся, застарелых пятнах, но то общее впечатление, какое осталось у меня тогда, в первый приезд, и это нынешнее, что создавалось теперь всем видом комнаты с кухонным столом, белыми шторками на окнах, длинною скамьею с ведрами вдоль печи и шестком, уставленным чугунами, были одинаковыми, словно жизнь здесь ни на шаг не продвинулась вперед, и это так не совмещалось с тем, что привык думать о Ксении, что иногда как бы вдруг, ни с того ни с сего начинал протирать глаза, чтобы увидеть все по-другому. И на лице Ксении, когда внимательнее пригляделся к нему, заметил какую-то будто усталость, что-то было в нем болезненное: то ли в бледности, то ли в каких-то еле уловимых черточках и линиях; да и Мария Семеновна тоже теперь казалась постаревшей и чем-то, я чувствовал, глубоко озабоченной, и Василий Александрович хотя и старался шутить, но и в его глазах минутами вспыхивало какое-то непонятное и не связанное с моим приходом беспокойство; что крылось за всем этим: нескладная ли семейная

жизнь, ссоры, недостаток, неурядицы ли по работе или еще что-то, чего тогда, разумеется, я не мог даже предположить, но, во всяком случае, мне ясно было одно, что не все ладилось здесь, и я смотрел уже и на них, и на все, что попадалось на глаза, с тревогою, будто эти подразумеваемые несчастья были не Ксенины, не Василия Александровича и Марии Семеновны, а моими. «Нет, — временами говорил я себе, — все это мне только кажется, потому что думаю, что я бы сделал Ксеню счастливее. Конечно, только кажется», — повторял я для убедительности, но почти тут же, так как Ксения сидела за столом напротив меня, лишь чуть приподнимал голову, видел, как болезненно бледны ее щеки, а когда поворачивался на вопрос Василия Александровича (или чтобы ответить ему), опять и опять ловил на лице его беспокойство, словно он чего-то стеснялся, своей, может быть, именно этой семейной неустроенности, что ли.

«Все там же, в диспетчерской?» — спросил я, когда все, что можно было рассказать о себе, было уже рассказано и хотелось хоть что-нибудь услышать от Василия Александровича.

«А куда еще?» — вопросом же ответил он, приподняв для подтверждения единственную свою правую руку.

«Учиться не думал?»

«Нет, — сказал он уверенно и твердо, но я заметил, как он недоуменно переглянулся с Ксеньей. — Нет», — чуть выждав, повторил он и снова взглянул на Ксеню, как будто ему самому было не ясно, верно ли он говорит или нет.

«Почему?»

«Ну как тебе сказать...»

«Да что уж, какая тут учеба, — неожиданно вставила свое слово долго сидевшая молча Мария Семеновна. — Валенки подшивать по ночам — вот и вся ему учеба».

«Мама!» — воскликнула Ксения.

«Что «мама»? Разве ж я от худа какого? Али человек сам не видит? Нужду за пазуху не скроешь».

«Мама!»

«Тут, Евгений, все гораздо сложнее, — сказал Василий Александрович, кладя мне руку на плечо и взглядом прося при этом жену и тещу замолчать и успокоиться. — Я ведь еще с детства не любил учиться, — шутливо добавил он, чтобы хоть как-то сгладить то впечатление, какое, он видел, произвели на меня слова Марии Семеновны

и Ксени. — Дотянул до десятого, и куда дальше? Где полегче? В военное училище. Тут, скажу тебе, была у меня жилка, была, душой чувствовал, да, впрочем, ты же знаешь, сколько месяцев бок о бок на передовой, а? Или ты обо мне иного мнения был?»

«Какой разговор, Василий Александрович!»

«Разговор обыкновенный: была жилка, была, Женя, и никто отрицать не сможет, да и осталась на Сандомирском. — Произнеся это, он чуть заметно, искоса посмотрел на пустой левый рукав своей рубашки. — А в общем, чего жалеть: победили, вернулись, живем, и все идет как надо, но ты-то, ты — молодец! Да ты всегда был, сколько помню, молодцом, и зря тебе тогда не утвердили Героя. А мы ведь дополнительно писали, и Снежников хлопотал — душа-человек, отличный командир, он сейчас уже генерал и служит где-то там у вас на Дальнем Востоке, и напрасно мы не переписываемся, порастерялись, позамыкались каждый в свою скорлупу, а-а, даже не хочется об этом... Из Москитовки, наверное, как закончишь институт, опять в Читу? В глуши-то чего сидеть?» — как будто незаметно, будто само собою (но для меня и теперь да и тогда было вполне очевидно, что он просто уклонялся от серьезного разговора), вдруг прервав свои рассуждения, спросил он.

«Пока не решил. Надо закончить, а после видно будет».

«Поселок-то большой? Есть перспективы?»

«Какие могут быть, Василий Александрович, там у нас перспективы? Лесозавод, а в общем, лесоперевалка, вот и все».

«А люди как живут?»

«В каком смысле?»

«Ну, уровень, что ли».

«Уровень в целом, насколько я могу судить, что ж, уровень — я же бываю в домах своих учеников, — как везде сейчас, неплохой, подымается. Но тоже, хоть и фронт будто не проходил, и разрушений нет, а война и там наследила, домишки поосевшие, да и народ все еще как-то по-настоящему встряхнуться не может, рук не хватает: на плотях — бабы, у пилорам — бабы», — начал я, хотя казалось, что все, что можно было рассказать, было уже рассказано и о Чите и о Москитовке и ничего уже не оставалось в памяти. Но Василий Александрович спрашивал, а я отвечал, и оба мы долго еще вели как будто интересующий нас разговор, хотя ни ему, ни мне не до-

ставлял он ни интереса, ни удовлетворения. Не знаю, какие думы охватывали его, но я постоянно и с еще большим теперь, кажется, волнением посматривал на Ксению, уже не только обращая внимание на болезненную бледность ее щек, а мысленно представляя, как должна была жить она, что уже сейчас, когда ей нет еще и тридцати, уже и эта бледность и утомленность; я воображал, конечно, по-своему, как жила она, но мне опять казалось, что я понимал ее, и хотелось (в какие-то доли секунды я был совершенно готов к этому и не помню, как только сдерживался), прямо взглянув в глаза Василию Александровичу, спросить: «Что ты сделал с Ксеньей?» Но, однако, мы продолжали вежливый и как будто радовавший всех нас разговор, пока наконец Василий Александрович, посмотрев на часы, не встал из-за стола и не сказал, устало потянувшись:

«Ты где остановился?»

«Как где?»

«Где, говорю, остановился, в гостинице?»

«Да», — ответил я, хотя даже не знал, есть ли в городе гостиница и где расположена она.

«А то остался бы у нас, нашли бы место где переночевать».

«Нет, спасибо».

«А из Калининвичей когда? Завтра?»

«Думаю, завтра».

«Куда?»

«В Речицу».

«А-а, это ты хочешь на вокзал, где нам снайпера прицелы поразбивали, ну-ну».

«Потом в Ветку».

«А-а, на тот самый песчаный откос, на лобное место, ну-ну, помню».

Он помнил, конечно, и уличные бои, которые мы вели в Речице, и вокзал, где немецкие снайперы так прижали нас к земле, что до самой ночи мы не только не могли поднять головы, но боялись пошевелиться, и помнил так же хорошо песчаный откос на берегу Сожа, под Веткой, где была развернута батарея на прямую наводку, чтобы поддержать переправу, и куда после неудачного форсирования, когда немцы танковым контрударом сбросили нашу пехоту в воду, прибывало волнами посиневшие трупы солдат, но, помня все, вместе с тем не хотел сейчас, и это было заметно, вдаваться в подробности; в том, как он произносил «ну-ну», будто снисходительно похлопы-

вая в знак одобрения по плечу, в мгновенном взгляде, какой бросил на рюкзак, как только я тоже, поднявшись, вышел из-за стола, нельзя было не почувствовать, что он желает лишь одного — поскорее распрощаться со мной. Даже самого элементарного: «Посидел бы еще, куда то-ропишься, столько лет не виделась», — что говорят в таких случаях иногда и не очень гостеприимные хозяева своим не очень-то желанным гостям, Василий Александрович не сказал, и оттого, может быть, никогда прежде не испытывавший к нему неприязни и не позволявший себе в тот, прошлый приезд думать о нем плохо, теперь, видя и чувствуя это его желание поскорее проводить меня, с раздражением говорил себе: «Вот ты какой, вот когда раскрылось твое нутро! С годами раскрывается, правильно говорят, с годами, и ты не имел права жениться на Ксене. Ты сделал ее несчастной, взгляни, ты сделал ее такой!» Я горячился, хотя все это было напрасно, и позднее, когда с Василием Александровичем мы снова стали друзьями и многое объяснилось, и на эту встречу, и на его поведение я смотрел уже иначе, но в тот вечер все во мне бурлило, и я лишь сдерживал себя, чтобы не наговорить грубостей (не наговорить, главное, при Ксене) бывшему своему комбату. Стараясь не смотреть на него, чтобы случайно не встретиться с ним взглядом, я начал прощаться с женщинами.

«Спасибо, Мария Семеновна, — как можно ласковее проговорил я и, когда она протянула руку, пожал ее. — Спасибо и вам, Ксения, за вечер и до свиданья», — обратившись к ней и слегка наклонив голову по старой, еще военной, офицерской привычке, продолжил я, и так как она тоже протянула руку, пожал ее холодные белые пальцы; когда же повернулся к двери, чтобы взять лежавший у порога рюкзак, прямо передо мною уже с рюкзаком в руке словно выросла, загораживая все, фигура Василия Александровича.

«Я помогу», — сказал он.

Я молча взял у него рюкзак и накинул на плечи.

«Ну, до свидания, — еще раз обратился я к женщинам, которые, было видно, не собирались провожать меня. — Желаю вам здоровья и счастья. Ну, Василий Александрович...» — начал было я, но он не дал договорить.

«Я провожу, ничего, мы еще обнимемся», — сказал он и открыл дверь.

Молча прошли мы через темные сенцы, спустились с крыльца и так же молча прошли через двор; когда уже оказались за калиткой, как и во время того, давнего прощания, он вдруг жестко взял меня за плечо и, взглянув в темноте в лицо, с какою-то будто просьбой проговорил:

«Не думай обо мне плохо».

«А я и не думаю».

«Облить грязью человека всегда легко, а понять его душу трудно. Не думай плохо, слышишь, говорю тебе».

«А я и не думаю».

«Ну, дай обниму на прощанье, что ли, — добавил он, и я снова ощутил под рюкзаком на спине его широкую, теплую и жесткую ладонь и возле щеки своей его щеку. — Иди. И хорошо, что зашел, и заходи еще, ради бога».

Я не оглядывался, когда по неосвещенной, темной улице уходил от дома Ксени, но знал, что Василий Александрович стоит у калитки и смотрит мне в спину; ему тоже, наверное, как и мне, нелегко было теперь, после этой нашей встречи, он по-своему видел, понимал и переживал ее, представляя, как он обошелся со мной, бывшим своим фронтовым товарищем, но все мы в какие-то минуты жизни бываем эгоистичны, и потому я не думал, с каким чувством остался Василий Александрович у калитки; меня не волновали его переживания; даже злости той, что испытывал в комнате, прощаясь со всеми, теперь как будто не было во мне, а лежало на душе лишь какое-то горькое, неприятное ощущение, будто я проглотил что-то колючее, жесткое и надо было чем-то запить, чтобы размягчилось и растворилось это колючее и жесткое. Я невольно сравнивал то, как Василий Александрович держался дома, в присутствии Ксени, с тем, как разговаривал со мной (и ведь это не первый раз!) только что, когда мы стояли вдвоем, и мне казалось, что было что-то унижительное в его словах: «Облить грязью легко, а понять душу трудно» — и особенно в просьбе: «Не думай плохо». «Конечно же, он виноват, — говорил я себе, — и все дело в нем, как они живут, в каких-то дурных, может быть, отвратительных поступках, которые он совершает, понимая, однако, что делает гадко, но повторяет снова и снова, не в силах побороть своего характера, и потом кается, — есть же такие люди, и сколько угодно, терзающие свои семьи! — вымаливает прощение у Ксени и Марии Семеновны, как вот сейчас вымаливал

у меня. Но Ксения, Ксения!..» Ни в какую гостиницу, разумеется, я не пошел, это не входило в мои планы; и в Речицу и Ветку я уже не поехал; знакомая с давних лет дорога привела меня на вокзал, и я до утра просидел уже, конечно, не в холодном дощатом бараке, а в теплом и светлом зале ожидания для пассажиров, на скамье рядом с разросшимся в дубовой кадке и заслонившим своими широкими листьями весь угол фикусом, а как только открылись кассы, взял билет на Москву.

Покидал я Калинковичи опустошенным, на душе было так тяжело, что ни о чем не хотелось думать; но и не думать я не мог, передо мною постоянно словно стояли две Ксени: та, какую я знал ее прежде, и эта, какой увидел теперь, похудевшая, утомленная, — и при одной лишь мысли, что она несчастна, а в том, что она несчастна, я ни минуты не сомневался, я весь как бы съеживался от страдания и боли. Я не знал, в чем она несчастна, но мне казалось, что все было понятно мне. Мне было жалко ее; вместе с тем, как ни обвинял я Василия Александровича и как ни казался он мне жестоким и нехорошим, было жалко и его, и Марию Семеновну, и те ее слова: «По ночам валенки подшивать» — теперь будто расшифровывались, и я представлял, как Василий Александрович, вернувшись с дежурства из диспетчерской, пристраивался на низенькой скамеечке у стены (я видел эту скамеечку, она стояла под лавкой, у печи), брал валенок, зажимал между коленями и, однорукий, сгорбленный, ловчась, помогая себе подбородком, плечом, грудью, работал до поздней ночи, подрабатывал, а зачем? Где его приработок? Вся жизнь Василия Александровича, Марии Семеновны, Ксени с ее явной семейной неустроенностью и непонятной (ведь с приработком!) нуждой оставляла тяжелое чувство. «Опоздал», — мысленно говорил я себе, лежа на полке в купе, и ни на что как будто не глядя, и ничего не замечая вокруг, лишь чувствуя, как все прошлое — и мое и Ксени — и будущее словно сливалось в этом одном и горестно звучащем для меня слове.

Час седьмой

— В Москитовку я вернулся иным человеком, — продолжал Евгений Иванович. — Правда, сам я не замечал, какие произошли во мне перемены, но Зинаиде Григорьевне, как она потом рассказывала, я показался и похудев-

шим, и утомленным, и необычайно расстроенным, и каким-то даже будто рассеянным и забывчивым («Смотришь на меня и не видишь, — говорила она, — хоть воду подай, хоть щи, хлебаешь ложкой, а вкуса нет, гляжу, сердце заходит!»), и она, разумеется, не зная, что произошло со мной, всей душой, как она выразилась, ненавидела те далекие и неведомые ей Калинковичи, которые *испортили*, сделали как бы чужим дорогим ей человека; она даже молилась по ночам, устанавливая в уголок икону и зажигая свечу, но, повторяю, узнал я об этом позднее, а в тот год, когда вернулся, помню лишь, что на целые дни, пока, конечно, не начались занятия в школе, уходил в лес, и осенние краски — желтая листва берез и темная зелень елей — производили на меня то успокаивающее действие, какое, как я давно уже убедился, всегда производит природа на человека, особенно горожанина, как только он выезжает в поле, на море или в лес. Бродил я бесцельно, без ружья — убивать птиц и зверей ради удовольствия, пусть спортивного, нет, увольте, это не для меня! — разгребая сапогами опавшие сухие желтые листья, иногда по колена зарываясь в них, и шорох, и особенный запах увядания, и небо сквозь полуоголенные, в редких еще листочках ветви, белесое, осеннее, как будто выгоревшее и уставшее за лето, — все было словно чем-то новым для меня, я все замечал, всем любовался, и все так закрепилось в памяти, что часто и теперь, вспоминая, мысленно переношусь в тот осенний лес, и в такие минуты все как бы укладывается во мне, и я — нет, не говорю себе, это было бы смешно и глупо, но всем будто существом чувствую то непрерывное и ободряющее движение жизни, что после каждой осени непременно будет весна и лето и что после каждой горечи — непременно успокоение и новые, может быть радостные, волнения. Несложное, как видите, нехитрое повторение, а вот содержит же какую-то неизмеримую глубину. Помню еще, что зима в том году пришла рано и была снежной, метельной; сугробы лежали ровень с крышами; когда же стихали ветры, в морозные ясные дни все покрывалось густым сизоватым инеем: и бревенчатые стены изб, и телеграфные столбы, и провода на них, отяжелев, как белые канаты, висели в воздухе, и ветви берез, елей, и воротники, спины и шапки шагавших в синей рассветной мгле на работу людей — все покрывалось инеем, и у меня тоже, когда входил в теплый коридор школы или, уже поздно вечером, входил в натоп-

ленную избу Зинаиды Григорьевны, брови бывали так опущены, что приходилось платком вытирать, как слезы, этот таявший иней. В общем, жизнь не останавливалась, текла день за днем своим чередом, выдвигая разные новые заботы, и, откровенно говоря, я не думал ни о Ксене, ни о Василии Александровиче, а просто, знаете, как это бывает иногда, испытывал равнодушие ко всему; может быть, и с вами случалось такое, когда все равно, живешь или не живешь; но с первыми весенними днями, когда над окнами повисли длинные голубые сосульки и когда солнце все чаще начало заглядывать в класс, освещая склоненные головки ребят, опять, сперва исподволь, постепенно, но с каждой неделей все сильнее, прежняя же мысль о поездке по местам боев возникала и будоражила сознание. Правда, Калининвичи даже мысленно я старался не затрагивать и говорил себе: «В Речицу или Ветку». Я опять обманывал себя, но, как и раньше, не замечал этого и, как только сошел снег, к великому огорчению Зинаиды Григорьевны, вновь принялся собираться в дорогу.

Опять мы шли по тропинке через тайгу, но, прежде чем войти в густой березняк и ельник, останавливались и, оглянувшись, смотрели на деревянные домики поселка, на корпуса лесозавода, изгиб реки, пристань и плоты у желтого песчаного откоса, и опять словно специально (потому что она шла позади меня) вырастала в эти минуты передо мною стройная и нарядная фигура Зинаиды Григорьевны, и я смотрел на все поверх ее головы и плеч; и шагали молча; и так же долго сидели на скамейке, ожидая поезд, а солнце, клонившееся к горизонту, обаграло своими закатными красками тайгу, а когда зеленые вагоны, прогремывав, на секунду остановились, так как торопливо, пожелав лишь счастливо добраться домой, но не обняв и не пожав руки Зинаиде Григорьевне, вспрыгнул на подножку и уже оттуда, из тамбура, из-за плеча проводника смотрел, как уплывал в сумерках дощатый перрон вместе с неподвижно стоявшей на нем Зиной. Вообще-то многое тогда напоминало мне первую поездку, с той лишь разницей, что, прибыв в Калининвичи, с вокзала я не пошел к дому Ксении, а, добравшись на автобусе до рынка, сразу же на попутной машине отправился в Гольцы; да и в Гольцах, постоянно заглушая в себе желание увидеть Ксению, прожил лишь день, а когда вновь вернулся в город, снял номер в гостинице и почти все время с утра до вечера лежал на кровати, как

больной, вспоминая, прислушиваясь к шуму улицы, забываясь в дремоте и снова, очнувшись, продолжал думать и вспоминать. Меня беспокоила судьба Ксени. Я был убежден, что она несчастна, и мучился оттого, что ничего не мог сделать для нее. «Но, может быть, я ошибаюсь и все не так», — пробовал говорить я себе и, хотя уже пора было мне уезжать, со дня на день откладывал сборы, чувствуя, что не могу уехать, не повидав ее и не узнав, как живет она и что поделявает Василий Александрович (к нему-то, впрочем, была у меня как будто определенная, устоявшаяся неприязнь), и в то же время не решаясь идти к ним. Сознание того, что я чужой, лишний и нежеланный там человек, угнетало и удерживало меня от этого шага. Несколько раз в сумерках все же я подходил к дому Ксени, но, постояв у калитки, возвращался в гостиницу, и только когда уже был куплен билет и все уложено в дорогу, буквально, почти за час до отхода поезда не выдержал и помчался к ним.

Все, как в прошлый раз, — и Ксения, и Василий Александрович, и Мария Семеновна — были дома и, как в прошлый раз, встретили будто радостно и были заметно огорчены, когда, достав из кармана билет, я сказал, что заглянул лишь повидаться и что даже стакан чая выпить с ними нет времени; но за те короткие минуты, пока был у них, — я опять сидел на стуле как будто перед шестком и длинной скамьей с ведрами и чугунками, — успел и разглядеть все (все было по-прежнему, и низкая сапожная табуретка, на которой Василий Александрович по вечерам подшивал валенки, стояла там же, под скамьей у печи), и уловить то недоброжелательное друг к другу отношение (как иногда Василий Александрович неожиданным резким взглядом останавливал намеревавшуюся что-либо произнести Ксению и как Мария Семеновна снова, как в прошлый раз, вдруг вмешавшись в разговор, с горечью бросила: «Живем? Что живем — тянем с рубля на копейку!»), и, главное, вновь поразило меня лицо Ксени. Может быть, я преувеличивал, находясь в возбужденном состоянии, и все заключалось лишь в том, как она стояла к свету, — лампочка горела позади нее над головою, и оттого под глазами и у губ лежали глубокие и старившие ее лицо тени, — но мне некогда было раздумывать, отчего под глазами тени, от верхнего света ли, или от семейной неустроенности; когда, распрощавшись, я вышел из комнаты, а Василий Александрович, как и раньше, проводив до калитки, приготовил-

ся было обнять меня, я отвел его руку и тихо, но решительно, как никогда прежде не разговаривал с бывшим своим комбатом, спросил:

«Ты что с ней сделал?»

«А что?»

«Я спрашиваю: что сделал с ней?» — резко повторил я, наклоняясь к нему, чтобы в сумерках, когда он будет отвечать, увидеть его глаза.

«Если ты еще произнесешь хоть слово, — так же тихо, но угрожающе проговорил он, — ударю».

«За что?»

«Знаешь».

«За что же?»

«Иди, а то опоздаешь на поезд».

Я еще стоял и смотрел на него, а он, будто меня уже не было, закрыл калитку и, не сказав даже до свиданья, повернулся и пошел в темноте через двор в избу; и сейчас же послышалось, как в сенцах за дерью громыхнула задвижка.

Догнать, крикнуть, остановить, снова постучаться — все это было бессмысленно; я помню, что еще несколько минут смотрел на избу, которая мне казалась огромной на фоне синего ночного неба, и затем побрел к автобусной остановке. Мне было все равно, успею я или не успею на поезд, и до сих пор не могу понять, как случилось, поезд ли шел с нарушением графика, но только когда я очутился на вокзале, поток пассажиров только-только хлынул к входным на перрон воротам. Я уезжал из Калининвичей с таким злым чувством, какого еще никогда не испытывал в жизни, и как только приехал в Мосkitовку, сейчас же написал Василию Александровичу письмо, длинное, подробное, изложив все, что думал о нем, о судьбе Ксени и вообще о жизни, как понимал ее тогда. Послал на диспетчерскую, где он работал, так как не хотел, чтобы о письме знала Ксения; мне представлялось это лишь нашим, мужским разговором, на который я имел, думаю так и теперь, полное право, но он не ответил мне, спустя несколько месяцев я написал еще и, опять не получив ответа, послал уже на домашний адрес (разумеется, в этом, последнем, только осведомлялся, живы ли и здоровы они и что подельывают) и, когда уже совсем разуверился, что хоть что-нибудь ответит мне Василий Александрович, неожиданно весной, в конце мая, получил от него наконец маленькое послание, в котором он сообщил, что «все хорошо, жизнь идет как должно»,

но что «Ксеню вот положили в больницу» и что ей «предстоит серьезная операция». В тот же день я дал телеграмму: «Чем могу помочь?» — и хотя получил ответ: «Спасибо, ничего не надо», — да и дела складывались так, что мне нельзя было уезжать, все сразу: и защита дипломной, и мать, жалуясь на здоровье, просила приехать в Читу, и к тому же с Зинаидой Григорьевной я уже жил не как с хозяйкой, у которой снимал квартиру, а как с женой, и ей надо было теперь объяснить все, — я все же, взяв отпуск, срочно выехал в Калинин-ковичи.

«Примчался?»

«Да».

«Я это знал, — добавил Василий Александрович, закрывая за мной дверь. — Бросай рюкзак на лавку, раздевайся и проходи».

Он был в доме один, я понял это сразу, оглядев показавшуюся мне пустой и неудобной комнату.

«В больнице еще, — сказал Василий Александрович, перехватив мой взгляд. — Операция вроде прошла удачно, дело идет на поправку».

«А Мария Семеновна где?»

«Там же, в больнице».

«С ней что?»

«Но ты же еще не знаешь, что с Ксеньей», — недовольно перебил он.

«Да, конечно, что с ней?»

«То-то, «что с ней»... Чаю хочешь? Еще горячий, могу угостить, — предложил он и тут же, не дожидаясь ответа, направился к висевшему на стене потемневшему деревянному посудному шкафчику и, открыв дверку, принялся одною своею рукою доставать граненые стаканы и блюда и устанавливать на столе. — Что с ней? Почку удалили, — уже на ходу продолжил он. — Да и оставшаяся, говорят, не очень. А Мария Семеновна, что ж, как нянечка при ней, и все. А-а, — протянул он вдруг, перебивая себя и с нескрываемой досадой махнув рукой, — все на лечение, ты не знаешь и не можешь представить себе, Евгений, сколько потрачено на ее лечение! А сколько она совершила глупостей! А-а, говоря между нами, откровенно, я уже измучился, устал, и все мне надоело, осточертело, вот, на загривке все», — закончил он, ребром ладони пропилив по своей согнутой шее.

Никогда прежде и никогда потом я уже не видел Василия Александровича таким расстроенным, удрученным, недовольным собой и жизнью, каким он был в этот вечер, когда мы вдвоем сидели за столом в той самой избе, которая была нам обоим памятна еще с фронтовой зимы, когда на рассвете мы вступили в освобожденные Калинковичи, и которая была давно уже теперь его родной избой, семейным, но не сложившимся, как он с горечью выразился, очагом, где жизнь стала для него не радостью, какую она должна быть для всех и какою, как ему казалось, живут, по крайней мере, многие и многие, а одною бесконечною и трудною, как для рабочей лошади, дорогою. Он говорил неторопливо, долго, весь вечер: и пока пили чай, и после, когда просто сидели за столом друг против друга, и удивительно — как я теперь понимаю, несчастья всегда сближают людей! — держались мы так, будто ни разу не ссорились, а, напротив, всегда оставались друзьями, даже более: словно и не первым был этот доверительный, душевный разговор, а давно уже мы делились жизненными впечатлениями, и будто я не только слушал и понимал, что он говорит, но и вполне разделял его мнение и сочувствовал ему. Да и на самом деле, ошеломленный этим его неожиданным откровением, я, казалось, действительно понимал и действительно сочувствовал ему; он выглядел настолько постаревшим (в те свои приезды я ведь смотрел только на Ксеню, и волновало меня лишь то, что происходило с ней!), что минутами не верилось, что передо мной сидит теперь тот самый бывший мой комбат капитан Филев, обычно подтянутый, стройный, строгий к себе и окружающим, как он запомнился мне с тех лет и представлялся в воображении, а какой-то другой, пожилой, опустившийся и сторбленный под тяжестью жизни человек, у которого никогда будто не было ни боевой молодости, ни просвета, как не было сейчас левой руки, и он будто никогда не выходил за порог этой деревянной, с низким потолком и большой русской печью избы. Виски его были седыми, по всему лбу, разрезая его на линии, лежали глубокие морщины; днем они, наверное, не были так заметны, как теперь, вечером, при верхнем свете, потому что в них собирались тени; морщины постоянно двигались вместе с бровями, которые Василий Александрович то вскидывал в недоумении, то сдвигал, хмурил, когда хотелось ему, очевидно, выразить особенное недовольство тем, о чем говорил,

и видеть эти двигавшиеся морщины на когда-то молодом, красивом, полном жизни лице было грустно. Я думал: «Что я знаю о нем? И что знал, когда служили вместе?» Ведь это нам лишь кажется, что мы знаем своих друзей, а в сущности, если разобраться, я только и помнил, что родом он откуда-то из-под Смоленска, что крестьянский сын, и что деревня его сожжена немцами дотла, и все родные погибли, но то, как он жил до того, как мы познакомились на фронте, когда я пришел к нему на батарею, и то, как жил потом, эти годы, когда женился на Ксене, я по-настоящему не знал; а предположения, что ж, разве могут быть верными они, если я судил обо всем лишь по впечатлениям от своих коротких и редких наездов? Я смотрел на его руку, которую он держал на столе, на широкую крестьянскую ладонь и пальцы с прокуренно-желтыми ногтями, жесткие, грубые и с уже не промывающейся чернотой (это оттого, наверное, что он постоянно имел дело с дратвой, иглой и шилом), и поглядывал на низенькую табуретку, которая находилась все на том же, под лавкою, месте, где стояла и в прошлый и в позапрошлый раз, когда я приезжал к Василию Александровичу, и хотя я никогда не видел его за работой, вся картина, как он, ловчась, изворачиваясь, орудовал иглою и шилом, вставала перед глазами.

«И что это дает?»

«Копейки, конечно. Но ведь и копейка к копейке — рубль!»

«А чем-нибудь другим заняться?»

«Чем? С одною-то рукой? А главное, время. Может, чему-нибудь и выучился бы, да кто бы семью кормить стал?»

Разговора такого не было; это потом, вспоминая, я думал, что именно так бы Василий Александрович ответил на мои вопросы, а в тот вечер я был, как уже говорил, настолько ошеломлен, особенно вначале, этой открывшейся мне жизнью, что больше слушал, чем спрашивал, и может быть, от жалости к Василию Александровичу, а скорее от того давнего чувства уважения к нему как к комбату (старшему по званию, по опыту жизни и по годам человеку), которое все еще было живо во мне, я не мог говорить ему ничего поучительного, лишь выбрав момент, спросил:

«Но болезнь-то у нее откуда? Как случилось все?»

«О, это история длинная».

«Может быть?..»

«Ты думаешь, от того падения? Нет, не только».

«Но...»

«Не забегай, не надо, лучше послушай, ведь ты все равно ничего не знаешь о ней. Ну что ты знаешь? И я ничего не знал. Все мы открываемся постепенно и открываем людей постепенно. Пришел однажды к нам незнакомый старик, на втором или на третьем году, как мы поженились, снял шапку, поклонился и говорит: «здесь живет Ксения Захарова?» — «Ну, здесь», — отвечаю, и все мы тут, в комнате, собрались, смотрим на него и думаем: чего ему надо? А он тоже оглядел нас, затем сбросил с плеч мешок, достал из него завернутое в тряпицу сало, а тогда, знаешь, еще карточки были, положил на стол и, повернувшись к Ксене, низко, почти до полу поклонился и сказал: «От внучки моей, от Нади, тебе поклон и спасибо. Она умерла, а перед смертью просила обязательно найти тебя и поблагодарить. Так о тебе до последней минуты и вспоминала. Я обещал, и давно бы надо прийти, да все недосуг, все собирался, ан, может, гостинец какой получше, да ведь и нам отведены богом дни. Спасибо тебе, дочка, за Надюшу и от меня». И он еще раз низко поклонился Ксене. Мария Семеновна-то знала все и потому не удивилась, а я сейчас же с вопросами к старику, к Ксене: какая Надя? что было? А было, оказывается, вот что: согнали немцы с окрестных деревень девушек на вокзал, прихватили и из Калинковичей, в том числе попала и Ксения, и всех их в эшелон и в Германию, как тогда они делали. Ночью на каком-то перегоне девушки в том вагоне, в котором была Ксения, выломали пол и поныряли на шпалы, а зима, холод. Ксения-то выпрыгнула удачно, а эта самая Надя (там же подружись, в вагоне) переломала себе руки да и позвоночник повредила, вот Ксения двое суток и волокла ее через лес до деревни. Пообморозилась, простыла, а все же приволокла, спасла от смерти тогда, ну та и благодарна. Вот что было. В двух словах, а за словами-то — жизнь! Потом и ей самой люди помогли добраться до Калинковичей, и почти год жила она в погребке, пряталась от немцев, с тех пор и застужены почки. Но ведь этого могло и не быть, вот главное. — При этих словах Василий Александрович как-то особенно, будто грозил кому-то, поднял указательный палец. — На другой день, когда старик ушел, Мария Семеновна и говорит: «По дурости она попала, Фроську побегла предупредить, подружку, да

и влипла сама. Там ее вместе с Фроськой и взяли. А сидела бы в сарае, куда я ее спрятала, и отсиделась бы, так нет, к Фросе...» — «Мама!» — крикнула Ксения. «Ну чего «мама», или не так?» Есть, Женя, в ней эта черта, — продолжал Василий Александрович, в то время как я, молча глядя на него и слушая, невольно представлял, как все происходило, как Ксения, краснея и умоляюще глядя на мать, просила замолчать ее (так уже было раз при мне, я хорошо помнил ту сцену). — Есть в ней этакая, я бы сказал, вселенская доброта. Женщина она хорошая, ничего дурного не скажешь, но эта ее черта... А прыгнула она тогда с крыши? Зачем? Прыжок не прошел даром. Да что прыжок, его еще можно объяснить, а вот кровь отдавала — она же, помнишь, в больнице сестрой работала, — это к чему? Сама-то уже больная, а туда же, берите, спасайте, как будто никого там, в больнице, кроме нее, и нет. Ночью, во время дежурств, разумеется. Да и узнавал-то я потом, после. А на картошку осенью... Вот уж чего ей совершенно нельзя было делать, так опять же подругу пожалела: к какой-то там Дусе ли, Мусе ли муж или брат из армии приехал, а ее в колхоз картофель копать, так не кто-нибудь, а Ксения вызвалась подменить ее и уехала на две недели, а вернулась оттуда желтая, кожа да кости. А ну-ка две недели по сырой земле да согнувшись, и это при ее-то здоровье! С той осени, собственно, все и началось: посылали ее и в Трускавец, и в стационар клали, и, в конце концов, забрал я ее с работы, и все. Может, и хуже сделал, да какая она работница, дома и чугунок поднять не может. А все из-за чего, Женя? Из-за этой своей, ну, как я говорил, вселенской, что ли, доброты. Она нужна, я понимаю, но ведь и всему мера должна быть. Поклон какого-нибудь старика — это еще не жизнь. К людям с добром, а к себе, к семье, к мужу? Где тут грань? Чужих жалко, а себя, ближних? Вот и окинь теперь, как и что было. А всякая щедрость за счет других — не такое уж и великое дело. А-а, — опять протянул он и, как и в самом начале разговора, досадно махнул рукой, — что я говорю! Пережить это надо, потянуть лямку, и без слов станет ясно что к чему, так что ты не очень-то жалей, ты знаешь, о чем я, а то тебе пришлось бы сейчас вот так рассказывать, а я бы молчал и слушал».

Мы долго еще сидели за столом, и Василий Александрович то затихал и тогда, склонив голову, всей пятерней своей единственной руки прочесывал и приглаживал

довольно густые еще и лохматившиеся волосы, то опять начинал говорить, возвращаясь к тому же, что давно уже, как видно, мучило его, с чувством какого-то будто удовлетворения отыскивая в памяти новые и новые примеры Ксениной *вселенской* — он уже с усмешкой произносил это слово — доброты; у меня осталось такое впечатление, словно он перекладывал груз со своих плеч на другие, потому что, в то время как ему становилось как будто легче от того, что он говорил, я испытывал совершенно иное чувство. Я не мог твердо сказать себе, прав ли Василий Александрович или нет. То мне казалось, что он прав, и во всем был согласен с ним, то вдруг, когда как бы становился на сторону Ксени, все во мне поворачивалось, я тоже наклонял голову и прочесывал пальцами волосы, но делал это для того, чтобы прикрыть ладонью вспыхивавшую на лице неприязнь к Василию Александровичу. «Что он говорит? Как можно?» — думал я, из-под пальцев глядя на Василия Александровича.

Стакан с недопитым и остывшим чаем так и остался на столе, когда уставший от разговора Василий Александрович предложил наконец отправляться на покой, так как утром чуть свет ему надо было бежать в диспетчерскую, а вечером после пяти навестить Ксению в больнице.

«Пойдем вместе, — сказал он, — если хочешь».

«Разумеется».

«Спать можешь сколько душе угодно, Мария Семеновна придет часам к одиннадцати — прибрать, обед готовить. Ну, спокойной ночи. Вот тебе топчан, а вот простыня, одеяло и подушка», — добавил он, подавая их из-за перегородки.

Все, что он рассказывал, было для него повседневной жизнью, и потому, может быть, как только он потушил свет и лег в кровать, сейчас же послышался из-за перегородки его негромкий, какой бывает всегда у усталых мужчин, храп; он заснул сразу же, тогда как я долго лежал в темноте с открытыми глазами. Для меня его рассказ тоже был жизнью, но не повседневной, а новой, только что и неожиданно открывшейся, и потому я не мог не волноваться и не думать об этой жизни, а вернее, не думать о Ксении, Василии Александровиче и обо всем том, что узнал от него в этот вечер. «Может быть, ты и прав, — мысленно говорил я, будто мы все еще сидели за столом, и то, что надо было сказать Василию Алек-

сандровичу тогда, я произносил, как всегда, запоздало, лишь теперь. — Но ведь и живем мы для чего? Не под себя же все подгрести, а людям. А люди нам. И в этом — общество, в этом — единство и цель. А что можно предложить взамен? Каждый для себя? Но это уже было, веками было, и надо хоть чуточку знать историю, тогда сразу все станет на свои места», — продолжал я, чувствуя, однако, что эти привычные, всегда казавшиеся незыблемыми формулировки — да и что может быть благороднее, точнее, понятнее и проще, чем: «Жизнь для счастья людей!» — звучали будто неестественно, ложно, а перед глазами постоянно возникало постаревшее, усталое и морщинистое лицо Василия Александровича. «И он прав, и она по-своему права, — через минуту снова начинал рассуждать я. — Два разных человека, два взгляда на жизнь, я и раньше знал это, им нельзя было сходиться, вот и все, и нечего ломать голову. Главное, все у нее идет на поправку». Но, как я ни утешал себя, не желая обвинять ни Василия Александровича, ни Ксеню, заснуть не мог, в избе казалось душно; чтобы освежиться и развеяться, я оделся и потихоньку, стараясь не разбудить хозяйина, вышел во двор.

Мы редко видим рассветы, а еще реже — ясные лунные ночи, и так мало знаем о красоте этих удивительных минут, что в первые мгновения, как только я очутился на крыльце и как только взглянул на залитые холодным сказочно синим светом крыши дальних и ближних изб, которые, как стога, как, знаете, копны на сжатом хлебном поле, перекатываясь, уходили к темному, в уличных фонарях (желтые огни фонарей как раз и создавали иллюзию темноты) горизонту, — все тяжелые мысли как будто вдруг отступили, и я сначала с крыльца, а потом уже стоя посреди двора, с удовольствием смотрел на все, что было вокруг и что представлялось иным, чем обычно видится днем, нечетким, не угловатым, расплывчатым, даже у теней, казалось, не было ни размежающихся линий, ни форм, и наслаждался тишиной и прохладой. «Как все-таки разнообразна красота жизни и как суживаем мы эту красоту только до дневных красок, а еще чаще — до серых комнатных стен», — уже прохаживаясь по дорожке от калитки вдоль закрытых ставень избы до крыльца и обратно и все еще с удивлением глядя вокруг, говорил я себе. Я то посматривал на луну, которая сползла за крышу сарая, то опускал голову, когда входил в полосу тени и когда хотелось оты-

скать глазами как раз ту разделяющую черту, что непременно лежала на земле, и в какую-то минуту — я даже не заметил, как случилось это, — остановившись, почувствовал, что ни луна, ни ночь, ни тени не интересуют меня и я снова думаю о Ксене. Я присел на ступеньку крыльца, пытаюсь еще во что-то вглядываться, чтобы вырваться от наседавших дум, но это что-то — жердевая ли ограда, смутное ли очертание избы на противоположной стороне улицы — уже не привлекало и не удивляло меня; я как бы втягивался в мир, которым жила Ксения и который всегда казался понятным мне, и на все рассказанное Василием Александровичем смотрел не своими и не его, а ее глазами. «Вот здесь, в этом дворе, в этой избе, в этом сарае происходило все», — мысленно произносил я. Я не закрывал глаз, чтобы представить, как все было, как Мария Семеновна, узнав от кого-то (мне не важно было, от кого, я не уточнял это), что будет облава, что полиция и немцы пойдут по избам забирать девушек для угона в Германию, прибежала запыхавшаяся, бледная и, ничего не говоря дочери, а схватив ее за руку, торопливо, лишь причитая: «О господи, да живет ты, живет», — потащила в сарай, чтобы спрятать за лари, за дровяной штабель, за ворох невесть когда привезенной потемневшей и слежавшейся соломы, и уже затем, сидя по одну сторону поленицы или вороха (Ксения же, спрятанная, сидела по другую, у стены), наконец начала негромко, как она вообще говорит (как всегда произносила эти фразы при мне), объяснять, чтобы Ксения сидела тихо, не шелухнувшись, когда придут эти ироды человеческие искать ее, — нет, мне не надо было закрывать глаза, чтобы представить и услышать это; я смотрел на сарай, на синие в темноте и запертые его двери, и то прошедшее — необъяснимой таки бывает порой сила человеческого воображения! — чего я не знал и о чем лишь только сегодня услышал от Василия Александровича, разворачивалось передо мной живой жизнью, будто я сам когда-то испытал все, сам сидел за поленицей и слушал негромкий и взволнованный голос Марии Семеновны. Я думаю теперь, что, может быть, все было не так, и наверняка, пожалуй, не так, и не за поленицей дров, а за старыми; пыльными досками была спрятана Ксения или даже в той самой трехлетней давности соломе, но мне представлялось тогда, что все было именно так, и минутами я лишь с удивлением восклицал: «Так вот почему мне всегда был понятен ее мир: я непременно поступил бы так же,

как она, и побежал бы предупредить товарища; я-то спасусь, а он? Его угонят?» «Фрося! Она ничего не знает! Предупредить, сказать!» — с этой мыслью, замирая, придерживая дыхание; прислушивалась Ксения к удалявшимся шагам матери, к тому, как звякнула на морозе дверная железная щеколда с наружной стороны сарая. Глаза ее приглядывались к наступившей темноте; от березовых поленьев, от заиндевелой бревенчатой стены веяло в лицо холодом; когда же наконец в тусклом свете, который все же откуда-то проникал за поленицу, стали различимы предметы, Ксения настороженно приподнялась; секунда, другая — и вот она уже расшвыривает неколотые березовые чурбаки, которыми заложила ее мать, кидается к двери и еще через секунду уже бежит по огородам, подлезая под жерди и перепрыгивая через плетни, к дому Фроси; я вижу, как бежит она, а кажется, бегу сам, хватаюсь голыми руками, без варежек руками за те самые опущенные снегом жерди, и — вот он, дом Фроси, вон улица, и по ней, направляясь прямо к дому Фроси, двигаются полицаи и немцы с черными, отвисшими на груди автоматами. Я смотрю на них, стоя за углом баньки, что на огороде, и тороплю себя: «Скорее, надо успеть», — бросаюсь к дому, но уже поздно; и назад поздно; но я не кричу: «Мама!» — нет, я знаю, и Ксения не кричала, а вместе с подругой, подталкиваемая в спину автоматами, вышла со двора на улицу.

«Шнель! Шнель, русишь фрейлейн!»

В то время как я неподвижно сижу на ступеньке крыльца, почти над самым ухом отчетливо слышу, как звучат эти немецкие слова (может быть, фрицы выкрикивали что-нибудь другое, да в этом ли дело?), и ужас перед тем, что ожидает меня и Фросю (Ксению, разумеется, и ее подругу), охватывает сознание; я не просто вижу, как всех их, согнанных на перрон девушек, вталкивают в вагоны, но чувствую в себе, что испытывали Ксения, Фрося, все-все, находившиеся и по эту сторону конвоя, в вагонах, и по ту, где в толпе голосивших и заламывающих руки от отчаяния и горя женщин стояла Мария Семеновна. Перед самым как будто моим лицом с грохотом захлопываются тяжелые двери вагона, и под громкие выкрики непонятных команд, под плач и вой провожающей толпы, лай спущенных с поводков овчарок и автоматные очереди — все это теперь звучит приглушенно за деревянной стеной вагона — состав трогается, набирает скорость, и вот уже во всем притихшем эшелоне

не слышен лишь один скорбный, разрывающий душу стук колес о промерзлые рельсы. Ледяной ветер пронизывает вагон, белыми снежными швами затягиваются щели на стыках досок; даже солома на нарах сизая от инея, и сидят на этой заиндевелей соломе Фрося, Ксения, Надя, та самая Надя, которую потом, ночью, Ксения потащит на спине по снежным сугробам через лес к деревне, а пока они еще незнакомы, лишь жмутся друг к другу, в пальтишках, платках, спина к спине, плечо к плечу, как солдаты, как мы в землянках, помните, чтобы было теплее; и все молчат, у всех одно чувство; и тем сильнее оно, чем сумрачнее и холоднее становится в вагоне.

«Ты откуда?»

«Из Гольцов».

«Как тебя звать?»

«Надя».

Не из Гольцов, конечно, она; я не запомнил деревню, которую назвал, рассказывая, Василий Александрович (да и назвал ли вообще?); но выдумывать я не мог, за словом «Гольцы» стояла действительность, и потому таким представлялся мне разговор между Ксенией и Надей.

«А как тебя?»

«Ксения».

«Ты откуда?»

«Мы с Фросей из Калинковичей».

«Что же теперь будет с нами?»

«Надо бежать!»

Откуда-то снизу, как будто из-под нар, раздался этот резкий и решительный голос.

«Но как?»

«Пусть только стемнеет!..»

«Пусть только стемнеет», — мысленно повторяю я и так же, как когда-то Ксения, жду этой ночной темноты, когда все должно решиться; ступеньки крыльца — для меня нары, а все еще залитый лунным светом двор — та самая зимняя дорога, шпалы и рельсы, на которой вот-вот окажусь я, нырнувший в темный и грохочущий провал вслед за Фросей и Надей. Я все вижу и все делаю, как делала Ксения, мне так же страшно, как было ей и всем, кто ехал с нею, но слезу я более не за этим внешним, что само по себе уже вызывает дрожь, а за чувством, которое определяло поступки Ксени. «Да, — говорю я себе, — очутившись один на заснеженной железно-

дорожной насыпи, я тоже не побежал бы сразу в лес спасаться, а пошел бы искать товарищей». И мне приятно, что именно так, а не иначе поступила Ксения, что, наткнувшись на израненную и незнакомую мне Надю, не бросила ее, а понесла и, замерзая сама, укрывала ее снятым с себя платком или шалью; и все последующее: как она двое суток пробиралась по снегу, что говорила, как ночью постучалась наконец в чью-то избу и ее впустили, отогрели, накормили и держали, пока не наберется сил, и то, как добралась домой, как встретилась с ошеломленной, испуганной и обрадованной матерью, а затем отсиживалась месяцами в подполе, выходя лишь глубокой ночью, — все хотя и виделось в деталях, в подробностях, но главное, за чем я следил и что особенно волновало меня, был душевный мир Ксении. Мне казалось, что я еще никогда не понимал так ясно этот ее мир, как в эти минуты, и никогда не был он так близок мне, как теперь: и то, как она просилась на батарею, ее прыжок с крыши — все как будто поворачивалось иной стороной, и я отчетливо сознавал, что, конечно же, не от любви ко мне (хотя я ведь и тогда понимал это) стремилась она к нам в часть и на фронт, а двигало ею другое и высшее чувство, и я радовался теперь, что оно было в ней, это высшее чувство, то самое как раз, что мы называем иногда «жить жизнью народа, страдать и радоваться вместе с ним», что было оно естественным и что я не ошибался *тогда*, а чувствовал, понимал, видел в ней это. «Как же он может осуждать ее? — снова, теперь уже с нескрываемым недоумением мысленно спрашивал я Василия Александровича, хотя он не сидел рядом, здесь, на ступеньках крыльца, а утомленно похрапывал в своей комнате, там, за дощатыми сенцами и бревенчатой стеною. — Да что он! Он что?» Мне казалось непростительной сухостью, с какою Василий Александрович говорил о приходившем к ним в дом Надином дедушке; я знал, что испытывал бы совершенно иное чувство к нему, чем Василий Александрович, и был бы счастлив и горд за Ксению, видя склоненного перед нею в благодарности старого человека. «Поклон старика — еще не жизнь... Да, не жизнь, но признание жизни, признание добра, что ты сделал людям, и надо еще заслужить эту честь, чтобы тебе поклонились в ноги», — с запальчивостью продолжал я, как будто передо мною в эти самые минуты старческие крестьянские руки выкладывают на стол и разворачивают самый дорогой, какой только мог тогда принести деревен-

ский человек в город, гостинец — кусок обсыпанного комочками соли обыкновенного домашнего сала. «Да, да, надо еще заслужить этот поклон», — повторял я, в то время как вся последующая жизнь Ксении, как я знал ее теперь по рассказу Василия Александровича, событие за событием проходила передо мной, и я то как будто присутствовал при разговоре в больнице, когда срочно требовалась кровь для оперируемого (слава богу, не один раз лежал в госпитале, потому легко и представлял себе все; мне ведь тоже после тяжелого ранения, когда извлекали осколок из ноги, было это в Брянске, вливали донорскую кровь!), как выходила вперед Ксения и предлагала свою, ее вели в специальную комнату, укладывали на застланную светло-желтой больничной клеенкой кушетку, вводили в перетянутую и набухшую вену иглу, а через несколько минут, бледная, под цвет своего белого халата, но удовлетворенная тем, что сделала, лежала одна в палате, отдыхая, набираясь сил, и это ее счастье так же, как весь мир ее мыслей, было понятно и дорого мне, дорого, может быть, именно потому, что я поступил бы так же, как она, а не иначе. И ее поездка в колхоз на уборку картофеля, и еще разные добрые дела, которые, как выразился Василий Александрович, делала она для других в ущерб семье и мужу («Легко быть добрым за счет других!») — нет, я не повторял эту фразу Василия Александровича, но ежесекундно помнил о ней и всей своею, а вместе с тем и Ксением жизнью протестовал против нее), — все представлялось как лучшие порывы души, которые следовало бы ценить, а не осуждать, как это делал сегодня недовольный своей судьбою Василий Александрович. То, как приходилось ему, я сбрасывал со счетов; я думал, что нельзя не ощущать себя счастливым уже потому, что живешь рядом с такой женщиной, как Ксения; я снова как бы обожествлял ее, и все, что когда-либо испытывал к ней, все повторялось во мне с удесятенной, наверное, силой, и я понимал и ценил Ксению больше, чем когда бы то ни было. «Конечно же, что — цвет волос, что — красота лица! Красота души — вот главное, что в ней, и я сразу, тогда еще, во время первой встречи, почувствовал это, хотя не знал ничего из того, что знаю теперь, — думал я. — А может, знал?» И мне казалось, когда задавал себе этот вопрос, что да, знал, потому и тянулся к ней, приезжал все эти годы, потому и сейчас сижу здесь, на ступеньке крыльца ее дома, перебираю в уме подробности ее жизни, и память уводит ме-

ня в далекое прошлое, к той фронтовой зиме, когда впервые увидел ее, — как я сидел рядом с ней за столом и с замиранием и теперь уже неповторимым юношеским восторгом поглядывал на ее серые и серебрившиеся в свете керосиновой лампы косы. «Если бы все могло повториться, — рассуждал я, оглядывая все тот же залитый холодным лунным светом двор, — я бы теперь сделал все, чтобы не опоздать, а опередить, именно опередить моего бывшего комбата».

Наверное, я долго сидел на крыльце, потому что, когда, почувствовав холод, поднялся, чтобы встряхнуться и поразмяться, с удивлением заметил, что над городом уже поднималась на востоке и расползалась по небу светлая полоса рассвета.

«Надо хоть часок вздремнуть», — сказал я себе и так же тихо, как выходил, стараясь ни за что не задеть, вошел в избу. За перегородкой по-прежнему ровно похрапывал спавший Василий Александрович.

«Это ты? — вдруг послышался его голос, когда я, уже раздевшись, укладывался на жестком топчане у стены. — Чего шастаешь? Спи, завтра пойдем к ней, все обойдется, спи».

Проснулся я поздно, около одиннадцати, и едва открыл глаза, весь вчерашний разговор с Василием Александровичем и ночные размышления, когда ходил по двору и сидел на крыльце, все сразу как бы вновь возникло передо мною, и до самого вечера, о чем бы я ни начинал думать, постоянно возвращался к Ксене, и вся ее жизнь, которую, как мне казалось, теперь-то я хорошо знал, и жизнь Василия Александровича, тоже представлявшаяся совершенно ясной, вызывали не просто тревогу, а то беспокойство, будто я сам был виноват перед ними: Ксеной, Василием Александровичем, даже Марией Семеновной, которую не видел еще в этот свой приезд, да так, впрочем, и не увидел в тот день, — словом, беспокойство, какое однажды уже испытывал, когда вдруг узнал о смерти Раи. Но там, тогда я действительно был в чем-то виноват, хотя бы в том, что не понял Раю, не принял ее любви и ушел, оставив в растерянности и печали, а что было здесь? Почему это же чувство возникало теперь? Не могу ответить и не могу понять; помню лишь, что чем нетерпеливее ожидал возвращения из больницы Марии Семеновны (ведь она непременно дол-

жна была прийти, чтобы прибрать в доме и приготовить ужин для Василия Александровича!) и чем дольше она не появлялась, тем с большей тревогой думал я о Ксене. Я то лежал на топчане, то выходил во двор и, как и ночью, сидел на ступеньке крыльца, посматривая сквозь редкую и решетчатую изгородь на дорогу, не идет ли Мария Семеновна, или, когда уже день начал клониться к вечеру — не идет ли Василий Александрович; несколько раз входил в сарай и осматривал высокую, до самых жердевых перекладин и в два ряда выложенную поленницу дров, и тогда снова и с особенной как бы ясностью всплывало в памяти, как в ту далекую снежную зиму перепуганная Мария Семеновна завела сюда дочь, чтобы укрыть от немцев и полицаев; и я чувствовал, как от березовых чурбаков, от серых и пыльных сейчас бревенчатых стен веяло будто той же ледяной стужей, как и тогда, в ту зиму, и я глазами определял место, где могла быть спрятана Ксения, мысленно разбрасывал чурбаки, как делала, наверное, она, высвобождаясь из этого холодного плена, а когда выходил во двор, невольно смотрел на зеленый теперь под солнцем огород, который, однако, представлялся мне заснеженным, с наметенными вдоль плетня сугробами, и я видел торопливо бегущую по этим сугробам к Фросиному дому Ксению. «Да иначе и не могло быть! Как же иначе?» — в сотый раз, может быть, повторял я одну и ту же фразу. Со стороны я казался спокойным: прохаживается неторопливо человек по двору, разглядывает капустные грядки на незнакомом, чужом огороде, сидит на крыльце или лежит в избе на топчане, заложив руки за голову, но, знаете, и я смело берусь утверждать, не в суете, не в мельтешении, не в той внешней оживленности, что обычно бывает на виду, заключается полнота жизни; я не могу припомнить для себя более трудный и деятельный день, чем этот, что провел тогда в доме Ксени и Василия Александровича; все вспоминалось, даже детство, Севастьяновка, паром и песчаная отмель на Омутовке, и Рая, и Зинаида Григорьевна, и бревенчатый настил, и, разумеется, поединок с немецкими самоходками — словом, все-все, что когда-то было пережито, а главное, еще не побывав в больнице у Ксени, я старался представить ее в палате, как она выглядела и что испытывала теперь, когда ей удалили почку и когда другая, оставшаяся, тоже, как сказал Василий Александрович, «не очень»... Угрюмый, раздраженный, я все чаще подходил к калитке и вглядывал-

ся в заросшую травой — с одной лишь серою и даже будто тележную колею посередине — улицу; когда же наконец в лучах уже спускавшегося за крыши домов солнца показалась вдали фигура Василия Александровича (я сразу узнал, что это он, по заткнутому за пояс пустому рукаву пиджака), — от нетерпения ли, что надо было скорее идти в больницу, от радости ли, что хоть кончится теперь одиночество, я вышел на дорожку и торопливо зашагал навстречу, готовясь издали еще упрекающе крикнуть: «Да что же это ты, Василий Александрович, так задержался!» Но мне не пришлось говорить ему этих слов; почти в ту же минуту, едва только вышел за калитку, я заметил, что Василий Александрович идет неровною, пьяною походкой, сгорбившись, глядя под ноги и балансируя время от времени рукой, словно хватаясь за воздух; почти вплотную приблизившись ко мне, он остановился и несколько мгновений смотрел, как на совершенно незнакомого человека, силясь, может быть, узнать или понять, что за препятствие выросло на его пути, потом молча, как только это способны делать пьяные люди, отстранил меня рукой с дороги и снова, пошатываясь, направился к калитке; уже войдя во двор и поднявшись на крыльцо, долго шарил в карманах, пока достал ключ, и хотя дверь была не заперта, а только прикрыта, дрожащими, непослушными пальцами так же долго проталкивал ключ в замочную скважину, а на мои слова: «Да открыта же!» — лишь оборачивался и молча, недоуменно и невидяще смотрел на меня. Я же от растерянности не знал, что делать; после всех тех мыслей и переживаний, какие одолевали меня весь день, появление пьяного Василия Александровича было так неожиданно, что у меня не было слов, чтобы сказать ему, и я лишь с каждой секундой, чем дольше смотрел на него, отчетливее чувствовал, как что-то отталкивающее и брезгливое подымалось в душе к этому человеку. Я знаю, по давней традиции — так уж, говорят, повелось, — к пьяным у нас и нищим относятся с состраданием: дескать, что ж, несчастный человек, как не пожалеть, — но только я не могу принять этого; может быть, и надо жалеть, и тем более надо было пожалеть Василия Александровича, у которого имелась причина, и немаловажная, но так или иначе в те минуты, входя следом за ним в комнату, я испытывал лишь одно отвращение; когда он, покачиваясь, искал рукою поддержки, я не только не пытался помочь ему, но, напротив, отстранялся, как бы

жна была прийти, чтобы прибрать в доме и приготовить ужин для Василия Александровича!) и чем дольше она не появлялась, тем с большей тревогой думал я о Ксене. Я то лежал на топчане, то выходил во двор и, как и ночью, сидел на ступеньке крыльца, посматривая сквозь редкую и решетчатую изгородь на дорогу, не идет ли Мария Семеновна, или, когда уже день начал клониться к вечеру — не идет ли Василий Александрович; несколько раз входил в сарай и осматривал высокую, до самых жердевых перекладин и в два ряда выложенную поленницу дров, и тогда снова и с особенной как бы ясностью всплывало в памяти, как в ту далекую снежную зиму перепуганная Мария Семеновна завела сюда дочь, чтобы укрыть от немцев и полицаев, и я чувствовал, как от березовых чурбаков, от серых и пыльных сейчас бревенчатых стен веяло будто той же ледяной стужей, как и тогда, в ту зиму, и я глазами определял место, где могла быть спрятана Ксения, мысленно разбрасывал чурбаки, как делала, наверное, она, высвобождаясь из этого холодного плена, а когда выходил во двор, невольно смотрел на зеленый теперь под солнцем огород, который, однако, представлялся мне заснеженным, с наметенными вдоль плетня сугробами, и я видел торопливо бегущую по этим сугробам к Фросиному дому Ксению. «Да иначе и не могло быть! Как же иначе?» — в сотый раз, может быть, повторял я одну и ту же фразу. Со стороны я казался спокойным: прохаживается неторопливо человек по двору, разглядывает капустные грядки на незнакомом, чужом огороде, сидит на крыльце или лежит в избе на топчане, заложив руки за голову, но, знаете, и я смело берусь утверждать, не в суете, не в мельтешении, не в той внешней оживленности, что обычно бывает на виду, заключается полнота жизни; я не могу припомнить для себя более трудный и деятельный день, чем этот, что провел тогда в доме Ксении и Василия Александровича; все вспоминалось, даже детство, Севастьяновка, паром и песчаная отмель на Омутовке, и Рая, и Зинаида Григорьевна, и бревенчатый настил, и, разумеется, поединок с немецкими самоходками — словом, все-все, что когда-то было пережито, а главное, еще не побывав в больнице у Ксении, я старался представить ее в палате, как она выглядела и что испытывала теперь, когда ей удалили почку и когда другая, оставшаяся, тоже, как сказал Василий Александрович, «не очень»... Угрюмый, раздраженный, я все чаще подходил к калитке и вглядывал-

ся в заросшую травой — с одной лишь серою и даже будто тележную колею посередине — улицу; когда же наконец в лучах уже спускавшегося за крыши домов солнца показалась вдали фигура Василия Александровича (я сразу узнал, что это он, по заткнутому за пояс пустому рукаву пиджака), — от нетерпения ли, что надо было скорее идти в больницу, от радости ли, что хоть кончится теперь одиночество, я вышел на дорожку и торопливо зашагал навстречу, готовясь издали еще упрекающе крикнуть: «Да что же это ты, Василий Александрович, так задержался!» Но мне не пришлось говорить ему этих слов; почти в ту же минуту, едва только вышел за калитку, я заметил, что Василий Александрович идет неровною, пьяною походкой, сгорбившись, глядя под ноги и балансируя время от времени рукой, словно хватаясь за воздух; почти вплотную приблизившись ко мне, он остановился и несколько мгновений смотрел, как на совершенно незнакомого человека, силясь, может быть, узнать или понять, что за препятствие выросло на его пути, потом молча, как только это способны делать пьяные люди, отстранил меня рукой с дороги и снова, пошатываясь, направился к калитке; уже войдя во двор и поднявшись на крыльцо, долго шарил в карманах, пока достал ключ, и хотя дверь была не заперта, а только прикрыта, дрожащими, непослушными пальцами так же долго проталкивал ключ в замочную скважину, а на мои слова: «Да открыта же!» — лишь оборачивался и молча, недоуменно и невидяще смотрел на меня. Я же от растерянности не знал, что делать; после всех тех мыслей и переживаний, какие одолевали меня весь день, появление пьяного Василия Александровича было так неожиданно, что у меня не было слов, чтобы сказать ему, и я лишь с каждой секундой, чем дольше смотрел на него, отчетливее чувствовал, как что-то отталкивающее и брезгливое подымалось в душе к этому человеку. Я знаю, по давней традиции — так уж, говорят, повелось, — к пьяным у нас и нищим относятся с состраданием: дескать, что ж, несчастный человек, как не пожалеть, — но только я не могу принять этого; может быть, и надо жалеть, и тем более надо было пожалеть Василия Александровича, у которого имелась причина, и немаловажная, но так или иначе в те минуты, входя следом за ним в комнату, я испытывал лишь одно отвращение; когда он, покачиваясь, искал рукою поддержки, я не только не пытаюсь помочь ему, но, напротив, отстранялся, как бы

боясь, что он вдруг прикоснется ко мне своей трясущейся ладонью. Нехорошо, понимаю, но что я тогда мог поделать с собою? Я лишь следил взглядом, как он вынул из кармана недоеденный и завернутый в какую-то пожелтевшую бумагу кусок ливерной колбасы, положил ее на стол и затем, пройдя за перегородку и не раздеваясь, а так, в чем был, плюхнулся на кровать и сейчас же занулся пьяным мертвецким сном. На обескровленное, синевато-серое лицо его падал от окна свет, и мне казалось, что я смотрю на покойника; я подумал, что не раз, наверное, вот так же стоя перед ним, смотрели на него Ксения, Мария Семеновна, и почувствовал еще большее отвращение к когда-то уважаемому мною комбату. «Вселенская доброта... а есть еще вселенское негодяйство, есть еще *пользование* чужой и безответной добротой» — может быть, да и скорее всего так оно и было, что я не произносил эти слова, но смысл их как бы сам собою жил во мне, вызывая негодующее чувство, и оттого я тоже, наверное, был бледен, во всяком случае, смотрел нахмуренно, зло. Тогда же, сразу, я понял, что это не впервые случилось с Василием Александровичем, хотя узнал обо всем гораздо позднее, после того, как поговорил с Марией Семеновной; потому-то она и не приходила в этот день из больницы домой, что знала, каким «тепленьким» вернется с работы Василий Александрович: «Ведь сегодня получка, а в получку он всегда так!» — и не хотела видеть его и расстраиваться.

«Как выпьет, подходи не подходи — все одно: и знать никого не знает, и видеть никого не видит, на кровать в сапожищах, и тут хоть что».

«Не шумит?»

«Чего нет, того нет. И денег нет, все спустит, а потом сидит по ночам с иглою и дратвой».

«И давно так?»

«Да уж откель счет? Сразу-то, первые годы, вроде ничего, а потом ровно муха какая вжалила, ровно плюнул кто, и пошло, о господи! Тут с Ксеньей, ей-то каково, тут еще с ним...»

Позже, спустя почти неделю, говорила это Мария Семеновна, но мне казалось, что рассказывала она лишь то, что я уже знал, вернее, что понял именно тогда, когда стоял перед лежавшим на кровати пьяным Василием Александровичем. Вот и подумайте теперь: человек раскрывается постепенно... Вероятно, сам Василий Александрович

и раскрывался постепенно перед Ксенией и Марией Семеновной, но для меня он открылся сразу, за одну эту встречу: и когда вечером рассказывал про Ксеню, и когда затем на другой день явился с работы вот в таком виде, как опустившийся, безвольный, раздавленный жизнью человек. Еще несколько минут я смотрел на его неуклюже свернувшуюся на кровати фигуру, говоря про себя: «Ну, докатился!» — и затем, еще не зная, что буду делать, куда пойду, вышел из дому.

Но, если откровенно, это ведь я просто так говорю, что не знал, куда пойду; конечно же, знал — в больницу к Ксене, иной мысли и не было; уже через полчаса я стоял перед дежурной сестрой, держа в руке небольшой букет ранних красных гвоздик, который купил где-то в центре, когда, расспрашивая, как найти городскую больницу, проходил мимо колхозного рынка; корешки гвоздик были завернуты в газету, и газета казалась влажной от горячей и потной ладони.

«Здесь лежит Ксения Филева?»

«Да, — ответила мне сестра, полистав книгу записей. — Восьмая палата, второй этаж».

«Можно пройти к ней?»

«Что же вы так поздно? Время свиданий уже заканчивается, — сказала она, но заметив, может быть, как умоляюще я смотрел на нее, с неохотой, но все же достала из тумбочки белый халат и протянула мне. — Только не задерживайтесь».

«Нет-нет, что вы, благодарю вас!»

Я накинул на плечи этот белый больничный халат и торопливо, ничего не слыша и не чувствуя жестких ступеней под ногою, — сознавал я разве только одно: что сейчас увижу Ксеню! — почти взбежал на второй этаж. Как в самый первый приезд после войны, когда прямо из маленького австрийского городка, демобилизовавшись, я примчался в Калининичи и подходил к дому Ксени, то же волнение, хотя прошло уже столько лет, неожиданно охватило меня, будто я еще не виделся в Чите ни с матерью, ни с Раей и не было ни Раиных похорон, ни института, ни Москитовки и Зинаиды Григорьевны — ведь вот как устроен человек: все как в воду, в пропасть, и только один светящийся огонек впереди! — и не видел даже только что пьяным Василия Александровича (через минуту, когда буду стоять у Ксениной постели, все пережитое вновь, конечно, вернется и поплывет перед глазами), а лишь, переполненный той давней юношеской на-

дежду, чувствовал себя так, что будто вот-вот переступлю порог столь памятной мне избы. Какой-то невероятный возврат, какое-то затмение, что ли: все позабыто, и Зинаида Григорьевна, с которой, как вы знаете, я тогда уже жил как с женой, и если начистоту, были же у меня и чувства к ней, а вот поди ж ты рассуди — все позабыто, и я, волнуясь, как мальчишка, шел по больничному коридору, ловя глазами на дверях номера палат. Перед восьмой палатой остановился и негромко постучал; никто не ответил, тогда я снова постучал так же негромко, но продолжительнее и, чуть выждав, осторожно приоткрыл дверь. Сперва я увидел пустую кровать сразу от двери у стены, а за нею, за голубовато-белой больничной тумбочкой — вторую кровать, а на ней укрытую лишь простынею по самый подбородок Ксеню. Она смотрела на меня. Бледное худое лицо ее и глаза в первое мгновение были как бы безразличны — ну, входит кто-то и входит, может быть, нянечка, может быть, дежурная сестра, а может, просто мать (кстати сказать, Марии Семеновны в это время не было в палате; как я узнал потом, она все же поехала домой, чтобы хоть запереть избу, потому что: «Ведь он и этого не сделает, а в комнате какие-никакие, а вещи!»), — в общем, в первое мгновение, помню, лицо ее было столь равнодушным, что я даже подумал, она это или не она, потому что ни разу прежде не видел ее такой; но когда спросив: «Можно?» — двинулся к ее постели и когда особенно она поняла, а вернее, узнала, кто входит в палату, все в ней как бы преобразилось, и вроде прежние и привычные удивление и радость появились в ее глазах.

«Вы?!»

Мне кажется, она не произнесла этого слова, а спросила беззвучно, взглядом; а может, и прошептала тихо, так, что я не расслышал, но что-то же, конечно, сказала, потому что я помню, что ответил: «Да, я». Я остановился посреди палаты и несколько секунд стоял, словно пригвожденный к полу, продолжая неотрывно и, как ей, наверное, казалось, странно-растерянно смотреть на нее; я почти уверен, что именно так и восприняла она это мое, может быть, и действительно-таки представлявшееся странным со стороны поведение: приехал бог весть откуда, спешил повидать, а теперь будто язык отрезало, боится подойти к кровати и смотрит как на незнакомую, — но, я думаю, да и фактически, если разобраться, ничего странного в моем поведении не было, а просто

болезненный вид Ксени, белая простыня, которой она была укрыта, и особенно землисто-серый цвет лица (впечатление это создавалось, как я позднее, приглядевшись, заметил, еще и тем, что висевшее на спинке кровати полотенце отгораживало ее от проникавшего сквозь окно в палату и без того слабого, на улице уже вечерело, света) вызвали в памяти неожиданно как будто и забытые, давно улегшиеся, но до мельчайших подробностей вдруг ожившие перед глазами минуты прощания и похорон Раи. Я даже на миг зажмурился и тряхнул головой, чтобы сбросить это воспоминание, но как только опять взглянул на белую простыню и на бугрившиеся под нею Ксенины руки (как и у Раи тогда, когда она лежала в гробу, как вообще складывают их покойникам на груди), будто и Ксения и в то же время не Ксения передо мною, и я в палате, но в то же время и не в палате, а там, в Чите, в доме Лии Михайловны и Петра Кирилловича, и вот-вот увижу то будто спокойное выражение лица Раи, за которым, я знаю, скрывалось огромное желание не выказать, унести с собой весь свой душевный мир забот и страданий. Разница мне представлялась лишь в том, что я не успел и Рая уже не могла ничего сказать, а здесь еще можно поговорить, расспросить, утешить, а главное, попросить прощения. За что, как, почему — я не думал об этом; я только чувствовал, что не сделал для Ксени того, что мог бы, и чувство это было настолько сильно, что в какую-то секунду, ничего не говоря, шагнул вперед и, как кладут цветы к изголовью покойникам, положил гвоздики на прикрытую простыней грудь Ксени. Что она подумала? Как восприняла это? Тогда, сразу, чуть склонившись, я лишь смотрел, как она медленно высвободила из-под простыни руки и, сухими белыми пальцами обхватив корешки гвоздик, прислонила цветы к лицу; глаза ее увлажнились, она прикрыла веки, и в синих морщинках у самой переносицы появились светящиеся капельки слез. Для того, наверное, чтобы я не смотрел, как она плачет, она еще плотнее прикрыла лицо цветами и отвернулась к стене. Да и у меня перед глазами от волнения все начало мутнеть и расплываться, как за дождевым стеклом, и чтобы успокоиться самому и дать успокоиться Ксене, я отошел к столу за табуреткой и с минуту стоял, подняв ее и держа перед собой; когда же вернулся к постели, хотя как будто удалось подавить чувство жалости к ней, но, как мне и теперь кажется, до самого конца встречи я смотрел на нее так,

вернее, с тем выражением сострадания, любви и печали, что то и дело, потому что не могла же она не понимать, что я думаю о ней, глаза ее заволакивались слезами.

«Спасибо вам, Женя», — сказала она, кончиком простыни вытерев слезы.

«Ну что вы».

«Мне еще никто никогда не преподносил цветы», — тихо добавила она и опять отвернула лицо к стене.

«Как вы себя чувствуете? — спросил я, чтобы перевести разговор на другое. — Что говорят врачи? Василий Александрович сказал, что все идет на поправку».

«Вы его видели?»

«Да».

«Когда? Сегодня?»

«Нет, — солгал я, даже не знаю почему, инстинктивно, что ли, заметив, как все насторожилось в Ксене. — Вчера вечером мы сидели с ним и разговаривали», — закончил я, чувствуя на себе ее пристальный взгляд и стараясь тоже смотреть на нее прямо, открыто, будто и в самом деле говорил только то, что было.

«А вы опять в Гольцы?»

«Да».

«Надолго?»

«На неделю-две, как всегда».

«И вам не наскучило: каждый год?»

«Разве может наскучить то, чем живешь, Ксения? Гольцы для меня — что родная Чита, что Сибирь, что Севастьяновка, есть такая деревенька под Читой», — начал я и, сказав это, сам не зная почему, повел рассказ про Омутовку, про паром и паромщика дядьку Якова, а для чего? Ведь на душе у меня было совершенно другое, и чувствовал и думал я о другом, а этим рассказом лишь бессознательно, наверное, так считаю, старался приглушить в себе как раз те, *другие* мысли и чувства. Я смотрел на худое лицо Ксени, и в то время как произносил «дядька Яков», этот самый дядька представлялся мне стариком, что однажды неожиданно пришел в дом Ксени; вот он разворачивает и кладет на стол свой драгоценный деревенский гостинец и затем склоняет перед Ксеной белую старческую голову, я вижу счастливое лицо Ксени и весь ее удивительный мир доброты, счастья и радости жизни и радуюсь, что он есть, что я встретился с ним и что живет он вот с ней, Ксеной, в ее глазах,

в движениях ее рук (временами, всматриваясь, я действительно как будто начинал различать прежнюю красоту ее лица), но как подтачивает червь дерево, въедалась, разрушая и опрокидывая это, в общем-то, уже прошлое, пережитое чувство, тревожная мысль, та же, что возникла, когда я еще только вошел в палату: что я, в сущности, прощаюсь с Ксеньей, что это последний мой разговор с ней и что, самое страшное, я бессилён что-либо изменить. «И Рае не хотелось умирать, — думал я, чувствуя, знаете, как если бы то, что случилось с Раей, случилось со мной, как ей не хотелось умирать. — Но она ушла. И Ксения уйдет, а я жив, и Василий Александрович жив, и тот, о ком Рая не оставила записки, тоже жив! Добро к людям... А плата за это добро? К кому добра жизнь?» Я удивляюсь теперь, как можно было одновременно и думать вот так, о чем я сейчас говорю, и в то же время рассказывать Ксене о разных, и не смешных вовсе, хотя я и старался как можно естественнее улыбаться, чтобы развеселить ее, ребячьих шалостях, какие проделывали мы — да кто из мальчишек не лазил по чужим огородам, боже мой! — в Севастьяновке, и удивляюсь, если хотите, не столько раздвоенности — она возможна, и с вами, наверное, бывало такое, — а тому, как люди, в данном случае я и Ксения, вполне сознавая, что разговор этот вовсе не интересен для нас, ложен, что говорить надо о другом, а что эти слова — и мои и ее — лишь скользят, как, знаете, капли воды по гладкой, отполированной поверхности, — как мы, я подчеркиваю, притворялись, делая вид, что с интересом я говорю, а она слушает, тогда как главным для нас обоих был совсем другой разговор, безмолвный, что мы читали в глазах друг друга. Ведь она ничего не знала о моей жизни, я никогда не рассказывал ей ни о любви к ней, ни о пережитой когда-то любви к Рае, и о том, как хоронил ее, и, конечно же, ни о Москитовке и Зинаиде Григорьевне, но Ксения смотрела на меня так, будто знала все, и так же, как я жалел ее и чувствовал, что мог бы сделать ее счастливой, я видел, она жалела меня, будто ей было известно, как мучался я эти годы, тоскуя и думая о ней, известны все малейшие движения моей души, и ей было больно, что она кому-то, кто не оценил ее, а не мне отдала копившиеся в ней для жизни добрые чувства. «Вот видите, — как бы говорила она, минутами вскидывая на меня глаза, — если бы *тогда* вы взяли меня или хотя бы не *опоздали*, ничего этого не было бы сейчас. А разве

я не хотела поехать с вами? И разве не говорила вам об этом?» Может быть, поддавшись тому давнему воспоминанию, я вдруг — точно помню, что вдруг, потому что и ее смутил и сам смутился, — нагнувшись, взял ее руку и так же, как когда-то в подражание комбату, но, разумеется, теперь не думая о том, пожал ее холодные пальцы.

«Ничего, Ксения, все будет хорошо, — проговорил я, как и тогда, зимой, в покидаемых нами Калининвичах. — Главное... — Но то, что действительно было для меня главным, произнести не мог и потому, краснея и не выпуская ее пальцев из своей ладони, несколько раз еще повторил про себя: «Главное... главное...» — прежде чем нашел нужные для завершения фразы слова: — Поправляйтесь и берегите себя».

«Вы уже уходите?»

«Да», — сказал я, хотя секунду назад не собирался уходить.

«Вы еще придете?»

«Непременно».

«У Васи сегодня много дел, а мама здесь, со мной. Приходите, она будет рада».

«Непременно», — повторил я, еще раз пожав — я уже стоял, склонившись над ней, — ее согрешившие теперь пальцы.

Прежде чем выйти из палаты, у самой двери, чуть приоткрыв ее, я остановился, обернулся и снова взглянул на Ксению; в палате было сумрачно, и я уже не мог издали разглядеть лица Ксении, но тени, лежавшие в провалах ее щек и глаз, и белая простыня, прикрывавшая ее вытянутое на постели худое тело, опять как бы отбросили меня к тем минутам, когда я стоял перед лежащей в гробу Раей, и какой-то будто могильный холодок прокатился по съезжившейся спине. «Да нет, да что я, просто тени так», — подумал я, уже спускаясь по лестнице и передавая халат дежурной сестре. Но впечатление всегда сильнее любых утешительных слов. Я вышел из больницы как будто выпотрошенный, да и всю неделю потом жил какой-то неестественной, *неживой*, что ли, жизнью, только лишь думая, да и то с вялостью, — так уже однажды было со мной, если помните, после похорон Раи. Я не пошел к Василию Александровичу в тот вечер, а провел ночь в фойе гостиницы в кресле, полудремля, полубодрствуя и опять и опять думая обо всем прожитом и пережитом мною, а в общем, о жизни, сколько в ней спра-

ведливости и к кому и, если хотите, даже что такое вообще справедливость, чем можно измерить ее и равно ли понимается это слово всеми или у каждого *своя* справедливость, как и свое понятие добра, любви, ненависти; вероятно, и следующую ночь, так как свободных номеров не было, я просидел бы все в том же кресле, если бы не Василий Александрович, который еще утром, проснувшись и не обнаружив меня, заволновался, забеспокоился и после работы сразу побежал в больницу, хотя и был неприемный день, потом ездил на вокзал и обшарил, как он выразился, все уголки зала ожидания («Обидчивый же ты! А если я вот так плюну и обижусь, а?») и оттуда прямо в гостиницу.

«Ну пойдем, чего уж».

Мне же не хотелось идти к нему в дом, и я долго молча и в упор смотрел на него.

«Ну чего ты? Пойдем, слышишь?»

Уже дорогой он сказал, что если бы не нашел меня здесь, в гостинице, поехал бы разыскивать в Гольцы.

«Это уже ни к чему», — сухо ответил я.

«К чему, ни к чему... только каждый раз не наотпрашиваешься».

«И не надо».

В доме после всего пережитого мне показалось еще более неуютно, неприбранно, грязно. Василий Александрович молча приготовил ужин; и сидели за столом и ели молча, стараясь не глядеть друг на друга. Не знаю, о чем думал он, но я никак не мог сосредоточиться, и то видел перед собою Зинаиду Григорьевну на удалявшемся дощатом перроне (вот видите, и к ней уже потянуло, хотя и казалась жизнь пустой, как будто прожитой бесцельно, как ни за что не зацепившаяся шестеренка, а ведь было же что-то в душе, что могло бы осчастливить ну хотя бы ту же Ксеню и самому ощутить возле нее счастье!), то лежащую в гробу Раю, то Ксеню, какой оставил ее в сумрачной больничной палате; конечно, как мне кажется теперь, я уже не испытывал в тот вечер ни тех особенных чувств к Ксене, ни того волнения, с каким еще вчера взбегал по лестнице на второй этаж и, шагая по коридору, ловил взглядом номера палат, отыскивая, в которой лежала она, но жалость, с какою думал о ней, была мучительна, как раскаяние, как сознание того, что мог бы и должен бы, но не сделал, что нужно даже не для счастья, а просто для жизни дорогого мне человека. Я сидел, облокотившись на стол и подперев ладонью го-

лову, а Василий Александрович, раскуривая папиросу за папиросой, прохаживался перед столом и передо мною, то глядя себе под ноги, то изредка на меня; в какую-то минуту вдруг остановился и, повернувшись ко мне, как будто отдавая команду, резко и решительно проговорил: «Все! Даю слово, Евгений, больше не будет этого, все! — и хотя не пояснил, что означало его «все» и «больше не будет этого», а я не спросил, но мне было вполне ясно, что он имел в виду, и я, может быть, за весь вечер впервые в тот момент — ведь человек отходчив, что говорить! — посмотрел на него с неожиданной даже для самого себя доверчивостью и теплотою.

Три четверти часа

— Как обычно, весь отпуск прожил я и в эту весну в Калинковичах, — продолжал Евгений Иванович. — Правда, несколько раз выезжал в Гольцы, потому что там у меня действительно-таки были дела, да к тому времени я уже сдружился с Константином Макаровичем, помните, рассказывал, сыном Евдокии Архиповны, у которой ночевал на сеновале, когда первый раз после войны приезжал в деревню? Ну, словом, ездил в Гольцы, хотя что говорить о тех делах и о Константине Макаровиче, тут, если начать, тоже хватило бы на целый вечер, а вообще, не будем отвлекаться; Ксения по-прежнему оставалась для меня главной причиной волнений, и каждую среду и воскресенье, когда бывали приемные дни, я приходил к ней, но теперь уже вместе с Василием Александровичем, который и в самом деле после данного мне, а вернее, самому себе слова, что больше не будет пить, держался вполне достойно, был вежлив и ласков не только со мной, но и, прежде всего, с Ксеньей и Марией Семеновной, откровенно радуя их этой своею переменой.

«Ведь вот можно же, — говорила Мария Семеновна, глядя хотя и укоризненно, но беззлобно на зятя (разумеется, не в палате, не в присутствии дочери). — И давно надо бы».

«Ну ладно, ладно, мать», — с улыбкой отвечал Василий Александрович.

«Хоть ты и капитаном был, а вот скажи спасибо другу своему, — продолжала она. — Я бы и в ноги поклонил».

лась, не грех. С войны в один, считай, год пришли, а он вон уже скоро и в профессора, а ты?»

«Ладно, ладно, мать».

Василий Александрович еще улыбался, но по глазам, как он смотрел, было видно, что слова Марии Семеновны неприятно и больно задевают его, и тут вмешивался в разговор я:

«Дело не в этом, Мария Семеновна».

«А и в этом, как же», — возражала она, не отступаясь от своего.

«Достоинство человека...»

«Да я-то об чем?»

Когда мы теперь приходили в больницу — как все-таки обстановка действует на людей! — Ксения как будто выглядела лучше, была веселее, и что-то от прежнего счастливого выражения появлялось на ее лице. Может быть, она действительно чувствовала себя лучше и все шло, как говорил врач, на поправку, а может, это только казалось мне, что она повеселела, потому что хотелось видеть ее здоровой и счастливой, но скорее всего — я уже сейчас думаю — все объяснялось проще: тем, что мы приходили к ней, когда солнце еще не касалось крыш, то есть намного раньше, чем я в тот вечер, и в палате было светлее, оживленнее, да и немаловажно, если ты не один, а с кем-то, тогда и разговор течет по-другому, и улыбок больше, и шуток, — в общем, трудно, конечно, теперь установить истину, но так или иначе, а у меня складывалось впечатление благополучия, и, когда я уезжал из Калининвичей, на душе не было тяжелого чувства. Что ж, и жизнь Василия Александровича, и жизнь Ксени, и жизнь Марии Семеновны — все было как будто на виду, было ясно, и будущее как будто не рисовалось мрачным. «Одумался... да что ж, можно было и раньше одуматься», — говорил я себе, лежа, как обычно, на покачивавшейся полке вагона, и, как обычно, чем дальше отъезжал от Калининвичей, тем отчетливее вставали прежние, домашние заботы, и я уже думал и о дипломной, которую предстояло еще завершить и затем защитить этим летом, и о матери, что жила в Чите, коротая старость в своем деревянном, как и Ксенин, домике, и беспрерывно в письмах звала к себе, и о Зинаиде Григорьевне, которая, я знал, ждала и готовилась к встрече; она за сутки раньше придет на разъезд, я знал и это, и мне приятно было думать, что это так, и оттого еще как будто покойнее становилось на сердце. Я не случайно употреб-

ляю сейчас эти слова «как будто», потому что, по существу, если разобраться, спокойствие было относительным, настороженным; как на фронте, знаете, перед атакой: сидишь в окопе, прислушиваешься, и небо над тобою в звездах, и травка шелестит за бруствером, и — ни выстрела, ни одного тревожного звука, и только время от времени вспыхивают и спускаются к земле на белых парашютиках осветительные ракеты, напоминая о том, что ты не в ночном и что вовсе не та беда, что кони потравят пшеницу, подстерегает тебя под утро. Но что тогда тревожило меня, что было этими белыми парашютиками — слишком ли быстрая перемена в характере Василия Александровича («Да надолго ли? Всерьез ли? Столько лет... а тут вдруг! Как-то подозрительно поспешно» — и такая мысль приходила в голову, хотя я и гнал ее прочь), или просто сознание того, что с одной и к тому же больной, почкой она все равно не жилец («А ведь и главный врач говорил неуверенно, да как же, еще тогда, сразу, я почувствовал это по тону его голоса, как же!») — вспоминалось и это, хотя и тут я находил возражения, и даже весьма серьезные), или что-то еще; то ли чувство неудовлетворенности своей жизнью, что когда-то и что-то не сделал так, как надо бы (и по отношению к Рае, разумеется, и, главное, по отношению к Ксене), а может, еще что-либо другое, что, если подумать, непременно вспомнится сейчас, но как бы там ни было, парашютики взлетали, выхватывая словно из тьмы и освещая разные неожиданные подробности из прошлого и исподволь, изнутри, незаметно, но настойчиво, день за днем, особенно когда я уже был дома, да и после защиты дипломной — чего бы уж, казалось, не радоваться! — разрушали это как будто обретенное в Калинковичах спокойствие. Я знаю теперь цену ложному спокойствию и мгновенным переменам в людях; нет мгновенных перемен; может быть, мой приезд, разговор, а вернее, молчание и пробудили у Василия Александровича желание *обновить* жизнь и он, как это говорят в народе, взялся было за ум, только ненадолго хватило того ума; когда я на следующий год, подгоняемый все этим же своим беспокойством, снова поехал в Калинковичи, при всем моем даже иногда разгоряченном воображении я не мог представить себе и доли того, что ожидало меня.

Ксени в живых уже не было.

Но я еще не знал об этом.

С вокзала — уже ходил автобус до Мозырского шоссе — я доехал до нужной остановки и, как только вышел на узкую асфальтированную площадку, увидел лежащего у столба, в пыли и мусоре, с посиневшим от выпитой водки лицом Василия Александровича. Ноги его были неуклюже подогнуты, а пустой рукав пиджака откинут назад, за спину. Рядом с ним, молча и, как мне показалось в первую секунду, спокойно-равнодушно глядя на него, стояла Мария Семеновна. Она была в темном платке и синем в белый горошек широком и длинном, какие носят обычно проводившие жизнь в домашних заботах у шестка и кухонного стола пожилые женщины, ситцевом платье; на старчески сутулую спину ее падали лучи низкого вечернего солнца, и длинную тень своею Мария Семеновна как бы накрывала зятя, отгораживая его от взглядов прохожих. Но на остановке уже никого не было, автобус увез пассажиров, а те, что приехали — все же с одной улицы, все знали друг друга, и валявшийся в пыли Василий Александрович давно уже, наверное, не удивлял их, для них это была обычная картина, — удалялись, даже не оглядываясь, как будто ничего не видели и ничто на свете не касалось их. Я подошел к Марии Семеновне и от растерянности, что ли, от неожиданности, может быть, — да разве я мог подумать, что встречу ее вот так и здесь! — каким-то вроде чужим, извиняющимся голосом спросил, поздоровавшись:

«Что с ним?»

«Ай не видишь, набрался, да спасибо хоть соседи сказали, вот пришла, жду, пока протрезвится, а то ведь и последний пиджак сымут», — ответила она, и ответила так, словно я не уезжал из Калинковичей и не было годичного перерыва, а только вчера еще мы встречались, разговаривали, и я будто был членом их семьи или, по крайней мере, очень близким человеком; и тогда это не показалось мне странным; да и теперь думаю, что ничего удивительного нет: день за днем для Марии Семеновны жизнь проходила так однообразно, что вовсе не мудрено было в ее-то годы потерять чувство времени, но, если уж говорить откровенно, я действительно-таки не был для нее чужим.

«Надо домой его».

«Да разве ж я справлюсь?»

«Мы сейчас», — сказал я и, передав свой небольшой чемоданчик Марии Семеновне, морщась, потому что мне неприятно было поднимать и вести Василия Алек-

сандровича, не повел, а буквально поволок его к дому.

В избе помог Марии Семеновне раздеть и уложить его в постель и лишь после этого, оглядевшись, спросил:

«А Ксения где?»

«Умерла», — ответила Мария Семеновна.

«Как умерла?»

«Как умирают, так и умерла, и похоронили».

«Давно?»

«Да уж скоро год как».

«Но когда я уезжал...»

«Тогда-то она вроде ничего была, домой взяли, а потом — о, господи! Может, и лучше, что бог прибрал, мучалась она».

Мария Семеновна стояла у шестка, спиной прислонясь к печи, как она и прежде любила стоять, скрестив на груди руки, и все ее морщинистое и еще более даже с прошлого года, когда я в последний раз видел ее, постаревшее лицо, повернутое к окну, к свету, было ясно видно мне. Я смотрел на Марию Семеновну и не верил тому, что она сказала. Мне казалось, что вот-вот из-за дощатой перегородки, где спал мертвецки пьяный Василий Александрович, выйдет Ксения, как *тогда, давно*, в только что наспех накинутом платье и с еще не до конца заплетенною косою и, задержав на косе пальцы и с удивлением приподняв брови, произнесет свое негромкое: «Вы?» Но я не оглядывался на перегородку (потому, может быть, что боялся увидеть пустую дверь), а, как прикованный, не сводил взгляда с Марии Семеновны и лишь прислушивался, не шелестит ли надеваемое Ксенией за перегородкою платье и не слышны ли уже ее шаги. Но никаких шагов не было слышно, а только доносился пока еще не очень раскатистый храп Василия Александровича.

«Господи, — как бы вдруг спохватившись, снова произнесла Мария Семеновна, — из ума, что ли, выжила, чего это я стою: с дороги ведь, голоден, поди?»

«Нет, зачем, спасибо».

Но Мария Семеновна, будто не слыша этих слов, принялась даже излишне суетливо, по-моему, — от старости ли или оттого, что ей на самом деле хотелось угостить меня? — хлопотать возле стола и печи. Я молча поглядывал на нее, не в силах еще примириться с мыслью, что Ксени нет, и, думая о ней, снова и снова медленно оглядывал комнату, где когда-то впервые увидел

ее за столом при свете горевшей под потолком керосиновой лампы, и мне опять казалось, что будто с тех пор ничего не изменилось здесь (кроме разве только этой вот возведенной Василием Александровичем дощатой перегородки) — ни убавилось, ни прибавилось (не считая разве низенькой сапожной табуретки, что вон у печи, под лавкой, которая, впрочем, может, и тогда уже стояла тут, да только я не заметил); все было тем же, знакомым, и находилось на привычном для меня месте, и лишь не обогревалось, как тогда, прежде, лучившейся Ксениной добротой, а выглядело холодным, застывшим, ветхим и, если хотите, убогим — я преувеличивал, конечно, и теперь вполне понимаю это, но тогда с болью смотрел на все, и почти до слез было жалко готовившую ужин несчастную Марию Семеновну, особенно когда она поворачивалась спиной, нагибалась, и под кофточкой выступала старческая худоба. Временами возникало такое чувство, что я смотрю не на нее, а на свою мать. Для Марии Семеновны же все то, что волновало меня, было повседневной жизнью, и потому весь ход ее мыслей двигался в том направлении и ритме, как он двигался всегда, сообразуясь с мягкой и приветливой ее натурой; теперь ее заботило лишь одно — получше принять (как принимали когда-то, в те, *хорошие* годы Ксения и Василий Александрович) и угостить меня, и она старалась трогательно, как это всегда умеют старые люди. Она даже и вопросы поначалу задавала те же, какие обычно, когда я приезжал, задавали или Василий Александрович или Ксения.

«Опять, поди, в эти самые свои Гольцы?»

«А куда же мне еще, Мария Семеновна?»

«Вот уж дались...»

«Да я и сам думаю...»

Она предложила переночевать у нее («Еще наживешься в гостинице, успеется»), и я не смог отказать ей. Ответом моим она осталась довольна. Мы долго сидели за столом после ужина, и, как и в прошлый мой приезд с Василием Александровичем, теперь с Марией Семеновной, я чувствовал, как бы сам собою завязывался откровенный разговор. У каждого человека, очевидно, бывают минуты, когда вдруг хочется ему раскрыться перед собеседником; я ведь тоже в тот вечер много рассказывал Марии Семеновне о себе, но для меня важным было другое — то, что я услышал от нее и что неожиданно как бы приоткрыло совсем с иной стороны завесу над жизнью

Василия Александровича и Ксени; я то прислушивался к храпу за перегородкой и тогда не мог сдержать в себе неприятно прокатывавшегося озноба, то все как будто затихало для меня, и я видел перед собою лишь старое и усталое лицо Марии Семеновны.

«Ведь он был замечательным человеком», — говорил я.

«То-то и оно что был».

«Да с чего же тогда?..»

«С чего, с дури. Может, я неправильно сужу, по бабьи, ты уж извини, а если по правде, то и спотыкается человек не оттого, что пень на дороге, а оттого, что смотрел не туда, — по-своему, может быть, по старой крестьянской привычке объяснять все предметно (она из крестьян, я знал, как-то еще в прошлые разы рассказывала о себе), говорила она. — По службе не пошел вверх, видно, не дано ему это, а и в другом не преуспел. От меня-то они многое скрывали, а по ночам, как проснусь, слышу, все чего-то шушукаются, все чего-то пересуживают. А чего? Разве от матери скроешь? Думал он дом перестроить, пятистенник срубить, как вон наискосок, на той стороне от нас, видел? Коломивцева домина? Тоже-ть без руки, а чаша полная, на пять ступеней, не достать, ну и Василий Александрович за ним, да ведь на все деньги нужны! Тот-то, Коломивцев, голова вон какая, сколотил артель да по колхозам, по деревням фермы ладить, ну, по договорам, конечно, и что ни осень — смотришь, и хлеб машинами, и деньга. Вот и наш уволился было и тоже-ть в артель, да Ксения не пустила. «Нет!» — и все, а то и шушукались по ночам. А потом и ее с работы начал срывать: «Шей и на толкучку, как Коломивчиха, и будет тебе что ни день, то и месячная зарплата!» И машинку швейную купил, «Зингера», ножную, а она опять свое: «Нет!» — и все. Я-то что, человек старый, им виднее, как жить, только гляжу, дело к ссоре, уж и говорю дочери: «Может, он и прав? Смирись да послушайся, кто ж в доме хозяин, если не мужик? Да и плохого ли он хочет?» А она свое: «Нет!» — и все. А потом болезни — ведь она с войны квелая, — раз в больницу, два, да на курорт, «Зингера» продали и еще кое-какие вещи. Она в больницу, а он за эту проклятую, за водку. Так и пошло. С чего же, как не с дури? Власть бы проявить мужичью или уж отступиться да по службе идтить, а то ни того, ни другого. Все — кто как! — в люди вышли, а он остался ни с чем. Да хоть бы сейчас опомнился, разве

поздно? «Ляг, — говорю ему, — в больницу, есть же такая, где от алкоголя лечат», — и вправду люди говорят, что есть, так он и слышать не хочет. Как еще только на работе держат, ума не приложу. Может, что инвалид, оттого и прощают. А в больницу бы надо, да и все советуют, о, господи, не чужой же, свой, куды денешь».

Мне кажется, еще сильнее, чем известие о смерти Ксени (все же как-никак, а я был готов к нему), взволновал меня рассказ Марии Семеновны; что, в сущности, произошло: вся жизнь Ксени, Василия Александровича и Марии Семеновны, как я представлял ее себе, все рухнуло, и надо было заново проследивать и выстраивать ее в своем воображении. Вы спросите — для чего? Конечно, можно и так поставить: «А для чего?» Но ведь не посторонними же они были мне, во всяком случае, я так считал, и как бы там ни было, а судьба Ксени — как она прожила жизнь? — даже вот и теперь постоянно, как подумаю, не может не тревожить меня. Не знаю, говорил я Марии Семеновне или нет, что Василия Александровича действительно-таки следует положить в больницу, обещал ли помочь в этом или не обещал, но хорошо помню, что, когда уже лежал на топчане (том самом, на который когда-то положил меня спать и Василий Александрович), именно эта мысль, как бы вклиниваясь в общий ход воспоминаний и раздумий, то и дело приходила в голову. «Завтра непременно же, не откладывая», — говорил я себе, прислушиваясь, как за перегородкой — теперь Василий Александрович уже не храпел — раздавалось негромкое посапывание спящего человека. В избе казалось душно, как и тогда, помните, в ту ночь после разговора с Василием Александровичем, но я не выходил во двор; ставни не были закрыты, и холодный лунный свет наполнял комнату, делая все — и стены, и печь, и не убранную со стола посуду — голубоватым и призрачным, и я, знаете, с тех пор, наверное, боюсь этих светлых лунных ночей. Вероятно, призрачный лунный свет только для того и существует, чтобы беречь души и как бы перебрасывать людей из действительности в прошлое, в воспоминания, чтобы, оглядевшись и заново пройдя уже однажды пройденное, яснее можно было увидеть ошибки, понять их и не повторять. Все может быть, хотя я ведь и не о своих ошибках думал; что касалось меня, только одна боль не отпускала ни на минуту: что я бы при любых обстоятельствах сделал Ксению счастливее.

Я понимал ее, как прежде, и был с нею (такое, по крайней мере, испытывал ощущение) и за нее, когда она будто при мне теперь говорила Василию Александровичу: «Нет!» «Но у него-то откуда, — думал я, — взялась эта страсть: шабашить?.. Откуда это у него?» Я не мог не верить Марии Семеновне, но вместе с тем не мог и представить себе Василия Александровича таким, каким изобразила его мать Ксени. Может быть, она и права была, что он с *того* начал пить, но, может, дело тут и в душевной слабости, и, если хотите, в привязанности, в любви к Ксене. Что он любил ее, в этом я не сомневаюсь, хотя и любовь, в общем-то, странная. Во всяком случае, в ту ночь я думал разное о нем и к какому-то определенному выводу, с чего же началось его падение, прийти не мог; да и теперь не уверен, потому что чужую душу не вывернешь. И все же... Совсем недавно, когда я в этот раз ехал сюда, услышал в вагоне весьма любопытный и, знаете, в какой-то мере проливающий свет на поведение Василия Александровича разговор. В салоне вагона-ресторана, куда я пошел пообедать, я сел за столик, за которым уже находились двое не очень пожилых еще и довольно прилично одетых людей; трапезу они, видно, закончили, и один из них, худощавый, гладко выбритый, с заметно лысеющим лбом, допивал пиво, каждый глоток как бы закусывая порцией табачного дыма, а другой заострял спичку, собираясь поковырять в зубах, — в общем, обычная картина, и я бы не обратил на них внимания, если бы не тот, худощавый, что допивал пиво, словно невзначай, так, вдруг, между прочим, не обронил бы, по крайней мере, для меня интригующе прозвучавшую фразу:

«А знаете ли вы, Дмитрий Степаныч, что-либо о водоразделе человеческих душ?»

«Нет», — неохотно ответил тот.

Я не вмешивался в их беседу, а только слушал; даже не смотрел на них, вернее, старался не смотреть, чтобы, как это бывает, не прервать, не нарушить течение их разговора.

«А он существует, этот водораздел».

«Выбор профессии? Вы это имеете в виду, когда молодые люди вступают в жизнь?»

«Нет. Выбор профессии — это мелочь, деталь всего-навсего, а то, о чем я сейчас, если хотите послушать, скажу, касается всех возрастов и всех профессий. Это — коренной вопрос жизни».

«Ну-ну, пожалуйста, просветите».

«Начну с примера, чтобы понятней, а если позволите, с жизни своего отца. Крестьянский сын, солдат первой мировой войны, солдат гражданской, красногвардеец, бьет Юденича под Питером и возвращается домой — почетный боец революции, израненный, с наградами, и тут вот тебе: водораздел! Идти бы ему по партийной линии или по государственной, голодать, холодать вместе со всеми, двигаться вперед, так нет, засверкали нэпманские монеты перед глазами, заискрилось легкодоступное золотишко, и подался в купцы. Нажился, потом все отняли, и хотя не посадили, а жизнь сломана, никто. Душа сломана, водка и могила — один прямой путь, вот и все».

«Ну и что же тут нового?»

«Погодите. Это я рассказал о явном, видимом водоразделе. А бывает еще невидимый, который существует повседневно, ежечасно и встает перед каждым человеком. В том ли, в другом варианте, хрустящей ли бумажкой, а манит этот золотистый блеск, и если уж начистоту — вот я сижу перед вами, а ведь я, в сущности, повторил судьбу своего отца. В тяжелые послевоенные годы нет чтобы работать, чинов добиваться, потому что мне как фронтовику все двери были открыты, так тоже на легкое потянуло, на толкучку, и нажил, конечно, пачками деньги считал, не на штуки, а пачками, а потом в один прекрасный час как помелом — р-раз, и не успел я опомниться, как уже за решеткой. Отсидел, вышел, а жизнь-то сломана. Водораздел позади. Езжу от отца Серафима, заготавливаю по деревням воск для церквушек, что еще побрякивают колоколами, будят старушонок, ну, живу, жаловаться особенно не могу, не хуже других, чего бога гневить, а удовлетворения нет. Нет! Как подумаю, кем бы мог быть да кто есть на самом деле, — душу воротит. Жизнь сломлена, водораздел пройден, и вот он, локоть, да не укусишь».

«В отца, значит, кровь».

«Может, и кровь, но знай я раньше, разве бы совершил такую ошибку? Если бы отец сказал мне, а то ведь нет, сам додумался, оглянувшись. Додумался, да поздно».

«Стать человеком никогда не поздно».

«Высот достичь поздно. Высот! Для каждого они начинаются на водоразделе, и человек должен быть провидцем — куда примкнуть, за что браться. Бывают годы,

когда все ясно, за что, как сейчас, а бывает, когда не знаешь, куда колесо повернется, в какую сторону, вот тут и выбрасывает тебя на самый что ни на есть страшный стрежень водораздела».

«Ничего страшного».

«Как?!»

«Все это можно объяснить просто: одни честно трудятся, другие ищут легкой жизни — вот и весь ваш водораздел».

«Нет уж, не-ет, извините, не так все просто».

«Для кого как».

«Не всегда, не во все времена бывает ясно, куда повернется колесо истории и за что нужно цепляться человеку — вот в чем вопрос».

Не ручаюсь, что пересказал дословно весь их разговор; может быть, что-то и упустил или передал не так, но, по-моему, не столь важны подробности этого разговора, как сама суть, о чем вели они речь — о *человеческих душах*, которые попадают на *стрежень водораздела*. Мне кажется, он действительно-таки есть, и не в том плане, «за что цепляться, куда повернется колесо истории», — ведь тут у этого лысеющего со лба явно был свой, и довольно скользкий, если не сказать больше, подтекст, а в другом, в водоразделе между честной, трудовой жизнью и соблазном легкой наживы. Кто-то проходит водораздел незаметно, как будто его и вовсе не существует для него; передо мною, например, никогда не стоял такой вопрос; а Василий Александрович, очевидно, попал на этот самый, как говорил тот, с наметившейся со лба лысиной, страшный стрежень, но только не ухватился ни за то, ни за другое и остался промеж, а ведь к чему-то готовился в жизни? В военную академию мечтал, да что там, конечно, мог и с этого запить, от сознания своей никчемности, от жизненной пустоты, в которую, в сущности, если верить Марии Семеновне, сам бросил себя, но ведь как ни объясняй, а все равно жалко человека. Так уж сложились для него обстоятельства. Жалко. Да и тогда, когда я лежал на топчане в залитой синим лунным светом комнате и под впечатлением рассказа Марии Семеновны думал о судьбе Ксени и о жизни Василия Александровича, как ни поднималось во мне отвращение, а все же и тогда я уже испытывал в какой-то степени жалость к нему. «Живет, а для чего? Сам мучается и других возле себя», — рассуждал я, разумеется, еще более, чем Василия Александровича, жалея Ксеню. Я опять чувствовал

сквозь все тревожные раздумья, что есть во всей этой истории какая-то и моя вина, но какая, понять не мог, как, впрочем, и теперь не могу, а она все же была; вина есть, раз мучаюсь совестью. *Опоздал* — все, видимо, заключается в этом, но может быть, и не только в этом. Во всяком случае, утром я встал почти больной, расстроенный, злой, и с Василием Александровичем состоялся у меня, пожалуй, самый резкий за все наши встречи разговор.

«А-а, ты», — протянул он, выходя из-за перегородки и потягиваясь, когда я, уже одетый, сидел еще на топчане и раздумывал, что делать. День был воскресный, и Василий Александрович не собирался на работу. Мария Семеновна же готовила завтрак и стояла у печи (вы скажете: «Все у печи! У печи!») Но так оно и есть, только у печи я и видел ее каждый раз и никак иначе не могу представить себе!); она лишь повернулась и своими старчески подслеповатыми глазами смотрела на нас.

«Как видишь», — ответил я.

«Чего приехал? Ее-то нет».

«Но ты не сообщил».

«Чего сообщать, ты же и так все за сто верст насквозь видишь, или на сей раз подвело тебя твое провидение? Чего глаза таращишь, нет ее, нет Ксени, понял?»

«Ты еще пьян».

«А это не твое дело. Не ты поил, не перед тобой и ответ держать. Если с добром приехал, ставь четок, тогда и разговор будет».

«Раньше ты пил, потому что Ксения мешала тебе жить. Добротой своею, как ты мне говорил, вселенской добротой, да еще за чужой, вернее, за твой...»

«Да, за мой, да, потому и пил».

«А теперь?»

«Теперь пью потому, что ее нет рядом, и тебе не понять этого. Хоть ты и провидец, а слеп, как телок, слеп, ясно? Ее нет, и такого человека больше не будет, а ты слеп, и не твое дело лезть ко мне в душу».

«Я не лезу».

«Лезешь!»

«Нет».

«Для чего едешь сюда? Чтобы в Гольцы?..»

«Да, и в Гольцы».

«Нашел дурака, хе-хе. Знаю, давно лезешь, да лад-

но уж, по старой памяти не прогонию, не пугайся, ставь четок на опохмелье, и все. Ставь, ну чего тебе, жалко?»

Не сразу, не вдруг, но все же удалось мне тогда уговорить Василия Александровича лечь в больницу. Мария Семеновна была рада и благодарна. Потом мы ходили с ней на могилу Ксени, и там, у не совсем еще обросшего травой серого холмика, обнесенного низкой деревянной оградкой, при ярком свете полуденного солнца я впервые почувствовал, как она стара, суетлива и, в сущности, беспомощна, что — да ей ли ухаживать за Василием Александровичем, когда сама она, как дите, нуждается и в уходе и в ласке. Прежде как будто она не была набожной, или я просто не знал за ней этого, но тут вдруг еще за несколько дней до того, как пойти на кладбище, начала готовиться: купила конфет, пряников, напекла пирожков с рисом и яйцами, а потом щедро раздавала все это сидевшим и стоявшим у кладбищенских ворот старикам и старушкам (бог весть откуда они берутся, но я давно заметил, что всегда они толкуются у кладбищенских ворот и готовы помолиться за упокой любой души, лишь бы — подношение!) и озабоченно, как будто молитвы этих сгорбленных годами людей действительно могли что-то значить, произносила: «За Ксеню». Возле могилы мы присели на траву, она развязала еще узелок с продуктами, что был приготовлен, очевидно, для нас, и предложила откусать за добрую память усопшей.

«Пусть покоится ее душа, царствия ей», — сказала она, перекрестясь и принимаясь за еду.

Она поглядывала то на крест, то на травку, как будто вползавшую на могильный холмик, то на меня, и какие-то свои, наверное, известные и понятные ей одной думы ворошились в старческом сознании. Время от времени она повторяла почти одну и ту же фразу: «Мучалась она, ой, как мучалась», — и фраза эта для самой Марии Семеновны была, конечно, всеобъемлющей, вбиравшей весь ход охватывавших ее воспоминаний. У меня же были свои грустные думы. Я принес Ксене цветы. Они лежали неразвернутым букетом у самого основания креста, я смотрел на них, и мне вспоминалось, как *тогда* вечером я пришел к ней в палату и положил на грудь несколько ранних весенних красных гвоздик. «Ну вот, — ду-

мал я, — при жизни не приносили, зато теперь я буду носить их тебе». Но все это, разумеется, были только добрые намерения, ибо как же я мог носить их, живя в Чите? Разве только снова приезжая сюда в Калининичи? А для чего мне было теперь приезжать? К кому? И наверное, я бы действительно никогда больше не приехал, если бы не Мария Семеновна да отчасти и Василий Александрович, которого как ни осуждай, а все же жалко.

Впервые тогда Мария Семеновна пошла провожать меня на вокзал.

«Ты уж не забывай нас, — просила она. — Может, и со всей семьей, будем рады. Дети-то есть?»

«Есть, сынишка растет».

«Ну вот, все вместе, да ты уж, Христа ради, не забывай нас. Он-то сегодня так, а завтра кто знает, а что я с ним?»

«Вылечат, Мария Семеновна, не такие болезни лечат».

«Дай-то бог, да кто знает, всякое может быть. Дай-то бог...»

И что вы думаете, Мария Семеновна оказалась права: года Василий Александрович не продержался, снова запил, да еще как, и я теперь езжу не к Ксене и даже не потому, что жалко Василия Александровича — как-никак, а бывший комбат, воевали вместе! — а к Марии Семеновне. Вот уж на кого действительно не могу без боли смотреть. Почти слепая, живет на пенсию, а этот Василий Александрович не то чтобы в дом, а из дому что только возможно тянет. Квартиру дали однокомнатную, чего бы еще, а все пьет. Не буянит, не шумит, да в этом ли суть? При мне, как приеду, вроде держится, дает слово, клянется, а как уеду — все по-старому. Трудно даже представить, до чего дошло. Ведь Мария Семеновна не только прятать деньги, пенсию свою, но даже продукты вынуждена держать у соседки в холодильнике. Разве это жизнь? А с Василия Александровича, что ни втолковывай ему, как с гуся вода; вроде и соглашается, клянет себя, а на деле — как подгнивший столб, только и держится что на подпорке, а чуть отпустил, уже на земле; но ведь и подпорка — раз в году, кто же мне даст два отпуска? Пробовал, приезжая, еще укладывать в больницу, но толку что.

«Губишь себя», — говорю.

«А что? Для кого беречь? Ее-то нет».

Я уж и так пробовал:

«Но я-то вот не пью».

«Э-э, ты святой человек, — отвечает, хотя знал бы, как эта святость дается. — Ты, Женя, святой человек, давай за твое здоровье по последней, носи четок, и все, завяжу. Навек завяжу».

Недавно, четыре дня назад, такой же вот разговор был; я ведь опять уложил его в больницу; четка, конечно, не принес ему, а вчера вечером прихожу в палату, сидит нахмуренный, от больничного халата ли, от белой ли больничной обстановки или, может, от мрачных дум — лицо даже будто зеленое: не смотрит, отворачивается.

«Ну что, — говорю, — Василий Александрович, как дела?»

«Ладно, — отвечает, — сказал: все, не буду, поезжай спокойно».

Но это слова, не больше. Опять сорвется, чувствую, если не убежит из больницы, так запыет, и пойдет все по старому кругу, по колесу, ведь вот в чем вопрос, а как остановить, как разрубить круг, выпрямить линию, ума не приложу. Здесь они — Мария Семеновна, Василий Александрович, а там, в Чите, — Зинаида Григорьевна, Саша, семь, восьмой, да еще ж и Петр Кириллович, им ведь тоже мои поездки не в радость же; правда, от Зинаиды Григорьевны я ни разу не слышал упрека, молчит, только иногда глаза заволакиваются, а что за этими сдерживаемыми слезами? Стоит на перроне, не шелокнется, держит за руку сына и смотрит, как я, высунувшись из тамбура, из-за плеча проводника помахиваю ладонью; и Саша в нее, тоже молчит, ручки вниз, как по швам, одни глазенки — вот они, как живые, передо мною, и я знаю, что за этим взглядом, знаю, о чем думают и Зина и он, что чувствуют, весь им мир — во мне, и разве не болит у меня сердце за них? Невольно, не хочу, а думаю иногда, что, может быть, и я добр за счет чужой доброты, за счет доброты Зинаиды Григорьевны, сына, Петра Кирилловича? Зина-то не скажет, уверен, а Петр Кириллович смотрел, видно, смотрел, как она мучается, терпел-терпел да и не вытерпел — перед самым моим отъездом в этот раз (наедине, конечно, выбрал момент) говорит: «Ты что делаешь? Седой весь, семья, не видишь, что ли, как возле тебя человек сохнет!» Это он про Зину. Я не ответил. А что я мог ответить? Мир-то весь во мне: и этот, что в Калинковичах, и тот, что в Чи-

те; во мне он единый, целостный, а в жизни — разорван. Как его соединить? Как тут будешь спокойным? Оттого и езжу, как это я вначале вам говорил, *отдыхать* сюда, и гостиница эта — почти родной дом; и на следующее лето, наверняка знаю, уверен, опять буду здесь; мир целостен, хотя я и мечусь туда и сюда, как будто и разрываюсь, а в душе разорвать не могу, как он сложился для меня, так и есть, как у каждого, думаю, свой и тоже, наверное, для самого себя всегда целостный.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Закончив рассказывать, Евгений Иванович почти тут же поднялся с кресла, но, прежде чем лечь в постель, хотя час уже был поздний, за полночь, еще некоторое время, заложив руки за спину и опустив голову, прохаживался по комнате — от окна к двери и обратно; я смотрел на его высокую, худощавую и чуть сутулую фигуру (нет, он не был сутул; впечатление такое создавалось, очевидно, от заложенных за спину рук), и, может быть, из-за этой самой *видимой* сутулости, может быть, оттого, что настольная лампа была уже выключена и свет, падавший только от люстры, накладывал резкие и старившие его лицо тени у глаз и губ, особенно когда он выходил к центру и оказывался почти под самой люстрой, а может, лишь от рассказа — какую прожил жизнь — он казался мне постаревшим, как будто действительно можно было постареть за эти часы, что мы просидели в креслах, да и сам я тоже представлялся себе другим, как если бы вместе с Евгением Ивановичем каждый год приезжал в Калинковичи. Я еще не мог понять, хорошо ли было то, как поступал Евгений Иванович, в этом ли, в доброте ли, какую он проповедовал и какую, было ясно, носил в себе, заключались цель и смысл бытия, или это лишь часть, одна линия, личная, тогда как на самом деле в жизни доброта измеряется не только жалостью к ближнему. Потому и взволновала меня его история, и потому, вероятно, я не мог долго заснуть, когда уже, пожелав друг другу спокойной ночи, мы лежали, укрытые холодными, тонкими одеялами. Я лежал спокойно, не ворочался, чтобы, как внушал себе, не мешать сразу же притихшему и заснувшему Евгению Ивановичу, хотя на самом деле мне просто не хотелось выдавать себя, что я не сплю; очевидно, и с моим соседом происходило то же, и он также лишь не хотел выказывать, что не спит. Но, может быть, я ошибаюсь, и он за-

снул сейчас же, едва только прикоснулся головой к подушке, потому что — ведь так же, как для незнакомого мне Василия Александровича его рассказ, а для Марии Семеновны ее, так и для Евгения Ивановича все то, о чем он говорил, было повседневною, привычною и, как воздух окружает нас, окружавшей его жизнью, и он, пересказав все, лишь облегчил, проветрил, как проветривают комнату, открывая форточку, душу и был теперь удовлетворен и спокоен; передо мною же — смыкал ли глаза, лежал ли в темноте с открытыми — одна за одною, как сменяющиеся на экране кадры, то живые, движущиеся, то неподвижные, как бы застывшие на каком-то мгновении, возникали события своих минувших лет, но виделись они теперь по-иному, чем прежде (как и все люди, я ведь тоже часто любил и люблю предаваться воспоминаниям и вначале, кажется, уже говорил об этом), до встречи с Евгением Ивановичем. Я думал о нем, о Ксене, Рае, Зинаиде Григорьевне, которая, впрочем, более всего представлялась мне интересной и в чем-то даже таинственной, хотя именно о ней как раз скучнее всего рассказывал Евгений Иванович; я воображал и Мосkitовку, и Читу, и Калинковичи, какими они могли быть тогда, в те времена, когда еще Ксения была жива и Евгений Иванович, такой же, наверное, как и теперь, худощавый, не седой еще, с рюкзаком за спиною, шагал через весь город, разбрызгивая сапогами снежную кашницу, спеша к заветной избе, что у въезда по Мозырскому шоссе, и еще разные врезавшиеся в память сцены: то в больничной палате у Ксении, то на похоронах Раи, то как будто я сам вот стою на дощатом перроне далекого таежного полустанка и ожидаю пассажирский поезд, но на все это накладывалась моя собственная, светившаяся другими красками и оттенками и, пожалуй (во всяком случае, тогда мне думалось так), не менее драматичная и сложная жизнь. Разумеется, я не хотел и не собирался спорить с Евгением Ивановичем, но вместе с тем все, что приходило теперь в голову, рождалось как бы наперекор тому, как жил и к чему стремился он. «Его бы заботы да мне, да каждому, — мысленно рассуждал я. — Ну и что, что любовь? Любовь к женщине это, в конце концов, частное дело, личное, трагедия одного человека, одной семьи, тогда как есть еще интересы общества, народа, страны. Он осуждает Василия Александровича, — продолжал все так же мысленно я, — но за что? Значит, есть еще совесть у человека, раз пьет, зна-

чит, не все потеряно. Не эти люди страшны, нет, а другие, те, что совершают разные гнусные дела и не пьют, не терзаются по ночам, а спокойно спят и процветают, уверенные в своей непогрешимости, и вот их-то уж наверняка ни в какую больницу не уложишь. Так что — той ли мерою меряются добрые дела? Услугой ли ближнему? Или есть еще иная, когда — для людей, для всех! Эта доброта — в ненависти, в борьбе, в беспощадности к злу, и она, только она может и должна быть мерой всему», — уже в запальчивости продолжал я. Мне действительно тогда казалось, что жизнь Евгения Ивановича только и состояла в том, что он мучался от неразделенной любви к Ксене и ездил то в Читту, то в Калининичи, но, забегая вперед, скажу, что я далеко не во всем был прав, осуждая его, потому что знал, в сущности, только одну сторону его жизни, тогда как вторая, о чем он умолчал и что открылось мне позднее, после того, как я побывал в Гольцах, многое изменила в суждениях о нем. Но в эту ночь, повторяю, я был под впечатлением только что прослушанного рассказа и не то чтобы совсем осуждал жизнь Евгения Ивановича, но не такими уже трагическими представлялись мне его страдания. «Да хлебнул ли он настоящей жизни?» — спрашивал я себя и, отвечая: «Нет!» — был вполне уверен, что прав. Да и кто не считает, пусть мысленно, про себя, скрытно, наслаждаясь лишь думами по ночам, что его жизнь более достойна примера, чем чья-либо другая? Все мы в той или иной степени тщеславны, хотя и не замечаем, не признаемся себе в этом. Может быть, и мною руководило то же *незамечаемое* тщеславие, однако не в этом, по-моему, суть: своей историей Евгений Иванович как бы пробудил во мне то, что уже было, в сущности, предано забвению и зарастало травой, как зарастают старые могилы, он заставил оглянуться и увидеть себя, каким был и каким стал, и увидеть жизнь, как видел раньше и как теперь, и потому, споря с Евгением Ивановичем, в то же время я спорил и с собой, как бы снимая с себя мнимо мягкие, вызывавшие только благодушные наросты времени.

Еще вчера я ведь если и вспоминал, то лишь о том, что не рождало ни глубоких раздумий, ни огорчений; ну что — Долгушинские взгорья, что — хранящийся до сих пор у меня дома грубый брезентовый плащ с капюшоном, в котором когда-то в любую погоду — в дождь, ветер, в мокрый снег — ходил по колхозным полям и ко-

торый, кстати говоря, жена уже не раз намеревалась выкинуть на свалку как ненужный, загромождающий квартиру хлам, что — этот плащ и что — тоска по взгорьям, когда годы те отмечены совершенно иными, и не только для приятных воспоминаний событиями. Что-то же заставило меня покинуть Долгушинское отделение и уехать в город? Не для того же только, чтобы потом, спустя много лет, можно было с грустью в голосе произнести и самому себе, и при случае какому-нибудь приветливому собеседнику: «Да-а, самые счастливые годы... молодость... задор... энергия... черная вспаханная земля, да-а...» — нет, разумеется, не потому я очутился в городе и вот теперь, как вечный командированный, что ни месяц, то в инспекторской поездке, а была причина, которую я просто не ворошил в себе, оберегая покой, но прошлое вот сейчас, как устремляется река в проран, размывая перемычку, — кипящую сменой картин хлынуло прошлое из тайников сознания. «Водораздел человеческих душ, — про себя повторял я слова, принадлежавшие даже не Евгению Ивановичу (но мне было все равно, кому они принадлежали; произнес их он, и потому я отвечал теперь мысленно ему). — Нет такого водораздела для честных людей. Он существует лишь для карьеристов, дельцов, которым действительно в какие-то времена истории приходится выбирать, за что *уцепиться*, по какой линии пойти, государственной, добиваться чинов или намывать легкодоступное золотишко, пусть хрустящими рубликами на толкучках и рынках, и совершенно не важно, по какую сторону водораздела окажется такой человек, он одинаково вреден, он — зло, и страшнее еще, когда зло это в чинах. А Василий Александрович — что? Он мучается, переживает, у него еще есть совесть», — продолжал я. И все то, как и что думал я о доме, о Валюше, Ларочке, Наташе, о Петре Семеновиче, у которого сын и который так же, как и я, по второму разу идет по школьной программе, ломая голову над самыми простыми арифметическими задачами, — все это, еще вчера вызывавшее умиление: «Как хорошо, что есть семья, должность, что живу в самом лучшем, самом зеленом районе города и что — достиг же, в конце концов, чего-то в жизни, хотя бы этой вот квартиры и права дремать по вечерам в кресле с газетою в руках или перед телевизором!» — представлялось не чем иным, как мелким, жалким, замкнутым в самом себе существованием, тогда как и в семье и на работе (мы только закрываем на все гла-

за, потому что так легче) имеются огромные, действительно-таки затрагивающие коренные вопросы жизни проблемы. И они сейчас поднимаются как бы из глубины — в противовес рассказанному Евгением Ивановичем и как бы в противовес собственным, еще недавно казавшимся правильными взглядам.

С усмешкою, которую не нужно было скрывать на лице, я говорил себе: «Хорош же я был вчера со своим советом: воспоминания — лучшее средство от бессонницы. Это смотря какие воспоминания. Вот попробуй сейчас засни». Вчера, конечно, я не сказал этого Евгению Ивановичу, только с сожалением подумал, что надо дать такой совет, но мне представлялось, что сказал, и оттого-то я и насмеялся теперь над собою.

Тяжелые, до пола, гардины как будто плотно прикрывали и окно, и узкую балконную дверь, но все же свет от горевших на площади фонарей проникал в номер, ложась на стены и потолок блекнувшими, расплывающимися желтыми полосками, и оттого темнота не казалась густой, как в первое мгновенье, когда была выключена люстра; я давно уже хорошо различал не только кровать, но и лежавшего на ней Евгения Ивановича, его седую голову на подушке, повернутую лицом к стене; думаю все же, что он спал, так как до самого рассвета, пока не забрезжило за окном синевою утро и пока сам я, утомленный, взволнованный, не забылся наконец коротким и беспокойным предзаревым сном, ни разу не пошевелился, а я рассказывал ему, разумеется мысленно, о своей прожитой жизни.

Час первый

— Вы говорили о случайностях, — начал я, вспомнив самые первые слова, какие произнес Евгений Иванович, когда мы, вернувшись из ресторана, уселись друг против друга в мягких и глубоких гостиничных креслах. — Пожалуй, и так можно представить жизнь, как цепь случайностей, если взглянуть поверхностно. Почему, например, я, городской житель, поступил в сельскохозяйственный техникум? Случайность? Да, если, разумеется, считать случайностью войну, которая грянула в сорок первом, когда я учился еще только в пятом классе, братишка мой — во втором, а сестренка лишь с завистью смотрела на наши новенькие портфельчики, вздыхая по-взрослому, как это

умеют только с нетерпением ожидающие своего счастливого часа дети, и если, разумеется, считать случайностью, что эта самая война позвала отца на фронт, а в доме потребовался скорый и надежный помощник для матери, и она однажды сказала: «Закончишь седьмой, подавай в техникум. Отца нет, и тебе надо *становиться на ноги*». Да, вся жизнь могла бы пойти по-другому; жизнь сотен тысяч людей могла бы пойти по-другому, если бы не война, которая, как звено к звену в долгой цепи, событие за событием властно, не считаясь ни с чьим личным желанием, выкладывала свое русло для каждого человека. Но можно и так сказать: почему в сельскохозяйственный? Были же и другие. Может быть, тут-то и кроется случайность? Нет. Ни тогда, ни теперь тем более, я не думаю так; уже само слово «сельскохозяйственный» напоминало деревню и как бы само собою приближало к земле, хлебу; именно к хлебу, потому что — какие еще мысли могли прийти в голову, когда ценнее всех ценностей были в доме продуктовые карточки и когда перспектива жизни (да был ли я исключением!) виделась не в той широте и возможностях будущей работы, как теперь, а чтобы лишь — хоть как-то обеспечить своим трудом в доме достаток. И достатком этим виделся хлеб. Деревня и хлеб — так представлял я себе будущее; хлеб для себя, для братишки, сестры, матери, для всех, для общего блага, и не жалею, что именно с этим представлением о жизни когда-то начинал входить и познавать ее.

Мой отец тоже не вернулся с войны; был и в нашей семье черный день, когда почтальон вручил утром матери похоронную, и я тоже, наверное, повзрослел в тот день, но зачем пересказывать сейчас подробности; они одинаковы у всех; скажу лишь, что было и для меня такое время, когда хоть плачь, а бросай учебу и иди в грузчики, но каким-то образом мать все же не допустила до этого и потому, наверное, особенно радовалась, когда я принес домой диплом агронома и направление на работу.

«Наконец-то», — сказала она.

«Я заберу вас с собой в деревню».

«Конечно, сынок, только сперва поезжай один, поработай, поживи, осмотришься».

«Но почему же?»

«Нет-нет, ты поживи, осмотришься, а тогда уж...»

«Я непременно приеду за вами. Сразу же, как только

устроюсь. Или вы сами, я напишу и пришлю денег», — настаивал я.

Теплым августовским утром я выехал к месту назначения, в Красно-Доблинский район, с полным ощущением того, что уже — взрослый, кормилец семьи, заменивший отца, и самые счастливые планы, какие только могут возникать в голове девятнадцатилетнего юноши, возбуждали воображение. Пока ехал в поезде, я то и дело подходил к окну и радовался всему, на что смотрел: на желтеющий ли разлив пшеницы, что открывался вдруг, сразу за обрывавшейся березовой рощей, и хотя я еще никогда не видел тех мест, Долгушинских взгорий, где предстояло работать, но ни секунды не сомневался, что и там, в будущем моем пристанище, вот таким же разливом взбегают и скатываются по пологим склонам от речушки к речушке, от леска к леску, от укывшейся за огородами и плетнями деревеньки к другой, звенящие колосом хлеба — звенящие тем колосом, что в техникуме, на стенде, в снопах; я знал — то была отборная пшеница, что на полях она не может расти вся такой, но я улетал мечтою вперед и потому представлял в воображении только лучшее; радовали стада на лугах, и пастух, волочивший за собою по траве длинный веревочный кнут, и уже успевшие осесть и поблекнуть на солнце сметанные стога сена, и мгновенно как бы промелькнувший вдруг переезд с ожидающими у шлагбаума деревенскими телегами и колхозными полуторками, которые, впрочем, давно уже отпылили по дорогам свое, теперь разве только как железный хлам встретятся еще где-нибудь на отдаленной автобазе у нерадивого хозяина да хранятся, наверное, как экспонаты для истории в заводских музеях, словом, и эти, теперь давно отжившие, полуторки, и красные кирпичные здания станций и полустанков, и даже торговые прилавки под навесами, куда сейчас же устремлялся весь вагонный народ, как только останавливался состав, — все радовало глаз. И когда ехал, именно на полуторке, от железнодорожной станции до Красной Дóлинки, то же настроение владело мною, и я так же, устроившись в кузове, смотрел по сторонам и вперед, подставляя лицо жаркому августовскому дорожному ветру, и с восторгом рано начинающую самостоятельную жизнь молодого человека оглядывал словно дремавшие в полуденном зное под соломенными крышами деревянные крестьянские избы, когда машина, подпрыгивая на ухабах, проезжала через очередное по дороге село; но

на меня не веяло тогда запусанием от тех посеявших за войну изб; это ведь теперь, когда знаю нынешнюю деревню и могу сравнивать, запоздалая грусть начинает тревожить сердце, и за каждым окном, за каждой бревенчатой стеною как бы чувствую притаившееся вдовье горе, а тогда — не было и намека на эту грусть; я хорошо помню, как выпрыгнул из кузова с легким чемоданчиком, едва шофер затормозил машину, и потом, стоя посреди пыльной площади, с удовлетворением разглядывал деревянные и кирпичные строения районного центра: здание райкома, исполкома, районного земельного отдела, которое — я сразу догадался, что это оно, по привязанным у крыльца к столбу оседланным коням — особенно привлекло внимание. Одноэтажное, длинное, как барак, с обшарпанной дверью и каким-то плакатом по карнизу на полинялом полотнище (точно не помню: что-то связанное с уборкой и планом), с фундаментом, заметно изъеденным солонцом (но ведь это только теперь я так подробно вижу все и всему придаю значение!), здание не представлялось ни обветшалым, ни мрачным; оно было не лучше, но и не хуже других, соседних, что редкою и как бы неровною толпою обступали пыльную площадь (да ведь и восприятие тогда, в послевоенные годы, было у нас другим: бились за главное, здесь, в районах, за хлеб, а до чего-то не доходили руки, и это разумелось само собой), и что бы я ни говорил теперь, но тогда я ласкал взглядом этот дом, который должен был стать для меня судьбой, жизнью. Я знал, что здесь, у этого крыльца, начнется моя *большая* дорога, и, продолжая еще стоять на площади, торопил время, мысленно забегая вперед, к тем годам, когда и работа и жизнь — все войдет в одну привычную, спокойную, с уверенностью в завтрашний день колею. Я посмеялся бы над любым, кто осмелился бы сказать мне в те минуты, что я не знаю жизни, что планы мои возведены на песке и что ни следа не останется от них, как только прокатится по ним остужающая волна недоверия; я ответил бы, улыбнувшись, что эта мрачная шутка не для меня, но, к сожалению, теперь вынужден признать, что есть эта остужающая волна, что она окатила меня, хлестнула, да так, что и теперь иногда с боязнью оглядываюсь на прошлое. Но хлестнула не сразу; лишь спустя несколько месяцев я ощутил первое ее студеное дыхание. У вас в девятнадцать был поединок с немецкими самоходками, в то время как у меня тоже был, в сущности, поединок,

схватка, но только иного рода, с иным врагом, да, я не боюсь этого слова, врагом, а точнее, злом, и если уж нечистоту — он еще не закончен, этот поединок, по крайней мере, в моей душе; время лишь приглушило все и затянуло мнимой сетью спокойствия и смирения, но именно мнимой, потому что чувствую же я вот сейчас снова и ту прежнюю решимость, и злость, и свою правоту. Но, позвольте, как и вы мне, я тоже буду рассказывать все по порядку, как было, как ошибался я в людях, полагая, что, как и во мне самом, в каждом человеке живут лишь добро, справедливость, понимание и уважение к ближнему; тогда, на площади, мне нравилось все, на что ни переводил я взгляд, и даже само название села — Красная Дóлинка, — когда мысленно произносил его, рождало возвышенное, гордое чувство. «Красная», — повторял я, вкладывая свой смысл в это слово, хотя именовалась Дóлина Красной давно, еще до революции, а иногда называли это село еще Ярмарочным за шумные зимние ярмарки с каруселями, балаганами и катаниями, какие устраивались здесь, как раз на этой площади, и со всей округи съезжались сюда купцы, лоточники, цыгане, съезжались мужики из деревень, и в кабачном ряду с утра и до самой поздней ночи бушевала пьяная, горланившая песни толпа, дворы были забиты подводами, снег у завалинок устилался подсолнечной шелухой, а в заезжих избах так и не убирались со столов медные ведерные самовары. Так рассказывали потом, так оно, очевидно, и было, но во мне даже и после этих рассказов, помню, название Красная Дóлинка каждый раз вызывало все то же чувство, какое испытал я, вступив впервые в тот жаркий августовский день на эту пыльную площадь. Я медленно пересек ее, когда полуторка скрылась за поворотом, и потом еще с минуту стоял у крыльца, разглядывая и читая поблекшую зеленую вывеску с надписью «райзо»; из дверей, шумно разговаривая и не замечая меня, вышли трое мужчин, очевидно, председатели колхозов, и я, обернувшись, смотрел, как они отвязывали коней и садились в седла; и в этих председателях с обветренными и потными шеями, в их сытых конях с лоснящимися крупами, что уже взбивали копытами уличную пыль, еще более представлялась мне спокойная и радостная впереди трудовая жизнь, и с этой счастливой мыслью, не скрывая довольства на лице, я вошел в узкий и сумрачный коридор.

В нем никого не было.

И за дверьми, в кабинетах, тоже как будто было тихо: лишь в самой глубине коридора, у окна, было слышно, как тарахтела в какой-то комнате пишущая машинка, и я направился на этот как будто единственно живой звук в здании.

«Скажите, — остановившись у порога и глядя на машинистку, спросил я, — как мне пройти к заведующему райзо?»

«Его нет».

«К главному агроному?»

«Тоже нет. В колхозах».

«А когда будут?»

«Не знаю, зайдите к Евсеичу — его помощнику. Дверь напротив», — добавила она, уже принимаясь за работу.

Я прошел к помощнику, и этот же самый разговор повторился.

«Ни заведующего, ни главного агронома нет, а вы, собственно, по какому делу?»

«У меня направление...»

«А-а, кадры! Только к начальнику, эти вопросы решает только он. Оставьте чемодан здесь и пойдите погуляйте. К вечеру он должен быть».

Мне ничего не оставалось, как последовать этому разумному совету, я поставил чемодан за шкаф, к стене, и через минуту снова уже был на пыльной площади; ни равнодушный тон машинистки — я даже, по-моему, не разглядел, молодая она или пожилая, в чем одета и как причесана, отстукивает свои простыни-сводки, и пусть отстукивает, — ни такой же равнодушный, как я теперь, оглядываясь назад, на то прошлое, понимаю, тон Евсеича (он листал только что поступившие центральные газеты и на меня смотрел, наклонив голову, из-под очков) не нарушили счастливого состояния, я по-прежнему жил радостным ощущением, что — здесь, что — прибыл, что — вот она, Красная Дóлинка, а то, что не застал на месте заведующего райзо, это всего лишь деталь; рано ли, поздно ли он будет, примет, назначит на должность, а судьба уже, в сущности, решена, и на всю жизнь. Обогнув старую, без колокольни и куполов церковь, я спустился по проулку на околицу села, к реке, вернее, небольшой, с черным илистым дном речушке Лизухе — название я узнал потом, — и передо мною как бы вдруг распахнулись огороды, луга, леса, поля, уходящие к горизонту под белесовато-выцветшим полуденным небом, и в то время как для местных жителей, для деревенского

человека вообще, они, естественно, не представлялись необычными, — они настолько поразили тогда мое воображение и показались неповторимыми, что, сколько потом я ни встречал красивых и удивительных мест, особенно как начал разъезжать по командировкам, — ничто не могло, да и теперь, чувствую, не может сравниться с тем, что увидел я в тот день за околицею Красной Дóлинки, и ничто не западает так глубоко в душу и не вызывает волнений. Каждый раз, когда я потом, уже из Долгушина, приезжал сюда, в Красную Дóлинку, как ни бывал занят, непременно выкраивал время и спускался по проулку к реке, выходил к обрыву и, вслушиваясь в тихие всплески воды внизу, под кручей, смотрел: осенью — на багрово-желтый издали лес, черные клинья распаханной под зябью земли и между ними, как острова, яркие зеленя озими, весной — на сиреневую дымку распускавшихся по лесу почек, на белые лысины еще не везде стаявшего снега, и опять — черная пахота и зеленая, и дыхание земли, неба, жизни; я приходил сюда и зимой, когда все было опущено снегом и искрилось в лучах низкого морозного солнца, и — ни речки, ни клиньев озими и паров, а все припорошено, объединено в одно сплошное белое море, и кусты тальника, каждая веточка, обрамлены прозрачным и вместе с тем словно слегка подсиненным голубизною неба инеем, и снова и снова все представлялось неповторимым и прекрасным. Вот что значит иногда первое впечатление или даже не впечатление, а доброе чувство, с каким человек смотрит на все вокруг, с каким смотрел я на незнакомые, впервые видимые мною места; они как бы вливались в мое радостно-возбужденное сознание. Я направился вдоль берега, поглядывая на удивших рыбу мальчишек; мне хотелось заговорить, но я прошел молча мимо маленьких веснушчатых рыболовов, лишь чуть замедлив шаг; молча прошествовал и мимо полоскавшей белье молодой женщины, немного смутившись лишь и покраснев оттого, что она, разогнув спину, смотрела мне вслед, провожала глазами, и я чувствовал это; и прошел мимо старика с прутиком, замыкавшего цепочку спускавшихся к речке гусей; я радовался тихо, по-своему, в душе, потому что — такой, видимо, характер; а может, уже тогда жизнь научила этому — замыкать в себе всё: и радость, и горе, как, знаете, теперь замком-«молнией» мгновенно стягивают дорожную сумку; внешне же, разумеется, казался спокойным, не спеша переводил взгляд с одного на другое и шагал неторопли-

во, и лишь на лице, но это только потому, что никого не было рядом, постоянно как бы светилась улыбка. Я знаю, что так это было; да иначе и не могло быть; с этой светившейся улыбкой я и вошел снова в сумрачный и прохладный коридор райзо.

«Рано еще, молодой человек. Еще погуляйте».

«Но...»

«На закате, только на закате».

«Но вы?...»

«Повторяю: на закате!»

Все те же развернутые центральные газеты лежали перед ним на столе, и смотрел он так же, наклонив голову из-под очков, но ни этот его взгляд, ни разговор, который оставил-таки на сей раз неприятное впечатление, все же не смогли нарушить общего хорошего настроения; только теперь, очутившись на площади, я не пошел ни к реке, ни по селу, а присел на приступок с теневой стороны церкви, выбрав место так, чтобы видеть крыльцо (для того, конечно, чтобы не заходить больше к Евсеичу и не спрашивать, приехал или не приехал заведующий: «Сам увижу!»), и до заката, как было определено мне время, то вскидывал взгляд на райзо, то на удлиняющуюся тень от церкви, то смотрел себе под ноги, на пыльные ботинки и подмятую под ними траву, которую жалко мне было видеть надломленной и подмятой.

К зданию райзо никто не подъезжал.

Когда же, не выдержав долгих минут ожидания, я опять вошел к Евсеичу, тот только развел руками, дескать, рад бы помочь, да не могу, не в силах.

«Нет?» — все же для убедительности спросил я.

«Нет, — ответил он. — Но должен был сегодня обязательно вернуться. А может, махнул прямо домой, не заезжая сюда, а?» — как бы спрашивая меня, продолжил он и, тут же добавив: «Все может быть», — покрутил ручку телефона и снял трубку.

Пока он разговаривал, я все время смотрел на него. Я не слышал, что отвечали ему, но по тем словам, которые произносил он: «Что? Только что? Да, да, пожалуйста», — по выражению лица, глаз, словно вдруг оживших и подобревших, особенно когда раздался, наверное, в трубке голос самого Андрея Николаевича (так величали заведующего райзо, и об этом легко можно было догадаться по учтивости, с какою, продолжая разговор, произносил затем это имя и отчество Евсеич), я понял, что заведующий райзо дома, и заволновался, что сегодня

он уже не придет сюда, не примет, и все будет перенесено на завтра.

«Что же делать?» — проговорил я, продолжая, однако, еще с надеждою смотреть на Евсеича, и он, снова, уловив мое беспокойство, неожиданно, зажав ладонью трубку и наклонившись ко мне, спросил:

«Как фамилия?»

«Пономарев», — быстро ответил я.

«Пономарев, — доложил он в трубку, приоткрыв ладонь, и затем, наклонясь, задал новый вопрос: — Какая специальность?»

«Агроном».

«Агроном, — опять доложил он и тут же снова обратился ко мне: — Что закончил: институт? Техникум?»

«Техникум».

«Техникум, — повторил он. — Что? В Дом колхозника? Андрей Николаевич, вы же знаете, закрыт на ремонт. Может, здесь, у вас в кабинете, на диване? К вам? Ага, хорошо, хорошо, — заключил Евсеич и положил трубку. С лица его, как только он кончил говорить, словно соскользнуло, слетело, стаяло добродушие; уже знакомым мне холодным, равнодушным тоном он сказал: — Вам повезло, молодой человек. У Андрея Николаевича, э-э, отличное настроение, он приглашает вас к себе в дом. Там и поговорите и переночуете».

«Спасибо».

«Чего «спасибо»? Куда идти-то, знаешь? За площадью, вон, на южной стороне, на Малой, как мы ее называем, улице, дом восемнадцать, новые ворота, там спросишь. Хотя, что спрашивать, — перебил он себя, — новые ворота!»

«Спасибо».

«Эй, эй, чемодан с собой, тут некому его караулить».

Дом Андрея Николаевича я отыскал сразу, но если говорить о приметах, то сильнее запомнились мне не новые ворота. По заросшей травю Малой улице, по самому центру ее вилась наезженная телегами колея, а возле дома Андрея Николаевича полукружьем отходила от нее к новым воротам боковая, более узкая; она была явно проложена подъезжавшей сюда по утрам и вечерам пароконной земотделовской рессоркой (тогда ведь районное начальство не ездило, как сейчас, на вездесущих «газиках»; да и самих «газиков» еще не было); по

этому узкому колесному следу, разглядывая его, я, собственно, и подошел к нужным воротам. От них действительно, как от свежих сосновых стружек, пахло еще смолой; и крыша дома, показалось мне, тоже была недавно перекрыта, тесины еще не успели потемнеть от дождей и солнца, но это не вызвало тогда никаких подозрительных мыслей; просто дом чем-то вроде выделялся среди других, стоявших вдоль улицы, и скорее даже не воротами и тесовой крышей, а застекленную верандою или выложенной красным кирпичом дорожкой к крыльцу, словом, чем-то да выделялся, я запомнил это, но важным для меня было в те минуты другое: веселое и доброжелательное настроение, с каким Андрей Николаевич, выйдя на крыльцо в брюках с подтяжками поверх белой нательной рубашки, крикнул:

«От Евсеича?»

«Да».

«Проходи!»

«Мне...»

«Проходи, когда приглашают. Собаки нет во дворе, не бойся, проходи!»

Я поднялся по ступенькам на крыльцо и как только очутился рядом с Андреем Николаевичем, хотел ли, не хотел этого — чаще всего происходит это помимо нашей воли, мы просто как бы попадаем под гипнотическое обаяние хозяина и уже покорно и с улыбкой выполняем все, что ни предложит нам: куда пройти, где сесть, что положить в тарелку и о чем говорить! — так вот и я, хотел ли, не хотел, а невольно оказался в таком положении, когда должен был только слушать, улыбаться и подчиняться гостеприимной и доброй как будто воле Андрея Николаевича; я понимал, что прежде всего нужно сейчас же объяснить будущему своему начальнику, кто я и зачем пришел, но ни на крыльце, ни на застекленной веранде, куда тут же почти втолкнул меня Андрей Николаевич, не смог произнести ни слова; да что там: не смог произнести! — не успел даже сообразить, что надо хотя бы извиниться за позднее беспокойство, как уже стоял в комнате, у порога, держа чемодан в одной руке, фуражку в другой, и растерянно обводил взглядом сидевших за празднично накрытым столом (они все тоже смотрели на меня, отчего я еще более терялся и чувствовал смущение) людей. Я, в сущности, оказался в том же положении, как и вы, Евгений Иванович, тогда, там, в освобожденных Калининских, когда ординарец комбата поднял вас

с постели; вы думали, что сейчас получите очередное боевое задание, а попали на торжественный ужин, и все было неожиданно и, может быть, потому и поразило вас; я ведь тоже не рассчитывал ни на такое гостеприимство, ни на застолье, а свои мысли и планы одолевали меня, и было свое представление о встрече и разговоре с заведующим райзо, и потому долго еще, уже будучи приглашенным за стол, сидел с глупым выражением лица, улыбаясь и подставляя тарелку подо все, что предлагала отведать светловолосая и круглолицая жена хозяина дома Таисья Степановна. Впрочем, еще от порога я прежде всего обратил внимание на нее, потому что она, встав из-за стола раньше, чем Андрей Николаевич представил меня, подошла и, молча взяв из моих рук чемодан и фуражку, понесла их в соседнюю комнату. Я видел ее лицо перед собой, вот, рядом, и потом, может быть, неприлично долго смотрел на спину и коротко постриженные и аккуратно причесанные волосы, когда она удалялась; не знаю, был ли замечен для других этот мой взгляд, но сам я, помню, почувствовал неловкость. Она была довольно-таки еще молода, лет тридцати, в том возрасте, когда женщины особенно привлекательны и когда все в них соразмерно и сообразно: и полнота, и свежесть, — я не потому так о ней, что понравилась с первого взгляда (какой тут может быть разговор: мне — девятнадцать, ей — тридцать!), или что я потом, что ли, влюбился в нее, нет-нет, просто она произвела на меня приятное впечатление, и та цель, то счастье, какое грезилось днем (какое должно было раскрыть мне объятья здесь, в Красной Дóлинке), показалось как будто еще доступнее, ближе. И одета она была не ярко, не празднично, в том платье, в каком обычно ходила в доме, ведя хозяйство, да и все, на кого я потом смотрел, а гостей-то было всего: Федор Федорович Сапожников, местный, но *государственного масштабу* селекционер с женой Дарьей и тремя невестившимися дочерьми: Викторией, Клашей и Фросей (все они были, как мне помнится, на одно лицо, похожие на своего короткошеего и ушастого отца; и платья были на них одного покроя — со сборками на груди, и одного цвета — белые в мелкий синий горошек), — все были одеты не нарядно, как-то по-домашнему, вернее, по-дорожному скромно, и я сразу же, пока еще стоял у порога, уловил эту непродничную атмосферу; непродничную в том смысле, что ни именины, ни, разумеется, Первое мая, ни

еще какая-нибудь, пусть даже семейная, дата, а просто Федор Федорович со всеми своими чадами зашел или, может быть, заехал к доброму старому другу так, без всякого повода, лишь навестить, и все, что стояло на столе, было приготовлено наспех, но щедро, так как гостю, несомненно, были рады здесь, и Федор Федорович чувствовал себя как дома, и его жена, и дочери, и Таисья Степановна не сочла нужным принарядиться, да и сам Андрей Николаевич, вышедший чуть вперед меня, заложив большие пальцы за широкие подтяжки брюк, как всегда, наверное, делал, когда бывал доволен собой, похлопывал ладонями по белой, облегавшей живот рубашке.

«Ну, Федорыч, вот и пополнение к нам, агроном, прошу любить и жаловать, — сказал Андрей Николаевич, положив руку на мое плечо и подталкивая к столу (Таисья Степановна с чемоданом и фуражкой уже скрылась за дверьми соседней комнаты; потом, когда она вернулась, Андрей Николаевич представил меня и ей, назвав жену по имени и отчеству). — Дождались, а? — продолжал он, обращаясь все так же к Федору Федоровичу. — Поколение, не нюхавшее пороха...»

«Не всё, не всё», — возразил Сапожников.

«Допустим, не всё, спорить не стану. Ну, Пономарев, — теперь уже хлопнув меня по плечу и опять подталкивая к пододвинутой к столу табуретке, сказал он. — Как тебя по?..»

«Алексей. Алексей Петрович».

«Долго сидел у Евсеича?»

«Я приехал днем...»

«А-а, с обеда? Тогда ты все уже знаешь: и о районе, и, надо полагать, все обо мне? Евсеич, поди, уже проинформировал тебя?»

«Он ничего не говорил».

«Как?!»

«Ничего».

«Значит, старик просто не в духе. Но не горюй, все еще впереди, информация за ним не залежится, так я говорю, а, Федорыч? — при этих словах Андрей Николаевич и Федор Федорович понимающе переглянулись. — За ним не залежится... а впрочем, мы и сами сможем тебя проинформировать, садись». — И, когда я сел, он произнес, кивком головы указывая на Сапожникова, ту самую фразу: «Местный, но государственного масштабу селекционер», — которую я особенно запомнил в тот вечер

и которая до сих пор, когда начинаю думать и вспоминать Федора Федоровича, вызывает улыбку. Но тогда я все воспринимал всерьез и с восхищением смотрел то на Андрея Николаевича, то на представленного им селекционера, на Сапожникова, которому, между прочим, и сам он не скрывал этого, было приятно слышать похвальные слова о себе; приятно, очевидно, потому, что произносил их знавший дело и цену хлебу друг, и, главное, может быть, потому, что друг этот ни мало ни много, а возглавлял земельный отдел района. Я отлично помню, как на лице и во взгляде Федора Федоровича каждый раз появлялось что-то отечески доброе, едва только речь заходила о селекции, и он казался мне настолько влюбленным в свою работу человеком, что для него нет и не могло быть иной цели, чем эта, однажды поставленная перед собою в жизни. Он заведовал тогда сортоиспытательным участком, который размещался на землях отдаленного, крупного и, пожалуй, самого крепкого в районе колхоза, и Андрей Николаевич, продолжая восхвалять, впрочем, не без глубоко скрытой иронии, Федора Федоровича, говорил: «На Чигиревских у него целое научное заведение, одних названий сортов — черт ноги переломает. И еще где у тебя? В Долгушинс?»

Федор Федорович как бы в знак согласия степенно наклонил голову и только уточнил:

«На взгорьях».

«Так что у нас тут — свои университеты, — заключил Андрей Николаевич, — и не малые. Таисья, подай рюмку, я налью гостю. Обедать? — спросил он у меня. — Нет? Ну ничего, для аппетита. Она, брат, хлебная, давай приобщайся. На здоровье!»

Как всегда бывает в таких случаях, все дружно поддержали: «До конца! До дна! Сразу!» — и я, оглушенный этими возгласами, поднес рюмку к губам и выпил.

«Отлично! — воскликнул Андрей Николаевич. — Молодцом! Бери огурчик».

«Хлебом занюхай. Хлебом!» — вставил Федор Федорович.

«Оставьте его, человек не обедать. Может, борща вам?» — спросила Таисья Степановна.

«Да, пожалуйста», — согласился я.

Я ни от чего, как уже говорил, не отказывался, что предлагала Таисья Степановна, и отвечал ей, по-моему, одними и теми же словами «да, да» или «пожалуйста», в то время как с уст не сходила глупейшая, по крайней

мере, если не сказать больше, улыбка; я был доволен всем и всеми и пребывал в том *сладостном* состоянии, как только может чувствовать себя впервые выпивший человек, и мне снова и снова казалось, что жизнь самой доброй стороною повернулась ко мне. Для вас там, в заснеженных Калинковичах, счастье составляла сидевшая рядом девушка Ксения, ее серебристые косы, освещенные горевшей керосиновой лампой, и оттого вечер промелькнул быстро, как будто только что вот произнесен первый тост, и уже надо вставать и расходиться; мне тоже показалось, что вечер у Андрея Николаевича был коротким, но отвлекали и волновали совсем иные, чем вас, мысли; я ел, смотрел на всех, слышал отрывки фраз и даже как будто понимал, о чем говорили между собою, главным образом, Андрей Николаевич и Федор Федорович (не знаю почему, но мне и теперь думается, что на время они словно специально оставили меня, передав в распоряжение Таисьи Степановны, и оттого-то, куда бы я ни поворачивал голову, постоянно видел перед собою ее круглое, обрамленное белыми волосами и казавшееся мне красивым лицо), но вместе с тем именно в первые минуты после опустошенной рюмки сознание как будто вдруг переключалось, я перестал слышать и видеть, что происходило вокруг, за столом, и передо мной как бы распахивались то разливы желтеющей пшеницы, как они виделись из окна вагона, то огороды, лес и поля до белого горизонта, те самые, на которые смотрел сегодня, спустившись через площадь по проулку к Лизухе; я как будто опять шагал мимо веснушчатых рыболовов, мимо полоскавшей белье женщины, радуясь про себя, что не пройдет и месяца — «К зиме наверняка, в этом-то уж никакого сомнения!» — как мать, брат и сестренка, вызванные мною сюда, будут так же радоваться этой благодатной земле и этим, таким гостеприимным людям. «Они еще не догадываются, — думал я, — что уже начало крутиться колесо нашего счастья». А сказать точнее, не думал, просто сама эта мысль, как бы подтвержденная всем ходом сегодняшних событий, и составляла то счастье, какое волновало и будоражило мое юношеское воображение. Иногда мне кажется теперь, что, пожалуй, я был в тот вечер более опьянен именно ощущением близкого счастья — достатка, хлеба! — чем выпитой водкой, потому что, когда, в сущности, хмель прошел и я действительно начал понимать, о чем говорили между собою Андрей Николаевич и Федор Федорович, да и по-

зднее, когда сам включился в их разговор, ни на одно мгновение не покидало меня это радостное ощущение. Я вспомнил, как когда-то в техникуме — мы уже были старшекурсниками — преподаватель почвоведения сказал нам: «Важно еще и то, в чьи руки вы попадете, с кем начнете свой трудовой путь!» «Я-то попал в хорошие, — теперь рассуждал я. — В этом отношении могу быть спокоен, мне нечего опасаться». И все сидевшие за столом, главное же, Андрей Николаевич и Федор Федорович представлялись самыми замечательными людьми на свете. Да и как они могли представляться иначе, когда я еще ничего не знал о них, а видел только их весело улыбающиеся лица; и в доме все производило лишь впечатление доброты, щедрости, уверенности, уюта. Таисья Степановна по-прежнему то и дело пополняла мою тарелку закусками, а Андрей Николаевич, увлеченный беседой, все чаще, слегка подтолкнув рукой в бок, восклицал: «Вы слышите, Алексей? Нет, вы слышите, чего задумал старик, а? Какой размах!» — и в такие мгновения, не в силах сразу прервать свои размышления, я удивленно таращил на него глаза (я говорю «таращил», хотя на самом деле, конечно, не так уж и глупо держался, а если и было что, то по молодости, от простоты душевной, от искренности, от непосредственности восприятий и чувств, чего, к сожалению, лишены мы теперь, вернее, лишаем себя сами, набираясь с годами, как думаем, ума-разума, мудрости жизни), да, я смотрел с удивлением, и, как ни обуревали меня, повторяю, приятные мысли, как ни был я во власти картин, переносивших в недалекое и счастливое будущее, я не мог не прислушаться к тому, что так восторгало заведующего районным земельным отделом. Речь же шла о выведении нового сорта пшеницы, сверхзасухоустойчивого, *вечного*, как назвал его Федор Федорович. Я, откровенно, в тот вечер так и не смог до конца уяснить, почему сорт именовался «вечным», в чем заключалась его особенная такая живучесть. Раскрылось это передо мною позднее, и я даже сам помогал потом Федору Федоровичу в его, несомненно, ложном, так думаю теперь, но в те времена казавшемся смелым эксперименте. Путем скрещивания пырея и пшеницы он хотел сразу достичь многих целей: и высокой стойкости к засухам, а значит, и ежегодных урожаев, и главное — такую пшеницу сеять надо будет только один раз, а потом убирай, пускай комбайны, и все; как травы на лугу: ни пахать, ни боронить, ни бороться с сорняками; пырей своими

корнями переплетет всю землю и задавит любые сорняки. Такова была идея Федора Федоровича. Как люди, изобретавшие вечный двигатель, он изобретал *вечный* сорт пшеницы, и наверняка его должна была постичь неудача, да и постигла — ведь когда это было? Двадцать с лишним лет назад, а где сорт? Его нет. Но дело не в этом; тогда, в тот вечер, я с изумлением смотрел на Федора Федоровича и уже не замечал ни его короткой шеи, ни оттопыренных ушей, а проникался уважением к нему, как и к Андрею Николаевичу, и благодарил судьбу, что она столкнула меня с такими людьми.

«Ты понимаешь, Федорыч, — продолжал между тем Андрей Николаевич, — если у тебя действительно получится все так, как говоришь, то ты же прославишься на всю страну».

«В славе ли дело».

«Эг-гей, ну-ну».

«Дело в стабильности, о чем тысячелетиями мечтал наш русский мужик. Стабильности урожаев. Мы должны дать колхозам такой сорт пшеницы, я имею в виду не только себя, а вообще нас, селекционеров, чтобы при наименьших затратах труда и вне зависимости от климатических условий можно было получать наивысший, а главное, постоянный и устойчивый результат».

«Да ведь это революция в сельском хозяйстве!» — воскликнул Андрей Николаевич.

«В какой-то мере да, бесспорно. Правда, нужны годы, труд, но идея сама по себе настолько верна, что у меня никаких сомнений нет, да и вообще, стал бы я говорить, если бы хоть на секунду сомневался? Вот молодой специалист рядом, — сказал Федор Федорович. — Зерновик? — спросил он у меня и, как только я ответил, что «да, агроном по зерновым культурам», уже обращаясь сразу и ко мне и к Андрею Николаевичу, продолжил: — Спроси молодого специалиста... Скажите, молодой человек, возможно такое скрещивание? Скрещивание вообще?» — добавил он, уже глядя в упор на меня.

«Да, вполне возможно».

«Вот видишь! — теперь уже воскликнул Федор Федорович. — Вы что закончили? — тут же, повернувшись ко мне, снова спросил он. — Техникум? С отличием? Нет? Но все равно у вас правильное направление мыслей. Пойдете ко мне в помощники?»

«Но-но, кадры не сманивать, мне самому специалистам нужны».

«Для выколачивания планов из председателей? — Федор Федорович усмехнулся. — Что ты еще можешь предложить ему, Андрей, если говорить прямо, а у меня дело. Живое дело, земля!»

«У всех — дело живое, у всех — земля, так что эти свои старые разговоры оставь. У тебя же был помощник, Смирнов. Где он?»

«Ты что, забыл, год как на Озерную перевели».

«Зачем отпускал?»

«На повышение, что я могу».

«А я что могу».

«Дай, Андрей, парня на Долгушино, ей-богу, это в наших, в государственных, если хочешь, интересах».

«А сам парень что скажет, а?» — спросил Андрей Николаевич, посмотрев на меня.

«Он согласен», — ответил Федор Федорович и тоже посмотрел на меня.

Не знаю, что подтолкнуло меня сказать «да» и произнес ли я вообще это слово или только движением головы дал понять, что согласен, но так или иначе, а судьба была решена вот так просто, неожиданно, именно в эти минуты, и, может быть, потому, что я радовался в тот вечер всему, что видел, что происходило со мной и вокруг, предложение Федора Федоровича и мягкость и доброжелательность, с какою Андрей Николаевич проговорил: «Ну что ж, возможно, и есть здесь здравый смысл», — лишь усилили то приятное возбуждение, в каком я находился; я смотрел на Федора Федоровича уже совершенно влюбленными глазами, особенно когда он начал рассказывать о Долгушинских взгорьях, где мне предстояло теперь работать, и временами казалось, что, кроме меня и Федора Федоровича, никого нет за столом: ни Таисьи Степановны (но она и на самом деле к тому времени ушла готовить постели, потому что — гостей-то сколько! Всех надо было уложить), ни жены и дочерей Федора Федоровича (они тоже, впрочем, хлопотали где-то в другой комнате вместе с хозяйкой дома), ни даже минутами Андрея Николаевича (он несколько раз отходил к телефону); мы выпили за мое назначение, потом за новый, вечный сорт пшеницы, и Федор Федорович с удовлетворением (теперь-то все это выглядит смешным), как будто сорт был уже выведен им, выслушивал восторженные фразы и пожелания, и еще пили за что-то, что волновало Андрея Николаевича, и он также с удовлетворением выслушивал похвалы и пожелания своего друга, а когда под-

нялись из-за стола — и его и Федора Федоровича женщины отводили к кроватям под руки. Для меня постель была приготовлена на полу — матрас, подушка, одеяло — рядом с кушеткой, на которой уже спал (он захрапел сразу же, не успели потушить свет) Федор Федорович; я разделся, лег, закрыл глаза, но в сознании долго еще продолжался вечер, и все то приятное, что было пережито за день, вновь подымалось во мне, я как бы возвращался к минутам, когда полуторка остановилась на пыльной площади, а я, выпрыгнувший из кузова, стоял и смотрел на здание райзо, совсем не предполагая, что все решится вот так, просто, что не разъездным агрономом в отдел, а буду принят на должность помощника заведующего сортоиспытательным участком, и что, может быть, уже завтра придется ехать в Долгушино и принимать дела; я повторял мысленно: «Долгушино», — прислушиваясь к звучанию этого слова, и яснее, чем в вагоне (тогда все было отвлеченно), воображал поля, деревню, взгорья, которые, впрочем, еще только предстояло мне увидеть, но о которых я уже многое, как мне казалось, знал по рассказу Федора Федоровича. Я не спал в тот вечер и не чувствовал себя пьяным; у каждого бывают свои первые бессонные ночи; но не спал не от горя, не от тяжелых раздумий, как теперь, когда за плечами десятки прожитых лет и событий; самые радужные перспективы грезилась мне в будущей моей работе, я чувствовал себя счастливым, и если испытывал беспокойство, то лишь потому, что неохватным представлялось добро, какое сделали для меня еще вчера вовсе не знакомые мне Андрей Николаевич и Федор Федорович. «Поверили, спасибо. И что я, не смогу, что ли? — рассуждал я. — Еще как смогу, вот увидите, на что способен молодой специалист. Не пожалеете, нет-нет!» — почти восклицал я, в полусумраке чуть поворачивая голову и глядя вверх, на кушетку, на свисавшее с нее к полу одеяло и торчавшие в белых кальсонах ноги Федора Федоровича; они вклинивались в квадрат оконного лунного света, так что можно было различить и желтизну мозолей на пальцах, и черноту давно не обрезавшихся ногтей, и временами, чуть отрываясь от своих дум, я действительно различал все и тогда поспешно, может быть, даже инстинктивно, отводил взгляд, чтобы не запало в память хоть что-либо, что могло бы затем нарушить уже сложившееся впечатление о Федоре Федоровиче, но временами — ни ног, ни свисавшего одеяла, ни кушетки

словно вообще не существовало, а было лишь то счастливое будущее, в котором мне предстояло жить и трудиться, и рисовалось оно полями, засеянными однажды вечной пшеницей, которую только молоти по осени, свои хлеб, и всё, и все сыты, довольны и счастливы. Сейчас, конечно, наивным кажется то представление о жизни, сказочным, но тогда, в девятнадцать, просто невозможно было думать иначе, потому что человек не может без мечты и грез, я имею в виду хорошей мечты, входить в жизнь; это было бы противоестественно так же, как если птенец, должный летать, родится без крыльев; я не смеюсь над теми своими юношески-восторженными размышлениями, а жалею, что от них почти ничего не осталось теперь; именно они тогда подняли меня с постели и заставили выйти на лунный двор, а потом повели за околицу села, к реке, к тому самому месту, с которого днем я любовался огородами, полями, лесом: не то чтобы мне не хватало воздуха, а не хватало простора в комнате, простора мыслям, которые, теснясь, бились о стены, даже как будто сдавливали мне голову почти до боли в висках и которые надо было вынести во двор, на волю, где и горизонт не был для них ни пределом, ни границей.

Да, верно, мы редко видим красоту летних ночей или красоту зарождающихся рассветов, но происходит это, думаю, не потому, что с годами, старея, предпочитаем по вечерам оставаться в креслах и что никто и ничто не будит нас по ночам, и, тем более, что высокие стены домов вдоль улиц заслоняют собою ту самую черту горизонта, откуда подымается утро, — нет, не годы и не стены отгораживают нас от природы; вот я сейчас, к примеру, много езжу по командировкам, а в дороге всякое бывает: и рассвет застанет в поле, в машине, и случается шагать по селу лунной ночью после «прозаседавшегося» председательского кабинета, и ожидать пассажирский поезд на открытом перроне большой ли станции, полустанка ли, и над головою синее в мерцающих звездах небо (от света фонарей оно кажется чаще черным), но когда в машине, то дремлешь, закрыв глаза и откинувшись на спинку сиденья, а когда идешь по селу, все еще как бы продолжаешь жить только что закончившимся совещанием, перебираешь в уме перипетии событий, и нет ни времени, ни желания посмотреть вокруг, а на перронах — только желтые глаза паровозов и опять же замкнутые в самом себе думы, но уже о доме, жене, де-

тях, которых не видел давно и по которым соскучился; так что — нет, не в годах и стенах дело, а в настроении, с каким смотришь на мир, в окрыленности мыслей, которые словно уносят тебя вперед, в будущее, разжигают воображение и делают счастливым; тогда все видится и воспринимается по-другому, представляется прекрасным и неповторимым, даже очутись в пустыне, в песках, где все голо, однообразно и скудно, откроются удивительные, которые потом уже невозможно будет забыть, краски. Я и сейчас хорошо помню, как и что было со мною, что испытывал и о чем думал, как только очутился на крыльце и за темными теперь, в ночи, новыми воротами (луна освещала лишь тесовые плашки навеса) завиднелись очертания дальних и ближних изб; подбочась как хозяин (как стоял здесь, встречая меня, Андрей Николаевич в белой рубашке и подтяжках, и я невольно, не сознавая, конечно, этого, подражал сейчас ему), несколько секунд осматривался, будто желая убедиться, все ли на месте, и в какое-то мгновение (может же вот так работать фантазия у человека!) даже почувствовал, словно все это: и залитое лунным светом крыльцо, и сарай, и наполненный пилеными чурбаками навес, и ворота, и остекленная веранда, что за спиною, — все принадлежит мне, вернее, будет принадлежать, и не это, а другое, в другом месте, там, в Долгушине, но такое же добротное, дышащее достатком, как все здесь: и в доме и во дворе; как будто эгоистичным, но на самом деле нет, не эгоистичным было это мгновенное чувство; я не хотел, разумеется, достатка только для себя, но для всех, а вместе со всеми — и для себя, и потому не могу осуждать и не осуждаю то, может быть, по молодости и не совсем верное чувство; оно было необходимо мне и было, пожалуй, главным и единственным, из чего, собственно, и складывалось для меня понятие жизни и счастья. Я пересек двор и вышел на улицу; затем медленно, время от времени поглядывая по сторонам, двинулся к центру села. Все то, что днем пестрело разнообразием цвета — голубые наличники, зеленая трава, белые трубы и серые до черноты тесовые крыши, — все было сейчас будто затушевано одною, где гуще, где слабее, синею краской, и трава, бревенчатые стены изб, ограды различались лишь степенью синевы, и было странно, непривычно и удивительно видеть это. Пыльная площадь, которая открылась как бы вдруг, за поворотом, показалась просторнее, шире, чем днем, и мрачная громада кирпич-

ной церкви без куполов и колокольни теперь словно нависала над нею, накрывая почти всю ее своею густою, темною тенью. С реки же, хотя ее еще не было видно, веяло сыростью, и я помню, как то и дело ежился и подергивал плечами, потому что шел без пиджака, в рубашке; когда очутился у обрыва, обхватил грудь руками до самых лопаток; но это не мешало мне вглядываться в бледную синь полей, что лежали на том берегу, и представлять, как заколосится на них, наливаясь зерном, тот самый вечный сорт пшеницы, который будет выведен не только Федором Федоровичем, но теперь и мною — так, по крайней мере, хотелось думать, — и ветер как будто уже доносил оттуда напоенный запахами созревшего хлеба воздух... Луна между тем опускалась к лесу, хотя до рассвета было еще далеко; я шел обратно тою же дорогой, улыбаясь мыслям, лаская взглядом все, что попадалось на глаза, и видел дом Андрея Николаевича и ворота, которые (сначала я просто не придавал этому значения) почему-то были открыты; ничего не подозревая еще, я зашагал быстрее; потом, когда услышал голоса во дворе, уже охваченный тревогой, почти побежал, думая невесть что, и, только очутившись во дворе и увидев на крыльце — он вышел, как спал, в рубашке и кальсонах — Андрей Николаевича, остановился. Внизу, у крыльца, двое мужчин снимали с брочки что-то тяжелое и вносили по ступенькам на остекленную веранду.

«Таисья-то как?» — спрашивал один из них, пожилой, с густой окладистой бородою.

«Ничего, здорова», — отвечал Андрей Николаевич.

«Ну-ть ладно, не буди, обороть заеду».

«К Захарьеву сейчас?»

«А то-ть куды?..»

«О-о, агроном! — воскликнул Андрей Николаевич, заметив меня. — Ты чего не спишь? Лишнего, что ли, хватил вчера?»

Я кивнул головой.

«Ну ничего, подышать воздухом всегда полезно».

Старик с окладистой бородой и тот, что помоложе (он так и не проронил ни слова), отнесли мешок на веранду и снова появились на крыльце. Не протягивая руки, а лишь бросив Андрею Николаевичу: «Ну, прощай пока», — старик сел в брочку и взял вожжи; тот же, что помоложе, косясь на меня, пошел к воротам, чтобы, когда подвода выедет со двора, запереть их.

«Тесть приезжал, — сказал Андрей Николаевич. — Муки привез. Ну а ты что, еще дышать будешь?»

«Нет».

«Давай тогда, подымайся».

В комнату я вошел так же неслышно, как и выходил из нее. С тем же надрывом и переливами булькающих звуков храпел Федор Федорович. Я разделся, лег, с минуту смотрел на свисавшее, как и прежде, с кушетки к полу одеяло и торчавшие в белых кальсонах (на них уже не падал оконный лунный свет) ноги Федора Федоровича, затем отвернулся к стене, но долго лежал с открытыми в темноте глазами, то и дело слыша как будто скрип выезжавшей со двора подводды.

Час второй

На другой день рано утром Федор Федорович со всем своим семейством уехал на вокзал. Он отправлял жену и дочерей в город, к родственникам, и не только для того, чтобы повидались и погостили, но главным образом чтобы купили кое-что из одежды и обуви, чего не было ни в Чигиревском сельпо, ни здесь, в районном центре. Кроме того, старшая дочь Виктория собиралась поступить в педагогический институт, и это создавало дополнительные хлопоты и заботы. С вокзала Федор Федорович обещал вернуться примерно около полудня. Зайти в райзо и, прихватив, как он выразился, меня, двигаться уже в Чигирево. Еще с вечера я знал обо всем этом и все же, как только, проснувшись и протерев глаза, увидел, что кушетка пуста и даже постель убрана с нее, что-то как будто тревожное прокатилось в сознании. Мне не хотелось терять так неожиданно привалившее счастье, и хотя я верил Федору Федоровичу, но в то же время чувствовал, как в глубине души постоянно словно гнездилась боязнь (так было и вчера, когда сидел за столом, и потом, когда бродил по ночной пыльной площади), а вдруг передумает, мало ли что можно наговорить выпив, вдруг откажется брать, и тогда вся уже настроенная в мыслях жизнь пойдет по другому, тоже, разумеется, не плохому, но все же худшему руслу. Я мгновенно вспомнил весь прошедший день, вечер, почную прогулку, мужиков и подводду во дворе. «Отчего ночью? Тесть? Не зашел, не остался?» — и беспокойство еще сильнее охва-

тило меня, будто все, что происходило со мной, было чем-то незаконным, что ли. «Да что может быть незаконного?» — думал я, вставая и сворачивая постель. Я еще несколько раз задавал себе этот вопрос в то утро, а проходя по застекленной веранде к умывальнику и возвращаясь затем в комнату, невольно приостанавливался и смотрел на мешок с мукой, прислоненный к стене, но то ли оттого, что начинавшийся день был ясным, солнечным и все комнаты и веранда казались наполненными теплом, светом и радостью, или, может быть, потому, что Таисья Степановна, усадившая меня завтракать, опять, как и вчера, представлялась молодой и красивой, и я не без волнения поглядывал на нее, когда она выходила на кухню, чтобы принести еще что-нибудь, чем хотела угостить, и даже краснел и смущался, когда наклонялась надо мною и столом, подавая чай, или просто оттого, что сильнее всех этих возникавших теперь неясных дум было вчерашнее ощущение близкого счастья, — не могу сказать точно, но, так или иначе, постепенно ко мне снова вернулось хорошее настроение, я опять смотрел на все восторженными глазами, и все в мире казалось прекрасным и доступным, люди — добрыми, как добры Андрей Николаевич, Федор Федорович и Таисья Степановна, будущее — безоблачным, как и этот набравший силу летний день. Именно потому — когда, попрощавшись и взяв чемодан, выходил из дома, я уже не оглянулся на мешок с мукой, словно его не существовало вовсе. Игриво сбивая носками туфель траву, я шагал посередине улицы рядом с тележной колеей, той самой, что вчера привела меня к воротам дома Андрея Николаевича и теперь вела обратно к зданию райзо, и вдруг открывшаяся за поворотом знакомая пыльная площадь, как будто дремавшая сейчас под лучами восходившего к зениту августовского солнца, кирпичная церковь чуть поодаль, на возвышении, с черной крапивою у стен, здания райкома, райсовета и другие толпившиеся вокруг площади деревянные и саманные избы, — все было словно каким-то особенным, новым и в то же время было естественным продолжением, или, сказать иначе, составной частью того мира, каким жил я весь прошлый день, вечер и ночь. Я щурился, вглядываясь в далекое над крышами небо, и улыбался своим мыслям. К Андрею Николаевичу заходить не хотелось; я направился на то место за церковью, где сидел вчера («Что толкаться в коридоре, — вместе с тем, как бы оправдываясь, го-

ворил я себе. — Андрей Николаевич все равно занят, а Федора Федоровича и отсюда увижу!»), и, бросив чемодан на траву и опустившись на холодный каменный приступок, принялся следить за тем, кто подъезжал и кто отъезжал от райзо. Я смотрел на понуро стоявших у привязи коней, видел, как неторопливы были слезавшие с седел люди — агрономы ли, председатели или еще какой начальственный колхозный народ, решавший в этот день в земельном отделе свои дела, но не медлительностью, не тем как будто ленивым течением жизни, как воспринимается обычно деревня, когда впервые попадаешь в нее, и не размышлениями о доме и будущей работе запомнились мне часы, проведенные у церкви; мало ли было случаев и прежде и потом, когда приходилось вот так же томиться, ожидая кого-то или что-то, и думать, расслаивая или наслаивая события; просто сначала мне захотелось лечь на траву, и я прилег, то и дело, однако, приподымаясь и посматривая на земотделовское крыльцо, как только доносился оттуда шум голосов или шорох колес проезжавшей машины, потом принялся разглядывать нависавший над головою красный, из выщербленных кирпичей карниз церкви и небо над ним и, в конце концов, не заметил, как задремал и заснул; проснулся же словно от толчка, будто кто-то вдруг выдернул из-под меня землю; мгновенно, еще не видя ни Андрея Николаевича, ни Федора Федоровича, стоявших тут же и смотревших на меня, схватился руками за траву и только после того, как ощутил под ладонями опору, облегченно вздохнул и огляделся по сторонам... Я часто теперь думаю, что в том пробуждении было что-то символическое, и вполне согласен с вами, что человек может предчувствовать, но только не научился еще разгадывать свои предчувствия: ведь, если хотите, позднее они действительно-таки вырвали из-под меня землю: и Федор Федорович отчасти, и главным образом Андрей Николаевич (коль забегать вперед, скажу, что не только они, а прежде всего бородастый тесть, что привозил ночью муку, со своим сыном — бригадиром Кузьмой), но лучше все же по порядку, как было; они стояли и улыбались, особенно Андрей Николаевич, а я, теряясь и краснея, поправлял смятую рубашку и пиджак и отряхивался перед ними.

«Тося звонит: «Вышел!» А его нет, — говорил Андрей Николаевич. — Час, второй, его все нет. Евсеича за ним, найти не может. А он, оказывается...»

«Ничего, с кем не бывает», — вставил Федор Федорович.

«Ну-ну, а в общем, собирайтесь, машина ждет. Берите чемодан, пошли».

У крыльца земотдела стояла груженная еще на станции, в тупиках, ящиками с запасными частями для тракторов эмтээсовская полуторка, шофер был недоволен, что приходилось ждать, и еще до того, как мы подошли, только завидев нас, достал из-под сиденья ручку и принялся молча и сосредоточенно заводить мотор. Федор Федорович сел в кабину; мне же нужно было лезть в кузов, и я, перебросив через борт чемодан, долго затем выбирал место среди ящиков, чтобы устроиться поудобнее. То, о чем говорили между собою, прощаясь, Андрей Николаевич и Федор Федорович, я не слышал; я чувствовал себя неловко оттого, что заснул и заставил начальника райзо и заведующего сортоиспытательным участком искать себя, считал, что они теперь, разумеется, разочарованы и не могут с прежней доверчивостью и добротой относиться ко мне, и обрадовался, когда Андрей Николаевич, пройдя вдоль борта, вдруг, привстав на колесо и приподнявшись, протянул мне руку. В глазах его не было насмешки; как и вчера, он смотрел спокойным и приветливым взглядом, и той как будто слегка иронической улыбки, что заметно светилась на лице там, у церкви, сейчас тоже не было; и в голосе, каким он произнес: «Ну, Пономарев, желаю удачи. Он (при этом посмотрел в сторону кабины) знает дело, но все же, если что, приезжай ко мне, чем можно будет, всегда помогу, во всяком случае, советом. Ну, счастливо!» — в голосе тоже, казалось, не прозвучало ни одной ложной нотки; он так искренне стиснул в своей широкой ладони мои пальцы, что и теперь, видите, помню это пожатие. Для меня оно тогда было добрым и нужным знаком, потому что много ли надо человеку (я имею в виду — в том юном возрасте), чтобы успокоиться и снова поверить в счастье? Я не знал, что ответить Андрею Николаевичу, и только смущенно кивал, благодаря его и за вчерашнее гостеприимство, и за эти сердечные слова, а потом помахал рукой, когда машина уже удалялась по площади. «Нет, нет, — думал я, — кто бы что ни говорил, а мне повезло: и с Андреем Николаевичем, и с Федором Федоровичем. Вечный сорт пшеницы... нет-нет, мне повезло, и крупно, и... никто еще не знает, как мне повезло!» — продолжал я, когда Красная Долинка была уже далеко

позади и вдоль дороги, как бы теснясь к ней, стили в лучах чуть перевалившего зенит солнца желтые, с прозеленью, только набиравшие зрелость хлеба. До самого Чигирева тянулись эти поля пшеницы, поля — до горизонта, местами лишь иссеченные черными полосами чистых паров или такими же черными издали рощами, и, знаете, для меня и сейчас нет более привлекательной и волнующей картины, более естественной и в то же время созданной человеком, чем эта — хлеба! хлеба! — я не могу равнодушно смотреть на гигантский человеческий труд, и снимаю фуражку, и склоняю голову, как пшеница колос к земле, когда останавливаюсь у кромки поля; и мне кажется, что именно тогда, в тот день, сидя на ящиках в кузове элтэсовской полуторки, я впервые, представляя себя стоящим возле шелестевших хлебных полей, мысленно снял фуражку и склонил голову перед ними. Мне понравилось и небольшое, как бы стекавшееся избами к пруду Чигирево, и все пять дней, пока жил у Федора Федоровича и пока он знакомил меня с участком и делами (в основном учил, как вести записи в разлинованных карандашом на графы тетрадах, которые были заведены на каждый испытывавшийся для районирования сорт), все та же, будто какая-то неумная радость жизни охватывала меня. Но, разумеется, радость эта жила лишь в душе, я ничем не выказывал ее; она была для меня тем самым миром, какой, как вы говорили, Евгений Иванович, носит в себе каждый человек, и я берег этот мир, боясь, что если открою хоть кому, пусть Федору Федоровичу, то все исчезнет, рухнет, а жить без ожидания и надежды на счастье все равно что стоять нагим перед взвзирающей на тебя толпой; да, именно это чувство, и я говорю с уверенностью, потому что испытал его, познал горечь — нет, не отвергнутой любви к женщине или неразделенной, что ли, а любви к земле, работе, людям. Конечно, я не мог тогда предвидеть, что произойдет со мной, поэтому радовался про себя, тихо, так что Федор Федорович даже как-то заметил:

«А вы, однако, неразговорчивы, молодой человек».

«Разве?»

«Молчаливы, сударь. Молчаливы, государь!»

Контора испытательного участка, складские помещения, где хранилось сортовое зерно, небольшая конюшня с тремя колхозными лошадьми, закрепленными за Федором Федоровичем, семенной амбар, где женщины-колхозницы с ранней осени и до самой глубокой весны бес-

прерывно крутили триер, навес, где зимою хранилось сено, а летом — перевернутые вверх полозьями сани, жилая изба, где обитало семейство Сапожниковых (ни одной ночи я не ночевал в этой избе, а уходил под навес, где оставалось еще немного прошлогоднего сена и куда приходил по вечерам сторож Никита с незаряженной старой двустволкой и старой овчинной шубой, в которую заворачивался под утро), — все это размещалось в одном дворе и чем-то напоминало наше техникумовское учебное хозяйство, где мы обычно проходили производственную практику и где все казалось ненастоящим, уменьшенным, домашним, своим; может быть, это плохо, но, может, как раз и было хорошо, что я попал в словно знакомую мне обстановку и не надо было особенно приглядываться и подстраиваться; Федор Федорович (как и наш управляющий учхозом) собирал по утрам женщин посреди двора и, прохаживаясь между ними, распределял, кому куда идти и что делать, называя при этом всех не по именам, а только по отчеству: Кузьминишна, Борисовна, Андреевна, и, когда женщины расходились, приказывал Никитинуму внуку Мише запрягать уже почти беззубого серого мерина, мы садились в телегу и медленно, словно на волнах, через все Чигирево ехали к участку. Тетради для научных записей и складные, собственной конструкции, как в первый же день не без гордости объявил Федор Федорович, стол и стул лежали тут же, в телеге. Теперь мне кажется: двигалось солнце, двигались мы; и разговор между нами был такой же медлительный, степенный. «А ты знаешь, Алексей, — начинал каждый день почти с одной и той же фразы Федор Федорович и, как только я произносил: «Что?» — сейчас же продолжал: — В чем заключается главный смысл нашей агрономической науки? Нет? Главный смысл ее в том, чтобы запечатлеть на бумаге вековой опыт мужика. Возьмем хотя бы; к примеру, севообороты. Разве мужик не давал отдыхать земле? Давал. И я уверен, если копнуть, если взяться за изучение как следует, засучив рукава, да по всей России, то наверняка можно обнаружить примеры не только этой не оправдавшей себя, как теперь считают, трехполки. На моем веку, — это тоже, я заметил, было его любимым выражением, — сколько я живу и вижу, не было еще такого научного открытия в сельском хозяйстве, разумеется, которое не имело бы своего корня в мужицкой практике земледелия или, по крайней мере, не жило в крестьянских умах как желанная, но не-

сбыточная мечта». Он разговаривал, в сущности, один, не умолкал до той минуты, пока Миша громким «тпр-р-ру» не останавливал мерина перед делянками пшеницы, но и потом, когда уже сидели за столиком и вписывали в тетради результаты наблюдений, Федор Федорович вдруг отодвигал карандаш и снова начинал говорить, и, как бы ни казались мне теперь скучными его рассуждения, в те дни я слушал их с интересом; даже в этом замедленном темпе жизнь представлялась мне тогда быстрой, я не заметил, как промелькнула отведенная для знакомства пятидневка, и вот — веснушчатый внук сторожа Никиты уже запрягал беззубого мерина не для поездки на поле, а в дальнюю дорогу, в Долгушино, к месту моей работы, и утро это и день мне так же запомнились, как и часы, проведенные в Красной Дóлинке, в доме Андрея Николаевича. Мне было и радостно, и в то же время грустно уезжать из Чигирева. Радостно в том смысле, что я получал наконец самостоятельную работу, в которой, я думал, и ритм будет другой, и размах, и безграничные возможности, только используй, а на это, я чувствовал, имелось у меня и силы и желание, а грустно потому, что жаль было расставаться с Федором Федоровичем, который казался теперь еще более добрым, умным и порядочным человеком.

Мы ехали долго. Может быть, оттого и пошло название той небольшой деревеньки — Долгушино, что путь до нее кому-то вот так же когда-то показался долгим? Даже разговорчивый Федор Федорович временами смолкал, и тогда было слышно, как ступает копытами по не очень наезженной, с высокой травой по бокам колес старый мерин и скрипит всеми своими деревянными и железными суставами не менее древняя, чем мерин, телега. Теперь, конечно, трудно увидеть на селе такую картину; и дороги не те, да и по проселкам тоже все больше снуют машины, и нет, наверное, бригадира, который бы не имел мотоцикла, а тогда — вот так будто тихо, не спеша, на лошадке, двигалась жизнь, но, я еще раз хочу подчеркнуть, не было ощущения медлительности и покоя, и происходило это, вероятно, потому, что темп жизни никогда не определяется внешним движением, а заключен в людях, в тех чувствах и мыслях, какие обуревают нас, в целеустремленности и желании творить доброе, вечное; я почти с благоговением смотрел на Федора Федоровича, потому что именно он представлялся мне тем самым творившим доброе, вечное человеком

(растить хлеб, разве это не доброе и вечное?), каким я хотел видеть себя и что считал наивысшею мерою и смыслом жизни. Да и в самом деле, как я мог не волноваться и не устремляться мыслью на годы вперед, когда как бы сама собою раскрывалась передо мной перспектива будущих дел — здесь, на этой земле, на этих взгорьях, уже теперь сплошь покрытых желтеющей на солнце пшеницей. «Хм, вечный сорт, — про себя говорил я, — но ведь и это не предел. Можно придумать еще что-то, что приподымется и над этим вечным сортом!» — и от одной только думы, что все возможно и нет ничему предела, радостью охватывалось сознание, и я чувствовал, как словно все во мне наливалось силой. Я спрыгивал с телеги, шел по обочине; затем снова садился рядом с Федором Федоровичем. «Да скоро ли деревня?» — спрашивал я себя в нетерпении и вглядывался в даль, не появятся ли за увалами и остистою кромкою хлебов привычные уже глазу контуры соломенных крыш (как в Чигиреве, отчасти и в Красной Дóлинке), но впереди ничего не было видно. Открылась же взгляду деревня неожиданно. Она лежала в низине, подковкою, притулившись к заросшей тальником речке, и еще более, чем Красная Дóлинка и Чигирево, показалась мне живописной и уютной. Я думаю, умели же наши предки выбирать места для житья! Дорога, словно пригибаясь под тяжестью подступавшего к ней пшеничного поля, спускалась наискосок по склону к одинаковым теперь издали избам, и мне хотелось сказать нашему кучеру Мише: «Стой!» — выйти на обочину и хотя бы с минуту полюбоваться всей открывшейся панорамой засеянных хлебами взгорий, но я сдерживал в себе это желание, подавлял, как и все эти дни подавлял представлявшуюся неуместной и мальчишеской радость, боясь, что у Федора Федоровича вдруг возникнет мнение, будто я несерьезный, невыдержанный человек; я даже, по-моему, переигрывал в этом своем старании скрыть возникавшие чувства, глядел на все, сощурившись, и только, может быть, потому, что для Федора Федоровича уже привычным было мое молчание (но, думаю, скорее всего, ему было просто не до меня, он сидел в эти минуты, склонившись, свесив с телеги ноги, и, наверное, свои, радостные ли, нерадостные мысли одолевали его), он не заметил моего «мрачного» вида; когда телега, протарахтев по бревенчатым ребрам деревянного моста, начала втягиваться в широкую долгушинскую улицу, как ни в чем не бывало (словно и не ехали мы по-

следние полчаса молча) посмотрел на меня и сказал:

«Ну вот и прибыли, Алексей».

Да я и сам видел и понимал, что прибыли, и оттого, что деревня понравилась мне еще издали, но она не могла не понравиться, потому что в том возбужденном состоянии, в каком я находился, куда бы ни приехал (дело тут не в Долгушине), одинаково радовался бы красоте того места, где предстояло жить и работать; и еще более от сознания, что все эти низкие с завалинками избы, жердевые ограды с росшею вдоль крапивой, палисадники с кустами давно отцветшей сирени станут мне такими же близкими, как и та городская улица, двор и дом, где я родился, рос и где теперь еще ничего не ведавшие о моем счастье жили своей обычной, будничной жизнью братишка, сестренка и мать («Может быть, сегодня они уже получили письмо», — мечтательно думал я, представляя, как огрубевшие материны руки, чуть подрагивая, разрывают конверт), словом, от всех этих навалившихся впечатлений я снова и снова волновался и, чтобы не выказывать этого волнения Федору Федоровичу, продолжал хмуриться и то и дело, словно загоразживаясь от яркого солнца, прикрывал ладонью глаза. Я многое уже знал о Долгушине, так как Федор Федорович каждый день исподволь подготавливал меня к жизни и работе в этой деревеньке, рассказывал и о здешних землях, и о людях, и даже о том, что за десять с лишним лет, как он сам знает Долгушину, кого бы ни назначили бригадиром, мужчину или женщину, неизменно верховодил всем в деревне старый и молчаливый мужичок себе на уме, Степан Филимонович Моштаков. «Сейчас-то бригадиром его сын, Кузьма, так что полегче, спору нет, все заодно, а бывало, э-э, как бывало: пустит волну по избам, и — стучись, не стучись, ничем никого в поле не выгонишь, а с него какой спрос? Ухватить не за что, а фундамент бетонный: инвалид гражданской войны, до самого Байкала Колчака гнал. Но... это ведь я так, к слову. А в общем, он здоровый старик, знаете, как это раньше говорили, на правде стоит, и тут хоть что, не уступит. С кем-кем, а с ним не ссорятся. И председатель с ним считается, да и Андрею Николаевичу он же — тещь!» Может быть, если бы не это заключительное «тещь», что сразу напомнило мне ночной двор, телегу и бородатого старика, вносившего мешок с мукой на застекленную веранду, я бы не обратил особого внимания на слова Фе-

дора Федоровича и не насторожился; но я не стал говорить ему, что уже видел этого «мужичка себе на уме», бородатого тестя заведующего райзо, потому что — да, собственно, почему я должен был подозревать в чем-то Андрея Николаевича или того же, пока еще вовсе не знакомого мне Степана Филимоновича Моштакова? «Бред, чепуха, глупость», — говорил я себе и теперь, когда ехали по широкой Долгушинской улице, может быть, и не вспомнил бы ни о чем, если бы Федор Федорович вдруг, чуть подтолкнув локтем, не показал бы на избу Степана Филимоновича и не проговорил бы при этом: «Видишь, как прочно, вся корнями в земле». Низкая, как, впрочем, и другие соседские избы, она действительно казалась вросшей в землю; впечатление это усиливалось еще тем, что прямо от избы, занимая собою почти половину двора, тянулся тоже старый, под соломой, с потрескавшимися бревенчатыми стенами сарай (это была, как я потом выяснил, конюшня, где отстаивались пригоняемые на лечение к Степану Филимоновичу кони, в основном председательские, из разных, даже отдаленных деревень, и в основном со сбитыми от седел спинами); в остальном же — жердевые ворота, изгородь, ставни, колья с поржавевшей проволокой, отбивавшей палисадник от дороги, — все было как у всех, ничем не выделялось, не выпирало ни заметным достатком, ни скудостью. «Врос корнями, ну и что ж, это и хорошо, что врос», — про себя проговорил я. Веснушчатый внук сторожа Никиты между тем подворачивал уже телегу к дому Пелагеи Карповны, овдовевшей в войну солдатки, о которой, так как она, по выражению Федора Федоровича, была здесь, на Долгушинском испытательном участке, всему голова, я тоже уже много знал: и что она исполнительна, может вести на худой конец даже записи в тетрадях, и что живет с дочерью, тринадцатилетней Наташей, и что по договору сдает комнату сортоучастку под контору и лабораторию, конурку, как, уточняя, заметил Федор Федорович, и что в конурке этой, собственно, обитали все мои предшественники (последний, Смирнов, вместе с женой и ребенком), и что теперь придется в ней жить мне.

«Пока не оженят», — добавил он в шутку.

«Да что вы, Федор Федорович».

«А что? Не зарекайтесь, ваше дело молодое, а я бы и рад, опять же, корни».

«Об одних с осуждением: корни в земле, — подумал я, посмотрев на Федора Федоровича, приготовившегося

уже слезать с телеги, — а другим: вращай корнями!» Даже тогда, видите, я заметил эту противоречивость, хотя и не вполне понимал, какой смысл был заложен в его словах; теперь-то знаю — Федор Федорович правильно чувствовал жизнь и людей, но тем неожиданней и необъяснимей представляется, как он повел себя, когда пришлось лицом к лицу столкнуться сначала мне, затем во многом и ему со Степаном Моштаковым; он как бы вдруг сделался неузнаваемым, словно ничего не слышал и не видел, жил за глухой стеной, но об этом позже; через двор и сенцы мы вошли в избу; Пелагеи Карповны в комнатах не было.

«Может быть, на огороде», — высказал предположение я.

«Это вы... что, двери открыты?»

«Да».

«Здесь вообще дверей не запирают. Братъ нечего, — с усмешкою добавил он. — А если серьезно, то кто же в это летнее время в деревнях дома сидит? Дочь, может, и на огороде, но хозяйка, конечно же, в поле. А заехали мы сюда по пути, все равно мимо едем, да и комнату вашу заодно посмотрим».

Федор Федорович открыл боковую дверь, и мы, переступив через высокий порог, очутились в маленькой с одним квадратным оконцем комнате. Думаю, что сейчас комната показалась бы мне убогой, неудобной и я бы, наверное, возмутился: «Куда вы меня привели!» — но тогда, сами понимаете, мне нравилось решительно все, я не думал об удобствах; я подошел к сколоченной из досок кровати и потрогал ладонью жесткий, набитый соломой матрас («Наше имущество, — заметил Федор Федорович, — можете пользоваться»), оглядел столик и табуретку, что стояли у окна, и полки вдоль стены, на которых валялись покрытые пылью старые тетради и снопики колосков разных сортов прошлогодней пшеницы, и, так как вид у меня был мрачный (я по-прежнему, чтобы не вызывать мальчишеской радости, хмурился), Федор Федорович, желая подбодрить меня, проговорил:

«Ничего, на окно Карповна занавесочку повесит, все здесь приберет, она женщина аккуратная, все будет хорошо».

«Конечно», — подтвердил я.

«Хоть такая, а комната, тепло, и крыша над головой. А поди-ка сейчас там, где прокатилась война, на Смоленщине, Брянщине...»

«Да, конечно, Федор Федорович».

Когда мы вышли из избы, во дворе, почти перед самым крыльцом, стояла худенькая девочка, которую Федор Федорович тут же назвал Наташей. Она окучивала в огороде картошку и, увидев, что к воротам подъехала подвода и что кто-то поднялся в избу, пришла посмотреть кто и теперь, узнав Федора Федоровича, улыбалась ему из-под завязанного матрешкой платка. На плече она держала тяпку с длинным и неровным черенком.

«Где мама, Наташа?» — спросил Федор Федорович.

«В поле. Васильки по пшенице полезли, так она...»

«На каком поле? За балкой? Или тут, за током?»

«Говорила, за током».

«Ага, ну понятно, поехали, Алексей».

Сказав это, Федор Федорович зашагал к телеге; я же еще, может быть, несколько мгновений, не двигаясь, смотрел на Наташу. Я не знал, разумеется, тогда, что передо мной стояла будущая моя невеста и жена, а смотрел только потому, что улыбающееся личико ее, густо усыпанное веснушками, показалось каким-то будто особенным, не похожим на все другие, что я видел прежде; мне так и сейчас кажется, что было в Наташе, в той ее улыбке, в слегка удивленном выражении детских глаз, во всем облике, как она стояла, босая, в стареньком, перешитом с материнского плеча ситцевом платье, что-то особенное, хотя что именно, сказать не могу. Но, может, ничего особенного и не было, а все я придумал позднее, спустя много лет, когда однажды вдруг встретил ее, уже студентку педагогического института, у себя в городе и, пораженный встречей и тем, как выглядела Наташа (веснушек на лице ее уже не было), целый вечер затем думал о ней и вспоминал Долгушино, и вот тогда-то впервые пришло мне в голову: «Так ведь еще там... конечно же, было в ней что-то особенное!» Но что? Может быть, мир доверчивости и простоты, какой живет в детях и какой был в Наташе особенно заметен, щедро светился в глазах, улыбке, даже веснушках и в том, как подвязан платок? Мир этот, светясь, делал и ее и все вокруг одухотворенным и прекрасным, во всяком случае, так мне казалось, и это, наверное, естественно, потому что — ведь вам тоже все представлялось одухотворенным и прекрасным там, в только что освобожденных Калининках, когда вы сидели рядом с Ксеньей и чувствовали ее доброту; может, в этом и есть разгадка, что я тоже, как и вы, прикоснулся к счастливому и доверчивому На-

ташиному миру и потому-то на мгновение задержался возле нее? На лбу ее, на щеках, у губ проступали маленькие капельки пота. Я ничего не сказал ей, прошел мимо и лишь у ворот задержался и оглянулся: Наташа все еще стояла посреди двора, держа на плече тяпку, и смотрела на нас; веснушчатое лицо ее, затененное козырьком платка, казалось коричневым.

«Славная девочка», — проговорил Федор Федорович, словно улавливая мои мысли.

Я лишь согласно кивнул головой, потому что мне действительно все казалось прекрасным: и Федор Федорович, и широкая долгушинская улица, и серый мерин, тащивший телегу, и оставшаяся за жердевыми воротами, во дворе, худенькая Наташа, и я снова благодарил судьбу, радуясь в душе такому неожиданно счастливому началу. «Ночь, две, десять, месяц не буду спать, но покажу, на что я способен», — думал я. От волнения ли, или оттого, что мне и в самом деле надоело сидеть в телеге, я спрыгнул и пошел по обочине, приотставая и оглядываясь; когда поднялись на взгорье, на виду у работавших на току людей (ток еще только готовили к приему зерна) я стоял и смотрел на опять казавшиеся издали одинаковыми избы Долгушина, охватывая взглядом сразу всю подковкой жавшуюся к излучине реки деревеньку, и, повернувшись, смотрел на едва различимые сверху делянки сортовой пшеницы, к которым уже подъезжала телега с Федором Федоровичем, и я не помню в своей жизни другой такой минуты, чтобы еще когда так сильно испытывал чувство хозяина и чтобы казалось, что весь мир, отзывчивый и добрый; лежал вот так у моих ног.

Я люблю Долгушино; день за днем эта небольшая, всего в тридцать дворов деревенька открывала для меня то часто незаметное со стороны, глубинное течение крестьянской жизни, где труд, веселье, заботы и радости не замыкаются отдельно в каждой избе и не отгорожены межами от соседних сел и деревень, а лежат в русле общей жизни народа, как его неотъемлемая часть; несмотря на отдаленность, оторванность и казавшуюся глушь, несмотря на *обозримую* как будто узость цели — определить для районирования (и того меньше: лишь для этих взгорий) сорт пшеницы, — я не только не чувствовал эту, если так можно сказать, узость, но напротив, и в себе, и в окружающих, в долгушинских колхозниках видел

лишь широту и щедрость, и жил сам их думами — «Для общего блага!» — и вставал до зари, и ложился за полночь, и ни секунды не колебался, что делаю то, что должен делать на земле каждый человек. Вместе с чашкою парного молока, еще отдающего живым теплом и пахнущего травами низинных приречных лугов, той самой чашкою, что ставила передо мной Пелагея Карповна, вместе с ломтем серого, печенного на поду хлеба, который тоже, казалось, дышал запахами полей, ветра, солнца, входила, вливалась в мою комнату, превращаясь в радостное чувство, жизнь, и все представлялось удивительным, необыкновенным и в то же время простым, как счастье; я не могу забыть тех дней и, наверное умру с ощущением того, что они уже неповторимы и безвозвратны, как безвозвратно ушедшее время. Мне нравилось смотреть, как втягивалось по вечерам в деревенскую улицу стадо, неся над собою легкое облачко пыли, и вместе с тем, как, растекаясь по дворам, таяло стадо, оседало и таяло пыльное облачко, а в быстро опускавшихся сумерках зажигались огоньками летние печки, и белый кизячный дым, как предвечерний туман, стелясь над капустными грядками и картофельной ботвой, спускался по огородам к реке, к темному силуэту старой, с замшелыми дощатыми стенами мельнице; по мосту в село, плюясь синими кольцами и оглушая окрестность гулом и лязгом, вползал трактор с прицепной тележкой, а следом, уставшие за день, понуро тянули арбу волю, и словно в противоположность этому замедленному темпу (как нащупанный на руке пульс), неожиданно, как он всегда любил, на рысях въезжал в деревню на резвом рыжем жеребчике бригадир Кузьма; за околицей, в поле, он ездил обычно тихо, не запаривая коня, но едва только равнялся с первыми избами, вскидывал в воздух плетъ и, чуть привстав на стременах, пускал коня рысью, иногда в намет, и не для того, что так было нужно, а чтобы, как я теперь думаю, выказать лихость и подчеркнуть свою, пусть маленькую, всего лишь бригадирскую, но власть над людьми. Как раз напротив своей избы он на ходу соскакивал с мягкого, лоснившегося кожаными подушками казачьего седла и, стоя посреди улицы и расставив ноги, смотрел, как рыжий жеребец, позвякивая пустыми стременами, все той же рысью или наметом мчался дальше, на противоположный конец Долгушина, к бригадирской конюшне, где конюх, одноногий Ефим Понурич, уже открывал для него лишь недавно залатанные лозою пле-

тенные ворота двора. Я наблюдал это каждый день, чувствуя и медлительность, и пульс, и вместе с подростками и засидевшимися в девках невестами, как будто уже и меня привычно тянуло на звук гармонии, по лунной стезжке шагал к запруде и старой мельнице, где луг и дощатая стена были и кинотеатром и клубом, а проще — тем местом, где до полуночи пелись частушки и лузгались семечки; когда приезжала кинопередвижка, то белый экран натягивали прямо на дощатую стену, и тогда к мельнице сходилась почти вся деревня; электрических фонарей не было; не было и телеграфных столбов, это ведь теперь не найдешь села, где бы не горели яркие лампочки, а тогда, после войны, в тысячах деревень, в том числе и в Долгушине, только мечтали об этом, и единственным ночным фонарем на лужайке была луна, круглая, большая, как она мне запомнилась, она обычно как бы катилась по гребню старой, полусгнившей мельничной крыши. Но для веселья, как, впрочем, и для жизни, важно не освещение, а душевный настрой, тот самый *мир* — я опять вернусь к вашему термину, — какой переполняет тебя в данную минуту и как бы изменяет вокруг формы и краски; то грубое и невзрачное, что при ярком свете бросалось бы в глаза, стусевывалось, терялось, сливалось в одну ласкающую взгляд и отнюдь не холодную, но приятную, теплую лунную синь, и в этой сини лица девушек и ребят казались какими-то будто другими, чем днем, красивыми, даже голоса как будто звучали неузнаваемо, и я каждый раз возвращался в дом Пелагеи Карповны возбужденным и довольным тем, как складывается жизнь. «Ну и что ж, — рассуждал я мысленно, — что мать вместе с братом и сестренкой отказались приехать? Может быть, они и правы, жить им все равно сейчас негде, а деньги я высылаю и буду высылать, пока... пока не женюсь», — с ухмылкой добавлял я, вспоминая при этом слова Федора Федоровича. В какие-то дни (в ту же первую осень и зиму) я серьезно подумывал о женитьбе и даже приглядывался то к тихой, всегда державшейся скромно дочери Ефима Понурина Людмиле, провожал ее, а зимой, когда конюх заколол бычка и я был приглашен на пельмени, сидя рядом с Людмилой и посматривая (как и вы на Ксеню) на ее серые, но почему-то не серебрившиеся волосы (хотя над столом также висела керосиновая лампа), готов был сделать предложение, но не сделал ни в тот вечер, ни потом, и не от нерешительности, а оттого, полагаю теперь, что хотя она

и была хороша собой, но выглядела уж слишком застенчивой среди других долгушинских девчат. То как бы манила своим веселым нравом бригадная учетчица Нюра, светловолосая, с круглым, как у Таисьи Степановны, лицом (она была родственницей Моштаковым, потому и похожа на Таисью), не раз я провожал и ее, но и это увлечение закончилось, в сущности, ничем, и опять же не от нерешительности, а просто однажды я застал ее на току, за ворохом мякины, обнимающуюся с каким-то приезжим городским шофером, который по наряду возил колхозное зерно на элеватор. Подумывал и о дочерях Федора Федоровича (породниться с таким человеком было желательно и лестно; да и сам Федор Федорович, как теперь, вспоминая подробности, разумею, не только был не прочь отдать за меня любую из своих дочерей, но хотел этого, особенно в первую осень и зиму, потому-то и приглашал часто к себе, а когда приезжал в Долгушино, непременно привозил с собой либо Викторину, либо среднюю, Клашу, либо самую меньшую, которой, впрочем, шел уже восемнадцатый год, Фросю), но в то время как издали можно было еще смотреть на них, вблизи, рядом, короткошее и ушастые, как отец, они казались некрасивыми, и я невольно отворачивался или опускал глаза. Были и еще девушки, что так или иначе привлекали внимание, и только Наташа, худенькая и остроглазая дочь Пелагеи Карповны, даже отдаленно не вызывала никаких подобных мыслей, я смотрел на нее как на маленькую девочку, и нравилась она мне только за живость того по-детски наивного ума, какой всегда бывает привлекателен для взрослых своей простотою и ясностью; мне было приятно, когда она входила в мою небольшую комнату, садилась за стол у окна и помогала пересчитывать колоски и зерна и вязать снопики. Я говорил ей, показывая колосок и глядя на улыбающееся юное личико, на узкую полоску белых зубов под розовой губою:

«Это — Эритросперум, 2».

«Я знаю».

«А это — Мелянопус, 28».

«Я знаю, дядя Петя говорил».

Дядя Петя был тот самый мой предшественник, которого перевели работать заведующим на Озерный сортоиспытательный участок.

«А вот — Остистая, 103».

«Знаю, из твердых сортов, макароны делают».

«Да ты все знаешь! Прямо-таки агроном! Хочешь быть агрономом?»

«Нет».

«Почему?»

«Не знаю».

«А кем ты хочешь быть?»

«Не знаю, — снова отвечала она. — У вас два зернышка упали!» — восклицала она и тут же лезла под стол искать эти упавшие зерна.

Иногда она вдруг прерывала разговор словами: «А мама сегодня вареники с картошкой и луком обещала», — и в голосе ее при этом было столько откровенной детской радости, столько счастья, что оно, казалось, переливалось через край, и бывал ли я голоден или сыт, но этот ее маленький детский мир счастья как бы проникал и в меня, и я тоже незаметно для самого себя начинал жить предвкушением чудесного ужина, когда Пелагея Карповна, поставив на стол дымящиеся вареники, скажет свое обычное: «С подсолнечным? Или со сметаной?..» Я ведь и теперь, может быть в память тех Долгушинских пиршеств, временами прошу жену сделать на обед вареники с картошкой и непременно с луком, чтобы — по-деревенски, но никакой радости, разумеется, не вспыхивает на лице Наташи (я не знаю, в каком свете ей вспоминаются те детские дни), а, напротив, даже будто недовольно она говорит: «Ты серьезно? Ну хорошо, сделаю». Когда же все бывает готово, стоит на столе и мы всем семейством сидим вокруг, — сквозь тот самый пар, исходящий от вареников, как сквозь дымку, я вижу то ее счастливое выражение и, знаете... Но — я опять забежал вперед? Я люблю Долгушино; но не только за эту видимую радость, какую испытывал, день за днем как бы втягиваясь в ритм приглушенной деревенской жизни, и не только за те изумительные закаты, которыми можно восхищаться, лишь будучи в поле, когда вся даль до горизонта перед тобою словно вот, на ладони, и по сжатому клину, по колкой, торчащей, как ежик, стерне, как от зеркальца к зеркальцу, от золотистого стебелька к стебельку бегут к ногам, слабея и растворяясь, багрово-красные, выплеснутые где-то на самом гребне взгорья краски приближающейся ночи, или рассветы, прохладные осенние утра, когда над током еще будто стоит сухой хлебный дух минувшего знойного полдня, но уже холодными сырыми струями течет с низин над оголенной черной землей предвещающий ранние заморозки воздух,

и все: брезенты на бунтах зерна, отвесный ворох мякины, черенки лопат, ведра, капоты и стекла ночевавших машин, и та самая золотившаяся с вечера стерня — все как бы отпотеваает, покрывается капельками росы, и тогда лучше не сворачивай с тропинки, потому что ноги сейчас же будут мокрыми и придется снимать ботинки под насмешливыми взглядами принявшихся уже перелопачивать зерно женщин и затем сушить носки (как это было со мной), — нет, не только за это, что можно вот так разом *обозреть*, но, главное, за тот постоянный душевный настрой, за мысли и чувства, наконец, за то беспокойство, не за себя, а за общее дело, какое постоянно рождалось и жило во мне, поднимало чуть свет с постели и уводило в поле. Сперва это были, как я бы назвал их теперь, должностные заботы. Я ездил в МТС и затем договаривался с бригадиром Кузьмой, чтобы вовремя, пока еще не начал осыпаться хлеб, прислали на делянки комбайн, и объяснял, хотя все и без меня давно знали («Ваши делянки вот где у нас, на шее», — говорили мне в МТС; те же слова повторял и Кузьма Степанович), как важно не потерять ни одного зернышка, потому что только тогда можно определить, какой сорт лучше растет и дает большие урожаи на здешних землях; потом надо было следить, чтобы каждая делянка убиралась отдельно, отдельно взвешивалось зерно и складывалась солома, и это отнимало уйму времени, так что в самый разгар страды я даже ночью не уезжал с тока, а когда все было сжато, провеяно и свезено, явились новые хлопоты — вспашка под зябь, разбивка делянок и сев озимых, и опять надо было уже по дождю, по слякоти, мчаться в МТС, а затем к бригадиру, Кузьме Степановичу, кланяться ему в ноги и просить трактор с плугом и прицепную сеялку. И в довершение ко всему — однажды в полдень (первой увидела его Пелагея Карповна; она сказала, разогнув спину: «Вона, комиссия жалует!») на телеге, которую привычно тащил все тот же неизменный серый мерин, приехал Федор Федорович; но на этот раз он не стал проверять глубину заделки семян; когда я подошел к нему, чтобы поздороваться и доложить, что сделано и что еще предстоит сделать, он, весело кивнув в сторону телеги, сказал: «Ну, принимай!» — и сам первым взялся за углы наполненного под завязку зерном мешка. Это был тот самый *вечный* сорт пшеницы, над выведением которого работал Федор Федорович. Признаться, к тому времени, занятый своими хлопот-

тами, я как-то забыл об этом некогда поразившем меня, смело задуманном эксперименте, да и Федор Федорович все эти месяцы молчал, и вот, вдруг — я стою возле развязанного мешка и перебираю зачерпнутые в ладонь поющие, словно пересушенные, красновато-коричневые зерна.

«Н-ну?»

«Это же здорово!»

«Посмотрим, посмотрим...»

«Просто не хватает слов сказать, как это здорово!»

Такой ли или, может быть, другой, лишь похожий на этот, состоялся тогда у меня с Федором Федоровичем разговор, я поздравлял и восторгался, видя, что это нравилось ему, хотя восторгаться, собственно, было еще преждевременно и нечем; чтоб вы уж знали — только всходы и появились хорошими, и полянка с вечным сортом пшеницы ушла под снег, в зиму, радуя свою буйною зеленью, но весной словно кто заколдовал ее: так и не пошла пшеница в стрелку, и я разочарованно смотрел на заросшую будто травую полосу, и Федор Федорович тоже был разочарован и расстроен, хотя и говорил: «Ничего, не все сразу, начнем сначала. Начнем и завершим!» И он действительно, по-моему, начал потом все заново, но только точно сказать не могу, потому что к тому времени я уже уехал из Долгушина; а с осени, что ж, повторяю, все было торжественно, и Федор Федорович сам встал за сеялку, когда трактор первым заходом пошел по жирной, черной, отбитой межою от других полянке, а потом пригласил Андрея Николаевича посмотреть на свое детище, когда закустились зеленя, и мы около часа втроем ходили вокруг, присаживаясь на корточки и разглядывая узкие и острые, словно собранные в пучки листочки, и снова похвалы, теперь уже от заведующего райзо, сыпались на Федора Федоровича. А вечером в доме заведующего сортоиспытательным участком шумело застолье, на которое были приглашены и председатель Чигиревского колхоза Илья Ющин, и парторг Подъяченков, и даже долгушинский бригадир Кузьма Степанович, и я чувствовал себя, помню, именинником, как и Федор Федорович, так как на моем же участке, на Долгушинских взгорьях, испытывался этот суливший всем, даже колхозу, славу сорт пшеницы. Вы улыбаетесь? Я тоже. Но вместе с тем думаю, что ничего осудительного в том стремлении и в тех чувствах не было; они и сейчас мне кажутся неотъемлемыми и необхо-

димыми, как воздух; я не только восхищался Федором Федоровичем, но искал, что бы мог сделать сам — не в будущем, нет, а теперь! — и этим «что бы» явилась карта севооборота Долгушинских взгорий, которая показала, когда стал смотреть ее, устаревшей, да и неверной, и я решил составить новую.

Когда я сказал об этом Федору Федоровичу, он, однако, лишь заметил:

«Хлопотное дело».

«Но...»

«Попробуй, а чего же, может, и выйдет. Оно ведь и в Чигиреве надо бы давно пересмотреть карту севооборота».

«Потом и в Чигиреве».

«Дай бог, но чтобы... основное наше дело не пострадало при этом, понял?»

«Понял, Федор Федорович».

Я разговаривал затем и с Андреем Николаевичем, и с председателем колхоза Ильей Ющиным, и с парторгом Подъяченковым. Заведующий райзо, как это было — теперь-то могу судить! — привычно и свойственно ему преувеличить все, восторженно воскликнул: «Великое дело начинаешь, Алексей, нужное для района!» — и по-отцовски ласково, как он умел (или просто это так казалось тогда?), положил широкую и мягкую ладонь на мое плечо. Ющин же, помню, долго расхаживал по своему председательскому кабинету, прищипывая языком и обдумывая, что принесет это колхозу, какую выгоду и сколько излишних забот («Шутка сказать, — как бы сам с собою то и дело рассуждал он, — нарежь заново все поля!»), и, может быть, не дал бы согласия, если бы не парторг Подъяченков, которому, вероятно, было просто жалко меня и который сказал: «Так ведь все сперва будет на бумаге! Приглянется, увидим пользу, примем, не увидим — не примем. Пусть начинает, чего перечить», — и велел выдать старые карты колхозных земельных угодий (пока, разумеется, только Долгушинских взгорий). В тот же день я съездил в Красную Дóлинку, купил кирзовые сапоги и брезентовый плащ с капюшоном, тот самый, что теперь так памятен мне, и, вернувшись в Долгушино, наутро — это было воскресенье, — едва занялась заря, отправился в поле. Вместе со мной пошел тогда и бригадир Кузьма Степанович. Вообще, первые полторы-две недели он помогал охотно, даже давал своего коня, когда нужно было побывать на самом отдаленном участке,

но затем отношение его и ко мне и к делу вдруг изменилось, он насмешливо щурил глаза и говорил: «Сапоги не казенны, попусту грязь месить, все одно ничего не выйдет», — и конь оказывался теперь то неподкованным, то мокрец выступал, и оттого опять же нельзя было седлать коня, и я уже не обращался с просьбой, а ходил по взгорьям пешком и возвращался домой усталым, продрогшим, но довольным. Изменившемуся отношению Кузьмы Степановича я не придавал тогда еще значения, хотя и было неприятно это. «Да что он понимает? — про себя размышлял я, не желая думать о нем ничего дурного. — По старинке, привычно, как деды завещали? А если все-таки *выйдет*, тогда что?» Я даже оправдывал его, считая, что и сам на его месте поступил бы, может быть, не лучше, но не так наивен и прост был Кузьма Степанович, как я рисовал его в своем воображении, а главное, не так прост был его отец, Степан Моштаков, этот бородатый и еще не сгорбленный старец, что, по словам Федора Федоровича, верховодил всем в деревне. Он наставлял сына: «Чево это ты позволяешь мальцу по твоим пашням рыскать, гляди, натычет палок в колеса, тогда поздно будет. Подсекай, бросай под ноги ямы, ан их перейтить надо, полазит-полазит, да и притихнет. Гляди, Кузьма, кабы поздно не было!» — и наговоры эти настораживали бригадира; это была, в сущности, первая струйка той холодной, остужающей волны, которая затем хлестнет из-под моштаковской подворотни, было первое столкновение, заочное, что ли, и даже не столкновение, потому что я хотя и видел старика, и сразу признал в нем тестя Андрея Николаевича (разумеется, вспомнил при этом о мешке с мукой на остекленной веранде), но только поздоровался и ни о чем не разговаривал, и потому, конечно же, не столкновение, а просто односторонняя, будто беспричинно, так, на всякий случай, возникшая у старого Моштакова неприязнь ко мне, и он уже давал ход той своей неприязни. Но я не знал ничего, равнодушие бригадира Кузьмы оборачивалось во мне лишь еще большим желанием делать, добиваться; и до самой поздней осени, уже по утрам дорога схватывалась синими ледяными корками, а на взгорьях царствовал ветер, захлестывая стынувшие поля дождем и мокрым снегом, я все еще целыми днями бродил по взгорьям, изучая долгушинские земли и прикидывая в мыслях будущие клинья севооборота.

Иногда я спрашиваю себя, что поднимает солдат

в атаку, какая сила заставляет бойцов преодолевать то расстояние между своими и вражескими окопами, где на каждом метре подстерегает их смерть? Я не был на фронте, как вы, и потому не могу сказать, что это за сила, но уверен, что она есть и что ее нельзя вместить в какое-либо одно, пусть даже самое возвышенное и емкое понятие — долга ли, чести ли; сила эта живет постоянно и властвует над людьми, проявляясь в иные времена, как, например, в военные годы, более отчетливо, в иные, как теперь, в мирных буднях, менее отчетливо, но она, знаю, есть, единая, замечательная и неодолимая, заложена в каждом из нас, как часть общего движения людей к добру и счастью, иначе чем бы я мог объяснить теперь ту свою долгушинскую, так назовем ее, устремленность, то старание, с каким составлял лично мне, собственно, ненужную карту севооборота? Работа эта не входила в мои обязанности, я не получал за нее ничего, кроме разве недовольных взглядов и даже как будто упреков со стороны Федора Федоровича, который при встречах непременно говорил: «Дались же вам севообороты!» Но я лишь улыбался на эти его слова, потому что мне приятно было их слышать. «Да, дались», — про себя повторял я, мысленно представляя, какую пользу принесет колхозу новая разбивка полей, и заранее радуясь своему будущему успеху. По утрам, когда выходил из дому, от стола ли, от печи ли, Пелагея Карповна со скрещенными на груди руками, или с полотенцем, или ухватом в руке (часто рядом с нею стояла Наташа, обнимая мать или выглядывая из-за нее, и тогда они вместе смотрели на мою слегка сгорбленную в брезентовом плаще спину), вдруг произносила: «Чего это вы так мучаете себя, хоть бы денек дома посидели», — и я на секунду останавливался у порога, чтобы дослушать, и опять улыбался, потому что я-то знал, что не мучаюсь, выходя по дождю и ветру в поле, а, напротив, горжусь тем, что у меня есть такая возможность *делать* это, делать ради них же, Пелагеи Карповны и Наташи, хотя кто они мне? — просто добрые знакомые, у которых живу, делать ради всех, потому что все — люди, и хотят так же, как и я, достатка и счастья. Может быть, именно за эти теплые чувства больше всего я и люблю Долгушино? Я ведь не просто сейчас рассказываю, а как будто снова иду по узкой, с примятою дождем, блеклой травой меже, поднимаюсь на взгорья, а внизу, заветренное, с потоками капель по стенам и крышам, с опустевшими черными огородами

и мокрыми все от того же дождя жердевыми оградами, с черной наезженной колеєю посередине улицы — вся открытая взгляду деревня; я смотрю на нее издали, и за сеткой дождя избы не кажутся мне сиротливыми и грустными; и вообще — ни в ту осень, ни весной, когда снова, едва стаял снег, я вышел в поля, на взгорья, ни разу не возникало в душе тяжелого чувства жалости ни к действительно сиротливо стоявшим избам, ни к земле, которая тоже теперь представляется мне сиротливой в совершенно нехозяйственных руках бригадира Кузьмы, ни к людям, что просыпались там, за бревенчатыми стенами, отдергивали занавески и хлопотали по дому, внося из-под навесов охапки сухого березового хвороста и скрипя прогибавшимися половицами (как под ногой Пелагеи Карповны, я наблюдал, когда она входила с полными ведрами или вносила все тот же заготовленный с лета хворост); меня радовал синий, курившийся над трубами дымок, я замечал лишь то, что говорило о жизни, и потому мне было все равно, ветер ли, набрасываясь ледяными порывами, откидывал и трепал полы плаща, барабанил ли дождь по капюшону, или летели, кружась, оседая и тая на мокрой и еще не остывшей с лета земле, белые крупные снежинки, я не отворачивался, не пригибался и не ежился, а, согреваемый одному мне понятным и ведомым, так, по крайней мере, казалось, чувством (мне хотелось весь мир одарить добротой, так же как мир этот одарил добротой меня), шагал, останавливался, вонзал лопату в мягкую пашню, брал пробу и опять шагал, заботясь лишь об одном, чтобы не ошибиться. Мне важно было знать и стоки вод, и то, как устывает поля снежный покров, где он тоньше, и потому весной раньше оголяется земля, и где толще; и надо было установить глубину пахотного слоя по склонам; когда же вечером, уже затемно, я наконец возвращался домой, еще роднее и дороже казалась деревня, избы с тусклыми огоньками в окнах, и еще большую радость и гордость вызывала во мне Пелагея Карповна, обычно встречавшая словами: «Господи, боже мой, ничтожки сухой не сыщешь! Надо же, так, да и просохнет ли за ночь все?» Она стояла посреди комнаты, и во взгляде (бывали случаи, когда только смотрела и молчала) каждый раз я ловил все то же выражение: «И чего это вы так мучаете себя?» — и улыбался, как и утром, потому что приятно было сознавать, *какими* и ради *чего* были эти мои, если так можно сказать, мучения. Из-за ее

спины, из-под руки выглядывала Наташа, и в детских глазах ее было то же *серьезное* выражение, как у матери.

«Хор-рошо», — говорил я, снимая и слегка стряхивая у порога брезентовый плащ.

«Да уж куда лучше, — отвечала Пелагея Карповна, делая шаг вперед ко мне и беря из рук плащ. — Господи! Хоть бы свою мать пожалел, ничегошеньки-то она не знает... Ноги, поди, тоже мокрые? Снимай сапоги и давай портянки: сушить, так уж сушить все, а то завтра и надеть нечего будет. Опять же пойдешь, не вытерпишь».

«Конечно, а как иначе?»

«Го-осподи!..»

Встав на скамейку, Пелагея Карповна принималась развешивать над печью брезентовый плащ и портянки, а я уходил к себе; когда же, переодевшись, снова появлялся в большой общей комнате, на столе уже дымилась миска с борщом и хозяйка, прижимая буханку хлеба к груди, широким и потемневшим от времени ножом отрезала ломоть за ломтем и складывала их рядом с миской. Я смотрел на нее, и мне казалось, что от того самого хлеба, который она нарезала, от борща, от всей той деревенской избы, в которой я теперь находился, веяло старой и мудрой крестьянской трудовой жизнью, и жизнь та была понятна, близка и дорога мне; дорога, разумеется, не стариною, а чувством удовлетворения, какое охватывает каждого, и не только в деревне, при виде результатов своего труда; для крестьянина же результатом этим был хлеб. Я садился за стол, брал ломоть и, подмигнув удивленно глазевшей на меня Наташе (или ей некуда было уйти, или уж так велось в деревне — откуда-нибудь из угла комнаты она непременно наблюдала за тем, как я сажусь и пододвигаю миску), начинал есть.

Я ложился в постель со спокойными и счастливыми мыслями, сознавая лишь одно, что жизнь — это труд, а труд — это радость, и засыпал сразу, не успев даже увернуть фитиль в керосиновой лампе (лампу часто тушила, заглядывая в комнату, Пелагея Карповна), а с наступлением утра — нет, не повторялся прожитый день и чувства не повторялись, а все как бы возникало вновь, все ощущения и думы, и я радовался, как будто и взгорья и деревню внизу видел впервые, и волновался, представляя, что еще сделаю для долгушинских колхозников. Но вместе с тем жизнь деревни, хотел я или не хотел, открывалась для меня не только этой своей ро-

мантической, что ли, стороною; я замечал, что что-то будто сковывало людей, будто какой-то тяжелый дух смирения витал над крышами, и незримые нити от изб тянулись к одному, но не к бригадирскому, а к Моштакова-старика подворью. Может быть, если бы не предостережение Федора Федоровича, что всем в деревне верховодит старый Моштак, главное же, если бы не та моя ночная встреча с бородачом во дворе Андрея Николаевича и не мешок с мукой, который старик вместе с Кузьмой внес и поставил у стены на застекленной веранде (странно, бывают вещи, которые запоминаются надолго; я постоянно помнил о мешке), что само по себе уже как бы вызывало подозрение, может быть, я бы и воспринимал все по-иному, и видел бы во всем, по крайней мере в ту осень, лишь почтение людей к пожилому и уважаемому на селе человеку; но я видел не почтение, а боязнь, да и сам, когда случалось проходить мимо моштаковской избы, испытывал тоже какое-то неприятное беспокойство, которое возникало вовсе не потому, что бригадир не давал коня; просто в застенной тишине за вечно задернутыми ситцевыми в горошек шторками, казалось, таилось что-то нехорошее, недоброе, чего нельзя было не чувствовать и не бояться.

Час третий

Но что было этим недобрим?

Что позволяло старому Моштаку, возвысаясь, стоять над людьми и держать их пусть в негласном, но повиновении?

Теперь-то я знаю что, и мне не нужно искать ни доводов, ни подтверждений, время научило понимать людей; но тогда, в девятнадцать, когда мир казался преисполненным добра, счастья и радости, далеко не все представлялось так, как оно было на самом деле. Ведь это мы только говорим, что жизнь в деревне открыта, что каждый у всех на виду; человек, которому нечего скрывать, везде одинаков, в городе или в деревне, но тот, у кого есть хоть малая от людей тайна, никогда не позволит так просто заглянуть себе в душу. Для долгушинцев Степан Филимонович Моштак был именно тем человеком, который знал *нечто* большее о делах долгушинской бригады, и это *нечто*, как поплавок, как раз и держало его на поверхности и делало жизнь значительной в глазах сельчан и безбедной. Он слушал, что о нем

говорили; ему как будто было безразлично, осуждали или восхищались его изворотливостью и умением жить, и никто в деревне не помнил, чтобы Степан Филимонович упрекнул кого-нибудь за злое о себе слово; казалось, он не был ни мстительным, ни злопамятным, но как раз это и настораживало людей. «Может, копит обиды, таится, складывает», — думали они, а таящийся человек всегда страшнее любого открытого недруга, потому что не предугадаешь, когда и что он сделает; а то, что Моштак мог сделать, знали в Долгушине все. К нему не только пригоняли на лечение коней (когда, с какого времени стал он конским лекарем, никто толком в деревне объяснить не мог; говорили, что чуть ли не с первого дня, как только образовался колхоз, но, может, на втором, третьем или четвертом году, когда в этом появилась особенная необходимость; и никто не знал, с чего все началось: перенял ли у кого это ветеринарное искусство, пока гонял с красной конницей Колчака по Сибири, или сам до всего дошел, заставила нужда, потому что, когда вернулся домой после всех сражений и надо было начинать хозяйство, привел откуда-то опаршивевшую и издыхавшую лошаденку и через год выправил ее так, что все удивлялись, и затем лошаденка эта еще работала в колхозе; в общем, с чего-то да началось все!), но привозили и сено и овес, и нередко приезжали сами председатели сговариваться то ли о цене, то ли еще о чем-то, конечно, приезжал и чигиревский, пили водку, гуляли до утра, но никто ни разу не слышал ни от самого Степана Филимоновича, ни от Кузьмы и ни от меньшей тогда Таисьи, ни от жены, Ильиничны, ни слова о том, что было говорено на вечере, и это тоже казалось сельчанам неестественным, дурным знаком. «Чего бы ему скрывать, ан нет, молчит», — рассуждали долгушинцы, и я теперь, после встречи с Моштаквым, тоже боюсь скрытых людей. Но, так или иначе, до войны, особенно когда в Долгушине существовал еще, правда, маленький, маломощный, но все же свой колхоз, Степан Моштак не был так приметен, о нем забывали за суетою дел, и лишь по вечерам, когда в правленческой избе собирались мужики, чтобы покурить от души и *обговорить* завтрашний день, все видели, как Степан Филимонович усаживался где-нибудь поближе к двери и до полуночи, пока все не расходились, молча сидел и слушал, как спорили между собою, каждый доказывая свою правоту, бригадиры. Он не вмешивался ни во что и возвращался домой один; выс-

матривал, ждал ли своего часа, или просто такой молчаливый характер (и отец его и дед, как вспоминали потом, тоже считались в деревне молчунами), он жил как будто и общию со всеми деревенскими людьми жизнью, и вместе с тем своею, обособленною, в которую невозможно было никому проникнуть, тем более познать ее; то ли он действительно любил свое дело, потому что часами мог обихаживать коня, по волоску перебирая гриву и смазывая парши или натертые седлами болячки, часами, не покидая стойла, чистил и гладил начинавшийся уже лосниться конский круп, или больше привлекала его оплата, но только когда выводил со двора игравшую, словно пружинившую на ногах вылеченную им лошадь, лицо его было равнодушно, взгляд спокоен, и, передавая поводья председателю или присланному конюху, коротко говорил:

«Хоть под седло, хоть под хомут».

«Ну, колдун! Ну, шельмец, что с конем сделал!»

«Бога благодари да свою голову, что ко мне привела».

Во время войны, когда в Долгушине, как и в других деревнях, остались только старики, женщины и дети, Степан Филимонович словно почувствовал, что наконец-то наступил его час, и начал мало-помалу активизироваться; но деятельность его опять-таки заключалась не в том, что он принял на себя бригадирство, что ли, или, отказавшись лечить коней, вместе со всеми пошел в поле; он выбрал для себя иную роль — благодетеля долгушинских овдовевших и еще не овдовевших солдаток, и хотя роль эта была чревата для него довольно нехорошими последствиями, но старый Моштаков всем своим молчаливым, тяжелым спокойствием старался внушить, что если и пострадает, то не за себя, а за народ, за всех тех долгушинских ребятишек и женщин, которые в снежные зимние вечера приходили к нему с мешочками за зерном и мукой и которые теперь все еще, уже по привычке, при встрече кланялись ему, а весной и осенью помогали садить или выкапывать и сортировать на огороде картофель. Ходила помогать и Пелагея Карповна вместе с Наташей, хотя свой огород был еще не убран, и сено не привезено на зиму корове, да и хворост, правда, заготовленный и связанный, тоже еще лежал в пойме, даже не вытянутый к дороге.

«Но у него-то откуда был хлеб?» — спросил как-то я у Пелагеи Карповны.

«Да вот был».

«Откуда?»

Она посмотрела на меня, заметно сомневаясь, говорить или не говорить правду, но потом, так как я уже считался как бы своим в семье человеком (за покладистый ли характер или еще за что, не знаю, но только так уж, по-матерински относилась ко мне Пелагея Карповна), присела напротив меня на табуретке и сказала:

«Хлеб колхозный, откуда еще».

«Так надо было его на трудодни».

«Неучтенный. А кабы числился в колхозном амбаре, разве Степан Филимонович мог бы им распоряжаться? Ведь тогда как было: все для фронта...»

«А он?...»

«А он прямо с тока подводы три, четыре, а может, и пять перегонял к себе. Ночью, тихо да незаметно, и с согласия, конечно, председателя, так думаю, потому что и с Чигирева приезжали к Степану Филимоновичу с запиской, а он отпускал — зерно ли, муку ли. А председателем-то был тогда этот, что в Красной Дóлинке сейчас, в райзо, Андрей Николаич. Худющий, чахотка его съедала, что ли, в армию оттого и не брали, а Таисья-то Моштакoва там, в Чигиреве, при клубе и при библиотеке работала. Вот и поженились, а зять тестю ужель не разрешит? А Кузьма-то их, сын-то, тот воевал. С первого дня, да и до последнего. У него и наград полна грудь».

«Так это же беззаконие, Пелагея Карповна!»

«Что он-то делал?»

«Они».

«Дело прошлое. Да и Степан Филимонович давал? Крохи, так, для поддержки, чтобы уж не одна картошка с капустой, а колхоз все равно два плана выполнял, так что работали, попрекать нечем. А Степану Филимоновичу, кого ни спроси, все скажут спасибо. Да и кто бы взял на себя такое?»

«А кто учитывал его? Может, он и налево... торговал?»

«Может, и торговал, кто знает, но в этом ли дело? Он, может, и сейчас возит и торгует, а кто скажет? Никто».

«Боятся?»

«Не то, чтобы боятся, а народ на добро памятен, вот что я скажу тебе, Алексей».

Разговор этот происходил вечером, за окном разыг-

рывалась ранняя декабрьская вьюга, ударяя в стекло пригоршнями снега и выстуживая избу; по дверному косяку от порога вверх шнурком ложилась голубоватая и пушистая изморозь. Прибежавшая со двора Наташа, сбросив валенки, забралась на печь; Пелагея Карповна, накинув на плечи старый, очевидно, еще мужний овчинный полушубок, пошла посмотреть корову: может быть, подложить ей в ясли сена, так как ночь, по всему, обещала быть еще морозней и скотине, чтобы согреться в нетеплом и наверняка уже теперь с заиндевелыми стенами коровнике, нужен корм; я же отправился в свою каморку (правда, тогда я не называл ее так, а, напротив, вы знаете, был доволен этой казавшейся уютной и не очень-то уж холодной комнатой) и, несколько раз пройдясь взад и вперед между топчаном и столом, что так и стоял (как при моих предшественниках) у окна, и затем, почистив фитиль керосиновой лампы, чтобы горела светлее, принялся было за свое привычное дело — составление карты севооборота. Почти каждый вечер с тех пор, как перестал выезжать в поля, я занимался обработкой и суммированием уже собранных материалов. Дело, однако, продвигалось медленно, да я и не спешил, так как хотелось все выверить поточнее, подсчитать, потому что понимал, что жизнь — это не учеба в техникуме и за ошибку здесь придется расплачиваться не просто огорчительной плохой оценкой в зачетной книжке; нет, я не мог и не должен был ошибиться; я сел за стол и в этот вечер с тем же чувством и желанием как следует поработать, но только что состоявшийся разговор с Пелагеей Карповной, особенно ее слова: «Народ на добро памятен», — как будто висели надо мною, мне было неприятно оттого, что я не ответил ей на эти ее слова, тогда как всего-навсего надо было сказать: «Да какое же это добро? Это зло. Самое настоящее зло», — и я мысленно и с сожалением, и в то же время так, будто все еще Пелагея Карповна сидела передо мной на табуретке, произнес эту представлявшуюся убедительной фразу. «Однако еще там, у Андрея Николаевича, тогда, я почувствовал это», — подумал я, и уже как доказательство, словно сама собою, всплыла в памяти картина, да она и не могла не вспомниться в такую минуту, как я спешил в ночи к запахнутым новым воротам заведующего райзо; на мгновение я как бы перенесся в то недавнее прошлое и с тем же недоумением, как тогда, там, в залитом лунным светом дворе, вдруг остановился посреди раскрытых на-

стежь ворот, а впереди, возле застекленной веранды, двое мужиков (теперь-то я ясно различал Степана Филимоновича и его сына, бригадира Кузьму) стаскивали с телеги мешок с мукой и вносили по ступенькам на крыльцо, где в кальсонах, белый, как привидение, стоял Андрей Николаевич. «Тьфу, черт!» — мысленно воскликнул я, желая отбросить это воспоминание. Откровенно говоря, мне не хотелось даже теперь, после рассказа Пелагеи Карповны, думать о заведующем райзо плохо. «Степан Моштаков... этот, да, наверняка, конечно! Но Андрей Николаевич-то... как же он мог? Он-то как?» Ни там, тогда, ночью, ни теперь, разумеется, я ведь не ставил перед собой цель разоблачить кого-то или что-то; да и разговор с хозяйкой возник лишь потому, что я видел отношение сельчан к старому Моштакову и видел отношение к нему Пелагеи Карповны; а если хотите, даже с первых дней жизни в Долгушине, правда, я еще не мог тогда объяснить себе почему, но чувствовал, что Моштаков — это зло деревни, а Пелагея Карповна своим рассказом в этот вечер как бы приоткрыла неожиданно край занавески, за которой таился со своим недобрым делом Степан Филимонович, и оттого — разве я мог не волноваться? Я встал и снова принялся ходить по комнате от топчана к окну (очевидно, тысячи людей делают это же, когда волнуются, и я, конечно, не исключение); я даже не думал уже о Моштакове, так как жизнь его, в общем-то, представлялась ясной, а в какие-то минуты все сосредоточилось на Андрее Николаевиче. Я видел его доброе лицо, слышал его голос, как он говорил: «Ничего, общайся, она, брат, хлебная», — и это никак не вязалось с тем, что он, приветливейший и гостеприимнейший человек («Так гостеприимно мог вести себя только тот, у кого на душе светло, чисто, ни пятнышка», — думал я), позволял когда-то тестю увозить с тока неоприходованное колхозное зерно — для каких бы ни было целей! «Да и какой же он туберкулезник?» — тут же восклицал я, опять представляя его розовое, дышащее здоровьем лицо, и мне казалось, хотя, повторяю, было противно думать об Андрее Николаевиче плохо, что и здесь, может быть, не все чисто. Достаток в его доме, на который нельзя было не обратить внимания тогда и который вызывал во мне радостное чувство, сытое круглое лицо Таисьи Степановны, праздничный стол, как он был накрыт и уставлен яствами, — все это тоже как бы виделось сейчас по-иному. «А в городе — хлебные карточки», — го-

ворил я себе, и все то, как я жил до приезда сюда, в Красную Дóлинку и в Долгушино, простаивая по утрам в очередях у хлебного магазина, как жили еще до сих пор мать, сестренка и братишка, возникало перед глазами; и жизнь Пелагеи Карповны и Наташи, протекавшая у меня на виду, жизнь многих долгушинских колхозников... Я знаю, все не могут одинаково жить, хотя мы и стремимся к этому, не могут уже потому, что неравноценен пока вкладываемый каждым труд, и я бы не стал сейчас делать каких-либо поспешных выводов; может быть, вообще не обратил бы на это особого внимания: но тогда — вот, были такие мысли, и *различие* жизни казалось, по крайней мере, несправедливостью, а главное, я видел, вернее, чувствовал, что *различие* это основывалось лишь на нехороших, недобрых, грязных делах. «Есть же мешочники, есть же, в конце концов, спекулянты, которые поставляют на черный рынок муку, торгуют ею из-под полы», — продолжал я, совершенно отходя уже от Моштакова и Андрея Николаевича и как бы охватывая мыслью целое явление, о котором не то чтобы знал понаслышке, но которое, в сущности, разворачивалось на моих глазах и с которым в силу определенных обстоятельств, сами понимаете — война! — я не мог не столкнуться; годы те и теперь памяты мне, а тогда все было особенно свежо в сознании и виделось ясно и живо. «Всю войну поставляли: на обмен, за вещи, за деньги! И поставляли, конечно же, не Пелагеи Карповны». Я ложился на топчан, затем вставал, ходил и снова ложился; во мне поднималось то тихое, спокойное, что ли, возмущение, когда кажется, что ничего недостойного будто и не произошло с тобой, не оскорблено самолюбие, не нанесена обида, и ничто будто не изменится в твоей завтрашней жизни, и вместе с тем есть и обида, и оскорблено самолюбие, и ты недоволен какими-то общими делами, тем, что не все понимают добро, хотя это так просто и всем было бы хорошо и счастливо жить, если бы понимали и следовали этому великому началу, наконец, тем, что есть зло и есть носители зла, и что — есть ли вообще что-либо человеческое у этих носителей зла? Рано ли, поздно ли, но человек не может не мыслить общими категориями; вероятно, это и есть час возмужания, когда ты вдруг осознаешь себя частицею общего, большого организма и движение и развитие общества затрагивают тебя так же, как собственный интерес. За дверью Пелагея Карповна заводила хлеба, и

я слышал, как она ходила по комнате, как просеивала над столом муку, хлопая ладонями (справа налево, справа налево) о круглые бока сита; белая занавеска на окне, казалось, шевелилась под порывами ветра, налетавшего на стекла, на всю бревенчатую стену избы, и я на мгновение приостанавливался, глядя на занавеску, на слегка начинавший мигать желтый язычок лампы и чувствуя, как понизу, будто сквозь щели половиц, просачивается и гуляет по-над полом холодный воздух, потом вдруг все это внешнее словно исчезало, переставало существовать, я не то чтобы в мыслях, а будто наяву, как это было в сорок втором, в сорок третьем, да и позднее, — маленький, в расклеванной от пояса бекешке и с шапкою в руках, я стою там, в городе, дома, перед столом, на котором лежит завязанный в белую простыню отцовский костюм, смотрю на этот белый узел и жду, что вот-вот, с минуты на минуту, постучит в дверь Владислав Викентьевич, старый, с синими трясущимися губами сосед, и мы пойдем с ним на сенной базар, на толчок, или, как теперь бы называли его, вещевого рынок, на котором, впрочем, не только продавали и покупали вещи, но было место, и Владислав Викентьевич хорошо знал его, где можно обменять пальто или костюм на муку, крупу, хлеб. Я стою одетый, готовый к выходу, и все, что только что происходило в комнате, еще живет перед глазами: как мать доставала этот костюм из сундука и, отвернувшись, чтобы я не видел, кончиком платка вытирала на-вернувшиеся слезы, как стряхивала нафталин и расстила-ла на столе белую простыню, а когда узел был готов, глядя на меня грустными, все еще влажными и слегка покрасневшими глазами, гладила по голове и говорила: «Только на муку, смотри, Владислав Викентьевич поможет. Слушай его. В крайнем случае на крупу, понял!» И я кивал ей и отвечал: «Да ты не волнуйся, мама, я все сделаю, как надо, ведь я уже взрослый», — а с дивана, притихнув, на время оставив свои полинялые и облезлые кубики, молча таращили на нас глазенки сестра и брат; мать ушла на работу, ее уже не было в комнате, и они смотрели теперь на меня. Я стоял здесь, перед столом, в долгушинской избе, но мне казалось, что я был там, дома, и сейчас, через секунду-две, послышится стук в дверь, я повернусь и пойду открывать Владиславу Викентьевичу; и я действительно как будто слышу и шум шагов под дверью, и затем стук, особенный, негромкий, как умел только Владислав Викентьевич, и так же, как

тогда, за настывшими планками двери раздается его привычный голос:

«Ку-ку, Алеша! Это я».

Он тоже с белым узлом под мышкой.

Я говорил брату и сестренке, чтобы никого не впускали, брал со стола завернутый отцовский пиджак и вместе с Владиславом Викентьевичем выходил на улицу.

На ветру, на морозе, губы и нос Владислава Викентьевича делались еще более синими; тонким, вытершимся шарфиком он укутывал худую и высокую стариковскую шею, поднимал воротник своего неизменного клетчатого пальто, завязывал под подбородком маловатую ему кроличью самодельную ушанку, но это не спасало от холода; казалось, его ничто не могло согреть (теперь-то я знаю, греет не шуба, не пальто, а сытный завтрак, хлеб; но этого как раз не хватало ему; и не хватало мне); он всю дорогу, пока шли и ехали туда и обратно, непрерывно дрожал мелкой, ознобной дрожью. Но в первые минуты, пока еще сохранялось под рубашкою комнатное тепло, он бывал разговорчивым, даже пробовал шутить.

«Ну, слышал?» — спрашивает он, поворачивая ко мне морщинистое лицо и даже чуть приостанавливаясь.

«Что?»

«Сводку Совинформбюро».

«А что, немцы опять наступают?»

«Нет, Алеша, в том-то и дело, что нет. Не так-то легко Волгу перепрыгнуть, а что я тебе говорил? То-то».

«И наши стоят?»

«Готовятся, Алексей, силы накапливают. Ты Елизавету Сергеевну знаешь?»

«Дворничиху?»

«Да. Приходит ко мне вчера вечером и просит почитать письмо от мужа».

«От дяди Миши?»

«Да. И знаешь, что пишет Михаил Яковлевич? «Потерпи, — пишет, — недолог срок, по весне вдарим, а может, и раньше». Так прямо и пишет. «Вдарим!» — понял?» — И Владислав Викентьевич весело и удивленно вскидывал брови.

Затем он еще повторял это слово «вдарим», как будто что-то магическое было заключено в нем, хотя все, конечно, объяснялось проще, и я только не понимал, что для него, бывшего школьного учителя, всю жизнь преподававшего русский язык и литературу, оно звучало не-

обычно, неграмотно; но слово это все же выражало силу, и потому в то утро, когда радио принесло радостную весть, что наши войска, прорвав линию обороны противника севернее и южнее Сталинграда, успешно развивают наступление, замыкая кольцо над мощной группировкой фельдмаршала Паулюса, Владислав Викентьевич, вбежав в комнату, возбужденно выкрикивал: «Вдарили, Алексей! Вдарили! А что я тебе говорил?» Я помню те дни, когда у всех как бы посветлели лица, когда соседи, встречаясь, празднично поздравляли друг друга, но жизнь тем временем шла своим чередом, и после весны и жаркого сухого лета, едва лег на землю первый белый и пушистый снег, мы снова отправились с Владиславом Викентьевичем знакомым маршрутом через сенной базар, неся под мышками белые свертки; мы не раз еще ходили и в лютые январские морозы, и по весне, когда черный осевший снег кашицей расползлся под ногами, и как только трамвай довозил нас до сенного базара, едва спустились с подножки, тут же попадали в людской поток, который, как река, втягиваясь в проулок и делая несколько поворотов, вливался затем в шумное людское озеро, которое как раз и называлось толкучкой. Особенно много народу бывало в воскресные дни. По бокам проулка и на площади стояли и прохаживались женщины и мужчины, обвешанные старыми, поношенными, иногда пахнувшими нафталином вещами, и мне всегда казалось, что продававших было больше, чем покупающих; они выкрикивали, потрясая в воздухе пиджаками и платьями, нахваливали свой товар, и у ног (не у всех, но были, хорошо помню, потому что Владислав Викентьевич говорил о таких: «Завсегдатаи, барышники!»), на самодельных железных жаровнях тлели древесные угли; барышники время от времени наклонялись, грели лица, руки, ноги и снова продолжали выкрикивать и трясти шарфами и платьями. Я не спрашивал Владислава Викентьевича, почему все эти люди не работают, но в детском сознании моем постоянно возникала такая мысль, и мне странно было и жутко смотреть на эту толпу; я прижимался к Владиславу Викентьевичу, держась за карман его клетчатого пальто или за руку, и прятался за спину, когда кто-нибудь из встречаемых, тыча пальцами в белый узел, вдруг спрашивал у Владислава Викентьевича: «Что у вас?» Мы проходили в самый конец толкучки, к фанерным ларькам, и потом долго стояли, пока Владислав Викентьевич высматривал, к кому следовало по-

дойти и с кем говорить. Я до сих пор удивляюсь, как он узнавал нужных нам обменщиков (впрочем, нужда прижмет, так узнаешь, наверное); неожиданно он хватал меня за руку и, сжимая пальцами локоть, говорил: «Вон, видишь, во-он, мучное брюшко? Идем». Мы выступали вперед, как бы перегораживая путь медленно шагавшему какому-нибудь мужчине (чаще всего это бывали на вид старенькие, с бороденками, но почему-то одетые в защитного цвета ватные, похожие на армейские телогрейки), Владислав Викентьевич молча протягивал узел, и жест этот его был понятен встречному старичку. «Что?» — будто недовольно, хмурясь, спрашивал встречный.

«Костюм, — шевеля замерзшими синими губами, торопливо произносил Владислав Викентьевич. — И вот еще», — добавлял он, выдвигая, подталкивая меня.

«А у него?»

«Тоже костюм».

«Шерстяной?»

«Разумеется».

«Чего хотите?»

«Нам бы муки...»

«Аржаная».

«Ну что, Алексей, *аржаную* возьмем, а?»

Я согласно кивал головой.

«Берем», — говорил Владислав Викентьевич старичку, и через минуту за фанерными ларьками мы уже переходили улицу и затем по плохо очищенному от снега тротуару шагали вдоль деревянных окраинных изб до первого поворота.

На углу мужичок останавливался и, оглядывая нас и улицу, непременно осведомлялся:

«Хвоста за собой не тянете?»

«Нет, что вы», — опять же поспешно отвечал Владислав Викентьевич.

«Ну-от, смотрите!»

Я знал, что означало «тянуть хвоста»; он спрашивал не ведем ли мы за собой милиционера. Нет, конечно, никакого милиционера мы за собой не вели; подчиняясь жестам старичка в ватнике, мы входили через какие-то скрипучие ворота во двор, затем в холодные, с земляным полом и настывшими дощатыми стенами сенцы, и тут, при открытых дверях, чтобы светлее было, и непременно вместе с вышедшей из теплой избы хозяйкой, закутанной в пуховую шаль, начинался, как говорил тот же стари-

чок, осмотр товара. Старичок разворачивал пиджак, брюки и, казалось, разглядывал каждую строчку, тяжело сопя и произнося то и дело (обращаясь больше к Владиславу Викентьевичу, чем к жене):

«Не лицованный?»

«Да вы что? Кармашек-то боковой — на левой...»

«Подклад, опять же, не черный».

«В тон костюму».

«В тон-то оно, известное дело, в тон, да черный бы, он не маркий», — говорил старик и начинал заново разглядывать и растягивать пальцами швы.

«Вшей ищите, что ли?!» — не выдержав наконец, восклицал Владислав Викентьевич.

«Вшей не вшей, а поглядеть надо».

«Глядите, но только побыстрее, потому что тут, в ваших сенцах, окоченеть можно».

«А сколько просишь?»

«Пуд дашь?»

«Эк куда загнул. За оба?»

«За один».

«Полпуда».

«Пуд».

«Полпуда!»

«Так ведь *аржаная же*?»

«Все одно хлеб».

«Ну, отвешивай, бог с тобой».

Все время, пока Владислав Викентьевич торговался, я стоял молча; от холода ли или оттого, может быть, что мне всегда неприятно было видеть, как бесцеремонно переходили из рук в руки (от старика к Владиславу Викентьевичу и снова к старику) отцовские пиджак и брюки, я тоже весь ежился и вздрагивал; когда же старик, притащив из комнаты серый мешок с мукой, начинал насыпать ее в мерку, я уже не только не радовался, что выполнил поручение матери и что теперь, по крайней мере, месяца на полтора, а то и на все два хватит варить затируху (к тому же мать непременно хоть раз да испечет лепешки или пирожки с картошкой на плите!), но думал лишь об одном: как поскорее уйти из этих промозглых сенцев; и все же каждый раз я приносил домой неповторимый, мельничный запах муки и хлеба.

«Отчего их милиция не забирает?» — спрашивал я у Владислава Викентьевича, когда мы уже возвращались домой.

«Забирает, как же, почему не забирает».

«А этот?»

«Еще не попался. Да и слава богу, что не попался, иначе — к кому бы мы сегодня с тобой пошли?»

«А если сейчас заявить?»

«Нельзя. Мы, Алексей, по-честному: мы ему, он нам. Такие люди, как он, всегда были, есть и будут, без них нельзя. Они тоже делают своего рода доброе дело: вот, видишь, мы теперь и с затирухой, а попадется ли он или не попадется, это уж его дело, лишь бы по-честному».

Спорить с Владиславом Викентьевичем было, разумеется, бессмысленно, он по-своему смотрел на мир, потому и суждения обо всем были у него свои (думаю, и теперь есть люди, которые рассуждают так же или близко к этому); мне же то, что мы делали, не только не представлялось честным, но после каждого нашего обмена я несколько дней ходил молчаливым и мрачным: мне казалось, что мы совершали беззаконие — откуда мука? чья она? — и беззаконие это не могло совместиться с теми пусть детскими, мальчишескими (но они чисты!) понятиями справедливости устройства мира, доброты, товарищества, правды; как каждый вступающий в жизнь, я полагал, что законы существуют для всех и что все непременно выполняют их, по крайней мере, должны выполнять, а как же иначе, но что, кроме законов, есть еще высшая мера жизни, это честь и совесть, которая у каждого в душе и которую невозможно и не должно переступать, что так же, как я сам всегда бывал приветлив, добр и счастлив этой своей добротой, так же, мне казалось, должны были жить и все люди. А зло — это исключение. И вот в это ясное детское восприятие врывались война, сенной базар, толкучка, старикашки в защитного цвета ватных телогрейках (а ведь определение Владислава Викентьевича было верным — мучное брюшко! — ведь как мужичок не отряхивался, а руки мучные и на телогрейке след!), врывались промерзлые земляные сенцы, серый мешок с мукой и хозяйка в шали, уносящая в избу ставшие уже чужими отцовские пиджак и брюки, и это была совершенно иная, грязная, чуждая мальчишескому миру жизнь, познавать которую было трудно и больно. «Почему существуют на земле люди, как этот продававший муку старичок? Почему у каждого — свое понимание добра?» Разумеется, тогда, в детстве, я не ставил так прямо и с такой определенностью эти вопросы; и даже, может быть, не совсем отчетливо понимал все, но что именно такое чувство протеста рождалось во мне, я хо-

рошо помню. Я всегда издали наблюдал, как мать стряпала пирожки из принесенной мною муки; и что бы ни творилось у меня на душе, все же это бывал самый большой в нашей семье праздник. Мы начинали готовиться к нему загодя, за неделю вперед, и в утро, когда наступал долгожданный день, просыпались раньше обычного и прямо с постели, едва протерев глаза, смотрели, как мать снимала с теплой печки кастрюлю с выползавшим через края темным и приятно и кисло пахнущим тестом; первый испеченный пирожок с коричневой сухой корочкой мать разламывала надвое и отдавала меньшим — сестренке и брату, — и они, перекладывая горячие половинки из ладони в ладонь, не смеялись, не шутили, не веселились, а ели молча, сосредоточенно, как взрослые, знающие цену жизни и хлебу, и я, если хотите, пожалуй, впервые в зимний вечер в избе Пелагеи Карповны, когда за окном бушевала ранняя декабрьская вьюга, прохаживаясь от топчана к окну и вспоминая, вдруг как бы понял весь смысл детских сосредоточенных лиц. «Да и сам-то я как смотрел?» — подумал я, еще отчетливее представляя себя, чем сестренку и братишку. Сквозь неплотно прикрытую дверь из кухни, где Пелагея Карповна заводила хлеба, просачивался в мою комнату тот самый запомнившийся с детских лет приятный и кислый запах теста, и запах этот лишь усиливал впечатление от набегавших воспоминаний; я не спал долго, пока лампа не начала гаснуть, и то мальчишеское чувство протеста (хотя мне только теперь кажется, что в Долгушине я был уже взрослым, а на самом деле — тоже ведь, в сущности, мальчишка: девятнадцать, двадцатый, чего тут) вновь подымалось и будоражило сознание. «Вот где начало, вот откуда этот мучной ручеек — туда, на толкучку, в промерзлые земляные сенцы! И, конечно же, не пелагеи карповны *поставляли*, и не сыновья их или мужья носят теперь костюмы с плеча моего отца; эти деревенские женщины — как Владислав Викентьевич, потому и Моштаков для них — *своего рода* добро, а не зло», — рассуждал я.

Было около полуночи, когда я, в конце концов раздевшись, лег на топчан и уснул. Но, засыпая, еще слышал завывание метели за окном, и мне казалось, что этот гнавший поземку декабрьский ветер, как тогда, в детстве, когда мы с Владиславом Викентьевичем шагали к сенному базару, на толкучку, ознобно, пронизывающе холодил ноги.

Утром же все было тихо и лишь огромные сугробы снега от изб и плетней ребристо рассекали улицу. И на душе у меня тоже как будто было спокойно и тихо, но если говорить образно, то и там лежали теперь на равнинном пути свои ребристые сугробы. Вечер не прошел, да и не мог пройти бесследно. Внешне, конечно, для постороннего взгляда, вроде бы ничего и не случилось; и вчера, и позавчера, и третьего дня я тоже долго сидел за столом, работая над картой севооборота, а когда затекали ноги, вставал и прохаживался, так что для Пелагеи Карповны не было ничего удивительного в том, что я не спал; но сам я чувствовал, что во мне многое изменилось после того вечера — может быть, даже в характере (я стал еще задумчивее и настороженнее), во всяком случае, в понимании людей и жизни. Пелагея Карповна, что ж, рассказала о Степане Моштакове да и забыла, потому что это было частицей ее судьбы, хорошей или плохой — другое дело, было привычной, повседневной ее жизнью, и потому ни утром, ни на следующий день она уже не вспоминала об этом; она положила на стол передо мною свежий, еще дышащий печью калач, принесла, как всегда, крынку молока и, покачав головой, лишь произнесла: «Хоть бы вставали попозднее, никто из приезжих, что были до вас, так не измучивали себя». Меня же Моштаков и все, что Пелагея Карповна как бы между прочим поведала о нем, и на следующий день, и через месяц продолжало волновать и вызывать определенные мысли. Я хорошо помню, как спустя несколько дней проходил мимо моштаковского двора; самого Степана Филимоновича не было видно, но его изба вместе с пристроенной низкой и длинной бревенчатой конюшней, на крыше которой скирдой возвышалось еще не тронутое с осени сено, эта словно вросшая, как определил Федор Федорович, в землю (теперь же, казалось, в снег) изба и двор чем-то напомнили те, окраинные, городские, куда относили мы с Владиславом Викентьевичем свои узлы и откуда выходили, таясь и оглядываясь, с *аржаной* мукою в белых наволочках, и на какое-то мгновение я даже приостановился, разглядывая, будто впервые, моштаковское подворье; как тогда, в детстве, с той же ненавистью и с тем же протестующим чувством смотрел я на задернутые ситцевыми в горошек шторками окна, и еще больше, чем тогда, желание пойти и заявить — вот он! — охватывало меня; но я сознавал, что, собственно, заявлять-то не о чем (привезенная ночью мука Андрею.

Николаевичу, и только; все же остальное — в прошлом, которое ни раскрыть, ни доказать нельзя), и потому, согнувшись и стараясь уже не глядеть на избу и подворье, торопливо прошагал под окнами. Может быть, мне показалось, что кто-то неприятным, пронизывающим взглядом следил за мною. Я и потом не раз испытывал это чувство и, знаете, не могу не согласиться с вами, что есть между людьми, как вы говорили, взаимопонимание, бессловесный язык; и не только когда думают одинаково, одинаково смотрят на мир и понимают явления и вещи, и я бы добавил — даже не обязательно, чтобы эти люди встречались и сидели рядом, что ли; если я и видел Степана Филимоновича, то редко и издали, а бывали месяцы, когда не видел вообще, и жил он за своими бревенчатыми стенами, а я за своими, в доме Пелагеи Карповны, но вот был же понятен мне его мир, я знал, как он живет и о чем он думает, и оттого постоянно испытывал к нему настороженность и отчуждение, а иногда он прямо-таки был ненавистен мне, хотя ведь и не сделал ничего видимого дурного; но самое главное — он тоже чувствовал мой мир мыслей, потому и наставлял сына-бригадира: «Чую, подсекет нас, так что смотри в оба, коня без нужды особой не давай, где можно, и трактор, и комбайн удержи, все прибежит с поклоном, а там уж — тебе вожжи», — потому и ни разу не пригласил к себе в гости, хотя и бычка колол, и выносила Ильинична на мороз пельмени. Он предчувствовал, опасался, а значит, понимал, как и я понимал его, и мы жили в Долгушине — два противоположных мира, видимых себе и невидимых другим, и рано или поздно эти два мира должны были столкнуться; но произошло это лишь на вторую зиму, и совершенно неожиданно, когда по первой пороше я собрался было поехать на санях в Чигирево к Федору Федоровичу.

Я помню все, что и как было; и разговор накануне по телефону с Федором Федоровичем, в котором он просил поскорее привезти в Чигирево собранные с делянок и связанные в снопики образцы пшеницы, но только для чего — то ли хотел выставить на обозрение в колхозе, в правлении, а точнее, в председательском кабинете, то ли отправить в Красную Дóлинку (такие же снопики я видел и в кабинете Андрея Николаевича, так что, возможно, собирался переправить ему для обновления). Помню, как утром, весь настроенный на поездку в Чигирево, вышел на крыльцо и, радуясь первому снегу, первому

морозцу и голубым от инея плетням и избам, зашагал через всю деревню к бригадирскому подворью, чтобы попросить лошадь и сани (день был воскресный, кони отдыхали, никуда не занаряженные, и поэтому я ни минуты не сомневался, что получу подводу), но вместо Кузьмы Степановича, когда я постучался в окно, из избы вышла его жена, мрачная и всегда недовольная чем-то Клавдия Васильевна (как и все в роду Моштаковых, она, конечно, недолго любила меня, так, по крайней мере, теперь я объясняю ее настороженное ко мне отношение) и сказала, что Кузьмы нет, что ушел к отцу, а на вопрос, скоро ли вернется, коротко бросила: «В Красную Долинку собирались, так что идите быстрее, если хотите застать», — и я, почти совсем не обратив внимание на привычную уже для меня сухость ее ответа, зашагал к дому старого Моштакова. Я мог бы подробно пересказать, как открывал опущенную колким инеем калитку и вошел во двор к Степану Филимоновичу, как стоял, глядя на занавешенные окна избы, на крыльцо и расчищенные от снега ступени, и смотрел на приоткрытые неширокие ворота конюшни, раздумывая, куда войти — в избу ли или в конюшню, откуда, как мне казалось, доносились мужские голоса; и то, как вошел все же в конюшню и, приглядевшись к сумраку, увидел лишь лошадей за перегородками (мягкими теплыми губами они захватывали из яслей только что принесенное с мороза и еще холодное, наверное, сено, аппетитно похрустывая им, вскидывая мордами и кося глаза на меня, вошедшего к ним незнакомого человека), и как с досадою проговорил про себя: «Тьфу, черт, ослышался, что ли!» — и затем, чтобы уж окончательно убедиться, что ни Кузьмы Степановича, ни Степана Филимоновича на конюшне нет, громко спросил: «Здесь есть кто-нибудь?» — все эти подробности каждый раз, как только начинаю вспоминать *тот* воскресный день, как живые, встают перед глазами; я вижу все, что видел тогда: и конские спины, покрытые болячками (утренний солнечный свет, проникавший через двери в конюшню, падал на противоположную стену и уже от той стены, отраженный, как бы скользил по гривам и по мохнатым и тощим, даже будто слегка заиндевелым крупам лошадей), вот они передо мною, те конские спины, и пряный запах морозного сена, и хруст, и топот переступаемых по деревянному настилу копыт; я поворачиваюсь, чтобы направиться к выходу, но именно в это мгновение как будто что-то подтолкнуло меня остано-

виться. Я знал, что конюшня бревенчатая, но здесь, внутри, в глубине, конюшня заканчивалась какою-то дощатою перегородкой, и это невольно насторожило внимание; я еще раз окинул взглядом эту перегородку и, заметив низкую и чуть приоткрытую дверь, шагнул к ней. Может быть, мне показалось, что там, за дверью, как раз и находились сейчас бригадир с отцом, Степаном Филимоновичем? Может быть, так оно и было, потому что мне лишь хотелось найти бригадира, и ни о чем другом я не думал, переступая порог этой неожиданной здесь, при конюшне, кладовой, но теперь всегда кажется, что я уловил знакомый амбарный запах хлеба, запах хранящегося зерна, и потому оказался в совершенно как будто темном даже после сумрачной конюшни тайнике. Я не оговорился, именно тайнике. Только одно узкое, как прорезь, как, может быть, бойница, что ли, оконце под потолком пропускало свет в кладовую, и он, струясь, как свет автомобильных фар в ночи, падал на тяжелые крышки расположенных вдоль стены хлебных ларей. Но я не воскликнул: «А-га, вот оно!» — и не ощутил ни скрытой злой радости, что все мои предположения о старом Моштакове, о его недобрых делах вдруг, вот, подтверждены, ни иного какого-нибудь торжествующего, вроде: «Что, попался!» — чувства, а смотрел растерянно на эти лари, бледнея и приглушая дыхание; как тать (я смеюсь теперь над собой, потому что зачем нужны были мне эти осторожные, словно воровские движения, чего и кого было бояться?), оглядываясь на неприкрытую дверь и прислушиваясь, я подошел к ближайшему от меня ларю и приподнял крышку; ларь был наполнен желтоватой в полусумраке пшеницей. Я снял рукавицы, зачерпнул ладонью зерно и прошел к свету. Зерно было крупное, я несколько раз пересыпал его из ладони в ладонь, потом отнес снова в ларь, и на руках остался белесоватый (это просто-напросто была пыль), будто мучной, налет. Не знаю теперь уже почему, но я, как будто стряхивая что-то с полушубка, вытер о него ладони, и хотя, разумеется, никакой пыли на полах нельзя было разглядеть (даже бы и на свету), но я почувствовал, что на них остался след, как оставался он на телогрейках у тех мужиков-старичков, что в настывших земляных сенцах нагребали из мешков в мерку муку — «мучное брюшко»! — и вся та ненавистная картина обмена, все пережитое и передуманное уже здесь, в Долгушине, разом как бы всплыло перед глазами. «Один, два..

«пять, шесть», — вместе с тем мысленно, перекидывая взгляд с одного ларя на другой, считал я. В Долгушине, я это хорошо знал, не было колхозного амбара; все зерно — и семенное и из общественного фонда — хранилось на центральной усадьбе, в Читиреве. «А это что? На трудодень? Да он вроде и в колхозе не работал? У Пелагеи Карповны — мешок всего, хватит ли до весны, а тут?..» Одну за одной я открывал крышки ларей, и во всех была пшеница.

Все еще растерянный от того, что увидел (главное же, оттого, что не знал, что надо было делать теперь), я так же, будто воровски, крадучись, вышел из амбара в конюшню. На гвозде, возле косяка, заметил висевший железный замок со вставленным в него ключом. Им, наверное, как раз и запиралась кладовая. Но тогда я не подумал об этом; мне лишь хотелось как можно скорее и незаметнее выскользнуть из конюшни. А происходило здесь до меня, полагаю, вот что: Степан Филимонович со своим сыном, ведь они собирались в Красную Долинку, так сказала Клавдия Васильевна, и поехали бы не с пустыми руками, зашли нагрести зерна и, уходя, не заперли дверь; прошли же они прямо из конюшни в избу через сенцы, минуя двор, и, конечно же, их голоса я и слышал. А почему не заперли дверь? Вероятно, намеревались тут же вернуться. Само собой, я не могу поручиться за точность этой нарисованной картины, как все было на самом деле; да и так ли уж это важно; главное, я открыл тайник, увидел лари, наполненные пшеницей, и весь тот день и следующий они стояли перед глазами. «Ну вот, — говорил я себе, выходя из конюшни на солнечный морозный двор и продолжая оглядываться, — вот оно, *моштаковское* добро людям!» Я не постучался и не вошел в избу; косясь на занавешенные шторками окна (не следит ли кто за мной?), я медленно, шаг за шагом, отступал к калитке и, как только очутился на улице, чуть пригнувшись, торопливо зашагал к себе домой. Я не раз потом спрашивал себя, для чего нужно было пригибаться и торопиться? Но, видимо, так уж устроен человек, что поступки часто опережают сознание, и оттого мы совершаем массу странных и глупых вещей; но в то же время, если пораскинуть как следует умом, то, пожалуй, боязнь была в какой-то мере обоснованной, если бы, допустим, старый Моштаков с Кузьмой вдруг застали меня, скажем, в кладовой или пусть в конюшне и поняли бы, что тайник раскрыт, — их двое, а я один, — еще не-

известно, как бы все обошлось и чем закончилось. Может быть, подсознательно, но именно этого — встречи с ними — я и боялся тогда и, лишь войдя во двор Пелагеи Карповны, оглянувшись на моштаковскую избу. «Теперь что? — вгорячах думал я. — Куда пойти и кому сказать? Пелагее Карповне? Или людей кликнуть? Или, может быть, сперва в Чигирево, к Федору Федоровичу?» О том, чтобы просить лошадь и сани у бригадира, я уже, конечно, не помышлял.

Когда я вошел в комнату, лицо мое было, думаю, испуганным и бледным, потому что я заметил, как Пелагея Карповна, делавшая что-то у печи, на секунду даже будто бы замерла от удивления, глядя на меня.

«Скажите, — между тем, сбрасывая с плеч полушубок, видя непривычный взгляд хозяйки, понимая его и не в силах побороть своего волнения, спросил я, — сколько вы получили на трудодень хлеба?»

«Шесть пудов, центнер, а что? Чего это — лица на вас нет?»

«А где в Долгушине хлебный амбар?»

«Колхозный, что ли? Был, так его еще до войны, как объединились, разобрали и свезли в Чигирево».

«Это точно?»

«А что случилось, Алексей?»

«Ничего, Пелагея Карповна, ничего не случилось, но — пока ничего. Ничего», — повторял я, уже войдя в свою комнату и закрывая за собою дверь.

За все время, сколько жил у Пелагеи Карповны, я впервые в то утро заметил, что на моей двери есть накидной крючок; опять-таки не совсем соображая, для чего нужно, от кого здесь-то прятаться, запер дверь на крючок и принялся, как делал это уже не раз, но только теперь еще торопливее, ходить от окна к топчану и обратно. Я понимал, что надо успокоиться, что ничего сверхъестественного, собственно, не произошло. «Ну и что, что раскрыл тайник? Рано или поздно, а это должно было случиться, и не я бы, так другой, все равно!..» Но вместе с тем, как я говорил себе это, не только не успокаивался, но, напротив, с еще большей горячностью и ненавистью думал о Моштакове. И у меня были на то основания. «Торгаш несчастный, выжимала, вот у кого отцовские пальто и костюмы! — мысленно выкрикивал я, хотя, конечно, не у него они были, я знал, но непременно у такого же, как он, тихого, властного и боро-

датого мужичка (в деревне ли, в городе ли, везде они одинаковы; а может, жизнь их делает такими, это ведь тоже может быть? По крайней мере, так я думаю теперь, оглядываясь на все, а тогда много не рассуждал, просто видел в них зло, и зло это казалось мне неестественным и несовместным с общепринятыми понятиями о жизни). — Сколько вас по городам и деревням, *своего рода* благодетелей народных? Шесть ларей. В каждом по четыре, пять центнеров, не меньше. Пятью шесть — тридцать. Тридцать центнеров, и зерно-то колхозное, общее, государственное, наконец», — продолжал я, поражаясь тому, как же раньше не мог открыть это, а ведь знал, чувствовал и только выжидал чего-то, а чего? У меня было такое ощущение, что я снова, как в детстве, когда отвозил вместе с Владиславом Викентьевичем белые узлы на сенной базар, открытой, обнаженной душой прикоснулся к этому грязному *моштаковскому* миру, и все время, пока метался по комнате, брезгливое выражение не сходило с лица. Иногда я останавливался у окна и, перегнувшись через стол и отвернув занавеску, смотрел на улицу, стараясь отыскать глазами — а для чего это надо было? — избу и подворье Моштакова, но, ничего не увидев, опять возвращался к топчану и шагал к столу.

Я перебирал мысленно, к кому лучше пойти:

«В сельсовет?»

«К председателю колхоза?»

«К участковому?»

«К Федору Федоровичу?»

Но все они находились в Чигиревке, и прежде надо было еще добраться туда. «По снегу, по не накатанной еще дороге, одному, пешком!» Однако ничего другого, кроме как только идти пешком в Чигирево, придумать не мог и потому на глазах у изумленной и обеспокоенной Пелагеи Карповны, ничего не говоря и не объясняя ей, торопливо оделся и вышел из дому. Вслед за мною, когда я был уже за жердевыми воротами, появились на крыльце Пелагея Карповна в накинутом на голову и плечи темном платке и Наташа; дочь, как всегда, выглядывала из-за спины и из-под руки матери, и было тоже что-то взволнованное и испуганное в ее смотревших по-взрослому глазах; я помню это выражение, потому что, обернувшись, посмотрел прежде на нее, а потом на мать.

До Чигирева я добрался под вечер.

Во дворе сортоиспытательного участка было заснежено и пустынно; тусклыми желтоватыми пятнами светились в раннем и синем зимнем сумраке окна жилой, начальниковой, как здесь называли ее, избы.

В полурасстегнутом полушубке, разгоряченный от ходьбы и заиндевелый с мороза, едва постучавшись, можно сказать, я не вошел, я прямо-таки ввалился в комнату к Федору Федоровичу; на валенках, наскоро и плохо обметенных на крыльце, был снег.

«Что, вьюжит в поле?» — спросил Федор Федорович, окидывая меня взглядом.

«Нет», — ответил я и даже, по-моему, не словом, не голосом, а покачиванием головы.

«Привез?» — снова спросил Федор Федорович.

«Нет».

«О-о, да ты взволнован! Что такое приключилось?»

«Сейчас расскажу», — сказал я, снимая полушубок и направляясь к вешалке.

В доме Федора Федоровича, может быть, потому, что и сам хозяин, и жена его, Дарья, действительно-таки были людьми добрыми и гостеприимными, а может, просто потому, что все еще надеялись выдать одну из дочерей за меня и оттого радовались каждому моему приезду, непременно усаживали за стол, и Федор Федорович по случаю, как он любил говорить, доставал графинчик с водочкой и рюмки, я не чувствовал себя стесненно; когда дочерей не бывало дома и мы с Федором Федоровичем оставались одни (Дарья обычно не вмешивалась в разговор, она вышивала, сидя здесь же, на стуле, только время от времени вскидывая на нас голову), я даже, казалось, отдыхал, слушая, может быть, для кого-нибудь и скучные, но мне представлявшиеся удивительными и интересными рассказы старого агронома, и оттого теперь, едва вошел в комнату, как меня сразу же словно обдало всей этой атмосферой тепла и уюта. Видя доброе лицо Федора Федоровича — он стоял так, что керосиновая лампа, горевшая на столе, была за его спиною, но на затененном лице все же легко можно было различить то отечески-покровительственное выражение: и в сдвинутых к переносице густых старческих бровях, и во взгляде, который всегда действовал на меня особенно располагающе и который сейчас словно говорил: «Я тоже обеспокоен твоим волнением, но поверь моему опыту, все будет хорошо, я рассею любые сгустившиеся

над тобой тучи», — видя именно это выражение на лице Федора Федоровича и видя добрые и по-своему удивленные и обеспокоенные глаза Дарьи, которая, встав со стула, но продолжая, уже машинально, поблескивать иголкой в свете лампы, вдруг даже будто с растерянностью (разумеется, для нее важно было свое!) сказала: «Как же, Алеша, Федя, а девочки наши в кино ушли», — как ни был я взволнован и как ни хотелось поскорее рассказать Федору Федоровичу обо всем, что кипело во мне, но при виде этих знакомых добрых лиц, знакомой обстановки комнаты со столом посередине, накрытым расшитой светлой скатертью, с комодом в простенке между окнами и зеркалом и семейной фотографией в рамке над ним и, главное, со старым, с продавленными металлическими пружинами диваном, на который как раз обычно и усаживали меня приветливые хозяева, я как бы начал оттаивать душой, чувствуя, как всегда, расположение к ним, и думал: «Хорошо, что пришел именно сюда, они поймут. Это надо же — шесть ларей!» Федор Федорович между тем терпеливо ждал, пока я повешу полушубок; и Дарья, продолжая вышивать, стояла тут же и смотрела на меня.

«Н-ну?» — проговорил Федор Федорович, когда я вышел на середину комнаты, к свету.

«Дай отдышаться человеку, — перебила его Дарья. — Садитесь, Алексей. Проходите, садитесь, — пригласила она, указывая занятыми вышивкою руками на диван. — Чаю хотите?»

«Да», — сказал я, чуть выждав.

Мне действительно хотелось есть, так как ушел я из Долгушина, не пообедав, но еще больше хотелось побыть сейчас наедине с Федором Федоровичем.

«Н-ну, — вопросительно повторил он, как только Дарья, оставив работу, пошла собирать на стол, — так что же такое произошло, что ты прямо-таки с лица сменился, а?»

«Шесть ларей, понимаете, каждый центнера по четыре, по пять...»

«Погоди-погоди, какие лари, где?»

«У старого Моштакова в тайной кладовой. Случайно обнаружил, сам, сегодня».

«У Степана Филимоныча?»

«Ну, у него».

«Погоди-погоди, давай по порядку, а то я что-то ничего не понимаю».

«Пошел я утром сегодня к бригадиру за подводой», — чувствуя, что и в самом деле надо рассказать все по порядку, начал я, продолжая смотреть на Федора Федоровича и не замечая еще пока, что вместо отечески-покровительственного взгляда, вместо того как бы налетного, неглубокого беспокойства, какое было только что на его лице, теперь появилось новое и тревожное выражение; но мы ведь не только в молодости, а зачастую и сейчас, когда, казалось бы, жизнь многому научила нас, споря, доказывая или второпях объясняя что-либо собеседнику, не следим за его лицом; в то время как я пересказывал Федору Федоровичу, что и как было, как я попал в тайную моштаковскую кладовую и увидел хлебные лари, я снова переживал все то, что уже пережил днем, и чувства эти представлялись (мне самому, разумеется) настолько чистыми, ясными и правильными, что я не мог даже предположить, чтобы Федор Федорович думал иначе, чем я; но он, теперь-то знаю, думал иначе и потому, когда я закончил рассказывать, заговорил не сразу, а с минуту сидел молча, то вскидывая глаза на меня, то глядя вниз, на цветной, домашней вязки половик под ногами.

«Угораздило же пойти на конюшню», — наконец произнес он недовольным и ворчливым, какого я никогда прежде не слышал от него, тоном.

«Но я же не специально, Федор Федорович».

«А может, ты ошибся, и в ларях вовсе не пшеница, а овес, ячмень или еще что там для лошадей?»

«Да вы что, как я мог ошибиться?»

«Все, Алексей, может быть».

«Вы шутите, Федор Федорович: неужели овес от пшеницы я не могу отличить? Да какой же я тогда агроном-зерновик?»

«И это верно».

«Да и на трудодни по тридцать центнеров никому не давали».

«Так ты что думаешь, ворованное?»

«Да».

«А может, все же колхозное?»

«Было, Федор Федорович, колхозное. Вы же знаете, в Долгушине у нас нет хлебного амбара и кладовщика нет, все колхозное зерно всегда хранилось и хранится здесь, в Чигиреве».

«Погоди, Алексей, не раскаляйся, дров наломать легче легкого. Степан Филимонович не тот человек, которо-

го можно вот так просто обвинить в чем-то. А-а, — заметно сморщившись, добавил он, — говорил же я тебе, не ввязывайся. А что, если хлеб все-таки колхозный, а ты вот так, а? Все может быть, и давай обмозгуем как следует, что к чему».

«Что мозговать, сходить к председателю, и все». «Без спешки, только без спешки».

В это время вошла Дарья и сказала:

«Самовар на столе, Федя, приглашай гостя».

«Прошу», — проговорил Федор Федорович, вставая, и через минуту мы уже сидели за кухонным столом, и Дарья разливала в стаканы чай. Она не слышала, о чем мы только что разговаривали, и ничего не знала, но женским чутьем своим сразу уловила, что не только я, но и муж ее тоже чем-то обеспокоен, и потому помалкивая пока, настороженно посматривала на него.

Но молчание для нее (да и для всех нас) было тягостным, и она не выдержала и спросила:

«Что случилось, Федя?»

«Ничего, собственно».

«Вы что-то скрываете от меня?»

«Да вот полюбуйся на этого молодого человека, на нашу смену и надежду, — неохотно, с заметной досадою искривляя уголки губ, проговорил Федор Федорович. — Сколько предупреждал, сколько советовал, так нет, связался-таки с Моштаковым».

«Со старшим? — переспросила Дарья, и хотя из того, что сказал Федор Федорович, совершенно нельзя было понять, что же все-таки произошло между мной и старым Моштаковым, но для нее уже достаточно было того, что связался, и она тут же, спеша высказать свое мнение, искренне и назидательно произнесла, глядя на меня: — Да разве можно с ними связываться, Алексей, они раздавят вас, они здесь все заодно, мы-то уж знаем, насмотрелись».

«Кто «они», о чем ты говоришь, Дарья, что мы знаем, помилуй бог», — возразил Федор Федорович с раздражением.

«Ну как же... и председатель... и все...»

«Что ты мелешь своим дурацким помелом? Что мы знаем? Чего насмотрелись?»

«Федя, я...»

«Что «Федя»? Что «я»? Я тысячу раз просил тебя!..»

«Фе...»

«Замолчи!»

Федор Федорович, грохоча табуреткой, встал и, весь багровея до ушей, зло и даже, как мне показалось, ненавистно смотрел на жену; таким раздраженным, каким он был теперь, я никогда не видел его раньше; в то время как мы молчали, он снова и еще резче, чем только что, крикнул: «Замолчи!» — и вышел из кухни в комнату. Я проводил его взглядом, удивленный и ошеломленный этой неожиданной ссорой; семейная жизнь Сапожковых всегда представлялась мне милой и дружной, дом — средоточием уюта и покоя, где все было как будто медленно: и движения, и разговоры, и вообще весь ход жизни, и вместе с тем подчинено одному, *научному*, как я определял, глядя на Федора Федоровича, ритму; я считал его скромным, тихим, не рвущимся на пьедесталы сельским ученым, который творит свое дело в глубинке, настойчиво, устремленно, выводит *свой* вечный сорт пшеницы, и придет час, сам собою придет, когда все неожиданно узнают, как велик его труд и как сам он, деревенский агроном, велик и щедр душой, и жизнь его, и цель, и работа казались совершенными, достойными примера и подражания; часто втайне я завидовал его счастливой судьбе, и потому все, что произошло теперь, было для меня именно ошеломительным и не совмещалось с тем, как я представлял и что думал о Федоре Федоровиче. Очевидно, как и сотни других людей (как, впрочем, тот же, скажем, Моштак), Федор Федорович жил раздвоенной жизнью: одна, внешняя — для окружающих, для общественного мнения, в какой-то мере и для меня (ведь и у меня складывалось мнение), и в этой, внешней, все разумно, спокойно, устремленно, а главное, похвально и привлекательно: и семьянин и ученый, другая же — для себя, в душе, за семью замками, которую зачастую приходится скрывать и от детей и от жены, но она-то, эта другая жизнь, и является ведущей и определяет дела и мысли. Какой была она у Федора Федоровича? Но что была, уверен. В конце концов ведь и у меня была своя, какую я, может быть бессознательно тогда, но прятал от людей; обмененные отцовские костюмы на муку постоянной болью отдавались во мне, оттого и ненавидел я старого Моштак, но до времени, до этого вечера у Федора Федоровича никому ничего не рассказывал и ничем не проявлял свою ненависть! Так и Федор Федорович, хотя я все же и теперь склонен думать о нем, что он был человеком честным, но трусливым; я уже гово-

рил, что он, по-моему, все видел и понимал правильно и только боялся высказать свои соображения, отгораживался от всего, сформулировав для внутреннего пользования удобное и все оправдывающее выражение: «Не наше дело». Даже спустя много лет, когда я неожиданно снова встретился с ним, он не стал говорить о Моштакове, хотя тогда уже все это было в прошлом и в старческих глазах его, я заметил, как будто каким-то отдаленным светом отразился испуг. Но до той новой встречи было еще далеко, а в минуту, когда он вышел из кухни, оставив за столом нас вдвоем с Дарьей, я, разумеется, не думал ни о двойственной его жизни, ни о чем-либо даже отдаленно напоминавшем это; да и окрик его: «Замолчи!» — был неожиданным. «Что-то же, конечно, он видел, знает, что связано с моштаковскими хлебными ларями, но что и почему нельзя об этом говорить? Может быть, и он?.. Заодно?..» Я машинально принял из рук Дарьи поднесенный мне стакан с чаем и посмотрел на нее так, словно хотел прочитать на лице ее подтверждение тому, о чем подумал (что «да»; и Федор Федорович заодно с Моштаковым!); но я увидел лишь смущение в ее глазах, ей было неловко от всего, что произошло, она чувствовала себя виноватой и готова была чем угодно загладить вину, но не знала чем и как и только несколько раз негромко повторила: «Боже мой, что же это!» Федор Федорович же, было слышно, торопливо и нервно прохаживался из угла в угол в соседней комнате. Я не стал пить чай; мне было неприятно смотреть на смущенную Дарью, как она, пожилая женщина, мать трех взрослых дочерей, униженная окриком мужа, должна была теперь что-то говорить мне, оправдываясь, исправляя впечатление, и неприятно было слышать, как вышагивал за дверь Федор Федорович; еще резче, чем минуту назад, когда рассказывал Федору Федоровичу о тайной кладовой и ларях, я увидел перед собою те моштаковские лари с зерном и увидел мужиков, которых Владислав Викентьевич называл «мучное брюшко» и которые в промерзших, заиндевелых сенцах отвешивали мне муку за отцовские костюмы, и вся ненавистная, нечестная жизнь этих людей, представшая вдруг простой и ясной схемой — «Да он же вот, насквозь виден, Моштаков!» — поднимая в душе то чувство, когда я не мог и не хотел разбираться, заодно ли с Моштаковым Федор Федорович или не заодно. Я встал, отодвинул табуретку и вышел из-за стола.

«Спасибо за чай, — сказал я Дарье, — я сыт, до свиданья».

Федор Федорович как будто не обратил внимания на меня, когда я появился в комнате; лишь когда, сняв с вешалки полушубок, начал было одеваться, он остановился и, оглядев меня, совсем иным, чем только что, не раздраженным, не сердитым, а привычным покровительственно-доброжелательным, как он любил обращаться ко мне, тоном проговорил:

«Куда же вы на ночь глядя, Алексей?»

Я ничего не ответил и продолжал одеваться.

«Нет, милостив-с-сударь, я никуда вас не отпущу, — продолжал он, проходя вперед и преграждая мне дорогу к выходу. — Мало ли что наговорят жены, их послушать, так и жизнь не жизнь. Вы еще не женаты, но узнаете, у вас все впереди. Все-все, — добавил он, принимаясь расстегивать полушубок на мне. — А с Моштаковым надо обдумать как следует, боюсь, как бы вы не влипли по молодости в историю».

«Зерно краденое», — сказал я, отстраняя руку Федора Федоровича.

«У вас есть доказательство?»

«Лари».

«Хм, это еще ни о чем не говорит, — произнес он, и усмешка заметно засветилась на его сухих старческих губах. — Я думаю о вас, только о вас. В конце концов мы работаем в научном учреждении, у нас свои цели и обязанности, а вы беретесь, один бог ведает, за какое дело. Вы должны даже во сне бредить научным открытием, этого я ждал от вас, но вы... да и зерно, я уверен, колхозное, так оно и окажется, и все ваше рвение — сплошная глупость. В итоге вы же останетесь в дураках».

«Зерно краденое».

«А вам не только работать, но и жить с людьми. Деревня, она, вы приглядитесь, если уж осудит, места не будет вам».

«Краденое!» — снова повторил я, с нескрываемой неприязнью глядя на Федора Федоровича.

Я горячился, знаю, но не по молодости; я представлял себе душевный мир старого Моштакова настолько ясно, что ни минуты не сомневался в своей правоте, и потому рассуждения Федора Федоровича казались неверными и подозрительными; я уже не испытывал к нему того уважения, какое всегда жило во мне; именно здесь, у двери, одетый в полушубок, я словно бы притро-

нулся к чему-то прежде не видимому, закрытому в Федоре Федоровиче, к обнаженной душе его, что ли, и весь он со своими всегда *умными* мыслями, со своей *научной* устремленностью, с глубоко скрытым желанием производить только хорошее впечатление на людей и старанием, с каким он делал это, раньше как будто не замечаемым мною, казался теперь совершенно иным, разгаданным, ложным, и ложь эта была очевидна не только в словах, но в интонации, во всем лице, повернутом на меня, в сутулости, как он стоял, втянув и без того короткую шею в плечи. Я до сих пор не могу уяснить себе, что заставляло его так волноваться. Никаких порочащих дел ни с Моштаковым, ни с Андреем Николаевичем он действительно-таки не имел, о моштаковских ларях, как выяснилось потом, знал весьма отдаленно, а точнее, только догадывался, что они есть, но старался не думать о них, и ничем ему не угрожало моштаковское разоблачение, но вот волновался же, боялся чего-то, как будто краденое зерно хранилось не у старого Моштакова, а у самого Федора Федоровича. Может быть, боялся, что в разоблачении заподозрят его и он будет ходить затем по деревне как меченый под недобрыми взглядами председательской и моштаковской родни («Люди злы, обид не прощают, рано ли, поздно ли, а подставят и тебе ногу», — как-то говорил он мне, но только теперь, запоздало, вдруг, я понял весь ужасающий смысл этих слов; есть же люди, постоянно терзающие себя ожиданием, когда и кто подставит им ножку!); но, может быть, лишь из привязанности к Андрею Николаевичу, из опасения потерять однажды приобретенного в кои-то годы друга, из опасения, что с потерей друга, а в сущности, потерей поддержки, нарушится общий привычный ритм жизни, или, может быть, исходя только из той философии, как Владислав Викентьевич, как Пелагея Карповна, что они, моштаковы, тоже делают *своего рода* доброе дело, и потому их не следует трогать, *из такого* понимания и толкования добра людям, но так или иначе, а Федору Федоровичу не хотелось, как он выразился, шума, и он, держа меня за полы полушубка и по-прежнему преграждая дорогу к выходу, снова и снова старался внушить, что делаю я непростительный, неверный и глупый по молодости шаг. Он говорил: «Надо же сначала узнать все как следует, удостовериться, уточнить, поговорить с самим Степаном Филимоновичем, на худой конец, с Кузьмой, с бригадиром, и, я уверен, все можно выяснить и уладить. В конце

концов куда же оно денется, это зерно; к чему такая поспешность? — И в голосе, и в глазах, как он смотрел, было искреннее желание остановить меня. — Снимайте полушубок. Снимайте же и не противьтесь. Куда вы в такую морозную ночь? Нет-нет, милости-с-сударь, я считаю своим долгом...» Я как будто слушал Федора Федоровича, смотрел на него, но, по-моему, воспринимал далеко не все, что он, чем дольше мы стояли друг против друга, тем с большей убедительностью старался внушить мне; мгновенно, как это часто бывает, я вспомнил все предыдущие встречи и разговоры с Федором Федоровичем, начиная с первой, что произошла в доме Андрея Николаевича, и — так уж устроено человеческое сознание! — с удивлением, на секунду как бы перекинувшись на *то* краснодóлинское застолье и представив себя с *тем* глупо-восторженным выражением, как я смотрел на Федора Федоровича и Андрея Николаевича, поднимая вместе с ними наполненную водкой рюмку, с удивлением и насмешкою над собой думал, что все это, что открылось в Федоре Федоровиче, можно было увидеть еще тогда; и в том, как он выслушивал похвалы Андрея Николаевича (глядя сейчас на его обеспокоенное лицо и замечая это беспокойство, я вместе с тем видел и то, раскрасневшееся и расплывшееся в довольстве, и невольно морщился, так как все это было неприятно мне), и в том, как сам он хвалил заведующего райзо и поднимал за него тосты, и пьяный храп в комнате, где мне постелили тогда постель, и торчащая нога в белых кальсонах, и, главное, подвода и мешок с мукой, внесенный на остекленную веранду, к которому, конечно же, Федор Федорович не имел никакого отношения, но мне казалось в эту минуту, что имел и что ничем иным, а только этим и объясняется все его теперешнее поведение. «Все вы заодно, — мысленно восклицал я, — все!» Я вспомнил и то, как мы ехали на подводе в Долгушино, и разговор о долге агронома, о науке и мужицкой практике земледелия, и рассуждения те казались мне теперь лишь отвлекающею глаз накидкой, под которой скрывалось совершенно иное, чуть ли не моштаковское, по крайней мере так казалось мне теперь, нутро. «Как он стелил: доброта, мягкость! — говорил я себе. — Вот оно все!» И те приветливые возгласы: «Ба! Алексей! Добро пожаловать! Милости просим!» — какими каждый раз встречал Федор Федорович, когда я приезжал в Чигарево, и *стопочки*, какие появлялись непременно к ужину на столе, и похвалы,

какими он, особенно при дочерях, одаривал меня, — все казалось ложным, искусственным, и оттого, что я понимал это, еще больше морщился. «Я видел то, что хотел видеть, — упрекал я себя, — а не то, что было на самом деле. Но теперь хватит, довольно!»

«Разрешите», — сказал я, настойчиво отстраняя Федора Федоровича и направляясь к двери.

«Ну что ж, дело хозяйское, — в ответ проговорил он. — Я предупредил, а теперь как знаешь. Сам заваришь, сам и расхлебывать будешь, а я — я ничего не слышал и ничего не знаю».

Я уже взялся за ручку и готов был открыть дверь, но, услышав эти слова, обернулся и еще раз взглянул на Федора Федоровича. За его спиной, за кухонным порогом стояла виновато-смущенная, жалкая Дарья.

«Да, да, — подтвердил Федор Федорович, — хлебай сам, милостив-с-сударь».

Уйти, не ответив на это, чувствовал, было нельзя; я хотел сказать: «Да, сам и расхлебаю», — но вслух произнес совсем другое.

«Краденое, — неожиданно для себя повторил я уже не раз говоренное сегодня. — Краденое!» — И, рывком открыв дверь, через холодные и темные сенцы вышел во двор.

В ту минуту, когда стоял на крыльце и вглядывался в очертания навеса и конюшни и в темные на снегу, незапряженные сани, на которые падал оконный свет, я еще не испытывал раскаяния, что так резко и непримиримо разговаривал с Федором Федоровичем, и сомнения еще не терзали меня — все это придет часом позже; я был так возбужден, что и мороз казался не морозом, и пронизывающий ветер и начинавшаяся поземка, как бы пригоршнями холодных и колючих игл хлестнувшая по лицу, не только не заставили поднять воротник и отвернуться, но, напротив, как был расстегнут полушубок — не застегивая, лишь запахнув полы, я двинулся навстречу ветру и поземке к воротам. На улице ветер дул еще сильнее; как по желобу, гнал он вдоль засутробленных изб и плетней завихрывающие струи снега, монотонно и жутко пошвистывая в бревенчатых сплетениях и застрехах под соломенными крышами; люди сидели по избам в этот предночной метельный час, и, может быть, оттого, что вокруг было пустынно, лишь желтыми квадратами кое-где светились не закрытые ставнями окна, и, конечно же, от холода, который, не пройдя и двадцати шагов, я на-

чал ощущать и ежиться, на какое-то мгновение я казался себе одиноким, бессильным, жалким (чувство это, впрочем, было уже знакомо мне: я всегда испытывал бессилие, когда вносил в дом обмененную на отцовские костюмы муку; бессилие перед какой-то огромной и неубывающей армией «мучное брюшко»), жалким со своей ненавистью к Моштакову, со своим пониманием добра и зла, таким ясным, простым для меня, но почему-то, в силу каких-то непонятных причин неясным и сложным для понимания других. «Не хотят, своя мерка дороже, вот что», — говорил я себе. Я поднял воротник и стоял; повернувшись спиной к ветру, раздумывая, куда пойти теперь. О председателе не могло быть и речи, потому что каким-то будто звоном отдавались еще в ушах слова Дарьи: «Они здесь все заодно... и председатель... и все...» Нужно было к участковому уполномоченному милиции Старцеву (он был один на несколько деревень, в том числе и на Долгушино), я знал, что он живет в Чигиреве, но где, в каком доме? Невольно, будто действительно таким образом можно было что-то узнать, я начал приглядываться к сгорбленным на снегу вдоль улицы избам и вдруг увидел вдали, сквозь вихри поземки, приближавшиеся серым клубком запряженные парой лошадей сани. Не могу сказать, сразу ли я узнал, что это были выездные, с мягкими подушками сани заведующего райзо Андрея Николаевича, или уже потом, когда заснеженная упряжка поравнялась со мной (я хорошо помнил сытых и резвых земотделовских коней), но не в этом суть; важно, что узнал, и когда сани свернули во двор сортоиспытательного участка, мне показалось, что ветер донес знакомый и, как в те минуты я воспринимал, ложноприветливый возглас Федора Федоровича: «Ба! Кто к нам!»

«Заодно, — полуобернувшись и глядя в темноту, в сторону скрывшихся за воротами саней, вслух, не боясь, что кто-либо услышит (не боясь именно потому, что вокруг никого не было), проговорил я. — Все заодно! — И при этих словах как будто новый прилив решимости охватил меня. — Хорошо, — продолжил я, словно они, Федор Федорович и теперь приехавший к нему Андрей Николаевич, к кому я обращался, могли слышать меня, — сам заварил, сам и расхлебаю. Тоже мне, *своего рода* добро... Посмотрим», — докончил я вызывающе, будто и впрямь не у Моштакова, а у них, Федора Федоровича и Андрея Николаевича, хранилось краденое зерно.

К Старцеву, его звали Игнатом Исаевичем, я попал не сразу; прежде еще пришлось постучаться в несколько изб и пройти затем через все Чигарево на другой конец деревни, наклоняясь навстречу ветру и колкой поземке; когда же наконец остановился у порога старцевской избы, ожидая, пока жена Игната Исаевича, громыхая в темных сенцах деревянным засовом, откроет дверь, чувствовал себя настолько продрогшим, что на вопрос хозяйки, кто я и зачем пожаловал, долго не мог сказать ничего внятного, губы не слушались, да и голос казался будто не своим, чужим, неуправляемым.

«Из Долгушина! Пешком! — воскликнула она. — Проходите».

В комнате, на свету, у двери она обмела веником снег с моего полушубка, когда же, раздевшись, я прошел к теплой еще, как видно, недавно топленной печи, она подала табуретку и, сочувственно и жалостливо, как Пелагея Карповна, поглядев на меня, сказала:

«Отогревайтесь, Игнат Исаич (мне иногда кажется удивительным, отчего многие деревенские женщины называют своих мужей по имени и отчеству, а не просто Игнатом, или Андреем, или хозяином; от уважения ли к главе семьи, или, может быть, от той значимости на селе, какую, как им должно представляться, пользуются их мужья, и значимость та вызывает опять-таки гордость и уважение, а может, всего-навсего старая и забываемая теперь традиция? Но как бы там ни было, а величание всегда производит на меня доброе впечатление, словно что-то большое и важное кроется за словами этих деревенских женщин, за тоном голоса, как они говорят — Игнат Исаич! — сознание, может быть, не просто жизни, а места человека в ней! С первых же минут, как только она заговорила, почувствовал, что отогреваются не только руки, лицо, грудь, но какое-то будто иное, чем от печи, тепло проникает в душу, в сознание, выравнивая и укладывая течение мыслей в спокойное и привычное русло), — Игнат Исаич, — между тем продолжала она, словно специально для меня подчеркивая достоинство и почтенность мужа, — скоро придет. Он недалеко, здесь, через две избы, у Сыромятниковых».

Я сидел молча. Лампа горела на столе, за спиною, и тень от моей головы и плеч ложилась на белую стену печи, изламываясь у заставленного чугунами шестка

и заслонки. Хозяйка не беспокоила вопросами, я не обращивался и не видел ни ее лица, ни того, что она делала, а временами вообще как будто забывал о ней, и тогда, может быть, именно оттого, что отогрелся у теплой печи, а может, просто от наступившего вдруг после всех переживаний покоя (не знаю, как бы могли мы жить, не будь в человеке этого защитного средства, что ли — покоя!) и мысли и воображение по каким-то неизвестным, во всяком случае, неведомым мне законам бытия поминутно словно вырывали меня из *этой* обстановки, от Моштакова, Федора Федоровича, Андрея Николаевича; о ком я как раз и должен бы думать, и переносили в иную, в то недалекое довоенное прошлое, когда еще был жив отец, и о войне если, может быть, и говорили взрослые, то негромко, скрытно, про себя (по крайней мере, я никогда не слышал в доме ни от отца, ни от матери слова: «война»); в общем, все то, как я, прожив свои двадцать лет, видел и понимал мир, вставало теперь перед глазами, объединенное одним понятием *жизнь*, и вместе с тем четко и ясно разделенное надвое бороздою, по одну сторону которой — все, что было хорошего (разумеется, в людях!), мир добра и справедливости, а по другую — что я ненавидел и что представлялось оскорблением жизни (разумеется, что тоже было в людях!), мир зла и несправедливости, и я лишь с изумлением и недоумением спрашивал себя: «Почему? В чем причина? Где корень всему?» Я как будто уходил от того вопроса, — раскрытые мною моштаковские лари с зерном! — который должен бы волновать меня, и старался найти ответ на другой: почему существует зло, если оно так очевидно и вполне истребимо каждым человеком в себе, и это так просто? — и как будто не было никакой связи между тем, о чем я должен бы думать и о чем думал, и на душе действительно-таки чувствовалось облегчение (но на самом деле это только казалось, что не было связи); в конце концов когда появился в избе Игнат Исаич, я снова уже и с негодованием размышлял о Моштакове, а вместе с ним и о Федоре Федоровиче и об Андрее Николаевиче, который там, у Федора Федоровича, в избе, за самоваром, тайно сговаривался сейчас со своим старым другом, как *остановить* меня и спасти моштаковские, а в сущности, свои лари, наполненные краденым колхозным хлебом, — словом, думал о них, потому что они-то как раз и составляли главное зло в моем тогдашнем понимании. Но до появления Иг-

ната Исаича было еще далеко, вопреки обещанию хозяйки, он запоздал, так что около часа я просидел неподвижно возле теплой печи, мысленно рассуждая сам с собою; Игнат Исаич был для меня властью, законом, вернее, блюстителем закона, и потому я ни секунды не сомневался, что он-то (это не Федор Федорович!) сразу поймет что к чему и немедленно примет меры. Мне представлялся мир, разделенный надвое, на добро и зло, и все казалось настолько несложным и ясным и так четко отличимым друг от друга, как две, черная и белая, полосы, проведенные рядом, что именно изумление, а никакое иное чувство охватывало меня перед всей этой очевидной ясностью и простотою. Но странно — в то время как все представлялось ясным, ответа на вопрос, почему же все-таки существует зло, не было; и не было потому, что я искал его на поверхности; это только нам кажется, что добро и зло — категории ясные, а на самом деле, даже тогда, как только я начинал разбирать то или иное явление, перед глазами возникал клубок связанных между собою звеньев, и связь эта выглядела настолько многообразной и взаимовлияющей, что чем пристальнее я всматривался в нее, чем глубже, казалось, проникал в суть явления, тем отдаленнее и туманнее представлялась истина. «Удивительно, — говорил я себе, — какая-то чертовщина», — и только что волновавшие воображение картины повторялись, я опять видел казавшееся мне далеким-далеким детство — и это в двадцать-то лет! — когда не просто сознание жизни, или, как это должно быть, радость бытия, нет, а сложность и, не побоюсь сказать, трудность (прожить беззаботно, убежден, не хитрое дело), *соль* жизни проникали в мое детское сознание.

Снова все начиналось с той длинной дороги в деревню, которая была особенно памятна мне, — на телеге с деревянными осями, с берестяным ведерком, болтавшимся между задними колесами (в нем был черный и тягучий деготь для смазки), мы ехали с отцом в Старохолмово покупать дом. Как участнику гражданской войны и ударнику производства отцу выделили земельный участок на окраине города (тогда, знаете, многим давали участки, индивидуальное строительство поощрялось; ведь надо же было поднимать страну из разрухи), дали ссуду, теперь-то знаю, обещали помочь и строительными материалами, но дешевле и проще было в то время купить в деревне дом на снос и перевезти в город; так де-

ляли многие; так решили и мои отец и мать. Я не про­сился в дорогу; отец сам взял меня, и это было событием в моей жизни, я и сейчас считаю, ступенью, откуда начинается сознание, память и где, если хотите, берет начало эта самая различительная черта между добром и злом, которая и теперь остается для меня неиз­менной и помогает определять отношение к людям и со­бытиям. Так вот, я словно опять ехал в деревню и то смотрел на круп лошади, как тогда, в тот ясный летний день, на шлею, которая казалась мне лишней и мешала ровному шагу рыжей и тощей лошаденки, то на колесо и колею, серую в обрамлении тронутой желтизною, но еще зеленой и местами сочной травы, то на солнце, кото­рое как бы висело над лесом, куда мы ехали, и от созре­вавших хлебных полей возникало чувство радости, до­бра, жизни; я смотрел вокруг, и все мне казалось необыкновенным и не просто наполненным добром, но щедрым и единым в этой своей доброте; и двор старой мельницы, куда мы заехали отдохнуть и пообедать, тесный от подвод и звуков: хруста жующих сено лоша­дей и говора мужиков в рубахах, краснощеких, с кнутами в руках и заткнутыми за пояса, кнуты эти тоже казались частицею того единого доброго мира, как все предста­влялось тогда, и пожилая мельничиха в захватанном фартуке, принесшая нам молоко, и тысячи мух, которые как бы роились над всем двором и над столиком из до­сок, за которым мы сидели, — все-все и теперь, когда вспоминал, укладывалось в одно приятное чувство, а те­пло от печи, перед которой сидел, и запах борща и пече­ного хлеба, чем пахнут все русские печи в деревнях, лишь усиливали то вдруг вернувшееся впечатление детства. Я так и уснул тогда в дороге, не дождавшись Старо­холмова, и отец укрыл меня, съездившегося на колких объедках сена, которыми была заполнена телега, своим теплым с плеч пиджаком; уснул с тем ребячьим понима­нием мира как всеобщего добра и счастья, не ведая, что уже наутро жизнь прорежет первую и видимую даже для детского взгляда трещину, словно промнет свежую тропу наискосок по несжатому пшеничному полю. Наутро мы торговали два дома, вернее, отец торговал, а я лишь смотрел то на отца, то на хозяев, с которыми он разго­варивал. Первый дом, который все называли пятистенни­ком и к которому прежде всего направился отец, стоял почти в самом центре Старохолмова, даже не стоял, не то слово, а возвышался, привлекая внимание и резным

крыльцом, и еще как будто новой тесовой крышей, и когда отец (а вместе с ним и я, не отставая ни на шаг), обходя вокруг дома, обстукивая бревна, желая убедиться, нет ли гнили или какой другой порчи в сердцевинах, толстые, не совсем еще потемневшие от времени венцы, казалось, звенели сухим приятным звоном, и хозяин в жилетке и с выпущенной из-под жилетки рубахой, сухощавый, с ровным пробором чуть начавших редеть русых волос, с усмешкою поглядывал на отца, то и дело произносил: «Для себя рублен, не на продажу». Именно эта его усмешка больше всего запомнилась мне; я заметил ее в первую же минуту, как только мы подошли к дому, и на ступеньках, встречая нас, вырос хозяин (я не расслышал ни имени его, ни отчества; да и важно ли это?); прежде чем сказать первое слово, он молча и как бы свысока осматривал нас, думая про себя, наверное, что, мол, за покупатели такие явились и хватит ли у них денег на его хоромы, и эти мысли его (а теперь я добавил бы: и презрение, которое, конечно же, он не мог не испытывать к нам) были отражены на его сморщенном усмешкою лице:

Он спросил:

«Мошна большая?»

«Денег сколь, что ли?»

«Да».

«Хватит».

«Ну-ну, поглядим...»

Не то чтобы я понимал все, что и как было (это ведь сейчас я так ясно все представляю и оцениваю), шел мне всего лишь седьмой год; но как ни малю бывает наше детское разумение, каким-то, даже затрудняясь сказать, седьмым ли, десятым ли, а может, как раз первым и самым обостренным детским чутьем уловил я то недоброе, что жило в этом человеке, и мне было жалко отца, когда он, стараясь не замечать хозяйского презрения, разговаривал с ним (хотелось же купить дом получше!), и с ненавистью, впервые, может быть, возникшей во мне, смотрел на этого незнакомого сухощавого человека в жилетке, выдвигаясь вперед, чтобы он непременно понял мой взгляд, и, в конце концов, тоже в упор посмотрев на меня, он не выдержал и, как бы цедя слова сквозь зубы, проговорил:

«Эк волчонок какой растет, чисто волчонок».

Он запросил за дом сумму, какую отец не мог ему заплатить.

«Вы серьезно? — с удивлением произнес отец. — Кто же вам даст такие деньги!»

«Найдутся, дадут».

«А дешевле?»

«Нет».

«Но, может...»

«Дешевле — поищи рядом».

«Ну какой это разговор!»

«Поищи, поищи», — повторил он, снова и с той же презрительной усмешкою оглядев отца и меня с ног до головы. Одеты мы были в старое, поношенное — что же еще можно было надеть в дорогу! — и это, думаю, как раз и вызывало в нем недоверие к нам; но, может, не только это. Я помню, как мы выходили со двора, провожаемые с крыльца прищуренным хозяйским взглядом, как отец, уже очутившись на улице, еще несколько раз останавливался и, полуобернувшись, смотрел на пятистенник; дом нравился отцу, я понимал это и, мне кажется, переживал вместе с ним и тем сильнее испытывал неприязнь к хозяину, оставшемуся на ступеньках, неосознанно, а лишь детской интуицией видя в нем неожиданно открывшееся на всеобщем фоне добра и счастья зло. Конечно, может быть, не так уж и ясно я представлял себе все это, о чем говорю сейчас, но вот сохранилось же чувство, а значит, оно было, и я не мог выдумать его; оно повторялось во мне теперь, то чувство, когда я сидел возле печи в старцевской избе, глядя на шесток и не видя его и не сознавая, что за спиною, у стола, так же уютившись на табуретке, вся освещенная ярко горячей керосиновой лампой, сидит хозяйка и с жалостью ли, осуждением или иным каким чувством смотрит на мои сторбленные плечи; да, оно повторялось; вместе с тем как я видел себя идущим рядом с отцом и моя маленькая рука, казалось, грелась в его теплой и жесткой ладони, вместе с тем как я будто оборачивался, подражая отцу, и оглядывал добротный и, как я уже говорил, словно возвышавшийся над всеми другими избами пятистенник — я испытывал нараставшее с каждой минутою чувство и страха и ненависти к этому вдруг открывшемуся злу. «Вот откуда все! С него... все начинается с него», — мысленно повторял я пришедшие на ум, несомненно, только теперь слова, но мне казалось, что я произносил их тогда, во всяком случае, что-то очень схожее по смыслу, хотя, конечно, *тогда*, в Старохолмове, я не мог ни думать так, ни тем более произносить что-либо близкое

к этому; я лишь смотрел на все, может быть, действительно-таки волчонком, и когда мы второй раз пришли к хозяину пятистенника, помню, что-то заставило меня спрятаться за спину отца и уже оттуда, как бы из-за укрытия высунув голову, наблюдать за сухощавым и казавшимся мне злым (как будто еще отчетливее на лице его виднелась презрительная усмешка) человеком.

«Ну так что же, хозяин, спускайся с крыльца, потолкуем», — сказал отец.

«А чего толковать?»

«Порядимся, может, и сойдемся в цене».

«Давай-ка иди подальше, дом пока еще мой, сколь хочу, столь и возьму. Есть деньги, клади, нет — ступай, ищи по карману. Все».

«Да что же так-то?»

«Все!»

Мы купили другой дом, похуже, у пожилой одинокой женщины, которая уезжала куда-то на стройку, в какой-то «барак али еще что», куда приглашал ее сын; отец долго ходил вокруг избы, так же как и пятистенник, обстукивая ее, разглядывал никогда не знавшие краски и, казалось, посиневшие от времени оконные рамы и ставни и потом, вечером, за лампою, подсчитывал, что придется заменять и обновлять и во что это обойдется, а я с полатей, куда уложили меня, смотрел на его склоненную над столом и клочком бумаги голову. В сознании моем возникал теперь и этот вечер, и все последующее, как перевозили и устанавливали дом, и особенно то, каким виноватым чувствовал себя отец перед матерью, когда наконец обрисовались контуры купленной им, как определила мать, халупы, и я испытывал теперь запоздалую боль за отца и снова и снова как бы видел перед собой оставшегося там, на ступеньках крыльца, сухощавого и злого хозяина пятистенника. «Все с него... конечно же, какой тут может быть разговор!» — уже с ненавистью восклицал я, и как бы сама собою прочерчивалась линия от того хозяина к Моштакову через сенной базар и вещевой рынок, через всех памятных мне мужичков — «мучное брюшко», с которыми сталкивала жизнь, и еще с десятками разных людей: и в техникуме, и среди знакомых нашей семьи, среди соседей, в которых так или иначе я видел хитрость и ненавистное мне зло; все они как будто выстроились, и в самом конце, венчая строй, возвышался над всеми, как тот пятистенник, Моштаков со своими хлебными ларями; рядом же с ним были и Фе-

дор Федорович и Андрей Николаевич. Я понимаю, что смешно и нелепо так представлять все, но в том состоянии, в каком находился я, в той горячности, какая охватывала меня, все казалось верным. Да иначе и не могло быть. «Вот они, — говорил я себе самые обыкновенные и самые, наверное, заезженные, но для меня, несомненно, звучащие как откровение слова, — паразиты на теле человечества».

За спиною все так же было тихо и так же ярко горела керосиновая лампа; но, может, мне только казалось, что было тихо? Во всяком случае, до появления Игната Исачика, до той минуты, когда он, шумно войдя в комнату, воскликнул: «Это кого еще к нам на ночь глядя!» — ничто не прерывало моих размышлений; я не только думал о Моштакове и не только видел перед собой зло; оно было лишь по одну сторону борозды, тогда как по другую тоже лежал мир. Он, этот мир доброты и человечности, как бы заслонял все и начинался для меня также в Старохолмове; память опять уводила к тем местам и тем дням, когда мы перевозили из деревни в город купленный дом. Отец подрядил трех чувашей-единоличников, и я напросился ездить с ними сопровождающим — от Старохолмова до города и обратно. Я мог бы, кажется, часами рассказывать о том, что и как они делали, как размечали венцы, оставляя топором зарубки на каждом бревне, как наваливали эти бревна на разобранные и раздвинутые телеги и увязывали веревками и цепями, как медлительно будто и вместе с тем споро подвигалась работа, но все это было лишь внешней и привлекательной стороною, тогда как главное, что поразило меня и что оставило неизгладимый след на душе, была неиссякаемая и, казалось, жившая даже в складках их простоватой холщовой одежды доброта. Не то чтобы они были ласковы ко мне, что ли, нет, для них было равно все: и я, и свои лошади, которых они считали кормилицами, и бревна, которые поднимали, и трава, и дорога, и небо, и лес, на опушке которого обычно останавливались, чтобы покормить лошадей, — все было для них как бы одухотворенным, живым, требовавшим уважения, и они отдавали уважение с той естественностью и простотою, что нельзя было не удивляться, глядя на них. И я удивлялся, не так, конечно, как сейчас, не рассуждая столь въедчиво, вернее, вовсе не рассуждая, а лишь чувствуя всей детской душою доброту этих людей и сам оттого, мне кажется, становясь добрее и ласко-

вее. А ведь ничего особенного как будто и не было; просто перед тем, как отправляться в дорогу, когда бревна бывали уже увязаны на телегах, мужики присаживались на обочине, закуривали, передавая кисет из рук в руки и начинали почти каждый раз один и тот же разговор: какую из лошадей пускать передом?

«Ну? — спрашивал обычно самый старший из мужиков, шевеля густыми и светлыми, словно покрытыми дорожной пылью усами. И лошаденка у него была чалая, будто под цвет усов. Она казалась крупнее двух других, выглядела более справной, и хозяин-чуваш не без заметной гордости поглядывал на нее. Но он не хотел обижать напарников и потому, обращаясь то к одному, то к другому, продолжал: — Как разумеем-будем?»

«Оно можно бы и мою, Митрив-то вывозили, так передом шла», — вставлял первый.

«Можно-ть и мою, — вмешивался в разговор второй, — но только твоя, Тимофей (так звали чуваша со светлыми усами), на овсе нынче, и шаг должен быть покрепше, а путь — эвона!»

«Овес-то, да-а...»

«Надо пускать чалую».

«А ты как?»

«Чалую».

«Ну так что, порешили?»

«Да».

«Тогда с богом», — завершал разговор Тимофей и, поднявшись, не спеша направлялся к своей лошади, брал ее под уздцы и выводил в голову небольшого, три подводы, обоза.

И в самом деле, как будто ничего особенного не происходило — поговорили, встали и пошли, — но надо было сидеть рядом с ними, надо было видеть их лица, слышать негромкие и неторопливые, исполненные достоинства голоса; я тоже подымался и шел вместе с Тимофеем, боясь прозевать ту минуту, когда он, запустив ладонь под гриву, примется хлопать чалую по шее, и лошадь, словно отзываясь на ласку, тут же повернет морду и, шевеля розовыми губами, потянется к его руке; а Тимофей, достав из кармана корку хлеба, с ладони скормит ее чалой. Не знаю, хорошо ли, плохо ли, но эта маленькая сценка всегда производила на меня особенное впечатление; за обедом и ужином я набивал карманы хлебными корками, а потом, стараясь делать так, чтобы никто не видел, подходил сначала к чалой и, подражая хозяину-

чувашу, а если откровеннее, воображая себя хозяином, тянулся рукой к потной лошадиной шее, чтобы похлопать ладонью, погладить, обласкать, что ли, а затем скармливал, как и Тимофей, хлебную корку, протягивая ее в пригоршне, в сложенных вместе ладонях. Мне было приятно чувствовать, как мягкие, влажные лошадиные губы прикасались к моей руке. Я видел, что чалая и от меня так же принимала ласку и хлеб, как от хозяина, и это вызывало во мне тихий и скрытый восторг. Я иногда думаю, что, может быть, эта однажды испытанная детская радость тоже повлияла на выбор профессии, почему я стал агрономом, а не кем-нибудь еще; мог бы пойти учиться, скажем, в железнодорожный (был у нас и такой техникум в городе), а не в сельскохозяйственный, но это так, к слову; я подходил не только к чалой, а и к другим двум, так как мне хотелось всех одарить своею *хозяйскою* щедростью, и потом довольный и счастливый сидел на возу на бревнах и смотрел, как покачивались дуги над конскими шеями, как натягивались гужи, отдаваясь звонким ременным скрипом, и как шагали мужики-чуваши, каждый против своей лошади, бросив вожжи на круп, молчаливые, задумчивые; за всю дорогу они, казалось, не произносили ни слова, но для меня важны были не слова, а поступки, как мужики помогали лошаденкам вытаскивать возы в гору, а на уклонах завязывали одно из колес для торможения, как при малейшей остановке ослабляли супони и чересседельники и подбрасывали к ногам сухое или тут же, на обочине, накошенное сено; и их язык, язык доброты и человечности, признание равным и достойным уважения все живое и неживое, бережливость движений — все было для меня откровением, и хотя прошло с тех пор столько лет, а я помню самые разные подробности. Именно они, эти подробности, вставали передо мною в минуты, когда в тихой старцевской избе я отогревался возле печи, и так же как зло выстраивалось в воображении в одну сплошную линию, так и добро представлялось как бы линией, начинавшейся от тех возниц-чувашей и вбиравший в себя отца, мать, братишку и сестренку, Владислава Викентьевича и еще десяток разных попадавших на мое и недолгом жизненном пути людей, друзей по техникуму, товарищей, с которыми я и теперь, хотя; правда, изредка, но все же переписываюсь; к этой же черте примыкала и Пелагея Карповна с дочерью Наташей (к тому времени, откровенно говоря,

я ведь и о них знал лишь то, что было на виду), и даже сидевшая за спиной хозяйка этого дома.

«И все — люди!..»

«Вы что-то сказали?» — услышал я тут же голос хозяйки.

«Ничего, так, сам с собою».

«А-а. А то, может, сходить за Игнатом Исаичем? Что-нибудь срочное?»

«Нет, спасибо, не надо. Я подожду».

«Из Долгушина, говоришь? — начал Игнат Исаевич, хотя я еще ничего не говорил ему, а только смотрел, как он, войдя с мороза, сбросил с плеч полушубок и теперь, взяв табуретку, присаживался напротив меня. — Агроном? Пономарев? Алексей Петрович?»

«Да», — удивляясь осведомленности Игната Исаевича и оттого глядя прямо на его раскрасневшиеся в тепле после метельной улицы щеки, ответил я.

«Выкладывай, с чем пожаловал?»

Я понимал, что нельзя торопиться, что надо объяснить все обстоятельно и спокойно, но, видимо, чувства наши чаще всего бывают выше разума, и потому только первую фразу: «Дело тут сложное, так что извините, я начну издали» — и смог произнести как будто без волнения и спешки; но потом уже не следил за своей речью, говорил разгоряченно и торопливо и когда закончил, то вдруг обнаружил, что не сижу, а стою перед участковым уполномоченным и кому-то (кому же еще? Конечно, Моштакову) продолжаю угрожающе помахивать пальцем. Я рассказывал обо всем, упомянул даже про мешок с мукой, что старый Моштаков вместе с сыном (хотя и произошло это почти два года назад, но ведь с этого, собственно, все и началось!) привозил Андрею Николаевичу, и лишь о Федоре Федоровиче, у которого был только что, перед приходом сюда, не сказал ни слова; жалко ли стало пожилого семейного человека, или еще не верилось (хотя чему же тут было не верить?), что он со всеми заодно, или уж явное его желание не впутываться ни во что подействовало на меня, не знаю; помню лишь, что ощутил себя неловко, потому что мне показалось, что Игнат Исаевич догадался, что я что-то утаил от него.

«Я сказал все», — поспешно добавил я, тем самым еще более выдавая себя и краснея.

«Да уж куда больше,— подтвердил Игнат Исаевич, у которого было свое на уме.— А впрочем, я ведь давненько уже поджидаю вас».

«Меня?»

«Не лично, конечно, а сведения, которые вы принесли,— уточнил он и, поднявшись с табуретки и повернувшись к жене, просто, как это, видимо, было уже привычно и ему и ей (не раз, я понял, рассуждали они между собой о Моштакове), проговорил:— Ты слышала, Марусь, что агроном рассказал? Ну, так кто был прав, а?»

«Разве я спорила?»

«Но сомневалась?»

«Мало ли что, куда ему деньги копить?»

«Э-э, куда? Еще древние мудрецы, вот пусть агроном подтвердит, говорили, что жадности человеческой нет предела! Меня не проведешь. Но как же все-таки этот старый хитрец опростоволосился и оставил кладовую открытой?»

«Не знаю»,— опять же торопливо, как будто вопрос относился ко мне, ответил я.

«Может, оттого, что меня не было?— усмехнувшись, проговорил Игнат Исаевич.— Ведь оно как,— обратился он ко мне,— я еще только собираюсь в Долгушино, а он — уже все на засовы. За сотни верст чует! Ну да ладно, все это шуточки, а главное, хорошо, Пономарев, что пришел ко мне. У председателя был?»

«Нет».

«В сельсовете?»

«Нет».

«У этого, у своего начальника, у Сапожникова?»

«Нет»,— машинально ответил я и, когда слово вылетело, уже запоздало почувствовал опять неловкость и, желая скрыть смущение, снова прямо и открыто посмотрел на Игната Исаевича.

«Ну ладно,— повторил он, как потом я заметил, свое излюбленное присловие,— на улице метет, идти тебе никуда не надо, ночуй здесь, у нас, а утром подумаем, что предпринять. С обыском, видишь ли, нужен ордер, а это — в Дóлинку, к прокурору, это — время, да еще и обоснование, так что утром обмозгуем. А в общем, ты очень правильно поступил, что пришел ко мне, Моштаков давно уже у меня... да ладно, что говорить, утро вечера мудренее».

Мне постелили в передней на двух составленных друг с другом скамьях, и я долго вертелся на этой жесткой

постели, не в силах не только заснуть, но даже закрыть глаза. Разговором с Игнатом Исаевичем я был как будто вполне удовлетворен, но вот не спалось, и я то прислушивался к завываниям ветра за окном, то к тому, как скреблась где-то словно в бревенчатой стене мышь, и непонятно отчего грустные мысли приходили в голову; я думал о матери, о сестренке и братишке, о том, как мы жили все эти годы — холодные и голодные годы войны, — и было как-то невероятно жалко и мать, и себя, и брата с сестренкой за эту нашу трудную без отца жизнь, и жалко было Пелагею Карповну с Наташей, потому что и в них я видел то же, что и в себе, да и в избе Игната Исаевича чувствовалась все та же нелегкая и еще не вошедшая в прежние, довоенные, что ли, берега жизнь, и опять, как продолжение недавних и прерванных лишь появлением Игната Исаевича размышлений, вытягивались две параллельно бегущие, как ленты шоссе, полосы — *добро, зло*, — и не было видно ни начала, ни конца этим линиям, и никакого намека, чтобы они сомкнулись в одну светлую и радостную для людей полосу общего понимания и счастья (бывают же мгновения, когда ни во что не веришь!); я гнал от себя эту мысль, что нет и не будет конца злу, и говорил про себя: «Моштаковы не вечны!» — но то, что пытался внушить себе, никак не совмещалось с тем, что возникало перед глазами и волнением и грустью оседало на душу. Но не спал не только я; Игнат Исаевич с женою хотя как будто и лежали тихо в соседней комнате и свет давно был погашен, но в какие-то минуты вдруг отчетливо начинал доноситься до меня их шепот:

«Ему-то зачем? Этого вот понять не могу».

«Андрюшке, моштаковскому зятю, что ль?»

«Да. И должность, и депутат райсовета, и уж, что говорить, весь на виду, а отсечь старика от себя не может».

«Хочет ли?»

«Э-э, хочет... Не может!»

«Конечно, как же, Таисья-то — кровь родная».

«Кровь, не кровь, а мы вот с тобой впутываемся в историю, это я тебе скажу, да-а».

«Боишься?»

«Нет».

«А если и в самом деле они...»

«Так ведь и я не дурак».

«Но он-то — депутат, кто разрешит...»

«Ладно, ладно, давай помолчим. Спи!»

Разговор затихал, и снова — лишь порывы ветра, смешанного с крупной и сухой поземкой, ударяли в окно, и в стене продолжала скрестись мышь, для которой ничего более не существовало в мире, кроме того, что она делала, пробиваясь *своим путем* к хлебу; я прислушивался к ней и думал об Игнате Исаевиче; разговор его с женой чем-то напоминал спор Федора Федоровича с Дарьей: и неожиданностью, и тем же как будто нежеланием вмешиваться, какое руководило начальником сортоиспытательного участка, а теперь чувствовалось в словах Игната Исаевича (как по формуле: не задевай других, не тронут и тебя, и жизнь будет идти день за днем привычной, спокойной чередой); но там, в избе Федора Федоровича, я был возмущен и негодовал, тогда как теперь, хотя и понимал *все*, но это *все* было как бы отдалено от меня: *все* воспринималось будто в полусне, и лишь яснее проглядывала бесконечность тех линий, что тянулись перед глазами, вызывая тревожное чувство одиночества и беспомощности.

В соседней комнате, однако, еще не спали, и после недолгого молчания снова донеслось оттуда:

«А Кузьма-то Степаныч, говорят, в Белебее дом ставит».

«Бабские сплетни. Чего ему в город, когда он отродясь мужик мужиком».

«Чего бы ни нужно, а ставит».

«Болтают люди».

«А ты поинтересуйся, проверь. Да и не на свое, а на чужое имя ставит».

«Откуда у него в городе родня объявилась?»

«Нашел».

«Брехня все».

«Тебе все брехня».

«Ты вот что, милая, я тебя не пойму: то ты защищаешь его, то нападаешь. Все еще забыть не мо...»

«Дурак!»

«Ну ладно, ладно, спи, а то агронома побудим».

Они еще перешептывались, громко, так что отчетливо было слышно, о чем говорили, но я не вникал в подробности; да и что мне было за дело, сватался ли Кузьма Моштаков к Марии до того, как женился на ней Игнат Старцев, а было это еще до войны, лет уже, как видно, десять назад, или не сватался, и почему не состоялась тогда свадьба (кое-что уже слышал я раньше об этом), что помешало, что послужило причиной, я лишь с не-

приятным чувством улавливал, что и в этом доме, как и в семье Федора Федоровича, нет, как видно, ни согласия, ни ладу, хотя никто из соседей, наверное, и не подозревает, а, напротив, все восторгаются и завидуют их семейному счастью; но, может, я преувеличивал, воображая все так (как, впрочем, все люди в минуты волнений и переживаний), потому что утром, когда мы встали и умывались, и потом, когда уже сидели за столом и завтракали, как ни приглядывался я к Игнату Исаевичу и как ни старался заметить хоть что-либо, что напомнило бы их ночной разговор, ничего увидеть не мог, они были веселы, говорили оживленно, и Игнат Исаевич, как и вчера, несколько раз подчеркнуто похвалил меня за то, что я пришел именно к нему, обнаружив моштаковские хлебные лари. «Ты молодец, — говорил он, — вокруг Моштакова давно уже целое гнездо свито, мы это знаем (я не стал уточнять, кто это «мы»); очевидно, председатель сельсовета или сотрудники районного отдела милиции; для меня важно было, что знали и что все мои предчувствия в отношении старого Моштакова были верными). Мы все знаем, — продолжал он, — но только, не схватив за руку, не скажешь, что вор. А рука у него скользкая, хитрая, но теперь-то, что ж, теперь главное — не спугнуть прежде времени, вот что». Он говорил еще в этом роде, и решительность его разоблачить Моштакова казалась столь искренней и очевидной, что я стал уже думать, да был ли вообще ночной разговор между ним и женой или все лишь приснилось мне?

Сразу же после завтрака Игнат Исаевич отправился к председателю сельсовета и за лошадьми, чтобы ехать в Долгушино, и я должен был сидеть и поджидать его, не выходя никуда из дому. «Я быстро», — сказал он, закрывая за собой дверь; но вернулся только к обеду и пришел не один, а с парторгом колхоза Дементием Подъяченковым. Я увидел их из окна, подходивших по расчищенной в снежном сугробе тропе к дому.

Может быть, оттого, что ожидание было для меня томительным, схватив шапку, я выбежал в сенцы и прямо с крыльца, едва приоткрыл дверь, крикнул:

«Собираться? Едем?»

«Погоди», — остановил Игнат Исаевич.

Все втроем мы вошли в избу; Игнат Исаевич и парторг присели, не раздеваясь, лишь расстегнув полшубки.

«Ну, так что у тебя там в Долгушине?» — спросил Подъяченков недовольным, как мне показалось, тоном.

«Я уже рассказывал Игнату Исаичу», — сказал я.

«Расскажи теперь мне».

«Тайная кладовая у Моштакова и хлебные лари, набитые зерном».

«Сам видел или кто сказал?»

«Сам видел».

«А если все это окажется враньем?»

«Но как же так, вот в этих ладонях держал зерно», — подтвердил я снова.

«Да-а, штука, — протянул Дементий Подъяченков. — А ну поподробней, что за кладовая и что за лари?» — спросил он, и я вынужден был вновь рассказывать все, как и что было, как я попал на конюшню к Степану Филимоновичу Моштакову и увидел приоткрытую в кладовую дверь.

«У меня сомнений нет, — в конце концов заключил Подъяченков и посмотрел на Игната Исаевича. — Хлеб в Долгушине мы не держим».

«Я тоже думаю, надо ехать, но ведь это будет самовольный обыск. А если он не пустит?»

«Не решится».

«Кто знает».

«Но в Красную Долинку нельзя. Это и время, и, сами понимаете, нельзя».

«А что делать?»

«Боишься ответственности?»

«Во всяком случае, на себя взять не могу».

«Да вы что, — вмешался я, — думаете, что там ларей нет? Я же сам видел, голову под топор, видел!»

Дементий Подъяченков и Игнат Исаевич молча переглянулись и посмотрели на меня. Затем они опять оставили меня одного в избе, а сами ушли, не сказав даже, к кому и зачем; лишь Игнат Исаевич уже на ходу, полуобернувшись, коротко бросил: «Мы сейчас, жди», — и я еще с минуту в растерянности и недоумении стоял возле захлопнувшейся передо мной дверью. «Не верят. Да они что?!» Я был в доме один, хозяйка еще с утра, накормив нас, ушла на ферму, и я не знал, когда она должна была появиться; не то чтобы мне было одиноко, но я чувствовал, особенно после того, как ушли Подъяченков и Старцев, словно отрезанным от всего мира: один, стоящий по эту сторону воображаемого барьера, против всех, толпившихся по ту; все были заняты делом,

каждый выполнял какую-то свою, нужную людям и себе работу, и лишь я бессмысленно прохаживался из комнаты в комнату в чужой для меня старцевской избе, отодвигая занавески и вглядываясь сквозь окно в засугробленную зимнюю улицу Чигирева, и раздражение на них — парторга и участкового уполномоченного — переходило на самого себя, в какие-то мгновения я даже проносил с отчаянием: «Кой черт, связался же на свою голову!» — но это были действительно лишь мгновения; как только я начинал думать о Моштакове и как только вставало перед глазами все то, как я обменивал отцовские костюмы на хлеб, я снова весь как бы наполнялся ненавистью к Моштакову, называл его не иначе, как «мучное брюшко», и с еще большим нетерпением прислонялся к окну, всматриваясь, не идут ли Игнат Исаевич и Подъяченков. Я мысленно ругал их за нерасторопность, медлительность, полагая, что они только и делают, что рассуждают, ехать им или не ехать в Долгушино, верить или не верить мне, в то время как они, конечно же, не только рассуждали о том, что предпринять; Игнат Исаевич по совету парторга пытался связаться с районным центром и на всякий случай поговорить со своим начальством, но связаться было почти невозможно — то ли провода оборвало где-то на линии в метельную прошлую ночь и порыв все еще не был исправлен, то ли по какой другой причине (да что говорить, ведь это только подумать, какой была связь тогда на селе, сразу после войны!), в общем, он сидел у аппарата, крутил ручку и ждал, а Подъяченков искал по деревне председателя сельсовета Трофима Федотовича Глушкова, который то находился будто только что у себя, в сельсоветской избе, то возле клуба, то за каким-то чертом, как выразился Подъяченков, потащило его на ферму, а оттуда по каким-то, бог ведает, избам, куда как будто и не приглашали его, но ему надо было посмотреть, поговорить, узнать что-то или посоветоваться; в общем, Подъяченков нашел его лишь под вечер, а когда рассказал все, на дворе уже совсем смерклось и выезжать в Дóлинку на ночь глядя, да еще по занесенной, не проторенной полозьями дороге было бессмысленно и небезопасно; но я-то не знал ничего этого, а если бы и знал, все равно — ожидание никогда еще ни на кого не действовало успокаивающе; не то чтобы я жаждал поскорее разоблачить Моштакова, а просто тяготила неопределенность своего положения, когда дело начато, за-

теяно, а чем завершится и, главное, когда, еще неизвестно. На удивленный вопрос хозяйки, когда она вернулась с фермы: «Вы еще не уехали?» — я ответил недружелюбно, что «да, как видите», хотя на нее-то для чего было переносить свое раздражение? Она молча оглядела меня и больше уже за весь вечер не спрашивала ни о чем; лишь когда пришел муж, пригласила к накрытому для ужина столу.

«Но завтра-то хоть поедем? — спросил я у Игната Исаевича, как только он вошел в избу. — Кроме всего прочего, у меня — работа, дело!»

«Поедем-поедем, все решено, и лошади занаряжены».

«Это точно?»

«Какой разговор, прямо с утра».

«И Подьяченков с нами?»

«И Подьяченков, и Трофим Федотыч, председатель сельсовета».

«А председатель колхоза?»

«Нет. Его вообще в Чигиреве нет, он, однако, третий день как в Долинке. Может, сегодня и подъедет».

Больше мы уже не возвращались к этому разговору.

Я снова спал на сдвоенных скамьях, вернее, не спал, а ворочался с боку на бок, предчувствуя, что должно было случиться со мною завтра что-то нехорошее. «Но почему? — вместе с тем спрашивал я себя. — Зерно краденое, Моштаков существует, Моштаков — зло. Почему же?» И хотя в самом этом вопросе был заложен как будто ясный и точный ответ и мне действительно не о чем было беспокоиться, но в памяти словно специально для того, чтобы вызывать беспокойство, возникали и объединялись отрывочные и в разное время слышанные слова и фразы: то звучал как будто голос Владислава Викентьевича: «Мы, Алексей, по-честному: мы ему, он нам. Такие люди, как он, были, есть и будут, без них нельзя. Они тоже делают своего рода доброе дело»; то голос Пелагеи Карповны: «Народ на добро памятен»; и я с усмешкой мысленно добавлял: «На добро!», то вдруг перед глазами как бы появлялся Федор Федорович со своими предостережениями, и хотя я опять возражал ему, сознавая себя во всем правым, и все же что-то было, наверное, недосказанное (что я чувствовал) и в их словах, и потому я ворочался и, как и вчера, долго не мог заснуть. Но если рассудить просто, то отчего бы и не спать? Ведь не я же совершил преступление, а Моштаков, но вот, видите...

Многое запоминается в жизни.

Но то зимнее утро было особенным.

Мы выехали из Чигирева в девятом часу — парторг Дементий Подъяченков, Игнат Исаевич и я — на колхозных розвальнях, которые тащила резвая правленческая лошаденка, а председатель сельсовета Трофим Федотович Глушков — в своих сельсоветских плетеных выездных санях; он не хотел, как выразился, ни от кого зависеть, ехал позади, один, и под дугой, казалось, над самую гривой серого, в беге разметывавшего ноги коренника (я называю так потому, что конь действительно производил впечатление коренника, хотя и не было пристяжных) болтались, словно колокольчики, заиндевелые теперь, на свежем утреннем морозце, кисти из белой сыромятной кожи. Я сидел на розвальнях так, что мне были хорошо видны то вдруг нагонявшие нас, то опять начинавшие отставать сани председателя сельсовета. Постепенно — не только кисти под дугою, но и сама дуга, и вся упряжь, оглобли, серый сельсоветский коренник, да и шапка и овчинный тулуп на Трофиме Федотовиче — все покрылось мохнатым инеем и поблескивало в лучах утреннего декабрьского солнца, и поблескивал снег, холмистой белизною удаляясь к горизонту, и видеть это, несмотря на все мое тревожное состояние, было приятно, дорога навевала покой и то ощущение силы и бесконечности жизни, какого всегда не хватает нам и, наверное, не будет хватать городским людям для полноты чувств. Наша правленческая лошаденка тоже вскоре покрылась инеем; и тулуп Игната Исаевича (он правил, заиндевелыми руками подергивая начинавшие тоже индеветь вожжи), и полушубок на Подъяченкове, и мой — все как бы сливалось, подсиненное инеем, и только лица краснели на морозе, и это тоже производило впечатление бодрости, красоты, силы. Когда стали подъезжать к Долгушину, я повернулся и, приподнявшись, стоя на коленях, из-за плеча Игната Исаевича смотрел на открывавшуюся взгляду зимнюю у замерзшей реки деревушку. Не знаю, о чем думали и как влюбленными ли или равнодушными взглядами окидывали все вокруг Игнат Исаевич и Подъяченков (откровенно говоря, мы неверно судим, называя деревенских людей равнодушными; они лишь не мельтешат, не проявляют внешнего восторга, как мы, но смотрят на все, несомненно, с восхищением и любовью, и эта любовь как раз и держит их у земли, в деревне), я же не мог, да и до сих пор не могу без волнения смот-

реть на зимние ли, заснеженные, или летние, словно затерянные в желтеющих хлебах, наши русские деревеньки. Чувство это, пожалуй, труднообъяснимо. Я вовсе не за старину; та жизнь, что пришла и еще приходит в села, совсем, разумеется, иная, лучше, светлее и чище, и все же жаль мне уходящие деревеньки с их неровною, не прямолинейною, но душевно широкою, раздольною планировкой, с избами под соломой, обнесенными плетнями и огородами, с той очевидною на взгляд связью с прожитыми веками, с историей, героической и тяжелой, которая, кажется, так и смотрит на тебя низкими окнами с бревенчатых почерневших стен, и жаль, наверно, потому, что вместе с этой, несомненно отжившей свое стариною уходит, рушится связь времен, поколений. Может быть, я не прав; может быть, то детское впечатление, когда я с возницами-чувашиами перевозил дом из Старохолмова в город, еще *говорило* и *говорит* во мне, вызывая эту как бы прощальную, что ли, грусть? Но так или иначе, а я испытываю это чувство, да и следует ли искать объяснение ему? Я смотрел на заснеженное Долгушино и, разумеется, среди других изб различал прежде всего избу Пелагеи Карповны, которая была уже для меня к тому времени вторым родным домом (сама Пелагея Карповна в эту минуту стояла на крыльце и смотрела в нашу сторону; во многих дворах мужики, было видно, прекратив расчищать снег, смотрели на спускавшиеся к деревне подводы, потому что неспроста же сюда жаловал председатель сельсовета и еще какое-то колхозное начальство на правленческих розвальнях!), и различал подворье старого Моштакова с длинною, как барак, примыкавшею к избе бревенчатой конюшней; не скажу, чтобы я особенно волновался, предвидя, как удивится и испугается Моштаков, когда в освещенной фонарем кладовой Игнат Исаевич начнет открывать крышки ларей, и как удивятся собравшиеся люди и, разводя руками, будут говорить: «Надо же, а?» — а какое-то совершенно иное и необъяснимое тогда беспокойство, чем ближе мы подъезжали к моштаковским воротам, тем сильнее охватывало меня. Оно возникало, наверно, потому, что и Дементий Подъяченков и Игнат Исаевич хотя ничего и не говорили, но все чаще поглядывали на меня, и во взглядах их я улавливал один и тот же вопрос: «А не соврал ли ты, парень, не влипнем ли мы с тобой в неприглядную историю, потому что как-никак, а ведь это тяжелейшее обвинение на человека?» — и сомнение

их в какой-то мере, может быть, проникало и в меня и было как раз причиной беспокойства. «Куда же они могут деться, шесть ларей, — про себя отвечал я, стараясь держаться спокойнее, и лишь изредка и мельком, будто мне действительно было все равно, к кому и для чего едем, взглядывал на опущенные инеем жерди моштаковских ворот. — Да что может быть с ними, что за глупость лезет в голову!»

Игнат Исаевич остановил лошадь почти под самыми окнами моштаковской избы; привязав вожжи за стойку ограды, вернулся к розвальням, и так как мы, парторг Подъяченков и я, еще разминали тоги и только поглядывали на моштаковский двор и конюшню, спросил:

«Пойдем? Или Федотыча подождем?»

«Подождем», — предложил Подъяченков.

«Не Федотыч у нас, а прямо-таки министр».

«Ну-ну!..»

«А плохих в министры не берут, — тут же уточнил он и, повернувшись ко мне, добавил: — Ну а ты как, агроном, уверен?»

«Уверен», — ответил я, и теперь уже участковый уполномоченный, может быть, подражая парторгу Подъяченкову, с той же как будто многозначительностью, как произносит эти слова, я заметил, большинство людей, проговорил:

«Ну-ну...»

Как только подъехал председатель сельсовета Трофим Федотович, мы все вчетвером тут же направились в расчищенный от снега моштаковский двор. Сам же Степан Филимонович уже стоял на крыльце и поджидал нас. Он смотрел на нас спокойным и как будто равнодушным взглядом, поздоровался степенно, с достоинством, как умеют делать это знающие себе цену деревенские люди, и на вопрос Подъяченкова: «Чего в избу-то не зовешь?» — негромко и с заметной неохотой ответил: «Милости просим». Но в избу мы не пошли. И не потому, что обиделись, что ли; для меня главным были лари; об этих же хлебных ларях, наверное, думали и парторг Подъяченков, и Игнат Исаевич с Трофимом Федотовичем, и, конечно же, всем нам хотелось поскорее (уж мне-то, во всяком случае) попасть в кладовую, пока старик не догадался, зачем мы приехали, и не воспротивился, и оттого, когда Игнат Исаевич, выражая общее наше желание, попросил Степана Филимоновича открыть ко-

нюшню, и Подъяченков и председатель сельсовета дружно поддержали его.

«Глядеть-то чего хотите?» — спросил Моштаков.

«Как «чего»? Лошадей».

«А чего их глядеть?»

«Ну раз хотим, значит, надо. Лошади... что еще там у тебя?»

«Лошади и есть».

«Вот и поглядим».

Моштаков сошел с крыльца и стоял теперь перед нами. Он не торопился открывать конюшню. Прищурившись, он смотрел на нас, и во взгляде его все еще как будто было прежнее спокойствие; но вместе с тем, может быть, я скорее почувствовал, а не то чтобы заметил, какая-то будто жесткая, холодная тень легла на его старческое лицо; да, несомненно, потому что десятки раз потом, вспоминая, я видел перед собой это лицо, все морщинки на котором выражали не ту обычную доброту и умудренность жизнью, что свойственна старым людям, а неприязнь, ненависть, или как бы вы сказали, весь тяжелый, мстительный и скрываемый от людей мир этого человека; я и теперь вижу его лицо с розовыми еще с тепла и напушенными на глаза веками (за прищуром всегда легче скрывать свои мысли!), с бородкою, живо покрывавшейся инеем на морозе, словно седеющего на глазах, и так же, как тогда, у меня ко всему, что связано с воспоминаниями о мужичках — «мучное брюшко», подымается ответная ненависть. Я назвал свое столкновение с Моштаковым поединком; да оно и было все именно так, и потому — как запомнился вам бой с немецкими самоходками здесь, на подступах к Калинковичам, у деревни Гольцы, так и в мою душу засел тот солнечный зимний день, проведенный в заснеженном Долгушине на моштаковском подворье. Я не вступал в разговор и только смотрел на Моштакова, ни на секунду не сводя с него глаз, и мне казалось, по крайней мере тогда, что он тоже больше смотрел на меня, чем на разговаривавших с ним Игната Исаевича, Подъяченкова и Трофима Федотовича. Я думаю, что так же, как вы боем, я был оглушен этой минутой *своего* поединка, а точнее, чувствами и мыслями, какие переполняли меня, и потому не вслушивался и не воспринимал почти ничего, о чем говорили. «Ну же!... Ну!...» — торопил я старого Моштакова, чтобы он поскорее открывал конюшню, и на ироническую усмешку, которая то и дело возникала на борода-

том и морщинистом лице Степана Филимоновича, тоже про себя, тихо, но вместе с тем как будто громко, не стесняясь никого, отвечал: «Ничего-ничего, посмотрим, как ты сейчас будешь усмехаться!» Потом-то мне стал ясен смысл его иронической — когда человек знает нечто большее, чем вы! — усмешки, но в ту минуту я думал и чувствовал так, как рассказываю теперь; я стоял чуть позади парторга Подъяченкова и, когда все двинулись к конюшне, тоже шагал следом за парторгом, заложив, как и он, словно на прогулке, за спину руки (может быть, так легче было *выражать* спокойствие?); но в варежках, в тепле, невидимые никому пальцы мои до белизны вминались в мягкую и влажную ладонь.

Не торопясь, поглядывая по сторонам, мы прошагали вдоль стоявших за перегородками коней, и кони те, гремя недоузтками о ясли, поворачивали морды в нашу сторону и прядали ушами; когда мы остановились у дощатой перегородки с такой же дощатой и запертой теперь дверью («Да вот она! И замок тот же, — думал я, — только тогда он висел вместе с ключом на гвозде, рядом с дверью!»), Игнат Исаевич, наклонившись к Моштакову, коротко и сухо попросил:

«Отопри».

«Это что, обыск?»

«Отопри, говорю».

«А ежели не отопру, тогда что?»

«Тогда просто: дверь сейчас опломбирую и в Долинку. А уж коли вернусь с ордером...»

«Коней запиришь. Неча коней гонять, — угрюмо хмурясь, будто и в самом деле было ему жалко колхозных лошадей, проговорил Моштаков; затем с явным нежеланием, прежде обшарив почти все карманы, достал ключ, отпер замок и, не открывая двери, а лишь отступив на полшага от нее и как бы приглашая этим Игната Исаевича, парторга, всех войти в кладовую, сказал: — Ну глядите, ежели охота есть».

Игнат Исаевич открыл дверь, и все с удивлением увидели, что в кладовую войти нельзя, что вся она доверху наполнена сухим сеном. Участковый уполномоченный, не скрывая своего изумления и недоумения, посмотрел сначала на Подъяченкова, как бы спрашивая его глазами: «Что это?» — потом на Трофима Федотовича и на меня, и тогда я, чувствуя, что надо что-то предпринимать, что не могли же за одни сутки куда-то исчезнуть все шесть хлебных ларей, резко шагнул вперед и почти крикнул:

«Вилы!»

«Да, да, ну-ка, Степан Филимонович, принеси виль», — поддержал Игнат Исаевич.

Вилы стояли у входа в конюшню, возле приоткрытых для света ворот, прислоненные к косяку, и пока старый Моштаков, горбясь, как мне казалось, и с неохотою ходил за ними, мы молча смотрели друг на друга.

«Кому?» — спросил Моштаков, подойдя и держа перед собой вилы.

«Сюда», — сказал я и протянул руку.

Старик не подал, нет, а прямо-таки тычком сунул мне в ладонь гладкий черенок вил; и не просто от недовольства или со зла; он точно знал, что именно я привел к нему парторга, председателя сельсовета и участкового уполномоченного, и этим своим злым движением давал понять, конечно же, *это*, что он знает все; но я лишь слегка откачнулся, как, представляете, бывает, когда неожиданно столкнешься с вдруг выросшей перед тобою стеной, восприняв все по-своему, как вызов, будто старый Моштаков негодующе бросил мне: «На, держи, сукин сын!» — и я не мог не принять этот вызов и не ответить тем же; уже отпущенные Моштаковым вилы я резко рванул на себя, стрельнув глазами в старика, дескать: «Давай, поглядим сейчас!» — и прямо в полушубке, лишь чуть засучив рукава, принялся навильник за навильником набирать и выносить из кладовой сено. Но затем полушубок пришлось снять, и я уже работал лишь в свитере, без шапки, весь обсыпанный колкими сухими былинками; парторг же Подъяченков и председатель сельсовета Трофим Федотович вместе со стариком Моштаковым молча поглядывали на меня, и только Игнат Исаевич время от времени высокими черными пимами своими подгребал и притаптывал выносимое мною душистое, кошенное, как я тогда же, сразу, отметил про себя, на заливном приречном лугу сено. Я, разумеется, не видел, да и не мог видеть выражения их лиц, как они смотрели на меня; мне было не до этого; очистив то место, где, по моему предположению, должен был находиться ближний к двери ларь, и не обнаружив его, я с еще большей поспешностью продолжал расчищать дальше, твердя себе: «Докопаюсь! Все равно докопаюсь! Они здесь, потому что — куда же они могут деться, тридцать центнеров, три тонны!» Тем более я не видел и не мог видеть, что делалось в эти минуты на моштаковском дворе. Там, возле саней, уже собирались долгушинские

мужики и женщины, возбужденные неожиданно нагрянувшей к старому Моштакову комиссией. Кто первым произнес это слово: «Комиссия», — и кто затем прибавил: «Чегой-то доискиваются», — установить, разумеется, было нельзя; но именно это известие, а главное, вид правленческой и сельсоветской упряжек, взбудоражило долгошинцев, и они все подтягивались и подтягивались к моштаковским воротам. Здесь же были уже и Пелагея Карповна с Наташей, и еще разная долгошинская детвора, которая шныряла между конюшней и воротами, и то и дело чей-то звонкий на морозе мальчишеский голос оповещал всех:

«Еще выносят!»

«Чегой-то выносят?»

«Сено, дедусь!»

Мальчишка снова нырнул в конюшню, чтобы через минуту повторить то, что только что говорил, а мужики между тем продолжали:

«Чегой-то ищут у Моштака?»

«Чего же искать у него — хлеб!»

«Найдуть?»

«Может, и найдуть».

«Эвона, дожился».

«Еще бабка надвое гадала...»

«А кто же его подсупонил эдак, ужель агроном?»

«Кто же еще, ишь, заноза, сам-то и за вилы взялся!»

Я не видел долгошинских мужиков, толпившихся возле саней и на моштаковском дворе, и, понятно, не слышал ни одного произносившегося ими слова; я лишь думаю, что они говорили так или, по крайней мере, об этом, потому что для них, для всего Долгушина то, что происходило сейчас, было событием, и они не могли не прийти и не обсуждать его; им было любопытно, чем все закончится, и они постепенно начали проникать в конюшню, пристраиваясь за спинами стоявших полукружем парторга, председателя сельсовета и Моштакова, а я, весь вспотевший, продолжал вышвыривать сено. Один за одним высвобождались простенки, но ларей не было видно. Я не верил глазам. Выбросив последний навильник, я встал посреди дверей, красный от работы и смущения; мне хотелось увидеть Моштакова, который как бы спрятался, затерялся в общей оттеснившей коней к яслям людской толпе, и пока я в конюшенном полусумраке пробежал взглядом по лицам, отыскивая нужное мне старческое, морщинистое, с бородкой, думал только

о том, что должен сказать Моштакову. Мне и теперь всегда кажется, что, как только заметил его, сразу же крикнул: «Где лари?» — хотя на самом деле, наверное, не крикнул, потому что не могу припомнить, чтобы хоть что-то ответил мне Моштаков. Помню другое: вся толпа во главе с Подъяченковым и Трофимом Федотовичем двинулась на меня, отстраняя с дороги, и вместе с этой толпой я опять очутился в кладовой. Я слышал лишь, как Подъяченков, протянув «Э-эх-ха», — спросил затем у Трофима Федотовича и Игната Исаевича: «Ну, что скажете?» — и так как они ничего не могли сказать, и они и Подъяченков, все втроем, пристально посмотрели на меня. Я тоже не знал, что ответить, от растерянности, скорее оттого, что не только Подъяченков и Трофим Федотович, но все как будто смотрели на меня, чувствовал, что щеки опять наливаются краской, но минуто ли, две ли спустя я все же произнес что-то вроде: «Вот здесь они стояли», — и даже принялся было руками очерчивать в воздухе квадраты, переходя от одного простенка к другому, но это выглядело уже как оправдание, и Трофим Федотович, Игнат Исаевич и Подъяченков, я заметил, лишь с ухмылкой покачивали головами, слушая меня. Я же снова и снова оглядывался вокруг, потому что для меня поразительным было не только то, что исчезли лари, но и другое, что никаких следов не осталось от них на земляном полу; то и дело я приседал на корточки вместе с Игнатом Исаевичем, расшвыривал стебельки и мусор, но все вокруг казалось одинаково серым, взрыленным и усыпанным остатками сена из кладовой.

Переговаривались мужики; говорили между собою Подъяченков, Игнат Исаевич и Трофим Федотович, но из всех голосов, их всех произнесенных насмешливо ли, ехидно, с разочарованием ли фраз запомнил и ношу в памяти лишь те, что в первые минуты будто и не показались ни пророческими, ни страшными: Игнат Исаевич спрашивал, старый Моштаков отвечал, и все это происходило без излишней, как вообще любят вести беседы деревенские люди, раздражительности и шума.

«Лари где?»

«Какие лари?»

«Которые здесь стояли?»

«А это ты себя спроси, ежели видел».

«Кого ты, Степан Филимонович, обмануть захотел, а?»

«Кого ни кого, а советская власть, она ведь и за наговоры судит. Или уже не судит?»

«Судит».

«Вот то-то и оно».

«А тебе-то что? Если считаешь, что оговорили, можешь подать, тут никому запрета нет, дело хозяйское».

«Неча подавать, — ответил Моштаков и, явно адресуясь ко мне, громко (во всяком случае, так мне помнится), чтобы слышали все, добавил: — Мир осудит».

Он еще некоторое время после того, как произнес это, смотрел на меня, словно примеривал что-то своими сощуренными глазами, и затем неторопливо, победителем, принимая как должное, что все расступаются перед ним, направился к выходу. Следом, тоже упрекающе, как мне показалось, взглянув на меня, двинулся Игнат Исаевич; потом пошли: Подъяченков, Трофим Федотович и один за одним, конечно же, все знакомые деревенские мужики, и каждый, будто тоже подражая долгушинскому конскому лекарю, ронял на меня недоброжелательный взгляд, но ни словам Моштакова, ни всем этим взглядам я не придавал тогда значения; и не до размышлений, и не до оценок было; я лишь твердил себе: «Лари находились здесь!» — и едва только остался один, снова осмотрелся вокруг. Мне нужно было восстановить в памяти, как все было, когда я обнаружил лари. Сверху, как и в *тот* день, сквозь узкое, похожее на бойницу окно струею падал свет; он не освещал крышки ларей, как *тогда*, а лежал на стене, как бы стекая по ней к серому земляному полу, но для меня уже одного этого — струившегося из бойницы света — было достаточно, чтобы вспомнить все; я мысленно проделал то, что делал тогда, ощутив даже будто крупные и холодные зерна в ладони и вновь почувствовав правоту и силу в себе, взял полушубок и зашагал к выходу. Я твердо намеревался сказать Игнату Исаевичу, парторгу Подъяченкову и председателю сельсовета, что лари были, что их надо искать и что не может же Моштаков остаться безнаказанным, но, выйдя во двор, не только не сказал этих слов, я даже не решился подойти ни к Подъяченкову, ни к Трофиму Федотовичу. Вы спросите: почему? Не из опасения, что не поверят или, более того, начнут упрекать, нет, никаких упреков я не боялся, случилось совершенно другое, непредвиденное — когда очутился на дворе, первым, кого увидел, был Андрей Николаевич. Он стоял на крыльце, как только что стоял на нем встречавший нас старый Моштаков, и так

же, как тесть, со своего висока прищуренно оглядывал толпившихся будто возле трибуны людей. Да, именно это впечатление осталось у меня; и вообще, когда я вспоминаю об Андрее Николаевиче, он обычно представляется мне то возле своей остекленной веранды, каким был тогда, в ночи, в нижней белой рубашке и кальсонах, принимающий привезенную тестем муку, то вот таким, в добротной бобровой шапке, в дубленом с белою меховой оторочкой полушубке, возвышающимся с крыльца над колхозниками, как я видел его теперь. Разумеется, я сразу сообразил, что произошло, почему Андрей Николаевич здесь и почему исчезли лари; да, собственно, никакой особой фантазии и не требовалось, чтобы сообразить, настолько все было очевидно, и я, пораженный (пораженный более этим, что понял, глядя на Андрея Николаевича, чем исчезнувшими ларями) и растерянный, как остановился, так будто и замер посреди распахнутых ворот конюшни. Я видел, как Игнат Исаевич ходил по двору, заглядывая за амбары и на огород, надеясь, может быть, заметить хоть какие-нибудь следы (мне и теперь кажется, что он откровеннее всех поверил мне, хотя именно в нем-то — вот и опять вам: понимание людей! — я как раз больше всего и сомневался), но все кругом было бело от снега, замечено нетронутыми сугробами, и только узкая, расчищенная лишь утром дорожка тянулась к небольшой заснеженной бревенчатой баньке, что темнела оконцем на краю огорода. Может быть, баньку собирались истопить для Андрея Николаевича и потому расчистили к ней дорожку? Пожалуй, так оно и было, и Игнат Исаевич не пошел к ней. Я хорошо помню, как он, проходя мимо меня, отрицательно покачал головой, и я понял, что он хотел сказать этим.

«Ничего нет».

«Искать бессмысленно».

«Да и поздно».

Будто и в самом деле Игнат Исаевич произнес эти фразы, я повторил их про себя, по-прежнему глядя на крыльцо и Андрея Николаевича. Заведующий райзо, перегнувшись через перила, о чем-то разговаривал с Подьяченковым и Трофимом Федотовичем, но о чем, мне не было слышно; может быть, приглашал в избу или зло, как он умел это, подшучивал над неудавшимся обыском (и то и другое: и доброжелательная улыбка, когда говорил, наверное: «Входите», и усмешка, когда упрекал: «К кому пришли с обыском, ай-ай, да хоть бы

позвонили, я бы сказал, и не срамились бы, а то ишь народу наволокли!» — сменяясь, возникали на его лице, и я не то чтобы теперь вот придумываю это, нет, а хорошо видел все, чувствовал, понимал, стоя посреди распахнутых ворот конюшни); меня же Андрей Николаевич как будто не замечал, хотя не заметить было нельзя, я стоял на виду у всех; в варежках, в тепле, я снова вминал пальцы в ладони и, может быть, так же, как в детстве, когда мы с отцом торговали в Старохолмове пятистенник, волчонком, как на того хозяина в жилетке, смотрел теперь на Андрея Николаевича, не сводя с него глаз, и мне хотелось, чтобы он увидел этот мой взгляд и понял, что я думаю о нем; и он, конечно, увидел и понял, хотя внешне ничем не выказал этого; он даже повернулся ко мне спиной, встречая поднимавшихся по ступенькам Подъяченкова и Трофима Федотовича и открывая им дверь в сенцы. А что было делать мне? В избу к Моштаковым, разумеется, я не мог идти, и не только потому, что никто не пригласил (обо мне действительно будто забыли все, кроме разве толпившихся еще во дворе и возле саней долгушинских мужиков и женщин, которые теперь, когда опустело крыльцо, глазели лишь на меня); стоять на виду тоже было неловко, да и бессмысленно; я вернулся в конюшню, на что-то еще надеясь, но, обойдя пустые углы кладовой и оглядев освещенные голые простенки, снова вышел во двор; мужики и женщины еще топтались у ворот, они расступились, когда я подошел к ним, и по образовавшемуся коридору, ежась под перекрестными взглядами, зашагал домой. Я видел, что Пелагея Карповна вместе с Наташей стояла у ворот, среди женщин; она, это точно помню, заметил, отступила на шаг и спряталась за чью-то спину, когда я поравнялся с ней, и хотя я как будто не придал тогда этому значения, но все же что-то будто толкнуло меня: «Она-то что?»

Три четверти часа

Хотя ни Подъяченкова, ни Игната Исаевича, ни председателя сельсовета уже не было рядом, но я чувствовал перед ними вину, будто и в самом деле обманул их, и, пожалуй, досаднее и больнее всего было сознавать, что они там, у Моштакова, что в эти самые минуты, пока я, подавленный, мрачный, стою перед заваленным снопами пшеницы столом в своей комнате, они, наверное, под-

нимают стаканы («Да может ли Андрей Николаевич без выпивки! — восклицал я, перебивая свои же мысли. — А старый Моштаков? Да и Кузьма!») и говорят обо мне; мне казалось, что я знал и то, что обо мне говорили, и багровел от бессилия, что не могу остановить этот их разговор или хотя бы ответить им что-либо. Может быть, я услышал, а может, просто совпало так, но только когда, подойдя к окну, приоткрыл шторку, от моштаковских ворот отъезжали на рысях правленческие розвальни и сельсоветские с мягкими сиденьями сани. Я проследил за ними, пока они не скрылись за снежными сугробами дороги.

То, что парторг Подъяченков, председатель сельсовета и Игнат Исаевич уехали, ничего не сказав мне, в общем-то, не было ни удивительным, ни неожиданным. «Им что? Ларей нет, а значит, и не было», — думал я. Может быть, для своего же успокоения я оправдывал их; да и к Моштакову почему-то не было той прежней особенной злости, хотя старческое, с неприятною усмешкой лицо его, каким оно было там, в конюшне, и запомнилось мне, а теперь то и дело возникало перед глазами, и возникало, конечно же, неспроста, а для того, чтобы я сильнее, наверное, почувствовал свое поражение, и все же — нет, не Моштаков, которого можно было понять и который, в конце концов, как раз и должен был делать то, что делал, а Федор Федорович и Андрей Николаевич, которых еще совсем недавно я считал средоточием добра и порядочности, да, именно они вызывали горечь и негодование. «Если бы не они, — рассуждал я, — Моштаков был бы теперь, как субчик, гол и виден», — и та картина, как долгушинские мужики, те самые, что, выходя из кладовой, бросали на меня недоброжелательные взгляды, выносили бы мешок за мешком во двор краденое зерно и удивлялись бы и поражались открытию, — эта волновавшая и не состоявшаяся наяву картина вновь и вновь оживала в сознании.

Ни в тот день и вечер, ни на следующий я не верил, что все для Моштакова закончится на этом. «Шила в мешке не утаишь, — говорил я себе. — Куда они могли уплыть? Никуда, и я еще найду их и докажу, что прав и кого должен осудить мир!»

Я не стал ужинать; только выпил принесенное Наташею (хотя прежде всегда приносила сама Пелагея Карповна, говоря при этом: «Тепленькое, парное, только процедила!») молоко и, еще не зная толком, зачем и что

буду делать, вышел на улицу. Я как сейчас помню, что в тот поздний ночной час было почему-то светло — от снега ли, от звезд и ясного неба? Или, думаю, оттого, что вышел я из сумрачной своей комнаты, в которой стоял, и ходил, и сидел, не зажигая света, а тут — сразу открылся белый заснеженный простор? Я прошел мимо моштаковской избы, лишь искоса взглянув на темные, закрытые ставнями окна, и, дойдя почти до края деревни, снова вернулся к той же моштаковской избе. Мне казалось, что лари спрятаны где-то здесь, неподалеку и что в ночи, в мороз, когда на улице никого нет, я смогу повнимательнее осмотреть все вокруг. «Должны же, — думал я, — остаться какие-нибудь следы».

Особенно тянуло заглянуть в баньку, которая и теперь черным пятном на снегу выделялась в конце огорода. Оглядываясь и весь как бы втягиваясь в полушубок, будто действительно шел на нехорошее, гадкое, подлое, наконец, дело, я обогнул несколько изб, спустился по протоптанной дорожке к замерзшей реке и уже по льду, местами оголенному, скользкому, местами засугробленному так, что ноги проваливались по самые колени, начал пробираться к баньке. Все это, конечно, было унижительным, я понимаю, и мне отвратительно вспоминать теперь и видеть себя там, на снегу, то пригнувшимся и напряженно прислушивающимся к звукам ночной деревни, то перебежками, крадучись, пробирающимся среди заиндевелых кустов тальника, но, разумеется, тогда я не чувствовал унижения; лишь время от времени теплыми от варежек ладонями потирал лицо, боясь (а впрочем, не то слово «боясь»; просто инстинктивно, как все люди на холоду) отморозить нос или щеки, и все мысли были только об одном, чтобы никто не увидел, не помешал. Я знал, что в этот час долгушинцы обычно уже сидят по избам, укладываются спать, что вокруг никого нет (по крайней мере, не должно было быть), но одно дело — сознание, и совсем другое — чувство, которое, как вы правильно заметили, не всегда подчиняется разуму, и, может быть, именно потому-то, чем ближе я подбирался к баньке, тем явственнее начинало казаться, что кто-то будто подсматривает за мной, идет по следу так же, как я, пригибаясь, перебегая от куста к кусту по прибрежному оголенному и заснеженному льду, и тем чаще, припав к снегу, прислушивался и присматривался к синему ночному сумраку, и, странно, пока вглядывался, никого вроде не было видно и не раздавалось ни звука, но едва

только поднимался и двигался вперед, как сейчас же словно чья-то тень начинала шевелиться и перемещаться в кустах; в какую-то минуту, когда мне особенно пред- ставилось подозрительным темное, похожее на съезжив- шегося человека пятно, не выдержал и вернулся, чтобы посмотреть, действительно ли это человек и кто, но пят- ном оказался лишь примятый мною же самим, когда ле- жал и прислушивался, снег. Однако и после этого опасе- ние, что кто-то идет за мной, все равно не оставляло меня. Я боязливо прижимался к настывшей бревенчатой стене баньки, когда двигался вдоль нее к двери. Теперь думаю, что бы я стал делать, если бы дверь оказалась на замке? Конечно, взламывать бы не решился, а ушел бы, может быть, еще более уверенный, что лари перенесены сюда, но, к счастью ли, к удивлению ли, дверь оказалась незапертой; лишь была наложена на петлю железная на- кидка и заткнута обычным деревянным колышком. Поч- ти не чувствуя, что пальцы прилипают к настывшей ме- таллической накидке, я снял ее с петли и открыл тоже всю настывшую и проскрипевшую громко, как мне пока- залось, дверь.

В баньке было темно и морозно, как на улице. Я сна- чала приглядывался к темноте, а потом торопливо, боясь, разумеется, что меня застигнут здесь, обошел на ощупь все углы, обшарил полки и под полком, но ни ла- рей, ни наполненных зерном мешков (почему-то мне ду- малось, что зерно должно было находиться теперь в мешках) нигде не было.

«Значит, не здесь. Но где?»

Так же таясь и оглядываясь, как входил, я вышел из баньки, закрыл дверь, деревянным колышком закрепил накидку, и, осмотрев и проверив, все ли сделал так, как было, зашагал вниз, к реке, оставляя глубокие следы на снегу. Но я даже не подумал, что оставляю следы и что наутро вся деревня будет знать, что я ходил к Мошта- ковым, и будет говорить, что, дескать, агроному-то больше, чем *комиссии*, надо; напротив, чем ближе спу- скался к замерзшей реке и в особенности когда ощутил под ногами лед, чувствовал уже себя так, будто все опа- сения позади, и шел, не пригибаясь, не оглядываясь, и именно в эту минуту, когда было на душе будто спо- койно, неожиданно услышал, как за спиной что-то тяже- лое глухо ударилось об лед; едва я успел обернуться, как сучковатое круглое полено проскользнуло возле моих ног. Конечно, полено не могло само собою откуда-то

упасть, его бросили, и бросили в меня, но я не кинулся тут же бежать, хотя и одиноко и боязно показалось на заснеженной и замерзшей ночной речке; несколько мгновений еще смотрел на синий и сливавшийся в темную ленту прибрежный тальник, стараясь увидеть, кто же все-таки швырнул полено, и, может быть, как раз потому, что никого нельзя было различить, беспокойство сильнее охватило меня; медленно, пятясь, я отходил к берегу, и, как только повернулся спиной к тальнику, снова и теперь рядом с плечом пронеслось другое полено и, грохнувшись, покатило по льду, и почти одновременно раздался где-то совсем рядом лихой, насмешливый свист. Не помню теперь, как получилось, то ли я действительно, опять оглянувшись, рассмотрел наконец в кустах стоявших во весь рост людей (двоих или даже четверых?), или это только почудилось так, а на самом деле я не успел оглянуться, просто побежал, напуганный свистом и летящими поленьями, которые, казалось, продолжали ударяться об лед, когда я уже находился у берега, возле мостков и тропинки, ясно очерченной на снегу, но так или иначе, а только очутившись под окнами своей избы, вернее, избы Пелагеи Карповны, я остановился. Никто не гнался за мной. Но впечатление, что на меня нападали, было настолько сильным и так ошеломило, что, когда я вошел в избу, продолжал еще оглядываться и вздрагивать, как будто от звуков падавших и скользивших у ног по льду поленьев.

Можете представить, как я провел остаток ночи. То мне было жарко в постели и я откидывал одеяло, то, напротив, чувствовал, что замерзаю, и тогда снова укутывался с головой и, сжавшись, подтянув колени к подбородку, долго еще, согреваясь, дрожал какою-то как будто душевною, что ли, дрожью. Как ни считал я себя правым, как ни казалось мне, что человек не может быть у нас беззащитным, что есть же законы, в конце концов, переступить которые не посмеют, во всяком случае не должны, ни старый Моштаков, ни его сын Кузьма («Не он ли швырял поленья?» — думал я), ни кто бы то ни было другой, потому что ведь времена кулацких разгулов прошли, да и кулаков давно нет, а есть только колхозная деревня, в которой все равны и объединены одною *государственной целью!* — но все это были лишь утешительные слова, тогда как скользившие по льду поленья были жизнью, вернее, той стороной жизни, которая до этой ночи была как бы спрятана от меня и теперь, от-

крывшись, пугала своею неожиданной жестокостью. «Мстят, — думал я. — Мало ли что могут сделать?!» Временами казалось, что кто-то подходил со стороны огорода к моему зашторенному до половины низкому окну, и я даже ясно будто различал, как похрустывает снег под тяжелыми мужицкими валенками (под валенками Кузьмы, так представлялось, а ноги у него были большие, кряжистые); и хотя через минуту, две все будто затихало, но то же чувство (когда летели в меня поленья) продолжало еще как бы нарастающей тревогой сковывать сознание.

Я так и не уснул в ту ночь, а едва начало светать, оделся и вышел из дому.

Пелагея Карповна еще спала; да и все Долгушино, казалось, спало, укрытое снегом и инеем, и над трубами еще не поднимались столбы дыма, не открывались еще хлевы и коровники, и мужики не ворошили в стожках, что возвышались во дворах, над амбарами, придавленное жердями сено, и тот запах утра — парной, молочный запах деревни, — что и зимою бывает не менее ошутим, чем весной или летом, еще словно хранился за дверьми в хлевах и избах. Я прошел через двор и заглянул за бревенчатую стену, но никаких следов под моим окном не было; ровной полудугою, наметенный три дня назад, тянулся от подоконника к дороге весь еще пропитанный ночными сумерками снежный сугроб. Постояв немного, я вышел на улицу и направился к реке. Я шагал неторопливо по той же проторенной к мосткам и проруби тропинке, по которой пробирался вчера, и как только открылась взгляду замерзшая река, различил на льду черневшие точками поленья. Их было всего три, хотя ночью мне казалось, что бросали много и долго. Когда я поднял первое сучковатое березовое полено, все, что случилось со мною здесь ночью, моментально ожило в памяти, и я, не выпуская из рук корявый березовый обрубок, метнулся к кустам тальника, надеясь увидеть следы тех или того, кто швырял поленья (откуда-то он пришел, и следы теперь должны были указать *откуда*); я сразу же наткнулся на утопанную в снегу площадку и разглядел свои следы и вмятины, где ночью лежал, прислушиваясь и всматриваясь, и разглядел еще чьи-то, тоже глубокие и округлые (тот, кто шел за мной, был, как и я, в валенках), но все эти вмятины, отпечатки ног, утопанная площадка образовывали словно пунктиром прочерченную от проруби и мостков по реке и дальше

через тальник и сугробы к моштаковской баньке дорожку. «Прямо с улицы, по тропинке, — подумал я, вспомнив то свое ощущение, что кто-то будто следил за мной; ощущение это возникло прежде, чем я вышел тогда на реку, сразу же, как, очутившись на морозной улице, зашагал к моштаковской избе. — Все предусмотрели». Я снова, как и ночью, начал оглядываться, хотя опасаться было нечего, давно уже рассвело, и синяя заиндевелая деревушка, стоило чуть внимательнее присмотреться, просыпалась, встречая закурившимися трубами и хлопающими дверьми студеное зимнее утро.

Когда я вернулся домой, Пелагея Карповна уже доила свою белолобую Марьянку, и было слышно, как за чуть приоткрытой дверью коровника струи молока бились об оцинкованное ведро.

Я стоял у крыльца, держа принесенное с реки березовое полено, поворачивал и рассматривал его, и в ту минуту был твердо убежден, что умолчать о ночном нападении нельзя, что это уже уголовное дело и что доказательство всему — вот оно, полено. Я положил его тут же, у крыльца, к стенке, намереваясь, может быть сегодня, отправиться в Чигирево к Игнату Исаевичу или Подъяченкову, но обстоятельства сложились так, что ни в этот день, ни на следующий, ни спустя неделю так и не смог попасть в Чигирево: Пелагея Карповна убрала полено в сарай, и я потом не захотел выносить его оттуда. Я вообще так никому и не рассказал, что случилось со мной ночью; Пелагее Карповне потому, что она стала избегать разговоров (разумеется, я не знал почему, терялся в догадках), а однажды даже заявила: «Искал бы другую квартиру, а лучше — съезжал бы совсем, что ли, от греха, о господи!» — а Подъяченкову и Игнату Исаевичу потому, что боялся опять оказаться лжецом в их глазах.

«Бросали...»

«Кто?»

«Этого сказать не могу».

«Так чего же от нас хочешь?»

«Чтобы...»

«Новые „лари“ подсовываешь? Довольно, не выйдет!»

Таким или приблизительно таким представлялся мне разговор с ними, и потому сначала я откладывал, а потом и вовсе решил не заводить его.

Почти всю неделю я просидел дома, никуда не выхо-

дя и, разумеется, ничего не зная о том, что и как говорили обо мне в деревне; да просто и в голову не приходило, чтобы обо мне могли что-то говорить, а словам Моштакова — *мир осудит* — я не придавал тогда особого значения; я по-прежнему думал, куда же, в конце концов, делись эти проклятые лари, и намечал планы, к кому пойти, что посмотреть, что и у кого спросить («Не сходит ли на конюшню к одноному Ефиму Понуруну? Может быть, он давал куда лошадей?» — рассуждал я), но планы оставались планами, и я только смотрел сквозь окно на заснеженную улицу и, так как нельзя же было без конца думать об одном, садился за стол и принимался расшифровывать летние еще записи в журналах, а потом взялся за неоконченную карту севооборота для Долгушинских взгорий. Я, в сущности, заставлял себя уходить от навязчивых и тяжелых дум о хлебных ларях и всей той истории, которая приключилась со мной и в которой хотя я и чувствовал себя правым, но в то же время какая-то будто тяжесть лежала на душе, может быть, оттого, что мне не поверили, или просто потому, что оказался вот в таком униженном, когда ты не в силах ничего изменить, положении, — словом, старался как бы отсечь от себя эти беспокойные и бесконечные думы, забиться работой, но проходил час, другой, и я вдруг обнаруживал, что лишь смотрю на расстеленную перед глазами будущую карту севооборота, тогда как вижу то освещенные крышки хлебных ларей, то пустую кладовую и ехидно ухмыляющегося Моштакова, «мучное брюшко», — «Вон, вон, и руки и телогрейка на животе, все в белом мучном налете!» — то будто снова бегу по ночной замерзшей реке, и летящие поленья ударяются и скользят по голому льду. «Да что я, — вставая и встряхивая головой, упрекал себя. — Может быть, действительно, как говорил Федор Федорович, черт с ними, с этими ларями!» Но ведь за ними, за теми хлебными ларями, наполненными краденой колхозной пшеницей, стояла, для меня во всяком случае, целая армия мужичков «мучное брюшко», в ледяные сенцы к которым входили мы когда-то с Владиславом Викентьевичем, держа под мышками белые узлы, и мужички те не могли не вспоминаться теперь и не разжигать воображение, стояло ненавистное мне, как я понимал его, людское зло, и потому я не мог, пусть хотя бы в душе, про себя, примириться с тем, что Моштаков оказался неразоблаченным, и в один из ясных морозных дней, а погода тогда, помню, почти весь де-

кабрь держалась удивительно по-зимнему прекрасная, солнечная, я все же не вытерпел и отправился к Ефиму Понуруну. Как-никак, а не раз бывал у него в гостях, на пельменях, да и знал не старый еще конюх, что я когда-то приглядывался к его дочери (и он питал, наверное, как и Федор Федорович, кое-какие надежды), в общем, я рассчитывал если не на радушный, то хотя бы на вежливый, что ли, прием, и, знаете, каково же было мое удивление, когда этот самый Ефим, обычно при встречах всегда протягивавший (может быть, по забывчивости, ведь я каждый раз напоминал ему, что не курю, а может, от простоты душевной и доброты?) кисет и сложенную для самокруток газетку, так вот, этот самый Ефим Понурин, выйдя на стук к воротам, не только не открыл их и не пригласил в избу, но как остановился в нескольких шагах за синими, заиндевевшими перекладинами ворот, так и стоял, нахлобучив шапку, и недоброжелательно, оценивающе смотрел на меня.

«Ну чего? — неохотно проговорил наконец он. — У меня-то, поди, ларей нет. Али и у меня шарить будешь?»

«Да вы что? Я только хотел...»

«Чего хотел?»

«Хотел узнать, не брал ли кто лошадей в тот день, ну, накануне, когда, помните, к Моштакову...»

«Эк, чего захотел. Лошадей каждый день берут и каждый день ставят, и на то бригадир есть, у него и спрашивай. Ну, еще чего?»

«Так брал кто лошадей или не брал?»

«Нет».

«Ефим Семеныч, дело серьезное».

«Никто не брал, чего еще?»

«Это точно?»

«Чего еще, говорю?»

«Больше ничего, извини, — сказал я, даже вроде как бы слегка отстраняясь от него. — Больше ничего, все».

Какие-то доли секунды мы еще смотрели друг на друга: я с недоумением, потому что мне непонятно было это изменившееся ко мне отношение одноногого конюха, он же по-прежнему настороженно, с явным недружелюбием, которое было и в глазах и во всем, может быть, от яркого белого снега сощуренном лице; ни я, ни он не произнесли того, что обычно говорили друг другу при расставании: «Ну, здравствуй-бывай», а молча: он зашагал к своей избе через двор, вминая деревянным костылем и без того утопанный на дорожке снег, а я — к себе

через всю зимнюю и потому как будто малолюдную деревню. Лишь возле школы и у входа в маленькую бревенчатую лавку сельпо было заметно оживление; возле школы дети с горы катались на санках, а здесь, возле лавки, беседовали между собою собравшиеся долгушинские мужики; но и этого малого было вполне достаточно, чтобы, как говорится, ощутить на себе действие сказанных, помните, в конюшне Моштаковым слов — *мир осудит*. Когда я поравнялся со школой, дети вдруг, словно по команде, выстроились в ряд, держа кто на веревочках, кто прямо перед собою в руках санки, и все смотрели на меня — какими же были те семейные разговоры, если детишки даже перестали кататься, завидев меня; когда подошел к лавке сельпо, вернее, к собравшимся полукружьем мужикам, как это делал всегда, чуть наклонил голову и приподнял шапку, здороваясь, никто не ответил на приветствие; лишь молодой парень, Петр Рожков, стоявший рядом с отцом, кивнул было мне, но отец; и это на виду, не скрывая, дернул его за полу телогрейки так, словно прикрикнул: «Кому кланяешься!» — и парень мгновенно отвернулся и принялся уже смотреть куда-то вдоль улицы.

«Что случилось, мужики? — спросил я, называя по имени и отчеству всех, разумеется, хорошо знакомых мне долгушинских колхозников. — Почему не здороваетесь?»

«У нас хлебных ларей нет, — за всех ответил Рожков. — Да и баньки на задах не у каждого».

«Вы это к чему?»

«А к тому. Пойдем, Петр», — добавил он и, явно не желая больше разговаривать, зашагал прочь от сельповской лавки.

Следом за ним так же молча, отворачиваясь и будто виновато глядя себе под ноги, двинулись и другие, и я, пораженный этим неожиданным приемом, смотрел на их широкие удалявшиеся спины. Я и в самом деле не понимал, что произошло, потому что не для себя же старался, разоблачая Моштакова. Но доброе дело мое, как видно, не было для них добрым. В моем старании они улавливали что-то такое, что, может быть, касалось их самих, но разве я мог тогда хоть на секунду представить это? Я лишь чувствовал себя униженным, и от сельповской лавки шагал уже один пустынной улицей. Когда вошел в избу, помню, Пелагея Карповна сейчас же убежала к соседке; она вообще в последнее время все чаще уходила

ла из дому, как только я появлялся, и хотя у нее были на это свои и довольно веские причины (я узнал о них позже, спустя много лет), но тогда я объяснял себе всё просто: «Моштаков науськивает, а вы, эх, люди, не можете различить, где добро, где зло!» Постепенно я начал озлобляться не только на Моштакова, но на всех: «Раз так, раз вы не хотите понимать, пусть грабит вас Моштаков, скорее протрете глаза и осмотритесь!» В работе же я постоянно теперь как бы натыкался на стену. Федор Федорович требовал доставить снопики пшеницы в Чигирево, но бригадир Кузьма не давал лошадей, каждый день находил новый и новый предлог, с попутной тоже не удавалось отправить, так как ни конюх, одноногий Ефим Понурин, ни тот же Кузьма Моштаков не говорил, кто и когда едет в Чигирево, и в конце концов Федор Федорович прислал за снопиками свои сани, а вместе с ними и рассерженную записку. В ней было всего несколько слов: «Вы получаете зарплату, извольте выполнять свои обязанности!» Я прочитал записку с тем чувством обиды, какое может возникнуть, когда вы видите, что совершается над вами несправедливость; я ни минуты не сомневался, что Федор Федорович знал, почему не отправлены вовремя снопики, что не сидел же я сложа руки, а бегал, хлопотал, и за что же тогда этот упрек?

«Вот видите», — показывая записку, сказал я подъехавшему на коне Кузьме Степановичу, когда Пелагея Карповна, я и помогавшая нам Наташа грузили снопики пшеницы на сани.

«Че это?»

«Почитайте».

«А че читать? Кому прислали? Тебе? Вот и читай».

«Должен вам напомнить, — хмурясь, продолжал я, — что вы обязаны обеспечивать сортоучасток и тяглом и людьми своевременно. Согласно договору, ясно?»

«Ниче я те не обязан. Есть — даю, нет — взять негде, а в договоре не сказано, чтобы с колхозных работ снимать и перегонять к вам, так что ты не учи меня».

«А сортоиспытательный участок существует разве не для колхоза?»

«Э-э, все для колхоза, а на деле выходит, ан, с колхоза все».

«Так что, к председателю мне идти, что ли?»

«Вона, дорога проторенная», — усмехнувшись, проговорил он и, чуть привстав в седле и обернувшись, указал сложенной в руке плеткою на тянущуюся от замерзшей

реки по некрутому склону наезженную и чуть темневшую на белом снегу санную колею.

С этого дня он почти не разговаривал со мной, и особенно трудно пришлось мне, когда началась подготовка семян к посеву. Если бригадир выделял людей, то бывал занят триер, и женщины до обеда лускали семечки в настывшем плетеном сарае и затем расходились, а когда наконец я все же добивался триера, надо было бегать и собирать людей. Я снова просыпался чуть свет и, неумытый, в полушубке с поднятым от мороза воротником, торопливо шагал от избы к избе (разумеется, стучась к тем, кого бригадир занарядил с вечера), но колхозницы не спешили: то приходила одна, то другая, ждали напарниц и, не дождавшись, уходили, а вместо них являлись как раз те самые напарницы и тоже сидели, ждали и затем уходили, а на дворе между тем начинало смеркаться, короткий зимний день истекал, и я, рассерженный вконец, злой, опять отправлялся к бригадиру и просил оставить людей и триер на завтра. Но на следующее утро повторялось все то же, и еще на следующее — опять все повторялось, а потом приезжал Кузьма Степанович на своем резвом рыжем жеребчике, сердито спрашивал: «Че, стоит машина?» — и триер тут же уводили на бригадный двор. Я чуть не плакал от обиды и оттого, что бессилён что-либо изменить; главное, жаловаться, я чувствовал, было не на кого, потому что внешне все как будто соблюдалось, триер давали, людей выделяли, а то, что женщины никак не могли собраться, чтобы начать работу, так это, во-первых, всех не обвинишь, а во-вторых, на такое обвинение наверняка сказали бы (да так оно затем и вышло): «Не умеете работать с людьми!» Произнес эту фразу Федор Федорович, когда я, доведенный почти до отчаяния, — шутка ли, ведь могла сорваться посевная, я же понимал это! — решил все же пойти в Чигирево к нему.

Было это в первых числах марта.

Еще как будто стояла зима, и все вокруг, казалось, дремало, заметное долгими февральскими вьюгами, но вместе с тем снег уже не слепил глаза своей яркой белизной, как зимой, а поосел, подтаял в лучах набравшего силу солнца, и все во дворах, на огородах, на речке и дальше за речкою, на взгорьях, все покрылось еле заметною, будто прижался к земле развеванный ветром дым, пеленою. Серым казался снег и на крышах, и сбросившие синий морозный иней жердевые ограды теперь

ясными черными полосами спускались к прибрежным и тоже заметно почерневшим кустам тальника. Поосели, подрезались стожки во дворах, возле коровников, и это тоже было признаком приближавшейся весны. Да и ветер теперь все чаще дул с юга, принося тепло и отдаленное дыхание где-то лопающихся почек, и чувствовать это наступление весны, несмотря на заботы и неурядицы жизни, всегда бывает приятно; обновляется природа, и сам ты тоже будто обновляешься — и мыслью и душой, и, что самое важное, как оживают семена в земле, оживают в тебе надежды на лучшее и радостное будущее. Не совсем, может быть, в таком настроении, но все же именно с надеждою на лучшее будущее отправился я в то мартовское утро в Чигирево. Я говорю «отправился», да, пошел пешком, потому что Кузьма Степанович все равно не дал бы подводу, а просить, унижаться мне, откровенно, не хотелось; я даже задами обошел моштаковское подворье, чтобы не встретиться вдруг с Кузьмой Степановичем; да и видеть старого Моштакова не было никакого желания. Он обычно стоял в открытых воротах своей огромной, примыкавшей к избе бревенчатой конюшни, когда я теперь проходил по улице, и в это утро мне особенно не хотелось ощущать на себе его прищуренный, как будто старчески равнодушный, спокойный, но на самом деле полный холодной ненависти взгляд; я по-прежнему чувствовал мир его мыслей, злой и понятный до самых незначительных мелочей, мне казалось, что даже вокруг двора его все было как бы пропитано *моштаковским* миром, как я называл теперь все, что связывалось у меня с мужичками — «мучное брюшко», и в это мартовское утро, повторяю, как никогда прежде, не хотелось даже вот так, взглядом, что ли, прикоснуться к нему; опять лари, опять вся оскорбительная история, воспоминания о которой могли оставить лишь пустоту и боль на душе, тогда как мне было, в общем-то, не до ларей и не до воспоминаний: близилась посевная, а семена еще не очищены, не протравлены и не проверены на всхожесть. «Может быть, не к Федору Федоровичу, а прямо к председателю колхоза», — сам себе говорил я, подымаясь по взгорью к дороге и стараясь не думать о Моштакове. Я не хотел оборачиваться, но, оказавшись на вершине, все же остановился и посмотрел на деревню; и не хотел выделять среди других изб моштаковскую, но и длинная конюшня, и тесовая крыша избы, и все подворье с огородом

и банькой, что стояла, приткнувшись на задах, почти у самой еще скованной льдом реки, — все это я как будто увидел прежде, чем остальные избы Долгушина. Моштак-овское подворье как бы всколыхнуло в памяти все пережитое здесь за долгие месяцы со дня приезда, и, может быть, как раз тогда, в те минуты, когда, стоя на укатанной полозьями и местами подтаявшей с вечера и заледе-невшей теперь, поутру, санной колее, смотрел на дорогие избы Долгушина, впервые с тревогой почувствовал, что между мною и той радостью труда и жизни, какую я по-знал, объезжая и обходя в дождливые осенние дни черные вспаханные Долгушинские взгорья, будто ложи-лась глубокая и неодолимая пропасть; в то время как я находился по эту сторону пропасти, те осенние дни, что наполняли жизнь радостью и счастьем, как бы отре-зались от меня даже не пропастью, а мрачным мошта-ковским миром, и, главное, что я будто ничего не мог сделать, чтобы убрать с дороги этот ненавистный и злой моштаковский мир. Знаете, как беспокоит иногда нехоро-шее предчувствие человека и он становится угрюмым, настроженным, неразговорчивым, хотя и причин-то по-ка для этого никаких, вот такое предчувствие чего-то не-хорошего, что должно было будто изменить мою жизнь, тревожило и угнетало меня вся дорогу, пока я шел в Чи-гирево. Я полагал тогда, что настроение это оттого, что мне не хотелось, в сущности-то, встречаться с Федором Федоровичем. После памятного декабрьского вечера, когда в метельную морозную ночь я ушел от него и за-тем, греясь, сидел возле печи в незнакомой избе, я так и не видел Федора Федоровича (он не приезжал в Долгу-шино, только присылал письменные распоряжения, я же не появлялся в Чигиреве); я не мог простить ему того, что он рассказал о ларях Андрею Николаевичу, и по-прежнему был убежден, что он был заодно со всеми («Не с Моштакowym, так с Андреем Николаевичем непременно», — рассуждал я) и что, конечно же, ни о каком, так сказать, примирении не могло быть и речи, и я бы ни за что, если бы не надвигавшаяся посевная, не позволил бы себе переступить порог дома Федора Федоровича.

Когда я вошел во двор сортоиспытательного участка, веснушчатый внук сторожа Никиты — Михаил, заметно подросший за эти почти два года с тех пор, как я впервые увидел его, запрягал серого беззубого мерина в сани; он заводил старую, изработавшуюся и уже с без-различием и покорностью ступавшую в оглобли лошадь

и, увидев меня, только взмахнул рукой, как это делали чигиревские мужики, знавшие цену времени и соблюдавшие достоинство, и продолжал свое дело; упираясь полу-согнутой ногою в обшитое кожей деревянное плечо хомута, он затягивал супонь, когда я, совсем уже почти приблизившись к нему, спросил:

«Далеко собрались, Михаил?»

«В поле», — неторопливо, как будто даже неохотно ответил он.

«Чего это вы? Кто вас гонит?»

«А я что...»

«Там же снега по брюхо вашему мерину!»

«А я что... Я... вон, велят», — закончил он, уже расправляя вожжи и кивком головы указывая на того, кто как раз и велел запрягать и теперь будто стоял за санями.

Я посмотрел, куда он указывал, и увидел спустившегося с крыльца Федора Федоровича. Он был в полушубке, шапке и валенках, во всем том, в чем я привык видеть его зимою, и стоял так же, чуть раздвинув для прочности ноги (а знаете, есть еще в этой позе нечто такое: мое, мол, я хозяин здесь, и не сдвинешь!), как встречал прежде, и, казалось, вот-вот зазвучит его наполненный отцовской теплотою голос: «Эк кто к нам! Дарья! Дарья, ставь самовар!» — затем возьмет меня под руку и поведет в избу, а Никитиному внуку скажет, что поездка отменяется и чтобы он распрягал мерина и шел домой, но ничего этого не случилось, Федор Федорович не торопился ни отменять свою поездку, ни произносить приветливые слова; он оглядывал меня молча и так, будто видел впервые, и даже будто был удивлен, зачем, дескать, явился к нему этот неприятный молодой человек? Я хорошо помню это выражение в его холодном старческом взгляде. Он не здоровался, мне тоже не хотелось первым произносить «Здравствуйте», и я лишь чувствовал, что с каждой секундой, пока мы смотрим друг на друга, все сильнее и сильнее поднимается во мне неприязнь к этому коренастому, с короткою шеей человеку, и неприязнь свою — я чувствовал и это — не в силах был ни подавить, ни скрыть от Федора Федоровича.

«Ну-ну, явились?» — спросил наконец Федор Федорович, продолжая, однако, с прежним как будто равнодушным смотреть на меня.

«Да, как видите».

«Посевную сорвали?»

«Пока нет».

«Чего там «пока», сорвали, милостив-с-сударь».

«Я пришел к вам, Федор Федорович...»

«Поздно пришли. Вы, милостив-с-сударь, уже, по существу, уволены».

«Как?!»

«Не «как», а вернее было бы: «За что?» За то, что сорвали подготовку семян к посеву. Бумагу на вас я еще на той неделе отправил в управление, так что на днях выйдет приказ», — добавил он все с тою же непривычною, во всяком случае для меня, как я знал его, холодностью в голосе.

В первое мгновение я, разумеется, не поверил тому, что сказал Федор Федорович; мне показалось, что я не понял; я ожидал чего угодно, только не увольнения, и потому — теперь уже с испугом и недоумением — продолжал глядеть на Федора Федоровича.

«С бригадиром вы не умеете ладить, с народом тоже, — снова начал Федор Федорович, — а я, милостив-с-сударь, ни работать, ни тем более отвечать за вашу разболтанность не намерен».

«Но я как раз...»

«Хотите возразить? То есть обжаловать, конечно, можно, этого никто вам не запретит, но скажите лучше, очищены семена?»

«Нет».

«Протравлены?»

«Нет».

«Так чего же вы хотите? Март на дворе, милостив-с-сударь. На вашем месте я бы сделал только одно — подал заявление. Приказ я постараюсь изменить, и это все, что могу обещать вам. Да, все!» — уже раздраженно закончил он.

Усевшись в сани и обронив Михаилу: «Трогай», — он для чего-то, хотя было безветренно и неморозно, поднял меховой воротник полушубка и, пока серый мерин вытягивал сани на дорогу, ни разу не обернулся и ничего больше не сказал мне. Я же остался один посреди опустевшего заснеженного двора, не зная, что делать, куда пойти, кому и что сказать о случившемся. «Неужели правда? — думал я. — Неужели действительно Федор Федорович уволил меня вот так, сразу, не приехав, ничего не узнав, не поговорив? Да и там, в управлении?...» Теперь-то я знаю, что вот так просто нельзя уволить человека и что никаких, конечно же, документов Федор Федо-

рович не составлял и не отправлял в управление (удивляюсь, как я не мог сообразить тогда, что на это у него даже просто не хватило бы решимости!), а говорил лишь по наущению Андрея Николаевича («Он даже угрожал Федору», — утверждала потом Дарья, таясь от мужа), и говорил для того, чтобы я испугался и подал заявление, и я, разумеется, подал его, все так и вышло, как замыслил, желая избавиться от меня, заведующий Краснодолинского районного земельного отдела, но что толку, что теперь-то я все знаю, и что из того, что с сожалением думаю, что мог бы не подавать заявления, и не была бы тогда надломлена жизнь, и не мучили бы меня те мрачные мысли о справедливости и несправедливости, которые и сейчас нет-нет да и тревожат сознание, и я начинаю с опаской поглядывать на людей; в самом деле, что толку в запоздалых открытиях, когда ничего уже нельзя ни изменить, ни исправить, жизнь уже определена и прошлое остается лишь уделом дум и воспоминаний? Я стоял посередине двора, лицом к воротам, и не мог, естественно, видеть того, что за спиною из окна, отдернув шторку и прильнув к стеклу, наблюдали за мной все три дочери Федора Федоровича вместе с женой, Дарьей; некрасивые лица их, сплюснутые у стекла, показались мне еще более неприглядными, почти уродливыми, когда я, может быть, оттого, что почувствовал, что на меня смотрят, на миг оглянулся и увидел их; я тоже, как и Федор Федорович, хотя никакой нужды в этом как будто не было, зло поднял воротник полушубка и зашагал, не оборачиваясь на окно ненавистного мне теперь дома. В ту минуту я еще не думал, что напишу заявление; мне еще казалось несправедливым решение Федора Федоровича, и я пытался найти оправдание себе. «Не я сорвал подготовку семян, нет!» Я то и дело возвращался к только что состоявшемуся разговору с Федором Федоровичем и, так как на все вопросы, какие задавал он: «Очищены? Протравлены? Проверены на всхожесть?» — по-прежнему ответ был только один: «Нет!» — постепенно начал сознавать, что возражение бессмысленно, что оправдания, в сущности, нет и, главное, что все может повториться, как с моштаковскими хлебными ларями, которые были же в кладовой, я сам открывал крышки и черпал ладонью зерно, но кто, кроме меня, может теперь подтвердить, что они были? Никто. Ларей не нашли, а значит, для Подъяченкова, Игната Исаевича, для всех их просто не существовало. Я думал

так, шагая по улице Чигирева, и не заметил, как очутился возле избы Игната Исаевича. Ясно понимая, что мне вовсе не нужно заходить к участковому уполномоченному, я между тем прошел во двор и постучал в окно. И почти тут же в дверях появилась жена Игната Исаевича, Мария.

«Добрый день, — сказал я. — Игнат Исаевич дома?»

«Его нет».

«Ага. А когда будет?»

«Не знаю. Он в Дóлинку уехал».

«Ага. Ну извините».

Прямо от него я отправился к Подъяченкову, но и парторга дома не было; русоволосая дочь его, отвечавшая на мои вопросы, сказала, что отец ушел в правление колхоза, и я, опять-таки не представляя толком, для чего нужен мне Подъяченков, зашагал в центр Чигирева к правленческой избе. Но Подъяченкова не оказалось и там; лишь главный бухгалтер колхоза, как всегда, сидел за своим заваленным сводками, нарядами и ведомостями столом, и когда я, открыв дверь, спросил у него, где Подъяченков, не знает ли он, и где председатель, он как будто недоуменно уставился на меня своим округлым стеклянным с фронта глазом (кстати, сколько я ни встречался с ним прежде, всегда складывалось впечатление, что бухгалтер смотрел именно этим выпученным стеклянным глазом, а не вторым, нормальным, вернее, целым, который обычно бывал полузакрит, прищурен) и только после долгой, причину которой я понял не сразу, паузы ответил:

«Они все в Дóлинку уехали, на совещание».

«А когда вернутся?»

«Этого сказать не могу».

Он продолжал смотреть на меня, и хотя я не мог уловить выражения его прищуренного глаза, но по округлому, стеклянному, а скорее по черточкам и морщинам, как они располагались на лице, понял, что вовсе не из простого любопытства, ну, скажем, давно не видал, ведь бывает и так, смотрел на меня главный бухгалтер колхоза. Он, конечно, знал всю мою долгушинскую историю, но знал, разумеется, лишь то и так, как говорили об этом мужики и женщины в Долгушине и Чигиреве, и в его понимании, как, наверное, в понимании многих, я выглядел клеветником, наветчиком, и именно это его недоброе любопытство сразу же неприятной болью отозвалось на душе; я тоже неприятно взглянул на него,

будто он и в самом деле был виноват в том, что знал только ту *правду*, что была известна всем, и не знал другую, которая не позволила бы ему теперь так осуждающе-насмешливо оглядывать меня. «И ты — все заодно», — беззвучно проговорил я, закрывая дверь и направляясь к выходу.

На улице я еще встретил людей, которые, приостановившись, окидывали меня тем же будто, как только что главный бухгалтер колхоза, взглядом, и я, скрываясь, как за стеною, за поднятым воротником своего полушубка, старался поскорее уйти от них. Мне казалось, что все осуждают и ненавидят меня, хотя — за что, этого я понять не мог; ни к кому более я не заходил; в ночь, потому что уже начинало смеркаться, злой и ненавидящий тоже всех и вся, шагал я из Чигирева в Долгушино и как только очутился у себя дома (не сразу, конечно, а когда было уже далеко за полночь), не раздеваясь, присел к столу и написал то самое заявление, которое еще более, чем заботившийся о своем спокойствии Федор Федорович, ждал от меня заведующий райзо; на глазах у сонных и недоумевавших Пелагеи Карповны и Наташи я запечатал заявление в конверт и затем, выйдя из дому, теперь же, ночью, отнес его на бригадный двор и опустил в висевший там единственный на все Долгушино почтовый ящик.

Еще четверть часа

30 марта, как сейчас помню, в холодный и ветреный весенний день покидал я Долгушино. Я уезжал с тяжелым чувством пустоты и обиды, и так же, как в низких и темных, обволакивавших небо тучах не было просвета, так мрачно и неприглядно представлялось мне будущее, и временами даже хотелось крикнуть: «Что вы со мной сделали?!» Самым невыносимым казалось то, что теперь, вернувшись домой, в город, я должен был объяснить матери, что произошло, почему приехал; я думал об этом все дни, пока получал расчет, и особенно утром, когда упакованные чемодан и рюкзак стояли уже у порога, а я, будто еще ожидая чего-то, не спешил выходить и невидящим взглядом смотрел на весеннюю с черной дорожной колеєю посередине и осевшим ноздреватым снегом вдоль плетней и жердевых оград неровную долгушинскую улицу. Я вспоминал день, когда отъезжал из

дому с дипломом агронома (аккуратно завернутый в газету, он лежал на дне этого же, стоявшего теперь у порога чемодана); сколько было надежд, радостей и у меня и у матери (да и братишка с сестренкой — как они счастливо смотрели на меня!); и письма отсюда, какие я посылал, особенно в первый год работы в Долгушине, и вот все было теперь разрушено, сломлено, и не потому, что я сам сделал что-то нехорошее или непристойное, что ли; я чувствовал себя правым, моштаковский мир, как и прежде, был ненавистен мне, и я знал, что если бы вдруг вся моя долгушинская жизнь повторилась, ни минуты не колеблясь, снова бы вступил в бой с Моштаковым, но только действовал бы иначе, осмотрительнее, и уж наверняка не допустил бы тех ошибок, вспоминать о которых было неприятно и стыдно теперь. «Зачем я пошел к Федору Федоровичу? Да и что другое можно было от него ожидать? Нет, я бы уже не пошел к нему, и мы бы тогда еще посмотрели, кому пришлось уходить из Долгушина», — думал я. Но вернуть прошлое было нельзя, я, разумеется, понимал это, и оттого должны служить утешением картины, *как бы все могло быть*, возникавшие в воображении, вовсе не утешали, а только обостряли то ощущение свершившейся несправедливости, те боль и обиду, которые и без того поминутно угнетали меня. Нет, я не видел весеннюю талую улицу Долгушина, когда, упершись ладонями в стол, смотрел сквозь окно на нее в те прощальные минуты; и дом с некрашеными и потемневшими от времени ставнями, что возвышался на противоположной стороне, был вовсе не тем знакомым, какой я привык видеть ежедневно, как только, просыпаясь, отодвигал цветную ситцевую занавеску, а словно стояла передо мною дорогая мне и памятная родительская изба, та самая, которую когда-то, еще до войны, мы с отцом купили в Старохолмове, и затем вместе с возницами-чувашиами я перевозил ее в город, познавая мир и доброту и радуясь выращавшему на окраинной городской улице *своему*, собственному дому, как радовались отец и мать; изба была деревенской, такой же, как и все здесь, в Долгушине, и почерневшие и потрескавшиеся бревенчатые венцы ее были будто и теперь видны мне так же, как прежде, когда я каждый день, выходя из дому, шагал вдоль стены и окон к калитке: то с сумкой, набитой тетрадами и учебниками, торопясь, боясь опоздать в техникум к началу занятий, то просто налегке, чтобы встретиться с товарищами и пого-

нять где-нибудь на поляне мяч, то с зажатými в кулаке хлебными карточками, когда началась война и мать просила помочь по хозяйству, то с соседом Владиславом Викентьевичем, как уже рассказывал, когда нужно было в очередной раз отправляться за сенной базар на толкучку; я видел перед собою всю ту свою жизнь, от которой уезжал когда-то, надеясь на лучшее, и к которой должен был теперь вернуться, не оправдав, главное, надежд матери. Я представлял себе, как, приехав, войду с чемоданом и рюкзаком в дом и как обрадуется в первую минуту мать, пока не поймет, что я приехал совсем и что опоры семье, как она ожидала, из меня не получилось; и тогда счастливых слез уже не будет на ее глазах; вся та усталость от работы и жизни, какую она, как мне казалось, испытывала постоянно с того дня, когда отец ушел на фронт, опять горестной тенью ляжет на ее лицо, она привычно подберет под косынку свои начавшие уже редеть седые волосы и, вздохнув, спросит:

«А теперь что? Куда?»

«Учиться».

«В институт?»

«Да».

«И Виталий в институт, и Света вот тоже...»

«Я на вечерний, мама».

«О боже, да чего уж на вечерний, разве я против?»

Вот так, про себя, беззвучно, я разговаривал с матерью, вернее, воображал этот разговор, стоя перед низким окном в своей долгушинской комнате. Что еще более веское я мог придумать, кроме того, что пойду учиться в институт? Мне казалось, что вообще весь свой приезд я мог объяснить учебой, что, дескать, не хватает знаний и что без высшего образования сейчас невозможно стать хорошим специалистом; но вместе с тем — как ни убедительными даже самому себе представлялись эти доводы — я понимал, что ничем не смогу снять тот горький осадок, какой останется у нее на душе от моего возвращения.

В соседней комнате, за дверью, я знал, Пелагея Карповна и Наташа сидели и ждали, когда я выйду, чтобы проститься со мной. Пелагея Карповна с рассветом ушла было на бригадный двор, так как не хотела, наверное, видеть меня в это утро, но потом почему-то передумала, вернулась, и я слышал, как она, хлопая дверьми, шумно входила в избу. Я уже привык, что после-истории с моштакoвскими ларями она относилась ко мне холодно, от-

чужденно, как, впрочем, относились и другие долгушинские мужики и женщины, но если для других я был лишь агрономом, лишь требовал работу, то Пелагея Карповна, я справедливо полагал, знала обо мне все, и уж кто-кто, а она-то могла понять меня и не осуждать, как другие; да, именно так я думал, и, может быть, поэтому у меня тоже вырабатывалась своя, если можно сказать, неприязнь к Пелагее Карповне, и мне тоже теперь, напоследок, не хотелось видеться с ней. Наверное, я только потому и стоял у окна в комнате, что надеялся, что Пелагея Карповна снова уйдет на бригадный двор.

Занятый этими думами, я не заметил, как приоткрылась дверь и в комнату заглянула Пелагея Карповна.

«Вы едете сегодня или не едете?» — спросила она так, будто в том, еду я или не еду, заключалось для нее что-то важное, что ли.

«Ухожу, — ответил я. — А что?»

«Гришка подъехал. Он в Чигирево, так что...»

«Какой Гришка?» — сердито переспросил я.

«Господи, да приемный сын нашей соседки, Лобихи. Я уж к нему бегала, а то куды, думаю, с чемоданом-то и узлом в слякоть такую!»

«Я не просил вас».

«Да уж подъехал. Иди. Чего уж».

Чуть помедлив, я все же вскинул на плечо рюкзак, взял чемодан и молча, не прощаясь ни с Пелагеей Карповной, ни с Наташей, вышел во двор.

У ворот и в самом деле стояла подвода.

Я только спросил:

«В Чигирево?»

«Да».

Бросив чемодан и рюкзак на колкие объедки сена, которыми была наполнена телега, и устроившись рядом с вещами, я негромко и недовольно проговорил: «Поехали», — приемный сын Лобихи, лет четырнадцати парнишка, щелкнул вожжой по сытому крупу бригадной лошаденки, и телега, разрезая колесами мягкий водянистый снег, двинулась вниз по улице к ребристому и уже просохшему от снега бревенчатому мосту.

Я смотрел вниз, под колеса, на землю, на свои болтавшиеся над дорогою ноги, и только после того как телега, протарахтев по бревенчатому настилу моста, начала медленно, раскачиваясь и почти по самые ступицы утопая в размякшей и разъезженной колее, подниматься по взгорью и все избы Долгушина остались позади, ра-

зогнул спину и взглянул на удаляющуюся деревню. Десятки раз я видел ее с этой же вот рассекавшей пашню дороги, отправляясь в поля то пешком, то на коне, рыжем бригадирском жеребчике, которого нет-нет да и уступал мне в те дни Кузьма Моштаков, и весной ли, когда все вокруг бывало покрыто зеленью: и тальник у речки, и покосный луг за тальником, и дальше — квадраты тронувшихся в стрелку озимых и яровых, словно подновленные и сиявшие свежими на солнце красками, летом ли, когда по желтому хлебному раздолью, как нестихающий прибой, одна за одну, прижимая тяжелые колосья к земле, накатывались волны почти под самые завалинки долгушинских изб, осенью ли, когда все как бы уменьшалось, сливаясь и выцветая за синюю и беспрерывно морозящую сеткой дождя (я часто и теперь слышу глуховатые звуки ударявшихся о брезентовый плащ и капюшон тех дождевых капель, и, знаете, какая-то никем, разумеется, не записанная еще, непостижимая мелодия оголенных полей начинает слышаться в этих звуках, и беспричинная, тяжелая грусть ложится на душу), да, десятки раз именно с этой вот уходящей в гору дороги смотрел на мило прижавшуюся к речке небольшую, всего лишь колхозная бригада, деревеньку, и мне всегда казалось, что ничего нового я уже не смогу открыть в ней и что то чувство любви, которое оживало во мне каждый раз при виде этих приземленных и почерневших бревенчатых изб, неповторимо, неизменно, и что нет и не может быть ничего выше этого чувства. Но мы просто не знаем, на чем кончается наша любовь, и кончается ли она вообще, и где граница радостям и горю. Я как будто ненавидел Долгушино и уезжал, как уже говорил, злой и опустошенный, даже вот, видели, не простился ни с Пелагеей Карповной, ни с Наташей, но злость моя, и с годами я все больше начинаю понимать это, была лишь той некрасивой скатертью, какую иногда закрывают полированную поверхность стола; мне жаль было расставаться с работой, землей, людьми; я не думал, как прежде бывало, когда еще не знал о моштаковских хлебных ларях, как много готов был сделать полезного и доброго людям, — да мало ли что! — я чувствовал в себе столько силы, что не оглоблю, а бревно, бросившись, мог бы легко перешибить плечом! — нет, я не думал ни о карте севооборота, которая была уже почти закончена и которую я для чего-то увозил с собой, ни еще о чем-либо, что удивило бы и обрадовало сельчан и сделало их

(не только долгушинцев, но и чигиревцев, и дальше — всех на земле!) счастливыми, но желание это, желание совершить большое и доброе, какое разбудили когда-то в душе эти же вот Долгушинские взгорья, как бы само собою продолжало жить во мне, и потому я с тоской смотрел на проступавшую из-под снега на склонах черную оттаявшую землю. Я не помню, чтобы мальчишка-кучер что-нибудь спрашивал или вообще пытался заговорить со мной; может быть, и оборачивался и смотрел на мою сникшую спину, а может, просто понимал то состояние, в каком находился я, и потому сидел молча, даже не покрикивал на лошаденку, чтобы не нарушать то течение чувств и мыслей, какое с первой же минуты, когда еще телега только тронулась от ворот, захватило меня (а впрочем, мы эгоистичны; я говорю о себе, тогда как он мог думать о своем; ведь у него была своя жизнь, свои заботы!); но так ли, иначе ли, я был так возбужден и сосредоточен, что ни вязкой дороги, ни чьего-то приемного сына, ни самой телеги, на которой ехал, как будто не существовало вовсе, а была только и позади и по бокам покрытая осевшим, подтаявшим снегом земля, которую я видел и цветущей, и оголенной, сырой, размякшей, когда она, как роженица, подарив жизнь, укладывалась на отдых под белое снежное одеяло, и на осиротевших без листьев стебельках, как застывшие слезы мучений и счастья, поблескивали льдинками запоздалые осенние росы. Вы можете не согласиться со мной, да, пожалуй, и не согласитесь и будете правы, потому что каждый человек, конечно же, живет своим воображенным ли, или еще как-нибудь можно назвать его, миром, но я не преувеличиваю и уж вовсе не от желания сказать красиво хочу сравнить ваши чувства к Ксене со своими, какие испытывал я к Долгушинским взгорьям; они казались мне такими же прекрасными и неповторимыми, как вам Ксения; в Чите, в Антипихе, в Москировке, наконец, здесь, в Калинковичах, в этой вот самой гостинице — в любую минуту вы могли представить лицо Ксени, ее серые и серебрившиеся в свете висевшей над столом керосиновой лампы косы, ее улыбку, любое движение ее лица, которое не нужно вам объяснять, всю ее понятную и близкую вам доброту, так и для меня Долгушинские взгорья (и не только в тот пасмурный и холодный весенний день, когда я, в сущности, глядя на них, навсегда будто прощался с ними) имели *свое лицо*, имели понятную мне и близкую *свою добрую душу*, я знал, каза-

лось, каждую проведенную на них борозду, каждый заросший травой огрех, каждую неополотую межу, и все это сливалось в одно целое, что дарило мне счастье и от чего я уезжал теперь, как отвергнутый, не понятый и не оцененный этой же вот землею, над которой будто все ниже и ниже нависали косматые и черные дождевые тучи, людьми, что сидели (конечно, они не сидели, а каждый занимался своим делом, и с бригадного двора давно уже выехали занаряженные арбы на ферму, но мне так казалось, что сидели) по своим удалявшимся сейчас от меня избам, и большее всего было сознавать именно это, что не понят и отвергнут. Я видел и моштаковское подворье, и дом Пелагеи Карповны, и старую заброшенную мельницу, где в летние короткие вечера оживал натягивавшийся белый экран, и видел уменьшавшуюся свинцово-серую полосу реки с тальником и мостками, и хотя река была уже не замерзшей — еще неделю назад лед сорвало, и теперь шла редкая, неопасная и бесшумная шуга, — минутами вдруг все преображалось для меня, я снова пробирался по оголенному и местами заснеженному льду, оглядываясь и чувствуя, что кто-то следит за мной, и вот уже одно за одним с глухим шумом падают за спиною поленья и зловеще сквозят по толстому и шершавому льду. То нападение, знаете, до сих пор не изгладилось из моей памяти, и бывает иногда страшно оттого, что люди, именно люди, разумные существа, с неизмеримой, я бы сказал, подлой жестокостью набрасываются на себе подобных. Хотя никто больше не швырял в меня поленьями и даже как будто признаков, чтобы угрожали, не было, но в ту зиму я так и не выходил по вечерам из дому; я хорошо помнил обо всем этом и, когда смотрел на избу Пелагеи Карповны, невольно задерживал взгляд на дровяном сарае, где в целостности и сохранности еще стояло унесенное туда и прислоненное к стенке сучковатое березовое полено. «Кто же все-таки бросал? — опять спрашивал я себя, не замечая, как раскачивается на вязкой дороге телега. — Не сам же старик Моштаков? Я же чувствовал, — продолжал рассуждать я, припоминая залитый лунным светом ночной двор, подводу, мешок с мукой, который пронесли на остекленную веранду мимо стоявшего в кальсонах и нательной рубашке заведующего райзо, припоминая лишь те подозрения, какие возникли тогда, сразу же, и не думая больше ни о чем, будто ничего другого не было в тот вечер и я не восторгался ни жизнью, ни умом, ни,

наконец, достатком Андрея Николаевича. — Да, чувствовал, — продолжал я, — но разве мы когда-либо полагаемся на себя? Мы не верим себе, глупцы, и потом дорого платим за это». Я говорил еще в этом роде, с горечью разбирал свои ошибки, ни на мгновение, однако, не отрывая взгляда от унылых, лишь с черными пролысинами на подтаявшем белом снегу взгорий, которые обладали еще большей как будто притягательной силой. Снова и снова они вызывали во мне затаенные добрые чувства, и эти чувства так же, как обида и горечь, одинаково тревожили. Я увозил с собою два мира — любви и ненависти, — которые существовали независимо от меня, я казался себе зажатым между этими противоборствующими силами и как ни старался плечами, разумеется мысленно, в воображении, раздвинуть эти невидимые давившие стены, чтобы хоть развернуться лицом к злу и освободить руки, ничего не получалось, и я лишь, молчаливо сидя в телеге, сутулился под тяжестью пережитых событий. Когда скрылось из виду Долгушино, я не заметил; мне кажется, что до самого Чигирева, до той минуты, пока парнишка, остановив лошадь возле правления колхоза, не сказал громко и неожиданно: «Приехали!» — серые соломенные крыши долгушинских изб все еще будто, как не свезенные с осени осевшие прошлогодние стожки, вырисовывались на удалявшемся снежном горизонте.

В Чигиреве я тоже ни к кому не заходил и ни с кем не прощался; я даже обрадовался, когда почти тут же, едва успел снять чемодан и рюкзак с телеги, подвернулась попутная машина до Красной Дóлинки; в районный центр же приехал, когда уже вечерело и слякотная дорога покрывалась тонким и хрупким весенним ледком.

Мне говорили потом, когда я однажды, спустя много лет, решил пересказать эту свою долгушинскую историю, что главная ошибка заключалась не в том, что я доверился Федору Федоровичу и Андрею Николаевичу, а в другом, что не зашел вовремя в районный комитет партии. «В людях еще не раз и очаруешься и разочаруешься», — выслушав меня, сказал Петр Семенович, тот самый, с которым мы и сейчас трудимся вместе в управлении, и даже кабинеты наши расположены рядом, стена, как говорится, к стене. Ну что ж, может быть, Петр Семенович прав, да, пожалуй, наверняка прав, и случись со мною все теперь, я так бы и поступил, но тогда я, разумеется, не мог сделать этого; и не только потому, что

был еще беспартийным, или потому, что не сообразил ничего по молодости, что ли; во-первых, мне казалось, что у меня не было оснований — ведь семена не очищены, посевная действительно-таки срывалась! — чтобы пожаловаться на несправедливое решение Федора Федоровича, и не было, в сущности, никаких улик, кроме разве словесных утверждений, ни против Моштакова, ни против Андрея Николаевича, и, во-вторых, не всегда же мы делаем именно то, что нужно; одни и неправду, стучась во все двери, оборачивают для себя правдой, другие же часто даже стесняются своей правоты, так что я все равно не могу полностью согласиться с запоздалыми суждениями Петра Семеновича. Я помню, с какой хмурой отчужденностью смотрел на здание райзо, когда, сойдя с машины в Красной Дóлинке, стоял на памятной мне с первого приезда площади (тогда она была пыльной; теперь же — слякотной, черной, исполосованной колесами легких председательских пролеток, на которых приезжали они к районному начальству, и оспинно-изрытой копытами тех же председательских лошадей), и я уже не любовался, как прежде, этим низким, барачного типа помещением с крыльцом посередине и как будто знакомым мне ветхим и полинялым плакатом по карнизу (слова, правда, призывали теперь к посевной); напротив, вся не замечавшаяся раньше убогость: давно не беленные, потемневшие стены, скосившиеся деревянные ступени крыльца, да и фундамент, подъедаемый солонцом, — все было словно специально обнажено передо мною, и я невольно говорил себе: «А у самого-то — и ворота новые, да и дом, и веранда — вся под стеклом!» — и хотя с того места, где стоял, не было видно ни новых ворот Андрея Николаевича, которые, впрочем, давно уже были выкрашены в густо-зеленый цвет, ни даже крыши его дома, но я мысленно воспроизводил всю его ухоженную усадьбу рядом со зданием райзо, и на душе от этого становилось лишь тяжелее и горше. Я видел и здания райкома, райсовета; и видел полуразрушенную церковь на возвышении в конце площади, где когда-то, в тени красной кирпичной стены приснилось мне, что из-под меня вдруг вырвали землю; я, конечно, не вспоминал об этом сне, но все то ощущение, будто действительно вырвали землю, ни на секунду, казалось, не отпускало меня в тот день и вечер. Я не спустился к реке и не попрощался с нею; не прошло и часа, как с попутной машиной я мчался уже на железнодорожную станцию, а на рассве-

те следующего дня скорый поезд увозил меня от этих и дорогих и ненавистных мне мест.

Я тоже думал, что никогда больше не вернусь сюда; но так же, как и вам, может быть, даже в те самые минуты, когда я лежал на раскачивавшейся полке вагона, погруженный в свои грустные размышления, жизнь уже готовила мне обратную дорогу и в Красную Долинку, и в Чигирево, и в Долгушино, ко всем тем не оттаявшим еще взгорьям, с которыми я навсегда как будто расстался теперь.

Час шестой

Произошло это почти десять лет спустя.

Я был уже не тем девятнадцатилетним, только-только познающим жизнь молодым человеком, время научило разбираться и в событиях и в людях, ну, не скажу, чтобы безошибочно, это было бы неверно, но кое-что я все же стал понимать; за спиною лежали годы армейской жизни и годы студенчества, и я работал, а вернее, начинал тогда свою долгую и нравившуюся мне вначале службу в управлении. Я разъезжал по районам, по деревням, забираясь в самые отдаленные уголки нашей огромной пахотной России, не столько принося пользу людям, обществу, если хотите, сколько себе — как раз и познавая мир, людей, природу; я наслаждался теми инспекторскими, в сущности, поездками, забываясь, как бы отдаваясь, отходя на время от бесконечных городских, кабинетных забот; это ведь мы только говорим, беря в руки командировочное удостоверение, что отправляемся поближе к народу, к жизни, тогда как на самом деле, и я давно заметил это, мы движемся от целого к частному, от суеты сует к деревенской тишине и, конечно же, отдыхаем в таких поездках. Вы спросите: «А сейчас?..» Да, сейчас я тоже разъезжаю по районам, но уже не только для глаза, что ли; сейчас — десятки иных и действительно-таки неотложных дел заставляют подниматься из рабочего кресла, но для чего же сравнивать, когда я просто рассказываю о том, что было со мною в те годы, какие одолевали мысли и какие чувства трогали душу. Я был тогда, и об этом странно вспоминать теперь, удивительно спокоен, ничто как будто не волновало и не тревожило меня, хотя, если посмотреть, вся страна в те осенние и зимние дни была как бы поставлена на колеса: все ку-

да-то ехали — на стройки ли, в Сибирь, в Казахстан осваивать целинные и залежные земли; ехали по одному, семьями, целыми эшелонами по комсомольским путевкам, и на всех вокзалах, так, по крайней мере, когда, оглядываясь назад, смотрю на прошлое, представляется мне теперь, гремела музыка: одних провожали, других встречали, и на возбужденных лицах лежал отблеск исходивших парадными маршами медных труб. Да, я хорошо помню то недавнее время, когда все привычное и устоявшееся как бы ломалось и люди просыпались по утрам с настороженным чувством к совершившимся переменам; делились райкомы и исполкомы на промышленные и сельскохозяйственные, и никто еще не знал, чем это все закончится, где настоящее, где ошибочное и где, наконец, главная линия, которой надо держаться и которая может привести ко всеобщему благополучию и счастью. Со своим дорожным чемоданчиком, пристроившись где-нибудь в сторонке, прислонясь к зыбкой фанерной стене станционного ларька или к бетонному на перроне и оттого вечно холодному столбу с раскачивающейся от ветра электрической лампочкой на макушке, одинокий, отчужденный от всей провожающей и встречающей толпы, от перецвета флагов и транспарантов и от разливающейся над путями и вагонами торжественной музыки, — я наблюдал, ожидая своего поезда, за всей этой вокзальной толчеей, и мне казалось, что между моею жизнью и людской суматохою лежит разросшаяся, как между полями двух разных колхозов, и шумящая листвою лесная защитная полоса. Я не участвовал в тех *грандиозных* событиях, не осуждал и не одобрял их; там, у них — свои заботы, у меня же — свои; но я не то чтобы специально, что ли, избегал волнений, нет, не могу сказать о себе этого, хотя и не искал их, а жизнь как бы сама собою обходила меня стороной, и мне нравился тихий душевный покой; я не замечал, разумеется, происшедших в себе перемен, и, может быть, если бы не наша с вами встреча здесь, в Калининчиках, не заметил бы и теперь и наверняка не стал бы ни осуждать, ни докапываться до истины, отчего так иногда меняются люди; очевидно, после долгушинских потрясений, когда я, чего лукавить, вынужден был, в сущности, с позором бежать из деревни, — как естественное защитное средство от нового удара судьбы возникло желание тишины и покоя, и я был вполне убежден, что вот это и есть то *необходимое* для человека, без чего он не сможет уютно и сча-

стливо прожить свой век. Думаю, что не я один, уж тем более не я первый примерял жизнь к этой, громко говоря, философии; даже обычные семейные заботы, как теперь, перебирая в памяти то свое прошлое, вижу, были мне в тягость, я старался освободиться от них, и каждый раз как бы сами собою находились причины тому, что я не хотел жить дома, с матерью, братом и сестренкой. Сначала, когда вернулся из армии, предлогом этим была отдаленность работы — я устроился на завод, который располагался почти за городом, надо было вставать в пять утра, чтобы успеть к восьми на упаковочную площадку, и как только мне выделили койку в молодежном рабочем бараке, тут же собрал вещи и уехал из дому; потом, когда поступил в институт, по той же причине (хотя теперь можно было и не ссылаться на отдаленность) перешел в студенческое общежитие, а когда после защиты дипломной согласился пойти разъездным агрономом в управление, мне выделили небольшую в коммунальной квартире комнатку, и я надолго поселился в ней. Я ведь так и не рассказал матери о долгушинской своей истории; и не потому, что заключалось в ней что-либо такое, о чем больно было бы слушать матери; я ни минуты не сомневался, что мать поймет и одобрит, скажет, что я поступил правильно, решив разоблачить Моштакова, что иначе и нельзя поступить, но оттого, что все было правильно, та суть, что я приехал и что так хорошо начавшаяся работа в Долгушине оборвалась, сломалась, разрушив все взлелеянные в семье надежды, — суть оставалась неизменной, и матери не было бы легче, если бы я все рассказал ей; ей не было легче и оттого, что я молчал, и все же — лучше было знать лишь то, что я решил учиться, что смотрю дальше в жизнь и приехал сам из деревни, чем то, что вынужден был бежать из нее. Может быть, именно потому, что я скрывал все от матери (да и не только от нее), — чем более отдаляло меня время от тех событий, тем реже вспоминал я о них и тем спокойнее и холоднее становилось на душе; лишь после встречи с Наташей, и то ненадолго, поднялись было пережитые чувства, я ходил мрачный, сосредоточенный и смотрел на все — деревья, дома, прохожих — с тем настроением, будто приемный сын Лобихи вновь увозил меня по слякотной мартовской дороге из Долгушина в Чигирево, и вокруг лежала в черных на осевшем, подтаявшем снегу пролысынах земля... Я ведь не потому женился на Наташе, что она

вдруг напомнила мне — не о плохом, разумеется, не о поленьях и Моштакове, а о лучших днях жизни в Долгушине, когда я вставал с зарею и ложился около полуночи, и Пелагея Карповна сушила, развесив над печью, промокший до нитки брезентовый с капюшоном плащ; и уж совсем не потому, что когда-то показался мне удивительным Наташин детский мир доверчивости и простоты; все эти воспоминания (хочу заметить: чем дольше живу с Наташей, тем сильнее она нравится мне и тем чаще я говорю себе: «Я не ошибся, нет, что еще мне надо?») — и тем приятнее бывает думать, что все лучшее я разглядел в ней еще там, в Долгушине, и тогда же полюбил ее; правда, сама Наташа смеется и не верит, когда говорю ей об этом, но я действительно говорю искренне), да, вполне может быть, что все эти добрые воспоминания я уже потом начал как бы привязывать к Наташе, а в первое время, особенно после первой встречи, хотя Наташа и показалась мне стройною и привлекательною девушкой, и я обратил внимание и на ее глаза, смотревшие доброжелательно, приветливо, даже с надеждою, и на волосы, которые хотя и были пострижены коротко, по-городскому, но отнюдь не портили ее лица, а даже будто, напротив, оживляли и делали еще более женственным и красивым, и заметил, что хотя платье было на ней простенькое, но сшито со вкусом, по-современному, как любят теперь выражаться у нас, и в этом тоже была своя привлекательная черта, и все же — после первой встречи не то чтобы жениться, вообще не хотел приходить к ней. Лишь спустя месяц совершенно, как мне кажется, случайно заглянул в общежитие педагогического института, где она жила, и, увидев ее в коридоре, заговорил с ней. Меня преследовала мысль, что Наташа, зная лишь *видимую* причину моего отъезда из Долгушина, осуждала меня, считала трусом, а мне не хотелось оправдываться перед ней; но я ошибался тогда; она не осуждала, и я понял это сразу же, едва только начал спрашивать ее о родной деревне.

«Наташа, — сказал я, беря ее под руку и вместе с нею отходя в конец коридора, к окну, — я давно хотел спросить у вас, как поживает наше Долгушино?»

«А мы не в Долгушине сейчас, в Долинке», — ответила она.

«Почему? Переехали?»

«Давно. К маминной двоюродной сестре».

Я продолжал вести Наташу под руку и думал, спро-

силь ли у нее о Моштакове, о Федоре Федоровиче или нет?

Но пока я раздумывал, она снова заговорила:

«Мама работает техничкой в школе. Звонит в колокольчик. — При этих словах она улыбнулась той своею детскою доверчивою улыбкой, которую я, разумеется, хорошо помнил и которую было мне особенно приятно видеть на ее лице. — Звонит, — повторила она, — и получает зарплату. А устроила маму туда двоюродная ее сестра, Надя. Тетя Надя. Надежда Павловна, — опять улыбаясь тою же своею улыбкой, поправила себя Наташа. — Она любит, чтобы ее величали. У нее умер муж, осталась одна, вот и позвала нас. Мама не хотела».

«А вы, Наташа?» — спросил я.

«А что я? Мне все равно было, я уже училась».

«Избу, наверное, продали».

«Я даже не знаю. По-моему, да. Там сейчас склад и контора сортоиспытательного участка, огород наш запущен, и вообще...»

«Вы когда были там?»

«Летом. К подружке ездила».

«Ну а как Моштакovy?» — все же не выдержал и спросил я.

«Моштакovy? А что? Старик-то отсидел, да и опять лошадей лечит».

«Отсидел?!»

«Да. Подробностей я, Алексей, не знаю, а так, понаслышке, но мама знает, она и на суд ходила».

«Вон как! — почти воскликнул я. — Отсидел-таки, значит. А Кузьма Степаныч?»

«Тоже... мама хорошо знает, я не знаю».

«А Федор Федорович?»

«А что он?»

«Судили?»

«По-моему, нет. За что его?»

«Ну а моштакoвского зятя, Андрея Николаевича?» — продолжал спрашивать я.

«Не знаю, Алексей, правда, не знаю. Мама все хорошо знает, если хотите, я напишу ей, спрошу».

«Нет, — ответил я, хотя, разумеется, мне было интересно узнать подробности. — Нет, нет, не надо, — повторил я, еще более чувствуя, что произношу не то, что нужно. — Зачем?»

Так детально мы уже больше не говорили о Долгушине; когда все же вспоминали, Наташа неизменно по-

вторяла, что она ничего не знает, потому что не интересовалась («Мало ли какие дела у взрослых, — даже, по-моему, непривычно весело отвечала она. — У нас были свои заботы!»), но что мать, конечно же, знает все-все; и после того, как мы поженились, видя, что мне все же хочется узнать подробности, написала матери, прося ее рассказать, как и что было, кого судили и кого нет, но, к удивлению Наташи, мать не ответила на это письмо. Я же вообще ничего не знал о письме; да и не до него было. Каждый новый день начинался для меня с ощущения того счастья, какое испытывают или, во всяком случае, должны испытывать все молодые супруги в первые месяцы жизни; меня ничто не огорчало тогда: ни бедность, как мы с Наташей начинали жить, ни то, что даже не была сыграна свадьба. Мы поженились, когда она только-только закончила институт, а я еще и года не успел прожить в своей небольшой, выделенной управлением комнатке. У нас не хватало денег, чтобы пригласить к празднику Наташину мать, Пелагею Карповну (приглашение это было отложено на глубокую осень); мы просто *посидели* вечер в доме моей матери, нешумно, без песен и музыки, немного выпили, закусили тем, что смогла она приготовить, и ушли, оставив одну со своими думами в пустом и, наверное, казавшемся ей осиротевшим без детей доме. Брат служил в армии, сестренка поступила в медицинский институт и училась в Томске, и для матери, теперь я понимаю, было это, может быть, самым тяжелым временем, потому что, во-первых, после большой и шумной семьи она вдруг, в один год, оказалась одна в четырех стенах, и во-вторых — хотя детей как будто и не было дома, но никто еще из нас, по ее материнским понятиям, не *встал на ноги*, даже я; «Жениться — еще не все», — если не говорила, то, по крайней мере, думала так. Мы по-прежнему оставались для нее детьми, за которыми нужен глаз да глаз, и она тревожилась за нас еще сильнее, когда мы не были у нее на виду; как, наверное, многие и многие на земле люди, к сожалению, я понимаю все это только теперь, запоздало, и лишь вот в такие часы раздумий над жизнью возникает иногда чувство вины и раскаяния; но тогда, в тот теплый сентябрьский вечер, только на миг, как тень от блуждающего по небу облачка, коснулась сознания эта грустная мысль, а через минуту (мать еще стояла у калитки, и, оглянувшись, можно было увидеть при тусклом свете лампочки, что горела над номером, ее чуть сутуловатую

фигуру в белом шелковом с кистями шарфе), занятые собою, мы были как будто уже за тысячу верст от ее материнских забот и волнений. И это, очевидно, закономерно, потому что счастье личное всегда делает человека эгоистичным. Мы шли обнявшись по притихшим городским улицам; я не помню, о чем говорили и говорили ли вообще или шагали молча, но то душевное состояние, в каком я находился, то движение мыслей так ясно сохранилось во мне, что я сейчас вот хотя всего лишь пересказываю, как было, но все вновь ощущаю: и теплую руку Наташи, будто она рядом, ее плечо, теплое под ладонью и платьем упругое тело ее, и волосы, особенно черные и даже будто отдающие какою-то необыкновенною свежестью ночи, словно опять вот прикасаются к моему лицу. Из всех наших встреч, всех вечеров — сколько же раз и до свадьбы и потом бродили мы по этим ночным пустынным улицам! — более всего помнится именно этот сентябрьский вечер, потому что он, как и Долгушинские взгорья, пробуждал новые, никогда прежде будто не испытанные чувства. А впрочем, новые ли? Пожалуй, мне только казалось, что новые, тогда как это было всего лишь знакомое желание добра себе, Наташе, всем людям, желание достатка, уверенности в завтрашнем дне, а точнее, то самое чувство *хозяина*, удачливого главы семьи и дома, каким представлялся мне Андрей Николаевич, когда я, только-только приехав в Красную Дóлинку, сидел у него в гостях и глядел то на щедро накрытый стол, то на Таисью Степановну, как она уходила на кухню и возвращалась в комнату и затем, наклоняясь, почти касаясь своею мягкою щекой моею, подкладывала на тарелку кушанья и подливала чай (чего греха таить, в те минуты я представлял свою будущую жену только такой, как Таисья Степановна, и дом свой, каким был дом у заведующего райзо), — тогда я впервые увидел после трудных и голодных военных лет достаток, и достаток тот поразил мое юношеское воображение; но, разумеется, ни Таисьи Степановны, ни Андрея Николаевича, ни всего их с новыми воротами и ночью подводю хозяйства — ничего этого не существовало для меня, когда я теперь шел с Наташей, а жило лишь очищенное, что ли, желание доброты и достатка, так что я, наверное, готов был на все, чтобы только желание это осуществилось. Глупо, конечно, было желать только *этого*; это — *достаток* — пришло с годами; да оно и не могло не прийти, но как бы я ни осуждал себя сейчас, как бы ни

говорил, что нельзя жить только для *этого*, я не вижу, для чего надобно приукрашивать прошлые чувства и делать их необъятными, широкими? Стремление к семейному достатку не сузило моих представлений о жизни и уж никак не помешало, а, напротив, помогло жить и работать; нет, я не могу осуждать себя, и зря мы иногда не ценим это дисциплинирующее человека чувство в себе; ведь достаток не за счет воровства, но за счет труда, а труд — людям! Я помню, как мы с Наташей вошли в тот вечер в тихую и темную нашу комнату и, не включая света, стояли у раскрытого окна; ни крыши городских, ни улиц, ни фонарей не было видно; низкое барачное окно выходило во двор, на какой-то дощатый сарай, и мы смотрели на эту серую в ночи стену сарая; но виделась нам, разумеется, не стена, а счастливое и спокойное будущее. И хотя я думал о сыновьях, а родились потом девочки, хотя я надеялся, что со временем перейду работать в какое-нибудь крупное и мощное зерновое хозяйство, но так и застрял надолго и к тому же на одной должности в управлении, и хотя не все и в семейной жизни оказалось складным и привлекательным, как представлялось, и все же я рад, что он был, тот вечер. В самом деле, не так уж часто нам выпадают в жизни минуты, когда и серая в ночи стена не может не только омрачить, но даже хоть на мгновение остановить поток волнующих чувств. Я и теперь, когда мне делается грустно, часто возвращаюсь, мысленно конечно, потому что барак тот, как, впрочем, и отцовский из Старохолмова дом, давно снесен, а раскинулись на их месте *наши*, как с похвалою говорят о них, *Черемушки*, к тому низкому окну и стою, глядя в ночь, на сарай, на притягательно красивое и не всегда сбывающееся будущее.

Мы почти ни о чем не говорили, потому что и так все было понятно между нами; Наташа лишь спросила: «Скажи, Леш, ты бы вернулся в Долгушино?»

«Работать? Жить?»

«Да».

«А что, вернулся бы. А ты?»

«Я — нет».

«Почему?»

«Ты опять начнешь искать лари у Моштаковых, а связываться с ними нельзя, они — страшные люди, мама говорила, они способны на все».

«Да на что же они способны? — с усмешкою проговорил я, потому что в эту минуту я действительно-таки ни-

кого и ничего не боялся, и время уже сгладило то впечатление, когда бросали в меня поленьями и они летели и скользили по гладкому льду. — Что они могут? Есть, Наташа, закон, и его не так-то просто переступить, — продолжил я, совсем не замечая, что лишь повторяю давнюю, в которую и сам уже не верил, истину. — Вот твоя мать говорит, да и многие в деревне, я тогда еще слышал, говорили, что Моштаков способен на все, а чем это подтвердить можно? Он что, убил кого-нибудь?»

«Нет, я не слыхала об этом».

«Покалечил кого? Или поджег чью-нибудь избу?»

«Нет».

«Так с чего же страх такой перед ним?»

«Не знаю, Леш, но я верю маме. И себе верю. Вот чувствую, и все».

«Но твоя мать говорила мне совсем другое, ты прости, я не хочу огорчить тебя, она говорила, что Моштаков якобы сделал много добра людям».

«Какого? Что давал муку? Так мама ему все огороды отполола за это».

«Я о другом — она все же говорила! Так вот, не злом, нет, а этим своим так называемым добром страшен Моштаков. Добром, а не злом и все люди скованы перед ним, тогда как можно просто не принимать от него это добро, и он исчезнет, умрет».

«Не знаю, Леш, мне это не понятно, как тебе, но если бы даже все было так, как ты говоришь, все равно мы не поедem в Долгушино. Ты в управлении, я в школе, нам никакой деревни не нужно. Я не хочу, чтобы ты еще связывался с такими людьми, как Моштаков, для нас и в городе места хватит, так, Леш?»

«Ты думаешь, — возразил я, — в городе нет таких людей?»

«Ну уж не Моштаковы, город есть город».

«Э-эх, Наташа, поверь мне, я-то уж знаю. Как-нибудь я порасскажу тебе...»

«Все равно, Леш, я не хочу в деревню».

Жизнь, к счастью, никогда не складывается только из прошлых забот; каждый новый день приносит новые волнения и тревоги.

Осенью, как было намечено, мы не смогли пригласить Пелагею Карповну к себе, а весной, когда уже послали деньги на проезд, она сама вдруг отказалась, сославшись на то, что некому вскопать и посадить огород, да и ухаживать за ним («Надежда-то совсем плоха», —

писала она), а без огорода нельзя, не прожить, трудно, а ну как ни картошки, ни капусты своей — словом, не приехала Пелагея Карповна ни весной, ни летом, и мы только переписывались, и то не часто, вернее, писала Наташа, а я лишь читал корявые и с кляксами ответы ее матери. Но и мы тоже не могли поехать к ней; сначала и меня и Наташу (она первый год тогда преподавала в школе и вся была увлечена своею учительской деятельностью) удерживали дела, потом Наташа ждала ребенка, и мы совместно уже решили, что в таком состоянии, по крайней мере, она ехать не может; лишь спустя почти два года, когда родилась Валентина, Наташа вместе с маленькой дочерью собралась к матери в Красную Дóлинку. Я отвез их на вокзал в первых числах апреля, а под самый майский праздник, хотя никакой видимой нужды в этом не было (лишь осенью, после уборочной страды, я должен был поехать за ними), даже, по-моему, неожиданно для самого себя днем тридцатого взял билет, а ночью поезд уже мчал меня в Красную Дóлинку.

В четырехместном купе, что случается весьма и весьма редко, я ехал один. Проснулся рано, когда сквозь зашторенное окно едва пробивались голубоватые, пока еще не взошло солнце, струи рассвета, и от этих ли ласкающих взгляд струй, от приглушенного ли постукивания колес и мерного покачивания вагона или просто от того, что хотя я как будто и протер глаза и уже сидел, свесив к полу босые ноги, но еще то дремотное состояние, в каком обычно просыпаются люди, продолжало как бы жить во мне, я чувствовал то глубокое умиротворение жизнью, как если бы действительно все уже было постигнуто, познано и более не только ожидать, но и желать нечего. Пожалуй, вряд ли я смогу припомнить еще утро, когда было бы так мирно на душе и когда не только будущее, но и прошлое со всеми неурядицами и волнениями казалось бы естественным и необходимым, как ступень к этой минуте удовлетворения. Мне во всем виделась удача: и что женился именно на Наташе, и что на работе все пока ладилось («Вот, отпустили... на пять дней... вместе с праздничными, правда, ну так что же», — говорил я себе), и, наконец, что еду в места, которые более, чем ларями и поленьями («Очевидно, надо было пройти и через *лари* и *поленья*»), памяты добрыми чувствами. Состояние это, в сущности, началось еще вчера, как только я вошел в вагон и за окном потянулись, удаляясь, тусклые огни вечеряющего вокзала. Я почти не ду-

мал о прошлом; если что и волновало, так это Наташа и маленькая Валя. «Как они там?» — спрашивал я, переносясь мыслью в Красную Дóлинку и воображая Наташу и, главное, маленькую Валентину, как она, закутанная в белую простынку, видно только пухлое розовое личико, лежит на подушках, посасывая резиновую соску и моргая светлыми глазенками. Я никогда не предполагал прежде, что дети, эти крохотные и несмышленные существа, обладают такую притягательной силой, что становятся на какое-то время центром нашей жизни. Повторяю, с теплотой думал я о жене и дочери, укладываясь с вечера на вагонной полке, да и теперь, когда, проснувшись, оглядывал пустое купе — радость от предстоящей встречи с ними вновь, как и вчера, и даже будто еще сильнее охватывала меня; и умывался я с этим же добрым настроением, а потом в длинном и безлюдном пока вагонном коридоре стоял у окна и смотрел, как над уходившею полукружьем за горизонт землю, над деревеньками, березовыми колками, зелеными озимых, над машинами и запряженными в возки лошаденками возле опущенных полосатых шлагбаумов вставало ясное росистое утро. Оно не было необычным, и я, занятый своими думами, как будто не замечал ничего особенного, что привлекло бы внимание, — ну, розовеет небо перед той минутой, как выглянуть солнцу, и этот розовый отсвет ложится на поля, переламываясь и смешиваясь с густою зеленью хлебов, на крыши изб, на верхушки проносящихся мимо деревьев, заплетаясь в ветвях и стекая по стволам, уже совсем померкнув, к земле (но я десятки раз уже наблюдал такое прежде!), — нет, ничего особенного как будто не было в разгоравшемся над полями утре, а вот не десятки других, а именно это помню со всеми его красками, с прошлогодними порыжевшими стожками, вдруг открывшимися то вдали, то прямо у насыпи, где будто и не должны были стоять они, со всеми подновленными к празднику, выбеленными и украшенными флажками крохотными вокзальчиками на разъездах и полустанках, мимо которых проносился поезд, и помню все это, наверное, потому, что, как ни казалось мне, что я не думал о прошлом, что все помыслы были лишь о Наташе и Валентине и о предстоящей с ними встрече, но вместе с тем именно то давнее прошлое, когда я впервые ехал по этой дороге, то радостное возбуждение, какое каждый, наверное, испытал в молодости, впервые вступая в самостоятельную жизнь,

подымалось и жило во мне своею, может быть, какой-то параллельною, что ли, жизнью. Но я еще не осознавал, что прошлое тревожит меня, и с безразличием будто смотрел на знакомые наплывавшие картины, лишь с удивлением отмечая, что время будто остановилось здесь («здесь» — разумелись либо красная с подъеденными боками станционная водокачка, либо покосившийся дощатый пакгауз с разгрузочною рядом площадкой, на которой, как и *тогда, прежде*, будто даже с тех самых лет, так и лежали не вывезенные колхозами в кулях и рассыпанные по земле удобрения); но если вдаваться в тонкости, то никакого безразличия, конечно, не было, потому что — замечал же я, что время будто остановилось здесь; и в конце концов от этого мелькания, от знакомых станционных строений, которые то возникали, то исчезали за окном, как от отправной точки, постепенно и все явственнее начала как бы прокручиваться передо мною вся долгушинская история с той минуты, когда я, выпрыгнув из кузова грузовика, стоял с чемоданом в руках на пыльной площади в Красной Дóлинке, даже, пожалуй, не с той, а раньше, когда я только еще уезжал из дому, прощаясь с матерью, братом и сестренкой, переполненный радостными надеждами, а вернее, еще раньше, с белых узлов и бородатых мужиков в морозных сенцах, отвешивавших муку, — словом, прокручивалась вся та жизнь, которая не могла не сделать главной мечту о хлебе, достатке. Шаг за шагом я как бы заново испытывал уже пережитые однажды и будто забытые чувства, и от утреннего умиротворения в душе вскоре не осталось и следа. Я не заметил, как постепенно коридор наполнили проснувшиеся и курившие теперь или просто стоявшие с мыльницами в руках и переброшенными через плечо дорожными вафельными полотенцами пассажиры; почти машинально уплатил проводнице за чай и взял из ее рук билет; и только когда кто-то настойчиво и несколько раз (может быть, пояснял кому-то) повторил название знакомой станции, я спохватился и, открыв окно и высунувшись в него, принялся смотреть на медленно приближавшийся неасфальтированный, лишь выложенный красным обожженным кирпичом, неровный, с выбоинами, как он выглядел и тогда, перрон.

Наташу, Пелагею Карповну и ее двоюродную сестру Надежду Павловну (я никогда не видел ее прежде, но потому, что она стояла рядом с Наташею и Пелагеей Карповной, понял, кто это) разглядел и узнал издали, и —

так уж, видимо, устроен человек, что на какое-то мгновение он может как бы отключаться от всего, даже самого тяжелого, что занимает его, и жить новой, пусть, может быть, недолгой радостью или горестью, — я вдруг словно забыл обо всех своих думах; еще сильнее подавшись в окне, я закричал:

«Сюда, Наташа, сюда! Я здесь!»

И я уже ни на минуту не терял из виду Наташу; когда, схватив чемодан, двинулся по коридору, то и дело оглядывался на окна и в каждом окне видел ее; когда очутился в тамбуре — из-за плечей двигавшихся впереди пассажиров опять видел счастливо улыбавшееся лицо Наташи. Как только я ступил на выщербленный кирпичный перрон, Наташа передала матери Валентину в легком, с кружевной простынкою одеяльце и кинулась ко мне, обнимая, целуя и говоря:

«Как ты надумал! Какой ты молодец! Как ты решился!»

Я чувствовал, что вместе с этими словами, вместе с тем, что слышу ее голос, вижу глаза, полные жизни и радости, будто возвращалось нарушенное воспоминаниями состояние уверенности и покоя; но уловившая, что окружавшие ее люди чем-то возбуждены, Валентина вдруг начала плакать на руках Пелагеи Карповны, и плач ее, и слезы, которые обильно лились по щекам, возбуждали не прежнее, а новое, хотя и не совсем ясное, но оттого не менее глубокое беспокойство.

«Валентина плачет», — сказал я Наташе, слегка отстраняя ее.

«Пусть плачет, ничего ей не сделается», — возразила Наташа, не желавшая прерывать своего счастья.

«Плачет же», — настойчивее повторил я.

«Ничего, милый!»

«Да закатывается ребенок!»

Я подошел к Пелагее Карповне и взял у нее Валентину. Но она не успокоилась, а заплакала еще сильнее, явно просясь к матери, и тогда Наташа, тоже уже начавшая волноваться, сказала:

«Давай мне».

Отходя, прижимая к себе и укачивая Валентину, Наташа напевно говорила:

«И что же это мы расплакались так, маленькие мои, что же это мы не радуемся...»

Поезд еще стоял на путях, и пассажиры, прохаживавшиеся вдоль вагона, — кто бесцеремонно, прямо, во все,

как говорится, глаза, кто украдкою, исподволь, — смотрели на нас, из окон вагона какие-то мужчины и женщины тоже смотрели на нас, и, не заметивший всей этой гле-зевшей публики в первые минуты встречи, я все более начинал испытывать неловкость под их взглядами и чувствовал, как беспричинное, как принято считать в таких случаях, недовольство и раздражение поднимаются во мне; стоял же я как раз напротив Пелагеи Карповны, и надо было начинать разговор с ней.

«Ну, здравствуйте», — сказал я, замечая, как постарело ее лицо за эти годы, пока мы не виделись, но еще более замечая, что как-то уж очень холодно и отчужденно произношу я свои приветственные слова. Я невольно оглянулся на Наташу: не слышит ли она?

Но она, занятая Валентиной, ничего не слышала.

«Здравствуй, — таким же тоном, в котором звучали будто и недоверие и настороженность, ответила Пелагея Карповна и, шагнув ближе, холодными (может быть, все было не так или не совсем так, но я почему-то запомнил именно это, что губы у нее были холодными) губами прикоснулась к моему лбу и добавила: — Решился-таки?»

Не знаю до сих пор, к чему она сказала это: к тому ли, что я решился-таки приехать на праздники к жене в Красную Дóлинку или же что решился жениться на ее дочери? «Но разве что было, отчего я не мог?» — мгновенно подумал я. Вслух же лишь произнес, стараясь улыбнуться:

«Да вот решился, приехал».

«Это моя сестра», — сказала Пелагея Карповна, теперь чуть отходя в сторону, чтобы я мог увидеть еще более старую, чем сама Пелагея Карповна, и морщинистую Надежду Павловну.

«Очень приятно», — проговорил я и протянул пожилой женщине руку.

На привокзальную площадь мы выходили медленно. Я нес чемодан и свободной рукою несколько раз порывался взять Валентину у Наташи, но Валентина тут же начинала плакать, и Наташа снова забирала ее к себе. Наташа не просто казалась счастливой, но состояние это было естественным в ней, я чувствовал это, и ее возбуждение и радость невольно передавались мне; я то и дело взглядывал на нее, и минуты, когда видел отражавшие все ее теперешние переживания глаза, во мне самом мгновенно как бы возникали те же самые, что мы привычно называем любовью, чувства. Наташа не заметила

отчужденности, с какою я только что разговаривал с Пелагеей Карповной и с какою Пелагея Карповна, у которой, очевидно, имелись какие-то свои основания для этого, отвечала мне; Наташе наверняка казалось, что все должны были испытывать то же, что испытывала она; ей и в голову не приходило, что кто-либо мог не радоваться ее счастью; она видела себя в центре событий, и все, что было вокруг (и не только шагавшие рядом с нею родные): люди, дома, даже флаги, развешанные в честь майского праздника на небольшой и не очень шумной в эти утренние часы привокзальной площади, — все было будто пронизано лучами ее радости, и я говорю об этом так уверенно потому, что секундами, когда, повторяю, видел ее удивительно светившиеся жизнью глаза, сам испытывал это чувство. Именно потому, что мне не хотелось нарушать ее радости, я всеми силами старался не выказывать нараставшей с каждым шагом, пока подходили к автобусной станции (с вокзала в Красную Дóлинку к тому времени уже ходил маршрутный автобус), неприязни к Пелагее Карповне. Я и сейчас не могу понять, отчего возникла такая неприязнь? Беспричинно ничего не бывает в жизни. Я как будто что-то предчувствовал, ее предстоящий рассказ, что ли? Или просто вспомнил, как после неудачного разоблачения Моштакова она стала избегать встреч и разговоров со мной, и я все еще не мог простить ей этого? Держа под руку свою старенькую двоюродную сестру, она шагала сейчас позади меня и Наташи, я все время чувствовал на спине ее как будто ощупывающий взгляд, и это раздражало меня; было такое ощущение, что за спиною двигалось вдруг ожившее неприятное прошлое, и я не в силах был освободиться от него. Я еще что-то отвечал Наташе, когда она спрашивала, как жил и что поделял, оставшись один, и каковы успехи на работе, и улыбался при этом, стараясь поддержать общее как будто веселое настроение, и спрашивал сам, как жила все эти дни она и как чувствовала себя здесь, у матери, но весь наш разговор — и я теперь с болью вижу это, потому что понимаю, как был несправедлив к Наташе тогда, — оставался лишь той любезностью, какою обычно обмениваются по утрам сослуживцы; прошлое не только шагало за спиною, но, хотя я будто и не смотрел по сторонам, оживало во всех тех ничуть, как мне казалось, не изменившихся зданиях, какие я видел в первый свой приезд и какие, хотел я или не хотел этого, отбрасывали меня в памятное послевоенное

лето. Особенно я почувствовал это, когда уже в Красной Дóлинке вышли из автобуса и очутились на центральной площади села. Я сразу уловил, лишь бегло взглянув вокруг, что ничего будто не изменилось здесь (в те годы, знаете, еще не начиналось такое массовое строительство, к какому мы с вами привыкли теперь и какое развернулось, в общем-то, по всей стране); так же чуть обособленно, но только поосев, ниже припав к земле, стояло вытянутое и напоминавшее, как и прежде, жилой барак с крыльцом и центральным входом посредине здание райзо; и хотя оно было подремонтировано и выбелено к празднику, фундамент не казался подъеденным солонцом, да и плакаты, может быть по случаю того же праздника, были написаны на новых красных полотнищах (кстати, райземотделов тогда уже не было, в здании размещалась какая-то заготовительная контора, и я называл его «райзо» только по старой памяти), но почему-то оно еще более, чем в тот мартовский слякотный день, когда я, покидая Долгушино и Красную Дóлинку, в последний раз смотрел на него, — оно еще более показалось мне сейчас убогим, и я с незаметною ни для кого душевною усмешкою проговорил про себя: «А ведь когда-то я с восторгом думал, что здесь, в этом доме, начнется моя судьба...» Я снова обвел взглядом и здания райкома, райисполкома, и все теснившиеся вокруг площади деревянные и саманные избы, которые тоже выглядели по-праздничному подновленными. Так же, будто возвышаясь над площадью, чернела обветшалыми кирпичными стенами, как умирающий потомок былых времен, без куполов и колокольной церкви; двери и окна ее были забиты потемневшими, под стать кирпичам, досками, и молодая крапива уже буйно пробивалась вдоль осыпающегося церковного фундамента, словно спешила прикрыть на нем оспинные разъезды времени. Я вспоминал, как уснул на траве в тени этих холодных церковных стен, вспомнил, главное, сон и пробуждение. В противоположную сторону от церкви тянулась знакомая мне Малая улица: по ней я шагал когда-то, отыскивая взглядом новые ворота; и все, что было со мною потом: от той минуты, как я остановился возле новых ворот и поступался в них, до праздничного застолья и ночной прогулки, когда, волнуясь и недоумевая, увидел подводу на ночном дворе и увидел впервые старого Моштаква, — все-все мгновенно и живо всплыло в памяти; в каком-то, может быть, отупении (хотя слово это, думаю, не может

вполне отразить то состояние, какое охватывало меня) смотрел на эту знакомую улицу.

«Ну что ты стоишь? — вдруг услышал я не то чтобы удивленный, но с явною будто обидою голос Наташи. — Что ты там увидел? И вообще, что с тобой?»

Она уже не первый раз говорила мне это: «Что с тобой?» — не понимая, разумеется, ничего, даже, по-моему, не предполагая, что происходит у меня на душе; ей по-прежнему казалось странным и непостижимым (ведь любовь к кому-то или к чему-то одному — это тоже в какой-то мере эгоизм), чтобы я испытывал что-либо другое, чем она, и чтобы жил в эти, по крайней мере, минуты встречи иною жизнью, чем она; но я жил именно иною жизнью, чем Наташа, и поднимавшееся в памяти прошлое так цепко держало меня, что хотя я и смотрел на Наташу, хотя и чувствовал в голосе ее обиду, но не сразу, не вдруг мог отключиться от наплывавших картин.

«Да, да, пойдете», — после секундного недоумения сказал я; но, сказав, еще раз взглянул на церковь и на знакомую, убегающую в глубь деревни улицу.

«Что с тобой, Алексей? — повторила Наташа, и теперь уже в глазах ее я прочитал беспокойство. — Ты какой-то будто чужой».

«Нет-нет, ничего, — торопливо заверил я. — Пойдемте».

Но я хотя и старался после этого как можно больше и веселее смотреть на Наташу и не оглядываться по сторонам, всю дорогу, пока шли к избе Надежды Павловны, чувствовал, что Наташа уже не была такой радостной, какой я увидел ее на вокзале: беспокойство, что я будто чужой, раз зародившись, очевидно, уже не покидало ее, и она, чего я тоже не мог не заметить сразу же, бросала на меня будто невзначай внимательные взгляды; уже дома, во дворе, когда Пелагея Карповна вместе с сестрою, поднявшись на крыльцо, отпирала дверь, а мы с Наташею стояли внизу, возле ступенек, Наташа, неожиданно наклонившись ко мне, почти шепотом спросила:

«Ты что такой мрачный? Ты не рад?»

«Ну что ты! О чем говоришь!» — возразил я.

«Пожалуйста, прошу», — сказала Пелагея Карповна, приглашая поклоном, как еще принято в деревнях, войти в избу, в то время как Надежда Павловна, распахнув дверь, придерживала ее рукой.

«Проходи, Алексей», — поддержала Наташа, чувствуя себя хозяйкой и уступая мне дорогу, и я, подчиняясь ей и посторонившись от дверей пожилым женщинам, вошел в прохладные и еще не просохшие и не отогревшиеся с зимы сенцы.

Изба Надежды Павловны стояла почти на самом краю Красной Дóлинки, развернувшись огородом к реке Лизухе, так что жердевая ограда спускалась к пологому в этом месте и густо заросшему весенней травой берегу. Берег этот тоже был знаком мне. Когда-то, проходя по нему, именно здесь, напротив этой жердевой ограды, я увидел сидевших с удочками маленьких веснушчатых рыболовов и затем встретил старика с прутиком, замыкавшего цепочку важно шествовавших к воде гусей («Не муж ли это был Надежды Павловны?» — подумал я, еще когда с Наташею стоял во дворе и, оглянувшись, узнал знакомый берег Лизухи); этот поросший травой пологий берег был хорошо виден мне теперь из окна, и видна была вся открывавшаяся за спокойной речной гладью и кудрями тальника даль полей, где густо-зеленые, давно раскустившиеся озимые перемежались с бледными клиньями всходов овсов и гречихи и клиньями чистых черных паров, и я время от времени украдкой — пока Пелагея Карповна, Надежда Павловна, да и Наташа, уложившая уснувшую Валентину на кровать, хлопотали возле стола, празднично накрывая его и расставляя давно уже и с избытком наготовленные угощения, — посматривал на эту когда-то поразившую мое воображение картину ухоженной крестьянскими руками земли. Мне и приятно и грустно было видеть ее. Стараясь уйти, отключиться от воспоминаний, я тоже принялся было помогать женщинам, но как только все было готово и я, сев за стол, опять очутился напротив окна, из которого открывались те же хлебные поля, луг у реки и лес, что синел будто далеко-далеко за черной полосой паров, во мне снова все разделилось на две существовавшие самостоятельно жизни: одна — та, что была в прошлом и теперь лишь повторялась, другая — эта, что окружала здесь, в избе, которую я видел перед собою и которой, как ни трудно было, приходилось, прерываясь от дум, уделять внимание. Мне хотелось быть *здесь*, вместе с Наташею и всеми, угощавшими и смотревшими на меня, но еще более хотелось быть в прошлом, *там*, потому что прошлое имело свою притягательную силу, и, борясь с этими своими желаниями, я лишь замыкался и мрач-

нел и, чтобы хоть как-то оправдать угрюмое настроение, принялся объяснять Наташе, но так, чтобы слышали все, что я просто от усталости такой неразговорчивый сегодня, что перед самым отъездом было много работы в управлении, да и дорога — какой уж в вагоне отдых! Я говорил это и краснел, чувствуя, что не только Наташа, но и Пелагея Карповна, и даже близорукая (потому что она и вглядывалась так пристально) сестра ее понимали, что я скрываю что-то от них, и только из вежливости не хотели нарушать общее согласие.

«Господи, не ездила я никуда, да и не собираюсь», — говорила Надежда Павловна.

«Ничего, Алексей, посиди с нами немного, а потом пойдешь и поспишь, — продолжала Пелагея Карповна свое, едва только смолкала сестра. — Ты уж дай нам, старухам, посмотреть на тебя, не чужой ведь теперь».

«Конечно, да я и не засну сейчас, — ответил я. — Какой сон! Давайте лучше выпьем за ваше здоровье. — Я не называл Пелагею Карповну ни мамой, ни по имени и отчеству, хотя чувствовал, что надо было непременно сказать ей: «Мама». Я понимал, что поступаю нехорошо, что это может обидеть Наташу, но не мог пересилить себя и вымолвить это слово. — И за ваше», — добавил я, обращаясь к Надежде Павловне и принимаясь подливать в маленькие граненые стаканчики водку.

Как ни старалась Пелагея Карповна и как ни старался я сам (мне ведь тоже хотелось вдохнуть хоть какое-то тепло в нашу встречу), разговора не получалось; я видел, как встревоженно смотрела на меня Наташа, но что я мог поделать? Я лишь предлагал тосты: за майский праздник, за здоровье всех в этом доме, что особенно нравилось Пелагее Карповне, наконец, за Наташу и маленькую несмышленную Валентину, но каждый раз, как только граненые стаканчики опускались на стол, наступала неестественная, конечно же, для такой встречи и вызывавшая у всех неловкость тишина.

«Ну что же мы молчим?» — возмущалась Наташа.

«Вот именно», — поддерживал я.

«Ты хоть бы рассказал что-нибудь о себе, — просила Пелагея Карповна. — Как дома?»

«А что дома? Запер квартиру на замок — и вот, здесь. У нас ведь в городе все налегке: ни кур, ни поросят, ни коров».

«Это понятно. Я говорю, как мать?..»

де: «А что мать? Она на пенсии. Наташа разве не сказала вам? Она в Томске, у сестры».

Мы еще говорили о чем-то незначительном — меня спрашивали, я отвечал, и внешне все как будто оставалось пристойным, приличествующим минуте, но вместе с тем между мною и Пелагеей Карповной (как, впрочем, между мною и Надеждой Павловной, на что действительно-таки не было никаких причин) все время как бы возникала невидимая душевная преграда, через которую ни я, ни они не могли перейти; нужен был какой-то сильный и неожиданный толчок, что ли, чтобы преодолеть эту преграду, и толчком таким, по-моему, явилась негромко, словно бы между прочим произнесенная Наташею просьба.

«Мама, — сказала она, — за что судили старика Моштакова, а то Алексей все спрашивал у меня, ему интересно, а я ничего не знаю».

«Да что ты, господь с тобой, когда это было! — почти воскликнула Пелагея Карповна, будто даже — или мне только показалось так? — испугавшись просьбы дочери. — Я уж и забыла все».

«Но ты же ходила на суд?»

«О боже, когда это было!»

«Нет, отчего же, интересно, расскажите», — теперь уже вмешался я, и, может быть, потому, что в голосе моем прозвучала искренняя заинтересованность, Пелагея Карповна согласилась.

«Ладно, слушай. Только если я что запомнила, ты уж извини. А судили его не за то, — она не произнесла слова «зерно» и «лари» и не добавила при этом: «Которые, помнишь, искал ты в тайной моштаковской кладовой», но посмотрела на меня так, что я сразу понял, что означает «не за то», — а за другое, Алексей».

«За что же?»

«Игната Старцова помнишь?»

«Игната Исаича? Участкового?»

«Так вот, это он подкараулил старика летом, во время уборки, когда тебя уже не было в Долгушине. По ночам забирался в моштаковский двор и, как уж там было, я не знаю, сидел, притаившись. Ночь, вторую — так прямо на суде и рассказывал, — а на третью, глядь, на самой петушиной зорьке, как полоске по небу родиться, въезжает пароконная бестарка во двор, а на ней Кузьма, бригадир, да и сам старик, Степан-то, тут как тут, на крыль-

це, и баба за ними с мешками. Степан-то с бабою насыпают пшеницу в мешки, а Кузьма туда их, через конюшню и в кладовую. Но с первого разу брать их Игнат не стал, а уже на шестую ли или на восьмую ночь, теперь уже вот из головы вылетело, как раз опять на петушиной зорьке и накрыл их. Да и Подъяченков был с ними. Парторг, помнишь?»

«Ну еще бы, конечно, помню».

«Вот и взяли они Моштаковых — и в суд. Ночью же и людей побудили, и акт, и... ну, что еще? Старика, Степану-то, как видно по старости, четыре дали, а Кузьме — шесть».

«А зятя их, Андрея Николаевича, — спросил я, — судили?»

«Этого-то? Вот уж не помню, — чуть подумав, сказала Пелагея Карповна. — По-моему, нет, его не судили. На суд вызывали, а не судили. Он сразу же и уехал куда-то».

«Отвертелся-таки, — с усмешкою проговорил я, — а уж его-то в первую очередь надо было».

Я сказал так не потому, что действительно знал все гнусные дела Андрея Николаевича; просто мне казалось, что бывший заведующий райзо хотя и не увозил сам с тока зерно, но, во всяком случае, знал и покрывал; на Пелагею Карповну же фраза моя произвела, однако, неожиданное и странное, что я сразу заметил, впечатление. Она даже слегка побледнела, несколько секунд молча всматривалась в меня, словно решалась, говорить ей, что она знала, или не говорить, и оглянулась на Наташу и затем на свою двоюродную сестру, у которой, может быть, впервые за все это время, пока сидела за столом, появилось на лице оживление, но так как никто не мог предположить, что волновало Пелагею Карповну, чего она опасалась и на что решалась, все тоже молча и ожидающе смотрели на нее.

«Виновата я перед тобой, Алексей, вот что я скажу тебе, — наконец проговорила она. — Не хотела, думала, умолчу, но вот не могу. Может, и лучше, что расскажу, и на душе посветлеет. Ты уж прости, Алексей. Да разве ж я знала, что ты зятем ко мне приедешь?»

«В чем, мама?» — спросила Наташа, продолжая уже с тревогою смотреть на мать.

«Виновата, Алексей, — между тем снова проговорила Пелагея Карповна, не обращая внимания на вопрос дочери и не отвечая ей, — да и не только перед тобой. Спра-

шивали меня на суде о тех ларях, помнишь, которые вы искали и не нашли, и я ничего не сказала. А ведь они были, Алексей, и я знала, куда Моштаковы их увезли».

«Куда?» — перебил я Пелагею Карповну, даже чуть подавшись вперед, будто так яснее можно было услышать ответ.

«Куда?.. Не спеши, дело тут непростое. Если бы на суде я начала говорить правду, многих бы еще упекли, а уж Андрея Николаевича первым. Но не могла я ничего сказать. Теперь бы вот, наверное, сказала, а тогда — нет. Как раз накануне суда, когда повестка уже пришла — как свидетельницу меня вызывали, — является под вечер вдруг в избу Ефимка одноногий».

«Это конюх? Понурин?»

«Да. Является и говорит: «Ты, Пелагея, на суде помолчи, а то и тебя упекем, и останется твоя девка сиротою». «Я ничего не видела и ничего не знаю», — говорю. А он: «Вот так и держись, а ежели язык распустишь, то все одно — жизни тебе не будет. Поняла? Вот то-то». Сказал и ушел, а я как во сне хожу, из рук все валится».

«А вас за что?» — опять перебил я.

«Да оно вроде и было за что, да и не было, а страх, он всегда впереди человека бежит. Особенно у нас, женщин. Ну, куда я одна? Кабы Николай (она редко вспоминала о своем погибшем на войне муже, но когда все же вспоминала, говорила всегда с добрым чувством), он бы все решил и рассудил по-мужски, а я что? Подойду к Наташе, спит девка и ничего не знает, а у меня сердце обливается. Так, захолов, и стояла на суде, словно во рту не язык, а железный колун, отяжелел, не шевельнуть им, ни слова сказать не могу. Привезли меня домой ни живую ни мертвую. Не в Долгушино, а сюда, к Наде. Два дня пластом лежала, думала, конец, и уже за тобой, — Пелагея Карповна взглянула на Наташу, — хотела послать, да обошлось. Вот Надя не даст соврать, — продолжала она, в то время как Надежда Павловна принялась согласно трясти головою. — А началось-то с чего? Помнишь, Алексей, когда ты у нас жил? Прибежал ты однажды утром — в Чигирево еще собирался, за подводой ходил, — гляжу, а на тебе лица нет. Ты-то спрашиваешь: «Имеется ли в Долгушине колхозный амбар?» Я говорю: «Нет», а сама думаю: «Господи, и с чего бы так вдруг? Не к Степану ли Моштакову ходил?» Знать я еще

ничего тогда не знала, а догадка-то сразу обожгла, да и смотрю, подался ты пешком в Чигирево. Для чего? Не иначе как узнал что или увидел у Моштаковых. Но я, Алексей, не ходила никуда и никому ничего не говорила про свою догадку, и Наташу в избу загнала, чтобы ничего никому. «Не мое дело, — думаю, — сами разберутся»: Думаю и не сплю. Чуть звук какой, вскакиваю: «Едет!» Тебя ждала. Да и другой день все на взгорья смотрела: появишься или нет? Но приехал прежде не ты, а Андрей Николаевич. Никому, конечно, невдомек было, для чего он прикатил; он и раньше приезжал погостить к тестю, может, и теперь так? Люди-то наши к этому привыкли, но я чувствую: не то что-то, и кур, как обычно, не рубят, и пельмени не несут на мороз, да и труба будто не дымит, притихла, а тишина проста не бывает. Дело к вечеру, а тебя все нет. А как совсем стемнело, стучится ко мне Моштачиха. «Пелагеюшка, — кричит с улицы, с мороза, — зайди на минуту к нам, разговор есть». «Сейчас», — говорю. Одеюсь, иду; опять, чую, что-то неладно, а все же иду. В избе Андрей Николаевич сидит. Я поклонилась, здороваюсь, как-никак, а почти всю войну председательствовал у нас, а он: «Помнишь?» — «Как же, — говорю, — ежели бы не вы да не Степан Филимонович, дай бог вам здоровья, где бы уже мне Наташу вытянуть, зачухла бы». — «Ну уж не совсем так, — говорит, а сам сидит, ноги вперед вытянул, и по лицу что-то вроде как бегают, то ли бледность, то ли испуг: борется с собою, а говорит без дрожи: — Это мы в память о Николае, хороший у тебя был мужик, работающий колхозник. Но скажи, а за добро платить добром ты умеешь?» — «Да уж Степан Филимоныч не пожалуется, вот он, — говорю, — отчего не умею?» — «А язык за зубами держать?» — спрашивает, а сам щурится. «С детства, — отвечаю, — не была болтливой». — «Тогда, — говорит, — ступай домой, а нужно будет, разбудим и позовем». Ушла я, прилегла дома на кровать, а заснуть опять не могу. Около полуночи является Моштачиха и только тук-тук в окно и манит пальцем: дескать, собирайся, пойдем. Куда мне деваться? Иду. А там у них во дворе уже сани, запряженные парюю коней, стоят, и возле них прохаживается Ефимка одноногий, хрустит по снегу костылем. Кузьма, вижу, мешки с зерном таскает из конюшни и складывает в сани. Ну, я сразу поняла: «Хлеб увозят, прячут». Но назад мне уже хода нет. «Да и что, — про себя говорю, — мне за дело до них, пригласили помочь, вот

и пришла, а остальное меня не касается. Что добр старик Моштаков был ко мне, то добр: кому мерку, две, а мне завсегда насыпал, не меряя, не жалел, так чего ж я...» Вошла в конюшню, потом в кладовую и вместе с Моштачихой стала помогать Кузьме и его отцу насыпать зерно в мешки. Сами-то не успевали, вот и пригласили меня. Старик все больше керосиновый фонарь держал, светил да ворчал, чтобы аккуратней, не сорили на пол, а Андрея Николаевича и вовсе не было. Вот так почти до рассвета и ворочали: мы насыпали, Кузьма носил в сани, а Ефимка одноногий к себе увозил. Потом и лари разобрали и тоже увезли, а пол вымели, забросали старой трухлявой соломой и заложили сеном. Тут уж и Андрей Николаевич вышел и взял вилы, потому что не успевали до свету, а на другой день к обеду и вы с Подьяченковым и Старцевым подъехали, да только уже поздно было. Потому-то я и пряталась и не могла смотреть тебе в глаза, знала все, да и жалко было: позорят, а за что? Но сказать ничего не могла.

«Как же вы?! Не понимали разве?» — Я готов был закричать на нее, но сдержал в себе это желание.

«Я ведь и сама себя казню, Алексей, как же не понимала? И не могла я иначе. Я же и про поленья знала».

«Какие поленья?» — торопливо спросила Наташа.

«Кто швырял?» — уже не в силах сдержать себя, крикнул я.

«Ты и сам мог бы догадаться: у кого березовые дрова на деревне были? Только у бригадира Кузьмы да еще у старого Моштакова. Они каждый год доставали бумагу на сухостой, а мы, сколько я помню, всегда хворост заготовливали, хворостом и топились».

«Кузьма?» — Меня интересовало свое.

«Нет».

«Старик?»

«Нет, Алексей, не они, а сам Андрей Николаевич. После, когда они меня пригласили да посоветовали сжить тебя с дому, так Моштачиха говорила, что швырял Андрей Николаевич. Я говорю: «Убить могли». А она: «Да вот и мой говорил то же, но Андрюша не послушал. Надо, — говорит, — пойти попужать».

«Так они в тебя поленьями? — возмущенно воскликнула Наташа. — Хорошенькое дело: попужать!»

«И это еще не все, — опять не обращая внимания на дочь, продолжала Пелагея Карповна. — Старик-то потом

велел оговорить тебя: мол, специально подослан в деревню, чтобы разоблачать всех».

«Кого это *всех*?»

«В том-то и дело, что оно будто и некого было, но в то же время, если взглядеться, у каждого хвост в репьях. Ведь так трудно в войну жили, Алексей, и каждый — кто сенца ночью на лугу накосит да и свезет себе во двор, потому что надо же коровенку кормить, кто ботвы или соломы привезет, а кто и кочаны — всякое бывало, так что оговор на почву лег».

«Значит, это вы?!»

«Было, Алексей. Суди, казни, а было. Но я только раз бабам возле сельмага сказала, а в основном Ефимка одноногий крутил».

«Но вы-то, вы!.. — У меня не хватало слов, чтобы вы-сказать все то, что я чувствовал в эту минуту к Пелагее Карповне. Я уже не сидел за столом, а стоял, и впервые тогда начала у меня подергиваться левая бровь (с тех пор, впрочем, так и пошло: чуть поволнуюсь, и потом унять не могу, дергается, и все тут). — Вы хоть чуточку сознаете, что вы натворили, — запинаясь, все же произнес я, хотя надо было говорить не это; ведь потому она и рассказала, что сознавала свою вину. — Вы понимаете, — продолжал я, опять чувствуя, что нет нужных и резких слов, которые следовало бы сейчас бросить и без того сникшей, сгорбившейся (но эта старческая беспомощность не вызывала жалости, а лишь более раздражала меня) Пелагее Карповне. — Вы!.. Вы!..»

Не знаю, что подтолкнуло меня, — может быть, все же понимал, что ссориться ни к чему, что это обидит, оскорбит Наташу и что, главное, прошлое все равно уже не вернешь, — я двинулся к двери, чувствуя лишь одно, что не могу больше оставаться здесь, рядом с Пелагеей Карповной; я видел, как испуганно смотрела на меня Наташа, видел неприятно округлые, как у всех близорукых и слепнувших людей, выцветшие старушечьи глаза Надежды Павловны и видел, выходя из комнаты и хлопывая за собой дверь, все так же неподвижно и виновато-сутуло сидевшую Пелагею Карповну (теперь, знаете, мне временами становится больно за нее; в конце концов, ну что она могла, женщина, когда над всеми нами висела война!), но никто из них ни словом, ни жестом не остановил меня. Во дворе я еще постоял немного, прислушиваясь, не бежит ли за мною Наташа. Я даже не знаю, хотелось ли мне, чтобы выбежала Наташа, или

нет; наверное, все же было бы легче, если бы она вышла, хотя неприязнь к матери невольно переносилась и на старую и уже, по-моему, ничего не смыслившую Надежду Павловну, и на Наташу, на всю эту невысокую и чужую мне деревенскую избу, со двора которой видны были огород, пологий берег Лизухи и дальше пшеничные поля за рекою, лес и синее с белыми, весенними облаками небо; глядя на открывавшуюся до горизонта хлебную даль и, в сущности, не видя и не воспринимая эту прежде удивительно притягательную и умиротворяющую картину и все еще не соображая, куда и зачем иду, я зашагал по тропинке через огород к реке. Лишь бы подальше от дома, от Пелагеи Карповны, от всего, что я узнал от нее. На том же, как мне кажется, месте, где когда-то сидели веснушчатые рыболовы, я присел на траву у самой воды. Я понимал, что надо успокоиться, и потому говорил себе: «Ну что я вспылел? И для чего она все рассказала? И... что же сломленного в моей жизни, когда я закончил институт и работаю вот в управлении? Не зря же говорят, что худа без добра не бывает. Я еще не знаю, лучше или хуже было бы, если бы я остался в Долгушине. Вечный сорт... — про себя ухмыляясь, продолжал я, — вот и все. Да возможен ли вообще этот вечный сорт?» Я как будто рассуждал правильно, и вид пахотной земли за рекою, и тихие всплески воды у ног будто успокаивали, и я уже не был таким злым, как вышел из дому; но на смену первой вспышке негодования явилась та невидимая душевная боль, которую ничто уже — ни годы более или менее счастливой совместной жизни с Наташей, ни успехи по работе или просто удовлетворение от каких-либо удачных командировок, — ничто не смогло заглушить во мне. Лишь на время все будто затихло, но вот сейчас, видите, снова все, как открывшаяся рана, сочит и ноет в душе. Как бы хорошо ни складывалась моя жизнь, я все равно не могу забыть Долгушино; а ведь в тот майский день, когда сидел один на берегу Лизухи, все было еще более свежо в памяти, чем теперь. Я смотрел на воду, на поля за рекою и думал о Долгушине: временами как бы вырастал перед глазами старый Моштаков с зажженным фонарем «летучая мышь» в руке, и я будто ясно слышал и усталое дыхание вспотевших женщин — Пелагея Карповны и Моштачихи, — и шорох сыпавшегося в мешки зерна, или вдруг представлялась сцена, как Андрей Николаевич, перекидывая с руки на руку сучковатое березовое полено (то самое, которое я затем принес

с замерзшей реки домой и поставил у крыльца), словно примеряя, достаточно ли тяжело оно или выбрать другое, потяжелее, с привычным для него спокойствием и медлительностью произносил: «Надо, непременно надо поужать», но все эти зримые и, казалось бы, должны захватить внимание картины являлись лишь одной малой составной частью того злого *моштаковского* мира, который был еще более, чем когда-либо, понятен и ненавистен мне теперь; и мир Пелагеи Карповны (однако я не уверен, что был вполне справедлив тогда к ней), и душевный мир Андрея Николаевича, и мир всех тех мужичков — «мучное брюшко», которые опять как бы топтались с безменами в руках в своих промерзших, с земляными полами сенцах, — все сливалось в одно страшное, как паучьи нити, стянутые в узел, людское зло. «Ну что вот ей, Пелагее Карповне? — думал я. — Моштаков — ладно, но она-то, она!..» Может быть, час, а может, только около получаса просидел я один на берегу Лизухи; почувствовав, что кто-то подошел ко мне и остановился за спиной, я оглянулся и увидел Наташу. Я не знал, разумеется, какой разговор произошел у нее с матерью после того, как я оставил их, — о чем-то, конечно, они говорили, и, наверное, резко, потому что бледное лицо Наташи еще словно жило тем — вовсе не мирно закончившимся — разговором; я заметил это, но ни о чем не стал спрашивать, да и потом не спрашивал, не желая ворошить прошлое, но теперь мне всегда почему-то кажется, что я знал и знаю, о чем они говорили.

«Я бы никогда не вышла за тебя, если бы знала», — негромко проговорила Наташа, присаживаясь рядом.

«Но ты-то при чем?»

«Я ничего не знала, Алексей».

«Верю», — сказал я и притронулся ладонью к ее настывающему от речного сырого воздуха плечу.

«Завтра же мы уедем отсюда», — опять заговорила Наташа.

«И ты с Валюшей?»

«Да, все вместе. Я не хочу оставаться здесь».

«Но...»

«И больше никогда сюда не приедем».

«Но, Наташа...»

«Нет, нет, не возражай. Я же все вижу!»

Еще несколько минут

Наташа настояла на своем, и на другой день поздно вечером мы покидали Красную Дóлинку. Пелагея Карповна и Надежда Павловна пошли на вокзал проводить нас. Но что это были за проводы? Мы почти не разговаривали; на Пелагею Карповну было больно смотреть. Наташа унесла маленькую Валентину в вагон и больше уже не появилась на перроне; но я, впрочем, почему-то не испытывал той неприязни к Наташиной матери, как день назад, в минуты встречи, и был холоден с ней потому, что опять лишь подчинялся общему настроению, которое создавала теперь Наташа. Я пожал руку старым женщинам, потом Пелагея Карповна поцеловала меня в лоб, пробормотав какие-то благословляющие слова; она не плакала, глаза ее были сухи; в них как будто остановилось что-то, знаете, как иногда бывает это у потрясенных людей, для которых все прошлое и все будущее вдруг сосредоточивается в одной точке, от которой они уже не могут отвести взгляда, — было что-то именно *это*, остановившееся и оттого пугающе-странное, тревожное, так что и сейчас, когда я вспоминаю тот ее взгляд, становится как-то неуютно и ознобно на душе. Наташа не выглянула в окно и не помахала матери рукой; я же, приподняв ладонь на уровень глаз, чуть заметно зашевелил пальцами, когда поезд тронулся, и две одиноко стоящие старческие фигуры на освещенном электрическими лампочками перроне начали как бы уплывать за окном.

С тех пор я уже никогда больше не приезжал в Красную Дóлинку и не видел ни Пелагеи Карповны, ни Надежды Павловны; постепенно они вообще как бы перестали существовать для меня. Я никогда не читал от Наташиной матери писем, и не потому, что не хотел; просто, занятый работой в управлении (как уже говорил, я много времени проводил в разъездах), даже не знал, что Наташа хотя и редко, а все же переписывалась с матерью. Этих писем, разумеется, она не показывала мне, потому что не хотела, чтобы я волновался и вспоминал прошлое. Я не осуждаю ее за это. Она по-своему была права. Даже когда умерла Пелагея Карповна, Наташа уговорила меня не ездить в Красную Дóлинку, потому что зачем же я буду отрывать себя от своих служебных дел, когда вот-вот развернется посевная (было это в последние дни марта, снег уже сходил с полей), и поехала одна;

когда же вернулась, рассказывала скупно, будто неохотно, хотя, я чувствовал и видел это, тяжело переживала смерть матери. Была, несомненно, какая-то несправедливость в том, как мы обошлись с Пелагеей Карповной, — я и, главное, Наташа (из-за меня, конечно, и мне от этого лишь больнее на душе), ради которой, собственно, и старалась мать, приспособляясь к той жизни, какая выпала ей на долю. Можно было, естественно, поставить вопрос так: «А зачем приспособляться? А как другие, кто не приспособлялся? Жили и живут, и никакие думы не мешают им спать по ночам», — и все-таки жалко было Пелагею Карповну. Вместе с нею в один и тот же день, лишь несколькими часами позже, умерла и старенькая Надежда Павловна. Наташа рассказывала, как стояли гробы их рядом на столе посередине избы, и только несколько старушек, очевидно соседок, пришли проводить их в последний путь. Их похоронили на деревенском кладбище. «Помнишь, на въезде, слева, как островок над рекой», — говорила Наташа, чтобы я зримее мог представить кладбище, и я отвечал: «А-а, да-да, слева, помню, роща такая», — хотя менее всего из всей своей долгушинской и краснодолинской жизни помнил кладбище. Впрочем, я и сам старался не говорить и не думать о прошлом, потому что так легче и спокойнее было жить. Я ведь всего один раз побывал в Долгушине (да и для чего вот так, как делаете это вы, Евгений Иваныч, приезжать каждый год и растревлять душу? Прошлое не вернешь и не изменишь!), и то не в самой деревне, а лишь постоял на взгорьях, глядя как бы сверху на знакомую мне речку и приткнувшиеся к ней подковкою низкие крестьянские избы. Было тогда даже что-то новое в облике этой маленькой, словно затерявшейся среди хлебов деревеньки: клуб, о котором *когда еще* говорила Наташа, школа, ремонтные мастерские, потому что МТС уже не существовало, и, может быть, еще что-то, чего я и вовсе не мог уловить и не помню теперь, да и поля вокруг на взгорьях были разбиты по-другому, правда, не так, как в свое время, работая над картой севооборота, намечал я; и чувствовалась во всем будто добрая и хозяйская рука, и видеть это было приятно, хотя и с грустью я думал, что мог бы все это сделать сам: и севооборот ввести, и ток соорудить крытый... Нет, я не радовался, оглядывая Долгушино и взгорья и замечая перемены; радость, по-моему, и особенно мгновенная, бурная, всегда лишь оглушает нас, тогда как в тихой

грусти человек способен на раздумья, на неторопливые и обстоятельные выводы и оценки; в грусти человек умнее, и потому, мне кажется, грусть — более естественное состояние, чем радость; но я опять заговорил не о том; я не радовался потому, что мысли мои были обращены более в прошлое, и далеко еще не отболевшею болью обида и горечь подымались во мне. Как когда-то прежде — я будто не искал взглядом моштаковское подворье, но оно само выросло перед глазами, все такое же, каким было тогда, с длинною бревенчатой конюшнею (я же про себя называл ее то тайной кладовой, то просто хлебными ларями), примкнутой к избе, и даже видел, как маленький и сгорбленный старичок — это был, несомненно, сам Моштаков — то ли с вилами, то ли с граблями ходил по двору; я отыскал взглядом и избу конюха Ефима Понурина, дочь которого я когда-то провожал с гулянья домой (печально и смешно было вспоминать и это), и, конечно же, отыскал избу Пелагеи Карповны, вернее уже не ее избу, а контору и склад Долгушинского отделения сортоиспытательного участка, где жил и работал, как в свое время я, кто-то другой, может быть, равнодушный, спокойный, а может, такой же непоседливый; разумеется, я думал и об Андрее Николаевиче и Федоре Федоровиче, о судьбе которых еще накануне, когда мы с Наташею вернулись с Лизухи, Пелагея Карповна рассказала нам. Андрея Николаевича не судили, так как не было прямых улик, но все же сняли с работы и исключили из партии. «За прошлое, — пояснила Пелагея Карповна, — когда еще в войну председательствовал в Чигиреве». Да и открылось будто, что он вовсе не болел туберкулезом, что справка была у него фиктивная, купленная, но это, впрочем, не удивило меня. «Я знал, — сказал я Пелагее Карповне. — Какой же он туберкулезник, когда он — кровь с молоком! И все, по-моему, знали или догадывались, но ведь мы не верим себе, своим чувствам, сила исписанной бумаги для нас превыше всего!» В общем, вся жизнь Андрея Николаевича, человека ловкого, хитрого и, что бесспорно, страшного для людей, была ясна мне, тогда как Федор Федорович со своим житейским правилом «не трогай никого — и тебя никто не тронет», которого не судили и даже не вызывали на суд как свидетеля и который, по крайней мере, в тот год, когда я был в Красной Дóлинке и Долгушине, все еще заведовал Чигиревским сортоиспытательным участком, может быть, уже отказавшись, а может, про-

должая еще работу над своим *вечным сортом* пшеницы — Федор Федорович так и остался для меня загадкой. «Там, у Моштакова и Андрея Николаевича, ясно — нажива, но у этого-то какая корысть?» Я задавал тогда и задаю сейчас себе этот вопрос. Но, в конце концов, не в нем, не в Федоре Федоровиче, дело. Зло живет в людях, и оно страшно тем, что зачастую добро оказывается бессильным перед ним. Вы скажете, что все это не так, что наказаны же и Моштакovy и Андрей Николаевич. Верно, наказаны, но прежде был ими наказан я, и, знаете, иногда отрубают голову, а иногда, и это невидимо для других, отрубают душу, и ты уже опустошен на всю жизнь.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Утром, когда я проснулся, Евгения Ивановича уже не было в номере. Он уехал, не простившись, и я не знал, почему он сделал это. «Если не хотел будить, — подумал я, — то мог бы с вечера сказать, что есть билет, и мы бы хоть пожали друг другу руки». Мне было искренне жаль, что я никогда, как мне казалось, больше не увижу его; с грустным настроением я отправился в поездку по колхозам, а когда вернулся в Калинковичи, может быть, потому, что выдался свободный воскресный день (домой я уезжал только в понедельник вечерним московским, так как надо было еще встретиться и уточнить кое-какие цифры с заготовителями), я решил побывать в Гольцах. Мне было любопытно взглянуть на ту белорусскую деревушку, которую так же, как и Калинковичи, каждый год навещал Евгений Иванович, главное же, увидеть место — дорогу, кустарник, болото и бревенчатый настил по нему (со слов Евгения Ивановича, впрочем, я знал, что настила там давно нет, что дорога уложена бетонными плитами, но все же я представлял в воображении именно бревенчатый настил), где стояло когда-то орудие Евгения Ивановича и откуда он стрелял по немецким самоходкам, увидеть щель, обмелевшую и заросшую травой — по словам Евгения Ивановича, — но все еще сохранившуюся как след войны у обочины шоссе, с минуту постоять в том лесу, где грохотали разрывы, и хоть на мгновение ощутить всю атмосферу боя (какую, казалось, я ощущал уже, слушая Евгения Ивановича); я уже говорил, что сам не был на фронте, но на войне погиб мой отец, и потому меня всегда волновало и волнует все, что связано с войной.

Оставив вещи в гостинице, я вышел на Мозырьское

шоссе и точно так же, как делал это Евгений Иванович, остановил первую же попутную машину, забрался в кузов и к полудню — запыленный, обветренный — стоял на обочине той самой рассекавшей кустарник, лес и болото дороги, где, по всем предположениям моим, как раз и должен был происходить столь памятный Евгению Ивановичу поединок с немецкими самоходками. Разумеется, я видел все впервые и потому не мог с точностью определить, здесь ли, где я теперь стоял, выше ли по шоссе или ниже следовало искать щель («Только не поперек ройте, а повдоль, повдоль», — вспомнил я слова Евгения Ивановича); мне показалось, что я проехал то *главное место* (так, однако, оно и было на самом деле), откуда, укрывшись за дымившимися танками, вели огонь *наши* артиллеристы, и я зашагал вниз, к поросшему кустарником болоту. Я шел не по дороге, а лесом, рядом с дорожкой, и удивительная, помню, тишина стояла над лесом; тишина, в которой бывают слышны лишь особенные, лесные звуки: то застучит дятел, то вспорхнет птица с ветвей, то хрустнет под ногою полусгнивший, почерневший валежник, и хочется непременно остановиться и посмотреть, что под ногою, и я останавливался, смотрел и снова шагал, поглядывая по сторонам и прислушиваясь, как пошевеливались над головою залитые солнцем макушки деревьев. Нет, знаете, не так просто вообразить то, чего никогда не видел, чтобы оно ожило вокруг и чтобы ты сам почувствовал себя вдруг в центре этих оживших событий. Я служил в армии, знал тяжесть автомата и шинели и старался представить себя снова солдатом; я присматривался к белым стволам берез, когда-то иссеченным осколками и пулями, и чем дальше продвигался по лесу, тем яснее будто видел эти уродливо зарубцевавшиеся на стволах отметины войны; я прислонился щекой к холодной и шершавой коре, как это когда-то, оглушенный рвавшимися над лесом фугасками, делал Евгений Иванович, но в лесу по-прежнему было тихо, лишь шелестели листья и солнце мирно и весело цедилось сквозь них на чахлую лесную траву. Еще и еще раз я прислонялся щекой к березам, пытаюсь как бы вызвать, что ли, в себе то чувство, какое испытал здесь когда-то Евгений Иванович (мне казалось, что вот так же и мой отец, пусть не здесь, а за Новгород-Северским, у деревни Бычки, принимал бой, но только ему выпала участь зенитчиков, и потому я старался почувствовать не только то, что испытывал Евгений Иванович, но

в еще большей степени, что испытывали зенитчики, засеченные немецкими самоходками); время от времени, остановившись, я поворачивался и смотрел назад, потому что там должны были санитары уносить на плащ-палатках убитых и раненых зенитчиков, но я лишь говорил себе: «Да, да, вот тут, наверное, их проносили», — и лишь прочерчивал взглядом огненные трассы, которые в тот далекий зимний день стелились здесь над дорогой, но бой не оживал и не разворачивался, как он оживал и разворачивался перед глазами Евгения Ивановича, лес молчал, оставаясь для меня лишь красивым, тихим и будто даже грибным местом. Я повернул к дороге и совсем случайно, так думаю теперь, вышел к той самой заросшей травой щели — центру событий, как я уяснил это еще по рассказу Евгения Ивановича, — которая действительно была вырыта не поперек, а вдоль дороги; бока ее пообвалились, она уже более напоминала старый и мелкий окоп, на дне которого валялись консервные банки и загнанные, может быть ветром, скрюченные и пожелтевшие обрывки газет; да и трава как ни густо, казалось, росла вокруг и по стенам, но сквозь острые листочки пырея проглядывала как бы запекшаяся, а вернее, запудренная слоем дорожной пыли красная глина. «Вот она», — сам себе сказал я, с тоскою оглядывая эту когда-то спасавшую Евгения Ивановича от смерти и служившую убежищем для солдат-артиллеристов его взвода бывшую щель, силясь представить, как все здесь происходило, как Евгений Иванович, нажав на холодную, даже заиндевелую, как говорил он, гашетку, скатывался в щель, обхватив голову руками, и над дорогой, над все еще горевшими и дымившими танками и над выбеленным известью для маскировки орудийным щитом — «раз-раз, раз-раз» — проносились снаряды, выпущенные самоходками, и с треском укладывались воронки далеко позади, где еще чернели на снегу (тогда ведь была зима!) подбитые зенитные установки; да, именно силился представить это, и даже как будто кое-что оживало в сознании, пока смотрел на дорогу и, обернувшись, смотрел затем туда, где должны были виднеться стволы изуродованных зениток, но едва только переводил взгляд на то, что лежало у ног (я уже с трудом называл ее щелью; особенно неприятно было видеть поржавевшие на дне консервные банки и клочки газет), ощущение боя мгновенно исчезало, и снова — только серая дорога через лес, белые стволы притихших берез

и кустарник справа по болоту («Но болото ли это? — спрашивал я себя. — Может, болота давно нет, а так, сырое низкое место, и все!»); и я уже смотрел вокруг с усмешкою, не скрывал, потому что никого рядом не было. Я присел на траву возле щели, где когда-то сидел Евгений Иванович, но проходившие мимо грузовики вовсе не воспринимались мчащимися вперед нашими танками, а просто обдавали густой и оседавшей затем на обочину пылью, и я заслонял ладонями глаза и лицо от этой пыли. «Зря, конечно, я приехал сюда, — решил я. — Ну посмотрел... Ну и что?.. Для него (я имел в виду Евгения Ивановича) эти места, а для меня — Долгушинские взгорья...» Я еще продолжал сидеть на траве возле щели, но уже все менее занимало меня прошлое Евгения Ивановича и его поединок с немецкими самоходками, из-за чего, собственно, я и очутился здесь, а все заслоняли собой Долгушинские взгорья; они, те пахотные взгорья, были роднее, ближе мне, и хотя горше было вспоминать о них, но — так уж, видно, положено на веку людям, что каждому дорогá именно своя, как бы ни складывалась она, прожитая молодость. «А не съездить ли мне в Долгушино, вот что? — тогда впервые подумал я. — И Наташа будет рада. А впрочем, пора назад, в Калинковичи», — добавил уже вслух и, поднявшись и отряхнув землю и сухие травинки с брюк, вышел на дорогу.

Но в Калинковичи уехал не сразу.

В то время как собрался было остановить попутную машину, услышал звонкие за спиною детские голоса. Оглянулся и увидел, как шестеро мальчиков в коротких, закатанных до колен штанишках, в рубахах с расстегнутыми воротами пытались вытащить на дорогу неуклюжий и тяжелый для их неокрепших рученок передок от какой-то старой телеги.

— Вперед! Вперед! — выкрикивал светловолосый и старший из всех и сам, хватаясь за спицы, налегал корпусом на колесо, как, знаете, рисуют солдат, выкатывающих орудие на огневую.

— Взяли! Н-ну, еще, взяли! — выдерживая па зы, командовал он, не первый раз, очевидно, руководя такую работой. — Заводи станину! Станину, говорю, заводи! — обернувшись, по-взрослому сердито бросал он державшимся за оглобли парнишкам, и те, краснея и напрягаясь, старательно заводили, куда приказывал им светловолосый командир, оглобли.

Может быть, я не сразу бы догадался, для чего ребята выкатывали передок на дорогу, если бы не эти характерные выкрики: «Вперед!» и «Заводи станину!», и если бы, приглядевшись, не увидел, что прикрепленная на передке старая березовая жердь напоминает орудийный ствол, и если бы тут же не обратил внимание на сучковатые палки, которые, как автоматы, висели на шеях ребят. «Они воют, — все более всматриваясь в то, что они делали, догадался я. — Ну да, они разыгрывают тот самый бой», — уже удивленно повторил я, видя, как они, выкатив-таки тяжелый передок на край дороги и развернув оглобли, как разворачивают орудийные станины при стрельбе, готовились *открыть огонь* по воображаемому, разумеется, немецким самоходкам. Светловолосый командир, присев на корточки, принялся, ворочая жердью, целиться в те самые видимые только ему самоходки, а остальные, скатившись в кювет, лежали на животах, выставив вперед палки-автоматы, и смотрели на своего командира. Командир же, найдя наконец цель и посчитав, что наступило именно нужное мгновение и пора нажимать на гашетку, звонко крикнул: «Па-ах!» — и, перепрыгнув через оглоблю, бросился в кювет к настороженно следившим за каждым его движением товарищам. Чуть выждав, он снова почти ползком подобрался к березовой жердине на передке, и все повторилось: громкий выкрик: «Па-ах!», прыжок в кювет и напряженное выжидание, когда ударят в ответ воображаемые немецкие самоходки. Увлеченные игрой, они, казалось, не замечали меня; я же смотрел на них с тем нараставшим волнением, какого как раз и не хватало мне, пока шагал по лесу и затем сидел здесь, возле щели; вместе с ребятами, едва только их командир, крикнув очередной раз «па-ах», скатывался в кювет, я теперь поворачивал голову и смотрел вверх по дороге, словно действительно должны были сейчас же разрываться там, около подбитых уже зениток, ответные вражеские снаряды.

Я не подходил к ребятам и не нарушал их игры. Только когда, высыпав гурьбой на дорогу, они начали радостно прыгать возле своего передка-орудия и кричать «ура», я приблизился к ним и, обращаясь сразу ко всем, сказал:

— Ну что, подбили?

— Так точно, подбили, — ответил светловолосый командир, улыбаясь и изумленно глядя на меня. — А вы откуда знаете? — затем спросил он.

— Да вот знаю.
— Вы воевали здесь?
— Н-ну, в некотором роде...
— А кем вы воевали?
— Кем? — переспросил я, оглядывая уставившиеся на меня любопытные мальчишеские лица. — Нет, ребята, я не воевал здесь. И вообще на фронте не был.

— А-а, — разочарованно протянул светловолосый командир, которого, как я узнал потом, звали Павликом.

— Но лейтенанта Федосова, который и в самом деле подбил здесь немецкие самоходки, я знал.

— Мы тоже знаем его, — ответил Павлик.

— Мы всех знаем, — с нескрываемым чувством превосходства и радости и с той непосредственностью, как это умеют только дети, вставил высунувшийся из-за спины Павлика мальчик, на щеках которого виднелись следы недавних и уже высохших слез.

— Всех, кто воевал здесь?

— Всех, — подтвердил Павлик.

— И погибших зенитчиков?

— Да.

— И танкистов?

— Да.

— Откуда же вы их знаете?

— А у нас следопыты, музей, — пояснил Павлик. — Там и фотографии, и все-все, прямо в избе возле школы. Там тетя Нюра, она все знает, а мы в лейтенанта Федосова играем, — докончил он и затем, оглядев товарищей и приняв, как должно, командирскую осанку, негромко, но повелительно проговорил: — Ну, чего стали, кати оружие назад!

Уже не обращая внимания на меня, ребята взялись было за оглобли, но в это время кто-то из них, заметив появившуюся на дороге машину, сказал светловолосому командиру:

— Паш, гляди!

Машина приближалась, и Павлик, лишь мельком посмотрев на нее, сейчас же крикнул:

— Тикай, братцы! Тика-а-ай!

Ребята кинулись в лес, бросив передок на дороге; Павлик, как бы прикрывая это неожиданное и вынужденное отступление, бежал последним, то и дело оглядываясь и заливая «автоматным огнем» шоссе. Я не знал,

что напугало их, и тоже смотрел на приближавшийся «газик».

Когда машина остановилась, из нее выпрыгнул довольно молодой еще, но с гладко выбритой (может быть, для того, чтобы скрыть рано обозначившуюся лысину) головою мужчина и сразу же, издали, лишь подходя к оставленному ребятами передку, громко обращаясь к тому, кто только еще вылезал из машины, тяжело, грузно опускаясь на землю, очевидно, ноги на землю, заговорил:

— Вот черти! Вот закатили куда! Ты посмотри, Виталий Захарыч! — все так же, не оборачиваясь и полагая, что Виталий Захарович уже стоит за его спиной, продолжал он: — Акимыч передок ищет, с ног сбился, а они — от кузни, через болото, по кочкам!

— Я говорил Акимычу: бери лошадь и поезжай сюда, — спокойно, будто не случилось ничего необычного, ответил подошедший Виталий Захарович.

— От самой кузни, ты подумай!

— Ну и что?

— Самсонихин Пашка, не иначе.

— Больше и некому, его тут белая голова маячила.

— Вот шарлатан растет!

— А может, новый Жуков или Рокоссовский, а?

— Эк хватил, заступник.

— А что?

— Ладно, поехали. А к Самсонихе вечером сходи: сегодня передок от телеги, завтра — машину...

Искоса поглядывая на меня, они не спеша направились к ожидавшему их на обочине «газику». Виталий Захарович (опять было заметно, что он с трудом поднимал ноги) влез первым; этот же, с бритой головою, держась за поручни, медлил и еще и еще раз косился на меня; затем вдруг, захлопнув дверцу, быстро подошел ко мне.

— Константин Макарович, — протянув руку, проговорил он. — Председатель колхоза. Чем могу быть полезен?

— Ничем, — ответил я, тоже, однако, представившись, и протянул руку.

— Вы воевали здесь?

— Нет. А почему вы об этом спрашиваете?

— Мне показалось, что вы фронтовик, — сказал он. — Многие бывшие фронтовики приезжают к нам сюда. Именно сюда, вот на это место.

— Нет, я не воевал здесь, — снова, как и ребятам, ответил я Константину Макаровичу. — Но я хорошо знаю, что здесь происходило.

— Вы были в нашем колхозном музее?

— Нет, в музее я не был. Мне рассказал обо всем один человек, его зовут Евгений Иванович...

— Евгений Иванович! — воскликнул председатель, не дав договорить мне. — Вы когда его видели?

— Недели три назад.

— Как он?

— Что «как»? — переспросил я, не понимая, что хотел узнать о нем Константин Макарович.

— Как выглядел?

— Ничего.

— Ну, славу богу. Вы в какую сторону?

— В Калининичи.

— Могу подбросить, если хотите. Я как раз в город собираюсь. Только сначала завернем пообедать, — добавил он. — Прошу!

Не могу сказать точно, чем — бритую ли голову (он все время держал фуражку в руках, а когда сел в машину, положил ее на колени перед собою), манерою ли говорить отрывисто, сухо (манера эта, конечно же, выдавала в нем не совсем приятную для общения прямолинейность характера) или еще чем-то, чего я не мог понять, но что было таким же непривлекательным, отталкивающим, — Константин Макарович не понравился мне в эти первые минуты знакомства, и я с неохотою, как, знаете, бывает, когда делают вам ненужное одолжение и вы непременно обязаны принять его, влез в машину и устроился рядом с грузным Виталием Захаровичем на заднем сиденье.

— Наш партийный вожак, — когда машина тронулась, сказал Константин Макарович, повернувшись к нам и указывая на Виталия Захаровича.

— Очень приятно, — ответил я и, называя себя, как обычно, как принято (как только что сделал, знакомясь со мною, Константин Макарович), протянул руку.

— Между прочим, друг Евгения Ивановича. — Председатель кивнул в мою сторону.

— А-а, — понимающе проговорил парторг.

Машина бежала по шоссе, как раз по тому месту, где когда-то был бревенчатый настил и стояли немецкие самоходки, но я не думал ни о бревенчатом настиле, ни

о самоходках; я смотрел на бритый затылок неподвижно сидевшего Константина Макаровича и никак не мог связать в одно целое то, что знал о нем из рассказа Евгения Ивановича и каким представлял себе, с тем, каким видел теперь. «Да его ли это *тогда* автоматчик накрыл своею ватною телогрейкой, спасая от холода!» — восклицал я. Тот худенький мальчик, затем студент, школьный учитель, директор, парторг и, наконец, председатель в моем воображении был иным, представлялся худощавым и с робкою улыбкой на лице.

«Газик», уже проскочив кустарник, вырвался на простор, и впереди показались избы деревни; и сейчас же, полуобернувшись к нам и глядя больше на меня, чем на парторга, Константин Макарович сказал:

— Нашей пехоты здесь много полегло. Ты не знаешь, Виталий Захарыч, тебя тогда в деревне не было, а я-то хорошо помню: вон за теми кустами, вон, видишь, справа холмик виднеется. — И я, и Виталий Захарович, который слушал обо всем этом не в первый, очевидно, раз, посмотрели, куда пригласил нас взглянуть председатель. — На второй или третий день, как войска наши прошли, а было это зимой, прибыла сюда к нам санитарная команда, и начали солдаты выносить трупы автоматчиков из болота. Обледенелые, запорошенные снегом, трупы складывали рядком прямо на том холмике, а мы всей деревней вышли смотреть. Не хочу рассказывать, страшная картина. Вижу их вот как сейчас и, наверное, до конца жизни не забуду.

— Почему же так много?

— Ну как «почему»? Пока топтались танки за лесом, по болоту-то они не могли пройти, а зенитчики и наш общий друг Евгений Иванович со своим орудием расчищали дорогу от самоходов, немцы подтянули минометы вон к тем крайним избам и вжарили оттуда по болоту. А на болоте ведь как, ни окопа, ни ровика, трясина и зимой не замерзает.

— Но Евгений Иванович...

— Не рассказывал, хотите сказать? Да он и сам не знал, взяли деревню — и вперед, на Калинковичи, а это уж теперь мы всю картину боя восстановили. Но если бы не Евгений Иванович со своим орудием, если бы он не поджег немецкие самоходки, неизвестно, как бы еще повернулся бой. Евгений Иванович — настоящий герой. Да, — словно вдруг спохватившись, проговорил. Конс-

тантин Макарович. — Вы где видели его? Вы тоже из Читы?

— Нет, — ответил я. — Я встретился с ним в Калининвичах.

— Не понравился он мне в этот свой приезд, — заметил Константин Макарович. — Очень не понравился. Что-то с ним происходит, что-то гнетет его, а понять не могу. Да и раньше бывало... А ты, Виталий Захарыч, не заметил? Как по-твоему?

— Ну как же, заметил.

— Значит, верно я говорю?

— Да что гнетет, — вмешиваясь в разговор, начал я, — мечется между Читой и Калининвичами, и ни там ему, ни здесь покоя. Тяжелой и редкой судьбы человек.

— Какой, какой? — переспросил Константин Макарович.

— Редкой.

— А что в Калининвичи-то мечется, как вы сказали?

— Вы разве не знаете?

— Я знаю, что в Чите у него жена, сын, тесть с ними, правда без ног, ну так — война! Тут ничего не поделаешь.

— А про Ксеню, Василия Александровича и Марию Семеновну не слышали?

При этих моих словах, я заметил, председатель колхоза и парторг недоуменно переглянулись; затем Константин Макарович спросил:

— Вторая жена? Но это на него не похоже, вы что-то, наверное, путаете.

— Ну почему обязательно вторая жена, я этого не сказал вам. У него все гораздо сложнее, и он на самом деле мечется: то в Читу, то в Калининвичи.

— Вот, видимо, где зарыта собака, — заключил Константин Макарович, приподымая ладонь и грозя кому-то пальцем. Машина в это время подкатила к воротам его дома, и он, пригласив меня пообедать, тут же добавил: — С удовольствием послушаю про Евгения Ивановича, мне интересно знать все об этом человеке. А ты, Виталий Захарыч, на ферму? — спросил оставшегося в машине парторга. — «Газик» отпусти сразу, пусть заправится и сюда, ко мне, а вечером, прошу, сходи, пожалуйста, к Самсонихе: Пашку приструнить надо! Тоже мне Рокоссовский — передки от телег угонять...

Деревня Гольцы, как рассказывал о ней Евгений Иванович, представлялась мне небольшой, всего десятка полтора-два низких, с огородами и палисадниками домиков с одною и неровною между ними улицей, зимой заметавшеюся снегом, летом зараставшею травой; шоссе Мозырь — Калининичи проходило рядом, как бы обтекая деревню (может быть, это только теперь сделали так, чтобы рейсовые грузовики не заезжали в село, где надо сбавлять скорость и тем самым терять драгоценное в пути время?), и эта шумная, заполненная *тогда* немецкими машинами магистраль придавливала, приглушала и без того замедленную, будто даже остановившуюся на десятки лет жизнь покосившихся, по самые подоконники обложенных завалинками для тепла и крепости, осиротевших крестьянских изб. Да, такими представлялись мне Гольцы по рассказу Евгения Ивановича. Может, и в самом деле именно так выглядела зимой сорок третьего на сорок четвертый эта белорусская деревушка, наполовину сожженная и разграбленная немцами, где на месте домов, на пепелищах, торчали лишь почерневшие трубы да валялись обгорелые и скрючившиеся на остовы железных кроватей, или даже и это было запорошено снегом, и от всего веяло запустением и безлюдьем. Но еще несколько часов назад, когда проезжал мимо Гольцов к лесу, заметил, что деревня большая и что во все не похожа на ту, военных времен, как обрисовал ее Евгений Иванович. Я оглянулся, когда мы шагали через двор к распахнутым дверям (в дверях улыбалась молодая, с уложенными короной косами женщина, жена Константина Макаровича, как я узнал потом, и мальчишка возле нее, председательский сын, похожий лицом на мать), и снова отметил про себя, что клуб, школа, правление, вон с новым, как подъезд, парадным крыльцом, ремонтные мастерские (тех бревенчатых конюшен, что привычно стояли при колхозных дворах, давно уже нигде нет, а вместо них — именно ремонтные мастерские) и эти вот вмятины гусениц на дороге — все, как в десятках других деревень, в которых я побывал перед приездом сюда, в Гольцы. Я ведь в силу укоренившейся уже профессиональной привычки не просто смотрю на деревню, а всегда стараюсь по самому виду изб понять, как живут в них люди, в достатке ли, чистоте или в небрежении, потому что от того, как они живут, почти безошибочно можно предугадать, как идут колхозные дела, хозяйственный ли, умный, бережливый председатель или только с виду кра-

сив, крепок на голос, но даже в своей семье подчас порядка навести не может; я и на Гольцы смотрел так же и сколь ни скептически был настроен к Константину Макаровичу, но все вокруг — и председательский двор, и изба, и соседские, что за жердевой оградой, — все приятно радовало глаз чистотою, было ухоженным, и я невольно (я стоял позади Константина Макаровича, который, подхватив ладонями кинувшегося к нему сынишку, держал его теперь над собой) проникался уважением к широкоплечему, бритоголовому и показавшемуся мне вначале навязчивым в разговоре председателю. Он поставил на ноги сына и, забыв, видимо, на минуту, что пришел не один, принялся расспрашивать жену:

— Мать дома?

— Нету.

— Где? Опять у этой чернохвостки?

— Да чего уж ты на нее...

— А Варька?

— Еще не приходила.

— Федор-то Селиванов, мне сказали, сватов грозитя на днях прислать.

— А Варька знает?

— Чего же не знать, все жерди на воротах вон вместе с ним пообтерла. Тридцать лет, а ума нет.

— Костя!..

— Ну хорошо, я не один. — И только тут он повернулся и взглянул на меня. — Покорми нас. Это знакомый Евгения Ивановича, вместе в Калинковичи едем. Проходи, — сказал он, обращаясь вдруг на «ты», будто мы век были знакомы с ним, и сказал так просто и естественно, что нельзя было ни обидеться на него, ни заподозрить в неуважении. — Чего застеснялся, проходи, жена у меня добрая, Галина Яковлевна, — наконец представил он ее. — Прошу!

Он посторонился и пропустил меня в комнату. Как во всех деревенских избах, здесь было так же пестро и тесно, на подоконниках цвела герань, над комодом висели фотографии в рамках, обрамленные белым расшитым полотенцем, и я, признаться, немало удивился, что в доме Константина Макаровича, человека вполне современного, как сложилось у меня мнение о нем со слов Евгения Ивановича, оказалась столь живучей эта крестьянская традиция — украшать полотенцами фотографии; рядом с комодом стояла этажерка с книгами и транзисторным приемником, и над нею, прямо на вбитых в сте-

ну гвоздях, покоились двустволка и широкий охотничий патронташ с сумкой.

— На что ходите? — спросил я. — Большая охота?

— На зайца, зимой. Да какая у нас тут охота!

Пока хозяйка накрывала на стол, мы вышли в сенцы и под железным умывальником помыли руки. Галина Яковлевна подала чистое полотенце, и я заметил, как Константин Макарович одобрительно кивнул ей головой. Когда же сели за стол, первую тарелку с борщом она поставила перед мужем, но Константин Макарович, говоря: «Гостю», подвинул ее мне. Он не улыбался; в голосе его чувствовалось прежнее, как при встрече на шоссе, хозяйское превосходство, но я уже не обращал внимания на эту незаметную, конечно же, для него самого, но очевидную для других манеру держаться с людьми; вид и запах борща были настолько аппетитны, что и я и Константин Макарович, едва только перед ним появилась наполненная тарелка, — молча и торопливо принялись за еду. Галина Яковлевна сидела в стороне, на лавке, и наблюдала за нами; она давно уже пообедала, и когда Константин Макарович спросил ее: «А ты, Галь, почему не с нами?» — с улыбкою ответила: «Да помнит ли он, чтобы хоть раз вовремя приехал к обеду?» Сын же подошел к столу, и Константин Макарович, обняв и усадив его на колени, продолжал, однако, так же молча есть, беря свободной рукой попеременно то хлеб, то ложку.

Когда тарелки почти опустели, он откачнулся от стола и, посмотрев на жену, произнес:

— Ты что это, Галь, для аппетита нам ничего не дала, а? Ради гостя?

Галина Яковлевна принесла зеленый графин с водкой и низкие толстые граненые стаканчики. Константин Макарович, ссадив сынишку с колена и сказав: «Беги играй», наполнил эти стаканчики, мы выпили сначала за знакомство, а потом, когда хозяйка подала картошку, жаренную на свином сале и теперь подогретую, выпили еще «по глотку», как предложил Константин Макарович, и уже как-то сам собою, незаметно, я даже не могу точно вспомнить, с чего именно: с вопроса ли Константина Макаровича, или оттого, что нельзя же было без конца сидеть молча, возник разговор об Евгении Ивановиче, и я неохотно (вот это помню ясно, потому что и теперь мне кажется, что нехорошо и, пожалуй, вообще не следовало раскрывать чужую тайну), но с каждым словом все

более оживляясь, принялся рассказывать, как встретился с Евгением Ивановичем в городской Калининской гостинице, какое произвел он на меня впечатление и что я узнал о его судьбе. Говорил я, разумеется, коротко, да и не только потому, что не было времени; Константин Макарович, слушая, тоже, казалось, забыл, что ему надо спешить в город; откинувшись спиной к стене, он внимательно смотрел на меня, не перебивая, не удивляясь как будто ничему (по крайней мере, внешне не было заметно, чтобы он хоть чему-нибудь удивился), и лишь минутами, когда я останавливался, чтобы припомнить подробности, он произносил: «Да-а», — и оглядывался на жену. Она тоже, забыв поставить на плитку чайник, сидела и молча слушала мой рассказ.

— Ну, уехал он вот сейчас в Читу, — заключил я, когда все уже было сказано, — но на душе-то все равно неспокойно. Выйдет Василий Александрович из больницы, месяц-другой подержится и опять запьет. Ведь запьет, вот в чем весь вопрос, а несчастная старушонка, эта Мария Семеновна, снова понесет продукты прятать к соседке в холодильник.

— Но он никогда не говорил нам об этом, — покачивая головой, произнес Константин Макарович. — А разве не помогли бы? И Ксене и Василию Александровичу...

— Станный он человек, твой Евгений Иванович, — встала вдруг Галина Яковлевна, давно продолжая не этот, а давний и неизвестный мне разговор с мужем. — И мама говорит, да и...

— Кто это «и»? — сдерживая раздражение, возразил Константин Макарович. — Кто «и»? — повторил он. — Михаил Кузьмич? — Я не поинтересовался тогда сразу, кто такой Михаил Кузьмич и почему жена председателя колхоза была под влиянием этого Михаила Кузьмича. — Он коня от коровы отличить не может, ваш Михаил Кузьмич, а берется судить о людях. И вообще, настоящих, понимаете, глубоко человеческих людей, — обращаясь уже ко мне, продолжал Константин Макарович, — принято у нас почему-то называть странными, тогда как действительно странных людей мы принимаем за норму. А это, о чем вы сейчас рассказали мне, — он снова, как и на шоссе, произнес «вы», не заметив, очевидно, перехода, а впрочем, сам разговор, наверное, требовал теперь говорить «вы», — я, если хотите, знал, вернее догадывался, что у Евгения Ивановича все именно так. Он — чело-

век широкой души, полной жизни и... Галь, слышишь! Слышишь, Галина, я нисколько не обвиняю его, что он не говорил нам о себе. Скорее всего мы сами повинны в этом. Мы не смогли сделать так, чтобы он открыл перед нами душу, а теперь бросаем свысока: странный человек! Мы привыкли в любом деле искать корысть, а тут вдруг — нет корысти. Как так? Странно. А я скажу: он приезжал сюда, а мы хоть раз съездили в Калинин-чи проводить его? Нет. У нас дела, от которых, видите ли, мы не можем оторваться, а у него? И не просто он приезжал, а многим и многим мы обязаны ему. В первый раз он появился в Гольцах лет пятнадцать назад, — продолжал Константин Макарович, в то время как заправленный, готовый в рейс «газик» уже стоял возле дома и был хорошо виден и ему и мне сквозь окно. — Пришел под вечер, мать рассказывала, остановился у ворот, запыленный, худой, в солдатской гимнастерке, рюкзак горбится на спине. «Смотрю, — говорит, — и жалко. Чей, — думаю, — куда идет?» А он: «Разреши, мать, переночевать». Мать пустила, он выпил молока и молча — на сеновал, а утром мать посылает Варьку — сестра у меня младшая — к завтраку солдата звать, а его уже и след простыл. На другой год в том же, как мать говорит, месяце, и опять на закате, даже глазам, говорит, не поверила — стоит у ворот ровно привидение, точь-в-точь прошлогодний, и худющий, и рюкзак горбом. «Господи! — как она рассказывала (меня-то дома не было, я в те годы уже в институте учился; или только сдавал вступительные, ну да не в этом суть!), — господи, — говорит, — чи кажется? Чи вправду явился? Варька, — кричит, — а ну пойди глянь, есть ли кто у ворот, а сама, — говорит, — крест на себя кладу». Варька, конечно, ответила, что «есть», раз на самом деле человек пришел. Мать к воротам. «Иду, — говорит, — а у самой сердце заходит. Ну чисто он, точь-в-точь прошлогодний, привидение, и все тут: И еще солнце закатное так огнем спину и обливает...» Мать-то понять нетрудно, сколько за войну солдат прошло через Гольцы, сколько смертей пришлось повидать. Я вам показывал холмик справа от дороги? Так вот, когда трупы автоматчиков выносили из болота, мать там стояла, а мы жались возле нее. Да и на отца моего — что? Только похоронная. И все это тогда было особенно живо в памяти, все мы еще дышали войной, и тут тебе — раз явился солдат, да второй раз, да еще в один и тот же почти день и на закате, так что действительно черт знает

что можно подумать, и я вполне понимаю мать. «По-дошла, — говорит, — к воротам и спрашиваю: ты?» — «Я», — отвечает и улыбается. «А я, — мать-то говорит, — протягиваю руку да за гимнастерку, настоящая или нет, и в глаза стараюсь заглянуть. Спрашиваю: ночевать будешь?» — «Да», — говорит. И все повторилось: выпил молока и — на сеновал, а утром чуть свет, коров еще не доили, — ровно и не было никого. «А молоко, — мать говорит, — верчу чашку, выпито, и, где лежал на сене, видно примятое место. Может, в сельсовет, — спрашиваю Варьку, — сходить?» А та: «Да человек он. Переночевал и ушел, не украл же». Ну и опять целый год не видели его. А на третье лето — я уже был дома — мать, гляжу, волнуется, ждет. И Варька ждет. Я смеюсь над ними: «Привидений, — говорю, — нет. Все вы придумали. Мертвецы только у Гоголя из могил встают, да и то на Диканьке, а не у нас в Гольцах. И вообще, зачем солдатам по деревням шляться?» Смеюсь, а сам думаю: а вдруг?! Нет-нет да и поглядываю по вечерам на ворота. И что вы скажете: выхожу однажды вечером из коровника (зачем уж ходил туда, не помню), гляжу и глаза протираю — стоит у ворот, весь как мать описала: и гимнастерка, и худой, и рюкзак горбом, и плечи и голова багрянцем закатным залиты. Это мы сейчас вроде и не на краю живем, а тогда никаких изб напротив нас не было, жердевые ворота, а за ними поле и небо, и вот стоит у ворот на фоне этого закатного неба ну ни дать ни взять запыленный солдат. Я к воротам, молча открываю, впускаю на двор и оглядываю. Он мать спрашивает. «Здесь, — говорю, — дома, сейчас позову». А мать-то уже сама стоит в дверях. Молчит. И он молчит. Только спросил: «Можно?» Мать даже не ответила, а просто кивнула, и мне вдруг захотелось крикнуть: «Чего вы здесь ходите? Мать-то вон скоро в церковь пойдет!» — но не крикнул, а решил проследить, куда он по утрам исчезает. Не сказал никому о своем замысле, спрятался с полуночи в сарае и не спал, глядел. Утром вижу, спускается по лестнице с сеновала, а еще синь, роса, холодом тянет; спустился и пошел по дороге к болоту, как раз туда, где мы с вами сегодня встретились. Там бревенчатый настил был тогда. Я за ним, на расстоянии, конечно, чтобы не видно было, и до самого вечера глаз с него не спускал — не завтракал, не обедал, живот подтянуло, а не отступаю от своего. Он в лес, я — за ним, он к дороге, я — туда; долго он сидел на обочине, вста-

вал, снова возвращался, а я руками разводил: чего бродит, что ищет человек — непонятно. Не знаю почему, но только в тот вечер он не уехал в город. Может быть, попутной машины не оказалось. Тогда ведь редко ходили машины. Пришел вечером опять к нам. Сидит в избе и ест молча хлеб с молоком, а я смотрел-смотрел на него и спрашиваю:

«Скажите, — говорю, — а что в лесу вы искали?»

«Ничего, — отвечает, — не искал.

«Ну как же, я сам видел».

Тогда он усмехнулся, качнул головой и говорит: «Прошлого искал».

«Как это прошлое?»

«Войну».

«А разве ее можно искать?»

«Да», — ответил он.

Я смотрю на него, а он ест и опять словно не замечает меня, потом сказал матери спасибо и, гляжу, собирается на сеновал. Я спрашиваю его:

«Вы автоматчиком были? Не ваши друзья там захоронены?»

«Нет, — отвечает, — я служил артиллеристом и как раз на бревенчатом настиле немецкие самоходки подбил».

«А-а, — говорю, — где гусеница размотанная ржавеет в траве».

«Гусеница? — спрашивает. — В самом деле, гусеница?»

«Да, — подтверждаю, — она и сейчас, по-моему, там, у обочины».

«Ты сможешь показать мне ее?»

«Смогу. Она от «фердинанда».

«Завтра сможешь?»

«Смогу, — опять говорю, — там и немецких касок по болоту можно насобирать».

«Касок, — отвечает, — не надо, а если хочешь послушать, какое сражение здесь, возле нашей деревни, было, расскажу».

Мы вышли во двор, он прислонился плечом, к лестнице, что на сеновал, и тихо и не спеша начал рассказывать. Он вообще человек как будто неспешный, нерасторопный, но, думаю, это только с виду; такие люди многое успевают в жизни. Рассказывает он, мать подошла, Варька, слушаем. Тихо, лунно на дворе, вечер на редкость теплый. Потому, может быть, я и запомнил этот вечер и, знаете, именно тогда-то мы — и я, и мать,

и Варька (как раз мать и говорила мне потом об этом) — почувствовали, что «солдат» наш, так мы его меж собой окрестили, добрый и душевный человек. Помню, мать до того растрогалась, что на другой день пироги завела, курицу зарубила, а когда Евгений Иванович уехал в город, говорит мне: «Жаль, Варька наша мала, а то вот человек: и одинокий, видать, и молодой, подкормили бы его, и добрый, чего искать еще?» У матери свои планы, а у меня свои были. Утром пошел я с ним к бревенчатому настилу, посмотрели гусеницу, ржавая вся, но точно от «фердинанда», это он подтвердил, несколько касок подобрали, собственно, не касок, а так, подобие, и он снова повторил всю картину боя и показал, где стояли немецкие самоходки, откуда стреляли зенитчики и куда выкатывал он свое орудие. Это было интересно. Он уехал, а я осенью, когда начались в школе занятия, повел ребят к бревенчатому настилу и пересказал им все. Вот с этого и пошло. Создали отряд следопытов, гусеницу приволокли на школьный двор (кстати, она и сейчас лежит в нашем колхозном краеведческом музее), принесли каски, гильзы понаходили, фляжки и даже пуговицы и за каждым предметом старались восстановить событие. Когда на следующий год Евгений Иванович приехал, я его к ребятам. Я уже тогда преподавал в школе. Ну, можете себе представить, какое осталось впечатление у ребят, когда они послушали Евгения Ивановича да еще вместе с ним сходили на место боя! У нас ведь с тех пор в лейтенанта Федосова играют, и не уймешь; да что я — на ваших же глазах сегодня передок от телеги катали, впору хоть пушку деревянную строй и дорогу отводи, чтоб машины не подавили... Да, так с этого и началось все. Евгений Иванович назвал ребятам свою батарею, имена и фамилии артиллеристов, которых помнил, а потом дальше — больше, дальше — больше: завели наши следопыты переписку и про зенитчиков узнали, кто был ранен, кто убит, и про танкистов, и про автоматчиков, что захоронены теперь в центре деревни, там и обелиск стоит, и цветы живые (все ухаживают, а когда мимо проходим — шапки долой!), в общем, дальше — больше, и уже — школьная комната мала для музея. Теперь-то, когда я стал председателем, специальную избу отвел им, тут же возле школы. А сколько, оказывается, партизан было в нашей деревне. Ребята все дотошно раскапывают. Уже материалы гражданской начали собирать и времен коллективизации — кто первым вступил в колхоз и кто был

первым председателем? — и, знаете, поразительная картина открывается: в каждой избе, в каждой семье кто-нибудь да совершал подвиг! Но люди не говорили о себе, жили и жили, незаметные, вроде забытые, и вдруг — дела их опять вот на виду, и это преображает человека. Он словно рождается заново. Нет, я считаю, что Евгений Иванович сделал для нас большое дело, хотя и скромничает: «Да что я, да любой на моем месте...» Он каждый год неизменно появлялся в Гольцах, и мы, скажу вам, до того привыкли видеть его, что будто так и надо и ничего другого быть не может. Ради ребят, ради музея приезжает человек, ну и слава богу. И я привык, и радовался, и готовился каждый раз к встрече. Но в последнее время вижу: Евгений Иванович только и весел что лицом, а дума в голове совсем другая. Хотел было потихоньку спросить, так он: «Нет, нет, что вы, вам показалось», — и никаких просьб. Молоко, сеновал, дети — вот и все. Но я-то вижу! — воскликнул Константин Макарович. — Даже когда улыбается, тревога не сходит с его лица. И удивительно, — добавил он, — в таком состоянии, в такой душевной подавленности он еще с ребяташками возился. Он же кумир наших мальчишек, вы понимаете!

— Да, — ответил я.

— Кумир! — возбужденно повторил Константин Макарович. — Это надо заслужить!

Мы просидели допоздна и когда вышли во двор, солнце уже лежало за крышами соседних изб и синие тени стелились по дороге. Я снова окинул взглядом деревню, которая стала как будто ближе мне за эти несколько часов, пока сидел в председательском доме. Когда шагали к жердевым воротам, я на секунду представил, как появлялся возле этих ворот облитый багрянцем заката Евгений Иванович, и вся его жизнь, рассказанная им самим и дополненная Константином Макаровичем, невольно возникла перед глазами. Мне казалось, что старик, некогда поклонившийся Ксене, и то, что мальчишки, как мы когда-то в Чапая, играли здесь в лейтенанта Федосова, было одним и тем же *признанием жизни*, и опять-таки невольно, хотя Евгений Иванович был для меня, в сущности, чужим человеком, радовался за него.

— Вон школа, — сказал Константин Макарович, когда мы уже подошли к машине, — а чуть правее изба, видите? Это и есть наш колхозный краеведческий музей, — не

без гордости добавил он. — Я бы охотно сводил вас, это интересно, уверяю, но... жаль, не могу, мы и так запаздываем.

— Он открыт сейчас? — спросил я.

— Вы хотите остаться?

— Да.

— А в Калининичи?

— На попутной.

— Ну, верно, выйти только на шоссе, а там день и ночь... в общем, смотрите сами, отговаривать не стану.

— Поезжайте, — сказал я.

— Да, скажите, пожалуйста, — уже из машины, грудью навалившись на дверцу и подавшись ко мне, спросил Константин Макарович, — где живут Василий Александрович и Мария Семеновна, о которых вы говорили?

— Не знаю.

— А в какой больнице?

— Василий Александрович? В одной, очевидно, в которой лечат алкоголиков?

— А-а, ну да. Филев его?

— Да. Хотите помочь? Сделаете доброе дело.

— Доброе? — с усмешкой переспросил Константин Макарович. — Добрым оно было бы вовремя, а теперь — я лишь запоздало берусь исправить упущенное.

II

Из Гольцев я уезжал, когда было уже совсем темно. Забравшись в кузов какого-то направлявшегося порожняком в Калининичи грузовика, я стоял возле кабины, прислонясь к ней спиной, и смотрел на удалявшуюся в ночи с неяркими и редкими огоньками деревню. Редкими потому, что окна многих изб были закрыты ставнями. Я уезжал с таким чувством, словно покидал не Гольцы, а Долгушино, и все было здесь близко и дорого мне; с грустью вглядывался я в темноту, и чем сильнее набирала скорость машина, тем мрачнее и тревожнее становилось на душе. Я не упрекал себя, что не поинтересовался делами колхоза, хотя никогда прежде не случалось, чтобы должностные заботы вот так, вдруг, отходили на второй план; я думал о жизни Евгения Ивановича и о своей, и грустно мне было именно потому, что я все время только лишь стремился к добру, лишь хотел ви-

деть людей добрыми (добрыми по отношению ко мне); тогда как Евгений Иванович *делал* добро, и делал незаметно, не выдвигая себя, и эта его как будто незаметная и трудная жизнь получила *признание* («Не только мальчишек, нет! — восклицал я. — А всех, всей деревни!»); я видел, что жизнь Евгения Ивановича была наполнена смыслом, а моя (я насмеялся теперь над тем, как бойко и решительно осуждал, в сущности, Евгения Ивановича, когда мысленно рассказывал ему о себе) — пустой, обесцеленной. «А ведь тянуло в Долгушино, — думал я. — И надо было подчиниться чувству, поехать; поехать еще и еще, и... кто знает, какой видимый след остался бы после меня, и ребятишки играли бы, может быть, в агронома Пономарева, как здесь, в Гольцах, в лейтенанта Федосова». Я не заметил, как за поворотом, за подступившим к шоссе лесом скрылись последние огоньки утонувших в ночи Гольцов; густой сумрак, лишь впереди рассекаемый лучами фар, окружал мчавшуюся машину, но я не замечал и этого сумрака и не слышал, как скрипели и позвякивали в пазах разошедшиеся борта деревянного кузова трехтонки; под тяжестью наседавших дум — да я и не противился и даже не пытался прервать их (может быть, именно потому, что это было не в моих силах) — так же, как две с лишним недели назад, когда лежал в гостинице рядом с Евгением Ивановичем, весь как бы снова переходил во власть давно пережитых и, как мне казалось, забытых волнений, и в ночной черноте, чем пристальнее вглядывался в нее, тем будто яснее различал захлестанные осенними дождями взгорья с золотой и слезящеюся стерней, те самые убранные и уходящие на покой и зиму хлебные поля, по которым бродил когда-то в жестком брезентовом плаще и сапогах, накинув капюшон на голову, и чувство силы, добра и сознание того, что есть возможность применить эту силу и одарить добротой людей, отбрасывали меня назад, в молодость, когда жизнь только открывала свои казавшиеся приветливыми двери, и я с удивлением и доверчивостью смотрел на мир и людей. То состояние и приятно и тяжело было снова ощущать в себе. Я как будто, как делал, бывало, там, на Долгушинских взгорьях, откидывал капюшон и видел сиротливо приютившуюся за сеткой дождя у реки деревушку, и так же, как эта деревушка выглядела затерявшимся островком среди распаханых черных взгорий, так и я казался себе затерявшимся человеком среди людской нешумной и утонувшей в ночи жиз-

ни; она, эта жизнь, была *сама по себе*, со своими заботами, болью и радостью, будто даже непонятная и недоступная мне, моя же — *сама по себе* и тоже будто недоступная и непонятная другим, и я чувствовал себя одиноким и подавленным в кузове несшейся сейчас по шоссе на Калинковичи машине. Это тревожное состояние продолжалось и потом, когда я уже лежал в гостинице, завернувшись в одеяло и погасив свет; о чем бы я ни начинал думать, перед глазами неизменно возникали то Долгушино, то Красная Дóлинка, где на лунном дворе когда-то я встретил старого Моштакова с Кузьмой; и Андрей Николаевич в белой нательной рубашке и кальсонах, как он стоял на крыльце возле остекленной веранды, и Федор Федорович с женою и тремя, как и отец, ушастыми и в одинаковых платьяцах дочерьми, и Пелагея Карповна, и маленькая веснушчатая Наташа в косынке, какой я увидел ее тогда, и эта Наташа, какой стала теперь, провожающая своих дочерей Валю и Ларочку по утрам в школу, и серый холмик с крестом, где похоронена Пелагея Карповна (я никогда не был на ее могиле, но хорошо представлял по рассказу жены), и могила ее двоюродной сестры, Надежды Павловны, худенькой, морщинистой, почти высохшей старушонки, — все-все, перемежаясь, возникало и гасло, создавая картину прожитой обесцеленно, как я уже говорил, жизни. Я почувствовал, будто что-то нарушилось во мне, что прежде составляло покой и уверенность; так, как смотрел я на мир все эти годы после Долгушина, я уже не мог смотреть и понимал это, но то новое, что появилось во мне, было беспокойно, и потому я всячески старался подавить, приглушить его в себе. «Какой черт погнал меня в Гольцы! — уже утром, проснувшись и одеваясь, упрекал я себя. — И вообще, вся эта встреча с Евгением Ивановичем? Играют в лейтенанта Федосова... Ну и что? Сам-то он как живет? Спокойно? Как чувствует себя его Зинаида? Ей-то какво? А ну как я, к примеру, начал бы уезжать от Наташи? А Валя? А Ларочка? Нет, нет, это невозможно», — повторял я, надеясь восстановить прежнее спокойствие. Раньше, чем требовалось, я вышел из гостиницы и направился по утренним и малолюдным улицам к зданию заготовительной конторы, где нужно было завершить кое-какие командировочные дела; я специально пошел пешком, и в первые минуты, когда очутился на солнечном тротуаре и в лицо повеяло свежим (по крайней мере, так показалось после устоявшегося запаха

старых ковров, обычного, впрочем, запаха всех гостиничных коридоров), еще сырым от ночной прохлады воздухом, тяжесть раздумий будто осталась позади; щурясь и прикрывая глаза ладонью, я некоторое время поглядывал на дома, витрины магазинов, на голубое утреннее небо; но, может быть, потому, что все на свете теряет новизну и я пригляделся и к утреннему солнцу, и к домам, и к прохожим, — воображение постепенно снова перенесло меня во вчерашний день, в председательскую избу и музей, где я долго стоял перед грудой касок, ржавую гусеницей от подбитого «фердинанда» и затем перед стендом с фотографиями погибших зенитчиков, танкистов и автоматчиков. «Да что же, в конце концов, произошло? — между тем спрашивал я себя. — Ну есть Евгений Иванович, живет такой человек, но мне-то что до этого? Я всего один раз видел его и больше никогда не увижу», — рассуждал я, вполне веря в то, что действительно-таки больше никогда не увижу его.

Почти до самого обеда пробыл я у заготовителей, уточняя планы и контрольные цифры, а когда вернулся в гостиницу, — как ни чувствовал себя утомленным (да и времени до отхода поезда было еще много), оставаться в номере, где все напоминает об Евгении Ивановиче, не мог; уложив чемодан и расплатившись, сел в первое подвернувшееся такси и, сказав: «На вокзал», вздохнул с таким облегчением, что шофер внимательно и настороженно посмотрел на меня.

— Да, — подтвердил я, — на вокзал. — И, оглянувшись, еще с минуту провожал глазами удалявшийся подъезд гостиницы.

Возбужденный и довольный, что наконец покидаю Калининичи, что завтра вечером буду дома, увижу Наташу, Валю, Ларочку, что жизнь опять потечет в своем прежнем, привычном для меня, нерасторопном ритме, я прохаживался по перрону, держа в руке чемодан и приглядываясь к знакомой, сотни раз виденной вокзальной суете. С минуты на минуту должен был прибыть на первый путь скорый из Москвы (на Москву же, которым уезжал я, проходил часом позже); хотя мне никакого дела не было до этого поезда, но, как это бывает, когда хочется, чтобы побыстрее пролетело время, я с удовольствием ожидал, когда зеленые вагоны, медленно проплыв вдоль перрона, остановятся, платформа наполнится спешащими пассажирами, лоточницами с горячими пирожками, проводницами в синих беретах. Когда поезд

подошел, я отступил к невысокой железной ограде и, облокотясь на нее, принялся наблюдать, как выходили из вагонов и входили в них люди. Недалеко от меня ссаживали со ступенек вагона на перрон безногого человека. Как и на все вокруг, сначала я лишь мельком и равнодушно посмотрел на него и хлопочущих возле него людей (они устанавливали трехколесную, с ручными педалями коляску), но затем словно что-то подтолкнуло меня посмотреть еще, будто этот безногий и женщина с мальчиком возле него имели какое-то ко мне отношение, и с изумлением вдруг увидел, что в тамбуре с узлами в руках стоит Евгений Иванович. Я сразу узнал его. Он был в том же темном пиджаке, в каком мы спускались с ним в ресторан ужинать, а потом он сидел в кресле и рассказывал мне свою историю; как когда-то, как он говорил, серебрились в свете горевшей под потолком керосиновой лампы серые Ксенины косы, теперь, насквозь пронизанные высокими лучами солнца, серебрились его седые волосы; лицо его было так же серьезно, как и две с лишним недели назад, в день нашей встречи, да и сам он весь, сухощавый, подтянутый, опять, как и тогда, производил впечатление крепкого, занимающегося спортом человека. «Петр Кириллович, Зинаида Григорьевна, сын Саша», — перечислял я, глядя то на безногого человека, которому, очевидно, ехавшие вместе в вагоне люди помогали усаживаться в коляске, то на женщину с мальчиком возле него; я старался рассмотреть и их, но они стояли спиной ко мне и к солнцу, загораживая своими тенями Петра Кирилловича, и я видел лишь общие контуры опрятно одетых и неторопливых в движениях людей. Я взял свой чемодан и с волнением, будто встретил старых и добрых знакомых, которых не видел много и много лет и которых был рад видеть теперь, двинулся навстречу Евгению Ивановичу, издали приветливо помахая ему рукой.

— Евгений Иванович! — не подходя, а уже почти подбегая к нему, крикнул я.

— Вы? — спросил он, заметив наконец меня. — Вы еще в Калининвичах? — удивленно продолжал он, держа в руках узлы и не опуская их на серый и казавшийся ему, наверное, пыльным перрон.

— Вот, сегодня уезжаю.

— А я приехал, видите, всей республикой, — сказал Евгений Иванович, полуобернувшись в сторону своей семьи и кивая на них головой. — Петр Кириллович, —

представил он сидевшего в коляске седого и лысеющего старого человека; и пока я, подойдя к Петру Кирилловичу, пожимал руку, говоря обычное: «Очень приятно познакомиться» и называя себя, Евгений Иванович молча и выжидательно смотрел на меня, — Зинаида Григорьевна, — затем представляя жену, проговорил он и снова выждал, пока я так же, как с Петром Кирилловичем, знакомился с ней. — Саша. Первоклассник, — добавил он, указывая глазами на сына.

Поезд еще стоял у платформы, пассажиры суетливо метались по перрону; за нашими спинами проводница кому-то громко объясняла, что двенадцатый вагон следует искать не в хвосте, а в голове состава.

— Этим? — спросил Евгений Иванович, теперь лишь движением бровей указывая на зеленые вагоны.

— Нет, — ответил я. — Обратным. На Москву. Через час.

— А-а. Ну, давайте тогда хоть в холодок отойдем, — предложил он и первым, так и не опустив узлы на асфальт, зашагал к широкому навесу перед входными дверями вокзала. Следом двинулся Петр Кириллович на коляске, работая ручными педалями, потом Зинаида Григорьевна, Саша и я.

Ни Евгений Иванович, ни тем более Петр Кириллович и Зинаида Григорьевна ничего, в сущности, не знали о моей жизни, и потому встреча эта, думаю, была неинтересна для них; они шли не оборачиваясь, и лишь маленький Саша, который впервые ехал на поезде и которому было любопытно все, несколько раз, приотставая и крутя круглую остриженную головой, смотрел на меня; я же знал, по крайней мере, многое и многое о жизни и Евгения Ивановича, и катившегося на коляске Петра Кирилловича, и Зинаиды Григорьевны из далекой таежной Москитовки, и потому люди эти вызывали во мне особенную, какую я старался, но не мог скрыть на лице, заинтересованность. «Вот он, отец Раи», — думал я, глядя в спину Петра Кирилловича, и вся прожитая этим человеком жизнь, все испытанные им когда-то чувства на похоронах дочери, да и жизнь и смерть Раи — все-все, весь душевный мир их был понятен мне, я смотрел на руки старика, на пальцы, обхватившие ручные педали коляски, и мне хотелось (так же, наверное, как хотелось когда-то Евгению Ивановичу, когда он забирал Раинога отца к себе в дом) сделать что-то приятное Петру Кирилловичу, будто и я, как и Евгений Иванович, чем-то был вино-

ват перед ним. Я шагал позади и так же, как Петра Кирилловича, видел Зинаиду Григорьевну, которая и в самом деле, как говорил о ней Евгений Иванович, выглядела довольно молодо (я заметил это, еще знакомясь с ней); она казалась стройной и совсем не похожей на ту сибирскую из захолустного таежного поселка женщину в узкой, обхватывающей грудь кофте, как обрисовал ее Евгений Иванович; темно-малиновое платье с отделкою, свободно стекавшее до колен, было сшито со вкусом, шло ей, заметно подчеркивая ее красивую фигуру, и только разве прическа — по-крестьянски заколотые назад волосы — чем-то еще выдавала в ней простую деревенскую женщину. «Тоже пережила, — продолжал я. — Любила одного, потеряла на войне и теперь дорожит этим». Я на мгновение представил, как она в белой ночной рубашке и с распущенными волосами приходила по ночам к спавшему Евгению Ивановичу, добываясь своего счастья, подолгу стояла у его постели, вся пронизанная лунным оконным светом, и потом шептала молитвы перед старой и тусклой, оставшейся еще от матери, иконкой, и с какой затаенной грустью каждую весну ожидала того дня, когда Евгений Иванович начнет собираться в свои, ненавистные ей, Калинковичи (конечно же, она могла возненавидеть город, приносивший, как она видела, лишь страдания человеку, которого она любила и которому желала счастья; может быть, она ненавидела Калинковичи и теперь, но, может, я ошибался, полагая так, потому что за все минуты, пока я был возле них, я не заметил ни малейшего недовольства или хотя бы раздражения в ее словах и взглядах); я продолжал смотреть на нее и представлять, как она каждое лето приходила вместе с Евгением Ивановичем на дощатый перрон маленькой таежной станции и затем, одинокая, неподвижная, безвольно опустив руки, провожала будто спокойным, но на самом деле полным напряжения и тревоги взглядом уносившийся в таежный сумрак состав, и красный огонек последнего вагона долго еще и потом, когда она ночевала у чужих людей и когда возвращалась на другой день по тропинке в Москитовку, светился перед ее глазами; она, наверное, возненавидела и красный свет, который был для нее светом разлуки. Но она шла теперь, по крайней мере, мне так казалось, спокойно и красивою походкой уверенной в себе женщины, неся одной рукой небольшую с дорожными вещами сумку, другой держа за ручонку продолжавшего оглядываться на меня сына,

и мне было приятно видеть эти ее спокойствие и уверенность. «Как все люди, — думал я, опять пробегая глазами по спинам двигавшихся впереди Евгения Ивановича, Зинаиды Григорьевны, Петра Кирилловича, — и никогда в голову не придет, что у каждого из них такая судьба.

— В гости? — спросил я, как только Евгений Иванович, опустив наконец узлы к ногам и встряхнув уставшие и затекшие руки, повернулся ко мне.

— Совсем, — сказал он. — И вы, между прочим, помогли мне принять это решение.

— Я?!

— Вы. Помните, когда я вам рассказывал о себе в номере? Вы спали, но я ведь не спал в ту ночь, а не ворочался только потому, что не хотел будить вас.

— Нет... — начал было я, желая возразить ему, сказать, что я тоже не спал и тоже не ворочался потому, что боялся разбудить его, но он не дал ничего высказать мне.

— Вы погодите, — перебил он. — Рассказал я вам, да и сам как бы со стороны посмотрел на свою жизнь, и так, знаете, больно на душе стало: да что же, думаю, происходит? Мария Семеновна старенькая, слепнет, Василий Александрович и вовсе пропадает, как заберу-ка, думаю, всех своих — и сюда. Сколько можно разрываться? Да и мои, — Евгений Иванович опять, как и возле вагона, чуть повернув голову, глазами указал на Зинаиду Григорьевну и Петра Кирилловича, — в один голос: едем!

Вместе с Евгением Ивановичем и я снова посмотрел на Зинаиду Григорьевну и Петра Кирилловича, который сидел в коляске, развернув ее так, что я видел теперь все его старческое и утомленное с дороги лицо, и, заметив, что они тоже рассматривают меня («Что он говорил им обо мне?» — подумал я), сейчас же, чтобы не молчать, спросил Евгения Ивановича:

— Работу уже подыскали?

— Нет. А что работа? — тут же добавил он. — Необязательно в техникуме преподавать, можно и в школе. Меня вон в Гольцы сколько раз приглашали. Может, поедем туда. В общем, как сложится, посмотрим. Да разве может у нас человек остаться без работы, если он хочет работать, а?

— Да, конечно, — подтвердил я.

С минуту мы стояли молча; Евгений Иванович искоса поглядывал на узлы, что лежали у ног, на Петра Кирилловича и думал, наверное, как ему добираться до Марии Семеновны и как еще встретит их старая женщина, но я был так взволнован неожиданной встречей с ним, что не замечал ни одной его озабоченности, ни того, что разговор не получался.

— Вы — добрый человек, — сказал я Евгению Ивановичу, потому что не мог не сказать того, что думал о нем.

— Нет, — возразил он. — Если хотите знать, я всю жизнь только и делаю, что борюсь в самом себе со злом. Ну, так что? Двинемся? — сказал он, обращаясь к жене и Петру Кирилловичу, и добавил уже мне: — Извините, но нам надо идти, — взял поданный Петром Кирилловичем старый брючный ремень и принялся стягивать им узлы; потом, вскинув узлы на плечо — один наперед, на грудь, другой на спину, — протянул мне руку для прощания.

— Может быть, помочь? — предложил я.

— Нет, спасибо. У вас свой.

— А то...

— Да и поезд ваш скоро, так что счастливого вам пути! Н-ну! — затем проговорил он, оглядывая своих и направляя врезавшийся в плечо ремень. — Нам придется пешком, так что крепитесь. — И первым зашагал к выходу.

Я стоял и смотрел, как они удалялись, слегка смущенный таким поспешным и будто даже холодным прощанием, хотя, в общем-то, иначе и не могло быть, и это я теперь вполне понимаю; Евгению Ивановичу было не до меня, он ни разу не оглянулся, хотя я ждал этого, чтобы помахать ему рукой; я еще прошел к решетчатой ограде, чтобы взглянуть на привокзальную площадь и пересекавших ее Евгения Ивановича, сгорбившегося под тяжестью узлов, Петра Кирилловича на коляске и Зинаиду Григорьевну, которая все так же вела сына за руку, и даже когда они, свернув в улицу, скрылись за светившейся стеклянной витриной магазина, продолжал смотреть уже на эту витрину; я чувствовал себя так, будто прожил две жизни, свою и Евгения Ивановича, и волновался теперь более не за себя, а за него, хотя — что же было волноваться за него?

Я не помню, как вошел в вагон и в купе, как положил чемоданы на полку и затем, выйдя в коридор, стоял у окна, мешая проходившим пассажирам и то и дело прижимаясь к стеклу, чтобы пропустить их; не помню — хотя и смотрел на здание вокзала, ларьки на платформе и решетчатую ограду, отделявшую перрон от привокзальной площади, — как все это сдвинулось и поплыло за окном, и поплыли пристанционные белые дома, будки стрелочников и шлагбаумы, преграждавшие дорогу городским автобусам, и как все вдруг, именно вдруг оборвалось, и потянулись поля, перелески, деревни, которые должны были уже приглядеться мне, но которые каждый раз, да и теперь, конечно же, вызывали то чувство радости, которое я много лет назад впервые испытал по дороге в Долгушино и Красную Долинку, и все же — нет, я не помню, как сменялись за окном картины и сколько времени простоял в коридоре; когда после очередной недолгой остановки поезда проводница подошла ко мне и спросила, не уступлю ли я свою нижнюю полку в купе старому и больному человеку, поспешно и почти машинально, чтобы только поскорее остаться опять наедине с собой, ответил, что «да, занимайте, пожалуйста», и снова, прильнув к стеклу, смотрел, как черные грозовые тучи, нагоняя поезд, застилали собою небо. Я видел эти тучи, видел все, что открывалось и исчезало за окном вагона, но прерывающаяся цепь полей, деревень, лесов, рощиц и перелесков не нарушала тех размышлений, какие все это время занимали меня; я думал, как сложна человеческая жизнь, сколько в ней зла и сколько добра, приносящих страдания и радость людям, и какую нужно обладать силою, чтобы вот так, как Евгений Иванович, не растерять с годами те лучшие чувства, какие, впрочем, есть в каждом из нас, иногда разбуженные, иногда неразбуженные, иногда придавленные судьбой. «Взял и приехал, — рассуждал я, еще и еще возвращаясь мыслью к Евгению Ивановичу, — и все как будто просто. Да со злом ли в себе он боролся? Нет. Он не давал успокоиться своей душе». Я невольно примерял свою жизнь к жизни Евгения Ивановича и с грустью думал, что сам я ничего, в сущности, не сделал из того, что мог бы сделать хорошего в жизни людям. Начало уже темнеть, когда я, почувствовав усталость, открыл дверь в купе, намереваясь прилечь и отдохнуть, но то, что я увидел, заставило задержаться

в дверях. На нижней полке, вытянув во всю длину худые и старческие, в полосатых пижамных штанах ноги, лежал человек, которого, несмотря на годы и на то, что жизнь изменила его, я узнал сразу же. Это был Андрей Николаевич, бывший заведующий Краснодолинским районным земельным отделом. Напротив него — и ее я тоже сразу узнал — сидела пожилая, располневшая к старости, но все еще с румяным и неморщинистым лицом Таисья Степановна. «Вы?!» — хотел было спросить я, но не спросил ничего; да и не заметил, узнали ли они меня или нет; лишь сильно, не обращая внимания на то, как будет воспринято это окружающими, задвинул дверь и, прошагав по коридору, остановился в холодном, продуваемом насквозь и грохочущем тамбуре; я чувствовал, что снова прикоснулся к моштаковскому миру, что мир этот жив и что жизнь как бы по второму кругу начинается для меня.

1971

Повести

ТЕНЬ ИИСУСА

Пастыри и овцы

В Семипалатинске на Песчаной стоит огромный молеельный дом. По воскресеньям, субботам и четвергам сюда стекаются с разных концов города верующие. Приезжают они и с левобережья Иртыша, из Жана-Семей.

Горожане не любят ходить по Песчаной, мимо молеельного дома. Даже автомашины, словно по уговору, не доезжая квартал, сворачивают на другую улицу, хотя никакого запретного дорожного знака здесь нет. Зимой улицу заметает снег, летом она зарастает травой, но вьется по траве проторенная верующими тропинка.

Странно смотреть со стороны на цепочку сгорбленных черных фигур. Идут по двое, по трое, степенно, под руки. Это старики и старухи. А те, что помоложе, идут торопливо и прячут глаза от прохожих. Этих можно легко узнать по походке, пугливой, с оглядками. Есть и совсем юные. Они тоже спешат укрыться от постороннего взгляда в стенах молеельного дома.

Верующие довольны своим молеельным домом, хотя приобретен и открыт этот храм божий не совсем законным путем. Несколько лет назад семипалатинская община баптистов помогла одному из верующих приобрести небольшой домик на Песчаной. Как только документы на куплю и продажу были оформлены, этот домик, вполне пригодный для жилья, был, к удивлению и недоумению соседей, немедленно снесен, а на его месте возведен огромный и длинный, как барак, домина. Он поставлен на высокий фундамент. Крыша под железом. Окна широкие и светлые. Двор огорожен высоким тесовым забором.

Здесь пресвитер хорошо, конечно, знал, что

строить и открывать молельный дом без соответствующего на то разрешения нельзя, а добиваться разрешения — много хлопот, да и место могут отвести где-нибудь за околицей, на трясине, куда не каждый верующий захочет пойти. Так не лучше ли отгрохать дом где вздумается, а потом прикинуться простачком? Пожурят — и узаконят... Так и вышло. Все простилось христоролюбцам, все сошло с рук, и возносят они в своем молельном доме хвалу господу за его милосердие, собирают с заблудших грешников щедрые пожертвования на «нужды общины».

Разные времена переживала семипалатинская община баптистов. Были здесь и тихие пресвитеры, незаметно, исподволь набивавшие свою мощну из общинной кассы, были и казначеи вроде брата Кизинского, который в один год поставил себе дом и приобрел богатую мебель и одежду, был и тридцатилетний Алтухов, бывший офицер Советской Армии, командовавший на фронте пулеметным взводом. Этого-то что привело сюда? Его особенно помнят верующие. Он был груб, жесток и беспощаден к своей пастве. Сами прихожане однажды не выдержали и лишили своего пресвитера всех духовных званий и даже исключили его из общины.

Ныне общину возглавляет Варфоломей Иосифович Грудцен, восьмидесятилетний старик. Внешне он добр и покладист, но в маленьких, скрытых под большими роговыми очками глазах его нет-нет да и загорятся злые и жестокие огоньки. Рядом с Грудценом всегда можно видеть другого старца, горбоносого, с хитрым и хищным взглядом. Это Максим Иванович Шкуратов. Верующие побаиваются его, хотя и относятся к нему с благоговением и каждый раз выбирают в ведущую тройку при пресвитере. Побавляется его и Варфоломей Иосифович Грудцен.

Шкуратов — старый баптист. В 1918 году, когда люди боролись за свое счастье, за новую жизнь, Максим Иванович Шкуратов принял крещение и вступил в веру. С тех пор он почти нигде не работал, хотя и обзавелся семьей, чадами и домочадцами, приобрел большое хозяйство. В самые трудные для других людей годы он выстроил себе дом недалеко от пристани, обшил его тесом, покрыл железом. И сейчас во всем квартале самый видный дом — это дом старика Шкуратова. Резные наличники, ставни и тесовая обшивка ежегодно подновляются голубой краской — любимый цвет состоятельных мещан. Чем же он жил, нигде не работая, этот богобояз-

ненный человек? В общине говорят, будто бы Шкуратов долго сидел за веру, страдал, принимал «мученичество». Но в той же общине есть люди, которые знают и другое: Шкуратов был осужден за спекуляцию. Знали и то, как он, не делясь ни с кем, присваивал себе общинные деньги. Но знающих о проделках его в общине становится все меньше и меньше. Разве только Варфоломей Иосифович Грудцен еще опасен, но едва ли решится что-либо обнародовать.

Безропотно верят своим пастырям молящиеся грешники, молча слушают они чудесные слова о добре, братстве, добропорядочности и потустороннем вечном блаженстве.

Пресвитер и вместе с ним ведущая тройка постоянно пекутся о расширении своей общины. Чем больше молящихся, тем больше пожертвований — такова простая истина. Разными средствами привлекают они к себе людей. У кого-то случилось несчастье, и вот они уже тут как тут со своей Библией, со своими проповедями о добре и зле. Только Христос может принести спасение, только он способен залечить душевные раны.

Надломленный горем человек прислушивается, присматривается, ему неустанно говорят о добродетелях, о вечном блаженстве, его окружают заботами, помогают материально, чтобы потом с него же содрать сторицей, и — дело сделано, еще одной овцой больше в стаде.

Сотрясаются стены молельного дома от пения торжественных гимнов, восхваляющих господу и радостно сообщаящих ему о приобретении еще одной души. Рассказывают, что некоей старушке, сестре Агафье, община отремонтировала дом и перекрыла крышу. Для наглядности показывают и сестру Агафью и просят ее рассказать о знаменательном событии. И вот сестра Агафья, шамкая беззубым ртом, вещает, как она, бедная и одинокая вдова, работала когда-то в какой-то артели, сильно нуждалась и подала заявление в профсоюзный комитет о помощи. Сколько пришлось ей якобы претерпеть унижений, пока наконец выдали сто рублей из кассы взаимопомощи. Будто бы даже не одна, а целых три комиссии приходили к ней в дом для обследования, действительно ли она нуждается, и только после этого вынесли решение. А вот у баптистов — другое дело. Сказал пресвитер после молебствия: «Братья и сестры, у сестры Агафьи крыша обвалилась, надо помочь...» — и в три дня пере-

крыли. Расскажет старушонка, потом поведет и покажет свой дом — наглядно. Тут уж не поверить нельзя.

На вид тихая и безобидная, баптистская секта сильна, живуча. Что скрывать, есть у нас отдельные косные люди и среди профсоюзных работников и среди хозяйственников, есть еще бюрократы, которые забывают о нуждах рабочих.

Обидит такой чинуша, оскорбит, да второй еще добавит — и идет человек к баптистам, принимает веру. Для завлечения молодежи у сектантов свои пути. «Зачем в клуб идти, — говорят они, — в это греховное заведение? Вы посмотрите: там грязно, заплывано, там сквернословят, туда ходят пьяные нечестивцы, а у нас чистота, вежливость, уважение. А какой хор! Как поют! И вы сможете вступить в хор, по нотам петь будете. Приходите, послушайте, посмотрите...» Приманка, конечно, не ахти какая, но все же. Придут молодые люди, послушают проповедь, послушают хор — хорошо поют, верно. Почему бы не прийти сюда и в следующий раз? Проповедник читает с душой, красиво, как иной хороший артист. Рассказывает такой проповедник какую-нибудь библейскую легенду, к примеру, как Иоанн на песчаном острове однажды увидел лик Христа, и рассказ его сопровождается пением хора. Это привлекает, нравится молодежи, впервые посетившей молельный дом баптистов. Приходят второй и третий раз и так постепенно втягиваются в веру, совсем не представляя себе всех последствий религиозного дурмана. А уж за тех, кто принял веру, сектанты умеют постоять. Не так-то просто уйти из секты: тут и запугивания, и прямые угрозы, вопреки всем заповедям Христа, и даже насильственные умерщвления, выдаваемые за божью кару в назидание другим.

Нет, не так тиха и безобидна баптистская секта, как это кажется на первый взгляд. Многим советским гражданам исковеркали жизнь эти люди, проповедующие богобоязнь и смирение, толстыми библиями и евангелиями прикрывающие свои изуверские дела.

Судьба Моти Сорокиной

Мотя Цыганкова полюбила Евгения Сорокина, паренька из сапожной мастерской. Был это веселый, жизнерадостный юноша, умевший, как все мастеровые люди, и выпить в меру, и погулять на праздниках на широкую

ногу, и сплясать под гармонь. В беззаботно заломленной набекрень кепке, с густым русым чубом под козырьком, в клетчатой рубаше нараспашку он приходил к воротам хлебокомбината встречать Мотю со смены, водил ее в кино, на танцы в городской парк, подолгу простаивал у калитки, рассказывал о своих сокровенных мечтах. А мечтал он закончить вечернюю школу и поступить, хотя бы заочно, в институт. Иногда он бывал грустным, молчал, и как ни старалась Мотя узнать, что с ним, Евгений скупно отвечал:

— Так, ничего особенного...

А случалось это в те дни, когда в семью Сорокиных приходил Максим Иванович Шкуратов. Мать Евгения и его сестренка Шура, тихая, кроткая девушка, служившая у Шкуратова в домработницах, были баптистками. Старик, как обычно, усаживался посреди комнаты, по-хозяйски расставлял ноги и неприятным, хищным взглядом осматривал Евгения:

— Грешишь все, грешишь!.. Смотри, Евгений, бог, он покарает, придет его возмездие. На всю семью придет. Мать бы хоть пожалел...

— А, отстаньте вы со своим богом!

Но старик пускался в долгие и нудные рассуждения о вечном аде и вечном рае, мать принималась плакать, шептать молитвы; плакала и сестренка Шура, и все втроем наседали на Евгения, упрашивая, умоляя его принять крещение, поклониться богу. Евгений уходил из дому, и настроение его бывало испорчено на целый день. Если он приносил с собой газету, ее сейчас же вышвыривали в мусорную яму; такая же участь постигала и книги, которые он брал из библиотеки и за которые потом приходилось расплачиваться. Частые недоедания из-за этих ссор, частые выпивки «с горя» и «от скуки» постепенно расшатывали здоровье. Стоило ему однажды сильно простудиться — и он заболел туберкулезом. Сначала почувствовал легкое недомогание, но старался не замечать его, не лечился. Когда он женился на Моте, у него было уже двустороннее поражение легких. Девушка, разумеется, ничего этого не знала.

Мать Евгения была противницей неравного, как она считала, брака ее сына с работницей хлебокомбината, но старик Шкуратов, негласный опекун и наставник в доме Сорокиных, думал иначе: «Что ж, если одного Евгения не удастся вовлечь в секту, то с двумя будет легче управиться. Женщина — существо покорное, ее можно и испу-

гом взять, устрашениями, а уж она потом и на Евгения повлияет. Не одна, а сразу две души прибавится к стаду наших овец грешных...»

Слово Максима Ивановича — закон. Как сказал, так и будет. И мать Евгения стала готовиться к свадьбе сына. Свадьбу решено было отпраздновать по баптистскому обряду, с песнопениями, но без вина и водки. Как ни противился Евгений, все же не посмел пойти до конца наперекор матери — и согласился.

В день свадьбы Мотя впервые узнала, что идет жить в дом к верующим, к баптистам. Но это не испугало ее. Что ж, кому охота молиться, пусть молится, какое ей дело. Она будет жить с Евгением, а он — хороший, ласковый, добрый. Должно быть, и мать его такая же добрая и сестренка тоже. Тогда Моте казалось, что верующие еще добрее других, они никогда не делают ничего дурного: бога боятся.

Было так радостно в этот ясный солнечный день, было столько счастья в ее девичьем сердце, что ни для каких тревог не оставалось в нем места. Разве могла она предвидеть, что эти добрые, богобоязненные люди сделают жизнь ее горькой, будут травить и преследовать ее, погубят мужа, погубят ее детей! Больную, они будут держать Мотю в комнате под строгим надзором святых сестер-баптисток, отказывая ей во врачебной помощи. Нет, Мотя не могла этого предвидеть. Если бы кто-нибудь сказал ей об этом, ни за что бы не поверила и обиделась на злую шутку.

За свадебным столом было много гостей, но — ни ярких праздничных нарядов, ни веселых и задорных молодежных песен, ни улыбок на постных, аскетических лицах стариков и старух, ни шуток, ни таинственно-заговорщицких взглядов подружек, у которых, как говорится, женихи еще не родились.

Сначала все молча ели, вытирая платочками потные шеи, потом пели какие-то грустные, печальные, как на отпевании покойника, песни, потом опять принимались за еду и опять тянули заунывную мелодию и теми же платочками вытирали теперь уже слезы счастья на глазах. Было как-то немного неловко оттого, что свадьба без веселья. Мотя замечала, как хмурился ее отец, недовольно поглядывая на своих новых родственников, и ей было жаль отца, которому нельзя ни выпить на ее свадьбе, ни даже закурить, ни в комнате, ни во дворе (об этом сам старик Шкуратов предупредил его); Мотя замечала

все, но не было времени ни подумать, ни осмыслить по-настоящему, что происходило вокруг; рядом сидел милый Евгений, и эта близость любимого человека наполняла ее сердце счастьем. И все же еще в тот день Мотя почувствовала, что где-то в ее жизни образовалась маленькая трещина. Ее отец не дождался конца свадьбы и ушел, униженный этим необычайным весельем без веселья, а за ним ушла и вся Мотина родня. Никто не стал провожать их, только старик Шкуратов вышел в сенцы и крепко захлопнул дверь.

Больше отец с матерью не бывали в доме Сорочкиных. С первых же дней Мотя почувствовала, что жить в одном доме с матерью Евгения и его сестрой Шурой она не сможет. Так же, как и Евгений, она ежилась под косыми хищными взглядами старика Шкуратова, который приходил почти каждую неделю, то будто бы попутно, то специально навестить своих хороших знакомых и справиться об их здоровье. «Что надо этому старику? Чего он ходит?..» — недоумевала Мотя.

И вот однажды старик заговорил о баптистской вере. Евгения в этот день дома не было. Старик рассказывал о молельном доме, который в то время только начали строить на Песчаной, говорил о хоре, о красоте и музыкальности богослужения по-баптистски; потом мать, сестра Шура и сам Максим Иванович нестройными, дребезжащими голосами пропели несколько гимнов. Все это Моте показалось смешным, и она улыбалась, думая, как могут такие взрослые люди всерьез верить в бога. Перед уходом Максим Иванович по-отцовски мягким и добрым тоном сказал:

— Все, Матренушка, поначалу улыбаются, а потом и приходят к Христу на поклон. Так-то вот.

Мотя не сразу поняла смысл этих слов, а когда поняла, ей стало вдруг жутко. Она вспомнила, каким пожирающим взглядом смотрел на нее старик, вздрогнула от этого неприятного воспоминания. Вечером все рассказала мужу.

— Начинается... Так и знал... — ответил Евгений.

— Что знал?

— Они мне всю душу этим проклятым богом вымотали.

— Давай уйдем на квартиру? Или к нашим?

— Разве отсюда уйдешь? Тут слез не оберешься.

— Что же тогда делать?

— Уйдем! — вдруг решительно сказал Евгений и с силой ударил себя кулаком по колену.

Но на квартиру они не перешли, не ушли и к родственникам Моти; опять старик Шкуратов и мать Евгения взяли верх. Они предложили пристроить к дому еще две комнаты, сделать отдельный ход и жить рядом в мире и спокойствии. Обещались помочь. Все это было заманчиво. Конечно, куда приятнее жить в своем собственном доме, чем кочевать по чужим квартирам да еще и платить немалые деньги, и Евгений и Мотя, посоветовавшись, согласились. Стали копить деньги на строительство, экономя на всем, на чем только можно было; Евгений брал побочные работы и до полуночи, сгорбившись на низеньком сапожном стуле, стучал молотком, сучил дратву; иногда в изнеможении ложился на деревянную скамью и так засыпал, не раздеваясь. Он был хорошим сапожником, делал на совесть, как просили заказчики, и работы было много.

Весной начали строить дом. Строительство продвигалось медленно. Про обещанную помощь мать и старик Шкуратов молчали, так как и Мотя и Евгений упорно отказывались поклониться Христу. Тяжело было двоим вытягивать затеянную стройку.

У Моти родился сын.

Появился и второй ребенок, а дом все еще не был закончен. Дети часто болели, доставляя много хлопот. Пошатнулось и Мотино здоровье. Она осунулась, постарела, с удивлением рассматривала в зеркале ранние морщинки у глаз. Как-то, повозившись в ледяной глине, она слегла совсем. Больше месяца пролежала в больнице. За все эти дни к ней ни разу не приходила свекровь, зато трижды навещался старик Шкуратов и приносил вместе с передачей маленький карманный томик евангелия, который Мотя сейчас же возвращала ему.

У Моти родился четвертый ребенок, когда они наконец перешли в свой дом. Но дом не принес семье радости. Тяжело захворал и умер старший сын; потом болезнь унесла в могилу младшую дочку. Слег и сам Евгений. Беда за бедой наваливались на молодых Сорокиных, а свекровь и старик Шкуратов только ходили вокруг и злорадствовали.

— Вот она, божья-то кара! От бога не уйдешь! — промочили они, и получалось, будто пророчества их сбывались.

Мотя пыталась возражать, что бог тут ни при чем, ведь дети умерли от болезни, их просто вовремя не показали врачу. Но свекровь сейчас же перебивала ее, говорила, что болезнь — это божье наказание, что как раз бог-то и напоминает о себе. Вот если бы Мотя и Евгений молились богу, просили у него прощения — глядишь, и смилостивился бы, ниспослал здоровье и радость... В конце концов, подавленная горем, измученная заботами, Мотя стала думать, что, может быть, и вправду есть на свете бог, который наказывает ее за непослушание. Сначала она гнала эту мысль прочь, но сомнение, разродившись, все больше проникало к ней в душу. В дом зачастили какие-то женщины, которых свекровь называла своими сестрами во Христе. Они говорили о боге и читали евангелие у постели Евгения. Мотя не знала, что делать, на что решиться.

Когда дети болели, она вызывала врача, возила их в больницу наперекор всем запретам свекрови. Но тогда Мотя была уверена, что только врачи могут вылечить от болезни. А после смерти детей эта вера была поколеблена в ней, к тому же и свекровь и старик Шкуратов решительно запретили ей вызывать врача к Евгению.

— Детей погубила, теперь мужа хочешь погубить?! Они обвиняли Мотю и советовали ей, пока еще не поздно, смириться и просить прощения у бога, тогда он вернет и здоровье, и радость, и счастье. Что ж, может быть, действительно, надо смириться, может быть, она и впрямь грешна и должна замаливать свои грехи? Но в чем ее грех?

В полусумрачной комнате с занавешенными окнами, подальше от яркого солнечного света, лежал в постели больной Евгений. Лицо его потемнело, глаза ввалились; длинные, когда-то сильные, пропахшие кожей и канифолью руки его, теперь, как плети, лежали поверх одеяла. Он мало разговаривал, ничего не просил, ни на что не жаловался, только пил горячую воду, стараясь заглушить кашель. Когда приходили сестры-баптистки и, присаживаясь у изголовья, начинали нараспев читать евангелие, он отворачивался к стенке и тихо плакал. Видно, и его, как и Мотю, сломили горе и болезнь.

В одно из таких чтений, когда в комнате находился и старик Шкуратов, Евгений сказал, что согласен принять крещение.

Стояла поздняя осень. Холодный ветер гнал по дорогам желтые листья, пенился Иртыш, разбрызгивая студёные капли, будто сопротивлялся наступлению зимы, ломал тонкий синий ледок у берегов. В такое холодное осеннее утро и повели Мотю и больного Евгения к Иртышу крестить. На берегу их раздели до белья. Пресвитер в белой накидке вошел по колено в ледяную воду и позвал Евгения.

Старик Шкуратов стоял у самой кромки льда и читал евангелие; тут же несколько хилых голосов тянули баптистский гимн, воздающий хвалу господу.

— Евгений, может, не надо, а? — робко прошептала Мотя, взяв за руку посиневшего на ветру мужа.

Ей было страшно. Холодный песок обжигал босые ноги, тонкий ледок хрустел и ломался под набегавшими на берег волнами. «Бежать, бежать отсюда, поскорее увести Евгения в больницу!..» — возникла в голове Моти решительная мысль. Но за всем зорко наблюдала свекровь.

— Смирись, грешница! — грубо проговорила она, заметив порывистое движение Моти.

Эти слова будто опалили Мотю, и она устало, смиренно опустила голову.

Евгений высвободил руку и шагнул в ледяную воду.

— Веришь в бога? — спросил пресвитер.

— Верю.

Пресвитер пальцами ловко зажал Евгению нос и уши и окунул его с головой в воду:

— Крещу во имя отца и сына и святого духа! Аминь! Затем под руки ввели в Иртыш и Мотю...

А на другой день Евгения в жару и бреду увезли в больницу. Мотя молилась всю ночь, ни на час не смыкая глаз. Ее уверяли, что бог всемогущ, убеждали, что молитвами можно упросить бога смилостивиться и вернуть здоровье. Но к утру Евгению стало хуже, а к полудню у него поднялась такая температура, что он не узнавал ни жену, ни свою мать, ни детей. Странно, свекровь на этот раз не бранила Мотю, видно, и у нее заволновалось материнское сердце, видно, и у нее в этот день поколебалась вера в бога.

Прошел месяц, второй, Евгения подлечили, он вернулся домой посвежевшим, приободренным. В тот же вечер в молельном доме братья и сестры баптисты пели хвалебные гимны, благодаря господу за выздоровление брата Евгения, и щедро вносили пожертвования.

— Не скупитесь, не скупитесь, — шептала свекровь Моте, когда после богослужения обшитый синим бархатом глубокий ковш для пожертвований пошел по рядам, и сама, развязав узелок, с благоговением положила в ковш четвертную.

Евгения подлечили врачи. Но иначе думали старик Шкуратов и свекровь. Они считали: вылечили-то, может быть, и врачи, но это сам бог вложил им в руки лекарство. Словом, все, что делается на свете, делается по воле божьей. Умер человек — это бог наказал, выздоровел — бог простил грехи. Верующие все объясняют волею бога.

Легко удивляться со стороны наивности и нелепости таких суждений, а человеку, испытавшему горе, перенесшему одно несчастье за другим, неожиданное просветление в жизни — надежда на лучшее — покажется божьей благодатью. «Да, бог, все сделал бог!..» — так думала и Мотя, которой изо дня в день внушали эту мысль и свекровь, и приходившие к ним в дом старухи, и Максим Иванович Шкуратов, всегда сытый, довольный собой и своими делами.

Мотя уже не работала на хлебокомбинате. Она, а вместе с ней и весь огромный дом Сорокиных, вся семья были как бы отрезаны от всего мира, жили своей маленькой, замкнутой богобоязненной жизнью. Ни газет в доме, ни радио, даже просто «мирские сплетни» запрещено было слушать и вносить в дом. Что делалось в стране, что делалось в родном Семипалатинске — от всего этого Мотя была надежно отгорожена высокой стеной религии.

А Советская страна переживала великий подъем. Тысячи молодых людей, тысячи комсомольцев по призыву партии и правительства ехали в Казахстан и на Алтай распахивать целинные и залежные земли, строить новые города и совхозные поселки; молодежь ехала в суровые края Сибири осваивать несметные богатства тайги. На великих реках России возникали одна за одной грандиозные стройки. В газетах то и дело мелькали имена героев, подвиги которых удивляли и поражали весь мир. Мотя ничего не знала об этом. Не большие дела страны, а гнусный мирок «мучеников», которые, кстати сказать, жили далеко не мученической жизнью, день за днем раскрывался перед ней.

Вместе со стариком Шкуратовым она ездила в Лениногорск за медом. Старик преспокойно спал на верхней

полке, а Мотя, не смыкая глаз, сторбившись, сидела в душном общем вагоне, оберегая его сон, а вернее, его кошелек, туго набитый хрустящими сотенными. Мед покупали в горах, на пасеках, а затем сбывали его в Семипалатинске втридорога. Не гнушался старик спекулировать и новыми вещами. Часто он сам отправлялся в Алма-Ату за «нужными» покупками (в Алма-Ате тоже были «братья и сестры», которые заблаговременно готовили ему эти «нужные» вещи), а иногда отправлял жену. У Шкуратова были свои комиссионеры, закупщики и сбытовики товаров, попросту — продавцы — семипалатинские верующие старушки. На всех рынках города они бойко торговали медом, арбузами с собственных бахчей Шкуратова, столичными шерстяными кофтами, тончайшим капроном. Ничем не пренебрегал богобоязненный старик с хищным взглядом.

Вскоре Мотя стала замечать, что между проповедями Шкуратова и его образом жизни большая разница. Старик выпивал, хотя баптистам строго запрещено пить и курить, а выторговывая цену, сквернословил и лихо, как заправский купец, бил по рукам. Неожиданно Мотя узнала поразившую ее историю близкой дружбы Шкуратова с семьей Сорокиных.

Несколько лет назад Сорокина взяла у старика займы деньги и долго не отдавала. Шкуратов решил самолично взыскать с нее этот старый должок. Поехали они за медом. Денег в закупленный мед вложили поровну, а барыш с продажи старик оставил у себя.

— Теперь мы в расчете, — сказал он старухе.

— Как это в расчете? — возмутилась та.

— Да так. Годика два, почитай, как должок-то за тобой числится, я уж о процентах не говорю...

— Позволь, Максим Иванович, какой должок? Да ты всю свою жизнь обязан кормить нас, если хочешь знать.

— За какие такие провинности?

— Забыл?

— Что-то не помню, сестра.

— Ишь, запамятовал, брат. А Шурка наша от кого в подоле принесла?

— Помилуй бог... Опять.

— Не помилую. Твое дитя, ты и корми.

— Помилуй бог! Опомнись, сестра, что говоришь-то! Девка на бахчах нагуляла, мало ли там парней разных...

— Бахчи-то твои были! Аль ты там не ночевал? А ну как я кровя ваши на проверку снесу, а? А сама-то Шурка аль немая, а? Клади деньги на стол!

— Не простит тебе бог, сестра, такую скверну... Деньги возьми, я и так сестре не пожалею. Все мы братья и сестры во Христе... А наказанья божьего тебе...

— Выкладывай деньги, а там бог сам увидит, кого наказывать, у него, чай, тоже глаза есть!..

Мотя случайно услышала этот разговор. К тихой и забитой сестренке Евгения она относилась жалостливо — живет в работницах, ни людей, ни света не видит, мыкает горе. Одно лето Шкуратов возил Шуру на свои бахчи, а на следующую весну у нее родился мальчик. В доме был целый переполох; по три раза в день прибежал старик Шкуратов, Мотина свекровь и он запирались в комнате на ключ и подолгу о чем-то шептались. Мотя думала, что Шуру выгонят из дому, но, к удивлению, все уладилось тихо, без скандала. «Так вон, оказывается, в чем дело, вон почему не ругали и не проклинали Шуру...» Мотя убежала к себе в комнату, упала на кровать и заплакала. В этот вечер она впервые после принятия крещения не пошла на собрание в молельный дом. Ей были ненавистны и унылые гимны, которые распевали на богослужениях, и молитвы, которые теперь казались пустым набором слов, но, главное, ненавистны были сами верующие с их постными лицами, опущенными долу глазами. Они лживы, эти лица, эти люди! Не убоился же бога старик Шкуратов и надругался над своей домработницей. И никакой кары ему. И мать тоже: «Деньги на стол!..» А честь дочери, а заповеди божьи?! «Ложь, ложь, ложь!» — сквозь слезы шептала Мотя, ужасаясь тому, как она могла верить этим людям, которые называли ее грешницей, пророчили ей всякие страхи, а сами, алчные и злобные обманщики, притворяясь смиренными боговерцами, ходили во славе и благодати божьей!

Была и другая причина, заставившая Мотю серьезно задуматься над своей жизнью. После некоторого улучшения Евгению вновь сделалось хуже. Видно, не так уж и всемогущ бог, если не может вернуть здоровье мужу. А разве она не молилась, разве не просила, до онемения стоя на коленях и шепча молитвы? Нет, для нее, по крайней мере, бог еще ничего не сделал хорошего, а вот в больнице подлечили Евгения. Надо снова увезти его к врачам, и Мотя, ничего не сказав ни свекрови, ни ста-

рику Шкуратову, однажды днем наняла машину и увезла мужа в больницу.

Но было уже поздно, спасти Евгения не удалось. Через месяц он умер. Это случилось второго мая, в праздничный весенний день, когда ярко светило солнце и по нарядным, украшенным кумачовыми знаменами улицам города радостно шумели нарядные людские толпы. Мотя возвращалась из больницы с горестной вестью к своим осиротевшим детям — похожему до мельчайшей черточки на отца мальчику и шестилетней дочурке. Людской поток то захватывал и увлекал ее за собой, то словно менялось течение, люди густо шли навстречу, и тогда она, желтая от бессонных ночей, убогая в своем скромном ситцевом платье, прижималась к оградкам и стенам домов, пропуская мимо это веселое разноцветное течение. Она слышала звонкие голоса, обрывки веселых фраз, и ей было больно оттого, что люди радовались в такой печальный для нее час, что они ничего не знали ни о ее горе, ни о ее разбитой и потерянной жизни.

Последний раз она помолилась с братьями и сестрами на могиле Евгения и больше уже никогда добром не поминала бога. Устроилась на работу в аптеку и совсем перестала ходить в молеальный дом. Сына и дочку отдала в детский сад. А свекрови сказала:

— Можете не считать меня верующей.

Но братья и сестры во Христе не хотели так легко отпускать Мотю из общины. Чего доброго, так может и вся община разбежаться! Или она будет ходить на собрания, или — бог должен наказать ее, чтобы и другим было неповадно. Только вот чьими руками будет наказывать бог, этого пока еще старик Шкуратов не решил. Поздним вечером, когда Мотя была дома, он пришел к ней с проповедником Чиркиным и казначеем Кизинским. Помолились у порога и бесцеремонно подсели к столу. Шкуратов молча обвел комнату взглядом, будто все здесь видел впервые, и заговорил, исподлобья поглядывая на Мотю:

— Бога забыла, сестра, отошла от нас. Знай, не простит тебе господь такие грехи...

— Пусть наказывает, — ответила Мотя. — Какой он мне бог, если забрал мужа, забрал детей... Он мне не бог, и я ему не слуга.

— Дьявол вселился в твою душу, сестра, покайся, покайся, грешница несчастная.

— Не в чем мне каяться.

Старик Шкуратов встал и, пророчески повысив голос, проговорил:

— Не миновать тебе кары божьей, будешь гореть на вечном огне!

Встали Чиркин и Кизинский и тоже нараспев заголосоу:

— Падет кара на тебя и на детей твоих, и на внуков и правнуков!

— Вовек не замолить тебе грехов твоих!

Испуганные громкими мужскими голосами, детишки повскакивали с кроваток и прижались к Моте; девочка дрожала и сквозь слезы испуганно кричала:

— Мама, мама!

А Шкуратов басил:

— Погибель сойдет на ваш дом!..

Потом все трое смолкли, и проповедник Чиркин в тишине зашептал:

— Давайте помолимся, братья, пусть же даст ей господь терпение и силы вынести все мучения и вернуться к нам смиренной и кроткой, аки агнец, и в молитвах и изнурении пронести бремя земное, дабы открылись для нее двери вечного рая.

Они помолились и ушли, не закрыв за собой дверь. Как только за окнами стихли шаги, Мотя вновь уложила детей в кроватки, но самой спать не хотелось.

Приход Шкуратова с проповедником Чиркиным и казначеем Кизинским, их пророчества и угрозы растревожили и без того убитую горем женщину. Скрестив на груди руки, она долго сидела у детской постельки и думала о муже, об умерших сыне и дочери, о своей несчастной судьбе. В своей жизни она совершила большую ошибку и теперь расплачивается за нее. Но в чем ошибка? В том ли, что полюбила Евгения, этого веселого паренька из сапожной мастерской? Или в том, что поддавалась уговорам свекрови и старика Шкуратова и приняла веру? Три могильных холмика на городском кладбище, три близких сердцу человека похоронено под этими холмиками... Дети умерли от болезни. Но почему врачи, вылечивая других, не смогли вылечить ее детей? Да потому, что свекровь запрещала ей обращаться в поликлинику, не разрешала вызывать скорую помощь. Мотя отвозила детей в больницу, когда они были уже при смерти. При чем же здесь божья кара? Виновата свекровь, виноват старик Шкуратов. Это они погубили

и дочь, и сына, и мужа. Мотя лютой ненавистью ненавидела их в эту минуту. Если есть бог, думала она, то он должен покарать их, а не ее! Ее не за что карать. Но как ни старалась утешать себя Мотя, пророчества Шкуратова, Чиркина и Кизинского тяжелым осадком легли на сердце. Прошло много дней, прежде чем она смогла забыть об этом вечере, о роковых предсказаниях боголюбцев.

Через восемь месяцев после памятного вечера у Моти заболел сын двусторонней свинкой и умер. Старик Шкуратов и свекровь немедленно воспользовались случаем и объявили, что Мотю карает бог за непослушание.

— Погоди, не такое еще наказание будет тебе! — угрожающе заявили они.

И действительно, вскоре Моте пришлось пережить самое страшное в своей жизни — похоронить последнего ребенка.

У девочки вспух на ноге чирей. Мотя, боявшаяся теперь всего, даже самой маленькой царапинки на тельце дочери, даже легкого кашля, немедленно повела девочку в поликлинику.

Когда выходили из дому, на крыльце стояла свекровь. Неприязненным, насмешливым взглядом посмотрела она на Мотю и на девочку с белой повязкой на ноге. Холодок пробежал по спине Моти от этого взгляда, она подхватила дочурку и поспешно вышла на улицу.

В поликлинике Мотю успокоили.

— Ничего страшного, на ноге у вашей девочки обыкновенный фурункул.

Выписали рецепт и сказали, чтобы дня через два привели дочь на перевязку.

— А в садик пока не отдавайте, пусть эти дни дома побудет.

Мотя так и сделала, дочурку оставила дома, а сама ушла на работу. В этот день она немного задержалась на работе. Возвращаясь, еще издали увидела необычное скопление народа возле своего дома. Сердце словно оборвалось — на крыльце стояли старухи-баптистки в черных платках, черных длинных юбках и черных накидках. Не к добру собрались они сюда, это черное воронье.

Мотя кинулась к двери, расталкивая людей. Перешагнула через порог, истошно закричала и без чувств упала

на пол. Ее дочь лежала на столе посредине комнаты, закрытая черным полотном. У изголовья и по бокам стояли верующие и читали молитвы. Старик Шкуратов заметно басил скорбным, надрывным голосом. Девочка была еще жива.

— Мама! — закричала она и приподнялась на локтях. От напряжения маленькое тельце ее забило в судорогах. Сестры-баптистки вновь уложили девочку и расправили на ней черное покрывало.

Три дня боролись врачи за жизнь девочки; на четвертые сутки в ночь она умерла.

Мотя плакала, потом затаилась, ни с кем не разговаривала ни дома, ни на работе. Одиночество — самое тяжелое испытание для человека. Тяжело было ей в четырех стенах опустевшего, принесшего столько несчастий дома. Она ко всему охладела. По неделям не убирала в комнате; только лежала с полужакрытыми глазами, перебирая в памяти горестные годы своей неудавшейся жизни. Было у нее счастье? Нет, не было. Была семья, но теперь и ее нет. Одна. Кругом одна. Лишь бы только не беспокоили ее ни свекровь, ни старик Шкуратов. Она боялась каждого скрипа, каждого шороха в комнате, боялась стука в дверь — вдруг придут о н и... в черном!.. По ночам она вскакивала с постели от тревожных и страшных снов и потом так и сидела до утра, не выключая свет. За окнами свистел ветер, наметая песок, и в этом свисте слышались ей жалобные детские голоса; ветер трепал сорванную с петли ставню, и ей чудилось, что это басит проклятия старик Шкуратов.

На работе знали только, что у санитарки Моти Сорокиной умерла девочка. Видя, как печалится и тоскует Мотя, сотрудницы посоветовали ей пустить квартирантов в дом, чтобы как-то развеять одиночество. Мотя ничего не ответила, но к совету прислушалась. Весной она пустила на квартиру молодую женщину, работавшую швеей на фабрике, Валентину Голубеву.

Это не понравилось старику Шкуратову — чужой глаз в доме! Мало ли что у квартирантки на уме, будет выносить сор из избы! Он пришел к Моте и напрямик заявил:

— Или будешь ходить на собрания и молиться, как прежде, или выметайся из дому! И никаких квартирантов! Слышишь?

Мотя молча выслушала его, молча проводила, закры-

ла за ним дверь. Она знала: Шкуратов не может отобрать у нее дом, закон на ее стороне. Знал об этом и сам Шкуратов. Тогда старик потребовал старый долг — пятьсот рублей. Мотя брала у него займы, когда еще болел Евгений. Это, думал старик, вразумит заблудшую сестру, ведь она перебивается с копейки на копейку. Но Мотя собрала последние вещи, продала их и отнесла деньги Шкуратову. Отдавала в присутствии шкуратовской старухи. Деньги были пересчитаны несколько раз, и только после этого Максим Иванович достал из сундука окованную железом шкатулку, вынул из нее Мотину расписку и зло разорвал ее на клочки.

— Ступай!

Но на этом старик не успокоился. Он стал приходить к Моте на работу. Вызовет поговорить и начнет угрожать то выселением из дома, то божьими карами. Посещения старика были замечены сотрудниками аптеки. После разговора с ним Мотя возвращалась бледная, трясущаяся и уже ничего не могла делать.

— Кто это к тебе ходит? Что ему нужно от тебя? — допытывались они.

Мотя плакала и не отвечала. Ей было стыдно открыться перед сослуживцами, рассказать о своей жизни, о том, как ее обманули и заставили молиться; но в то же время она панически боялась и старика Шкуратова, который предупреждал, что если она вздумает что-либо рассказывать посторонним, тогда уже не божья кара, а сам он расправится с ней, как с отступницей.

Сотрудники аптеки написали коллективное письмо в редакцию областной газеты о посещениях старика. В тот день, когда появилась разоблачительная статья, Мотя, затравленная домогательствами Шкуратова, свекрови и старух-баптисток, лежала в бреду в своей комнате на той самой кровати, что подальше от окон, от яркого солнечного света, на которой умирал Евгений. Повязанные черными платками старухи читали евангелие.

— Молись, — настойчиво требовала свекровь, — бог пришел, он возьмет тебя и простит тебе грехи твои. Молись, грешница!

Если бы не квартирантка, не было бы Моти Сорокиной в живых. Заморили бы ее голодом и молитвами эти богобоязненные и боголюбивые старухи, как черные вороны, облепившие кровать больной. Валентина Голубева

сначала робко предложила Сорокиной вызвать врача. Та наотрез отказалась. На другой день Голубева снова стала настаивать, чтобы позвали к больной врача, но ей ответили, что если она вздумает соваться не в свои дела, то может горько пожалеть об этом. Тогда Валентина нашла адрес Мотиных родителей и сообщила им, в какую беду попала их дочь.

Приехал отец, разогнал молившихся старух и увез Мотю в больницу.

Сейчас Мотя работает на втором хлебозаводе. Коллектив помогает ей устраивать новую жизнь.

В областной прокуратуре, куда вызвали Шкуратова, лежит подписка старика, в которой он обязался ничем не угрожать Моте и не донимать ее карами божьими. И все же Шкуратов недавно пришел к ней в дом. На этот раз он не говорил о боге.

— Должок за вами, Матрена.

— Я вам отдала, Максим Иванович. И расписку вы порвали.

— Вот она, расписка-то, — старик показал подлинную расписку.

В тот раз он порвал какую-то другую бумажку.

— Значит вы?.. — Мотя не договорила.

— Да, значит, я!.. Должок полагается отдавать.

— У меня сейчас только тридцать рублей. Возьмите, а остальные в получку отдам.

Шкуратов взял деньги. Осмотрелся, увидел на стене охотничье ружье, единственная память от Евгения, снял его с гвоздя и повесил себе на плечо. Уже перешагнув порог, обернулся и насмешливо бросил:

— Так вас, дур, и надо учить. Вы меня газеткой, а я вас рублем!..

Мать и дочь

В семье Сошниковых случилось несчастье. Острый приступ ревматизма свалил Клавдию Дмитриевну в постель. Молодая женщина, ей было тогда всего двадцать два года, не могла ни приготовить обед, ни убрать комнату, ни ухаживать за своей трехлетней дочкой Надей. Тут бы и помочь Клавдии Дмитриевне, отправить ее на

курорт — ведь ревматизм, в конце концов, можно вылечить, — но совсем по-иному поступил Петр Иванович Сошников, муж и глава этого небольшого семейства. «Жестокий человек», — так о нем вспоминает теперь дочь, но тогда ей было всего три года. Что она понимала тогда? Отец выгребал из ящиков письменного стола разные бумаги и документы и, торопливо перебирая их, раскладывал на две стопки, а маленькая Надя стояла рядом и лепетала:

— А это мамина бумажка?.. Это тоже мамина?.. А это твоя? Ой, упала!..

Потом отец складывал вещи в чемодан, и Надя опять стояла около него и спрашивала:

— А ты на поезде поедешь, да?

— Да-да, на поезде!

— А на самолете лучше, у самолета уши длинные!

— Не мешай, Надя! Иди сюда, детка, — подзывала дочку Клавдия Дмитриевна.

Девочка подходила и начинала хныкать:

— Мам, почему папа уезжает?

В тот день Петр Иванович Сошников навсегда ушел из дому, оставив семью. Это случилось в последний год войны. Тяжелое время было тогда. Не хватало продуктов, не было дров, чтобы отопить комнату. Да и топить-то некому. Лежала Клавдия Дмитриевна в холодной комнате, и разные мысли приходили ей в голову: то ей казалось, что без мужа будет лучше, что жить с ним все равно тяжело: очень самолюбив и горд, то вдруг впадала в другую крайность, и тогда ей представлялось все иначе. Было страшно обидно и горько сознавать себя покинутой, брошенной мужем женщиной; в такие минуты она думала о смерти. А маленькая Надя в синем плюшевом пальто беззаботно бегала по комнате, таская по полу безногого мишку с блестящими бусинками-глазами, и то и дело спрашивала:

— Мама, а кашку варить будем?.. Мама, а папа сегодня приедет?

Чутьем чуют баптисты, в каком доме несчастье. Вечером пришла к Сошниковым женщина лет сорока. Лицо ее Клавдии Дмитриевне показалось знакомым, где-то она уже видела эту женщину со странными, раскосыми глазами. Где? И вспомнила: на рынке, в ряду молочниц. У нее Клавдия Дмитриевна всегда покупала молоко.

— Узнала? — спросила женщина, заметив пристальный взгляд больной.

— Узнала...

— Ну вот, милая, пришла помочь тебе. Верой Павловой зовут меня. Сестрой Верой,— тут же поправила она себя.— Пропадешь одна-то и дитя загубишь. Где дрова, затоплю хоть да что-нибудь стовлю.

— В кладовке... Ключ на гвозде, у двери.

Сестра Вера затопила печь, убрала комнату, сварила ужин. Клавдия Дмитриевна молча наблюдала за ней. «Нет, мир не без добрых людей,— думала она.— Вот пришла совсем почти незнакомая женщина и помогает...» Тепло становилось на душе от этой мысли. «Чем отблагодарю ее?..» Но сестра Вера, словно угадав мысли хозяйки, под села к ней и добрым, ласковым тоном заговорила:

— Не беспокойтесь, милая, я ведь пришла так, от сердца. О господи, добр человек от рождения, да дьявольских искушений на пути его много порасставлено, вот и сворачивает он с праведного пути. Господу верить надо, за него молиться, и тогда он своей рукой оградит нас от всяких бед и несчастий. Не убивайся, Клавушка, молода еще... Со мной тоже было несчастье...

— Какое?

— Такое же вот, в молодости муж бросил. Так я сдуру-то стреляться побежала. Да-да, было такое, чего испуганно смотришь?

— А почему не застрелились?

— Бог отвел руку... Стрельнула — и глаз вышибла... Это-то у меня, видишь, стеклянный. Вот, милая моя, всяко бывает в жизни. Одному богу пути наши ведомы, куда хочет, туда и повернет, что хочет, то и сделает. За грехи накажет, а за праведную жизнь вознаградит. Гордыню в себе ломать надо да помирней, помягче сердцем быть.

— Откуда вы знаете, что я гордая?

— Да уж знаю...

Клавдия Дмитриевна с удивлением рассматривала сестру Веру, и ей все больше нравилась эта немолодая отзвучившая женщина с такой же, как и у самой Клавдии, трагической судьбой. Удивляло все: и заботливость, и утешительный разговор, и мягкий, нежный голос, и сами слова, какими сестра Вера выражала свои мысли, и даже имя бога, это непривычное для слуха Клавдии имя, которое то и дело повторяла добрая женщина. «На-

божная... смешно», — думала Клавдия. Она вспомнила, что мать ее тоже считала себя верующей. В доме, в переднем углу, всегда висела небольшая икона в позолоченной рамке и полотенце с петухами, но вот чтобы мать молилась перед этой иконой, — Клавдия ни разу не видела. Да и бога-то мать вспоминала не часто, а так, иногда, чтобы припугнуть ее, озорную девчонку. «А сестра Вера наверное молится. И у иконы наверное свеча горит, как у нас, бывало, в пасхальную ночь мать ставила...» Так думала Клавдия Дмитриевна, зная только одну веру, православную, и то смутно, по далеким детским воспоминаниям. Ни о баптистах, ни о субботниках, ни о староверах и мурашковцах, ни о разных других религиозных сектах она никогда не слышала, не имела никакого представления об их вере и обрядах богослужения. Сестру Веру она приняла за православную верующую и спросила:

— В церковь ходите?

— Что ты, типун тебе на язык! Разве можно в церковь, все попы — обманщики! Гореть им на вечном огне! Истинная вера — в скромности и воздержании, а не в золоте и парче. Мы на служение ходим в молельный дом. Баптистка я. Община у нас, пресвитер службу ведет, регент хором управляет, а мы молимся. Все мы — братья и сестры во Христе и живем заповедями божьими: делай добро ближнему, не обидь слабого, а помоги ему, не суди ближнего своего — да не судим сам будешь. У нас, милая, настоящая вера. Первый раз Христос-спаситель на землю пришел и своей кровью искупил грехи наши, а второй раз придет — избранных заберет. Вот мы и служим верой и правдой ему.

— Неужели и вправду бог есть?

— Грешница! Вот он тебя и наказал. И я не верила, оттого и осталась без глаза. А пришла ко мне женщина и начала вещать устами господними, а потом на собрание позвала — и очистилась душа моя от всяких греховных помышлений, и легко мне стало жить, милая. Ну, пора уходить. Спи, сестра, и поправляйся, а мы тебя не оставим.

На всю жизнь запомнила Клавдия Дмитриевна этот вечер, эту первую встречу с баптисткой. Ее покорили не рассуждения, а доброта женщины, искренность, с какой она рассказывала о себе, о боге, о собраниях в молельном доме. Так, по крайней мере, казалось Клавдии, хотя, прислушайся она чуть повнимательнее, могла бы заме-

тить много противоречивого и, пожалуй, неискренного. Она могла бы догадаться, что выстрелить в упор в глаз и остаться при этом в живых невозможно. Рассказ сестры Веры выглядел неправдоподобно. А доброта ее была с дальним прицелом. Не по воле божьей и не по своей воле, а по указанию пресвитера пришла она к Сошниковой, чтобы вовлечь попавшую в беду женщину в секту.

Всю зиму каждый день приходила сестра Вера в дом Сошниковой. Наслушалась за это время Клавдия Дмитриевна разных религиозных сказок. Вера читала ей библию и евангелие и поясняла как могла непонятные места. Клавдия слушала сначала просто так, из любопытства, потому что все это было ново для нее и необычно. К тому же ей хотелось хоть чем-нибудь отплатить сестре Вере за доброту. Чтобы уважить ее, она сама брала библию и принималась читать вслух. Блаженная улыбка появлялась на лице Веры в такие минуты.

— О господи, — произносила она, складывая, как для моления, ладони, — осчастливь нас своим присутствием и дай нам силы и веру для успокоения... Тебе, Клавдия, молитвы надо учить. Я принесла несколько самых необходимых, которые нужно знать. Написаны разборчиво. А читать их я тебя научу. Помолишься — и здоровья бог прибавит. Читай от души, от сердца читай...

Из уважения к славной сестре Вере Клавдия Дмитриевна выучила молитвы и читала их сначала с улыбкой, нараспев, прислушиваясь к странному звучанию слов, потом постепенно привыкла к словам и читала уже с жаром, как истая верующая.

Заботливый уход Веры вскоре сказался на здоровье Клавдии Дмитриевны, она теперь вставала и ходила по комнате, готовила сама обед.

— Это от бога, — твердила ей сестра Вера. — Это бог дает тебе здоровье. Молишься, просишь, а он слышит...

Весной сестра Вера повела Клавдию Дмитриевну в молеальный дом. Большое впечатление на Клавдию произвел хор. Руководил хором юноша с голубыми глазами и пышными, зачесанными назад светлыми волосами. Он так искусно дирижировал, будто каждый раз сам создавал мелодию, и пел звонким и чистым тенором. И в хоре и в зале среди молившихся было много моло-

дежи, так что Клавдия даже удивилась. Раньше она думала, что только одни старухи верят в бога... Один за другим выступили три проповедника, и Клавдии показалось что проповеди их были обращены к ней. В перерывах между проповедями люди становились на колени и молились. Потом хор пел мелодичный и торжественный гимн, потом все собрание тоже пело какую-то красивую песню, весь зал, все присутствующие; пела и Клавдия — написанные на тетрадном листке слова песни сунула ей в руку сестра Вера, и ее сильный ровный голос, как свежая струя, вливался в общий хор голосов, а с другого конца зала как бы вторил ей высокий тенор юноши с голубыми глазами. Когда пение окончилось, Клавдия поймала на себе долгий и испытующий взгляд пресвитера.

— Понравилось? — прямо спросила сестра Вера, когда они вышли из молельного дома.

— Да, у вас хорошо, — улыбнулась в ответ Клавдия Дмитриевна.

— Бог сказал людям: делайте добро — и вы будете счастливы. Присмотришься к братьям и сестрам, хорошенько присмотришься...

В тот же вечер (Клавдия Дмитриевна, разумеется, не знала этого) у сестры Веры состоялся небольшой разговор с пресвитером.

— Хорошо послужила богу, сестра Вера, — степенно говорил пресвитер. — И бог и община наша отблагодарят тебя. Только не спеши вовлекать эту грешницу в веру. Осторожно, настойчиво разьясняй, что к чему, хорошие примеры есть у нас... Нужный она человек нам. Голос, какой голос! В хор предложи, а там и регентом можно сделать и проповедником. Какое у нее образование?

— Среднее.

— Очень хорошо.

— Гордыни в ней много.

— Остынет, в молитвах и пении забудется. Смотри, сестра Вера, карами божьими зазря не отпугивай, в меру, все в меру...

Дальновидным был пресвитер. Он сразу определил способности Клавдии Дмитриевны. Человек с хорошим голосом в секте — находка. Чем лучше поет хор, тем больше приходит народу послушать, тем привлекательнее богослужение, а значит, и вера крепче у грешных овец и сборы пожертвований щедрее. Пресвитер сам сле-

дил за вовлечением Клавдии Дмитриевны в секту. Сестра Вера только выполняла его указания. Клавдии помогали материально. Одобрили ее намерение пойти работать. Она устроилась в аэропорту техником-наблюдателем в отделе метеослужбы. Не возражали баптисты и когда она отдала дочку Надю в детский сад и когда поехала на курорт, на грязи, лечить свой ревматизм. Пока все в жизни Клавдии Дмитриевны было как и раньше, ничто не связывало и не стесняло ее. Верующие ей казались добрыми и отзывчивыми, не в пример некоторым грубиянам, с которыми она встречалась то на работе, то на улицах и в автобусе, то в магазинах города. Сама она не верила в существование бога, но ее привлекала доброта верующих. С удовольствием ходила на спевки хора, а затем пела во время богослужения. Появились новые подруги. Хотя по-баптистски все братья и сестры во Христе считаются равными, Клавдия Дмитриевна чувствовала, что к ней относятся с особым уважением, ценя ее голос и музыкальность, способность легко и точно воспроизводить разнообразные мелодии гимнов (их у баптистов свыше шестисот), и это льстило ей, тешило ее самолюбие.

Через год Клавдия Дмитриевна заявила, что готова принять крещение. Крестили летом в небольшой запруде за городом. Дно было вязкое, илистое, и, чтобы войти в воду, опускали деревянные мостки с привязанными по краям камнями. Те, кого крестили, входили по доскам по пояс в воду, и пресвитер в белом халате торжественно басил:

— Крещу во имя отца и сына и святого духа, аминь!

На берегу под развесистыми абрикосовыми ветвями славил бога хор.

Вечером в молельном доме было большое богослужение. Сестры и братья целовались со слезами радости на глазах и поздравляли окрещенных. На это торжество Клавдия Дмитриевна привела и свою дочь. Тогда Наде было пять лет.

Незаметно для самой себя Клавдия Дмитриевна сделалась молчаливой. Одеваться стала скромно, в тусклые, темные тона, как все верующие, а когда отправлялась в молельный дом, по-старушечьи повязывала голову платком. Раньше она любила книги, любила ходить в кино, театр и сама часто выступала на сцене с коллективом художественной самодеятельности, а теперь круг ее знакомств сузился, все ее мечты как бы переместились.

в глухие, украшенные библейскими цитатами и заповедями божьими стены молельного дома. Там она бывала три раза в неделю на богослужениях, туда ходила почти каждый вечер на спевки хора. На работе избегала разговоров со своими сослуживцами, под разными предлогами уходила с профсоюзных собраний, производственных совещаний и митингов. Не выписывала и не покупала газет, отключила радио. Сестра Вера подарила ей томик евангелия, и Клавдия Дмитриевна, аккуратно обернув его белой бумагой, ночами читала малопонятные старославянские речения. За такое усердие ее хвалили и пресвитер, и проповедники, и сестра Вера, ставили ее в пример другим верующим. Конечно, вылечить ноги от ревматизма помогли грязевые ванны, которые она принимала на курорте, но теперь все это приписывалось чудодейственной силе бога. Это внушали и самой Клавдии Дмитриевне, так говорили и другим: дескать, вот, поклонилась богу, молится денно и ночью — и здоровье ей господь возвратил.

Иногда в сознании Клавдии Дмитриевны вдруг наступало прояснение, она стряхивала не успевший еще как следует прижиться в душе ее религиозный дурман. Хотелось сходить в театр, посмотреть кинокартину. В те дни, когда не было богослужения, она тайком от верующих ходила в городской кинотеатр. Но каждый раз сестра Вера как-то узнавала об этом.

— Бога побойся, — говорила она сердясь. — От его ока не уйдешь, покарает.

Но разговоры о наказаниях и карах господних пока не пугали как-то Клавдию Дмитриевну. Но вскоре ей пришлось воочию убедиться, как может карать бог за греховные дела и мысли. Это произошло в Ташкенте, куда переехала Клавдия Дмитриевна по приглашению пресвитера петь в хоре. На такую же работу она устроилась в ташкентском аэропорту, а дочь отдала в детский сад. Жить остановилась на квартире в доме баптиста Россейкина.

Россейкины жили на окраине. Огромный плоскокрыший дом их, как большинство старых среднеазиатских домов, выходил окнами во двор и был огорожен высоким глиняным дувалом. Россейкины держали кур, дойных коз, в небольшой клетушке против кухонных окон откармливалась породистая свинья. В огороженном густым штакетником саду наливались абрикосы и персики, а между деревьями зеленел душистый клевер, ко-

торый старик Россейкин по утрам косил для коз и кур. Хорошее хозяйство было у Россейкиных, и жили они тихо, спокойно, замкнуто, торгуя овощами со своего огорода, яйцами и козьим молоком. Сын их Павел работал инженером на хлопкоперерабатывающем заводе. И вот как раз когда Клавдия Дмитриевна поселилась у Россейкиных (за определенную плату, разумеется, хотя все баптисты и считают себя братьями и сестрами), на эту семью обрушилось несчастье. Сын Россейкиных Павел не захотел жениться на баптистке, а привез себе невесту из Москвы, Шуру, с которой он подружился еще во время учебы. Это вызвало недовольство членов общины. Пресвитер с проповедниками решили воздействовать на родителей Павла, но отец его, шестидесятилетний старик, бывший тогда в почете и певший в первых рядах хора, заявил, что не может заставить сына изменить решение и выгонять его из дому тоже не будет.

— Кара божья падет на ваш дом, — заявил пресвитер на богослужении и под одобрительные голоса верующих исключил Россейкина из общины.

Спустя несколько дней у Россейкиных подошли куры; потом вздулись животы у коз, и их пришлось прирезать; потом околела свинья. Сразу, в одну неделю, разорились Россейкины. Старик не успел оглянуться — как двор его словно метлой вывели. Молча рыл он на огороде глубокие ямки и бросал в них окоченелых кур. Старуха Россейкина по-иному восприняла горе. Когда их исключили из общины, или, говоря языком верующих, закрыли им путь к богу, она устроила в доме громкий скандал со слезами и истерикой, так что сын Павел с молодой женой вынуждены были закрыться на ключ в своей комнате, а старик ушел в самый конец огорода, куда, кстати, все же долетали из открытых дверей громкие вопли.

Гибель кур, коз и свиньи привели старуху в неопи-сваемый ужас. А тут еще сестры-баптистки подливали масла в огонь:

— Карает бог!

— Гони сноху нечестивую!

— Дьяволица опутала твоего сына!

— Не замолить теперь грехи!

— В аду гореть будешь вечно!

Красная от слез и бессонницы, раскосмаченная, старуха Россейкина то молилась, рыдая и протягивая трясу-

щиеся руки к небу, то вдруг вскакивала, бежала к снохе и стучала кулаками в запертую дверь. Особенно буйствовала она, когда Павел уходил на работу. У дверей комнаты, в которой целый день сидела Шура, собирались сестры-баптистки и выкрикивали проклятия.

Ни приходившие в дом к Россейкиным, ни сами Россейкины, разумеется, не знали, что карал их совсем не бог, а пресвитер, и карал руками проповедницы сестры Феклы. Проповедница подсыпала отравы курам и свинье. Но кара должна быть карой, пусть видят верующие, как ужасен и жесток гнев божий — в доме Россейкиных должен кто-то умереть. Так решил пресвитер, а ведь его устами глаголет бог! И проповедница сестра Фекла взялась и за это дело. Это она приводила сестер-баптисток к Россейкиным и устраивала плачи и моления у дверей снохи, она зорко следила за старухой Россейкиной, и едва та начинала немного успокаиваться, вновь разжигала в ней страх и боязнь. Сестра Фекла натравливала и старика Россейкина на сына, так что однажды сын с отцом схватились за топоры. Вершился суд над веротступниками, как назвал Россейкиных пресвитер, и все это прикрывалось благочестивой вывеской: бог наказывает.

Старания проповедницы сестры Феклы вскоре дали свои результаты. Шура сначала плакала, потом притихла, будто успокоилась, а через два дня растрепанная, в одной рубашке выбежала во двор, на улицу и уже не узнавала даже своего мужа. Она от всех шарахалась, видя в каждом своего убийцу. Было страшно смотреть, как двадцатилетняя женщина в ночной рубашке носилась по улице с выпученными глазами и перекошенным ртом. Ее увезли в психиатрическую больницу.

Клавдия Дмитриевна была потрясена этим событием. «Божье наказание! Божья кара!..» — неустанно твердили вокруг. Верующие молились о спасении своих душ, не скупясь на пожертвования, а пресвитер ходил с гордо поднятой головой. Ведь пророчества его сбылись! Молилась и Клавдия Дмитриевна, с робостью оглядываясь на свой путь, не было ли, случаем, и у нее каких-нибудь тяжких грехов и не готовит ли ей господь жестокие наказания? Нет, не всемилостив и не всепрощающ господь, как ей говорили. Теперь Клавдия Дмитриевна даже боялась думать, чтобы взять в руки газету или сходить в кинотеатр — ведь сестра Вера тоже пророчила ей за это кары господни! Она теперь видела, как может наказыв-

вать бог, и не хотела на себе испытать такого наказания.

Жить в Ташкенте Клавдия Дмитриевна больше не могла. В ушах, как неумолчный звон, постоянно слышался истощенный крик старухи Россейкиной; по ночам видела она тяжелые сны: будто приходила Шура с распущенными волосами и в белом и, заливаясь звонким хохотом, кричала: «За тобой пришла, за тобой!..» Потом оказывалось, что это не Шура, а сам ташкентский пресвитер, он хохотал басом и указывал перстом на котлы с кипящей смолой. Ни в одной божьей заповеди не было запрета переезжать из города в город, и Клавдия Дмитриевна решила уехать из Ташкента. Теперь на все, что она задумывала, Клавдия Дмитриевна испрашивала разрешения бога.

В ташкентском аэропорту ей выдали хорошую характеристику. Приехав в Термез, она без труда устроилась старшим техником-наблюдателем. Но в Термезе не оказалось ни одного баптиста. Клавдия Дмитриевна обошла все окраины, спрашивала у стариков, у молодых — нет, не было в городе верующих. Ей со смехом указали на мечеть с полумесяцем на куполах, но и та, как говорили, давно, еще со времен басмачества не работает и сохраняется только как музейная редкость. Ничего не оставалось Клавдии Дмитриевне, как стать самой себе и пресвитером, и проповедником, и регентом, и паствой и аккуратно справлять богослужения в положенные дни. В первое время она так и делала, строго соблюдала все баптистские запреты; хранился у нее подаренный еще сестрой Верой томик евангелия, его и читала Клавдия вслух и пела гимны, заставляя подпевать дочь Надю. У дочери тоже обнаружился незаурядный слух и голос.

Так прошло около полугодя, постепенно пыл к богослужению стал остывать в молодой женщине. Пропустила одну службу — ничего не случилось, никакой божьей кары; пропустила вторую — тоже ничего; потом пропустила третью — ни намек на божье наказание. Стала забываться и страшная история с семьей Россейкиных. Опять потянуло в кино, в театр, к людям. Когда познакомилась с офицером-танкистом Виталием Рыбаковым, совсем перестала молиться и спрятала томик евангелия на самое дно объемистого чемодана. Вместе с Виталием ходила в Дом Советской Армии, подружилась с женами офицеров. При Доме Советской Армии работал большой

коллектив художественной самодеятельности. Вовлекли в кружок и Клавдию Дмитриевну. Один из артистов местного театра помогал кружковцам готовить к постановке пьесы «Калиновая роща», в которой Клавдия Дмитриевна дала главную роль. Пьеса прошла с успехом. Артистам самодеятельности преподнесли букеты, самый большой букет преподнес ей Виталий. Клавдия Дмитриевна словно помолодела, к ней вернулась и прежняя веселость, общительность, и прежняя привычка одеваться ярко, со вкусом. Изменилась даже походка. Женщина расцвела от счастья. Виталий перешел жить к ней в дом.

Но счастье длилось недолго. Виталия перевели служить в другой город. Прощаясь, он обещал приехать за ними, но через два месяца пришло от него короткое письмо, в котором он сообщал, что полюбил другую и женится на ней, что просит забыть все, что было между ними. Это был удар в самое сердце.

Почти одновременно с этим на Клавдию Дмитриевну обрушилось и другое несчастье. Начальник метеостанции термезского аэропорта сделал подложный документ на какие-то никем не выполненные работы и деньги присвоил себе. Как старший техник-наблюдатель, этот документ должна была подписать Клавдия Дмитриевна. Она наотрез отказалась это сделать и назвала начальника мошенником, ворующим государственные деньги. Ему не понравилось это, и он стал придирается к разным мелочам по работе, запугивать, угрожать, что донесет на Сошникову как на сектантку в соответствующие органы. От угроз начальник перешел к делу — написал на Клавдию Дмитриевну донос, что она будто бы собирает у себя на дому людей для богослужения, но на самом деле ведет антисоветскую пропаганду. Клавдию Дмитриевну вызвали в милицию. Факты, разумеется, не подтвердились.

Как раз в тот вечер, когда Клавдия Дмитриевна вернулась из милиции, на столе лежало злополучное письмо от Виталия.

— Забыли мы бога, — сказала Клавдия Дмитриевна дочери, — вот он и напоминает нам о себе...

Всю следующую неделю она вновь ходила по городу и искала верующих. Наконец ей удалось найти одну старушку, тетю Пашу. И хотя тетя Паша была не баптистка, а субботница, Клавдия Дмитриевна обрадовалась встрече.

— Что ж жить порознь, переходи ко мне, — сказала тетя Паша.

Снова начались моления; ночные чтёния евангелия. Тетя Паша в свое время была проповедницей, знала много гимнов и заповедей и удивляла Клавдию Дмитриевну своими познаниями. Она учила Клавдию воспитывать дочь в смирении и богобоязни, в молениях и кротости, вдали от мирской суеты; но в то же время и настаивала, чтобы девочка училась, потому что ныне с учеными нехристями могут вести борьбу и отстаивать веру христову перед людьми только ученые боголюбцы. В проповедях тети Паши проскальзывало недовольство советской властью, тоска по добрым старым временам. «Повидала свет божий, — говорила она о себе, — и на Соловках была, и по Волге скиталась, и вот — заехала на край земли...» Под влиянием тети Паши, этой женщины с довольно темной биографией, и Клавдия Дмитриевна стала поговаривать нелестное о порядках, о власти.

Она опять стала жить замкнуто, перестала общаться с людьми.

— Послушай, Надя, а знаешь ли ты какую-нибудь песню о боге? — спрашивала вечерами тетя Паша девочку.

— Знаю. Вот: «Бог любит маленьких воробьев...»

— А еще?

— Нет. Только одну знаю.

— Клавдия, — обращалась она к матери. — Скоро вербное воскресенье. Под вербное вот какие гимны должны петься, — она доставала большую, в ледериновом переплете тетрадь, находила нужную страницу и показывала Клавдии Дмитриевне. — Давайте разучим. И ты, Надюша, подсаживайся к нам...

Когда Надя уходила в школу, тетя Паша как бы между прочим заводила такой разговор:

— Да, вот времена настали, ныне и греховным наукам учиться надо, только не продавать душу дьяволу, соблазнам дьявольским не поддаваться. Вишь, как хитро: сначала в пионеры, потом в комсомол, а потом и в партию... Не разрешай Надюше в пионеры записываться. Никак не разрешай!

Тетя Паша была как бы наставником, и Клавдия Дмитриевна не смела ослушаться ее. Дочери она запретила вступать в пионеры. С этого запрета и началась у Нади мучительная двойная жизнь: в школе был один мир, одни интересы, дома — все другое... Впрочем, это

началось еще раньше, в Ташкенте, когда Надя ходила в детский сад. В садике она вместе с другими детьми разучивала стихотворения Чуковского, Маршака, а дома ей запрещали все это рассказывать и заставляли заучивать совсем другое.

Когда собирались взрослые, Надя выходила на круг и говорила:

— Я — маленькая овечка,
У меня чистое сердечко,
Пастырь мой Христос,
А вы чьи?
— И мы Христовы, —

отвечали взрослые.

Так, с раннего детства Клавдия Дмитриевна калечила жизнь своей дочери.

Тетя Паша часто сетовала, что в Термезе нет верующих, говорила, что нужно уезжать туда, где «дети божьи и хлеб божий». В сущности она сетовала не на отсутствие верующих, а на то, что не могла никого втянуть в веру. Хотела создать общину и стать пресвитером, но это оказалось нелегко. В Уш-Тобе у нее жили знакомые баптисты, и она решила переехать к ним. Там и модельный дом есть и хор хороший. Стала уговаривать Клавдию Дмитриевну. Та согласилась.

После шумного Термеза серой, неудобной показалась маленькая, завьюженная песками станция Уш-Тобе. Не понравилось здесь Клавдии Дмитриевне. Работы по специальности не было, пришлось идти на стройку табельщицей-нормировщицей. Но самое главное — не понравилась Клавдии Дмитриевне община. В ней было как бы два проповедника: один — выборный, другой — самозванный, недавно приехавший откуда-то из Сибири. Братом Афанасием звали этого сибирского пресвитера. Как потом выяснилось, брат Афанасий был субботником и занимался раскольничеством — разбивал баптистские общины на баптистов и субботников. Когда из Новосибирска в Уш-Тобе приехал проповедник, он долго беседовал с братом Афанасием, а потом на собрании общины объявил его богоотступником.

В ту же ночь соседи видели, как перед утром брат Афанасий вдруг выскочил в нательном белье во двор и упал. Когда собрались люди, он был еще жив, но говорить не мог: изо рта хлестала кровь. Страшно умирал старик.

— Покайся, брат, — сказал новосибирский проповедник, довольный своим тайным злодеянием.

Умиравший мычал и отрицательно качал головой.

— Страшен суд божий, — заговорил проповедник, когда брат Афанасий последний раз судорожно дернулся и затих, дико выпучив остекленелые глаза. — Остер меч божий, священна кара господня! Она постигнет каждого, кто осмелится пойти против веры. Помолимся же, братья и сестры!..

Да, умеет бог карать своих отступников! Жестоко и беспощадно. В уштобинской общине и поныне не могут без содрогания вспоминать о мученической смерти брата Афанасия.

После этого события, потрясшего всех верующих, Клавдия Дмитриевна решила немедленно уехать в Лепсы. В Лепсах купила домик. Вместе с некоей тетей Дорой сколотила общину. Тетю Дору выбрали пресвитером, а Клавдию Дмитриевну — регентом, руководителем хора. Молельного дома не было. Собирались на богослужение в домике Клавдии Дмитриевны. Через год в общине насчитывалось свыше тридцати верующих.

Дальновидным был пресвитер, окрестивший Клавдию Дмитриевну. Она стала регентом и яркой проповедницей баптистской веры. Как когда-то сестра Вера, а затем тетя Паша в Термезе воспитывали в ней богобоязнь и смирение, теперь она сама с той же настойчивостью и старанием взялась за воспитание своей дочери. Следила за каждым шагом Нади, устрашала ее гневом божьим, напоминала о мученической смерти брата Афанасия. В Уш-Тобе, когда умирал старик, Клавдия Дмитриевна с Надей стояли рядом и все видели и слышали.

У Нади был хороший голос. Она пела лучше, чем мать, легко, чисто, свободно. И мать и лепсинский пресвитер тетя Дора видели, что многие верующие ходят на богослужение послушать Надю. Иногда и Надя приводила школьных подружек. Чаще всех приходили Лидия Серебренникова и Крикунова, впоследствии ставшая рьяной баптисткой.

Но сама Надя втайне мечтала о другом — о сцене. Мечтала поехать учиться в консерваторию. Днем, после школьных занятий, девочка часто уходила на луг и там, в одиночестве, разучивала и пела задорные комсомольские песни. Нравились ей и народные мелодии. Она зна-

ла почти все песни, какие пелись в школе, какие ей удавалось послушать у школьного радиоприемника. Она жила той раздвоенной жизнью, что началась еще в Ташкенте, в Термезе. Клавдия Дмитриевна, когда ее вовлекали в секту, тоже сначала жила этой двойной жизнью, но судьба ее сложилась так, что она не встретила человека, который помог бы ей вырваться из религиозных пут. Напротив, столкновения с нехорошими людьми разочаровывали ее, приносили несчастья, и она поневоле шла к верующим. В Лепсах она уже окончательно порвала с миром и стала ревностной проповедницей... Здесь она вышла замуж за баптиста дядю Ваню.

У Нади же все было впереди, жизнь еще ничем не омрачила ее чистого девичьего сердца. Какие люди встретятся ей на жизненном пути? Как сложится ее судьба? Будет ли она баптисткой или сумеет вырваться из сектантских сетей и стать нормальным советским гражданином? Она еще ничего не знала, она колебалась: не хотелось обижать мать, но и не хотелось расставаться со своей заветной мечтой о сцене.

Надя уже училась в девятом классе. В школе знали, что она верит в бога и ходит на баптистские собрания. Несколько раз беседовали с ней директор школы и классный руководитель Борис Владимирович Чибцов, но Надя отмалчивалась. Кое-кто из преподавателей настаивал на резких мерах, предлагали обсудить поведение ученицы советской школы на общем школьном собрании, но Чибцов возражал. Он понимал, что это может только оскорбить и навсегда отпугнуть девушку от общественной жизни, от людей. Надя до сих пор добром вспоминает внимательного и чуткого классного руководителя Бориса Владимировича Чибцова. Он оберегал ее от насмешек и в то же время осторожно, но настойчиво открывал ей, как много она может потерять в жизни, если пойдет за баптистами.

Однажды, когда мать болела, Надя решила выступить на школьной сцене. В школе готовился молодежный вечер. Для концерта нужен был ведущий с хорошим голосом и дикцией. Борис Владимирович пригласил Надю.

— Я согласна, — ответила Надя.

— А тебе можно? — осторожно, мягко спросил Борис Владимирович.

— Говорю, значит можно, — решительно подтвердила Надя.

Концерт прошел хорошо. Надя еще никогда не была так счастлива, как в тот вечер, когда она со сцены читала стихи и ей горячо аплодировали. Потом наперебой приглашали танцевать знакомые и незнакомые ребята, и она кружилась, радостная, веселая, забыв обо всяких запретах и карах божьих, которыми мать постоянно страшила ее. Все было внове: и чувства, и мысли, и лица, и веселая музыка.* Счастливая девушка не заметила, как пролетел вечер; опомнилась она, когда очутилась у калитки своего дома. Рядом с ней был высокий русоволосый юноша, ученик десятого класса Юрий Матвеев. Юрий держал в своих ладонях маленькую, мягкую руку Нади.

«Что будет, если узнает мать?...» — с тревогой подумала Надя. Не бога боялась она, а матери. Бог пока еще самолично не упрекал ее, а строгий материнский взгляд, материны слезы — этого в ее жизни было хоть отбавляй. Она вырвала руку из Юриных ладоней и убежала в дом. Схватила томик евангелия и так, прижав его к груди, долго сидела у стола, глядя в голубой просвет окна. Не читала молитв. Раздумывала: почему, если бог хочет, чтобы все люди были счастливыми, запрещает им делать то, что они хотят? И что такое счастье? Как его понимает бог? Уронив голову на стол, Надя заснула с прижатым к груди томиком евангелия.

Мать, конечно, обо всем узнала, и в доме был скандал. Сначала она отругала Надю и пригрозила, что запретит ходить в школу, потом плакала и просила не навлекать на семью гнева божьего; потом позвала верующих старух и пресвитера тетю Дору, и все они наперебой стали рассказывать о карах божьих, вспоминая разные виденные и слышанные истории. Мать вспомнила и о Россейкиных и, в который раз, о брате Афанасии. Но Надю больше всего пугали слезы матери. Она не могла видеть, когда плачет мать.

— Прости, мама, я больше никогда так не буду!..

— Ну вот и умница...

Но Клавдия Дмитриевна после этого случая еще строже стала следить за дочерью. Раньше она отпускала Надю на школьные вечера, правда, с десятками оговорок и запретов: чтобы не танцевала и, боже упаси, не пела, чтобы к десяти обязательно была дома. Однажды даже сама ходила посмотреть, как себя ведет на вечере дочь.

Надя сидела в красном уголке и играла в шашки.

— Надя! — властно позвала Клавдия Дмитриевна, приоткрыв дверь.

Надя вышла.

— Ты почему с мальчиками?

— Так в зале же танцы.

— Там играют в «ручеек»...

Еще тогда Клавдия Дмитриевна подумала, что дочери лучше не ходить на вечера, но теперь, после выступления на сцене — нет, теперь никаких вечеров. Как ни просилась Надя на новогодний, не пустила.

— Один грех еще не замолила, — строго сказала она дочери.

— Мама!..

— Не пойдешь.

Надя ушла в спальню и со слезами бросилась на подушку.

Приходили подружки:

— А где Надя? Она пойдет на вечер?

— Она не хочет.

Приходил Юрий:

— Я за Надей... На новогодний вечер...

— Она не хочет идти.

— Мама! — закричала Надя. — Почему ты обманываешь? Сама не пускаешь, а сваливаешь на меня?

— Господи, как ты на мать!..

— Ты лжешь, лжешь, лжешь!

После этого пресвитер тетя Дора целую неделю толковала о святом обмане, разрешенном самим господом. Об этом даже якобы записано в евангелии, вот только запомнила она, в какой главе и какой стих. Ради господи и ради праведной веры можно идти будто бы и на еще большие обманы, чем тот, который допустила Надина мать. Если, к примеру, просят спеть, а отказаться неловко, неудобно, то можно перевязать горло платком и прикинуться нездоровой.

— Господи, ради святой веры твоей на что только не пойдешь!..

Летом, после долгих уговоров, Клавдия Дмитриевна решила наконец отпустить дочь на учебу в Алма-Ату. Всей общиной обсуждали, куда следует поступить Наде, и решили, что лучше в кредитно-финансовый техникум.

— При деньгах всегда, — рассуждала тетя Дора, не имевшая ни малейшего представления о финансовой работе. — Всегда себя сумеешь обеспечить.

Клавдия Дмитриевна кивала головой в знак согласия. В Алма-Ате Надя остановилась у знакомых баптистов, адрес которых дала ей заботливая тетя Дора. Не в кино, не в театр, а в молельный дом повели Надю в первый же вечер, как она приехала в столицу. Богослужение вел старший пресвитер Казахстана Владимир Дмитриевич Тихонов. В зале молельного дома собрались верующие. На правой стороне, лицом к молящимся, стоял хор, а перед хором — струнный оркестр. Руководил хором и оркестром проповедник и регент алма-атинской общины баптистов младший брат казахстанского пресвитера Иван Дмитриевич Тихонов. Все здесь казалось красивым: и зал, и кафедра, с которой читал проповедник, и музыкальное и хоровое сопровождение проповеди, и само пение хора, и звучание торжественной музыки в сизовой дымке тускло горевших люстр. На таком богослужении Надя присутствовала впервые. Ничего подобного она раньше не видела и не знала. Она была очарована. Через знакомую баптистку, у которой остановилась на квартире, попросила устроить в хор.

— Хотя бы на время, пока здесь, в Алма-Ате.

— Это можно.

И вот Надя уже стоит перед регентом Иваном Дмитриевичем Тихоновым и поет на выбор известные ей баптистские гимны. Прослушав, Иван Дмитриевич похвалил ее голос и поставил в первый ряд хора.

Ехала Надя в Алма-Ату с затаенной мечтой, которую тщательно скрывала от матери: поступить в консерваторию. Хотела сделать так: никому не говоря ни слова, сдать документы в консерваторию и готовиться к вступительным экзаменам. Если выдержит экзамены и ее зачислят, перейдет жить в общежитие и напишет матери письмо. Пусть потом ругает, назад уже хода не будет. Если же провалится на экзаменах, то никто ничего не будет знать. Но встреча с алма-атинскими баптистами изменила ее планы. Яркие, с музыкальным оформлением, похожие с первого взгляда на концерты богослужения вскружили голову Наде. Она вдруг растерялась и заколебалась — поступать ли ей в консерваторию? Решила посоветоваться со старшим пресвитером Владимиром Дмитриевичем Тихоновым.

— Грех, Надя, иметь в голове такие мысли, — сказал пресвитер, всматриваясь в лицо девушки. — Другая дорога богом указана тебе. Ты должна петь в хоре и стать ре-

гентом своей общины. По образцу нашему будешь справлять службу и у себя... А учиться — мы не возражаем. Советовали дома тебе в кредитно-финансовый, правильно советовали, поступай. Будешь ходить в техникум и петь в нашем хоре. Регента будем из тебя готовить.

Но ни регента, ни финансового работника из Нади не получилось. В техникум она не прошла по конкурсу, что, к слову сказать, не слишком ее огорчило, и вернулась, к радости матери, в Лепсы.

Наступили скучные осенние дни. На улицах свирепствовал ветер, сгоняя в овраги мусор и листву; красный песок, как град, барабанил в стекла и косым сугробом ложился за избой. Надя почти не выходила на улицу. С Юрием Матвеевым, школьным товарищем, виделась редко. Юрий устроился на авторемонтный завод и целыми днями бывал занят, а вечером не решался приходить к Наде. Вечером в доме Сошниковых собирались верующие на богослужение, и Клавдия Дмитриевна никуда не отпускала дочь. С Юрием же она вообще запретила встречаться дочери.

— В бога не верит и не хочет верить. Счастья с таким человеком не будет...

— Юрий — честный.

— Я сказала, так и будет!

Неожиданно в Лепсах появились семипалатинские баптисты Дуся Ткаченко и Яков Шнайдель. Они приехали от мясокомбината на станцию Каракумы заготавливать камыш. В субботний вечер пришли в дом к Сошниковым на собрание. После богослужения остались у них ночевать. Если верующим запрещается слушать мирские новости, то уж свои, баптистские, слушай хоть до утра. Сколько верующих в Семипалатинске? Есть ли модельный дом? Есть ли хор и хорошие ли голоса в хоре? Кто регент, кто пресвитер, приезжий или местный? Обо всем этом расспрашивала Клавдия Дмитриевна неожиданных гостей. Но, между прочим, ее интересовали и кое-какие мирские вести: есть ли, например, в Семипалатинске хорошие учебные заведения, где могла бы учиться ее дочь?

— Техникум легкой промышленности, — ответил Яков.

— Это по какой специальности?

— Техников готовит на конфетные фабрики, на мясокомбинаты, — охотно разъяснил Яков, мало что зная

об этом техникуме. — Пусть приезжает, поможем устроиться.

— Что ж, специальность хорошая, — заключила Клавдия Дмитриевна. — Я прямо с вами же и отправлю дочь.

Второй раз, не спрашивая согласия дочери, мать решила ее судьбу. Утром объявила:

— Собирайся, поедешь в Семипалатинск, в техникум легкой промышленности.

В Семипалатинск — так в Семипалатинск, для Нади было все равно куда, лишь бы подальше уехать от этих скучных Лепсов. «Если попаду в техникум, — думала она, — обязательно уйду жить в общежитие. Надоели вечные старушечьи собрания и песнопения...» Но все получилось не так, как предполагала Надя, и совсем не так, как хотела Клавдия Дмитриевна.

В Семипалатинске Надя остановилась у баптистки тети Маруси. Та сводила ее в молельный дом, познакомила с регентом, молодым, лет двадцати пяти, парнем, окончившим, как говорили, музыкальное училище. И хотя в семипалатинском молельном доме все было далеко не так, как в алма-атинском: и проповедники слабее, и хор меньше и с худшим подбором, — все же Наде понравилось здесь. Ее голос сразу привлек внимание и пресвитера, и проповедников, и регента. Надя знала много гимнов и молитв. При случае она могла даже заменить проповедника. К девушке отнеслись с почтением и старые и молодые верующие. Неожиданный успех снова вскружил голову Наде, в сущности, еще ничего настоящего не видавшей в жизни. Она вовремя не подала документы в техникум и потому не была допущена до экзаменов. Возвращаться в Лепсы не хотелось. Надя решила подождать год, а пока где-нибудь поработать.

— Ступай на мясокомбинат, — предложила тетя Маруся. — Там и баптисты есть, — она назвала кроме известных уже Наде Якова Шнайделя и Дуси Ткаченко еще несколько имен. — И притом у мяса всегда сыта будешь.

В отделе кадров мясокомбината Надю принял угрюмый, чем-то озабоченный человек.

— Что хотели? — спросил он.

— На работу...

— Какая специальность? Рабочей... В какой цех?

— В колбасный.

— Не принимаем.

— Тогда в консервный.

— Что вас туда тянет? Кто ни приходит, все хотят в колбасный, в консервный!.. Не принимаем. Пойдите в ЗППС.

— Это куда?

— На завод первичной переработки скота.

— Там крови по пояс! — ужаснулась Надя. — Нет-нет, что вы!

— Ну не знаю, что с вами делать, идите в жестянобаночный, что ли, к Лебедеву...

Начальник цеха Игорь Анатольевич Лебедев встретил приветливо, расспросил, где живет, где родители, нуждается ли в общежитии, учится ли в вечерней школе или где-нибудь заочно. Перейти в общежитие Наде показалось заманчивым, но она все-таки отказалась, как-то вдруг испугавшись этой новой, совершенно неведомой для нее жизни.

Первое время Надя сторонилась людей, мало разговаривала. Работала подручной. В обеденный перерыв приходили проведать ее Яков и Дуся. С ними она охотно делилась впечатлениями — как-никак это были свои, баптисты, братья и сестры во Христе. Она не знала, что Яков и Дуся приходили по поручению пресвитера, следили, чтобы она, неопытная и неискушенная, не свернула с пути истинного. Обо всем они рассказывали тете Марусе, а та передавала пресвитеру и писала Надиной матери. И только Надя не догадывалась ни о чем.

Следил за ней и еще один человек — начальник цеха Игорь Анатольевич Лебедев. Он сразу заметил посещения баптистов Якова и Дуси. «Или они только втягивают Надю в секту, — думал Лебедев, — или уже втянули?.. Надо спасти девушку. Но как это сделать, чтобы не обидеть, не отпугнуть ее от коллектива?» Решил действовать осторожно: стал относиться к Наде с большим вниманием и заботой, часто беседовал и в разговорах как бы между прочим рассказывал о Доме культуры, о кружках, о том, сколько молодежи приходит на вечера и как весело проводят там время. Надя долгое время ко всему этому оставалась равнодушной. Но вот однажды, как-то само собой получилось, выдался случай поговорить начистоту. Было это под восьмое марта, как раз перед женским праздником. В обеденный перерыв в красном уголке электрик Полозов играл на баяне. Надя подошла поближе к баянисту и, когда он заиграл «Ляну», неожиданно запела.

— Вот это голос! — воскликнул главный мастер цеха Романовский. — Это же клад для нашей самостоятельности! Немедленно, Надя, записывайся в кружок, будешь петь. Завтра же и споешь нам что-нибудь на вечере.

— Нет, не буду, — смутилась Надя.

— А почему бы и не спеть? — вставил Лебедев.

— Не хочу.

— А все же?

— Не хочу, и все.

— Я слышал о тебе... но не верю. Это правда?

— Правда.

— Неужели и на собрания ходишь?

— Хожу.

— А петь... баптистов боишься?

— Да.

— Не бойся, Надя, ничего тебе баптисты не сделают. Ты на жизнь посмотри, на свое будущее, с кем тебе по пути, со старухами, которые заставляют тебя день и ночь молиться и забыть о веселой музыке, задорных песнях, о счастье жить на земле, или с нами, молодежью?..

Надя часто теперь вспоминает, как все тогда случилось просто: после смены подошел Лебедев, взял за руку и повел в Дом культуры. Как отец провинившуюся девочку, вел он ее через площадь, и девчонка шла, покоряясь судьбе, будто все равно не избежать ей отцовского наказания, так уж лучше вытерпеть раз, а потом ходить с чистой душой. Она спела «Вижу чудное приволье...», «Перевоз Дуня держала...», «В роще калина...». Внимательно слушал ее учитель музыки Дома культуры, и хотя Надя волновалась и оттого пела плохо, учитель увидел незаурядные способности черноглазой девушки. Он назначил Наде дни занятий и отпустил. А Лебедеву сказал:

— Голос отличный. Ее можно устроить в музыкальное училище.

Домой вернулась Надя позднее обычного. Тетя Маруся обо всем уже знала: что Надя ходила в Дом культуры, что пела. Ей рассказали баптисты мясокомбината. Холодным взглядом окинула она переступившую порог Надю, но ничего не сказала. И Надя ничего не сказала. Молча прошла в свою комнату и уже оттуда, из-за дверей, сказала, что сегодня на собрание не пойдет, что тетя Маруся может ехать в молеальный дом одна.

— Захворала? — схидно спросила тетя Маруся.

— Да, нездоровится мне.
— Не притворяйся, девка, знаю, что за хворь у тебя.
— Что вы знаете?
— Знаю, милая. Все, что нужно, знаю. Отвечать придется перед богом-то.
— Отвечу, не ваша забота. Маме напишете?.. В общине расскажете?.. Ну и говорите, говорите, пишите! Делайте, что хотите!..

— Господи, дай терпение рабе твоей...

— С квартиры выгоните?.. Сама уйду. Завтра же уйду.

Надя до утра не могла заснуть. Многое передумала и многое решила в эту бессонную ночь... Вспомнила и первое свое выступление на школьной сцене, и алма-тинский молельный дом с его хором и струнным оркестром, и сегодняшнее посещение Дома культуры; вспомнила, каким внимательным и добрым взглядом смотрел на нее учитель музыки. То ей казалось, что она поступила правильно, решив порвать с сектой и начать новую жизнь; то вдруг охватывало сомнение перед неизвестной новой жизнью, и тогда становилось страшно за себя, за свое будущее. Она с ужасом думала, как огорчится мать, когда все узнает, сколько будет неприятных слез. Когда думала о матери, вспоминала скучные Лепсы с холодными ветрами и песчаными бурями, морщинистые лица старух-баптисток и их гнусавое пение, которого в последнее время Надя особенно не могла переносить. И опять мысли возвращались к доброму Лебедеву, к веселым цеховым подружкам, к светлым и уютным залам Дома культуры... Вот если бы теперь Лебедев предложил перейти в общежитие, она сразу бы перешла, но просить об этом, конечно, неловко. А от тети Маруси она все равно уйдет. В конце концов, можно же найти в городе другую квартиру! И матери ничего писать не будет, пока не уладится все.

Утром, едва Надя вошла в цех, ее вызвал к себе Лебедев.

— Может, тебе лучше в общежитие перейти? Сегодня же устрою.

— Как я вам благодарна!

— Не за что, наш долг...

— Игорь Анатольевич, а что если мама приедет?

— Приведи ее ко мне.

Надя перешла в общежитие, а через несколько дней приехала мать. Клавдии Дмитриевне сообщила о случившемся тетя Маруся.

Надя с матерью встретилась в общежитии. Поздоровались холодно, как чужие.

— Собирай вещи, пойдем! — сухо сказала Клавдия Дмитриевна.

— Не пойду, мама.

— Надя!

— Не пойду.

Клавдия Дмитриевна встала и, не прощаясь, вышла. Что делать? Было неприятно оттого, что не удался разговор с матерью, а поговорить надо, может быть, поймет и не будет осуждать. Надя оделась и пошла к тете Марусе, у которой наверняка остановилась мать. Дорогой обдумывала, что будет говорить, выбирала самые убедительные примеры, но все это ментально вылетело из головы, когда она вошла в дом. В комнате сидели старухи-баптистки, и Клавдия Дмитриевна рассказывала им о лепсинской общине. Надю поразило то, каким спокойным тоном говорила мать. Ожидала увидеть слезы, но все вышло так обычно, словно ничего не случилось.

Мельком взглянула мать на вошедшую Надю, и только когда закончила рассказ, повернулась к двери и спросила:

— Совсем?

— Нет.

— Ну что ж, бог взыщет с тебя свое. Кому больше дано, с того больше и спросится. А могла бы пресвитером стать...

Надя почувствовала: разговора не получится. Так же, как и мать, когда уходила из общежития, Надя, не прощаясь и не говоря ни слова, покинула комнату. Шла быстро, почти бежала, стараясь поскорее выбраться из темных окраинных улиц к светлому проспекту, к людям, к огонькам в окнах высокого корпуса общежития.

Сейчас Надя Сошникова учится в семипалатинском музыкальном училище на втором курсе. Недавно она вышла замуж за своего школьного друга Юрия Матвеева, который учится в семипалатинском медицинском институте. «Семья студентов», — так в шутку говорят о себе Надя и Юрий. Впереди у них светлая дорога.

Хорошие люди встретились Наде на жизненном пути, помогли ей выбраться из сектантского болота. Но мать

и отчим до сих пор не оставляют ее в покое. Они переехали из Лепсов в село, под Фрунзе, организовали там баптистскую общину и доживают остаток своих дней в молениях, выпрашивая у бога местечко получше в блаженном и вечном раю. Наде они пишут назидательные письма. Особенно старается отчим. Вот одно из его писем:

«Мир тебе, дорогая наша дочь Надя!

Приветствуем тебя любовью Господа нашего Иисуса Христа твои папа и мама.

Благодарю Бога, Отца-спасителя Иисуса Христа и учителя Духа Святого за охрану нашей жизни до сего часа и за все благодеяния, какие он посылает нам.

Дорогая наша дочь Надя!

С того дня, как мы услышали от тебя те страшные слова, будто ты вынужденно, из-за страха перед матерью, служила Господу, великая скорбь вселилась в наш дом. Обдуманно ли ты это сказала? Зачем, оставив бога своего, погналась за славой и почестью земной? Вспомни, сколько милостей он тебе давал, и покайся, пока не поздно, пока дьявол не искалечил твою жизнь и твою плоть. Это мы видим на примере. У нас была одна хорошая, красивая и здоровая девушка, но не исполнила заповеди божьей, вышла замуж за неверующего. И что же? Муж прогнал ее, она заболела, ей согнуло позвоночник. Стала горбатой, словом, калекой на всю жизнь. Вот плоды греха, вначале кажущегося сладким, но впоследствии горьким и печальным. Поэтому мы, как родители и как верующие, видя всю опасность и любя тебя, как родное дитя, хотим указать для примера на верность Пророка Даниила своему Господу!!!»

Дальше Надин отчим подробно рассказывает о жизни некоего Даниила. Будущий пророк еще совсем мальчиком был угнан на чужбину и рос вдали «от дома Божьего, среди язычников-идолопоклонников и развращенных людей, но сохранил веру в Бога, в которого верить его научили родители». Как же он сохранил эту веру? Он по «три раза в день открывал окно своей горницы и преклонял колена для молитвы, обращая свой взор к Иерусалиму, к богу. Все Пророки были сильны, потому что их окна сердечные были открыты Богу, небесному Иерусалиму». Иными словами, отчим призывает Надю молиться,

потому что только в «повседневном общении с богом» человек станет счастливым. А все земные радости, все то, что действительно делает человека счастливым, — созидательный труд, знания, любовь, товарищество, — все это «дьявольские искушения».

«Жизнь Пророка Даниила, — пишет отчим, — является для нас, верующих, удивительным примером верности и послушания Богу. Среда вавилонская не повлияла на него. Апостол Павел говорит: «Худые сообщества возвращают добрые нравы». Другой на месте Даниила, может быть, несколько раз упал бы. У него было множество искушений, но он устоял. Как в дни тяжелых испытаний, так и в дни благополучия он не забывал Бога и своей родины».

В конце письма отчим пишет:

«Сравни себя с Даниилом и тогда пришли нам, какое твое мнение. А пока на этом писать заканчиваю.

До свидания. С приветом и родительской любовью к тебе папа, мама и сестренка Люба».

Письмо любопытно не только своим слогом, но и содержанием, суждениями. Это — проповедь. По письму можно судить, какие проповеди читает на собраниях общины Надин отчим, чем отравляет сознание советских граждан. Горестно думать, какой путь предстоит пройти Надиной сестренке Любе, пока она тоже, как и Надя, сможет вырваться из религиозных пут.

Письмо отчима — далеко не безобидное послание. В нем выражена основная сущность сектантства. Что имеет в виду отчим, когда пишет о любви и преданности родине? Что он называет родиной? Даниил жил на чужбине среди язычников-идолопоклонников и развращенных людей, но остался верен богу. Надя должна сравнить себя с Даниилом. Значит, Надя тоже попала на чужбину и живет среди развращенных людей? Советское общество — это «худое сообщество, возвращающее добрые нравы»? А что Надин отчим называет своей родиной? Тот маленький и гнусный баптистский мирок, тот пяточок земли с молельным домом, отгороженный от мира глухой стеной, где безнаказанно совершаются обманы во имя Христа, пресвитера с казначеем и проповедниками? Вот какую родину призывают любить бап-

тисты, а настоящая родина для них — это чужбина. Разве пойдут такие люди, как Надин отчим, сражаться с врагом в трудный для отчизны час? Нет. Баптистские проповеди — это вовсе не безобидное восхваление веры христовой, а вредная антинародная пропаганда.

Надя не ответила отчиму на это письмо.

Воскресное хлебопреломление

В воскресенье я побывал в семипалатинском молельном доме. Ходил не один, а со своим старым приятелем, иртышским шкипером Борисом Харченко. Борис — большой любитель литературы. Иногда и сам берется за перо, но своих записок пока еще никому не показывает. Даже мне. Но — не о литературных способностях Бориса...

Он охотно принял мое предложение. Внушительный рост его, широкие, сильные плечи, полосатая тельняшка в просвете слегка расстегнутого ворота... Что-что, а уж обидеть нас никто не посмеет. Потом, на другой день, друзья из областной газеты шутили надо мной: дескать, испугался, телохранителя взял. Пугаться, конечно, было некого и нечего, не на дикий разбойничий остров, не во вражеский стан отправлялись мы (хотя, надо сказать, было какое-то чувство робости), а всего-навсего к боголюбивым старикам и старухам на собрание.

От Нади Сошниковой и Моти Сорокиной я уже многое знал об этом молельном доме, и теперь хотелось самому посмотреть, как и что... Мы шли наугад, не выбирая дня богослужения, и попали как раз на «воскресное хлебопреломление». Каждое первое воскресенье месяца в баптистских молельных домах идет так называемая служба с хлебопреломлением.

В обычные дни недели баптисты молятся вечером, а в воскресенье — два раза, утром и вечером. Мы шли на утреннее молебствие.

В блокноте у меня был записан точный адрес молельного дома: Песчаная, 54. Сели в автобус и доехали до нужной остановки.

— Вот и Песчаная, — сказал я. — Сейчас посмотрим по номерам, куда нам, вверх или вниз, идти.

— Трата времени. Пойдем по течению.

— Как?

— Вот за этими старухами пристроимся в кильватер...

— Ты думаешь?

— Наверняка!

Прошли несколько кварталов. Не совсем доверяя шкиперскому чутью Бориса, я все же посматривал на номерные таблички.

— Не сомневайтесь, идем по курсу. Только течение слабое. Или все ваши рассказы о верующих — выдумка, или мы вышли слишком рано. Во сколько служба?

— В десять.

— А сейчас только четверть десятого. Предлагаю бросить якорь на ближайшем углу и ждать большой воды.

Я хорошо понимал шкиперский язык Бориса: нужно остановиться на углу и ждать, когда верующие пойдут цепочкой, эта цепочка приведет нас к цели, или, как сказал мой друг речник, «к нужной пристани». Мы стояли и курили, перешучиваясь, что папиросы теперь придется упрятать поглубже в карманы, а может быть, даже выбросить, а то вдруг кто-нибудь из верующих учует табачный дух, и под этим предлогом не пустят в молельный дом или, что еще хуже, выставят на улицу на виду у всех. Мы должны были пожертвовать своими папиросами.

— Ну вот и большая вода, пора поднимать якоря.

Двумя черными цепочками тянулись верующие по улице. У огромной лужи цепочки сливались в одну, и эта одна, огибая талую воду, медленно устремлялась к тесовой, выкрашенной в зеленое калитке. Только теперь мы заметили, что молельный дом — самый огромный во всем квартале. Он стоял во дворе, упрятанный от мирского взгляда. Все окна выходили во двор, со стороны улицы видна только глухая, аккуратно выбеленная стена. Когда мы приближались к калитке, мне казалось, какой-то тяжелый тленый запах исходил от молельного дома. В сущности, никакого запаха, конечно, не было, просто веяло нафталином от старомодных черных платков и расклеванных книзу долгополых старушечьих пальто. Все здесь напоминало старый мир: и учтивые поклоны, какими приветствовали друг друга верующие, и тихие голоса, какими произносили они слова, и то, как, раболепно склонив головы, снимали старцы шапки перед входом, и лица с кроткими и смиренными улыбками. Будто сразу на сто лет назад передвинулась история. Это ощу-

шение времени стало еще острее, когда мы поднялись на крыльцо и вошли в зал молельного дома. Нас встретил низенький, неопределенного возраста распорядитель в черном костюме, он поспешно, как рьяный слуга из старомосковской гостиницы, которому непременно хочется заработать на чай, принял наши пальто и шляпы. Не успели мы оглядеться, как подошел к нам другой, повыше, строже лицом и тоже в черном, он жестом пригласил нас следовать за собой. Подвел почти к самой кафедре и, указав на левый ряд скамеек, пробасил:

— Мужчины занимают места здесь.

Утром, еще перед выходом из дому, мы с Борисом договорились, что будем держаться в молельном доме строго, не смеяться, не разговаривать во время службы. Баптизм как-никак — разрешенная религия, и уж если зашел в храм божий, не оскорбляй чувства верующих. Сначала мы сидели одни, как подсудимые, на скамейке перед кафедрой. В зале было не больше тридцати человек. На таком заметном месте, на виду у распорядителя в черном костюме (он все время смотрел нам в спины), невозможно было оглядываться по сторонам, а хотелось именно сейчас, пока мало народу, рассмотреть зал. Желание всегда сильнее запрета. Я стал понемногу осматривать зал. Как раз напротив нас, в простенке между окнами, висели большие часы. Дальше, в следующем простенке, был укреплен продолговатый фанерный щит. На зеленом фоне щита белыми буквами было выведено: «Бог есть любовь». Такие же фанерные щиты с библейскими цитатами украшали и противоположную стену. Запомнилась одна надпись: «Мы проповедуем Христа распятого». Передняя часть зала напоминала обычную клубную сцену, но не очень высокую, приподнятую над полом только на одну ступень. На сцене справа отведено место для хора. Там установлены рояль, подставки для нот и специальные скамейки для хористов, похожие на школьные парты. Левая сторона сцены предназначена для пресвитера и проповедников. Они восседают за длинным столом, накрытым белой скатертью с вышитыми понизу словами: «Откушай хлеба сего, испей чашу сию». Но самое внушительное на сцене — это, пожалуй, кафедра, с которой проповедники читают свои проповеди. Кафедра выкрашена в темно-коричневый цвет и устлана накрахмаленными кружевными салфетками, на салфетках лебединой шеей изогнулась настольная лампа. По стенам сцены вентиляторы.

— Устроились, а?.. — шепнул мне Борис, чуть заметно кивнув головой на вентиляторы.

«Жизнь земная преходяща, — глаголят баптистские проповедники. — Изнуряй плоть свою, да откроются перед тобой двери вечного рая». Но свою плоть проповедники, видно, не хотели изнурять. Молебствие — процедура долгая и утомительная, особенно в жаркие летние дни. Тут от духоты, чего доброго, и обморок может случиться. А с вентиляторами хорошо, богу не обидно, и самим приятно. Но блага не для всех. Паства может молиться и в духоте. Для нее и скамейки поставлены теснее, и проходы уже, и никаких вентиляторов.

Я наблюдал за верующими, постепенно заполнявшими зал и сцену. Каждый входивший, прежде чем сесть, складывал руки ладонями вместе и читал молитву. Как шелест сухой листвы, растекался по залу шепот. Молитву, надо думать, все читали одну и ту же, но, странно, — для тех, кто оставался в зале, молитва была длинной, минуты на две-три, а для тех, кто проходил на сцену — короткой. Стоит в зале верующий и шепчет, шепчет, а на сцене, смотришь, едва сложил руки: «Пшш, пшш...» — и уже сидит, прямой и неподвижный, как мумия. Конечно же, не бога славить приходят сюда те, из ведущей двадцатки, а нечто другое влечет их. Как только не замечают этого верующие? Впрочем, вероятно, и замечают, да заповедь божья гласит: «Не осуди ближнего своего». А заповедь нарушать нельзя, бог покарает.

Народу собралось много. Среди верующих были молодые. Запомнились мне две хористки во втором ряду. Лет по шестнадцать — семнадцать им, не больше. Школьницы, ученицы! Как могло случиться, что эти школьницы очутились в молельном доме? Кто их родители? Кто их друзья? Кто их учителя? И учатся ли они?

Я с нетерпением ждал богослужения. Много хотелось узнать, понять, что влечет людей в эти мрачные стены божьего храма, что заставляет их исступленно молиться, упав на колени и воздев руки к небу? И самое главное: что привлекает сюда молодежь?

Надя Сошникова рассказывала почти о сказочных концертах, устраиваемых в молельных домах. Я знал, что никакого концерта, конечно, не будет (по новому баптистскому уставу, разосланному общинам в 1960 году, концерты во время богослужения запрещены), но что же, что влечет сюда молодые сердца?

Богослужение началось пением гимна на немецком языке. Пели почти все в зале. Затем пресвитер объявил молитву, и все стали молиться, упав на колени. Только два старца, как два одиноких сухих дерева, шептали молитву стоя, склонив седые головы. Немошным бог разрешает молиться стоя. В дальнем углу кто-то всхлипывал, в другом конце кто-то громко, во все горло, кашлял и бабовито шептал рубленые немецкие слова; позади нас, совсем близко, слышался ленивый тенорок украинца. Да, верующие представляли довольно-таки интернациональное собрание, но... об этом интернационализме несколько ниже. Я видел перед собой худую, согнутую спину юноши лет двадцати пяти. Юноша был истощен до такой степени, что казалось: под костюмом нет тела, а один скелет. Позднее, во время пения одного из гимнов, сторбленного юношу стал душить кашель. Он отхаркивал кровавые сгустки в платок. Страшно было сидеть с ним рядом. Было такое ощущение, будто на моих глазах повторялась судьба Мотиного мужа Евгения. Бедный юноша, ему нужно немедленно к врачам, в больницу, а он — просит здоровья у бога! Может быть, та женщина, что всхлипывает в дальнем углу, — жена этого юноши?.. Может быть, все так, точно так, как было у Моти Сорокиной?.. Хотелось крикнуть: «Опомнитесь, люди, что вы делаете?» Юноша молился истово, протягивая тощие руки к небу. А где же Шкуратов, где этот богобоязненный старик с хищным взглядом? Как молится он? Он, видно, умеет молиться, умеет подать пример верующим.

Девочки во втором ряду хора исступленно шептали молитву, вряд ли понимая смысл произносимых слов, отбивали поклоны и возводили очи к небу.

Молитва закончилась. Стук передвигаемых скамеек, шорох подошв и шелест долгополых черных юбок заполнил зал. Едва установилась тишина, запел хор «Осанна, вышний». Торжественная мелодия гимна, словно зародившись где-то далеко-далеко, наплывала на зал, усиливаясь и разрастаясь; голоса переливались: то будто забежали вперед басы, и тогда весь хор как бы спешил догнать эти ведущие голоса и войти в ритм, то, напротив, вдруг возвышались и набирали темп тенора, и басы вторили им, придавая особую, чарующую мелодичность песне. Вот что понравилось Наде Сошниковой. Вот он, магнит молельного дома! Умно придумано, отличная наживка. Кто же руководит хором семипалатинской об-

шины? Баптисты, что касается их веры, — народ застенчивый, ничего от них не узнаешь. Одно несомненно: регент семипалатинской общины — человек одаренный, если сумел так отрепетировать хор. Он молод. Ему не больше двадцати пяти. Говорят, недавно окончил музыкальное училище. Я охотно верю этому. Но что привело его в баптистскую секту? Не та ли страсть к легкой наживе, что и бывшего командира пулеметного взвода Алтухова, принявшего в свое время сан пресвитера? Ведь регент, как пресвитер и проповедники, получает ежемесячный оклад из общинной казны, своего рода заработную плату. Бог всемилостив, и размеры этой платы ведомы только богу и самому пресвитеру.

Богослужение шло своим чередом. Один за другим поднимались на кафедру три проповедника. В перерывах между проповедями пел хор, пели все верующие и молились, опускаясь на колени. Первый проповедник, сухощавый, в очках, говорил маловыразительно, больше читал цитаты из евангелия — маленькой, почти карманной книжечки с бумажными закладками. Но уже первый проповедник сказал несколько слов в наш адрес. Мы с Борисом настороженно переглянулись. Надя Сошникова говорила как-то, что проповедники всегда обращают свои проповеди к новичкам, если таковые бывают в зале, «обрабатывают», так сказать, впервые посетивших модельный дом, чтобы утвердить их в вере христовой! Теперь эту самую «обработку» мы испытывали на себе. Проповедник читал стихи из Иоанна, как Иисус Христос въехал на осле в Иерусалим. Он въехал будто бы за пять дней до пасхи, и народ устилал ему дорогу пальмовыми ветками, а некоторые бросали под копыта Иисусова осла свои одежды. Между прочим, хочу заметить, что евангелист Матфей этот же факт описывает несколько по-другому. По Матфею, Иисус Христос въехал в Иерусалим не за пять дней до пасхи, а за четыре, и не на одном, а на двух ослах верхом. Очевидно, для Иисуса Христа все возможно. Я слушал и думал, что если бы можно было задавать вопросы, то этот проповедник оказался бы в смешном положении. Мне представлялось, как протекал бы диспут, как смеялся бы зал над нелепостями и противоречиями святых евангелистов...

— Для некоторых въезд Христа в Иерусалим — это миф. Некоторые считают, что ничего подобного не было, и готовы посмеяться над верой. А для нас, верующих, это вовсе не миф, а святое свершение воли божьей.

Почему Христос ехал на осле, а не в золотой карете? Он не возвеличивал себя, но тем и велик был и есть для нас, и подал великий пример скромности и воздержания. Вечная хвала господу, слава ему, всевышнему милостивому спасителю нашему! Помолимся же, братья и сестры!

После молитвы на кафедру поднялся второй проповедник, невысокий, плотный мужчина лет сорока пяти. Бычья шея, огромные скулы, сильный затылок. Начавшие уже редеть огненно-рыжие волосы его были помазаны маслом и гладко прилизаны. От чисто выбритых розовых щек веяло здоровьем. Если бы я встретил этого человека на улице, непременно подумал бы, что вижу старого спортсмена-штангиста. Но вот этот похожий на штангиста проповедник открыл томик евангелия и начал читать что-то об апостоле Павле и его колебаниях в вере христовой. Голос его то возвышался до звона натянутой тетивы, то вдруг опускался до шепота; в самых драматических местах он принимался рыдать, как женщина на похоронах.

Странно было видеть слезы на лице здорового мужчины. Шмыгая носом, он призывал славить бога за дарованное людям благополучие.

— Душа должна веселиться, но не плоть, а для этого нужно молиться и молиться и слушать голос божий не тем ухом, которое способно слышать только глас человеческий, но ухом сердца своего!..

В притихшем зале всхлипывали. Все смотрели на проповедника. Когда он открывал евангелие, какой-то старец с седой клинышкой бородкой подходил на цыпочках к кафедре и приставлял к уху жестяную, как рупор, слуховую трубку, чтобы лучше слышать чтеца. Он, вероятно, был глуховат. Юные девушки во втором ряду хора во все глаза смотрели на проповедника и, казалось, готовы были вот-вот расплакаться. Не обращал внимания на проповедника только один человек — пресвитер Варфоломей Иосифович Грудцен. Он дремал, устало опустив руки и полуприкрыв глаза: время от времени поглядывал то на большие стенные часы, то на смиренно сидевшую в зале паству.

— ...и спросил Христос Павла: «Веришь в бога?» И увидев сомнение, спросил во второй раз: «Веришь в бога?» И увидев смущение в глазах ученика своего, спросил в третий раз: «Веришь в бога?» Тогда апостол Павел стал на колени и проговорил: «Господи! Ты же

сам все видишь и знаешь! Разве я могу не верить тебе, Господи!..» Скажем и мы господе нашему: «Господи! Ты сам все видишь и знаешь! Многие верят в тебя сердцем и приходят в храмы твои, чтобы воздать славу тебе!..» — проповедник в упор смотрел на нас. — Прими и прости их, как простил апостола своего Павла, если и они, уподобясь Павлу, дважды промолчат, мучимые сомнениями, а на третий раз преклонят колена перед твоим светлым ликом!..

Прямо к богу стелил нам дорожку этот огненно-рыжий проповедник с фигурой штангиста.

Ну, а третий — им был сам пресвитер Варфоломей Иосифович Грудцен — удачнее всех подвел библейские примеры под современность. Он рассказал, что когда Иисус Христос приехал в Иерусалим, многие иудейские начальники приходили к нему по ночам и клялись в верности. Грудцен назвал имена тех иудейских начальников.

— Но почему они приходили к Иисусу Христу ночью, а не днем? Почему не могли открыто верить в бога? — будто бы сам себе задавал вопрос Грудцен, но смотрел прямо на нас. — Потому что боялись посмеяния народа. Вот и сейчас многие начальники тайно верят в бога и по ночам открывают свои сердечные окна господе, но открыто не признают веру, боятся посмеяния народа. Как Христос принимал иудейских начальников, так и мы должны открывать двери храма всем жаждущим веры христовой, всем, открыто и тайно молящимся господе нашему, отцу-спасителю Иисусу Христу!

И Борис и я заметили, что многие верующие, вначале косившиеся на нас, теперь смотрели приветливее.

Раньше я думал, что все в молельных домах происходит стихийно, кроме, конечно, пения хора, который репетирует гимны, но это совсем не так. Видимая стихийность — это точная и твердая, тщательно подготовленная пресвитером и проповедниками программа богослужения. Каждый раз кто-нибудь из ведущей двадцатки остается в зале среди паствы, во время службы он как бы ведет молитву. Едва затихает один такой голос, как сейчас же в другом конце возвышается над согнутыми спинами другой. Все это продумывается и готовится заранее.

Музыкальное и хоровое оформление богослужений, несомненно, оказывает огромное психологическое воздействие на верующих.

Служба близилась к концу. Было без четверти двенад-

цать. Пресвитер снял салфетки, покрывающие пышный каравай белого хлеба и два графина с вином. Под пение гимна он разломил каравай на две равные половины, одну оставил у себя, другую передал стоявшему рядом проповеднику с огненно-рыжими волосами. Затем оба, запуская пальцы в мякиш, стали крошить хлеб на маленькие кусочки и складывать их на плоские блюда. Когда весь хлеб был искрошен, пресвитер объявил, что «искушать хлеба сего и испить чашу сию» могут только окрещенные в баптистскую веру. Тем же, что еще только испытывают себя в вере, прикасаться к божьему хлебу и священной влаге запрещено. Блюда пошли по рядам. Верующие вставали, брали нащипанный пресвитером и проповедником хлеб и торжественно, боясь уронить хоть крошку, отправляли его в рот. Потом складывали ладони вместе и молились. Когда опорожненные блюда вернулись к пресвитеру на стол, проповедники стали разносить красное вино. Все пили по глотку из одной рюмки: и больные, и здоровые, и тот туберкулезный, харкавший кровью, и старец со слуховым рупором и юные хористки (значит, они окрещены!), и какая-то древняя старуха с гнойниками на пальцах, которую поддерживали немолодые женщины, и распорядитель в черном костюме... Негигиенично. Нет, этого мало — преступно! Но никто из верующих, видно, не думал об этом. Заразиться от святой чаши нельзя. А если кто и заразится, так всегда можно сказать, что не от чаши болезнь, а — так богу угодно. Бог наказывает за грехи. За какие? Мало ли за какие. Подумал о чем-нибудь мирском, обыденном, вот уже и согрешил. В секте, в молельном доме все решается очень просто: бог всему судья.

— Пожертвуем, братья и сестры, на нужды общины, — возвестил пресвитер, когда оба графина и рюмки были опустошены.

И сейчас же откуда-то взялись два довольно емких, обтянутых темно-синим бархатом ковша. Сухощавый проповедник в очках пошел с ковшом в протянутой руке по правым рядам, а другой, с огненно-рыжими волосами, по левым. Глухо позвякивали падающие в бархатные ковши монеты; время от времени летели в ковши то хрустящий новый рубль, то зеленая трешка. Хор пел какой-то бодрый и веселый гимн.

Ковши двигались по рядам медленно. Проповедники не настаивали на пожертвовании, но и не торопились пройти мимо замешкавшихся.

Хор еще пел гимн, все еще стояли с благочестивыми улыбками на лицах, еще один ковш, отяжелевший от монет, ходил где-то по задним рядам, а пресвитер уже пересчитывал принесенные огненно-рыжим проповедником пожертвования...

Когда были пересчитаны деньги и во втором ковше, пресвитер обнялся и поцеловался с проповедниками. И все в зале тоже повернулись друг к другу и поцеловались:

- Благодарствие богу нашему.
- Слава вечная Христу-спасителю.
- Поговоришь с богом — и на душе легче...

В стенах этого дома пела баптистские гимны Надя Сошникова, здесь молилась Мотя Сорокина. Разные судьбы у этих бывших баптисток, навсегда порвавших с религией. Я не случайно снова вспомнил о них. Они были все в одной общине, виделись на каждом богослужении и ничего не знали друг о друге. Может быть, многие из молящихся здесь отреклись бы от религии, если бы всей общине стала известна правда хотя бы о делах Шкуратова. Но все, что здесь делается, покрыто святой тайной, ревностно охраняемой пресвитером и проповедниками...

Святой обман

В Семипалатинск я ехал в общем вагоне.

Ездить в общих вагонах не очень удобно, но зато не скучно. Публика разнообразнее. Тут и спекулянт с тонким капроном и шерстяными кофтами в чемоданах, тут и охающая бабушка с веселым внуком, для старушки все не так: чай не вовремя, проводница — грубиянка: тут и деревенский комик, тракторист или комбайнер, ездивший на курсы механизаторов и теперь возвращающийся в родное село, забавляет половину вагона смешными анекдотами о сельском горе-председателе или завхозе; тут и угрюмый экскаваторщик, решивший всей семьей махнуть прямо на Ангару, где работа — так работа, в полный размах. Тут и знатная доярка, портрет которой был напечатан не только в районной, но и в областной газете, и известный строитель-бетонщик, с медалью на груди; стоят у окна бетонщик и доярка, весь день стоят — и разговору нет конца, как нет конца серой и однообразной степи за окном. А в соседнем купе ни-

зенький, верткий, с маленькими хитрыми глазками старичок яростно спорит с молодым человеком в ковбойке, доказывая существование бога. Старик только вернулся из вагона-ресторана, он немного навеселе. Может быть, не выпей он — никогда бы не разговорился, а тут — слова так и просятся сами на язык. Кто-то подшутил над стариком, сказав, что баптистам выпивать запрещается.

— Дьявол в твоём сердце сидит, — бойко ответил старик. — Это он глаголет твоими устами скверну на боголюбца! Да нешто можно такое?!

Встретить верующего, да еще баптиста, да к тому же не по-баптистски разговорчивого — в наше время редкость. Я вошел в купе к старику.

— Так что же сотворил бог в первый день творения? — спросил молодой человек в клетчатой ковбойке, продолжая, очевидно, разговор.

— Перво-наперво была тьма, так святое писание учит. Потом бог создал свет, и оттого пошли на земле день и ночь.

— Значит, свет создал? Так. А отчего же этот свет исходил?

— От солнца и звезд.

— Но светила-то, солнце и звезды, бог создал только на четвертый день творения, так ведь по писанию? Откуда же был свет?

— Как откуда? Нешто бог не знал, что делает?

— Выходит, не знал. Или... тогда как же объяснить святое писание?

— Насчет святого писания, мил человек, я не очень мастак. Вы бы встретились с нашим пресвитером, Варфоломеем Иосичем, али с проповедником, они в святых писаниях начитанные, они все знают. С ними, мил человек, спорь не спорь, все одно за пояс заткнут. Варфоломей-то Иосич с детства учен, сказывают, евангелие ему самим божьим посланником дадено. Вот как. А мы что? Мы простые верующие. Вот ты смотришь на меня, как на врага. А какой я тебе враг?

— Ну, допустим...

— Я тебе не враг, а брат во Христе. И жизнь в нас с тобой одна.

— Допустим, не...

— Что нам проповедники говорят? Все на земле есть от бога.

— И социализм?

— И социализм.
— И коммунизм?
— И коммунизм. А противиться божьим деяниям не дано.

— Так почему же вы закрываетесь в молельные дома, а не помогаете народу строить коммунизм? Выходит, противитесь божьим деяниям?

— Господи, дай силы, — взмолился старик. — Отчего выдаешь на посрамление раба твоего!.. Мил человек, ты со мной, неучем, не говори, ты потолкуй с пресвитером, он тебе разом все обскажет. А молимся мы по божьей воле, а не по своей прихоти.

— Что же, и спутники в космосе по божьей воле летают?

— Бог мячиками играет...

— А ну как мячик такой заденет твоего бога да ши-бет его с небес, а?..

Старик обиделся и замолчал. Но через минуту, встрепенувшись, он уже снова гордо смотрел на молодого человека в клетчатой ковбойке и говорил:

— Мил человек, в святом писании все сказано, как нужно людям жить на земле. «Чти отца своего и мать свою — да благо не будет, и долголетен будешь на земли».

— Хорошо, отец, давайте о заповедях поговорим, — согласился юноша в ковбойке. — Он достал из спортивного чемоданчика блокнот, на обложке которого я успел разглядеть синими чернилами от руки «Противоречия религии». — Давайте о заповедях... Вы говорите, бог велел почитать родителей, а я скажу: нет!

— Как нет?

— Вот так, — юноша раскрыл блокнот. — Евангелист Лука в главе девятой, стих пятьдесят девятый — шестьдесят второй, пишет о Христе вот что: «А другому (одному из своих учеников) сказал: «Следуй за мной». Тот сказал: «Господи! Позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Представь мертвым погребать мертвецов своих, а ты иди благовестуй царствие божие». Где же тут почитание родителей? Молитва важнее, чем погребение отца. Вот вам и заповедь божья!

Старик недоуменно моргал глазами.

— А вот, отец, о вашем религиозном равенстве и братстве, если хотите.

— Кошунствуешь?

— Зачем же? Из евангелия выписывал... Ну, слушай: все баптисты считают себя братьями и сестрами, так?

— Это верно, это по писанию.

— И немцы, и украинцы, и русские — все равны у бога, ко всем господь одинаково милостив. Так?

— Истинно так.

— Но сам Иисус Христос был ярким националистом.

— Как? Не понял!

— Националистом... Ну, для одной своей нации все делал, а других народов не признавал, — юноша снова раскрыл блокнот. — Однажды Иисус Христос ехал в Иерусалим со своими учениками. По дороге встретили они финикиянку. Вот как описывает евангелист Матфей в главе пятнадцатой, стих двадцать первый — двадцать восьмой, эту встречу. Финикиянка обратилась к Иисусу: «Помилуй меня, Господь, сын Давидов». Но он не ответил ей ни слова. И ученики его, приступивши, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подошедши, кланялась ему и говорила: «Господи! Помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи! Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Точно так же описывает эту встречу и евангелист Марк, только у него не финикиянка встречается с Иисусом, а гречанка. Почему Иисус отказался помочь бедной женщине? Да только потому, что она не из «дома Израилева». Выходит, не все были равны для Иисуса Христа. Одних, израильтян, он называл детьми, а других — псами. Вот вам и равенство.

— Это как же? — усомнился старик. — Пресвитер никогда не читал нам такого...

— Многие не читал вам пресвитер. «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а дано быть в подчинении. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают дома у мужей своих; ибо неприлично женщинам говорить в церкви». Вот еще одно ваше религиозное равенство. Это послание апостола Павла к коринфянам. Его вам пресвитер тоже никогда не читал и не прочтет.

— Мил человек!..

— Пресвитер, наверное, говорит вам, что Иисус Христос мир на земле проповедовал?

— Истинно так.

— А сам Иисус Христос вот что сказал: «Не думайте,

что я пришел принести мир на земле; не мир пришел я принести, но меч!» Так пишет евангелист Матфей в главе десятой, стих тридцать четвертый.

— Меч на нехристей, мил человек, на иноверцев.

— Так Христос учит?

— Нет, мил человек, — гордо выпрямился старик. — Ты мне святое евангелие покажи, а не эту твою антихристову запись, вот тогда я поверю. Господи! Дай силы устоять!.. — старик кряхтя полез на верхнюю полку.

Я вспоминал об этом вагонном разговоре, когда знакомился с «Уставом баптистских общин». Это было на другой день после посещения молельного дома. Читая и перечитывая параграфы «Устава», я все больше убеждался, что из всех религий, из всех существующих сект баптистская — самая живучая. В основу своего вероучения баптисты берут только евангелие. Они и именуют себя обществом евангелистских христиан-баптистов. А евангелие само по себе очень противоречиво. В нем есть прямо противоположные друг другу заповеди — на любой случай жизни! Сегодня они говорят: «Не убий!», «Мы за мир!» А завтра, если империалисты развяжут войну, вытянут на свет другую заповедь: «...не мир пришел я принести, но меч!» Что стоит им объявить империалистическую агрессию карающим мечом божьим?

В Отечественную войну баптистские проповедники под предлогом божьей заповеди «не убий» призывали бросать оружие, вернее — предавать родину! Баптистские проповедники берут цитаты из евангелия применительно к обстановке. Что сегодня выгодно, то и проповедают пастве. А что именно выгодно — определяет баптистский центр.

В последнее время все больше и больше людей порывают с религией, отходят от сект. Явное недовольство вызывают у верующих строгие сектантские запреты: не слушай радио, не читай газет, не ходи в кино, не смотри телепередачи... В самом деле, разве можно в наше время не слушать радио и не ходить в кино? Для молодежи это совершенно немыслимо. И чтобы удержать паству в общинах, баптистские вожаки недавно разослали старшим пресвитерам указание, в котором снимаются столь строгие запреты. Это указание вошло отдельным параграфом в новый баптистский «Устав». Явное приспособленчество. А мотивируется это указание очень просто:

все от бога! Господь создал и радио, и кино, и телевидение. Так почему же верующие не должны пользоваться этими божьими дарами? Просто кто-то искажил заповедь, но теперь, дескать, правда восстановлена, баптистские вожаки исправили ошибку.

Баптисты сплошь и рядом нарушают свой «Устав». Может быть, некоторые скажут, что это дело самих верующих — сами нарушают, сами пусть и разбираются. Это неверно. В параграфе о приеме новых членов в общину есть такой пункт: «С погоней за количеством верующих в наших общинах должно быть решительно покончено, надо уделять больше внимания воспитанию наших членов. Поэтому пресвитеры общин должны строго соблюдать двух-трехлетний срок крещения, а также возраст принимаемых в общину, стараясь свести крещение молодежи в возрасте от 18 до 30 лет к самому минимальному количеству, и принимать в общину лишь действительно утвердившихся в вере и хорошо испытанных людей. От лиц учащихся или находящихся на военной службе не должны вообще приниматься заявления о вступлении в члены общины до окончания ими учебы или военной службы». Этот пункт во многом ограничивает деятельность общин и пресвитера. Если говорить логикой религии, то баптистский «Устав» для самих верующих есть не что иное, как божья заповедь. А божьи заповеди надо выполнять. Однако ограничения, видимо, не устраивают пресвитеров и проповедников, живущих по своему разумению: чем больше паствы, тем больше пожертвований. Взять хотя бы семипалатинскую общину. Каким образом были окрещены те две молоденькие хористки, сидевшие во втором ряду? Почему одну четвертую часть членов общины как раз и составляет молодежь в возрасте от 18 до 30 лет? В семипалатинской общине явно не считаются с «Уставом». Знают ли об этом рядовые верующие? По всей вероятности, нет. Но общественность должна знать и строго следить за деятельностью разрешенных сект.

Есть в баптистском «Уставе» такой пункт: «Члены общины должны быть достойными гражданами нашей великой социалистической Родины. Они обязаны наравне со всеми гражданами СССР честно трудиться и вести здоровую христианскую жизнь». Этот пункт вообще ни в одной общине не выполняется. Не говоря уже о таких, как Шкуратов, который живет не честным трудом, а занимается спекуляцией и другими грязными делами, — са-

ма постанова богослужения противоречит этому пункту «Устава». Гимны, которые поются в молельных домах (кстати, так же, как и «Устав», они утверждаются баптистским центром), отнюдь не призывают верующих к честному труду и здоровой христианской жизни.

Вот, например, один из гимнов:

Край отчизны земной — не родной,
Не сравнить здесь с мирской суетой.
Не страшат все угрозы меня,
За Христа я умру молодой.
Посмотрел я на пройденный путь,
На безумство утраченных дней, —
Там смогу я свободно вздохнуть,
На земле час последний прожить...

Умереть за Христа молодым — вот, оказывается, в чем суть жизни. Зачем работать, зачем жить, ведь все кругом — это только «мирская суета», «безумство», «утраченные дни»! Только там, за гробом, можно свободно вздохнуть.

А вот отрывок из другого гимна:

Говорил я: все могу я.
Предо мной падет скала.
Я трудился, рвенья полный,
Строил дом, пахал поля.
Но мой дом размыли волны,
Не дала плодов земля.
И тогда, душой смущенный,
Я людей на помощь звал,
Но в работе обновленной
Их совет не помогал.
Безутешный и унылый,
Я упал на берегу.
«Беден я, во мне нет силы,
Ничего я не могу...»
Но меня постигло слово:
«Встань, возьми меня за руку,
Много, много силы в ней!»
И принял я зов и смело
Взялся за руку Христа.
С ним пошел на то же дело,
На бесплодные места.
И, о чудо! Зреет колос,
Вырос дом на берегу...

Люди не помогут, труд в коллективе — бесплоден. Поклонись богу, и он совершит чудо, сразу и «колос взростет» и «дом вырастет на берегу»... Как совместить этот

гимн с тем, что записано в «Уставе»: «Члены общины должны быть достойными гражданами нашей социалистической Родины»?

Я спрашивал у Нади Сошниковой, знала ли она баптистский «Устав».

— Нет, не знала, — ответила она.

— Нет!.. — ответила и Мотя Сорокина.

В баптистских общинах, кроме пресвитера, проповедников и, может быть, ведущей двадчатки, никто не знает «Устава». Верующие, вероятно, даже и не подозревают о его существовании. Но зато вредные антинародные гимны знают они отлично.

КОЗЫРИ МОНАХА ГРИГОРИЯ

Глава первая

Н и дороги, ни тропинки; Каширин шел наугад, по памяти; сначала он шагал по дну небольшого оврага, поросшего осокой и кустарником, потом по склону косогора, а когда выбрался на вершину, было уже около шести вечера. Солнце садилось, большое и багровое в наплывающих облаках; где-то за станцией, за железнодорожным полотном коснулось оно земли, и в эту минуту — Каширин даже остановился от удивления — послышался тонкий и протяжный гудок паровоза, затем эхо прокатилось по оврагу, переметнулось в горы и отозвалось многоголосым глухим и далеким стоном. «Знамение!..» Каширин усмехнулся. Усмехнулся потому, что подумал о знаменьях, о молитвах, которые надо читать при знаменьях, — он знал их наизусть, — о старухах, падающих на колени при одном только упоминании об этом «знаке божьем» («Господи, сколько их, разбросанных по свету, этих доверчивых и неразумных, повязанных черными платками старух!»), и еще подумал о себе — он не верил ни в бога, ни в черта, ни в какие знаменья, хотя те самые старухи, всегда покорно слушавшие его по-церковному мелодичный голос, называли его святым отцом Григорием. Он был и святым отцом, и монахом. На груди носил четки. Эта связка почерневших от времени и рук деревянных кубиков и квадратов и сейчас висела на шее, спрятанная под рубаху и пиджак. Каширин поправил полы пиджака и ощупал ладонью четки. И снова вспыхнула и скользнула по лицу усмешка.

Он еще секунду постоял, взглядываясь в багровое закатное небо, прислушиваясь к далеким станционным звукам, и опять зашагал, теперь уже по самой вершине ко-

согора. Потом спустился вниз, в ложину, отыскал самый большой родник и долго шарил пальцами по дну, взрыхляя песок; останавливался, отогревал руки и опять принимался искать, поспешно, зло: шесть лет назад, еще до ареста, он закопал здесь серебряную ризу с иконы божьей матери; еще тогда хотел открыть «чудо» пятитрубинским верующим и назвать эти родники «святыми». Каширин снова и снова принимался рыть песок то на дне одного, то на дне другого родника — их здесь семь, — в котором запрятана риза? В третьем? Да, кажется, в третьем. Неужели он забыл, неужели память изменила ему? Было уже темно, когда он наконец посиневшими, почти бесчувственными от холода и песка пальцами наткнулся на занесенную илом облицовку иконы. Она!.. Каширин повертел ее в руках, смыл ил и снова при слабом свете вечерней зари оглядел ее. Да, это была та самая серебряная риза с иконы божьей матери, которую он хранил много лет, хранил сначала просто как ценность, возил с собой из города в город, заворачивая в тряпье, а потом, по совету брата во Христе, немощного старца Дмитрия, зарыл здесь на дно родника для «чуда».

— Пресвятая владычице моя богородице, святыми твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиренного и окаянного раба твоего, уныние, забвение, неразумение, нерадение, — негромко, полупшепотом начал Каширин, сначала только для того, чтобы проверить, не забыл ли молитву «Ко пресвятой богородице». но, по мере того как шептал эти слова, голос креп, возвышался, тягуче и напевно звенел в ушах, и он уже представлял, как будет читать эту молитву старухам, упавшим на колени и крестящимся старухам: — И вся скверная и хульная помышления отжени от окаянного моего сердца и помраченного ума моего и погаси пламень страстей моих, яко ниш есмь и окаянен, избави от многих лютых воспоминаний и предприятий и от всех действий злых освободи мя, яко благословен еси от всех родов и славится пречистое имя твое во веки веков. Аминь.

Каширин все еще держал в руках ризу; молитва окончена — он не забыл ни одного слова из нее, это хорошо; и голос еще крепок и чист — это тоже радостно. Еще раз прочел ее и задумался. Но теперь он подумал уже не о голосе и не о предстоящем «чуде», которое скоро откроется пятитрубинским верующим женщинам, а совсем о другом — слова молитвы неожиданно пробудили в нем

странное ощущение тревоги. «Избави мя от многих лютых воспоминаний и предприятий...» Каширин опять, как и час назад, на косогоре, сухо усмехнулся. Шепчи не шепчи, а от воспоминаний не уйти, от жизни не забыть-ся. Прожитые годы, как пудовые мешки, давят на плечи, и никакими молитвами не избавиться от них. Каширин прикрыл глаза ладонью и с минуту сидел так, неподвижно и тихо, и в эту короткую минуту, минуту воспоминаний, пронеслась перед мысленным взором вся его жизнь.

Он вспоминал не последовательно, не событие за событием, как все было в жизни, а лишь отдельные картины, лишь то, что с особенной силой когда-то запечатлелось в душе и сейчас было дорого и ненавистно ему. Избушка лесная, лесной скит, где он прожил почти пять с лишним лет; скит стоял на краю обрыва, окруженный высокими соснами, и эти сосны, этот домик с одним-единственным оконцем, увешанный иконами и образами, склоненные спины старцев — их было сначала трое, потом двое, потом остался один, самый старший, седой как лунь инок Филипп, — склоненные спины старцев, лысые, вздрагивавшие затылки и голоса, тягучие, охрипшие и умиленные, молитвы и книги, молитвы и книги — все это сейчас всплыло в памяти и тоской сжало сердце. Иноки умирали, скит пустел, рядом росли холмики и кресты. Но однажды старец Филипп повел его, маленького сиротского мальчика Гришу, к людям, в село. Они остановились в тени палисадника, напротив огромного деревянного дома, покрытого железом, — зеленая крыша, как церковные купола, ласково отсвечивала на солнце, — сели на траву у штaketника, и старец Филипп торжественно и нараспев, как молитву, произнес «заветное» слово: «Смотри, сын божий Григорий, смотри и внимай ухом и сердцем своим! В этом доме жил твой дед, мой родной брат; в этом доме жили отец твой и мать твоя, убиенные ныне Михаил и Настасья; их расстреляли за околицей, ночью, и тела волоком притащили по снегу на церковную площадь...» Может быть, не так запомнились слова старца, но дом с зеленой крышей, огромный деревянный пятистенник, как живой, стоял перед глазами мальчика. Позднее он узнал, что отец его был раскулачен, осужден и расстрелян за поджог колхозных хлебных скирдов; позднее, юношей, Григорий еще раз приезжал в родное село и видел отцовский дом, превращенный в пекарню, обшарпанный и подно-

вленный, с тесовыми пристройками, угольной кладовой и мучным амбаром, но это уже был не тот, не каширинских богачей пятистенник; позднее, уже после войны, случай снова привел Григория, уже именовавшего себя монахом и святым отцом, проехать через родное село и увидеть дом, теперь почерневший и покосившийся, превращенный в склад для мешкотары, а рядом возвышалось кирпичное здание районной пекарни, — все три встречи, и особенно первая, вспомнились Каширину сейчас так ясно, с такими мельчайшими подробностями, будто он сидел у палисадника, облокотясь спиной о штакетник, и слышал под ухом торжественный и напевный голос старца Филиппа: «Смотри, сын божий Григорий, смотри и внимай ухом и сердцем...»

Каширин встал, огляделся вокруг, зябко передернул плечами, будто этим движением можно было сбросить с себя тяжесть нахлынувших воспоминаний, потом нагнулся и торопливо зарыл серебряную ризу с иконы в песок на дне того же, третьего по счету снизу, родника. Потом раздвинул кусты, выбрался на косогор и теперь пошел прямо по гребню вершины, не спускаясь в овраг; он знал — сейчас темно, никто не увидит его.

Внизу горели огни станционного поселка.

Всю дорогу, пока он шел по гребню, и затем, когда шагал по улице поселка, придерживаясь теневой стороны, и когда сидел на вокзале — с ночным поездом должна была приехать «сестра во Христе» Екатерина Супрунова, и он пришел встретить ее, — когда сидел на вокзале, забившись в дальний темный уголок, к окну, под фикусы, все те же тягостные воспоминания, нахлынувшие у родника, ни на минуту не покидали его. Прожитая жизнь, как лента, раскручивалась перед глазами, и были на этой ленте красные, белые и черные пятна; больше черных, как платки молящихся женщин.

«Господи, избави мя от многих лютых воспоминаний и предприятий...»

Могила старца Филиппа — за околицей Афимовки, большого алтайского села, заросшая лебедой и полынью, осевшая, никем не ухоженная; на эту могилу водила его, Григория, десятилетнего мальчика, тетка Мария, злая, ненавистная и грубая тетка; она заставляла опускаться на колени и читать молитвы об усопших: «Помя-

ни, господи, от жития сего отошедших...» — и сама крестилась, билась головой о траву и рыдала, а по вечерам, когда собирались в доме верующие, зажигала лампадки перед иконой божьей матери (как раз с этой иконы и сорвал потом Каширин серебряную ризу), и опять начиналось пение и коленопреклонение. Мальчик Григорий, сирота, божий человек, как называли его собиравшиеся старухи, должен был прислуживать тетке Марии на бдениях. Эти годы запомнились Каширину как бесконечное колебание черных сгорбленных старушечьих спин, темные силуэты крестов на афимовском кладбище и приношения, которые молящиеся оставляли на столе после ухода. Вот они, чуть развернутые узелки с хлебом, салом, яйцами; тетка ворчала, когда узелков было мало; ее лицо с одутловатыми щеками, пухлыми веками и коротким гладким лбом — оно даже во сне снилось Григорию, это всегда злое, отпугивающее, совсем не смиренное лицо тетки. Раз в месяц она водила его к «болящему человеку». Ходили ночью, по-за огородами, крадучись; на самом краю Афимовки, в избе юродивой старухи Марковны, в подполье, завернутый в лохмотья и тряпье, лежал этот «болящий человек». Грохот дверного засова, скрип лестницы, ведущей в подполье, сырой, могильный запах земли — все это вызывало озноб в худеньком теле Григория; каждый раз он шел к «болящему человеку», как на казнь, и сидел перед грудой лохмотьев, перед заросшим и бледным как мертвец «святым», съжившись в комочек, дрожа от сырости и страха; там он впервые услышал об истинной православной церкви, там впервые в его детской душе возникли противоречивые мысли — зачем эти моления и лохмотья, сырые подполья и ночные бдения, когда есть солнце, есть трава, птицы, люди, его сверстники, мальчишки, шумно играющие на поляне в лапту?

«Смирись!»

«Смирись!»

«Смирись!»

Твердила тетка утром и вечером; внушал при встречах «болящий человек». И Григорий смирялся, читал евангелие, заучивал псалмы и молитвы; он был такой же худой и бледный, как и «болящий человек», и видел солнце только сквозь задернутое цветной ситцевой шторкой окно. Он не знал тогда, что и тетка Мария и тот «болящий человек», бывший белогвардейский офицер, анненковский каратель, возглавляли общину п о с л е д о -

вателей истинной православной церкви, не знал, что есть такие общины, — бог един, и он молился единому богу; не знал Григорий, что «болящий человек» вовсе не был болящим и воздержанным, вовсе не отреченно, не по-монашески жил этот злобствующий и стареющий «святой», а неделями кутил с теткой Марией, кутил тайком от верующих, и даже не в подполье, а в комнате — Каширин позднее сам видел это сквозь щель в ставне; и еще не знал тогда Григорий, запуганный божьими карами, что эти люди готовили из него проповедника, радателя веры, миссионера, и потому — показали отобранный отцовский дом, потому — напоминали о былом достатке и «убиенных» родителях.

Сейчас, когда Каширина самого стали называть монахом, святым отцом Григорием, когда в его жизни все определено и намечено, сейчас, перебирая в памяти прошедшие годы, он с ненавистью думал и о тетке Марии, и о «болящем человеке», которого давно уже не было в живых, — его похоронили рядом со старцем Филиппом на афимовском кладбище; это они, тетка и «болящий человек», сделали его, Каширина, таким двойственно злым: злым на власть, на колхозы и злым на молящихся старцев, на скитских иноков, безжалостно отобравших у него детство. Он мстил старцам, кощунствуя над церковными писаниями, завещанными ему «болящим человеком», и мстил людям, вовлекая их в секту, вовлекая и старых, и молодых, обманутых, обиженных, слабых, чтобы собирать с них пожертвования и жить самому за счет этих жертвований.

Тихий говор пассажиров в станционном зале ожидания не мешал ему размышлять; он никого не видел и ничего не слышал, погруженный в свои думы; у окна, за большими зелеными листьями фикусов, было спокойно и уютно. Он думал сейчас о последней встрече и разговоре с «болящим человеком». Было это давно, в третью послевоенную зиму. Ночной ветер взвихривал и гнал поземку по улице, мрачно глядели из-под белых крыш и сугробов черные, закрытые ставнями окна деревенских изб; Григорий шел вместе с теткой Марией навстречу холодному ветру и колючей поземке на край села, к дому юродивой старухи Марковны. В комнате было тепло, «болящий» лежал на кровати, накрытый белым покрывалом, у изголовья и ног его горели свечи; две старухи, всхлипывая, читали заупокойную. Пламя свечей колеба-

лось, и в этом колеблющемся полумраке все казалось неестественно большим и расплывчатым: и головы читающих старух, и особенно их раскачивающиеся тени на стенах, и крест с изображением распятого Христа на груди умирающего, и особенно лицо, восковое, без единого движения, и закрытые провалившиеся глаза. Все смолкли, едва тетка Мария и он, Григорий — ему тогда было шестнадцать лет, — переступили порог. «Болящий человек» открыл глаза и попросил всех удалиться. Григорий один остался с умирающим в комнате, так хотел «болящий человек».

— Подойди ближе, сын мой, — проговорил он. — Тебе завещано говорить народу устами бога, и я благословляю тебя на это. Да воздастся тебе сторицей за благие деяния твои. — Глаза старца сверкнули. Каширин хорошо запомнил, как озлобленно и с какой ненавистью сверкнули его глаза; потом умирающий поманил Григория поближе и снова заговорил: — Пролитие крови да поплатятся своею! Поклянись перед господом, что не отступишься от веры и пронесешь истину в грядущее, дабы знали правнуки жития и мучения отцов своих. Клянись и целуй крест.

— Клянись тебе, господи!

— А теперь позови женщин.

Когда вошли старухи, «болящий человек» трижды перекрестил стоявшего на коленях у кровати Григория и, напрягая силы, как можно громче произнес:

— Святой, истинно святой, молитесь и преклоняйтесь перед ним.

К утру «болящий» умер.

О клятве богу Каширин всегда вспоминал с усмешкой; и сейчас, сидя у окна за фикусами, он усмехнулся, мысленно повторив: «Клянись тебе, господи!» Листок фикуса слегка покачивался почти перед самым лицом, и Каширин хорошо видел на нем и тонкие белые жилки, и белесую, как мучной налет, станционную пыль — он дышал, пыль слетала, незаметно растворяясь в душном воздухе зала ожидания, и листок светлел, словно оживал у него на глазах; листок оживал так же, как оживали воспоминания в воображении Каширина — и те далекие дни детства в Афимовке, когда он обмывал ноги тетке Марии и заучивал псалмы и молитвы, и афимовский молитвенный дом, в котором он стал потом главным служителем, и затем суд, лагерные годы — это особенно гнетуще действовало на него сейчас и озлобляло, — и еще

совсем недавнее прошлое, вернее, то, что было вчера, позавчера, три и пять дней назад, когда после освобождения из заключения он приехал в Пятитрубинск и впервые встретился в доме старухи Алферовой со здешними верующими. Службы не было; он просто беседовал с ними, потому что — надо же было ему сколачивать на новом месте общину, и он просто выведывал, много ли в Пятитрубинске верующих, кто они и не «забыли ли бога». О себе он сказал лишь, что приехал из Сибири, что «страдал» за веру и что был рад принять это «мученичество». Перед взором Каширина сейчас вновь всплыли удивленные и умиленные лица пятитрубинских верующих женщин; впереди всех сидела хозяйка дома Алферова, рядом с ней — старуха Тельнягина, и Григорий особенно хорошо запомнил их сияющие глаза; они смотрели так доверчиво, и во взглядах их было столько торжественности, — «наконец-то всевышний вспомнил и о них и прислал им на «вещую радость» святого отца!» — было столько торжественности, что Каширин даже немного смутился; он старался не смотреть на них, когда отвечал на вопросы.

«Теперь церковь открывать или как?»

«Откроем, но только богу известную и нам».

«Это как же?»

«Господь подскажет и указывает».

«А в Калачинске, так там и в колокола к обедне, и все чин по чину».

«Колокола те не богу звонят, а антихристу. Бог нынче покинул те храмы, оттого и пошли они на разор. А почему покинул? Потому что истинной веры не блюдут там».

«Вона-а...»

Каширин снова скептически скривил губы, вспомнив и это «вона-а», и то, как и что сам говорил, как при этом неторопливо крестился и шептал молитвы; он ничего не сказал им, какую общину хочет собрать здесь, в Пятитрубинске, что это будет за община, — перед ним сидели верующие, и хотя это были пока лишь одни старухи, но он знал, что вслед за старухами придут и помоложе, и совсем молодые, потому что в каждом городе среди сотен тысяч людей всегда найдется несколько десятков недовольных, оскорбленных и несчастных, и им нужно сочувствие и утешение; они найдут у него, «монаха» и «святого отца», и «сочувствие», и «утешение».

«Найдут!..»

— Можно? Не занято?

Каширин вздрогнул от неожиданности и удивленно взглянул на человека в легком сером демисезонном пальто и фетровой серой шляпе: незнакомец собирался сесть рядом и газетой смахивал крошки со скамьи.

— Можно?

— Садитесь, — равнодушно ответил Каширин, будто ему действительно было все равно. сидит ли кто рядом или нет; однако незаметно для непрошеного соседа окинул взглядом зал ожидания — нет ли где более уединенного и спокойного уголка?

Между тем, расположившись поудобнее на скамье и сняв шляпу, человек в сером демисезонном пальто снова заговорил, обращаясь к Каширину:

— Здешний?

— Нет.

— Я тоже приезжий. Недавно. Перевели, знаете ли. А сегодня, — он достал носовой платок, вытер им щеки, лоб, шею, хотя ни лицо, ни шея не были потными, потом свернул платочек так же аккуратно, уголок в уголок, спрятал в карман и только после этого продолжил: — Сегодня жену встречаю. Едет, — он взглянул на часы. — Едет... А Пятитрубинск — вы не находите? — странный городишко. Одна улица на тридцать верст. Страшно неудобно: первый кордон, второй кордон, третий кордон... И названия-то совсем не городские. Город и кордоны, представьте себе, не сразу укладывается в голове. Клуб на первом кордоне, там, можно сказать, центр, а что прикажете делать людям с третьего? А ну пошагай тридцать верст из конца в конец!..

Он говорил громко и возбужденно, то и дело вставлял обращения: «Как вы находите? Как вы считаете?» — и Каширин, которому совсем не хотелось поддерживать беседу с этим неожиданно подсевшим гражданином, вынужден был так или иначе что-то отвечать — либо соглашаться, либо отрицать: Каширин предпочел соглашаться, так было проще, удобнее; он даже не произносил «да», а просто кивал головой. Между тем он тоже, когда первый раз, еще до ареста, приезжал в Пятитрубинск, с удивлением смотрел на вытянутый вдоль большого ущелья город; но теперь, когда познакомился ближе, когда подыскал домик на третьем кордоне, вдали от центра, от «начальственных глаз», — домик для моления, — решил, что такое расположение даже удобно. Удобно для него.

— Универмаг на первом, гастроном на первом, представьте себе...

— Да, да.

— Город как рыба: голова и хвост...

— Да, да.

— А сообщение какое?..

— Да.

Сначала Каширин только искоса поглядывал на оживленно говорившего соседа, но потом заметил, что и лицо собеседника, полное, гладкое, и его манера беспрерывно вытирать шею, лоб, щеки носовым платком напоминают что-то очень знакомое; пригляделся внимательно — действительно, этого человека он уже где-то видел, но где именно? Каширин принялся перебирать в памяти разные встречи. Полными были начальник лагеря, где он отбывал наказание, и начальник конвоя; и еще — общественный обвинитель на суде; он тоже беспрерывно вытирал шею и лоб носовым платком, говорил возбужденно, с хрипотцой в голосе; Каширин сразу вспомнил и зал суда, до отказа набитый людьми, конвоира за спиной, судей за красным столом, прокурора и общественного обвинителя, этого самого человека в сером демисезонном пальто, который сидел сейчас рядом и назойливо рассуждал о планировке города.

«Он!»

Между тем и собеседник — это был лектор горкома Иван Евдокимович Шевелев — тоже все пристальнее и пристальнее всматривался в лицо Каширина и наконец, неожиданно оборвав на середине очередное свое высказывание о нелепом градостроительстве, кстати относящееся не только к Пятитрубинску, — оборвав себя на полуслове, неожиданно сказал:

— Я вас где-то видел.

— Вы не могли меня видеть, — возразил Каширин, не поворачивая головы и не глядя на собеседника.

— Видел.

— Хм.

— Вы были под судом? Вы — монах Григорий.

— Ошибаетесь, гражданин.

— Возможно. Тому дали девять лет, и если он еще не амнистирован, то должен сидеть.

На это Каширин ничего не ответил. Встал и, молча, не останавливаясь и не оглядываясь, направился через весь зал к выходу; он знал, что этот назойливый собеседник, бывший общественный обвинитель, смотрит сейчас

ему в спину; Каширин чувствовал на себе его сверлящий взгляд и невольно сутулился, наклонял голову; даже очутившись на привокзальной площади, не очень освещенной, не очень людной в этот поздний вечерний час, долго еще не мог отделаться от неприятного ощущения; он был уверен, что здесь, в городе, его, святого отца Григория, никто не знает, кроме тех двух-трех религиозных старух, кому это положено знать, перед кем он не собирался скрывать ни свое прошлое, ни свою будущую деятельность как наставника, как святого отца, и вот — эта неожиданная встреча в зале ожидания. Поеживаясь от ночной прохлады, время от времени потирая зябнувшие руки, Каширин прохаживался взад-вперед по утопанному песчаному тротуару вдоль уже закрытых станционных ларьков, проклиная назойливого собеседника, станцию, зал ожидания, поезд, в котором ехала Екатерина и который уже опаздывал более чем на два часа, и еще думал о том, что теперь придется предпринять кое-какие меры предосторожности, может быть, даже не получать паспорт, чтобы никто — главное, тот самый «собеседник» — из пятитрубинцев и не подозревал, что в городе проживает освободившийся из заключения монах Каширин.

Глава вторая

Когда поезд остановился, Каширин был на перроне; но он не сразу подошел к вагону, в котором ехала Екатерина; он сперва стоял в тени, под часами, рядом с висевшим на стене вокзальным колоколом, и смотрел, как толпа прибывших и встречающих постепенно заполняла перрон; только когда людской поток хлынул к выходу, неторопливо и осторожно двинулся навстречу этому потоку к седьмому вагону.

Екатерина ждала в купе. Она стояла одна у окна. Ехавшие с ней пассажиры уже попрощались и вышли.

— Как доехала? — спросил Каширин, отдернув дверь и войдя в купе. Он сказал это негромко, сухо и, лишь мельком взглянув на Екатерину, тут же принялся стаскивать с полок ее вещи. Но и этого мимолетного взгляда было достаточно, чтобы заметить, как хороша эта тридцатилетняя женщина в накиннутом на голову темном

платке, — она порывисто повернулась, платок соскользнул на плечи и обнажил густые, заплетенные в косу и уложенные на затылке волосы.

— Спасибо, Гриша, — так же негромко ответила Екатерина, и хотя Каширин, снимавший с полок чемоданы, не видел, как в эту секунду дрогнули в улыбке ее полные розовые губы, все же сразу уловил тот ласковый тон, каким она произнесла «Гриша». — Спасибо, хорошо доехала.

— Все привезла?

— Все.

— И свечи?

— И свечи. Ты не рад? — Она слегка протянула вперед руки, готовясь обнять.

— Потом, потом. Бери чемоданы.

— Что-нибудь случилось?

— Потом, потом.

— О господи!

Они молча пересекли станционную площадь; потом так же молча шли по теневой стороне улицы; было около двенадцати ночи, тротуары пустынные, никто не встречался, никто не оборачивался и не смотрел ни на Супрунову, ни на Каширина, и эта тишина улиц, полумрак, это покорное молчание Екатерины, шагавшей следом, радовали монаха; он думал о том, что вот она приехала по его зову в Пятитрубинск, послушная, смиренная, шагает сейчас, может быть даже след в след, за ним по бетонным плитам тротуара и будет шагать за ним так же по жизни — единственная радость, поддержка, опора; он улыбался в темноте, хорошо зная, что никто не увидит его радостную улыбку, даже Екатерина (он считал, что с ней всегда надо быть построже, тогда — больше боязни и уважения), и к нему мало-помалу возвращалось то спокойствие, то хорошее настроение, с каким он вечером пришел на вокзал, в зал ожидания. Теперь и встреча с Иваном Евдокимовичем Шевелевым, бывшим общественным обвинителем, представлялась ему совсем иначе, просто как небольшое и не очень значительное событие в цепи прочих за минувший день, — собственно, он дал понять общественному обвинителю, что тот ошибся; главное теперь — больше никогда не попадаться ему на глаза, не встречаться с ним, вот и все. Каширин останавливался, перебрасывал с плеча на плечо чемодан и снова шагал размеренно и спокойно; кованые каблуки ботинок ровно стучали о бетонные плиты тро-

туара; он нес самый тяжелый чемодан, в котором лежали церковные книги, тетради с проповедями и молитвами, исписанные от руки, иконы, свечи, кресты и крестики. все то, когда-то завещанное «болящим человеком» и переданное потом Каширину, монаху и святому отцу, что было необходимо для оборудования церкви, вернее. молитвенной комнаты и его монашеской кельи. На свое монашество он смотрел как на профессию, как на ремесло, которое приносит определенный доход, дает пищу, хлеб и даже моральное удовлетворение; именно — моральное удовлетворение для него, потому что только здесь, через церковную проповедь, можно открыто выражать свою ненависть и обиду. Каширин нес чемодан с иконами и церковными книгами, как носят ремесленники свои инструменты, отправляясь точить ножи, чинить примусы или вставлять стекла в разбитые окна, с тем же чувством важности и предвкушением приличной оплаты: может быть, потому, что он больше привык к уединению, чем к людской толчее, он наслаждался спокойствием и тишиной ночной улицы; сейчас он был особенно уверен в себе, и будущее не представлялось ему мрачным, однообразным, непроглядным, как иногда в тоскливые часы раздумий, напротив, ему казалось, что наконец-то судьба повернулась к нему лицом, наконец-то кончились мытарства и он заживет спокойно, размеренно, не торопясь, не жадничая; когда-то он завидовал «болящему человеку»; сейчас, мысленно представив себя и Екатерину сначала на служении перед коленопреклоненной толпой, потом, ночью, на супружеском ложе, — мысленно представив эту уже почти осуществившуюся мечту: жить по образу и подобию «болящего человека» (ведь Екатерина согласилась на все, что предложил ей Каширин, потому и приехала; ее согласие в письме, которое лежит в нагрудном кармане пиджака), — с той же завистью и теперь с удовольствием подумал о себе; он даже на мгновение поверил, что есть все-таки бог, что молитвы услышаны, и потому — эта открывшаяся перед ним благодать: он прислушивался к тишине и больше к тому, что совершалось в нем самом, — ему казалось, что происходит какое-то обновление в его душе, и это еще больше радовало и поднимало настроение. Он опять подумал, что, наверное, все же есть где-то этот всевышний, всеслышающий и всевидящий. «Господи, многою твоею благодатью и великими щедротами твоими дал еси мне, рабу твоему, мимошедшее время ночи сея без напасти, зла и оградил

миром житеие мое в православии и во всяком благочестии и честности», — мысленно повторил он вспомнившиеся слова молитвы; но ни эта молитва, ни размышления о всевышнем, на минуту охватившие сознание, не могли затмить в его мыслях то главное, что, собственно, и было причиной приподнятого настроения. — приезд Екатерины; теперь, в темноте, останавливаясь и перекладывая с плеча на плечо тяжелый чемодан с иконами и книгами, он искоса поглядывал на Екатерину: он не видел ни ее лица, ни глаз, ни рук, белых, пухлых, немного холеных мещанских рук, а только темный силуэт, только очертания женской фигуры, грудь, бедра, и каждый раз в нем вспыхивала та неодолимая страсть, естественная, человеческая, то влечение, от которого он никогда в жизни не смог бы добровольно отказаться; он не верил в непогрешимость монашеской жизни. потому что знал, как жил «болящий человек»; он бы немедленно сорвал с себя и выбросил монашеские четки, если бы они хоть сколько-нибудь, хоть на мгновение стеснили его в чувствах и мыслях; и еще он оправдывал себя тем, что даже библейские патриархи жили далеко не безгрешной жизнью, хотя бы тот же Авраам с Саррой, которых голод погнал из земли Ханаанской в Египет...

Когда сбрасывали колокол и срывали железо с круглых церковных куполов — Екатерина не помнит; ей было тогда всего шесть месяцев от роду, лежала она в люльке, по-крестьянски подвешенной к потолку, и Марфа, тихая и безропотная наймишка, ночами до онемения рук качала эту люльку, успокаивая и усыпляя крикливое поповское чадо; не помнит Екатерина и тот день, когда ее отца, полного, краснощекого, чуть начавшего лысеть служителя церкви — попа стасовского прихода. — чекисты арестовали и увезли в город, арестовали за то, что он запретил своим бывшим прихожанам, стасовским мужикам, вступать в колхоз, пригрозил анафемой, а случай с комбедовцем Филимоновым. который, перекрывая свою избу как раз тем сорванным с церковных куполов железом, упал с крыши и разбился, — этот случай объявил «знаком божьим»; не помнит Екатерина и того, как однажды, не говоря никому ни слова, собралась и ушла из дому наймишка Марфа, как увели из конюшни лошадей, потом забрали корову, а потом отобрали и дом, лучший в Стасовке поповский дом, — составлявший про-

токол сельсоветский писарь, заглядывая в раскрытые сундуки и ощупывая пальцами шелковые попадьихины комбинации, так сказал: «Ступай теперича, матушка Василиса, к богу в рай, земной для тебя кончился», но попадьа не уходила, она стояла на крыльце, держа на руках маленькую Екатерину и тощий узелок с вещами, и рыдала; тот же сельсоветский писарь, когда опись отобранного имущества была окончена, сжалился и разрешил матушке Василисе поселиться на окраине Стасовки в заброшенной кем-то избушке, похожей скорее на землянку, чем на избушку, без амбара и дворовой ограды, без стекол в маленьких слеповатых оконцах, — нет, Екатерина не помнит ничего этого. Она так и не узнала, какой страшной, голодной и зябкой была первая зима, а еще страшнее — первая ночь, проведенная в этой пустой — ни топчана, ни стола — избушке; едва переступив порог, матушка Василиса рухнула на пол и в отчаянии, плача и причитая, ломала руки; она призывала смерть, и если бы не соседка, богомольная старушка, следившая за каждым шагом матушки, не было бы сейчас в живых ни Екатерины, ни этих тягостных дум и крест над могилой матери давно подгнил бы и потемнел от времени (матушка Василиса пережила те годы и умерла недавно, прошлой осенью, и деревянный крест у ее могилы на стасовском кладбище казался еще совсем новым — перед отъездом Екатерина ходила на кладбище прощаться), не было бы ни этих тревожных дум, ни ее самой, Екатерины, теперь покорно шагавшей по темным улицам горняцкого города следом за святым отцом Григорием. Она думала сейчас о прошлом потому, что человек не может, дойдя до определенного рубежа, не оглянувшись, шагнуть дальше; и хотя у нее ничего отрадного и примечательного не было в прошлом и не предвиделось в будущем — молитвы, бдения, щедрые и не щедрые пожертвования верующих, лепка свечей по вечерам и еще ложно-супружеское счастье с монахом; хотя между тем, как она жила в Стасовке, и тем, что ожидало ее здесь, в Пятитрубинске, разница была очень и очень незначительной, но все же была, было новое, пусть просто дом, улица, соседи — именно потому Екатерине тоже хотелось остановиться и оглянуться на прожитые годы. Она вспоминала не все, а лишь то, что с годами все больше и сильнее волновало ее. Избушка, которая и сейчас стоит на окраине деревни, та самая избушка, подновленная, обжитая, расплывчатый огород, сбегаящий к оврагу, и кладбище за

оврагом, кресты, кресты, большие, маленькие, темные и древние, как иконы, и свежие, белеющие строгаными боками, точь-в-точь как на могиле матери, тропинка через кладбище к лесу, к грибным полянам, и оттуда, с лесной опушки, раскинувшаяся на версты Стасовка — все это сейчас представлялось в воображении и отдаленным, и близким; Екатерина как бы разом, одним взглядом, охватывала всю эту с детства врезавшуюся в память и знакомую до боли картину и в то же время видела ее в частностях, в деталях, каждый штрих в отдельности; словно в детстве, словно в те далекие годы сквозь раздвинутые ветви берез смотрела она с лесной опушки на отстроенную кирпичную школу в центре деревни — она четыре года проучилась в этой школе и ушла, бросила, потому что ее дразнили поповной, смеялись над ее привычкой молиться перед тем, как съесть школьный завтрак; когда повзрослела, стали говорить ей: «Мать твоя бабчит, и ты будешь бабчить. Бабчить, бабчить!..» Сначала просто было обидно слышать это непривычное слово, но потом, когда Екатерина узнала, что оно обозначает, когда однажды сама увидела, как мать, заведя в повивальню — специально отведенный небольшой чуланчик с входом из кухни — незнакомую женщину, орудовала над ней вязальными спицами и как затем исколотое и окровавленное, еще не оформившееся тельце закопала во дворе, за сараем, — когда все это открылось Екатерине, она ужаснулась, хотела убежать из дому, но не убежала, а напротив, закрылась в комнате и не выходила из нее, как затворница боясь взглянуть людям в глаза. В эти дни она выучила десятки новых молитв; она стала затворницей, замкнутой и молчаливой, и спустя год, два, три по-прежнему не выходила на улицу, а если и разговаривала с кем, так только с богомольными старухами, все еще посещавшими дом бывшей попадьи, матушки Василисы; Екатерина так и не смирилась с тем, что мать ее бабчит, и молилась, чтобы не проговориться и не показать место за сараем — маленькое кладбище — сельсоветской комиссии (разные слухи ходили по деревне о п о в и в а л ь н ы х делах попадьи, и потому несколько раз приходила сельсоветская комиссия); она так и не смогла привыкнуть к слову «бабчить»; не смогла привыкнуть и к другому, менее обидному: «повитуха», как еще иногда называли ее мать. «Повитуха!..» Но мать была не той повитухой, которая помогает роженицам, дарует младенцам жизнь, а той, которая

убивает жизнь в зачатии; их было много, трупиков, похороненных во дворе, за сараем; это маленькое кладбище, на котором Екатерина всегда мысленно расставляла кресты, и то большое, начинавшееся в конце огорода, сразу за оврагом, — и тогда, в детстве, и теперь, когда она стала взрослой, эти два кладбища вызывали в ней странное ощущение какой-то неосознанной вины; когда она, становясь на колени и крестясь и шепча молитвы, произносила: «Помилуй мя, грешную», — ей казалось, что ее грех именно в том и состоит, что она могла и не смогла уберечь от смерти тех, закопанных на одном и на другом кладбищах. Именно тем и грешны люди, что не предотвращают смерть ближних, а, напротив, каждым помыслом, каждым действием приближают ее — так, по крайней мере, представлялось Екатерине; она и сейчас, вглядываясь в темноту улицы и видя перед собой покачивающийся силуэт Каширина, видя этот силуэт и вспоминая о кладбищах, снова испытывала то же чувство вины; оно было сильнее, чем прежде, и больше угнетало ее сейчас, потому что все, что они — монах Каширин и она, Екатерина, — собирались делать в Пятитрубинске, было не исправлением, не «замаливанием грехов», не той всегда только мерещившейся справедливостью, а чем-то иным, нехорошим и гадким, чему она не могла, вернее, боялась найти определение. Ее угнетало еще и то, что она не могла ничего изменить в своей жизни, и не потому, что не хватало решимости — в ней, как и в Каширине, жила и теплилась, растравляя душу, та же с кровью впитанная ненависть к людям, арестовавшим отца, отобравшим дом, заставившим — так она думала и была уверена в этом, — заставившим мать бабчить, чтобы кормиться. Эту мысль сперва внушала ей сама мать, молясь, жалуясь, ненавидя; потом о том же самом, о ненависти к властям, постоянно твердил первый ее муж, дьячок, с которым она обвенчалась, но давно уже не жила, потому что тот без просыпу пил и днем и ночью и дрался; потом внушал ей все ту же ненависть Каширин, этот говорил гневно, с холодной и беспощадной озлобленностью; мать, матушка Василиса, искала утешения в молитвах и учила этому Екатерину; дьячок, напротив, сомневался, что есть бог, иначе — почему он допустил всеобщее разорение церкви? — и убеждал в своих сомнениях Екатерину; Каширин же определенно говорил, что нет ни бога, ни черта, а есть человек, утверждающий на земле свое «я»; каждый

утверждает «я» по-своему, и он, Каширин, по-своему. Екатерина только прислушивалась ко всему этому; она не могла решить сама, что правильно и что ложно; все ей поочередно представлялось верным: и убеждения матери, и доводы дьячка, и мысли Каширина; она верила то одному, то другому, то третьему — каждый раз больше тому, с кем была ближе, теснее связана; она еще видела, что тысячи людей вокруг живут совсем иначе, чем она, чем Каширин и тот дьячок, бывший муж, который гонялся за ней с топором и от которого она убежала почти в одной рубашке, — тысячи людей вокруг живут совсем иначе, и это только вносило смятение в ее душу; но жизнь Каширина чем-то напоминала жизнь ее матери, была привычной, а его ненависть и резкость, его высказывания и образ мыслей понятней и ближе, и потому Екатерина тянулась к нему, монаху, святому отцу, вполне сознавая и греховность своих помыслов — жить с монахом! — и не в силах отказаться и что-либо изменить. Сейчас, шагая за Кашириным по темным улицам Пяти-трубинска, она лишь мельком вспомнила о дьячке, как тот приехал первый раз в Стасовку и вместе с матушкой пил чай у раскрытого окна — тогда была весна, цвела сирень, и ее цветы, душистые, свежие, омытые росой, почти лежали на подоконнике; дьячок пил вприкуску с сахаром, высоко поднимая над столом блюдо, отдувался, поглядывал на сирень и то и дело произносил: «Славно ты живешь, матушка Василиса, славно!» — но Екатерина хорошо запомнила, что смотрел он больше не на цветы сирени, а на нее, сидевшую у подоконника; теперь, спустя столько лет, она вспомнила именно эту маленькую подробность и подумала, что она хотя и не знала тогда ничего о намерениях дьячка, рыжебородого и казавшегося старым — он был почти на пятнадцать лет старше ее — служителя божьего, но сразу догадалась по его взгляду, чего он хочет, и не ошиблась; потом было сватовство, уговоры, слезы, венчание и печальное возвращение домой: есть у человека предчувствие, и оно всегда верно; она еще подумала сейчас, что дьячок смотрел на ее грудь, и особенно на ноги, когда она выходила на кухню, чтобы принести что-нибудь к столу... Каширин появился в Стасовке так же неожиданно, как и дьячок, но матушка Василиса, очевидно, была предупреждена о его приезде — позднее Екатерина точно узнала об этом — и потому встретила радушно; так же пили чай, за тем же столом, только сирень не цвела, и серая, поднятая грузо-

виками пыль сединой лежала на листьях; и все же встреча с Кашириным была приятней и запомнилась сильнее, потому что он был молод, опрятен, чист, и хотя матушка уже тогда называла его святым отцом, он не был похож ни на одного из тех церковных служителей, которых Екатерине приходилось видеть до этого. Вспоминая теперь об этой первой с ним встрече, она вспоминала не о том, как сидели за столом и пили чай; другие картины вставали в воображении: ночь, узкая полоска лунного света на стене, бьющего сквозь щель в ставне, тихий храп матушки и огромная фигура Каширина, склоненная над ее, Екатерины, кроватью.

«Господи!»

«Тише».

«Уходите, буду кричать!»

«Тише. Господь сказал: дева днесь пресущественного рождает, а земля вертеп неприступному приносит...»

«Уходите!»

«Я видел ваши глаза, Катя».

«Господи! Господи!»

«Я не обманулся, я видел ваши глаза...»

Эти слова и то, как он шептал их, опустившись на колени, и то, в чем был одет — белой нательной рубашке, — и серебряный крестик на волосатой груди — все это Екатерина представляла себе сейчас так же отчетливо, как в ту ночь, в Стасовке; ей казалось, что она тогда даже слышала, как пробирался Каширин по комнате к ее кровати, ступая на голые, некрашенные половицы босыми ногами... Через месяц он приехал снова и привез чемодан с церковными книгами и иконами, тот самый чемодан, большой, тяжелый, который нес теперь, сгибаясь, останавливаясь и перекидывая с плеча на плечо; он хотел обосноваться в Стасовке и обещал приехать в третий раз, уже насовсем, но его арестовали, осудили и отправили в лагерь. Екатерина узнала об этом только спустя почти год.

Она остановилась, и, пока поправляла скатившийся на плечи платок, черная расплывчатая фигура шагавшего впереди Каширина совсем слилась с густой темнотой ночной улицы.

Чемодан поставили возле двери, к стене; потом несколько секунд стояли у порога, разглядывая комнату; Екатерина смотрела с удивлением, потому что видела

впервые этот купленный для нее Кашириным дом, разумеется, за ее же деньги; но ее больше удивляла не сама комната, широкая, просторная, в которой ей теперь предстояло прожить, может быть, до конца жизни, и не уютная белизна стен, сразу же бросающаяся в глаза, — удивило другое: то, что все здесь было аккуратно убрано, на окнах висели тюлевые шторы, на кровати висели взбитые подушки и накрыта она была новым светло-голубым покрывалом; но главное, что заметила Екатерина, обводя взглядом комнату, и что особенно поразило ее, — это полочки, большие и маленькие, приделанные к стене в переднем углу; она сразу же догадалась, для чего эти полочки, любовно выкрашенные белой краской, — для икон, свечей и лампадок, сразу же догадалась и потому, повернувшись к Каширину, понимающе и благодарно улыбнулась.

Вполне удовлетворившись тем, какое впечатление произвела его работа на Екатерину, Каширин вышел из комнаты; надо было проверить, заперта ли калитка, и закрыть ставни. Он прошел через сенцы на ощупь, не зажигая света; так же на ощупь открыл дверь, потом на ощупь проверил засов — калитка была заперта; то радостное возбуждение, охватившее его еще дорогой, когда они шли с вокзала сюда, к дому, те мысли, успокаивающие и обнадеживающие — наконец-то он заживет размеренно, не торопясь и не жадничая на жизнь, — теперь новой волной нахлынули на него; он улыбался своим мыслям, медленно шагая в темноте по двору и машинально вытянув вперед руку, чтобы не наткнуться на что-нибудь; хотя он в комнате, пока Екатерина разглядывала полочки, успел хорошо рассмотреть ее — и лицо, и белую шею, потому что она сняла с головы платок и держала его в руках, и волосы, густые, русые, заплетенные в косу и по-крестьянски уложенные на затылке, что особенно нравилось Каширину, что он заметил еще в вагоне и еще тогда решил, что это Екатерина сделала так для него, желая угодить и понравиться, — хотя он успел хорошо рассмотреть ее, но теперь, продолжая думать о ней, видел перед собой лишь силуэт женской фигуры, и даже не ее фигуры, не теперешней Екатерины, немного пополневшей, медлительной и неторопливой в движениях, а той, более стройной и женственной, какой он видел ее пять с лишним лет назад, запомнил и хранил в памяти все эти годы, какой грезилась она ему в мучительные лагерные ночи. «Боже, нет искушения сильнее, чем страсть...» Он

захлопывал ставни; у последнего окна на секунду остановился и заглянул в комнату — Екатерина все так же стояла держа платок в руках и так же понимающе и благодарно улыбалась; сквозь стекло и густую вязь тюлевых занавесок в сумеречной синеве комнаты — над лампой висел темно-голубой абажур — она показалась Каширину особенно привлекательной; она стояла так, что полноты ее не было заметно, и высокая грудь только подчеркивала бывшую стройность ее фигуры — прежняя, в точности та, грезившаяся все эти годы; Каширин, потому что никто не мог видеть его лица, смотрел жадно, прильнув к стеклу; он мысленно раздевал ее, сквозь платье угадывая контуры ее тела, и весь вздрагивал от ощущения близости той минуты, когда ляжет с нею в постель. Много у него было задумано на сегодняшний вечер: он намеревался показать Екатерине подполье, вернее, свою будущую монашескую келью, где стояла железная кровать с матрацем и грубым суконным одеялом, где так же были приделаны в углу, к стене, большие и маленькие полочки для икон — это на случай, если кто-нибудь из верующих вдруг вздумает взглянуть, как живет святой отец Григорий; намеревался показать входы в келью: один — из сеней, другой, потайной, — прямо из комнаты: между окном и столом он пропилил половицы и сделал люк, который теперь был накрыт домотканой дорожкой; хотел рассказать, как он подготовил «чудо» на родниках и как это «чудо» должно скоро открыться пятитрубинским верующим; и еще рассказать, что кое-кто из верующих в Пятитрубинске уже знает о нем, святом отце Григории, потому что он поведал о себе Алферовой, доброй одинокой верующей старушке, у которой читал тропари «во святую и великую неделю пасхи»; Каширин гордился этими своими первыми успехами, радовался им и потому с таким нетерпением хотел сразу же, в день приезда, выложить все Екатерине, но сейчас, глядя сквозь окно и тюлевую вязь на нее, все еще в нерешительности ожидавшую у порога, изменил свое решение. «Господи, прости согрешения мои милосердием твоим и человеколюбием», — прошептал Каширин и закрыл ставень; он сказал так не потому, что испрашивал разрешения у бога, а просто по привычке, потому что знал наизусть десятки разных молитв. По двору он уже шел торопливо: с той секунды, как закрыл ставень, он все делал торопливо: поставил чайник на электрическую плитку, собрал на стол и потом ходил взад-вперед по комнате, потирая ру-

ки: он уговаривал Екатерину поскорее лечь в постель, потому что она, наверно, очень устала с дороги, и, когда наконец, потушив свет, она стала раздеваться, когда в тишине комнаты послышался шелест сбрасываемой женской одежды, Каширин вздохнул и отвернулся лицом к двери.

Глава третья

Спустя полтора месяца после той встречи на вокзале, в зале ожидания, когда Иван Евдокимович Шевелев узнал монаха Каширина, — между прочим, Иван Евдокимович тогда подумал, что он, может быть, действительно-таки ошибся, потому что мало ли в жизни бывает очень похожих друг на друга людей, — спустя полтора месяца после той встречи, когда о ней уже было совершенно забыто, однажды в тихое воскресное летнее утро Иван Евдокимович, чувствуя себя особенно усталым и утомленным, решил сходить в горы прогуляться и отдохнуть. Кроме основной работы в городском комитете партии он еще по вечерам, а иногда и ночами напролет трудился над своими «Записками воинствующего атеиста»: он трудился над этими «Записками» уже седьмой или восьмой год, кропотливо собирая и обрабатывая материалы, вставляя и выбрасывая главы, а сейчас, когда дело явно подвигалось к концу, особенно спешил, надеясь еще в этом году отправить рукопись в издательство и наконец увидеть свое детище, свое творение изданной книгой. Он не был тщеславным, не авторство привлекало его, хотя все же не без гордости думал о том дне, когда увидит свое имя и фамилию на обложке толстой, да еще к тому же хорошо оформленной книги, потому что если уж библию, к примеру, издадут в коже и с золотым и серебряным тиснением, то атеистическое произведение тем более надо выпускать отменно — нет, не авторство привлекало его, он просто искренне верил, что людям нужно то, что он делал, и потому старался быть правдивым и честным; он добирался до истины сложным и трудным путем, жизненные факты были для него лишь той почвой, на которой он выращивал свое философское творение. Одна глава, которой Иван Евдокимович придавал важное значение, потому что в ней говорилось о людском равнодушии и последствиях этого

равнодушия, особенно трудно удавалась ему; и вчера, весь субботний вечер, и сегодня, все воскресное утро, он просидел над этой главой, исписал около десяти страниц и сначала был доволен работой, но теперь, прогуливаясь по горной тропинке и вновь размышляя о написанных страницах, с горечью думал, что опять у него получилось куце, совсем не так, как он хотел бы, как это было нужно, и потому придется все переделывать. Он еще думал о том, как будет переделывать, — прямо начнет с вопроса: «Почему люди, родившиеся и выросшие при Советской власти, становятся религиозными фанатиками?» Он называл сектантов фанатиками потому, что все их называли так и в горкоме, и в областном комитете, и даже приезжавшие из центра лекторы — им ли не знать, что верно и что неверно! — но в глубине души Иван Евдокимович не был согласен с ними; сектанты — это не просто фанатично верующие в бога люди, особенно пресвитеры и проповедники, возглавляющие общины, сущность их не в вере, а в ненависти к советским законам, которую можно выражать, прикрываясь верой; Иван Евдокимович чувствовал, что где-то именно здесь кроется истина, но твердого убеждения не было; он знал, что чаще человека сгибает не горе, а людское равнодушие к его горю, и считал, что следует прямо-таки объявить всеобщий поход против этого человеческого порока — равнодушия; но он также знал, что сильного волей не может сломить ни горе, ни даже равнодушие, и тут снова возникал перед ним вопрос: что делает людей сильными? Он писал о воспитании и самовоспитании, внутреннем стремлении и колебался, что важнее; то отдавал предпочтение одному, то другому; но теперь ему казалось, что есть еще что-то третье, чего он не знает, чего не знают многие, по крайней мере все те, с кем он знаком, но что это третье и является главным в формировании человеческого характера; только теперь он вдруг понял, почему с таким трудом удавалась ему начатая недавно предпоследняя и обобщающая глава «Записок». «Третье! Что же это третье?..» Размышляя так, разговаривая сам с собой, он медленно спускался по каменистой тропинке в лощину. Как раз по дну лощины, где была проложена проселочная колея — дорога к горным сенокосам, — двигались цепочкой люди. Иван Евдокимович заметил шествие, когда почти спустился на проселок; сперва он подумал, что это, может быть, несколько горняцких семей, возвращавшихся с воскресной прогулки — пятитрубинцы

любят отдыхать в горах, — и зашагал было по заросшей колее вниз, к городу, но потом, обернувшись и взглянув еще раз, теперь внимательнее и пристальнее, увидел, что шли только одни женщины, большей частью пожилые, и еще пять-шесть ребятишек с ними, и каждый нес чем-то наполненное либо ведро, либо бидон — это показалось странным; он остановился и, все еще продолжая думать о главе и «Записках», но уже теряя нить размышлений, потому что необычное шествие нарядных женщин в темных платках и косынках вызывало новые мысли, — теперь уже настороженно посмотрел на них; десятки раз он видел разных верующих и в молитвенных домах, и в церквах, и просто на улице и мог сразу отличить их среди людской толпы, особенно верующих женщин, по выражению их лиц, скорбному, смиренному, по одежде, скромной и тусклой, и, главное, по тому, как они подвязывали платки, наглухо закрывая волосы и затягивая узелки под подбородками, — те, что шагали сейчас по проселку, потому и насторожили Ивана Евдокимовича, что сразу напомнили ему верующих. Вверху, откуда они шли, были родники. Когда Иван Евдокимович заметил, что в ведрах и бидонах, которые несли женщины, была вода, он уже не сомневался в своей догадке — не иначе родники объявили святыми! Он посторонился, пропуская вперед поравнявшуюся с ним невысокую и не очень полную женщину, выглядевшую, хотя ей и было около тридцати, еще совсем молодой, ее косо брошенный взгляд еще больше насторожил Ивана Евдокимовича, и он интуитивно почувствовал, что именно эта женщина — предводительница всему, религиозная наставница и пророчица, и впился глазами в ее прямую спину, стараясь приметить и запомнить ее; он не знал, да и не мог знать, что это была спутница и первая помощница того самого монаха Каширина, которого он видел несколько недель назад на вокзале, и что объявление родников святыми тоже было делом рук того же монаха, — в эти секунды, пока смотрел в спину уходившей пророчице, лишь мельком вспомнил о Каширине, и то больше не о нем, а о том случае, когда однажды встретил — это было на Алтае, в селе, — такое же шествие женщин с ведрами и бидончиками, только те направлялись за «святой водой».

Когда совсем недалеко от Ивана Евдокимовича, поставив ведро с водой на траву, остановилась старуха в черном платке и такой же черной с мелкими белы-

ми горошинками кофе, — он решил подойти и поговорить с ней; лицо старухи, морщинистое, худое и даже немного уродливое, в то же время казалось добрым.

— Водичка-то святая небось, а?

— Святая, милый, святая, целебная.

— Чудо на родниках было? Или еще что?

— Было, милый. Икона объявилась...

— Да не икона вовсе, а только риза с иконы, — немного разочарованно, как показалось Ивану Евдокимовичу, поправила другая старуха, помоложе и выше, тоже оставившись и поставив ведро с водой на землю. — Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние твое... — прошептала она и торопливо перекрестилась.

— Зачем столько-то, целое ведро? Хоть и святая, а поди тяжелая. — все так же шутливо продолжал Иван Евдокимович, обращаясь теперь уже к этой, только что подошедшей старухе.

— Заразом уж, каждый раз не находишься. А молодых не пошлешь, умничают. Господи, прости их души окаянные. — Она снова перекрестилась. — Пойдем, сестра, а то отстанем.

Старухи подняли ведра и, тяжело дыша и путаясь в длинных черных юбках, зашагали вниз по проселочной колее, догоняя шествие.

Иван Евдокимович — он стоял и смотрел вслед удалявшейся процессии — недоуменно пожал плечами: он вспомнил, как в рудничном партийном комитете, когда он предложил прочесть несколько лекций на атеистическую тему, ему ответили, что вряд ли в этом есть необходимость, а секретарь парткома прямо заявил, что — это, по меньшей мере, смешно — искать среди горняков верующих.

«Горняки в бога не верят!»

«Может быть, отдельные семьи...»

«Никаких отдельных!»

«Ну хотя бы одну лекцию. Для профилактики».

«Давайте лучше на международную. Во Франции шахтеры бастуют, вот это нам интересно».

Разговор этот состоялся не так давно, на той неделе, и потому Иван Евдокимович хорошо помнил о нем: он часто встречался с секретарем рудничного парткома и потому сейчас сразу представил себе его, высокого, подтянутого, всегда в сером костюме и больших круглых

очках, придававших особенную серьезность его лицу; Иван Евдокимович подумал, как завтра удивится этот самый рудничный секретарь, когда услышит о «святых ключах» и шествии со «святой водой», а Иван Евдокимович обязательно прямо с утра пойдет на рудник и обо всем расскажет; и еще подумал, ухмыльнувшись при этом, что рудничный секретарь непременно бросит реплику: «Какой вред от десятка верующих старух?» Многие говорят так, потому что ничего толком не знают ни о религии, ни о делах божьих служителей; это тоже — опасное равнодушие. Иван Евдокимович живо представил себе, как он возразит секретарю: «Позвольте!» — и потом расскажет, какой вред могут принести на вид безобидные верующие старухи, произнесет целую лекцию; и он, увлекшись этой мысленной полемикой с рудничным партийным вожаком и совсем не замечая, что все еще продолжает стоять и смотреть на уже опустевшую колею проселка — шествие скрылось за поворотом лощины, — выдвигал все новые и новые доводы, подтверждавшие необходимость острой и неотложной борьбы с сектантством; в эту минуту он чувствовал себя именно воинствующим атеистом; он пересказывал страницы своей еще не законченной книги; с гневом говорил, как однажды баптисты окрестили в ледяной иртышской воде больного туберкулезом юношу и как тот юноша вскоре умер, отказавшись от врачебной помощи лишь только потому, что братья во Христе так внушили ему: «Бог дал, бог и приберет». Десятки молитвенных домов, легальных и нелегальных, сотни алчных пресвитерских рук, часы, дни, месяцы, годы, проведенные в молениях, коленопреклонении и страхе, — эти дни и годы, безвозвратно потерянные, могли бы стать иными и принести людям радость созидания; а сети, расставленные сектантами. — значит, есть приманка, раз люди идут в общины, значит, есть что-то такое, что влечет их, оборачиваясь хоть на время истиной; Христос страдал за людей, люди страдают за веру — так по Священному писанию; страдания — вот что находит отзвук в человеческих сердцах; но человек не должен страдать, не будет страдать, если ему вовремя помочь в беде. Иван Евдокимович вострепнулся: произнося эту мысленную тираду, он неожиданно для себя нашел еще один ключ к той загадке, о которой либо много говорят, либо совсем умалчивают, — чем иногда привлекает человека религия? «Созвучие настроений, страдания и страдания...» Постепенно он снова вернулся

к тем своим размышлениям об участии и равнодушии людей к судьбам ближних, о чем он думал утром, отпра-вляясь на прогулку в горы.

В доме было тихо, все спали, и только Иван Евдокимович сидел за письменным столом в своем домашнем кабинете; он то и дело макал ручку в чернильницу и подносил к белой бумаге, но в самый тот момент, когда нужно было выводить первую букву, вдруг останавливался и опять в нерешительности смотрел то на высохшее перо, то на чернильницу, то на стопку бумаги, прижатую ладонью к стеклу, и продолжал упорно искать ту нужную и все время ускользавшую — он никак не мог сосредоточиться — мысль, с которой он, садясь за стол, намеревался начать заново предпоследнюю главу «Записок»; минутами ему казалось, что он уже нашел ту третью истину, о которой думал в горах, но это ему только так казалось, потому что не поиски истины больше занимали его сейчас, а иное — он все время возвращался мыслью к процессии со «святой водой», двум старухам и пророчице, выступавшей впереди, полногрудой, румяной, надменно и косо, не поворачивая головы, взглянувшей на него, Ивана Евдокимовича, молча уступившего ей дорогу; именно потому, что он думал о ней, видя в ней теперь не только пророчицу, вернее, не столько пророчицу, как женщину с теми завидными чертами устоявшейся крестьянской красоты, дородности, здоровья, — он даже заметил, как бугрилась ее темная косынка над валиком уложенных на затылке волос, — с теми завидными чертами устоявшейся крестьянской красоты, которые представлялись ему совершенством и всегда волновали его воображение; он даже почувствовал некоторое влечение к той величаво прошагавшей мимо него женщине, представив ее рядом, в семейной жизни, и улыбнулся, потому что приятно было думать об этом; он снова макнул ручку в чернильницу и ничего не написал; вычистил перо и опять погрузил его в чернила; потом встал и, мысленно чертыхаясь, прошелся по комнате. Нет, работа ему никак не давалась, а между тем он чувствовал, что именно сегодня должен написать что-то очень важное и определяющее весь смысл его книги. Матовый свет настольной лампы, синие обои, коричневые гардины — все это казалось тусклым, тонуло в холодной сумрачной голубизне; сизоватый сумеречный свет, запол-

нивший все уголки кабинета, падал и на лицо стоявшего у стола с заложенными за спину руками Ивана Евдокимовича, придавая румяным и бритым щекам его тот оттенок бледности и утомленности, какой бывает у канцеляристов или писателей, по крайней мере около года не встававших из-за своего письменного стола; Иван Евдокимович любил казаться утомленным и всегда хмурился и сдвигал к переносице брови, когда хотел подчеркнуть напряженную работу мысли; он и сейчас хмурился и время от времени потирал ладонью лоб. «Надо писать, писать!..» Но вместо того чтобы сесть за стол, он пошел на кухню и сначала выпил стакан холодной воды, потом, хотя кушать ему совсем не хотелось, съел бутерброд с маслом и опять запил водой из крана; возвращаясь в кабинет, он остановился и заглянул в спальню, где давно уже спала жена; маленький ночничок, когда-то привезенный им из Москвы и напоминавший розу, горел на тумбочке возле кровати, и неяркий красный свет от него разливался по комнате; пододеяльник, простыня, подушка и лицо на подушке, повернутое к свету лицо Валентины — жена во сне чему-то улыбалась, — все здесь было розово и совершенно противоположно тому, что было в кабинете; он нагнулся и поцеловал Валентину в щеку, и в тот момент, когда прикасался губами к ее теплой и нежной, пахнувшей кремами коже, опять на ум пришла та встретившаяся в горах пророчица; Иван Евдокимович на секунду замер, прислушиваясь к себе и вдруг возникшему в нем новому чувству и желанию и, удивляясь, что так легко может думать о другой, не краснея и не стыдясь, хотя еще месяц назад, еще день назад, еще сегодня утром, когда Валентина подавала на стол только что снятые со сковородки оладьи, сказал ей, и больше сам себе, что у него самая лучшая жена на свете, — он вспомнил сейчас о пророчице, и даже ее кривой и надменный взгляд представлялся ему теперь каким-то особенным, зовущим. Он встряхнул головой, будто хотел разом освободиться от всех этих нелепых дум и, проговорив: «Какая чепуха», жестко и уверенно направился опять в кабинет. Он сел за стол и почти машинально выдвинул ящик; среди папок с печатными и рукописными текстами лекций он отыскивал ту, в которой хранились не вошедшие в его «Записки атеиста» и написанные в разное время главы и наброски глав; однажды, пять с лишним лет назад, он был на судебном процессе, кажется в Афиновке, общественным обвинителем, и тогда же записал несколь-

ко интересных мыслей, — эти записи, потому что они лежали сверху, и увидел Иван Евдокимович, когда развязал и открыл папку: он прочел несколько строк о монахе Каширине, которого как раз судили тогда в Афимовке как главаря нелегальной монархической общины последователей истинной православной церкви, потом взглянул на высказывания свидетелей и, прочтя фамилию Гойго, задумался: он вспомнил этого старика, белого как снег, но еще крепкого, работавшего сторожем на колхозной ферме. Гойго говорил на суде смело, резко и приводил наизусть выдержки из библии и евангелия, разоблачая монаха, и Иван Евдокимович даже теперь, спустя столько лет, хорошо помнил выступление колхозного сторожа; но сейчас он подумал не о выступлении, а о биографии старика Гойго, потому что она была чем-то схожа с биографией Каширина: один воспитывался в скиту, другой был поводырем у набожных слепых старцев; и тот и другой, с детства впитавшие в себя религиозные истины, выросли совершенно разными людьми; в сравнении двух биографий может открыться правда, почему один стал монахом, другой — тружеником. Все больше увлекаясь сравнением двух биографий и думая, почему эта удивительно точная мысль пришла в голову так поздно, спустя почти пять с лишним лет, Иван Евдокимович, наконец, забыв и о пророчице, и о жене, и о третьей истине, которую непременно хотел найти и записать, — забыв обо всем этом и успокоившись, наконец-то почувствовал себя в том рабочем состоянии, когда не замечаются ни шершавость бумаги, ни скрип пера, ни шлепанье босых ног проснувшейся и прошедшей через комнату жены; он писал, склонившись над столом, не замечая времени, вспоминая все новые и новые подробности судебного процесса в Афимовке.

Они сидели в первом ряду, те четверо, худые, болезненно бледные, по-разному обиженные жизнью, которых монах и святой отец Григорий благословил на голодную смерть; «даруй нам, бодренным сердцем и трезвенной мыслью, познать всю настоящего жития ношь, избави от брэнной плоти и прими души наши в Божественный чертог славы»; с клубной сцены Иван Евдокимович хорошо видел их: Глафиру Беляеву, бывшую скотницу, которая дважды выходила замуж и которую дважды бросали мужья, потому что она не могла рожать детей. — она

после этого пила, распутничала, а потом примкнула к секте, ушла из колхоза и, вняв увещаниям святого отца, согласилась совсем «освободить свою душу от греховного тела»; К л а в д и ю С т р и ж е н о в у, или, как ее все называли в Афимовке, бабушку Стрижиху, у которой еще в двадцатом анненковцы расстреляли мужа-партизана, а потом погибли два сына — один на озере Хасан, другой на финской, — эта старуха, проработавшая всю жизнь в колхозе, вышла на пенсию, но пенсию ей платили нерегулярно, потому что то и дело менялись председатели. — эта старуха, о которой в миру забыли, но которую подобрал и приютил в своей секте Каширин, согласилась умереть, отдать богу душу потому, что монах предрек ей радостную жизнь на том свете и скорую встречу с мужем и сыновьями (между прочим, сам Каширин на предварительном следствии сказал, что хотел просто отомстить старухе за прошлое, за мужа-партизана, потому что так завещал ему, умирая, «болящий человек»); К л а в д и ю П р и х о д ь к о, совсем почти девочку, только-только окончившую десятый класс, — она сидела сейчас с ребенком на руках и была, несмотря на всю свою худобу, счастлива и тем, что ее спасли, и, главное, своим материнством (она работала на току, и с ней случилось несчастье: соблазнил какой-то парень, то ли афимовский комбайнер Василий, баянист и плясун, за которым водилась такая слава соблазнителя, то ли какой-то студент — на току всю осень работали присланные из города студенты, — Клавдия упорно не называла имени отца мальчика; тогда, осенью, она забеременела и всю зиму мучилась, не решаясь никому открыться; жила у родителей на хуторе, вернее, на бригадном стане, а весной попросилась в село к тетке; она сама хотела умереть, чтобы никто не узнал о ее несчастье, и увещания святого отца — ее тоже вовлекли в секту — только помогли решиться на это; она ушла от тетки, сказав, что хочет вернуться домой, на бригадный стан; в то время как тетка считала, что Клавдия дома, в родители — что их дочь у тетки, — Клавдия, беременная, лежала в кашпринской деревянной баньке, что на краю огородов, лежала прямо на полу, на тонкой соломенной подстилке, рядом с Глафирой Беляевой, и умирала голодной смертью...), — она сидела сейчас, счастливая, с ребенком на руках, и за ее спиной виднелись лица все еще не оправившихся от испуга, робких и растерянных перед неожиданно навалившимся горем родителей; Романа Селивер-

стова, еще недавно красивого и стройного, теперь длинного и тощего, как жердь, мужчину с бородой, редкой и седой, — ему еще нет и сорока пяти, но выглядит он совершенным старцем (четырнадцатилетним мальчиком, разрушая воробьиные гнезда в застрехах колхозных хлебных амбаров, он сорвался и упал на старый, поржавевший, заброшенный и заросший бурьяном тракторный плуг; изогнутое крыло отвала угодило как раз промеж ног, в пах; за Романом тогда прилетал санитарный самолет, и это было событием на всю Афимовку; но со временем все забылось, и только сам Роман все эти дни и годы ни на час не забывал о своем несчастье; он не служил в армии, не женился и даже не ходил на вечеринки; чем становился старше, тем делался угрюмее, злее, молчаливее; когда в селе сколотилась секта, — это вскоре после войны, — сразу же вступил в нее и не пропускал ни одного служения, молясь до онемения колен и не скупясь на пожертвования; он трудился на ферме, выполняя каждый день одну и ту же работу — менял подстилку у коров, выгребал навоз и отвозил его на вагонетке по подвесной дороге; он ловил на себе насмешливые взгляды доярок, замужних и вдовых, соблазнительно переодевавшихся при нем в белые халаты, и поспешно уходил, сутулясь и страдая; он первым из четверых, прослушав проповедь Каширина, попросил у святого отца благословения в иной мир, вечный, к «отверзшимся для праведников вратам Божественного чертога славы»)... С клубной сцены, где находился Иван Евдокимович, — как общественный обвинитель, он сидел рядом с прокурором, за одним столом, — он отлично видел и этих четверых: Глафиру Беляеву, бабу Стрижиху, Клавдию Приходько с ребенком на руках и тощего, как жердь, Романа Селиверстова, который — один из всех — сетовал на то, что ему не дали умереть; видел весь зал, до отказа заполненный людьми — здесь были и свои колхозники, афимовские, и приезжие из других деревень, и даже городские, привлеченные необычностью процесса; они заняли все ряды, заполнили проходы и облепили подоконники; они ходили, как на паломничество, к той небольшой деревянной каширинской баньке, самой обыкновенной, топившейся по-черному, похожей на тысячи других таких, разбросанных по русским деревням, разглядывали дверь, стены, окно, полог и солому, расстеленную и уже затоптанную на полу; некоторые у порога снимали фуражки, будто входили в дом, где обмывали

покойника. Иван Евдокимович тоже осматривал баню. Может быть, потому, что он ходил туда до процесса, по свежим, как говорится, следам, когда еще солома на пологе и по углам, уложенная в виде постелей, хранила и формы, и даже, наверное, тепло лежавших на ней скорчившихся от голода человеческих тел; может быть, еще и потому, что как раз перед тем, как пойти осматривать, он прочел показания Каширина и все знал в подробностях, сколько дней голодали обреченные, как они мучались, заглушая боль молитвами, как их один раз в сутки, глубокой ночью, Каширин выводил на прогулку, а днем держал взаперти и даже оконце заколотил досками, чтобы не проникал свет, — может быть, именно потому, что Иван Евдокимович знал обо всем из показаний святого отца и, главное, потому, что, войдя в баню, мог вообразить себе, как все было, и вообразил, как лежала беременная Клавдия Приходько, съжившись, поджав к животу колени, как ворочался на пологе Роман Селиверстов, крихтя и бесконечно шевеля губами, как плакала и грызла солому Глафира Беляева, — там, где она лежала, у забитого досками окна, виднелась на полу горка нагрызанной соломы, — может быть, именно потому осмотр произвел на Ивана Евдокимовича особенно гнетущее впечатление. И на суде, и после процесса он долго не мог забыть ни лиц обреченных, ни той деревянной бани, где они готовились умереть; ему казалось, что он не только видел их там во время мучений, но и чувствовал то, что чувствовали они, выходя ночью на прогулки; ему так казалось, хотя он испытывал совсем иное чувство — страх перед бессмысленностью того, что здесь совершалось. Он ходил по той тропинке, по которой Каширин водил на прогулки полуживых, истощенных и качавшихся от голода Беляеву, Стриженову, Приходько, Селиверстова, — глядя на желтые головки подсолнуха, нависавшие над плетнем, на кочаны капусты, матово-зеленые, сочные и хрусткие, обсыпанные росой, глядя на затянутые сизым кизячным дымком белые избы Афимовки, Иван Евдокимович с содроганием думал, как можно добровольно согласиться уйти из этого мира в небытие? Для него, как и для всех афимовцев, это было тогда необъяснимой загадкой; тогда — он только начинал трудиться над своими «Записками воинствующего атеиста». Потом, сталкиваясь с сектантами, он видел более страшные картины — мурашковцы, например, вырезают семь крестов на спине, семь печатей, как они называют

этот обряд крещения, потом собирают стекающую со спины человеческую кровь, смешивают ее с вином и причащаются, — видел более страшные картины, но афимовская история всегда оставалась для него самой жуткой и непостижимой. В тот день, когда он осматривал баню, и особенно вечером, после ужина, когда остался один на один с настольной лампой, тишиной и своими думами, — долго не мог приступить к составлению обвинительной речи, потому что ему вдруг пришла в голову мысль, что во всем случившемся больше виновата общественность, чем Каширин, о б щ е с т в е н н о с т ь, которая равнодушно смотрела на несчастья ближних и даже, пожалуй, что гораздо вернее, ничего не знала об этих несчастьях, и в то же время с тем же равнодушием, спокойствием и даже смирением — «Какой вред от десятка верующих старух!» — терпела рядом с собой далеко не безобидного монаха Каширина; Иван Евдокимович чувствовал, что в сущности дело обстоит не совсем так, что он преувеличивает, обвиняя общественность, но в этот вечер он уже не мог думать иначе; он ходил из угла в угол комнаты и говорил себе, — он повторял только тот неправильный довод, десятки раз слышанный от других, — что «в каждую душу не влезешь, за каждый забор не заглянешь», и представлял себе, удивляясь и поражаясь своему преувеличению, сколько еще таких домов, таких заборов по городам и селам страны, за которые нельзя заглянуть и за которыми творятся самые невероятные дела — моления, обманы, сделки, разврат, за которыми калечатся судьбы детей, совершаются насилия, измены. Иван Евдокимович знал, что преувеличивает, думая так, но в этот вечер он был уверен, что нужно преувеличивать, чтобы заставить людей оглянуться на свое равнодушие; самый страшный приговор для человека — это людское равнодушие; в какие-то минуты он пытался оправдывать общественность, у которой — большие дела и которой — некогда заниматься досадными мелочами; шла война, люди думали, как накормить борющийся фронт, трудились, трудились, трудились, и никому не было и не могло быть дела до того, чем занимаются бывшая попадья, притворившаяся больной, и ее нелюдимка дочь, как живет худой и, наверное, туберкулезный скитский мальчик Гриша, как жили другие такие же, в других деревнях и городах, выросшие теперь в озлобленных пресвитеров и проповедников; после войны снова — подъем разрушенного хозяйства, новая волна эн-

тузиазма, новые большие дела, и один отставший от ста идущих, — на него уже никто не обращал внимания; «такое время, нам некогда оглядываться»; но сам Иван Евдокимович, противореча только что приведенному доводу, оглядывался и пытался пристальнее рассмотреть события; продолжая ходить по комнате из угла в угол, он говорил себе: «А вот Каширины проникают в души, заглядывают за глухие заборы!» — и эта фраза вызывала десятки новых предположений. В обвинительной речи, которую он спустя несколько дней написал и представил в районный комитет для согласования, был большой упрек афимовской общественности; но в райкоме, потому что деревня Афимовка была районным центром, посоветовали сократить «страницы с упреком», а в тот день, когда Иван Евдокимович, волнуясь, готовился прочесть свое обвинение, к нему подошел инструктор и, как бы между прочим, заметил, что лучше бы совсем не упоминать ни о каком равнодушии... С клубной сцены Иван Евдокимович хорошо видел и весь зал, до отказа заполненный людьми, и свидетелей на первом ряду, среди которых находился сторож Гойго, белый как снег старик, — это он заметил, как Каширин по ночам выводил из своей баньки на прогулку обреченных, он выследил и рассказал о своих подозрениях колхозному председателю и секретарю сельского Совета, — Иван Евдокимович хорошо видел его устало склоненную белую голову, но еще лучше видел Каширина, потому что ближе всех к сцене находилась скамья подсудимых. Монах и святой отец, за спиной которого стояли сейчас конвоиры, и штыки их винтовок тускло и холодно поблескивали от света электрических ламп, — монах отрицал все обвинения, какие ему предъявлялись; хотя он, прежде чем отправить Беляеву, Стриженову, Приходько, Селиверстова на голодную смерть, велел им принести все деньги и ценные вещи, потому что, дескать, «бог щедр и славен щедротами людскими», и еще потому, что «всякий оставленный на земле знак есть только порочный соблазн, и он не должен смущать их чистые, приготовленные к иной, высшей жизни, души», — хотя, попросту говоря, монах Каширин обобрал их, прикрываясь святыми словами, но сейчас он говорил, что выполнял лишь волю божью; суд над ним он называл божьим испытанием и добавлял при этом, что готов вынести любые мучения за веру; он говорил это для верующих, которые находились в зале, чтобы потом, после тюрьмы, с еще большей

уверенностью именовать себя святым отцом. Так же, как и старик Гойго, Каширин то и дело опускал голову, но только Гойго от усталости, а этот для того, чтобы казаться кротким и смиренным, чтобы никто — главное, судьи, от которых теперь зависела его судьба, — не мог заметить вспыхивавшей в его глазах ненависти и злости. Иван Евдокимович хорошо запомнил эти две склоненные головы: белую как снег старика сторожа и черную, длинноволосую, монаха Каширина; сейчас, перебирая старые записи в ночной тишине кабинета и вспоминая об афимовском процессе, он видел перед собой все те же склоненные головы — белую и черную, — видел их, казалось, еще отчетливее, чем в тот день на суде, и разница цветов представлялась ему теперь символичной; две головы — белая и черная, две биографии — белая и черная; тогда Иван Евдокимович не думал, что можно сравнить эти две жизни, напротив, он отмечал только то, что рознило Гойго и Каширина: их убеждения и, главное, возраст (одному за шестьдесят, другому под тридцать), и ему даже вначале казалось, что произошло досадное смещение, что, если бы на скамье подсудимых сидел старик, а не молодой, — было бы куда естественнее и логичнее. В перерыве между заседаниями суда он поделился своими соображениями с Гойго.

«Мы просмотрели, а скитские старцы подобрали и воспитали».

«Я тоже был пятнадцать лет поводырем у набожных слепых старцев, а потом штурмовал Зимний».

«И все же — воспитание, среда...»

«По-нашему, по-крестьянски, так: что у кого в крови».

«Ну, ну?»

«Глядели на дом под пекарней? А чей он? То-то. Вот куда надо смотреть, в корень, в собственность...»

Вспоминая об афимовском процессе, Иван Евдокимович вспомнил сейчас об этой мимолетной и, как тогда показалось, совершенно случайной и ничего не значившей беседе; в тот раз он лишь удивился странному и впервые услышанному им выражению «что у кого в крови», и еще заметил неправильное сочетание слов: «смотреть в собственность»; смотреть в собственность нельзя, может быть, на собственность, — он заметил это потому, что хотя в свое время и закончил исторический факультет, однако писал статьи и заметки в местные газеты, считал себя журналистом и, как все журналисты,

конечно, знатоком языка и стилистом, — Иван Евдокимович заметил и это, и еще несколько неправильных, по его мнению, словосочетаний в речи Гойго, но из уважения к старости не стал поправлять колхозного сторожа. Теперь же, когда тот короткий разговор всплывал в воображении, Иван Евдокимович не замечал неправильностей, а больше обращал внимания на смысл, какой те неправильности выражали. «Смотреть в собственность» — вот разгадка, которую он искал много лет, трудясь над «Записками атеиста», и которая открылась ему лишь сегодня, неожиданно, только потому, что он достал папку со старыми записями, вспомнил судебный процесс, сцену, где сидел рядом с прокурором, четверых обреченных, подсудимого монаха, свидетеля Гойго и еще фойе колхозного клуба, где все курили и было очень дымно и где все же он, Иван Евдокимович, в шуме и суете сумел так деловито и умно потолковать со стариком. «Собственность!..» Каширин имел дом в Афимовке; не этот, не монах, попавший на скамью подсудимых, а его отец, наказанный за поджог колхозных хлебных скирдов, но этот — этот знал, что мог бы иметь, как мог бы жить, — тем и заманчивее представлялась ему жизнь деревенского кулака, потому что сам не испытал ее, но зато слышал о ней много от старцев и «болящего человека»; «что у кого в крови»; у Каширина — ненависть; давняя, заскорузлая кулацкая ненависть; Ивана Евдокимовича теперь уже не смущало, что прошло столько лет Советской власти, а все еще существует эта каширинская ненависть; именно потому, что она существует, — есть секты, есть проповедники и пресвитеры, злобствующие, неудержимые и неисправимые, как афимовский монах Григорий.

«Что у кого в крови!..»

Иван Евдокимович не знал, до которого часа работал, вставая из-за стола и разминая затекшие пальцы, прошелся по кабинету, потом сел в мягкое кресло, совсем не намереваясь отдыхать, потому что, как ему казалось, не чувствовал усталости и, несмотря на поздний час, не хотел спать, — сел просто так, по привычке, потому что в какую-то минуту это мягкое кресло оказалось перед ним; он был доволен тем, что хорошо потрудился и что вечер не пропал даром, что работалось ему сегодня сравнительно легко: он написал около шести или се-

ми страниц и чувствовал, что может написать еще, что есть еще мысли, есть желание, он возбужден и только немного затекли, онемели пальцы, державшие ручку; был доволен тем, что сидит в мягком кресле и что может позволить себе такое удовольствие, особенно сейчас, и что может устроиться еще поудобнее, почти полулежать, и он, не противясь желанию и еще не сознавая, что его одолевает дремота, а лишь ощущая, как где-то внизу, у ног, родилось тепло и теперь, приятно растекаясь вокруг, проникало сквозь мягкую пижамную куртку и рубашку и охватывало тело, — он опустил голову на высокую спинку кресла и закрыл глаза; уже засыпая, он продолжал думать о том, что вот сейчас, чуть-чуть понежась, снова сядет за стол и закончит наконец предпоследнюю и самую трудную главу «Записок воинствующего атеиста». Спал он долго, а когда проснулся, с удивлением увидел, что в комнате уже светло, что он полулежит в кресле, а рядом стоит жена, Валентина, еще не причесанная, сонная, в длинной белой ночной рубашке и ночных туфлях; она подошла только что; когда направлялась сюда, в кабинет, шаркая стоптанными туфлями по комнате, собиралась как следует отчитать мужа за бессонную ночь, — в конце концов, здоровье прежде всего; и еще: ей надоело просыпаться одной и протягивать руку к холодной подушке, — собиралась как следует отчитать мужа, но теперь, стоя перед ним и видя его розовое и совсем не утомленное, а, напротив, дышащее здоровьем лицо, смутилась и не могла решиться, что делать, отчитывать или не отчитывать; она стояла, расслабленно опустив руки, растерянная, и ее чуть припухшие полусонные глаза, — по крайней мере, так показалось Ивану Евдокимовичу — смотрели приветливо и ласково; она стояла так близко, что можно было легко обнять ее, но Иван Евдокимович только взял ее теплую и мягкую руку в свою ладонь. Эти несколько секунд пробуждения, пока он держал ее руку, были настолько приятны ему, что, несмотря на явно ощутимую боль в одеревеневшем плече — он лежал неловко, наклонившись на бок, — не хотелось шевелиться; его волновало все: и то, что пришла в кабинет Валентина, и пришла сразу, как только проснулась и встала с постели, и беспорядочно лежавшие на столе и освещенные теперь утренним солнцем страницы «Записок», и вспомнившийся вчерашний вечер, как он, возбужденный и сосредоточенный, сидел за столом и едва успевал записывать рождавшиеся в голове слова

и предложения, как рылся в старых папках, и то, что было вчера днем: прогулка в горы, процессия со «святой водой» и пророчица, шагавшая впереди, — он и теперь, вспомнив о пророчице, улыбнулся, — все, о чем он думал, что видел и к чему прислушивался сейчас, волновало и наполняло его счастливым ощущением жизни; но главное. чему он особенно радовался, размышляя о событиях прошедших суток, — теперь он завершит наконец предпоследнюю главу «Записок», потому что нашел то третье. ту истину, которую искал, нашел объяснение каширинской озлобленности: «Что у кого в крови!..» Поднимаясь, поправляя на себе пижамную куртку и чувствуя, что обязательно должен сказать жене что-то ласковое и нежное, подыскивая нужные слова и не находя их, думая и не решаясь поделиться с ней своим неожиданным открытием, потому что это, во-первых, в двух словах будет непонятно и придется рассказывать долго и много и, во-вторых, все равно не доставит ей радости, потому что она уже десятки раз говорила, что ей надоели «Записки», и все, что связано с ними, — чувствуя, что надо сказать что-то нежное, и не находя нужных слов, Иван Евдокимович, нагнув голову и делая вид, что рассматривает какие-то совсем незаметные пятна на брюках, но на самом деле лишь для того, чтобы не встретиться взглядом с женой, негромко сказал:

— Мы проспали сегодня, Валя.

— Да.

— А я хотел пораньше, хотел прямо с утра на рудник.

Глава четвертая

Будильник звенел в шесть, ставни открывались в восемь.

Хотя Каширин всегда просыпался немного раньше и, ожидая звонка, лежал с открытыми глазами, хотя ничего непредвиденного для него уже не могло быть, потому что почти с одинаковой точностью повторялось каждое утро, — все же вздрагивал, как от укола, когда резкий и дребезжащий звук вдруг разрывал комнатную тишину. Чтобы не потревожить спящую Екатерину, святой отец сначала осторожно спускал с кровати ноги, затем вставал во весь рост, относил будильник на стол и лишь по-

сле этого, недовольный ранней побудкой и в то же время отлично сознающий, что лежать больше нельзя и надо уходить к себе в келью, в свое подполье, — лениво и неохотно потягивался, косясь на оставленную теплую постель. Он не включал света, хотя было еще темно; сквозь щели в закрытых ставнях пробивали лишь узкие и слабые полоски зари, они падали на стену, стушевываясь и бледнея, скользили по никелированной спинке кровати к подушкам; Каширин не уходил, медлил; присмотревшись и хорошо различая предметы, он еще несколько секунд стоял у стола и отсюда, издали, наблюдал за спящей Екатериной. Она дышала ровно, лицо ее было спокойно, как у праведницы; белая рука поверх одеяла, белое плечо и голубая тесемка сорочки у шеи, щека, порозовевшая от сна и покоя, — все это вызывало у Каширина чувство нежности; он был горд в такие секунды, что ему, но никому другому, разрешалось гладить, ласкать эти белые круглые плечи, ощущать близость теплого гладкого тела, ее тела, Екатерины, женщины, ставшей ему теперь самым близким человеком; он стоял у стола и мял, сжимал в ладони свисавший край клеенки; одиночество тюремных камер, мучительная бессонница лагерных ночей и думы, разъедавшие душу, воображение, болезненно рисовавшее счастье семейных лож, — то прошлое, пережитое, и это, к чему стремилась и чего наконец достигла его совсем не монашеская душа, — это затмевало все в его сознании и как бы приподнимало над самим собой; он пьянел от полноты наслаждений и каждый новый день жил ожиданием будущей ночи. Даже плохо проветриваемое подполье, где постоянно ощущался густой запах плесени от подгнивавших половых досок и еще более густой и неприятный запах от редко сменяемого постельного белья, где всегда было полусумрачно, и днем, и ночью, потому что единственным освещением служили свечи, — даже это подполье, сырое и душное, казалось ему в первое время вполне уютным, хотя иногда приходилось просиживать в нем, не поднимаясь наверх, почти по целым суткам. Тогда Каширин либо мастерил деревянные крестики, выстругивая их ножом из сосновых плашек, наслаждаясь работой и забываясь в ней, либо полудремал, развалившись на своей жесткой койке и заложив руку за голову.

Ничего, казалось, не изменилось и в это утро; заглушив будильник, он стоял у стола, мял в ладони край

клеенки и смотрел на Екатерину; но сегодня, — может быть, потому, что шел четвертый месяц их совместной жизни и все уже стало для Каширина будничным, обычным, или еще потому, что несколько дней назад во время ночной прогулки в горы он видел ужасную картину пожара и все еще находился под впечатлением пережитых минут (Каширин оказался неподалеку от горевших складов и не только наблюдал, как их тушили, но и сам, увлеченный толпой, работал лопатой, обкапывая подступы к начинавшемуся сразу за складами колхозному хлебному полю), — может быть, именно потому, что в последние дни мысли об этой ночной прогулке и пожаре все чаще и чаще занимали его воображение, — сегодня белое плечо спавшей спиной к стене Екатерины уже не волновало его так, как прежде. «Перебесишься еще», — эти слова, как-то однажды сказанные Екатериной, всплыли сейчас в памяти, и он, удивляясь простоте и глубине вложенного в них смысла, будто это было мудрое библейское изречение, повторил их сперва полупшепотом, как повторял слова молитвы, потом произнес с ехидством, насмехаясь над собой и брезгливо кривя губы; потом — отодвинув будильник к середине стола, чтобы Екатерина, проснувшись, случайно не столкнула его, пошел к половику, закрывавшему лаз в подполье. Очутившись в подполье, на ощупь в темноте добрался до кровати, присел на край незастланного простыней матраца, затем лег и закрыл глаза. Обычно он засыпал сразу же, как только спускался в свою келью, и спал крепко, не слыша ни шорохов, ни стука шагов одевавшейся и готовившей завтрак Екатерины; он так и не знал точно, в какое время она поднималась, что успевала сделать утром, пока он спал, — в открытую крышку лаза неожиданно врывается ее негромкий и ласковый окрик: «Вставай, завтрак готов, и теплая вода умываться...» — и это пробуждение было приятно для Каширина; оно было приятно, во-первых, потому, что он снова мог видеть Екатерину, быть с ней и не мучиться одиночеством, и, во-вторых, главное, потому, что в эти минуты он чувствовал себя не монахом, не святым отцом, а просто добрым семьянином, хозяином; потом начинался день, приходили верующие, он читал им молитвы, проповеди, принимал исповеди и давал советы, развязывал, ворча и ругаясь, оставленные тощие узелки с пожертвованиями, — потом было все то, что составляло его жизнь, привычное, серое, надоевшее, и потому он особенно дорожил минутами

пробуждения, когда сквозь открытую крышку лаза слышались слова: «Вставай, завтрак готов...» Теперь, лежа с закрытыми глазами, он с удовольствием подумал, что и сегодня, как вчера, позавчера, как месяц назад, будут у него эти счастливые минуты пробуждения; но он долго ворочался с боку на бок и не мог заснуть. Не то горькое сознание пустоты и бесцельности жизни, которое позднее будет угнетать его и в конце концов приведет к безумию, — еще не старый, худой и заросший, как схимник, будет сидеть он в палате психиатрической больницы и называть себя Иисусом, вторично сошедшим на землю для спасения рода человеческого, — не это ужасное будущее, о котором он ничего не знал и в которое, если бы даже кто-нибудь сказал об этом, все равно ни за что бы не поверил, а просто разные неприятные житейские думы сегодня больше обычного беспокоили его. Он как бы со стороны взглянул на свою затворническую жизнь. и то, что всегда казалось естественным и не замечалось в обыденной суете, сейчас, в воображении, представлялось унижительным и гнетущим. Сумеречная синева комнаты, спящая Екатерина и он, монах Григорий, в нательной рубашке и подштанниках подкрадывающийся к кровати, именно подкрадывающийся, — так представлялось ему сейчас, хотя на самом деле он не подкрадывался, а просто от нежности и желания угодить Екатерине проходил по комнате осторожно, на носках: и когда по ночам поднимался к ней из подполья, и когда после надрывного звонка будильника неохотно покидал теплую постель. Он видел в воображении всю картину и особенно себя настолько ясно, что даже, как ему казалось, различал мельчайшие морщинки на своей пожертвованной нательной рубашке, не по росту большой, принесенной какой-то верующей старухой в узелке вместе с тремя вареными яйцами и кирпичиком серого хлеба, — эта рубашка, желтоватая от стирки и времени, всегда как мешок свисала с его худых и слегка сутулых плеч, но зато подштанники, тоже жертвованные кем-то из верующих, были малы и каждый раз трещали по швам, когда он, присаживаясь на корточки, откидывал половик и приподнимал крышку лаза. Каширин усмехнулся, представив себя сидящим на корточках и откидывающим половик, и чем отчетливее вырисовывалась перед глазами эта картина, тем больше вызывала в нем неприязнь к себе и жалость. «Это только с виду жизнь «болящего человека» сладка и заманчива!» Чтобы избавиться от гнетущих

мыслей. Каширин порывисто встал, не снял, а почти сорвал с себя ставшую теперь ненавистной пожертвованную рубашку, затем так же порывисто лег, но и после этого не мог заснуть. Он вспомнил разговор с Екатериной, который произошел совсем недавно, как раз в тот вечер, когда он ходил на прогулку в горы и участвовал в тушении пожара; сейчас Каширин подумал, что только потому и пошел в горы, что состоялся этот разговор.

«Деньги у нас кончаются, Григорий».

«Твой?»

«Да. Те, что я привезла с собой. А на одни пожертвования не проживешь».

«Скупыни, скряги, жидоморки, — а еще евангелие им подавай!»

«Не ругай их, старухи сами только на пенсии живут».

«На «пенсии»...»

«Господи!..»

«Драть с них надо еще за святую воду. По гривеннику, по полтиннику, по рублю за стакан!»

«Зачем ты так?»

«Молчи, глупая».

Каширин тогда вспылел; он вспылел потому, что ждал такого напоминания и знал, что деньги, привезенные Екатериной, — это были сбережения матушки Василисы: умирая, она передала их дочери и велела хранить на «черный день», — что деньги кончались, что на пожертвования, на скудные приношения верующих старух прожить невозможно и надо что-то предпринимать; он раздумывал над тем, что бы такое предпринять, но ничего пока не приходило на ум, и тут как раз — это напоминание. Екатерина замолчала, и Каширин, заметив ее смущенный и упрекающий взгляд, почувствовал еще большее раздражение; не сказав даже: «Не сердчай, Катя», как обычно говорил, когда хоть чем-нибудь обижал ее, — ничего не сказав больше, понимая, что не прав, что вовсе не на Екатерину нужно злиться, а на что-то другое, на верующих, на самого себя, — понимая все это и не в силах подавить в себе возникшее на мгновение чувство неприязни и раздражения, — Каширин отвернулся и долго стоял у окна, угрюмо насупив брови.

Сейчас, ворочаясь с боку на бок, он вспоминал и об этом разговоре, и о том, как стоял у окна, насупив брови; вспомнил потому, что видел вчера брошенный Екатериной пустой кошелек; кошелек валялся на столе, и Ка-

ширин, когда оставался один в комнате, открыл и заглянул в него. «Да, на одни пожертвования не проживешь».

Но больше всего в это утро мучили Каширина воспоминания о ночном пожаре.

Для чего он подошел к горевшим складам: просто из любопытства, или было желание помочь людям, или еще какое-либо иное чувство овладело им в эту минуту, — он не мог теперь припомнить, для чего именно; когда он шел по ложине, небо было чистым и звездным и вокруг царила безмятежная ночная тишина; когда он, уже возвращаясь домой, стал подниматься по косогору к вершине, заметил небольшое красное зарево; все еще возбужденный после разговора с Екатериной, — прогулка не успокоила его, а, напротив, только больше возбудила, потому что он не мог не думать о деньгах, которые кончались и которые надо было теперь где-то добывать, — занятый своими думами, сначала он даже не обратил внимания на зарево, а так, как бы между прочим, на глазок, определил, что зарево как раз над рудничным комбинатом, что там либо идет электросварка, либо разжигают какие-нибудь топки; только когда вышел на косогор и, обдуваемый со всех сторон ветром, остановился у камня, возле которого всегда останавливался, чтобы полюбоваться ночным, залитым огнями электрических фонарей городом, — увидел и горевшие склады, и языки пламени, взвивавшиеся к небу, и клубы дыма, и людей в багряных отсветах, суетливо бегавших и метавшихся вокруг охваченных пламенем зданий. Нет, Каширин не мог припомнить, для чего он подошел к горевшим складам. Но зато он отлично помнил, как свернул с тропинки, чтобы идти напрямик, как шагал затем по меже, вдоль хлебного поля, почти бежал, торопясь к огню и дыму, будто хотел заслонить собой тяжелые, пригнутые к земле и звеневшие на ветру колосья пшеницы; даже теперь, когда все виденное вставало лишь в воображении, — он ощущал и пьянящий запах созревшего, уже готового к уборке хлеба, и горечь стелившегося над полем дыма, и то чувство тревоги, которое испытывал тогда, будто беда угрожала не колхозному полю, а чему-то большему, более близкому ему, Каширину, чему-то священному — хлебу! — то чувство вновь переживал он сейчас с еще большей остротой и волнением. Может

быть, юношеская мечта о размеренной крестьянской жизни — не о той, хищной, какую прожил отец, а о другой, той, что всегда у мужика в деревне на виду, — может быть, как раз эта несбывшаяся мечта, когда-то страстно занимавшая воображение скитского мальчика Григория, но с годами забытая, снова пробудилась в его очерстневшей душе, — когда он подошел к складам, огонь бушевал уже над самыми крышами, и вдоль горевших зданий, во всю их длину, как рассыпанная в цепь рота солдат, как с ходу окапывавшийся батальон, работали люди лопатами и кирками; они вскапывали землю, чтобы огонь по траве не перекинулся на хлебное поле; сутулые спины их, потные лица, фуражки, развевавшиеся полы пиджаков и телогреек — все было окрашено кровавым заревом огня: кто-то сунул в руки Каширину лопату, кто-то крикнул: «Шевелись, шевелись, браток!» — и уже, охваченный общим порывом, совсем забыв о себе, Екатерине, подполье и деньгах, о которых только что так напряженно думал, которые кончались и которые нужно было теперь непременно где-то добывать, — охваченный общим порывом, слыша только треск горевших досок за спиной и удары рушившихся стен, слыша окрики запоздавших пожарных, задыхаясь от дыма и размазывая сажу на потном лице, он с силой вонзал лопату в сухую и твердую землю, нажимая ногой, наваливаясь на черенок всей грудью, и еще не испытанное никогда чувство труда и человеческого долга приятно возбуждало его и поднимало настроение. Он копал, не останавливаясь, только изредка поглядывая на старика соседа, тоже орудовавшего лопатой; старик был без фуражки, вероятно, когда выбегал из дому, впопыхах оставил ее где-нибудь на лавке, и теперь все время старался полой пиджака прикрыть от огня свою огромную лысую голову; эта лысая голова и еще босые ноги старика с широкой и плоской ступней от просторной обуви и постоянной ходьбы, тощие, мертвенно синие с теневой и розовые, почти красные со стороны пожара, особенно ясно запомнились Каширину; ему казалось, что тогда, на пожаре, он даже видел, как вздувались и пульсировали от натуги синие жилки на тех босых старческих ногах.

Пшеничное поле спасали и горожане, прибежавшие из ближних домов, и колхозники, верхами прискакавшие из поселка; неоседланные кони, согнанные в чей-то двор и забытые там, рвали поводья и сквозь пролом в изгороди уходили в горы. Вот-вот должен был прибыть трак-

тор с плугом, его ждали, а когда трактор прибыл, огонь уже почти затухал.

Люди вскидывали на плечи лопаты и отходили в сторону, уступая дорогу трактору. Но Каширин, увлеченный работой, не чувствовавший усталости, а напротив, приятно ощущавший силу в руках, продолжал копать, и только когда сосед-старик, все же так же прикрывавший полую пиджака от огня свою огромную лысину, крикнул: «Да ты что, глухой, али не видишь!» — и схватил Каширина за локоть, когда тот же старик, взглядевшись в чумазое лицо святого отца, ярко освещенное в этот миг приближавшейся тракторной фарой, удивленно произнес: «Поп, что ли?!» — Каширин разогнул спину и поспешно отступил на шаг, в темноту. Хотя старик тут же забыл о своих словах и, нагнувшись, принялся завязывать белые тесемки от кальсон на босых ногах, — Каширин сделал еще шаг в сторону и, уже не выпуская из рук лопату, продолжал пятиться, стараясь как можно дальше отойти от дотошного старца; догоравшие остатки деревянных стен, пожарные в касках и серых робах, словно выныривавшие из дыма, багровые спины людей у межи вдоль пшеничного поля, и само поле, тоже окрашенное в красные и багровые тона, — все это, еще минуту назад вселявшее тревогу и вызывавшее в нем необычное, радостное ощущение труда, теперь потускнело в глазах Каширина; теперь он с иной тревогой посмотрел на окружавших его людей и боязливо, торопясь и понимая, что торопиться нельзя, иначе обратишь на себя внимание. сначала отошел к пожарным машинам, потом прижался спиной к темному забору, потом, крадучись, пробрался к росшим вдоль забора кустам и совсем скрылся в ночной темноте. Он не пошел домой, а снова направился в горы. Перевалив косогор и очутившись в лощине, где уже никто не мог видеть его и где он сам тоже никого и ничего не видел, кроме чуть розовевшего зарева над черной кромкой косогора, святой отец опустил на траву и только тут дал волю своим мыслям. Только тут, вдруг спохватившись, заметил, что тоже был без фуражки, как и тот старик; длинные волосы — Каширин не стриг их, чтобы больше быть похожим на монаха и святого отца, потому что для верующих, он отлично знал это, важнее всего внешний вид, зримое впечатление. — длинные волосы, жесткие от сажи и пепла и взлохмаченные ветром, непослушно нависали на глаза, он то и дело откидывал их рукой и, наконец, свернув носовой

платок в тесемку, перевязал голову. Он еще заметил, что и пиджак был в нескольких местах прожжен, а на ладонях вспухли мозоли. Повернув ладони к свету, шурясь и рассматривая мозоли, Каширин подумал, что теперь придется целую неделю притворяться больным и не выходить к верующим на служения, подумал с досадой, будто это было главным и самым неприятным во всей сегодняшней ночной истории; но главным было другое: сильнее, чем когда-либо, он почувствовал сейчас, что есть иная жизнь, что она лучше, чем та, какую он жил, и это чувство вызвало в нем досаду и злость. Он злился и на то, что поддался минутной слабости и пошел к загоревшимся складам, и на то, что так быстро ушел с пожара; досадовал на Екатерину, которая напомнила ему о деньгах, а теперь, наверное, спала и ничего не знала, и на то, что деньги все равно нужно доставать и никто, кроме себя самого, не поможет в этом; но больше всего злило Каширина то, что давно уже назревало в нем и в чем он пока боялся признаться себе, — он стремился жить, как «болящий человек», мечтал об этом и в Афиловке, и особенно потом, в лагерные годы, но сейчас, когда достиг, чего хотел, вдруг увидел, что обманулся, и обманулся страшно, непоправимо; он особенно остро ощутил сейчас неудовлетворенность собой не только потому, что полчаса назад испытал частицу той, другой жизни, а еще и потому, что та, другая жизнь была теперь совершенно недоступна ему: справку об освобождении, по которой Каширин мог получить паспорт и военный билет, он сжег. Он вспомнил, как на шестке, скручиваясь, превращаясь в пепел, горела тюремная справка, а он стоял, скрестив на груди руки, как победитель, и наслаждался зрелищем. Он вспомнил еще разные подробности из своей жизни — скит, молельный дом, баню на конце огорода и умирающих в ней голодной смертью Глафиру Беляеву, Клавдию Стриженову, Клавдию Приходько, Романа Селиверстова, — и все эти воспоминания только вызывали на лице его ироническую усмешку. Сколько пробыл Каширин в лощине, он не знал, время промелькнуло быстро: когда он, разминая затекшие и застывшие от сырой земли ноги, вышел на тропинку и направился домой, было уже далеко за полночь. Он шагал неторопливо, то и дело поглядывая на косогор, над которым давно угасло зарево пожара, и ненависть к людям, всегда жившая в Каширине, жгла его душу.

- Гады!
- Гады!
- Га-ды!

Он бросал эти слова всем людям; бросал потому, что ему было тяжело в эту минуту. Но он не чувствовал себя сломанным и подавленным, а напротив, мрачные размышления и то гнетущее состояние, то чувство почти отчаяния, с каким он мысленно выкрикивал слова, обращаясь к невидимым, к тем, что, по его предположению, все еще стояли за косогором, у догоравших складов, — то чувство почти отчаяния сменилось злой решимостью; что не удалось совершить в Афимовке, он повторит здесь, в Пятитрубинске, но теперь будет действовать более осмотрительно, более скрытно, и помещение для «попросившихся в рай» подыщет более подходящее, чем та деревенская баня; Каширин обрадовался этой мысли, как находке, потому что она, эта мысль, и отражала его настроение — суд и заключение сейчас не пугали его, потому что он был уверен, что все сможет сделать так, что никто не узнает, — и, главное, давала ответ на мучивший его вопрос о деньгах, которые кончались и которые нужно было непременно где-то добывать.

«Будут деньги!»

Он так и не заснул в это утро.

Но хотя он и не заснул, он был настолько поглощен своими думами, что все равно не услышал, как там, наверху, прошла Екатерина по комнате, как откинула половики и открыла крышку лаза; ее негромкий нежный голос: «Вставай, завтрак готов...» — прозвучал так же неожиданно, как всегда, и Каширин, повернувшись и открыв глаза, увидел в просвете ее улыбающееся лицо и пальцы, впившиеся в край половиц; он тоже хотел улыбнуться в ответ, но улыбки не получилось; обычно он весело говорил ей: «Сейчас, Катя», — и тут же принимался одеваться, — он и сейчас сказал ей те же слова и, сбросив с себя одеяло, потянулся за брюками, но в тот момент, когда брюки уже были у него в руках, он вдруг почувствовал, что ответил Екатерине резко; он это почувствовал и нахмурился, потому что все сегодня раздражало его: и что он не спал, и собственный голос, и улыбающееся лицо все еще не отходившей от лаза Екатерины, и даже пуговица на ширинке, которую Каширин никак не мог ухватить пальцами; он старался подавить

в себе раздражение, но не мог и только еще больше негодовал и нервничал. Что-то было не так в это утро, Каширин понимал, что что-то надорвалось в нем самом, но что — он снова мысленно проклял ту ночную прогулку и пожар; но причина его раздражения крылась в другом: сегодня у него не было приятного пробуждения, и он не почувствовал себя, пусть на минуту, добрым семейником, хозяином, а сразу окунулся в тот затворнический мир, в котором жил, со всеми его беспокойствами, тяготами и главной заботой о деньгах, со всей теперь осознанной неудовлетворенностью и мрачной думой о том, что все же придется кого-то «благословлять» на голодную смерть, иначе — сам от голода протянешь ноги. Хотя Каширин ночью после пожара и решился на такое «дело», но сейчас колебался, вновь мысленно перебирая все «за» и «против», и оттого, что сегодня у него не хватало смелости и твердости, — это тоже раздражало его. Все время, пока сидели за столом и завтракали, Каширин не проронил ни слова. Он и потом, когда Екатерина, помолившись и убрав со стола, под села к нему и спросила, что с ним, почему мрачен, не захворал ли, — односложно ответил: «Нет», — и тоном, и движением головы, и взглядом нахмуренных глаз давая понять, что не хочет не только отвечать на ее вопросы, а что вообще не желает ни о чем разговаривать, что ее нежная заботливость сейчас в тягость ему, и что, в конце концов, есть вещи посерьезнее, чем те, о которых она только и может говорить: о мыле, муке, о белых нитках, из которых хочет связать широкие кружева особенного узора для праздничных наволочек, — уже сто раз говорено об этом и сто первый разговор ни к чему, кроме расстройства, не приведет. Он так сказал свое «нет», что Екатерина больше уже не осмеливалась тревожить святого отца; она ушла на кухню, и Каширин сквозь открытую дверь видел, как она сбрасывала с плиты конфорки и устанавливала бак с водой — в этом баке обычно замачивали и кипятили белье перед стиркой и еще грели воду для крещения младенцев; Каширин не знал, для чего Екатерине нужна была сегодня горячая вода, но вид бака и громыхавших конфорок был так же неприятен ему, как все в это утро, и потому он глядел исподлобья, зло; он подумал, что Екатерина все же решила стирать, и ко всей неуютности, которую сегодня особенно ощущал святой отец, прибавилась сейчас еще воображенная картина стирки: сорванные с окон занавески, мокрое белье

на табуретках, хлопья пены и ведра с грязной мыльной водой. и, главное, запах хозяйственного мыла, кислый трупный запах, заполнивший все уголки комнаты, — ко всему неуютному прибавилась еще и эта воображенная картина. и Каширин совсем помрачнел. Чтобы не наговорить резкостей и не нагрубить, он решил спуститься в подполье; это нужно было сделать еще и потому, что он, против обыкновения, хотел теперь тишины и одиночества — один на один с собой и со всеми думами. чтобы разобраться в нахлынувших сомнениях; не через лаз, не как всегда, а через кухню и сенцы, через второй ход направился святой отец в свою келью; когда проходил мимо Екатерины, услышал негромкий возглас:

— Тельнягины крестить принесут...

— Сегодня? — остановившись и не оборачиваясь, удивленно спросил Каширин, для которого это, хотя он обо всем хорошо знал и даже сам позавчера назначил крестины именно на сегодняшней день, было сейчас совершенной неожиданностью.

— Вот должны подойти.

— Воду готовишь?

— Да.

— Ладно, как придут, позовешь.

«Тельнягины, Тельнягины...» Пока спускался по лестнице, пока откидывал защелку и открывал дверь в подполье, думал о Тельнягиной, низенькой, полной, говорливой и суетливой старухе: она не пропускала ни одной службы и всегда смотрела на Каширина с таким умилением, как на бога, — святой отец вспомнил сейчас об этом, и воспоминание доставило ему несколько приятных минут; он ухмыльнулся, представив круглое и совсем почти не морщинистое лицо старухи и то, как она всегда старалась во время служений быть в первом ряду, с какой искренностью и усердием крестилась и отбивала поклоны тусклым иконам; Каширин ухмыльнулся, вспомнив обо всем этом; но когда сел на не застланную и не заправленную одеялом — одеяло лежало комом, потому что Екатерина еще не спускалась в келью и не убирала ее, — железную кровать, когда зажег свечу и в расступившемся полумраке увидел божницу и тощих длиннотелих святых с выпученными в скорби глазами — они всегда казались ему мертвецами, выглядывающими из гробов; когда увидел стены, когда-то грубо оштукатуренные глиной с соломой, потом подновленные Екатери-

ной, побеленные ею и теперь вновь потускневшие от сырости и местами полосатые от потеков, когда заметил грудку деревянных крестиков под божницей, больших и малых, выструганных им же самим из сосновых плашек — он нагнулся, поднял крестик и с хрустом раздавил его пальцами; когда вся обстановка подполья, когда-то даже радовавшая его, теперь мрачная и гнетущая, как тяжесть, вдруг навалилась на плечи и на секунду заставила оцепенеть, — те мысли, тяготившие Каширина все утро, пока он, ворочаясь с боку на бок, пытался заснуть, вновь захватили его воображение. Хотя он и теперь не был уверен, совершит или не совершит задуманное тогда, после пожара, но теперь сомнения не мешали ему мысленно подыскивать помещение, в котором можно было бы, не боясь разоблачения, поместить «благословленных на голодную смерть» (о тех, кого будет «благословлять», еще не думал, потому что этот вопрос ему казался менее сложным: всегда в округе можно найти двух-трех очень обиженных и неудовлетворенных жизнью); он перебирал в памяти все сколько-нибудь возможные варианты: во дворе, в сарае, правда, там дощатые стены и разговор или стоны могут услышать соседи: в давно-давно заброшенной зимовке, что выше «святых ключей» по щели, но там только одни глинобитные стены и надо мастерить крышу, и к тому же еще одно неудобство — слишком далеко, а за «благословленными» необходим строгий присмотр, «дабы земные искушения в какие-то часы не показались им выше благостей рая и не надломили их смиренные и решительные христианские души»; но, может быть, лучше всего здесь, в подполье? Он снова оглядел полусумрачные углы кельи, лики святых на полках, грудку крестиков и свою железную кровать и подумал, что, пожалуй, лучше всего, конечно, поместить «благословленных» здесь; четверо, пятеро — вполне поместятся; Каширин живо представил, как они будут лежать на полу, съжившиеся, укрытые пиджаками и шальями, — ничего, кроме одежды на себе, он не разрешит им взять с собой, — а на божнице, перед Христом, будет гореть свеча, небольшая, слабая, чтобы только чуть рассеивала мрак; свеча должна гореть и днем, и ночью, так будет больше таинственности и «святости» в том, что совершится здесь; «пред очами бога никакие искушения не сильны»; он еще подумал, что теперь не будет выводить их на прогулки, а чаще станет читать евангелие, читать по ночам; он уже увидел себя, как входит в подполье с еванге-

лием в руках, и «благословленные» протягивают к нему моляще ладони. Воображенная картина не только не пугала, но, напротив, радовала и ободряла Каширина, потому что он больше думал не о мучениях и ужасах, которые придется испытать «благословленным», — потом их всех можно похоронить во дворе, прямо в сарае; выкопать поглубже яму и похоронить, — а о том, сколько добра снесут к нему те самые «благословленные»; он уже мысленно перебирал руками это добро, алчно прикидывая, сколько лет сможет жить беззаботно, не думая ни о кончающихся деньгах, ни о завтрашнем хлебе; это будущее так взволновало его, что он встал и начал прохаживаться от стены к стене — четыре шага туда, четыре обратно, — то потирая лоб и виски ладонью, то закладывая руки за спину. Как тогда, после пожара, ненавидя и злобствуя на людей, он кричал им: «Гады! Гады!» — теперь всей своей мыслью бросал тем же людям вызов, злорадствуя и заранее наслаждаясь содеянным; он не вспоминал сейчас об отобранном отцовском доме — это жило в его крови, было такой же неотъемлемой частью, как рука, нога, пальцы; оно, это с детства внушенное чувство, было незримым компасом, всегда и всюду руководившим его поступками, — сейчас он сквозь отдаление годов только на какой-то миг услышал торжественные и назидательные слова старца Филиппа: «Смотри, сын божий Григорий, смотри и внимай ухом и сердцем: в этом доме жил твой отец...» — только на миг услышал этот шепот старца, и в памяти воскресли все прожитые годы, которые он мог бы прожить совсем не так, как прожил. Он ходил от стены к стене и повторял: «Здесь, в подполье. Здесь, именно здесь!»

На приглашение Екатерины пройти в комнату или, по крайней мере, присесть на табуретку прямо тут, на кухне, старуха Тельнягина только благодарно кивнула головой и продолжала стоять у порога; она зашла лишь на минуту, чтобы узнать, как чувствует себя святой отец и будет ли сегодня крестить. Наклоняя голову и взглядом указывая на подполье, старуха полушепотом спросила:

— Почивает?

— Да, — ответила Екатерина и тоже взглянула на подполье. — Почивает, — повторила она тише, будто и

в самом деле боялась разбудить того, о ком спрашивала старуха Тельнягина с обычной своей робостью и благоговением, потому что знала о монахе и святом отце только то, что должна была знать, что выставлялось на показ, как само смирение и непогрешимость; но Екатерина, зная и то, что знала старуха Тельнягина, и другое, чего никто не знал, кроме нее самой, сожительницы монаха, и что мучило ее, особенно теперь, когда отношение Каширина к ней вдруг резко изменилось, — она совсем иначе, чем Тельнягина, взглянула на подполье и, тяжело и скорбно вздохнув, произнесла: «О господи!» — перекрестилась.

Старуха Тельнягина между тем тоже вздохнула и перекрестилась и тоже произнесла: «О господи!» — и еще, шевеля только одними губами и не отрывая глаз от половиц, поблагодарила всевышнего, который «не забыл о них, пятирубинских старухах, и для успокоения и навящую радость их послал им святого отца»; ее старческое лицо выражало и умиление, и в то же время тревогу, потому, что она искренне верила в затворническую жизнь монаха Григория, будто он действительно питался лишь одним черным хлебом и водой, как об этом постоянно твердила Екатерина, и выходил из кельи только на служения, а все другое время неустанно молился, и эти молитвы, это «общение с богом» поддерживало в нем «плоть и веру»; старуха Тельнягина так думала и потому по-своему восприняла беспокойный взгляд Екатерины и то, как та тяжело и скорбно вздохнула, и была благодарна ей за это.

— Садитесь, — снова проговорила Екатерина, спохватившись и пододвигая табуретку гостье.

— Спасибо, матушка, спасибо, милая, — торопливо ответила Тельнягина, опять своим отказом давая понять, что пришла ненадолго.

Однако Екатерина, вначале совсем не желавшая разговаривать, но теперь почувствовавшая облегчение оттого, что в доме был чужой человек, что этот человек даже просто своим приходом нарушил неприятное и угнетавшее ее все утро течение мыслей, — все больше ободряясь и приходя в то обычное состояние оживленности, когда чужие заботы становятся так же близки, как и свои, она уже не хотела отпускать старуху Тельнягинину, основательно не поговорив с ней. С той доброжелательностью в голосе, с какой могут обращаться друг к другу только близкие люди, — между прочим, верующие любили Екатерину

именно за эту доброжелательность, и, кто знает, к святому отцу или больше к ней приходили многие из них, — Екатерина спросила:

— Зять-то что, согласен?

— Мила-ая, да разве ж уговоришь этого безбожника? По его, хоть век некрещеным ходи. А я — изведусь ведь; изведусь, матушка: как же внучка некрещеная, да она и года не проживет, и благодати божьей не увидит. Господи, что я говорю!

— Правильно говоришь: все под господом ходим. Бог дает, бог и прибирает. Зять-то, значит, против?

— Куда как не против, и слышать ничего не хочет. Да его нынче, матушка, нет дома, уехал.

— Куда?

— На другой рудник опыту набираться.

— Надолго?

— Месяца на два.

— Так вы ему и не пишите об этом.

— Само собой, ни слова. Ну как, — Тельнягина снова, кивнув головой, указала взглядом на подполье, — сегодня можно?

— О чем разговор. С его добротой-то...

— Уж что добр, то добр.

— Присела бы, что ли, — и Екатерина опять, почувствовав, что разговор вот-вот может оборваться и тогда старуха Тельнягина уйдет, пододвинула ей табуретку. И тут же, чтобы ни секунды не молчать, принялась расспрашивать о том, кто будет крестной матерью, и, узнав, что в крестные Тельнягина хочет попросить ее, сейчас же согласилась, не преминув добавить, что делает это не только из уважения, но от всей души; потом полюбопытствовала, кого взяли в крестные отцы, и когда выяснилось, что с крестным отцом вообще еще ничего не улажено, что те, кого Тельнягина просила, отказались, а других она не знает, и что делать, как теперь быть, тоже не знает, — Екатерина услужливо предложила позвать деда Прокопа, их недалевого соседа, но, разумеется, надо сперва «ублажить» его. Что дед — это ничего; и что он уже около двух десятков раз был крестным и не помнил даже имен тех, кому теперь доводился названным отцом, — это тоже ничего; главное, чтобы был мужчина, чтобы в точности соблюсти обряд.

Довольная Екатериной и святым отцом, которого сегодня еще не видела, но о котором думала только с бла-

гоговением, и больше довольная собой, что так легко, по ее мнению, и удачно условилась о крещении и что все, что нужно для полного соблюдения обряда, теперь будет. — довольная всем этим и с благодарностью думающая о боге, потому что «все добро на земле исходит только от него», старуха Тельнягина поклонилась Екатерине и назвала ее теперь, на радостях, не просто матушкой, а матушкой-заступницей. И хотя Екатерина все еще не хотела отпускать гостью, старуха Тельнягина, не прощаясь, а только сказав: «Я скоро, я сейчас», вышла из кухни. Ей надо было еще «ублажить» деда Прокопа, как советовала матушка-заступница, а потом идти за дочерью и внучкой, которые уже собрались и только ждали ее прихода.

Вода уже была теплой, но Екатерина не стала снимать бак с печи; она прошла в комнату, намереваясь заняться уборкой, смела тряпкой пыль с подоконников, с комода и впервые за все время жизни в Пятитрубинске сейчас почувствовала, что ей неприятно заниматься этим, что она устала и лучше сесть и отдохнуть; она села как раз напротив окна, напротив половика, закрывавшего лаз в подполье, и мысли ее, хотела она или не хотела этого, невольно обратились к нему; несколько секунд она сидела тихо, не шевелясь, прислушиваясь, стараясь догадаться, что делает святой отец, но не услышала ни звука и подумала, что, может быть, он действительно почивает, как заметила старуха Тельнягина, он почивает, а ей, Екатерине, в эти минуты так тяжело, что она даже не может плакать. У нее было свое горе, о котором пока знала лишь она одна, — она забеременела. Но страшна была не сама беременность, не то, что ей теперь придется искать бабу, хотя и это пугало ее и вызывало тревогу, — страшно было другое, то, что об этом могут узнать верующие. Екатерина думала так, как подумал бы об этом Каширин; она жила его мыслями, его расчетами, и сейчас, представляя в воображении то, что может произойти, когда все обнаружится, ужасалась и стыдилась не столько за свой, как за его позор, монаха и святого отца. Именно потому, что она так думала, особенно остро переживала изменившееся к ней отношение Каширина. Будто он уже знал обо всем, чувствовал беду, считал виноватой во всем ее, Екатерину, и потому теперь злился и ненавидел ее. Он и сегодня, когда Екатерина утром под села к нему и хотела рассказать о своем горе, — раздраженно ответил: «Нет!»

Так же как старуха Тельнягина, не зная ни дум, ни переживаний Екатерины, по-своему восприняла ее грустное настроение, — точно так же теперь Екатерина, не зная и даже не догадываясь о том, что тревожило и угнетало святого отца, по-своему истолковала перемены, произошедшие в нем, и оттого еще больше мучилась; но она, если бы даже и хотела, не могла мыслить иначе, чем мыслила, не могла сейчас проникнуться иным чувством, чем то, какое испытывала.

Она не заметила, как мимо окон прошла старуха Тельнягина с завернутой в одеяльце внучкой, как следом за ней прошли еще двое: такая же низенькая, как мать, светловолосая дочь Тельнягиной, и длинный и тощий, как фитиль, дед Прокоп; Екатерина спохватилась и пошла встречать их, только когда заскрипела наружная дверь и в сенцах послышались голоса и шаги.

В переднем углу, перед иконами, возле которых торчали теперь зажженные свечные огарки, заливая своим особенным, колеблющимся светом лики святых и тусклые, потемневшие, почерневшие и оттого непонятно из чего сделанные узорчатые оклады икон, — перед этим домашним иконостасом, как называл божницу Каширин, перед которым он каждый вечер, облачаясь в черный монашеский наряд, проводил богослужения, установили сейчас на двух табуретках еще не старое оцинкованное корыто и налили в него теплой воды. Все это делала Екатерина, в то время как старуха Тельнягина с внучкой на руках, дочь Тельнягиной и дед Прокоп, хорошо, как видно, «ублаженный» и по случаю уже пропустивший стопку горькой, стояли посреди комнаты и молча наблюдали за приготовлениями; потом к корыту подошел Каширин, освятил его шестиконечным церковным крестом и, зайдя со стороны иконостаса и засучив широкие и длинные рукава своего монашеского одеяния, негромко, но властно и так, чтобы могли слышать все, сказал: «Ну!» — и поднял над корытом оголенные волосатые руки. Те несколько минут, пока старуха Тельнягина, торопясь и роняя пеленки, раздевала внучку, а мать девочки, Тельнягина-младшая, бледная, еще не окрепшая после родов, развернув полотенце, которое должна была передать Екатерине, но не передав его, а прижав ладонями к груди, глядя только на своего

ребенка и думая только о нем, продолжала растерянно стоять посреди комнаты; пока дед Прокоп, сразу же переставший улыбаться, и Екатерина, снявшая фартук и вытеревшая о него руки, готовились к торжественному событию, — Каширин, мрачный и злой и не скрывавший своей злости, смотрел на маленькое розовое тельце девочки. Девочка не плакала; она была полненькая, круглая и так доверчиво и, казалось, осмысленно глядела на святого отца, так трогательно, умилившись и окончательно осчастливив этим своим поступком бабушку, тянулась ручонками к иконам и зажженным свечам, — Каширину казалось, что девочка протягивает ручки к нему, — и все в этом нежном, живом, бесконечно глупом и бесконечно доверчивом существе светилось такой чистотой и непосредственностью, что даже у Каширина на мгновение расправились нахмуренные брови, посветлело лицо, и он, на секунду отключившись от всех иных дум и размышлений, не просто держал руки над корытом, а протягивал их к ребенку, приглашая его к себе и даже слегка поигрывая пальцами. Но он снова нахмурился и помрачнел, едва лишь перевел взгляд на подходивших к купели деда Прокопа, старуху Тельнягину и особенно Тельнягину-младшую, которая, он сразу почувствовал это, боялась его, именно боялась, а не благоговела перед ним, и худые руки ее, чуть-чуть приподнятые руки матери, казались ему страшными и когтистыми, как у львицы. Каширин полуприкрыл глаза, чтобы никого не видеть. Но теперь, когда он смотрел вниз, на воду, он вдруг отчетливо услышал голос старухи Тельнягиной — она передавала внуку Екатерине и настойчиво твердила: «Ладонь под головку. Ладонь под головку». Ее голос, торопливый и нежный, и то, что она делала, было простым, обыденным, житейским, и в другое время Каширин вовсе не обратил бы на старуху внимания, но сегодня — как раз то, что было обыденным, житейским, вызывало в нем особенную неприязнь; он чувствовал, как снова поднималась в нем и закипала беспричинная к этим, пришедшим крестить, но причина ко всем людям зависть и злость; не в силах подавить в себе это чувство, он продолжал нахмуренно смотреть на воду, на край корыта и клетчатое платье Екатерины, прижатое к корыту. Ему было сейчас все равно, что он будет делать; зачем делать; он старался только не забыть имя, каким должен окрестить девочку, и то и дело повторял его, шевеля губами: «Настасья, Анастасия».

Он принял девочку из рук Екатерины и сразу же почувствовал, что тельце у девочки горячее; он ощутил это даже прежде, чем увидел в своих ладонях маленькое голенькое существо, по-прежнему тянувшееся ручонками к освещенным иконам; первое, о чем он подумал, это — у него холодные руки; но у Каширина не были холодными руки, он знал, и оттого вторая мысль, возникшая следом за первой, что, может быть, девочка простужена и у нее начинается жар, — эта мысль сильнее всколыхнула его и заставила вздрогнуть. Держа девочку над корытом с водой и не решаясь пока, крестить или не крестить сейчас, он посмотрел на Екатерину — на лице ее тоже была тревога, она тоже заметила то, что заметил он, и он подумал, что, наверное, все же надо отложить крещение, и уже, чуть вскинув голову, хотел сказать об этом, но старуха Тельнягина, стоявшая рядом с Екатериной и все так же улыбавшаяся, неожиданно громко, как только что говорила Екатерине, сказала святому отцу: «Ладонь под головку, батюшка, под головку», — и ее опять обыденно и по-житейски прозвучавший голос вновь неприятно обжег Каширина; он еще несколько мгновений колебался, начинать или не начинать, но тут девочка, до сих пор спокойно лежавшая у него на руках, вдруг заплакала, и лицо ее, только что белое, нежное, сразу же налилось краской; и лицо старухи испуганно преобразилось, а Тельнягина-младшая, робко прятавшаяся за спину матери, смотрела теперь из-за ее плеча — Каширин уловил этот взгляд — не просто боязливо, а боязливо-ненавистно, будто он, монах и святой отец, был для нее вовсе не монахом и святым отцом, а палачом ее ребенка, — Каширин точно угадал ее мысли; негодуя и уже не думая о последствиях, а стараясь лишь поскорее закончить начатое, чтобы разом избавиться и от пронзительного детского плача, и от этих неприятных испуганных лиц, окунул девочку в почти остывшую воду, потом снова поднял над корытом и еще с минуту держал, читая совсем ненужное в таких случаях благодарение богу.

Передав девочку названому отцу и вытерев поданным полотенцем руки, Каширин продолжал стоять на том месте, перед корытом, и так как ему не хотелось ни на кого смотреть, и он глядел вниз, на воду, — по звукам, шороху и негромким переговаривающимся голосам вполне представлял себе то, что происходило в комнате; он не видел, у кого была сейчас завернутая в теплые пе-

ленки и затихшая девочка, но знал, что у старухи, и еще знал, что старуха теперь снова счастливо улыбается, и что даже Тельнягина-младшая, — эта счастлива не тем, что дочь окрещена, а тем, что все окончилось благополучно, — тоже улыбается, хотя, может быть, в душе еще не прошел испуг; Каширин с усмешкой представил себе эти преобразившиеся теперь лица и хотя вполне был удовлетворен собой и тем, что совершил, — все же и он чувствовал тревогу; но чужая беда никогда не волновала его так, как своя; он забудет и о крещении, и о девочке, едва Тельнягины и дед Прокоп покинут комнату, и вспомнит об этом лишь много недель спустя, когда опять окажется на скамье подсудимых, и среди двух десятков свидетелей и пострадавших увидит старуху Тельнягину, неузнаваемо исхудавшую, и услышит ее дрогнувший, совсем не похожий на тот обыденный и по-житейски спокойный голос: «Умерла... после крещения...» Но — это будет потом; еще ни Каширин, никто в комнате не знает, что будет даже завтра; святой отец стоит все на том же месте, перед корытом, и видит ноги и юбки подошедших к нему, кланяющихся и благодарящих его Тельнягиных.

— Господь с нами, и он не покинет нас. Ступайте с богом.

Тельнягины ушли.

Едва захлопнулась за ними дверь, Каширин подошел к столу, взял зеленую трехрублевую бумажку, оставленную старухой за «труды», повертел ее в пальцах и тут же безгласно бросил на стол; потом, скрестив на груди руки, остановился у окна и сквозь тьмелую занавеску стал наблюдать за пустынной улицей. Но в то время так он смотрел на улицу, все его внимание было сосредоточено на том, что сейчас делала Екатерина. — Она потушила свечи перед иконами и, принеся в руках большой и старый этот ворох тряпье корыта, принялась выкладывать перед вами тряпье и тряпичную пену (она выжала уже столько воды, чтобы, как она говорила, не пролилась еще ни капли воды в каждый раз Каширин выслушивая ее, слыша как она замечивала беду в комнате, и тогда слышал этот активный трупный запах, проникая дождь хриплый звук в подполье, выходя в комнату, но старуха, как вы знаете даже не переставала вытирать, а как вы знаете вытирала иконostasом); еще не обнаруживая в комнате ни капли всплески воды и шумовых ваташавалов в комнате, слышал стыней. святой отец с дедом и подумал, что...

хотел было уже поругать Екатерину, но, повернувшись и увидев ее, склоненную над ворохом белья, ее спокойное лицо, волосы, заплетенные в косу и уложенные на затылке, — сказал совсем не то, что хотел сказать; он просто пригласил ее сесть рядом и поговорить; он почувствовал, что может отдохнуть рядом с ней от всего того, что мучило его сегодня все утро, и ему теперь захотелось сказать Екатерине несколько ласковых слов, как, бывало, говорил ей раньше, в первые месяцы совместной жизни; но когда Екатерина, стряхнув с рук мыльную пену, присела на стул, Каширин опять произнес совсем не то, что думал; он спросил у нее как раз то, о чем намеревался спросить еще до прихода Тельнягиных, еще когда был в келье, ходил от стены к стене и, негодуя на всех людей, замышлял свое страшное дело с «благословением».

— У кого из верующих ты была дома?

— У многих.

— У этой, как ее, у горбуны?

— Была.

— У Журавиной?

— Была.

— У Ксента?

— Ходила. Кропила углы святой водой.

— Углы святой водой, — повторил Каширин, медленно выговаривая слова, будто смысл, который они содержали, был настолько непонятным и трудным, что требовалось определенное время, чтобы все осмыслить и уяснить. — Та-ак, — протянул он, усаживаясь на стуле поудобнее, как перед большим и долгим разговором. — Ну-ка давай обо всех и поподробнее.

Екатерина, вначале обрадованная тем, что Каширин пригласил ее присесть рядом, обрадованная, главное, его ласковому тону и тому, что сможет наконец сейчас рассказать о своей беременности и потом вместе решить, что ей делать, — теперь, услышав эти неожиданные и странные вопросы и ничего пока не понимая, зачем нужно святому отцу знать разные домашние подробности о жизни верующих, — приходят, молятся, приносят пожертвования, что еще надо! — была озадачена; вглядываясь в нахмуренное и сосредоточенное лицо святого отца, она принялась рассказывать, что знала; Каширин не перебивал ее, а только время от времени произносил: «Та-ак», — и в этом «так» Екатерина, тревожась и недоумевая, чувствовала недоброе. Но она, потому что

ее мучила своя боль, свое несчастье, так и не смогла понять, что же такое недоброе задумал святой отец; только спросила:

— Для чего тебе это, Гриша?

Он ответил:

— Надо.

Ответил деловито и просто, будто речь шла о заготовке дров на зиму или картофеля.

Глава пятая

Иван Евдокимович Шевелев тоже был на пожаре, только он бежал к горевшим складам не по меже, не со стороны пшеничного поля, как Каширин, а совсем с противоположной, от товарных тупиков, и потому очутился на складском дворе, вместе с двумя десятками смельчаков он выносил из охваченных пламенем зданий аккумуляторы, выкатывал автомобильные покрышки, выбрасывал камеры и еще поднимал и выносил разные запасные части в коробках и без коробок; кашляя, задыхаясь от удушливой гари, изнемогая от жары и в то же время чувствуя, что есть силы, он опять и опять бросался в распахнутые двери склада, и, когда выбегал с очередной ношей, видел только ревушую толпу во дворе, именно ревушую, так казалось ему, пожарные машины, темные в отсветах огня, длинные шланги, лестницы, каски, струи воды; он всего лишь стряхнул с пиджака сажу и горевшие угольки, когда обломок обугленной стропилины обрушился на его плечо; только через полчаса, когда пожар был потушен, но люди, возбужденные событием, все еще не расходились, обсуждая подробности и глядя на дотлевающие головешки, — только через полчаса, стоя рядом с совершенно незнакомыми ему людьми и оживленно разговаривая с ними, Иван Евдокимович вдруг ощутил резкую боль в плече; сначала он не обратил на это внимания, решив, что просто небольшой ушиб, но боль все усиливалась, и в какой-то момент он почувствовал, что болит не только плечо, но и рука, и что он не может даже пошевелить рукой; он с трудом добрался домой, а под утро машина скорой помощи увезла его в больницу. Но у него не было ни перелома, ни вывиха, просто от сильного удара отекло плечо; на третий день он уже выписался из больницы и лежал теперь дома, обложенный подушками, хотя этого совсем не требова-

лось, и то просматривал газеты, то полудремал, прикрыв веки, а когда входила жена, молча выслушивал ее упреки.

«Только подумать: не успел приехать, не успел с поезда слезть — и уже на пожар!»

«Все люди как люди, а ты у меня вечно суешься, куда не просят. Что, разве без тебя эти чертовы склады не потушили бы?»

«А костюм... пропал костюм. Куда его теперь? В ателье на фуражки?!»

«А если бы без руки остался?»

Иван Евдокимович ездил на республиканский семинар пропагандистов по научному атеизму; пожар в городе случился как раз в тот вечер, когда он после тысячеверстного пути, утомленный поездкой, но радостный, что наконец вернулся домой, одетый в свой лучший костюм, вышел из вагона на пятитрубинский перрон. Хотя он сразу же, как только приобрел билет, послал телеграмму, что выезжает, и Валентина точно знала и номер поезда, и номер вагона, но все же не пришла встречать его; она только что переболела гриппом и, боясь новой простуды и осложнений, не решилась в этот прохладный осенний вечер выйти из дому; за Иваном Евдокимовичем была послана горкомовская «Победа». Как раз в тот момент, когда он, бросив чемодан на заднее сиденье, готовился уже влезть в машину, неожиданно заметил за товарными тупиками багровое зарево. Он спросил у шофера, что бы это могло быть, и пока тот вглядывался и соображал, потому что и для него это зарево было совершенной неожиданностью (когда ехал на вокзал, никакого зарева нигде не было), — Иван Евдокимович уже сам догадался, что за тупиками горели какие-то здания, что огонь охватил, наверное, целый квартал; крикнув шоферу, чтобы ехал домой и отвез чемодан, потому что все равно вдоль тупиков на машине не пробраться к пожару, захлопнул дверцу и побежал к горевшим складам... Он лежал теперь дома, обложенный подушками, и, слушая упреки жены, думал совсем не о пожаре; он не жалел, что был испорчен костюм, — можно собраться и купить новый; и плечо заживет, не такие раны заживали; он даже был доволен, что поступил именно так, а не иначе, и потому упреки жены не тревожили его; он думал о семинаре пропагандистов по научному атеизму, на котором выступил и сказал, что живучесть сектантства в нашей стране — это прежде всего результат нашего

равнодушия, равнодушия людей к судьбам ближних, но ему возразили, что он понимает суть вопроса одно-сторонне, а председательствующий даже заметил, что можно говорить о пережитках, но никак не о результате нашего равнодушия. Зал, залитый матовым светом газовых ламп, красное полотнище во всю стену со словами приветствия участникам семинара, президиум за длинным зеленым столом и председательствующий, то ли кандидат, то ли доктор наук, — Ивану Евдокимовичу говорили, что будто бы это был кандидат или доктор сельскохозяйственных наук, и называли фамилию, но он не записал тогда, а теперь не мог припомнить, — председательствующий, то и дело постукивавший карандашом по микрофону, — все это Иван Евдокимович видел сейчас в своем воображении, и видел гораздо отчетливее, чем тогда, на совещании. Председательствующий не выходил к кафедре; поднимаясь, горбя и без того сутулую спину, склоняясь над столом и над микрофоном, он бросал в зал фразу за фразой, бросал легко, уверенно, заранее исключая любые возражения, и его голос, усиленный висевшими по углам репродукторами, казалось, прокатывался над притихшим залом. Иван Евдокимович хорошо запомнил этот голос, медлительный и твердый, и особенно запомнил заключительное выступление этого или кандидата, или доктора наук; тот говорил, что надо прежде всего разъяснять верующим бессмысленную суть религии, ее ханжеское начало, разъяснять кропотливо, работая с каждым верующим индивидуально; это было верным, но, как считал Иван Евдокимович, не главным; он так считал и был уверен в своих убеждениях, во всяком случае, до поездки на семинар. «Нелепость библейских легенд очевидна, это не трудно доказать; надо раскрыть перед верующими, кто их пастыри, почему те люди стали пастырями, ради религии или иных целей, верят ли они сами в бога или еще во что, и тогда — секта рассыплется; и тогда — можно уже начинать разговор о нелепости библейских легенд. Надо бороться с равнодушием, тогда не будет обиженных и не нужно будет им искать сострадания у «братьев и сестер во Христе» — так Иван Евдокимович написал в своих «Записках воинствующего атеиста», потому что для него, вот уже много лет подряд ведущего борьбу с сектантами, знающего о сектах и сектантах не по газетам, не из вторых рук, — для него вопрос, с чего именно начинать работу с верующими, не просто маленькое уточнение или тонкость,

а самое важное и главное в достижении цели. «Записки воинствующего атеиста» он закончил еще до поездки на семинар и не отослал рукопись в издательство лишь потому, что хотел еще раз просмотреть ее и кое-что выправить; но сейчас, лежа на кровати среди груды белых подушек и думая о семинаре, о выступлении того или кандидата, или доктора наук и о своих «Записках», он уже сомневался, стоит ли вообще посылать книгу в издательство. Как раз предпоследняя глава о людском равнодушии и найденной им третьей истине — объяснение каширинской ненависти, — глава, которую он считал самой удачной и которой гордился, сейчас представлялась ему неточной, путаной; Иван Евдокимович не мог не считаться с мнением, высказанным руководителем семинара или кандидатом, или доктором наук, знал, что так или иначе, а придется перерабатывать «Записки», переделывать именно последнюю главу, — это-то и тревожило и волновало его теперь. Но еще больше волновало воспоминание о том, как он ходил на Ново-Школьную в сектантский молитвенный дом. Это было в воскресенье, в тот день, когда многие участники семинара уже разъезжались по домам; Иван Евдокимович спустился к администратору гостиницы и сказал, что намерен задержаться в городе еще на двое-трое суток, что хочет побывать в музее, на выставке, съездить в знаменитый в этих местах бор и посмотреть пляж, о котором много слышал, но на котором никогда не бывал, — купальный сезон, правда, закончился, но лодочная станция еще работала, — и он действительно собрался ехать в бор на пляж, но в самую последнюю минуту изменил решение; не только потому, что ему, как атеисту, было интересно побывать в молитвенном доме, расположенном почти в самом центре большого города, — он бывал в разных молитвенных домах, баптистских и небаптистских, легальных и нелегальных, — и не только потому, что мог услышать там что-нибудь особенное, что потом непременно пригодилось бы в антирелигиозной работе, — просто кто-то из участников семинара сказал ему: «Сходите, сходите, не пожалеете», будто речь шла о каком-то представлении, и Иван Евдокимович, выйдя в то воскресное утро из гостиницы, направился не к остановке троллейбуса, не в сторону знаменитого бора, а совсем в противоположную, на Ново-Школьную. Он вспомнил сейчас, как в то утро сел в трамвай, как доехал до остановки «Кольцо», как затем, когда очутился на площади, увидел

на той стороне, в глубине улицы, большой четырехэтажный дом, выкрашенный в зеленое и белое; еще не пересекая площади, еще стоя у кромки тротуара и вглядываясь в тот дом, Иван Евдокимович неожиданно для самого себя почувствовал робость; это чувство еще сильнее охватило его, когда молодой человек в черном костюме открыл перед ним массивную дверь и, слегка наклонив голову и давая понять этим вежливым жестом, что не прочь видеть гостя в такой ранний час и что даже готов проводить его в зал, где с минуты на минуту начнется месса, — чувство робости еще сильнее охватило Ивана Евдокимовича, когда он, встреченный этим молодым швейцаром (он и теперь считал, что открыл ему дверь швейцар), переступил порог молитвенного дома. Молодой швейцар провел его через довольно просторный и хорошо освещенный вестибюль в зал; и хотя Иван Евдокимович, скованный робостью, больше смотрел на черную спину швейцара и в ту сторону, куда тот вел, все же успел заметить, что и в вестибюле, и особенно в зале, уже заполненном людьми, не было той убогости и скромности, какую обычно проповедают сектанты, а напротив, все здесь сверкало позолотой: и рамки с библейскими цитатами, развешанные по стенам, и дверные ручки, и люстры, театрально-роскошные, и, главное, орган из темного полированного дерева и посеребренных труб, которые, как тонкие сверкающие колонны, тянулись к самому потолку; у клавиатуры на маленьком стульчике и маленький по сравнению с огромным органом сидел пожилой человек; повернув седую и наполовину уже лысую голову, он смотрел в зал, но Ивану Евдокимовичу казалось, что он смотрит прямо на него, шагающего между скамеек к первому ряду, где виднелось несколько свободных мест; ему казалось, что все в зале смотрят на него, хотя это было совсем не так: все смотрели в это время на небольшую боковую дверь чуть левее органа, откуда должен был вот-вот появиться девяностолетний старец Катков; по воскресеньям он обычно служил мессу сам, и потому верующие, которым этот старейший пресвитер представлялся самим богом, с нетерпением ждали его появления, — но Ивану Евдокимовичу казалось, что все смотрят на него, и потому он, хотя и старался держаться прямо, гордо, все же невольно сутулил плечи, а когда сел на указанное место, в первые секунды смотрел только вниз, на свои ноги и ковер под ногами, самый обыкновенный

узорчатый ковер, какие расстилают в гостиных или вешают на стены. Все эти секунды он боролся со своей робостью, но как ни старался внушить себе, что не он должен робеть, а они, эти по-праздничному одетые и заполнившие зал люди, однако не мог избавиться от неприятного, пробежавшего по спине озноба; было такое ощущение, будто он вошел не в освещенный зал, а в темную пещеру, полную неожиданностей; он и теперь, вспоминая, чувствовал ту же неловкость, робость и даже боязнь; но ни тогда, ни сейчас, когда у него было столько времени для размышлений, он не мог уяснить себе, отчего эта робость: оттого ли, что все здесь выглядело необычно торжественно, не как в других молитвенных домах, в которых приходилось бывать Ивану Евдокимовичу, или просто оттого, что это был совсем иной мир, иная жизнь, далекая от той, какую он видел вокруг?.. Он не заметил, как в боковой двери появился Катков; лишь по тому, как вздохнул и притих зал, как легкий шорох прокатился по рядам, понял, что что-то произошло; в следующее мгновение услышал мягкий шум шагов, потом увидел ноги шагавших к пресвитерской кафедре — три пары ног, обутых в черные и начищенные до блеска туфли; потом увидел самого Каткова — его поддерживали под локти двое молодых людей. Девяностолетний старец, совершенно белый, с трясущейся бородой и трясущимися худыми, совсем почти высохшими руками, шагал медленно; он прошел мимо хора, мимо проповедников и ведущей двадцатки и опустился на скамью рядом с пресвитером городской общины; как только дрожащие руки его раскрыли библию, маленький лысый человек, сидевший у органа, нажал на клавиши, и в зал полились величественные и торжественные звуки будто знакомой и будто совсем не знакомой Ивану Евдокимовичу мелодии. Сначала играл один орган; потом запел хор; он славил бога перед началом мессы, и все собравшиеся в зале и сидевшие лицом к залу проповедники, пресвитер городской общины и даже этот девяностолетний полубог с трясущейся белой бородой — все, склонив головы, шептали молитвы, и лишь Иван Евдокимович, теперь немного осмелевший, смотрел прямо поверх голов; он смотрел на старца Каткова, на его желтые, обхватившие раскрытую библию и все еще дрожавшие руки, на лысину, блестящую и бледную от света высоких люстр, смотрел не просто потому, что было интересно, как этот немощный и высохший старик, которому только лежать в гробу,

мог еще двигаться, говорить, читать молитвы, а иное любопытство привлекало внимание Ивана Евдокимовича. Он кое-что слышал о Каткове, знал частицу биографии этого старца: Катков лежал у пулемета, когда атаман Анненков, отступая, приказал расстрелять свои полуразбитые полки, специально втянув их в узкое горное ущелье и преградив выход; атаман стоял у камня и поигрывал плеткой, а Катков лежал рядом на желтой сухой траве, разбросав ноги, и нажимал на гашетку пулемета; там, за границей, куда уходил атаман Анненков, он не хотел лишней «обу-зы», и Катков выполнял волю атамана. Это слышал Иван Евдокимович; девяностолетний старец, обнявший сейчас библию, — тот Катков. Чем больше вглядывался в него Иван Евдокимович, чем больше думал о том ужасном, что произошло тогда в узком горном ущелье (он слышал этот рассказ от матери; она ездила на подводе за телом своего отца, насильно взятого Анненковым в солдаты и убитого в том ущелье), — чем больше думал о той страшной картине расстрела, тем тверже был уверен, что этот старец — тот Катков. Шевелев уже не робел; он даже забыл, что минутой назад его спина сутулилась от неприятного озноба; и женские голоса хора, и величественные звуки органа, так поразившие воображение вначале, теперь слышались только как отдаленное эхо; Иван Евдокимович представил себе узкое горное ущелье, мечущихся в панике людей, крики, стоны, проклятья; белогвардейцы расстреливали белогвардейцев; но Иван Евдокимович думал не об этом — там были люди, были солдаты, крестьяне, насильно оторванные от плуга и поставленные под черные атаманские знамена, крестьяне, как дед Шевелева, и это было бесчеловечным и страшным; трупы, трупы, разбухшие людские трупы, и Катков на атаманской тачанке, подъезжающий по пыльной дороге к Кульдже... Спустя несколько лет Катков с Анненковым вернулся в Россию. Анненкова судили, а Катков ускользнул; на него не было улик, о его делах ходили лишь слухи; о нем и сейчас — только слухи, только разговоры, будто он еще в те двадцатые годы, еще тогда, перед возвращением в Россию, был рукоположен в пресвитеры, и рукоположен не кем-нибудь, а самим бруклинским «святым старцем».

«Господь оставил нам семь заповедей, но вы твердо должны знать одну...»

«Не убий!» «Внушите это вашим мужикам, и у Советов не будет армии». «Не убий!» «Не убий!»

Ивану Евдокимовичу казалось, что именно такой разговор происходил после рукоположения между Катковым и атаманом Анненковым; казалось даже, будто он сам когда-то слышал этот разговор, и голос черного атамана только вновь прогремел над его ухом. «Не убий!» Человек, по приказу Анненкова нажимавший на гашетку пулемета, теперь проповедовал: «Не убий!»

Шевелеву это представлялось так: сектантские молитвенные дома по захолустным деревням и городишкам России, коленапреклоненные толпы верующих и пресвитерские голоса над этими толпами, провозглашающие заповедь «Не убий». Обманутые, запуганные карой господней, мужики отрубали себе руки, чтобы не идти в армию, не брать оружия, насыпали порошу в уши, калечились и потом мучились всю жизнь и умирали, так и не узнавшие своего обмана, — их не много, но они были, эти самоискалеченные люди, и Шевелев, глядя на старейшего пресвитера, так спокойно слушавшего музыку и пение хора перед началом мессы, думал и о тех, кто с молитвой божьей на устах заносил над своей кистью топор. Он преувеличивал, думая так, но он не мог иначе; преувеличивал для того, чтоб разом ощутить всю тяжесть преступлений, совершенных тогда, в те далекие двадцатые годы, этим девяностолетним старцем. Ему казалось, что женские голоса хора и звуки органа раздаются сейчас в зале лишь для того, чтобы заглушить грохот тех пулеметных очередей, глухие удары железа о кости. Он слышал и треск выстрелов и даже, как представлялось ему, слышал шум и стоны падающих на землю безжизненных тел. По спине Ивана Евдокимовича вновь пробежал озноб, теперь уже не от робости, а от ужасов, которые он вообразил. Он мог вообразить те ужасы, потому что в эту войну сам видел, как во фронтовой деревушке отказались взять в руки автоматы трое только что призванных на службу солдат.

«Бери».

«Не могу».

«Мы живем по заповедям божьим, а заповедь гласит: «Не убий».

«Не убий фашиста?!»

«Человека».

«Трусы! Предатели!»

Он не думал тогда, что расстреляют этих троих, — от них потребовали выполнения воинского долга, потому

что не было времени на уговоры, рота готовилась в бой, и еще потому, что все было напряжено в эти первые месяцы войны: войска отступали, откатывались по пыльным дорогам, вгрызались в землю, оборонялись и снова откатывались — за Днепр, за Десну, за Северный Донец, и вместе с раздробленными колоннами тянулись обозы беженцев, подводы, подводы, плачущие ребятишки и пулеметные очереди с пикирующих «юнкеров», убитые по обочинам, убитые кони, люди, — потому что все было напряжено в те первые месяцы войны, и горечь отступления, и ненависть к фашистам, и боль за людское горе, и, главное, то, что надо снова в бой, снова с бутылками и гранатами против наползающих черных танков, — все это тогда слилось в одном гневном крике:

«Труссы! Предатели!»

Не в тот день, не в первый день десновской обороны, — их расстреляли спустя несколько суток у ветряка, изрешеченного пулями и осколками, у полуобвалившейся после взрыва дощатой стены, и расстреляли за трусость, за дезертирство по приговору трибунала (им дали лопаты и заставили рыть траншеи, но они, эти трое, как только смерклось, побросали все и скрылись в лесу). И приговор трибунала, зачитанный перед строем, и тот разговор, когда новобранцы отказались взять автоматы, — все это теперь представлялось Ивану Евдокимовичу одной неразрывной картиной.

Но не у Десны, не у дощатой стены старого ветряка, не в ту секунду, когда один за другим прогремели три выстрела и вздрогнувшие солдатские тела (Иван Евдокимович отчетливо помнил даже имена тех, поставленных к стенке, рухнули в траву), — все началось раньше, в дождливое августовское утро, когда танковые части шестой немецкой армии прорвали фронт, форсировали Днепр у Окуниново и, угрожая Киеву с севера, передовыми колоннами вышли к Десне. Именно все началось в то синее дождливое утро, и Шевелев, вспоминая, всегда представлял себе и первый бой под Окуниново у днепровской переправы, и весь путь отступления к Десне, и дощатый ветряк, где он формировал из отступавших бойцов новую роту, и все, что было потом — атаки, наши, немецкие, взрывы снарядов, грохот несмолкающей орудийной пальбы, сирены пикирующих бомбардировщиков, пулеметные очереди и осветительные ракеты над траншеями, разрывавшие ночную темноту... Он увел тогда роту на позиции; рота погибла, обороняя десновскую переправу,

и сам Шевелев, дважды раненный в руку, попал в окружение и потом почти целый месяц пробивался к своим с остатками разбитого полка; потом — он видел сотни разных смертей, но те трое, расстрелянные у ветряка, всегда вызывали дрожь; он вспоминал их уже распластанными на траве у дощатой стены; он и сейчас представил их уже лежащими, остывшими и посиневшими трупами и подумал, кто — может быть, этот старец Катков? — внушил им страх перед божьей заповедью «Не убий»? Они дезертировали, предали Родину. Откуда тянутся нити предательства? Из сектантских молитвенных домов; может быть, даже отсюда, с Ново-Школьной, и наверняка отсюда, с Ново-Школьной, из этого дома, где сейчас, перед началом мессы, хор и музыка так величественно и торжественно воздают хвалу богу. Все может быть. История еще не установила факты, Иван Евдокимович только думает, что это было так; история еще многое не установила — тысячи документов, покрытые пылью, пожелтевшие, упрятанные в бетонные хранилища, таят от людей правду эпохи; да, истории еще много предстоит установить — и героического и позорного, но Иван Евдокимович не хочет ждать, он думает и представляет себе все, о чем думает, преувеличенно, жестоко, чтобы понять самому и рассказать людям, берущим в руки библию, — смотрите, с нее капает кровь поколений...

Он лежал на кровати, обложенный подушками, и старался не шевелиться, чтобы не потревожить больное плечо; но он не хотел шевелиться еще и потому, что боялся нарушить цепь воспоминаний; он думал, кто прав — он сам, или тот, сказавший на семинаре свое неопровержимое мнение? — и чем больше думал, тем, казалось, больше запутывался и отдалялся от истины; запутывался потому, что просто робел перед тем мнением и только боялся признаться себе в том, что робел. Раньше он вычеркивал и переделывал главы своих «Записок», потому что то, что было написано им, было неприемлемым прежде всего для него самого; теперь же он должен был переделывать то, что было приемлемым для него, но неприемлемым, как он считал, для других, и потому новая работа над рукописью представлялась ему неприятной и отталкивающей. Но еще более неприятным, о чем он думал теперь, был предстоящий разговор с женой, когда

он вынужден будет объяснить ей, почему готовая рукопись вдруг опять стала не готовой, почему он снова все вечера и все воскресные дни должен просиживать в домашнем кабинете за письменным столом и жить не как все люди, а затворником. Такой разговор непременно состоится. Иван Евдокимович знал, что избежать его нельзя; и еще он знал, что Валентина в конце концов смирится со всем и все будет хорошо, но она обязательно скажет: «Зачем же ты делал то, чего делать не нужно было», скажет просто, со всей своей женской уверенностью и правотой, и он уже сейчас чувствовал растерянность перед этим ее вопросом. В самом деле, зачем он делал то, чего делать не нужно было? И он опять мысленно начал объяснять себе все сначала, почему он раньше делал в рукописи то, а не это и почему сейчас вынужден будет делать это, а не то; «можно говорить лишь о пережитках, но не о результате нашего равнодушия»; он объяснял себе, а Валентина стояла рядом и разворачивала на столике только что принесенное лекарство для втирания; Иван Евдокимович не видел ее лица, а видел только край коричневого платья и белый локоть, то исчезающий, то появляющийся в этом квадрате платья, но еще по тому, как она вошла в комнату, поспешно, молча, и по тому, что до сих пор не произнесла ни слова, и, главное, как порывисто шуршала сейчас в ее пальцах бумага, которую она разворачивала, Иван Евдокимович понял, что она опять чем-то недовольна; но он не спросил, чем она была недовольна, а покорно снял рубашку и подставил ей для растирания оголенное больное плечо.

— А опухоль у тебя спала, — неожиданно мягко и даже, как послышалось Ивану Евдокимовичу, нежно сказала Валентина, наклоняясь, разглядывая плечо и ощупывая его тонкими холодными пальцами. — Но синяк еще большой, — добавила она и покачала головой, как врач, довольный ходом болезни; но Иван Евдокимович по-прежнему не видел ее лица, а только ощущал теперь над ухом теплое, щекочущее дыхание и, ежась от этого дыхания, с удивлением думал о неожиданной и такой быстрой перемене в настроении жены. То, что она только что была чем-то недовольна, — в этом Иван Евдокимович несколько не сомневался; за десять с лишним лет совместной жизни он хорошо изучил все ее привычки и мог даже по стуку шагов определить, сердится она или не сердится; но что так быстро изменило ее настроение сей-

час? Все еще удивляясь этому и продолжая ежиться от ее щекочущего над ухом дыхания, — Валентина теперь накладывала мазь на плечо и делала это особенно осторожно, потому что Иван Евдокимович ежился, как ей казалось, от боли, — Иван Евдокимович незаметно для самого себя полностью отключился от тяготивших его дум о московской поездке и предстоящей неприятной работе над «Записками» и стал размышлять о своей семейной жизни, о Валентине, которую он когда-то, десять с лишним лет назад, впервые встретил в деревенской клубной библиотеке и которая была ему теперь самым близким человеком. Он так и не узнал, чем она была только что недовольна (она ездила в дальнюю аптеку, на третий кордон, долго ждала автобуса, а потом в автобусе было очень тесно и душно, и кто-то все время подталкивал ее локтем в спину и в довершение ко всему автобус на половине пути остановился, потому что заглох мотор, и пришлось почти четыре километра идти пешком по пыльной мостовой, а туфли она надела на высоком каблуке, — в общем, человеку нужно очень немного, чтобы испортить себе настроение); так и не узнал, почему она переменялась и заговорила ласково (она увидела, что опухоль на больном плече опала, и это было лучшей наградой за все ее хлопоты, — не очень много нужно человеку и для того, чтобы обрадовать его); он так ничего и не узнал, потому что не стал ни о чем расспрашивать; он любил Валентину именно такой, ласковой и нежной, и теперь, чувствуя ее близость, ее пальцы, мягко и нежно скользившие по телу, не хотел нарушать этой приятной минуты.

— Тебе не больно?

— Нет.

Через секунду она снова спрашивала:

— Тебе больно?

Иван Евдокимович даже подумал, что, может быть, как раз сейчас и рассказать жене о том, какая работа еще предстоит ему над рукописью «Записок», и, взглянув ей в глаза, начал было: «Знаешь что, Валя», но в это время в коридоре раздался звонок, кто-то пришел к ним в гости, и Валентина, отложив мазь и вытерев марлей руки, пошла открывать дверь.

Вскоре из передней послышался ее оживленный голос:

— К тебе, Ваня.

— Кто?

— Василий Федорович Левашов.

Иван Евдокимович улыбнулся, вспомнив, что давно уже не видел секретаря рудничного парткома, что последний раз заходил к нему перед самым отъездом на семинар, — когда Левашов узнал, на какой семинар, скептически качнул головой и заявил, что религия давно уже умерла, что она умерла еще в семнадцатом на рабочих и солдатских штыках, штурмовавших Зимний, и что теперь, спустя столько лет после революции, когда у нас сплошная грамотность, утверждать, что кто-то всерьез может поверить в существование бога, просто смешно, нелепо, удивительно, и удивительно и нелепо, что некоторые люди еще могут съезжаться на семинары и говорить об этом давно умершем деле, — Иван Евдокимович улыбнулся, вспомнив тот разговор и, главное, то, как они сухо тогда распрощались, и Левашов даже не подал руки; этот самый Левашов стоял сейчас в передней, разговаривал с Валентиной, и Иван Евдокимович хорошо слышал и то, о чем они говорили — о его здоровье — и то, как говорили, как учтиво и дружески звучал голос секретаря рудничного парткома. Неловко повернув плечо, сморщась от боли и тут же забыв про эту боль, Иван Евдокимович торопливо надел рубашку и, не дожидаясь, пока Левашов войдет в спальню, крикнул:

— Василий Федорович!..

Но Василий Федорович уже стоял на пороге, высокий, подтянутый, в своем обычном сером костюме, в каком всегда Иван Евдокимович видел его на работе, в галстукке, подвязанном модным теперь тонким узлом, и в очках, круглых и больших, придававших особенную серьезность его лицу; он сначала кивнул головой, приветствуя издали, потом подошел к постели и пожал протянутую теплую руку. Вошедшая с ним Валентина пододвинула ему стул, и Левашов, поблагодарив ее и усевшись на этот стул, достал из кармана пачку папирос и, только спросив, можно ли закурить, и не дождавшись ответа, размял папиросу, прикурил ее и бросил пачку на столик, где все еще стояла раскрытая баночка с мазью и лежали вата и марля; он проделал это так непринужденно и просто, и так мягко, с той же легкостью и непринужденностью положил спичку и стряхнул пепел в протянутую пепельницу, что даже Валентина, не любившая, когда в доме курят, улыбнулась и не только не заметила ничего неприличного в поведении гостя, но и была, как каза-

лось, польщена его учтивостью. Зато Иван Евдокимович, который знал Левашова иным, действительно учтивым и действительно вежливым, сразу же заметил, что секретарь парткома чем-то встревожен и потому закурил и так небрежно бросил пачку на стол; Иван Евдокимович особенно ясно заметил это, когда Левашов, спросив: «Ну, как себя чувствуешь, ключица не перебита?» и не дослушав, что ключица цела, задал новый вопрос: «Долго ли пролежишь в постели?» — потом еще вопрос, приходят ли врачи и кто лечащий врач, будто знал всех врачей в городе и мог дать дельный совет, но когда была названа фамилия, никакого совета не дал, а сразу же заговорил о другом, о причине пожара, возникшего будто бы оттого, что загорелась проводка на чердаке... Левашов говорил обо всем этом лишь для того, чтобы казаться учтивым, чтобы то, что действительно интересовало и занимало его и что, собственно, привело в этот дом, то, о чем он только еще намеревался рассказать, не показалось хозяевам дома главным, а чтобы главным в беседе было это — разговор о здоровье больного; и все же, когда он, достав из кармана пиджака маленький нагрудный крестик и передав его Ивану Евдокимовичу, сказал, что такие штучки штампуются на комбинате, но что обнаружилось это только вчера, что как раз перед пересменой начальник цеха принес в кабинет и высыпал на стол целую грудку таких медных крестиков, — и для Ивана Евдокимовича, и для Валентины главным в разговоре сразу же стало именно это, и Левашов, совсем забыв об учтивости, забыв, к кому пришел и зачем пришел, заговорил просто, естественно, как будто находился у себя в кабинете, и та непосредственность, казавшаяся вначале неприличной, теперь была столь же необходимой, как и все, что он делал — повышал голос, хмурил брови, жестикулировал, усиливая слова. Он возмущался, а Иван Евдокимович, который не видел в случившемся ничего необычного, — сектанты и церковники действовали и будут действовать, — для которого это было лишь звеном в длинной цепи преступлений, совершенных разного рода святыми отцами, удивлялся не тому, что на комбинате нашелся человек, слесарь-инструментальщик, который смастерил ручной прессовальный станок и тайно штамповал на нем из медных пластинок крестики, — удивлялся другому, тому, что в городе определенно свирепствует большая группа сектантов (он даже подумал, какая община: только община последователей истинной

православной церкви может заказать крестики), а он ничего об этой группе не знает; он вспомнил процессию со святой водой, которую видел в горах, пророчицу, которая так понравилась ему тогда, — еще тогда он подумал, что есть в городе секта, и хотел заняться ею, но все откладывал, потому что заканчивал «Записки атеиста», был занят по вечерам, и вот — секта вновь проявила себя, но уже не процессией со «святой водой», а крестиками.

— Что же он сказал? — спросил Иван Евдокимович; возбужденный разговором, он уже не лежал, а сидел на кровати, высунув из-под одеяла и свесив босые ноги. — Он сказал, для кого делал крестики?

— Дело в том, что он ничего не хотел говорить. Я считаю, самое страшное именно в том, что он ничего не хотел говорить.

— Но все же для кого-то он делал крестики?

— Так он сказал: для того, для кого делал, того в городе сейчас нет, а придет только к концу месяца. Но как этому верить?

— Значит, за каз был со стороны.

— Следственные органы точно установят, со стороны или не со стороны; дело тут еще вот в чем, — Левашов снова полез в карман и, достав бумажку и развернув ее, прочел: — «Политотдельская, 3». Дело тут еще вот в чем. Этот адрес мне дал один наш рабочий. Он живет там же, на Политотдельской. Так он говорит, что в доме, что напротив его окон, каждый день собираются верующие, молятся, поют псалмы; говорит, будто бы даже и детей там крестят, уверяет, что сам своими глазами видел.

— На Политотдельской... какой номер?

— Три.

— Валя, Валюша, запиши-ка, пожалуйста, этот адрес, — сказал Иван Евдокимович жене, которая была на кухне и теперь только-только вновь появилась в спальне; проследив за тем, как она взяла из рук Левашова развернутую бумажку и направилась к письменному столу, Иван Евдокимович, повернувшись к секретарю парткома и теперь опять обращаясь к нему, заговорил: — Этот адрес я ищу с самой весны. Помните, я рассказывал вам о процессии со «святой водой»? Я тогда еще чувствовал, что они где-то собираются, где-то молятся, но где, в каком доме?.. Вы очень хорошо сделали, что записали этот адрес. Там молитвенный дом,

там мы найдем развязку «крестикам». Нет, вы просто сделали большое дело. Вы даже не представляете, какое вы сделали большое дело.

Но Левашов, не разделяя и не желая разделять этого восторга, а еще задумчивее и угрюмее, чем прежде, сказал, что то, что случилось на комбинате, и то, что в Пятитрубинске есть молитвенный дом, событие отнюдь не отрадное, а скорее позорное. Услышав эти слова, Иван Евдокимович улыбнулся той скрытой, внутренней улыбкой, как человек, явно чувствующий свое превосходство, улыбкой, какую нельзя заметить на лице, а можно увидеть только в глазах, и, выждав минуту, словно собираясь с мыслями, но на самом деле лишь повторяя и отшлифовывая давно уже приготовленную для этого случая фразу и заранее наслаждаясь тем, какое впечатление произведет эта фраза на секретаря парткома, произнес: «Жизнь чаще, чем мы предполагаем, опрокидывает наши утверждения, потому что сами эти утверждения построены больше на логике, чем на противоречиях жизни», — произнес неторопливо, особенно выделяя «на логике» и «на противоречиях», чтобы секретарь парткома мог уловить не только философский смысл этих слов, но и определенный намек, какой Иван Евдокимович вкладывал в них и в тон голоса; но Левашов не заметил ни намека, ни философского смысла, а продолжал все так же угрюмо говорить о позоре, и тогда Иван Евдокимович, которому все же хотелось подчеркнуть свою правоту и те неправильные прежние взгляды на религию секретаря парткома, сказал теперь прямо, без намеков, что уважаемый Василий Федорович еще совсем недавно, буквально полторы недели назад, имел иное мнение, что лекцию на атеистическую тему так все же и не включил в план мероприятий.

— Я сейчас не вижу в этом серьезной ошибки, — спокойно ответил он.

— А крестики?

— Это не по религиозным убеждениям, а за деньги. Выгодная сделка, рвачество, уголовное дело.

— Пожалуй, вы правы. Но позвольте, позвольте, — Иван Евдокимович нахмурился, сдвинув к переносице брови; он всегда делал так, когда хотел подчеркнуть напряженную работу мысли. — Может быть, вы и правы, я говорю, может быть, потому что все в природе имеет свой круговорот, — и он теперь сделал ударение на

слове «круговорот», как на чем-то особенном, что могло разом рассеять все сомнения, и уже, оттолкнувшись от этого удачного, как он считал, слова, стал рассказывать, какой круговорот могут совершить эти медные крестики, как они через пастырские руки могут попасть в горняцкие семьи сначала к старухам, а те старухи, бабушки, разумеется, могут повлиять на внучат, внучек и даже на своих взрослых детей, на тех самых рабочих комбината, где Левашов возглавляет партийную организацию; кто знает, может быть, такой круговорот в какой-то мере уже совершился, а люди бывают разные, сильные духом и слабые, и как раз слабые могут попасть под влияние сект, если вовремя не принять нужные меры... Этими рассуждениями Иван Евдокимович хотел только еще раз доказать свою правоту, но, все больше и больше увлекаясь и горячась, он уже забыл о том, для чего начал этот разговор, а говорил вообще, возмущаясь и преувеличивая, о сектантских делах; то, о чем он вспоминал до прихода Левашова — о молитвенном доме на Ново-Школьной, о старце Каткове и атамане Анненкове, — он рассказывал теперь обо всем этом секретарю парткома, не давая ему возможности ни возразить, ни даже вставить слово; когда Левашов, поднимаясь со стула и протягивая руку, сказал, что и так уже засиделся, что пора уходить, Иван Евдокимович огорченно заметил, что не успел еще рассказать о Бруклине, что, ко всему прочему, существуют всемирные центры почти всех сектантских направлений и что большинство этих центров находятся в Соединенных Штатах Америки.

Иван Евдокимович был настолько возбужден, что и после ухода Левашова еще некоторое время продолжал развивать свою мысль о мировой сети сектантских общин; он на минуту представил себе Бруклин, небоскребы, сектантские банковские счета, гудящие типографии, в которых набираются и переплетаются библии, евангелия и иные так называемые «священные» книги, противочеловеческие, отравляющие людские души, зовущие к предательству и самоотреченности; но он держал в руках оставленный секретарем парткома медный крестик, и этот крестик, поблескивающий на свету гранями, вскоре заставил Ивана Евдокимовича вновь вернуться к размышлениям о пятирубинском молитвенном доме. Он подумал, что надо бы сходить туда и узнать, что за секта, и, вспомнив, что сегодня четверг, день молений (обычно верующие собираются на служения по воскре-

сеньям, вторникам, четвергам, и субботам — это Иван Евдокимович хорошо знал), что именно сегодня можно застать верующих в сборе, решил пойти сейчас и, позвав Валентину, попросил ее принести костюм, чистую рубашку и галстук.

- Ты с ума сошел!
- Надо, Валюша, надо.
- Ты с ума сошел!

Он не сказал жене, куда и зачем пошел; выйдя на улицу и почувствовав себя свободным от той домашней опеки, которая теперь казалась ему тягостной, он сразу же направился к остановке автобуса. Большой бело-голубой автобус с буквой «Л» под лобовым стеклом вскоре привез его на третий кордон — самую отдаленную, примыкавшую к вокзалу часть города, и Иван Евдокимович, не зная точно, где улица Политотдельская, а лишь предполагая, что должна быть в этом районе, пошел по тротуару наугад в сторону вокзала, читая таблички на угловых домах; он не очень торопился, потому что было только половина шестого, а служение начиналось в шесть, и он хотел застать всех верующих в сборе; но хотя он и не торопился и пришел даже не к шести, а к половине седьмого, потому что долго плутал, разыскивая улицу, — все же не застал верующих; когда он, постучавшись, вошел в дом, в комнате не было коленопреклоненных старух, а была только одна пророчица, открывшая ему дверь, та самая пророчица, которая возглавляла шествие со «святой водой» и надменно и косо, не повернув головы, взглянула тогда на него, Ивана Евдокимовича, молча уступившего ей дорогу, — она и сейчас посмотрела на него так же надменно и косо, но Шевелев не заметил ее недружелюбного взгляда; он увидел большую божницу в переднем углу, и тусклые иконы, освещенные слабым светом двух горевших свечей, сразу же привлекли его внимание. Иконы были старые, выцветшие, и медные оклады на них тоже почернели, и лишь в центре икона Христа, одна из всех, сверкала начищенной ризой; но не ветхость и запущенность этого «божьего уголка» поразили Ивана Евдокимовича; вначале, когда он вошел в пустую комнату, смутился и решил, что ошибся адресом, но теперь, когда увидел эту божницу, оборудованную, конечно, не для одной семьи и не для одного человека, а для массовых молений, для службы, как иконо-

стас, — когда он увидел эту божницу, понял, что пришел именно в молитвенный дом, но тем и неожиданнее было то, что он не застал сегодня здесь верующих; он подумал, неужели их успели предупредить, но как и кто — это-то и было поразительным и непонятным. Уходить так, не выяснив ничего, не хотелось, но и открывать истинную причину своего появления в этом доме тоже не хотелось; назвав себя новым агитатором по этому участку, Иван Евдокимович уже на правах агитатора, не ожидая повторного приглашения, прошел в глубь комнаты и остановился у иконостаса; он остановился как раз на том месте, где вчера стоял Каширин, когда крестил маленькую Тельнягину, и так же, как тогда лицо святого отца, теперь полное лицо Ивана Евдокимовича было освещено желтым вздрагивающим светом горевших свечей и оттого тоже казалось таинственным, как у проповедника; Иван Евдокимович не знал этого; это заметила Екатерина, стоявшая у порога; она даже на минуту оцепенела, увидев такое сходство, и, прошептала: «Господи», мысленно перекрестилась; она заметила еще, что лицо Ивана Евдокимовича было добрее, чем тогда лицо Каширина, и оттого в нем было больше «святости»; но она тут же спохватилась, взглянув на половицы и вспомнив о Каширине, с которым жила и о котором потому было грешно думать плохо; она снова прошептала: «Господи», — и перекрестилась, теперь уже не мысленно, а на виду у гостя, не стесняясь и не боясь, что он скажет. Но Иван Евдокимович, все еще пораженный тем, что не застал верующих, и думая пока только об этом, даже не смотрел на пророчицу; он разглядывал комнату; увидев на столике евангелие, молча подошел и полистал его; он был настолько поглощен выяснением причины, — почему? — что даже не следил за собой, за тем, что делал и что неловко молчал. «Почему?..» Но в сущности причина была совсем другая, чем та, какую представлял в своем воображении Иван Евдокимович. Никто не предупреждал верующих о его приходе. Произошло вот что; вчера вечером Екатерина наконец рассказала Каширину о своей беременности и о том, что уже нашла бабку, которая обещала все сделать скрытно, так что никто из верующих ничего не узнает, и, главное, согласилась сделать за небольшую плату — сколько принесешь, дескать, на том и ладно; Каширин, мрачный и злой в эти дни, выслушав Екатерину, сначала молчал, раздумывая, а потом благословил, и вот — Екатерина, обрадованная,

что все для нее разрешилось, еще утром оповестила всех верующих через старуху Алферову, что уезжает на несколько дней в Стасовку и служений в эти дни не будет; не будет не только потому, что уезжает она, но, собственно, и она-то уезжает только из-за того, что святой отец Григорий, этот «божий человек и заступник наш», решил уединиться, чтобы «ни звука людского над головой, ни шума шагов, а помолиться в тиши за нас, грешных». Все нужные вещи уже были собраны и связаны в узелок, продукты уложены в корзину, и Екатерина ждала только вечера, чтобы незаметно, не заходя на вокзал, а прямо по тропинке через гору спуститься в соседнее село, где и жила та бабка; до села было около четырех километров, идти одной страшно, и потому Каширин должен был проводить ее хотя бы до перевала; в тот самый момент, когда святой отец готовился выйти из подполья, чтобы собраться в дорогу, в дом постучался и вошел Иван Евдокимович Шевелев. Иван Евдокимович все еще листал евангелие, даже и не подозревая, что под половиком, на котором он стоял, был лаз в подполье, и в эту минуту там, в подполье, волнуясь и напрягая слух, чтобы не пропустить ни одного слова, стоял во весь рост возле этого лаза Каширин.

— «Миссионерское общество, Бруклин, 1923 год», — прочитал Иван Евдокимович надпись на титульном листе евангелия и, повернувшись к Екатерине, впервые за все эти несколько минут, пока был в комнате, заговорил с ней, не смущаясь ни своим долгим молчанием, ни тем, что она тоже молчала и была явно недовольна и приходом гостя, и его бесцеремонным хозяйничанием в квартире. — Берлинское издание?

— Нам все равно — книга божья, а бог для всех один.

— Сами читаете?

— А то кто же?

Еще когда переступил порог, Иван Евдокимович узнал пророчицу, но она не показалась ему милостивой и привлекательной, как тогда, в горах, потому что он вошел со света в полусумрачную комнату и не мог сразу хорошо разглядеть ни ее лица и прически, ни ее платья; теперь же, повернувшись к ней и разговаривая с ней, он видел ее всю, освещенную с одной стороны мерцающими огоньками горевших свечей, с другой — светом, падавшим из окна, и то прежнее чувство, которое возникло в нем после встречи с пророчицей в горах, теперь вновь постепенно охватывало его; но, глядя на ее волосы, ско-

лотые шпильками на затылке и чуть-чуть взлохмаченные сползшим на плечи платком, любуясь этой очень шедшей ей милой женской прической и глядя на ее стройную — она стояла так, что не было заметно ее полноты — фигуру, на ее грудь и круглые плечи, обтянутые цветной ситцевой кофтой, на юбку, расклешенную, но облегающую бедра так, что нельзя было не заметить стройности и точности ее ног, — глядя на Екатерину и называя ее теперь по имени, потому что как агитатор он записал в блокнот все данные о хозяйке этого дома, — называя ее по имени и незаметно для самого себя придавая голосу при этом особенную теплоту и мягкость, он все же ни на секунду не забывал то, зачем пришел в этот дом, и то, кем была хозяйка этого дома; он стоял перед Екатериной, положив ладонь на обложку теперь закрытого евангелия, и с удивлением спрашивал ее, как она живет, нигде не работая?

— В стирку беру.

— Приносят?

— Приносят.

Ответ хотя и показался Ивану Евдокимовичу искренним, но только еще больше удивил его, потому что ни в комнате, которую он сейчас снова обвел взглядом, ни на кухне и ни в сенцах, черёз которые он проходил, когда вошел в дом, ничто не напоминало о том, будто здесь стирают чужое белье; и руки Екатерины не были похожи на руки прачки, — этого тоже не мог не заметить Иван Евдокимович; однако он ничем не выдал своего удивления, а напротив, сделал вид, словно поверил всему, что услышал; но он и на самом деле хотел поверить не в то, худшее, о чем он думал, а в то, лучшее, что говорила ему Екатерина, потому что видел в ней больше женщину, чем пророчицу; он всегда, сколько ни учила его жизнь, считал, что человек от природы более правдив и что несет в себе прежде всего доброе начало. Между тем, думая так, он то и дело поглядывал на иконы — их было около десяти; заводить разговор о религии и боге в этот первый день знакомства было опрометчиво, потому что можно сразу насторожить пророчицу и усложнить себе работу, и еще бессмысленно, потому что откровения все равно не получится; и все же, зная это, Иван Евдокимович не удержался и, кивнув в сторону икон, шутливо произнес:

— Настоящий иконостас!

Екатерина не ответила.

- Только для себя?
- Дом ни для кого не закрыт.
- Ходят к вам молиться?
- Ходят.
- Кто?
- Соседи, кто еще?

Разговор не получался, но, несмотря на это, Иван Евдокимович был доволен разговором; он узнал все, что хотел узнать сегодня, однако в то время как он думал, что доволен и рад оттого, что все узнал, на самом деле был доволен и рад другому, тому, что увидел пророчицу, увидел ее одну, и что эта женщина с завидными чертами устоявшейся крестьянской красоты, дородности и здоровья, надменно и косо взглянувшая на него в горах, все не была строгой и гордой, а была робкой и стеснительной и, как казалось Ивану Евдокимовичу, смотрела на него сейчас даже тепло и приветливо; он не стал ни уговаривать ее поступить на работу, потому что, дескать, чувство коллектива — это великое чувство, ни уверять, что бога нет и что она была бы счастлива и увидела совсем иную жизнь, если бы поняла, что властелин земли — это человек, ни тем более пугать ее, что нелегальные сборища верующих запрещены законом; пожелав ей доброй ночи и пообещав на днях снова заглянуть к ней как агитатор, — при этих словах чуть заметная тень смущения и тревоги пробежала по лицу Екатерины, — пообещав зайти к ней на днях, он попрощался и вышел на улицу возбужденный, наполненный радостным ощущением жизни. Жизнь была вокруг и в нем самом, и все, что он сделал, и что предстояло ему сделать — работа над «Записками», встречи и разговоры с пророчицей, лекции в рабочем клубе и, главное, то, что секретарь парткома Левашов хотя еще и не признал своей ошибки, но все же кое-что уже признал, — все это казалось простым, ясным, сбыточным, и он улыбнулся, шагая к автобусной остановке и глядя в сырую темноту улицы.

Но в то время как Иван Евдокимович думал, что все для него теперь просто и ясно, что ничего не может быть более того, что он узнал, побывав у пророчицы; в то время как он, уже сидя в автобусе, строил планы, как займется теперь пятитрубинскими верующими и прежде всего, конечно, пророчицей; в то время как он считал,

что главная и самая большая неприятность, связанная с молитвенным домом, это заказ на крестики, — на самом деле события развивались совсем в ином направлении. Крестики делались не для пятирубинских верующих; ни Каширин, ни Екатерина ничего не знали о крестиках; заказчиком был другой человек, церковный экспедитор; он только что прибыл в город с вечерним поездом и сейчас ехал вместе с Иваном Евдокимовичем в одном автобусе и — бывают же в жизни такие случайности, в которые даже трудно без удивления поверить! — сидел с ним рядом, держась одной рукой за поручни переднего сиденья, другой — обхватив ручку чемодана, и Иван Евдокимович то и дело поглядывал на его старомодную бобриковую тужурку. Пройдет несколько недель, прежде чем вся эта история с крестиками вскроется, и Иван Евдокимович, увидев церковного экспедитора, представшего перед судом, с удивлением подумает, что лицо подсудимого очень знакомо, и будет вспоминать, а человек сейчас сидит с ним рядом и, повернувшись, спрашивает, на какой остановке лучше сойти, чтобы попасть к универмагу?

— На остановке «Универмаг».

— Спасибо.

В то время как Иван Евдокимович был убежден, что главным событием является все же история с крестиками, главным было другое событие — болезнь окрещенной Кашириным девочки; она еще не умерла; в этот вечер старуха Тельнягина и мать девочки, Тельнягина-младшая, все еще надеясь на милость божью, пока лишь вели разговоры о том, вызывать или не вызывать машину скорой помощи; к утру все же девочку отвезут в больницу, и отец девочки, извещенный телеграммой, срочно выедет в Пятирубинск, — это событие станет главным и потрясет горожан, но до этого произойдет еще одна и странная, и страшная неожиданность, свидетелем которой будет сам Иван Евдокимович, когда решит вторично навестить пророчицу, подготовившись на этот раз к большой с ней беседе... Да, главным будут совсем иные события, чем те, о которых думал сейчас, возвращаясь домой, Иван Евдокимович; он вышел из автобуса все в том же приятном расположении духа, и так как вечер ему казался теплым, а воздух — удивительно чистым, он решил еще немного пройтись по тротуару вдоль улицы; но, проходя мимо своего дома, он заметил Валентину, закутанную в шаль и стоявшую у подъезда; обычно ему

было приятно, когда Валентина беспокоилась и ждала его, и он в такие минуты был особенно нежен и ласков с ней, но сейчас, может быть, потому, что он все еще думал о пророчице, представляя ее в своем воображении такой, какой видел только что, во время разговора, и хотел еще думать о ней, — встреча с женой только вызвала чувство досады. Но это чувство досады ничуть не помешало ему так же поспешно, как всегда, подойти к Валентине, улыбнуться ей и обнять ее за плечи, а потом, взяв под руку, подняться по коридору в комнату. Он был оживлен и весел, и Валентина, глядя на него и по-своему понимая, почему ее Иван Евдокимович сегодня так оживлен и весел, совсем неожиданно для него спросила не о том, где он так долго ходил, а о другом, о том, как ему понравился молитвенный дом?

— Ты думаешь, я туда ходил?

— Ладно уж, рассказывай.

— Знаешь что, Валуша, здесь, в Пятирубинске, обосновались не баптисты и не адвентисты, а община истинных православных церковников. Это монархическая община.

— Монархическая? Снова, значит, царь и престол?

— По-видимому.

— И верят в это?

— Верят ли, нет ли, трудно сказать. Сами они, по крайней мере, так объясняют: в молитвах и канонах, дескать, упоминается царь, а молитвы изменить нельзя, вот и провозглашают славу и богу, и царю. А в общем-то, направление это в религии возникло в конце двадцатых годов в Ленинграде. Это — тихоновцы. После того как патриарх Сергей призвал церковь отказаться от борьбы с Советской властью, тихоновцы отделились от действовавшей православной церкви и создали свою организацию, свои общины, контрреволюционные и монархические. Да, кстати, в Мадриде до сих пор живет какой-то проходимец, именующий себя «императором всероссийским». Может быть, они думают о возврате на престол этого «императора»? Смешно, разумеется. «За царя ба-а-тюш-ку...» — последние слова Иван Евдокимович почти пропел, неестественно изменяя голос и подражая церковникам, и тут же снова заговорил, продолжая прерванную мысль. — Ты помнишь, Валя, в Афимовке монаха судили? Там была точно такая же община. Но здесь, кажется, еще до изуверства не дошло дело, здесь

еще только все в зачатии, — и он стал подробно рассказывать обо всем, что видел в доме на Политотдельской и что думал по поводу этого увиденного; он рассказал об иконах, о крестиках, которые, как он все еще полагал, заказывались непременно там, и о пророчице, упомянув даже, что она молода и красива и что просто удивительно, как такая женщина стала верующей.

Когда были потушены огни, и он, лежа на кровати (опять обложенный подушками) и чувствуя легкую боль в плече, снова вспомнил все подробности сегодняшнего вечера, — он вдруг подумал, что пророчица, наверное, живет не одна, что она только сторожит дом, а возглавляет общину и проводит служения кто-то другой, может быть, какой-нибудь старец, а может быть, молодой, вроде того афимовского монаха; уже засыпая, он решил завтра же снова сходить к ней, но пошел он на Политотдельскую только на третий день, в субботу, опять рассчитывая застать там всех верующих на служении.

Глава шестая

Этот субботний вечер был для Екатерины самым тяжелым в ее жизни, и не только потому, что она, вернувшись от бабки после неудачного аборта, теперь лежала в постели и чуть не плакала от болей, временами, как приступ, охватывавших все тело, — главное, что тяготило ее, это раздумья о прожитой жизни; особенно мучительным было воспоминание о матери, матушке Василисе, и тех двух кладбищах — одно, большое, с крестами и оградами, начинавшееся сразу же за овражком, в конце огородов, и другое, маленькое, за сараем, где матушка закапывала иногда еще ни на что не похожие, иногда уже с ручонками и ножками трупки, — именно эти два кладбища, всегда угнетавшие Екатерину, теперь особенно отчетливо вставали в воображении и были главной причиной ее мучений. «Господи! — шептала она, шевеля вспотевшими губами и глядя прямо с кровати на большую икону Христа, под которой еще горела зажженная Кашириным несколько часов назад толстая восковая свеча. — Господи! Посмотри на мои мучения и пошли мне благодать твою, да прославится имя твое светлое, господи! Пошли мне благодать твою, пошли, пошли, по-

шли-и.» Матушка Василиса обычно все делала ночью: в темноте выкапывала ямку, маленькую могилку, в темноте выносила накрытый мешковиной таз и вываливала из него все в эту приготовленную яму, потом торопливо закидывала ее землей, разравнивала и утрамбовывала каблуками; а утром, когда Екатерина выбегала на огород, сразу же замечала под стеной круг притоптанной сырой земли и догадывалась обо всем, что здесь происходило ночью; она шла к сараю, становилась на углу, как раз под застрехой, в перекрестии серых бревен, и молча смотрела на это маленькое кладбище, мысленно воздвигая на нем еще один крестик и оградку над свежей могилкой. Сейчас, вспоминая, она не только ясно видела те круги притоптанной сырой земли под бревенчатой стеной и себя самое, босую, стоящую в ситцевом платице у сарая, но и испытывала то же чувство тревоги и страха, как и тогда, в детстве, и даже, как ей казалось, утреннее солнце, вставшее над плетнями и огородами, над мрачными крестами деревенского кладбища, — это солнце, казалось ей, и сейчас так же тепло пригревало щеку, плечо, босые, обрызганные росой ноги; она чувствовала это тепло, и оттого еще страшнее представлялся холод могил; она обычно стояла у сарая до тех пор, пока во дворе не раздавался зовущий голос матушки Василисы. Екатерина не могла спокойно слышать голос матушки; больше всего на свете она ненавидела сейчас этот всегда желавший ей только добра, добра материнский голос: «Катерина-а!» Но еще отчетливее, чем прожитые в Стасовке годы, представлялось Екатерине то, что произошло с ней вчера у бабки; она все хорошо помнила: как переступила порог тоже стоявшей на краю поселка избы, как бабка, полная и обрюзгшая старуха, попросившая называть ее не иначе как только по имени и отчеству — Агафья Митрофановна, — как эта полная и обрюзгшая старуха сразу же спросила у Екатерины, все ли она принесла, что нужно.

«Все, Агафья Митрофановна.»

«Ну раз все, то ступай ложись и готовься.»

«Так сразу?»

«А ты что же, милая, думала, неделю с тобой вожаться стану? Ступай и готовься. Положь образец под голову, так оно легче, да смотри кровать своим застели, слышишь?»

Женщинам, которые приходили к матушке Василисе (они приходили тоже ночью или на заре, крадучись,

чтобы никто не видел), матушка Василиса тоже говорила, чтобы кровать своим застилала, говорила так же резко и властно, а сама отправлялась на кухню готовить воду и свои примитивные инструменты — вязальные иглы; тот всплеск наливаемой в таз воды и звон перебираемых игл приводил в трепет Екатерину; она никогда не думала, что и ей вот так же, как тем женщинам, придется лежать на чужой, но застланной своей простынью кровати и готовиться, а на кухне старуха с обрюзгшим лицом будет подогревать на плите воду и откуда-нибудь с полки или из запечника доставать давно уже не бывавшие в действии потускневшие и запыленные вязальные иглы... Снова и снова вспоминая подробности прошедшей ночи, Екатерина видела перед собой, как живую, Агафью Митрофановну, видела ее в тот момент, когда старуха с пучком игл и полотенцем в руках появилась у кровати; она сказала только: «Ну, милая, начнем», — и положила холодную руку на обнаженный живот Екатерины; будто не вчера, не ночью, а все это происходило сейчас, — Екатерина так ясно ощутила то холодное прикосновение старухиной ладони, что чуть не вскрикнула, и неприятная, неумная дрожь пробежала по спине; она уже не спускала глаз с большой иконы Христа и беспрерывно повторяла одну молитву за другой, но это не помогало, — воспоминания были сильнее молитв, и как ни старалась Екатерина, не могла не думать о том, о чем думала. Она пыталась вспомнить, есть ли сарай во дворе Агафьи Митрофановны, и хотя тогда была ночь, и Екатерина ничего не успела разглядеть, — теперь ей казалось, что она видела темный силуэт сарая, углом выступавший из тьмы, и уже воображение рисовало ей новую картину: выкопанная яма, таз, накрытый мешковиной, сгорбленная фигура старухи над ямой, скрежет лопаты, шорох падающей земли и тяжелое, усталое дыхание торопившейся и вспотевшей старухи Агафьи; за этим воображенным сараем было закопано то, что могло вырасти, бегать, смеяться, протягивать ручонки и кричать: «Мама!» — за сараем было маленькое кладбище, как в Стасовке, и Екатерина сейчас мысленно представляла кресты и оградки на этом ничем не отмеченном и никому не известном маленьком кладбище. Екатерина не всхлипывала; просто крупные и прозрачные слезы стекали по ее разгоревшимся от жара щекам. Но вместе с этим, что мучило ее теперь и что, она твердо знала, будет мучить всю жизнь, — она понимала, что с ней

самой случилось что-то очень непоправимое, что она уже навряд ли сможет встать с постели, но, что самое страшное, святой отец никого не позовет на помощь, если она даже будет умирать, — она чувствовала это, хотя, думая о Каширине, верила в лучшее, вернее, заставляла себя верить в лучшее. Она вспомнила первый приезд Каширина в Стасовку, чаепитие у окна и ночь, когда огромная фигура святого отца в белой нательной рубахе вдруг нависла над ее кроватью, и даже слова, которые он сказал ей тогда: «Дева днесь пресущественного рождает, а земля вертеп неприступному приносит», эти слова, будто Каширин, склонившись, вновь прошептал их сейчас над ее ухом, отчетливо услышала Екатерина; но она вспомнила об этом не потому, что осуждала себя, — ей хотелось разобраться в том сложном отношении Каширина к ней, именно сложном, какое она ощущала в последнее время; то, что он был жесток к людям — это она знала, но то, что он был жесток к ней — в этом не могла и не хотела признаваться себе и потому мысленно обращалась к тем лучшим временам, к тем первым встречам, когда святой отец, которого она называла просто Гришей, был особенно ласков и нежен с ней. Но всматриваясь теперь в воскресавшие в памяти картины, она с болезненной подозрительностью относилась ко всему, что тогда радовало и огорчало ее; ей казалось, что дьячок хотя и гонялся за ней с топором, но был все же добрее и проще, был понятней ей, чем Каширин; сейчас он сидел бы у ее кровати и вместе с нею скорбел над постигшим ее горем, или, что еще вероятнее, стоял бы на коленях под образами и молился; Каширин же с самого утра, как встретил ее и уложил в постель, еще ни разу не выходил из своей кельи; она даже не знала, там ли он или нет, потому что ни звука не доносилось из подполья. Сознать то, что она осталась одна со своими мучениями и думами, было особенно больно, и, чтобы хоть как-то заглушить боль, она снова и снова молилась, глядя на большую, освещенную догоравшей свечой икону Христа. Икона то мутнела и расплывалась перед ее влажными глазами, то опять была видна ясно и отчетливо, когда она платком вытирала заплаканные щеки; лицо Христа, неподвижное, обрамленное блекло-желтой святой короной, было безучастно к ее страданиям, — в какую-то минуту Екатерина заметила этот холодный иконный взгляд и ужаснулась; она подумала, что, наверное, настал для нее час возмездия, что это бог карает ее за грехи, и оттого — такая

душевная и физическая боль. «Господи, прости меня, грешную!..» Она вспомнила, как не хотела переезжать из Стасовки сюда, в Пятитрубинск, вспомнила разговор, который произошел как раз накануне отъезда.

«Погубишь и меня и себя. Я боюсь».

«Бога?»

«Мне и так никогда не отмолить свои грехи».

«Я не монах, никто не постригал меня в монахи».

«Господи!»

«Я сам повесил себе на шею четки — для людей, для себя, для бога, чтобы лучше служить ему, но обета монашеского не давал; «благодарящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй яже ко спасению прощения и вечную жизнь». Ну, Катя?»

«Боюсь».

Он не был монахом; он был монахом для других, но не для нее, а главное, не для бога, как понимала Екатерина, и это тогда утешало ее; но теперь, когда она считала, что настал для нее час возмездия, — теперь все представлялось совершенно по-иному, и доводы Каширина, его утверждения, что то, что он делает, он делает ради веры, эти доводы уже не имели для нее смысла; и «повивальные» дела матушки Василисы, кладбища, кладбища, большие и маленькие, и пьяная жизнь дьячка, и обман Каширина, и ее собственная жизнь, вернее, сожитительство со святым отцом и тоже обманы, — все это сейчас представлялось одним страшным грехом, тем грехом, который ничем уже не замолит. Она уехала тогда из Стасовки только потому, что узнала о смерти дьячка, — во всяком случае, так думала Екатерина; она не ходила на могилку к тому, с кем была обвенчана, кому перед алтарем обещала быть верной и от кого потом убежала, — именно в этом видела она теперь свой главный грех; «он ждет меня, ждет и зовет»; серая могила, заросший холмик с крестом у ног, дощатый гроб и дьячок с жиденькой рыжей бородкой в гробу, обложенный сосновыми стружками, худой, с медными пятаками вместо глаз, — все это так живо представила себе Екатерина, и представила рядом свой гроб и себя, обложенную стружками в гробу. «Господи, господи, господи!..» Но вместе со всеми этими ужасами, которые наполняли ее теперь, перед мысленным взором Екатерины все время вставала одна небольшая картина: будто она ходит по комнате

и подбрасывает на руках малыша в распашонке; она никогда никого не нянчила, а только видела, как это делали другие, приносившие крестить детей, но, может быть, именно потому и представлялась ей эта картина; она была той несбывшейся женской мечтой, которую Екатерина всячески старалась даже сейчас подавить в себе. Она все еще смотрела на икону Христа и молилась; бледные губы ее беззвучно шевелились, и она чувствовала, как к уголкам рта стекали соленые капельки пота.

Из подполья не доносилось ни звука потому, что там никого не было; святой отец сразу же, как только уложил вернувшуюся Екатерину в постель, пошел через перевал к бабке в село; он пошел для того, чтобы, во-первых, поговорить с ней, насколько серьезно то, что случилось с Екатериной, потому что Екатерина была бледна, слаба и еле держалась на ногах, когда он утром встретил ее в дверях, и во-вторых, тайком провести эту бабку к себе в дом и заставить вылечить Екатерину — Каширин знал, как и чем пригрозить старой «повитухе», если она вздумает отказаться. Он вышел из дому, когда над горами уже загорался рассвет, и длинные тени от скал тянулись по склону вниз, к ложине; он шагал по ложине, не боясь кого-либо встретить здесь в такой ранний час, и мысли, какие одолевали его, не были ни сумрачными, ни угнетающими; ему казалось, что все поправимо, что нужно только набраться терпения и выждать; так же, как встающее над скалами утро, как это светлеющее небо, так представлялось будущее Каширину, то самое будущее с повседневными бдениями, чтением евангелия, лазом в подполье и задуманной им жестокостью с «благословением», — «избави их, господи, от брэнной плоти и прими души их в Божественный чертог славы», — жестокостью, которая казалась ему сейчас обычным и вполне осуществимым делом; размышления эти так увлекли святого отца, что он не заметил, как очутился на вершине перевала. К дому бабки он подошел не с улицы, а со стороны огородов, пробираясь сквозь заросли облепихи; за сараем прошел мимо круга свежеутрамбованной земли, не обратив внимания на этот круг, а только похозяйски подобрав брошенную бабкой второпях лопату и приставив ее к стене; прежде чем пересечь двор, огляделся, а когда поднялся на крыльцо, неожиданно увидел

на двери большой висячий замок. Он минуту оторопело смотрел на замок, не веря еще, что не застал бабку дома, но уже предчувствуя недоброе; было светло, хотя солнце еще не всходило, и его, святого отца, стоявшего на крыльце перед запертой дверью, могли увидеть, — сначала лишь это встревожило Каширина, и он стал искать взглядом место, где можно укрыться; но, прислонившись спиной к стене и спрятав голову за висевшее рядом корыто, очутившись в маленьком укрытии, он уже подумал о том, что все, что только что казалось вполне ясным и осуществимым, теперь могло не осуществиться из-за старухи, которой вдруг вздумалось куда-то уйти, — это еще больше встревожило Каширина, и он решил во что бы то ни стало дожидаться «повитуху», не зная и не подозревая о том, что она не ушла, а уехала к сестре в соседний совхоз, и уехала не на день, а на неделю, чтобы переждать беду; когда же Каширин, чувствуя, что на крыльце дальше оставаться незамеченным нельзя, и, выбирая убежище понадежнее, забрался на чердак сарая и там, усевшись на какой-то узел со старыми тряпками, стал наблюдать в расщелину между тесинами за крыльцом и дверью, — он уже был настолько озабочен и подавлен всем, что случилось в это утро, что не мог ни о чем спокойно думать; та ненависть к людям, всегда жившая в Каширине, теперь вновь поднялась и охватила его, и он отсюда, с чердака сарая, мысленно кричал и тем, от кого прятался, и той, которую ждал, и даже той, что бессильно лежала сейчас дома в постели, — кричал злобно, как тогда, после пожара:

«Гады!»

«Гады!»

«Гады!»

Он считал, что если кто и был виноват в постигших его теперь неудачах, так это они, они.

Каширин не дождался Агафьи Митрофановны, хотя просидел на чердаке сарая почти до вечера; злой, голодный, охваченный мрачным предчувствием, спустился он с чердака и той же тропинкой через огород и заросли облепихи направился в горы к перевалу; в зарослях он еще на минуту остановился, подумав, что, может быть, напрасно уходит, что бабка, наверное, вот-вот придет, потому что уже скоро ночь и пора ей, наконец, вернуться, — лишь на минуту остановился, раздвинув кусты облепихи, всматриваясь, прислушиваясь, но ничего не ви-

дя, кроме все той же запертой калитки и двора, залитого теперь красными лучами заходящего солнца, и ничего не слыша, кроме легкого шуршания полуголых осенних веток, потом, зло сплюнув, зашагал вверх и уже до самого перевала ни разу не оглянулся. Может быть, как раз потому, что теперь он шагал, а не сидел в духоте, на чердаке, — все случившееся снова казалось ему поправимым, только нужно набраться терпения и выждать; но сейчас он уже не был так уверен, как утром, и тягостные мысли, возникшие на чердаке, продолжали угнетать его; больше всего он боялся того, что обо всем узнают верующие, и тогда придется уезжать из Пятитрубинска, — это представлялось самым неприятным и страшным; он думал не о мучениях Екатерины, а о том, что так хорошо подготовленное и начатое здесь, в Пятитрубинске, «дело» теперь рушилось; ему было жаль и святые родники, которые с таким трудом и, между тем, так ловко удалось объявить святыми, — Каширин спустился в лощину и проходил сейчас как раз мимо родников; и купленный им дом в стороне от шумной улицы, неприметный, теплый, с иконостасом в комнате и оборудованным подпольем, монашеской кельей, которой позавидовал бы даже «болящий человек», будь он жив; и той желанной славы среди верующих, какой добивался и какой добился Каширин, как святой отец, затворник и ревнитель истинной веры — он знал, что эта слава о нем уже просочилась за город, потому что недавно приходили на служение две старухи из какого-то недалекого села; жаль было расставаться со всем, что окружало его, что еще вчера казалось надоевшим, однообразным, угнетающим, но теперь вновь — самым лучшим, самым желанным, чего он мог достичь и чего достиг в жизни. Так думал Каширин. Но чем ближе подходил к дому, тем сильнее охватывало его беспокойство за Екатерину; он вспомнил ее бледное лицо и всю ее, беспомощно прислонившуюся к дверному косяку, и еще вспомнил другой, здоровой и радостной, какой видел на вокзале в день приезда, — темный платок, соскользнувший на плечи, волосы, заплетенные в косу и уложенные на затылке, чуть взлохмаченные этим сползшим с головы платком, — Каширин даже приостановился и прикрыл ладонью глаза. Через секунду он уже снова шагал по лощине, вглядываясь в серую, убегающую из-под ног тропу. Но хотя он думал теперь только о Екатерине, и хотя мысли эти не были особенно мрачными и безвыходными, — тягостное предчувствие

все же ни на мгновение не покидало его. Именно потому, когда он вошел в комнату и увидел, что Екатерина так слаба, что может умереть, он не ужаснулся; в глубине души он уже был готов к этому; он даже почувствовал себя спокойнее и тверже, потому что все теперь было определенно и ясно, и он точно знал, что ему нужно делать — уезжать из Пятитрубинска. Об этом он подумал сразу же, как только подошел к постели и посмотрел на худое и бледное, бледнее, чем было утром, лицо Екатерины; но, присев на табуретку, стоявшую рядом с кроватью, и взяв в свою ладонь чуть теплую обессиленную руку Екатерины, он ничего не сказал ей о своем решении; он произнес совсем иные слова:

— Терпение... Господь завещал нам терпение...

— Господь глух к моим мольбам, и он — справедлив.

Я умру.

— Ты поправишься.

— Нет.

— Поправишься.

— Дай мне в руки свечу и зажги ее.

— Свечи в подполье.

— Сходи.

Он стоит неподвижно, прижимаясь спиной к холодной и каменистой стенке скалы и пока лишь равнодушно разглядывает собравшихся внизу, у освещенных ворот — с высоты Каширину хорошо видны и ворота, и весь залитый огнями двор рудничного комбината — рабочих ночной смены; пока лишь чувство досады охватывает святого отца, и он думает только об одном: как будет спускаться по узкой и опасной каменистой тропе, потому что спускаться по крутизне всегда тяжелее, чем подниматься, — пока лишь эта мысль беспокоит его, и он еще не знает, что простоят здесь, на крутом выступе, не две или три минуты, как замышлял, а несколько часов подряд, не чувствуя ни ночной прохлады, ни ночного холодного ветра, обдувавшего его худые плечи, ни усталости; никто не знает, какое событие в жизни станет для него главным, а какое неглавным; Каширин тоже не знал, что именно этот скальный выступ запомнится ему больше всего на свете, что даже те афимовские ночи, когда он выводил прогуливаться «благословленных» им же самим на голодную смерть Глафиру Беляеву, Клав-

дию Стриженову, Клавдию Приходько и Романа Селиверстова, те ночи, которые он в любую минуту мог представить себе с различными подробностями — и шорох подошв осторожно шагавших в темноте людей, и густой запах отцветающего подсолнуха с огородов, и шепот молитв, и грустные, до сих пор щемящие душу вздохи Глафиры, потому что ей особенно не хотелось умирать, и Каширин чувствовал это, — те ночи будут вспоминаться реже и не так отчетливо, как эти часы одиночества, проведенные на влажном от вечерней росы скальном выступе; он не подозревал тогда, что уже через месяц, сидя возле умирающей Екатерины, снова мысленно вернется к этой ночной прогулке и потом почти каждый день будет вспоминать о ней, и даже в палате психиатрической больницы, когда назовет себя Иисусом, будет говорить, что сошел на землю как раз с той скалы, что нависает над пятирубинским рудничным комбинатом... Рабочие все подходили и подходили к воротам; они словно выныривали из тьмы на освещенную площадь и двигались по ней то непрерывной, то прерывающейся серой лентой; серые спецовки, серые лица, серые рабочие фуражки и вспыхивающие огоньки сигарет под козырьками; как в немом кино: есть движение, но не слышно голосов, только легкое, еле уловимое шуршание пленки в аппарате; но чем пристальнее вглядывался Каширин, тем отчетливее видел все, что происходило на площади: в ожидании, пока откроются ворота, люди стояли небольшими группами, беседовали; в какой-то группе громко смеялись; сначала святой отец только и уловил обрывки этого смеха и отыскал взглядом хватавшихся за животы от хохота людей, а через секунду — будто вдруг сквозь неприятное потрескивание прорвался на экран звук, и картина ожила, все непонятное и бессмысленное неожиданно приобрело смысл, захватило внимание, и он теперь не только ясно слышал доносившиеся снизу голоса, хотя и не мог разобрать ни одного слова, но и, казалось ему, хорошо видел лица, улыбающиеся лица спокойных людей, и затаенная зависть к ним, с детства угнетавшая Каширина, вновь зашевелилась в груди. «Людской поток, серый людской поток!» Избушка лесная, лесной скит на краю обрыва, сгорбленные спины молящихся старцев, и он, мальчик Гриша, втайне от них убегающий по воскресеньям к большой дороге, чтобы посмотреть на ярмарочный поток крестьянских телег, груженых зерном, сеном, картофелем, на людей, шагавших

по обочинам с котомками за плечами, угрюмых от долгого пути и усталости и серых от пыли; они идут, идут, скрипят телеги, щелкают кнутовища над костистыми лошаденками, слышатся понукающие окрики, и у него, скитского мальчика Гриши, спрятавшегося в старом дупле, широко раскрываются глаза; и загадочно, и зовущее, и тревожно, — тревожно потому, что старцы узнают и поставят его, ослушника, на всю ночь на колени перед иконой Христа; ноют онемевшие колени, глаза застилаются влагой, и все же — на худой, выпученный лик Христа будто накладывается дорога, и скрипят по этому лику крестьянские телеги с деревянными ступицами на деревянных осях... Жизнь всегда представала перед Кашириным однообразным серым потоком. Люди шли, шли по дорогам, тропам, вдоль палисадников; шли мимо дома тетки Марии, злой, ненавистной и грубой тетки, и он, подросток Григорий, бледный, как затворник, из окна смотрел на них, афимовских колхозниц, спешивших на поля; они проходили утром, едва начинало светать, и возвращались вечером, когда сумеречные тени от плетней застилали улицу; они, будущие солдатские вдовы, с кукурузными лепешками в узелках, с граблями и тямками за плечами, — они пробуждали в воображении подростка притупленное молитвами чувство свободы и человеческого долга; потом были еще людские потоки, такие же отдаленные и непонятные: толчея на вокзалах, площадях, тротуарах; цепочка верующих к молитвенному дому, его дому, и цепочка заключенных на тюремном дворе; и сейчас, даже в подполье, часто слышимые по утрам шаги соседей, уходящих на работу; и наконец — эта хорошо видимая со скальной высоты то непрерывная, то прерывающаяся серая лента рабочих ночной смены, идущих к освещенным воротам рудничного комбината. Каширин все еще, как ему казалось, прислушивался к голосам тех, шагавших вниз, но он прислушивался больше к себе и старался разобраться в нахлынувших воспоминаниях и мыслях. В детстве у него была своя мечта. Он не хотел в монахи и святые отцы. Спокойная, размеренная крестьянская жизнь, — не та, хищная, какую прожил отец, с прикупом пашен, захватом выпасов и покосов, вырубкой леса по ночам, лишь бы наполнилась мошна кулацкая, а та, что была у мужика в деревне всегда на виду: свой дом, свои кони, своя самая большая, на лучшей земле и лучшая,

самая густая среди прочих полоса зреющего хлеба, — эта крестьянская жизнь казалась подростку Каширину идеалом и наивысшим счастьем. Худой, съезженный в комочек и дрожащий от сырости и страха, он представлял себя большим хозяином: он идет вдоль полосы, срывает тугие, наклонившиеся к земле колосья пшеницы и растирает их в ладонях; хотя в жизни он видел всего один раз, как это сделал старец Филипп, когда они шли из скита в деревню и проходили мимо колхозного хлеба, — было сухое летнее утро, солнце еще не вставало из-за дальних крыш, но с минуты на минуту должно было появиться, потому что яркое оранжевое полукольцо, охватившее горизонт, уже слепило глаза и от шагнувшего впереди инока Филиппа, от самого Григория, от кочек и придорожных высохших и запыленных стебельков травы уже ложились на землю расплывчатые тени, — хотя Григорий всего один раз видел, как тогда старец Филипп осторожно сдунул остья с обмолоченного в ладонях зерна, как затем бережно завернул зерно в тряпицу, спрятал узелок за пазуху и перекрестился угрюмо и молча, — Григорий сотни раз потом проделывал то же и так же, как тот сутулый и белый как луна скитский старец, сотни раз проходил в воображении по той проселочной дороге, вдыхал запах зреющего хлеба, видел утро, дальние крыши изб, еще сизые, не залитые солнечным светом, длинные тени по земле от придорожных сухих стебельков травы, но только проселок представлялся ему не дорогой, а лишь межой, колхозное поле — своей полосой, а старец Филипп — его словно совсем не было, этого сгорбленного старца, потому что уже тогда, в детстве, Каширин не хотел ни с кем делить свое пусть только в мыслях рождавшееся счастье. Он представлял себе отцовский дом, хотя ни разу не был в нем и знал только из рассказов старца Филиппа, сколько в том доме комнат, как стояла печь, где была божница и какие иконы на божнице; представлял двор, амбары, гумно; но все эти картины рисовались в надломленном воображении подростка опять без старца Филиппа. Большой, ширококостный, как все алтайские мужики, в бекеше и сапогах, еще не просохших от дегтя, — таким видел себя Каширин, расхаживающим по отчому двору, где все свое, кровное; и эта соломинка у ног, и та труба, дымящая спозаранку над железной крышей, потому что женская половина затеяла печь хлебы; кисловатый запах квашни и запах только что вынутых из печи и еще дышащих жаром калачей, негром-

кое побрякивание сковородок и ухватов и шорох вытираемых рук о ситцевые фартуки, — и буднично, и празднично, и как-то по-особенному тепло на душе от этой размеренной жизни; будто наяву он накидывает полушубок и выходит в морозные сени, потом во двор и шагает к сараю, где стоит скотина, — надо почистить стойла и задать лошадям сена; и вот уже звякают кольца недоузтков и доверчивые конские морды тянутся к его голове, плечу, он слышит нетерпеливый храп над ухом, покрикивает по-хозяйски: «Ну, ну, шалишь!» — и отворачивает к яслям ладонью теплые и влажные лошадиные губы... Каширин не только представлял себе такое будущее, но и, как ему казалось, испытывал и наслаждался тем воображенным крестьянским чувством доброты, уверенности, уюта; так было и тогда, в подполье у «болящего человека», и потом, в лагерные ночи, когда он с тоской вспоминал об этой юношеской мечте и особенно теперь, когда стоял на скальном выступе и смотрел на освещенный электрическими фонарями двор рудничного комбината. Жизнь других людей никогда не интересовала Каширина так, как своя; а она была трудной, та жизнь других, святой отец отлично знал — была трудной; только он не вникал в подробности; он обмывал ноги тетке Марин и заучивал псалмы, когда те люди — серый поток! — одетые в солдатские шинели, уезжали в теплушках на фронт и тревожная песня о священной войне сопровождала их эшелоны; он не видел ни тех эшелонов, ни уходивших колонн по запорошенным мостовым; дрожащие руки почтальонов не вручали ему похоронных; на божнице лежал поминальный список, в который тетка вносила имена погибших сельчан, и он, подросток Григорий, читал этот список во время служений; он читал, а тетка складывала в корзину принесенные верующими в «дар Христу» муку, картофель, яйца. Всплыл в памяти сейчас и этот пожелтевший поминальный листок на божнице — то было горе многих; в каждом третьем доме Афимовки — похоронная; в каждом третьем доме любого села; но все же — у жизни свое начало; Каширин видел потом, как в той же Афимовке перекрывались железом соломенные крыши изб и обновлялись палисадники и дворы, как веселели люди и вырастали новые дома, — видел это повсюду, когда случалось ему выезжать из деревни; он смотрел со скального выступа на освещенную площадь и многоэтажные дома с балконами, подступавшие к площади, —

они тоже выстроены недавно, Каширин знал это, — на рабочих ночной смены, все подходивших и подходивших к воротам, и еще не испытанное ощущение большой жизни охватывало его... В ту ночь Каширин вернулся домой поздно, почти под утро, мрачный, озлобленный, уже больше ни разу не ходил в горы к скальному выступу; он старался забыть обо всем, что чувствовал и что пережил тогда, глядя с высоты на освещенный двор рудничного комбината, и ему казалось, что он забыл об этом, как забыл и о недавнем ночном пожаре и тех мыслях, которые одолевали после пожара, потому что помнилось свое, главное, — деньги, деньги, которые кончались и которые нужно было непременно где-то доставать, — помнилось именно это главное; но теперь, когда неожиданная беда вынудила святого отца бежать из Пятитрубинска, — перед новыми скитаниями, перед той тяжелой неизвестностью, которая ожидала Каширина, в нем опять, теперь с еще большей силой, пробудилась зависть к никогда не испытанной большой жизни, и тогда он вспомнил в подробностях все, о чем думал и что пережил в ту ночь на скальном выступе. Все время, пока сидел на табуретке у кровати и держал чуть теплую обесиленную руку Екатерины, и пока спускался в подполье и шарил в темноте пальцами по неструганым доскам, отыскивая на полках свечи, — мысленно видел перед собой освещенную площадь и рабочих ночной смены на этой площади, все подходивших и подходивших к воротам комбината...

— Принес?

Каширин не ответил.

Свечей на полках не было, но святой отец не ответил Екатерине и не подошел к ней не потому, что не принес свечу; когда он перебирал пыльные вещи, наткнулся на брошенные и забытые монашеские четки, которые всегда брал с собой в дорогу, — эти четки теперь висели у него на груди под пиджаком, и сам он тоже был одет по-дорожному, в руке держал заплечный мешок, наполненный всем необходимым на первый случай (он прихватил и евангелие, и еще несколько небольших икон, какие были в подполье), и открыл дверь, и вошел сейчас в комнату лишь для того, чтобы забрать серебряную ризу с иконы божьей матери, ту самую ризу, которую он закапывал когда-то на дне родника и которая, он отлично

знал это, могла еще раз послужить ему. Стоя у порога и прощальным взглядом окидывая комнату, он не испытывал злости, это чувство уже притупилось в нем; он даже не думал о себе так, как прежде, и ко всему, что ожидало его теперь, относился, казалось, спокойно и равнодушно, и только одно тяготило и угнетало его — неподвижно лежавшая на кровати Екатерина. Еще когда был в подполье и искал свечи, Каширин подумал, что самое лучшее, что можно сделать для Екатерины, это послать к ней Алферову, добрую, как он считал, и заботливую старуху, у которой он останавливался еще в первый свой приезд в Пятитрубинск, — старуха либо выходит, либо, если уж так суждено, тихо, без шума похоронит Екатерину. Он решил, что по пути на вокзал зайдет к Алферовой. Это было единственное, что он мог сделать, и потому сейчас, стоя у порога, обдумывал, что и как будет говорить старухе Алферовой. Но голос Екатерины, совсем слабый, снова прозвучавший из сумрачной глубины комнаты: «Это ты, Гриша? Ты почему молчишь?» — заставил встрепнуться Каширина; он так и не подошел к иконостасу и не взял серебряную ризу; не подошел и к Екатерине, потому что чувствовал, что если сейчас подойдет и заговорит с ней, то уже не сможет уйти; он машинально перекрестился и тихо прошептал: «Господи», — впервые крестясь и произнося это слово без той внутренней усмешки, с какой относился к вере и богу; он и сейчас обратился не к богу, а только вложил в это слово все те мысли и чувства, какие испытал за весь сегодняшний день.

Когда Каширин вышел на улицу и, остановившись у калитки, оглянулся на дом, он почувствовал, что поступил жестоко, бросив умирающую Екатерину одну; но это чувство было недолгим, всего лишь пока смотрел на выступавшие из тьмы знакомые контуры крыльца и островерхой крыши (не раз, возвращаясь с гор после прогулок, святой отец останавливался у калитки и, прежде чем открыть ее, с любовью смотрел на этот серый, выступавший из тьмы силуэт своего дома); когда же теперь, взвалив мешок на плечи, он вышел на тускло освещенный электрическими фонарями тротуар и направился к вокзалу, уже думал о том, как лучше и незаметнее выбраться на главную улицу; даже то, что нужно было непременно зайти к старухе Алферовой, даже это, что только что он считал главным и ради чего, как уверял себя, решился так поспешно уйти, не поговорив и не про-

стившись с Екатериной, — это теперь вызывало лишь досаду и неприязнь. Он шагал не спеша, прижимаясь к домам и оградам, держась теневой стороны, вглядываясь в лица прохожих; к каждому встречному он начинал приглядываться еще издали и следил за ним до тех пор, пока не убеждался, что шагавший навстречу был человеком незнакомым и не нужно отворачиваться и натягивать фуражку на глаза. На Ивана Евдокимовича Шевелева, вышедшего из автобуса, святой отец тоже смотрел издали и тоже вглядывался в его лицо, но только когда поравнялся с ним, неожиданно заметил, что лицо знакомое; отойдя немного и оглянувшись — они оглянулись одновременно, и Шевелев и Каширин — и снова увидев, теперь хорошо освещенное, потому что Шевелев стоял как раз у столба под фонарем, полное лицо Ивана Евдокимовича, сразу же вспомнил и суд в Афимовке, общественного обвинителя, сидевшего на сцене рядом с прокурором и требовавшего самого строгого наказания — это был он; и встречу с этим общественным обвинителем уже здесь, на Пятитрубинском вокзале — это было в тот день, когда Каширин ожидал Екатерину; и еще одна маленькая деталь всплыла в памяти: недавно в дом приходил агитатор, святой отец хотя и не видел его, но зато, притаившись в подполье, слышал весь разговор — голос агитатора тогда показался подозрительно знакомым; это приходил тоже он, это был его голос. Но не только то, что Каширин узнал Ивана Евдокимовича, но, главное, то, что Иван Евдокимович тоже узнал святого отца, — Каширин понял это, заметив, каким долгим и пристальным взглядом посмотрел на него Шевелев, — главное, это насторожило Каширина; он отпрянул в тень, прижался плечом к стене чьего-то дома и уже из укрытия стал наблюдать, куда пойдет Шевелев. Он хорошо видел, как Иван Евдокимович открыл калитку и скрылся в глубине двора; святому отцу даже показалось, что он услышал, как проскрипела калитка. Он вспомнил, что не запер дверь, когда уходил из дому; не запер потому, что замок остался в сенцах и не хотелось возвращаться, и еще потому, что рассчитывал немедленно прислать сюда Алферову; но сейчас, на секунду представив Шевелева, входящего в комнату к Екатерине, чуть не застонал от боли и ненависти; все, о чем думал и что пережил за этот день и вечер, — все сгустилось в нем сейчас в один твердый комок злобы, и он, щуря в темноте глаза и шепча свое обычное: «Гады! Гады!» — медленно продвигал-

ся вдоль стены, боясь выйти на освещенный тротуар; когда он подходил к вокзалу, возле его дома, взвизгнув тормозами, остановилась вызванная Шевелевым машина скорой помощи, и два санитар в белых халатах и с носилками в руках торопливо пробежали через двор и поднялись на крыльцо.

Глава седьмая

До той минуты, пока не прошли кладбищенские ворота, и мыслил Иван Евдокимович спокойно, и то, о чем вспоминал, представлялось отчетливым и понятным, и то, что видел — больничную повозку, гроб, уже заколоченный гвоздями, плачущих старух в черных юбках и черных платках, — не вызывало в нем ни тревоги, ни мрачных дум; но как только маленькая похоронная процессия втянулась в кладбищенские ворота, и черные старушечьи спины теперь заколыхались на фоне серых крестов, вылинявших оградок, надгробных каменных плит и засохших венков на этих плитах, то обычное волнение, какое возникает при виде могил, охватило Ивана Евдокимовича, и он уже шел за гробом не просто как посторонний, желающий посмотреть, сколько и кто из верующих придет на похороны пророчицы (именно это он хотел узнать, когда отправлялся на кладбище), — он провожал человека в последний путь. Это ощущение утраты было тем сильнее, чем ближе подходили к свежей могильной яме; во всяком случае, так казалось Ивану Евдокимовичу, — подходили к свежей, хотя она была выкопана давно, несколько дней назад, и земля вокруг уже успела подсохнуть и зачерстветь; на городских кладбищах всегда можно увидеть около десятка готовых могильных ям, выкопанных про запас, и эти ямы продаются так же, как продаются гробы, бумажные венки и железные оградки... Иван Евдокимович шел позади всех, стараясь не смотреть по сторонам, держа фуражку в заложенных за спину руках; он никак не мог понять того, что же взволновало его теперь — или вид кладбища, покосившиеся кресты и осевшие могилы, или смерть Екатерины, эта неожиданная смерть, которую он считал и продолжал считать глупой и совершенно бессмысленной; он знал, как и отчего она умерла, и все, что произошло с ней, что он видел сам и чего не видел, но мог

сейчас вполне вообразить себе, — все это возникало в памяти, вытягивалось в пока еще не совсем стройную схему событий, и эти события как раз сейчас и волновали Ивана Евдокимовича. Но в то время как он старался представить все в последовательности, вспоминая и первую встречу с пророчицей в горах, и неожиданное знакомство с ней в доме на Политотдельской, куда ходил после разговора с секретарем рудничного парткома, — мысленно то и дело возвращался к субботнему вечеру, к тем минутам, когда, поднявшись на крыльцо молитвенного дома, так называл он каширинский дом, увидел бесчувственно лежавшую на пороге Екатерину. Она была полураздетой, в одной рубашке, и вся еще дышала теплом постели, когда Шевелев взял ее на руки, — он и сейчас, казалось, вновь ощутил тепло ее мягкого под рубашкой женского тела; он положил ее на кровать и от растерянности пригласил сперва соседей, потом вызвал машину скорой помощи, а потом позвонил в отделение милиции, чтобы прислали кого-нибудь осмотреть и опечатать оставшийся теперь без присмотра дом. Сирена скорой помощи, врач с белой аптечкой, санитары, носилки, ахающие возгласы соседей и голос лейтенанта милиции: «Что здесь произошло? Граждане, кто знает, что здесь случилось?» Этот голос, совсем некстати прогремевший в комнате, и чей-то звучный шепот: «А где батюшка? Как же батюшка теперь!» — все это словно вновь видел и слышал Иван Евдокимович. Но с еще большими подробностями он вспоминал о том, как вместе с лейтенантом милиции и двумя оставшимися соседями, — молчаливым Петром Денисовичем, который ничему не удивлялся и на все смотрел равнодушно, и Таисьей Антоновной, не старой, но располневшей домашней портнихой, которая в противоположность Петру Денисовичу всему удивлялась и непрерывно произносила: «О боже! О боже!» — хотя и не была верующей, — как с этими людьми он произвел в тот вечер первый осмотр молитвенного дома, как обнаружил келью в подполье, груды деревянных крестиков, старое монашеское рубище в углу, несколько икон и церковных книг, брошенных кем-то второпях на пол, а под матрацем каширинской кровати — это удивило даже молчаливого Петра Денисовича — лейтенант милиции обнаружил цветную репродукцию полуголой купальщицы, какие иногда печатаются в журналах.

«Вот так поп!»

«Вот это поп!»

«Похабник!»

«Похабник!»

Для лейтенанта милиции и для молчаливого Петра Денисовича, который по этому поводу все же произнес «Ну и ну», покачав головой, и особенно для Таисьи Антоновны именно это — найденная под матрасом репродукция — было важным и обличительным, потому, что они только об этом и говорили весь вечер; но Иван Евдокимович, хотя тоже удивился и тоже рассматривал «купальщицу» — репродукция была для него лишь ключиком, открывавшим дверь к действительно важным и действительно мрачным событиям, творившимся в пятирубинском молитвенном доме, еще сильнее, чем тогда, в тот субботний вечер, чувствовал и понимал это Иван Евдокимович сейчас, шагая за гробом пророчицы и видя перед собой больничную повозку, раскачивающиеся черные спины старух и кресты по обочинам кладбищенской дороги, кресты, кресты, плиты, засохшие венки. Но воспоминания были так сильны и так захлестывали воображение Ивана Евдокимовича, что он почти машинально шагал за черными спинами старух; он снова подумал о репродукции и, представив себе купальщицу, полунагую, прикрытую вуалью и концом какой-то малиновой накидки, представив эту картину и вспомнив Екатерину, лежавшую в рубашке у порога, вспомнив ее такой — теплой, еще дышащей постелью, — какой держал на руках, неожиданно уловил сходство между купальщицей и Екатериной; они были похожи друг на друга, но не лицом, не прической (Иван Евдокимович не любил распущенные волосы, как у купальщицы, а любил прическу, такую прическу, как у Екатерины — крестьянскую, русскую, с косой, уложенной на затылке), — они были чем-то похожи друг на друга, может быть, стройностью фигур; Иван Евдокимович ухмыльнулся, вспомнив удивленный возглас домашней портнихи: «Вот так поп!» — но он теперь вполне понимал монаха Каширина, положившего под свой матрац ту цветную репродукцию купальщицы. «Хм, похабник?!» И уже опять — пока еще нестройная схема событий, в которых монах Каширин представлял отнюдь не похабником, а преступником, захватила внимание Ивана Евдокимовича. Встреча с Кашириным на вокзале, монашеская келья в подполье и вторая встреча с Кашириным в этот недавний субботний вечер у телеграфного столба под фонарем, — Иван Евдокимович еще

остановился и посмотрел, афимовский ли это монах или не он; процессия в горах со «святой водой» и смерть девочки Тельнягиной, окрещенной святым отцом, — Иван Евдокимович тогда же, в ту субботу, прочитал заявление, поданное отцом девочки в народный суд на тещу и некоего неизвестного монаха; и, наконец, смерть Екатерины — это был один тугой узел, нити от которого тянулись к Афимовке, к подполью давно умершего «болящего человека», к той деревянной бане на конце огорода, в которой монах и святой отец Григорий держал «благословленных» и обреченных на голодную смерть Глафиру Беляеву, Клавдию Стриженову, Клавдию Приходько и Романа Селиверстова; колхозный клуб, заполненный людьми, голос судьи, речь прокурора и его, Ивана Евдокимовича, обвинительная речь, из которой были вычеркнуты, как ненужные, страницы о людском равнодушии, — все это связывалось сейчас в сознании Ивана Евдокимовича в один непрерывный клубок.

— Где грабарка?

— Вот она.

— Надо подчистить дно, а то гроб не установишь, — взяв грабарку, поплевав на ладони и примерившись, тяжела ли, легка ли, кладбищенский рабочий спрыгнул в могильную яму и уже оттуда, выбросив несколько лопат подсохшей земли, крикнул стоявшему наверху и дымившему сигаретой напарнику: — Слышь, дубина, веревку захватил? — крикнул так громко, что даже Иван Евдокимович, находившийся позади старух и не видевший ничего, что делалось здесь, у могильной ямы, отчетливо услышал эти слова: — Веревку захватил?

— Что?

— Веревку... Опять забыл? На чем гроб опускать будем?

— Сейчас сбегаю.

— Давай, да поживее!

Иван Евдокимович потер ладонью виски; перед глазами были все те же сгорбленные старушечьи спины, только они не раскачивались теперь, а стояли неподвижно, как неживые; никто не молился, не было слышно даже шепота; лишь комья земли и глины, выбрасываемые

из могильной ямы, с шумом сыпались на траву и глухо ударялись о дощатые стенки гроба.

Было светло, солнечно, но Иван Евдокимович только теперь заметил, что рассеялись собиравшиеся с утра дождевые тучи; заметив это неожиданно, в какую-то минуту увидев, как белесым налетом покрылись освещенные осенним солнцем черные старушечьи платки; увидел тени, падавшие от старух, от крестов, от гроба и от вылезшего из могильной ямы и стоявшего теперь возле кучи насыпанной земли кладбищенского рабочего; он опирался на грабарку, курил и, посматривая на тропинку, по которой ушел напарник к сторожке за веревкой, негромко ругал этого напарника; до Ивана Евдокимовича долетали ворчливые слова могильщика:

— Ну, дубина, ну навязал мне черт...

«Нет-нет, вычеркнуть».

«Это же о людском равнодушии!»

«Нельзя так обобщать, бойтесь такого обобщения; говорите лучше о частном, конкретном».

«Но это...»

«Вы кого собираетесь обвинять: монаха или общественность?»

Так были выкинуты из обвинительной речи страницы о людском равнодушии; ничего не удалось отстоять; Иван Евдокимович негодовал тогда, что согласился с инструктором афимовского райкома; он и сейчас, вспоминая, чувствовал, что прав был он, а не тот инструктор, чувствовал это сильнее, чем тогда, и если бы все могло повториться, если бы снова пришлось составлять обвинительную речь, — еще острее и резче написал бы Иван Евдокимович и уже никому не позволил бы ничего вычеркивать. Так он думал, искренне желая, чтобы все для него повторилось (ему теперь очень хотелось исправить свою ошибку), не догадываясь, не подозревая, что все идет именно к тому, чтобы повториться: святой отец снова предстанет перед судом, только на этот раз процесс будет происходить не в Афимовке, не в тесном колхозном клубе, а здесь, в Пятитрубинске, и народу соберется больше, чем тогда, и Ивану Евдокимовичу, как общественному обвинителю, придется выступить на процессе и тщательно готовиться к этому выступлению, — все это будет, и он составит обвинительную речь, злую, негодующую, разоблачительную, но пока — в нем лишь

рождалась та смелость, именно смелость говорить правду, которая должна была родиться и без которой невозможно сделать ни одного благородного дела на земле. Никто не знает, когда, в какую минуту придет к нему эта смелость; «я еще не испытал этой минуты», ничего внешне не изменится и для Ивана Евдокимовича, и он, вернувшись с кладбища, примется за свои обычные занятия, но уже не сможет делать то же и так же, как прежде; он заново переписет «Записки воинствующего атеиста», но не для того, чтобы подладиться под мнение того руководителя семинара или кандидата или доктора наук; он выскажет свое, пусть резкое: «Не мы оскорбляем чувство верующих, а они оскорбляют наше чувство, чувство человека». Иван Евдокимович не знал точно, эту ли фразу напишет или еще что-либо более существенное и важное, но чувствовал, что обязательно напишет; гроб уже поднесли к яме, подкладывали под него веревки, и Шевелев подумал, что если бы даже не было сотен других загубленных сектантами жизней, а была только эта одна, — и тогда все равно он написал бы свои «Записки»; не для того рождается человек, чтобы бессмысленно умереть.

«Люди!

Мне жаль вас, люди, стоящие на коленях у распятий!»

Иван Евдокимович смотрел, как спускали на веревках гроб, слышал, как все тот же кладбищенский рабочий, который подчищал дно ямы, властно и громко покрикивал: «Осторожнее, осторожнее, полегче!..» — слышал эти слова, обычные, простые и прощальные и эту минуту, и так же, как когда-то Екатерина мысленно расставляла кресты на маленьком кладбище за сараем, так же, как воображение рисовало ей сотни таких малых кладбищ по деревням и селам страны, — так же видел сейчас в изображении Иван Евдокимович сотни темных могильных ям, сотни гробов, опускаемых в ямы, сотни бессмысленных смертей... В какое-то мгновение — или оттого, что начали засыпать могилу и комки земли с шумом ударились о деревянную крышку гроба, или он услышал, как удивленно и испуганно вздохнули и зашевелились, крестясь, старухи в черных платках, или просто потому, что он в это время взглядом обвел всех, пришедших хоронить пророчицу, — он увидел напротив себя, у могилы, монаха Каширина; сначала Иван Евдокимович даже не поверил себе, потому что никак не ожидал встретить его

здесь. Каширин стоял неподвижно, наклонив голову; он был бледен, не брит и подстрижен под машинку, будто знал, куда ему предстояло идти с кладбища; за плечами у него висел на веревочных лямках дорожный мешок. Иван Евдокимович снова пристально посмотрел на Каширина; теперь не было воспоминаний; теперь было только лицо монаха, и Шевелев не сводил с него взгляда.

1964

ФЕДОР ИВАНОВИЧ

Мы возвращались из Таллина. Поезд только что отошел от Нарвы. Было поздно, но спать не хотелось. Архитектор Федор Иванович Вячеславов, с которым я был знаком прежде лишь по деловым встречам, сидел напротив меня и молча смотрел в темное окно. Там ничего не было видно, кроме убегающих огней станционного поселка, к тому же эти редкие и тусклые огни делали ночь еще непригляднее и сумрачнее. Вскоре и они исчезли, и уже нельзя было различить, лес ли за окном или синяя и сливавшаяся с чернотой неба равнина.

— Вы были в Домике Петра? — спросил я Федора Ивановича. Мне казалось, что он тоже теперь думал о человеке, открывшем для России «окно в Европу», о баталиях, некогда гремевших в этих местах; ведь уже само слово «Нарва» всегда многое говорит русскому сердцу.

— Нет, — ответил он неохотно и сухо.

— Почему? Побывать в Таллине и не сходить в Домик Петра?

— Он был закрыт.

— А парк Кадриорг? Вы были в нем? А Кадриоргский дворец в стиле барокко!..

— Кадриоргский дворец... Все это далекая история. Чувство величия или чувство любви двигало Петром, когда он закладывал парк и строил дворец, мы не знаем. Очевидно, и то и другое. Но, очевидно, и любовь, — проговорил он и, оторвавшись наконец от окна и достав сигарету с фильтром, начал неторопливо и сосредоточенно разминать ее в пальцах.

— Все это история, — через минуту снова заговорил он, — причем далекая и туманная. А вот то, что произошло со мной за эти дни в Таллине, просто удивительно и невообразимо. Такое бывает только в романах. Да,

да, — заметно оживляясь, продолжал он, — я никогда не поверил бы, что это может случиться именно со мной, вернее, знаете, не то слово — «случиться». Случиться, конечно, все может, гора с горою не сходится, а человек с человеком встречается иногда в самых непредвиденных и необычных обстоятельствах. Недавно на Пушкинской площади я прямо лицом к лицу столкнулся с другом, которого не видел двадцать лет, собственно, с войны. Удивительно? Разумеется. Если еще учесть, что был он в Москве проездом, всего один день, и среди миллионной толпы, в бесконечном людском потоке надо же было случиться, что мы столкнулись с ним. Так что дело даже не в случае, а в том, что мне пришлось пережить в эти дни. Впрочем, я и теперь не чувствую себя спокойным. Вы помните, на второй день совещания в фойе подошла ко мне женщина?

Откровенно говоря, я не помнил, что за женщина, и именно на второй день совещания, да еще во время первого перерыва, как уточнил Федор Иванович, подошла к нему, — народу в фойе было много, все курили и шумно разговаривали, подходили друг к другу и уходили друг от друга, и в этой пестроте и движении трудно было что-либо выделить и запомнить; все были возбуждены речами выступавших ораторов, да и сам я жил в те часы тем же волнением и тою же атмосферою, какой жило все совещание. Но вместе с тем, едва только Федор Иванович начал рассказывать, как была одета и как выглядела та женщина, я стал припоминать, что да, видел ее и что она, конечно же, выделялась среди других. «Ах вон кто, — думал я, — да, да, я обратил внимание на нее. Черное платье с белой отделкой по низу и особенно косой андреевский крест на груди. Не крест, конечно, тоже отделка, белое к черному, но так, однако, похоже было на косой андреевский крест. Конечно же, я заметил ее; я видел ее и на другой день; на нее все обратили внимание».

— Ну как же, — сказал я, дослушав Федора Ивановича. — Помню.

— Зовут ее Рита. А как она была хороша девушкой двенадцать лет назад, вы не можете себе представить, как она была красива!

— Она и теперь хороша, — заметил я.

— Да, да, — с поспешностью подтвердил он. — Она и теперь хороша! — И слегка смутился этой своей поспешности. — Говорят иногда из вежливости «повзрос-

лел» вместо «постарел», но я бы сказал, что она именно повзрослела. Кстати, очень точное слово. Повзрослеть — значит набраться мудрости, самостоятельности, трезвости взгляда на вещи и явления, если хотите. Выражение глаз, выражение лица есть всегда отражение внутреннего мира человека, чем он живет, каковы его мысли и чувства. Так вот, скажу вам, она не изменилась внешне, но выражение глаз ее тогда (он сделал секундную паузу) и выражение глаз ее теперь (он снова на мгновение как бы замер, внимательно и пристально вглядываясь в меня, вероятно, желая узнать, правильно ли я понимаю его) настолько различно, что я в первую минуту, когда она подошла ко мне, не мог поверить, что передо мною Рита, та самая Рита, которую я когда-то очень любил.

Может быть, оттого, что я в эту минуту посмотрел на его редкие волосы и седые виски, на далеко не молодые, одутловатые щеки и короткую, полную, перетянутую белым воротничком шею, на всего его, грузного, медлительного, привыкшего, верно, к почтению, тишине и уюту, он снова заметно смутился, и в смущении его было что-то почти детское, чистое и даже трогательное. «А мы говорим, нет любви, — подумал я, — оскудел век на большие чувства. Нет, не оскудел, видимо».

— Но многие утверждают, что глаза лгут, — между тем возразил я Федору Ивановичу. — Сущность человека выражает его спина.

— Не знаю.

— Согнутая спина, прямая спина, рабски согнутая, подхалимски согнутая...

— Не знаю. Вероятно, спина тоже что-то отражает в характере человека, не берусь судить, не наблюдал, но вот в выражение глаз верю. Здесь не может быть обмана, нет, нет. Я, как сейчас, вижу и то ее выражение глаз и это. То мне было понятно, близко, привычно, а это, признаюсь, я понял не сразу. Все вы ушли в зал, на заседание, а мы остались с ней вдвоем в фойе. Вы видели там, в дальнем углу, журнальный столик и вокруг модные теперь низкие кресла? Мы устроились там, в креслах. Я ведь много курю, — перебивая сам себя и как бы извиняясь за то, что доставал очередную сигарету, сказал он. Он действительно курил много, в купе было дымно, душно, но ни вставать, ни открывать дверь не хотелось, потому что это, как мне казалось, могло оборвать нашу завязавшуюся беседу.

— Я ведь рассказываю вам не для оправдания, — снова начал он. — Просто с той самой минуты, как я увидел ее, со мной происходили совершенно невероятные вещи. Думал одно, ясно представлял себе, что должен был говорить, как вести себя, но делал и говорил совершенно другое; как будто был я в каком-то опьянении, был в реальном и в то же время в каком-то странном и нереальном мире. Вам никогда не приходилось испытывать такое, что то, что произносите вы, как будто это вовсе не вы говорите, а кто-то другой вашими устами, как будто кто-то насильно заставляет вас сказать это, а не то, что вы хотите? Невероятно, согласитесь. Никогда прежде я не замечал за собой ничего подобного. Ведь с Ритой, если говорить правду, я всего-навсего провел один вечер наедине, это тогда, двенадцать лет назад. Я пригласил ее на каток, было это накануне ее свадьбы. Я не знал, как, впрочем, и до сих пор не могу понять, почему она пошла тогда со мной. Она выходила замуж за студента-геолога, все мы были знакомы с этим парнем, он не раз бывал на наших факультетских вечерах, и знали, что она любит его, и желали ей счастья. Но на самом деле все, оказывается, было не так. Мы глупы и слепы в молодости, а ведь каждый поступок, даже самый малейший и на первый взгляд незначительный, всегда отражает движение души. И это так просто, — как будто с грустью и сожалением заметил он. — Просто теперь, когда мы умудрены жизнью.

— Вот именно, — подтвердил я.

— Да, что же было дальше? Вернее, с чего все началось? Мы сидели в фойе одни. Время от времени из зала сквозь приоткрытую дверь доносились аплодисменты, откровенно говоря, совершенно не представляю себе, что и как было на совещании. Кто-то потом рассказывал мне, будто влетело архитекторам за однообразие стиля; назывались будто даже имена наших высоких и правофланговых, как будто что-то и обо мне говорилось, в общем, не знаю и даже теперь, когда все позади, ничего не могу воспринять и уяснить. Мы сидели с ней долго, были перерывы, снова заседания и снова перерывы, но я не замечал времени. Вот уж действительно как будто остановилось мгновение. Говорили мы, вспоминали, но и тогда и теперь мне кажется, что мы как будто все время говорили только об одном. Просто я сам себе не могу поверить: я признавался ей в любви, я, сорокалетний женатый человек. У меня жена, две дочери, и я как будто

всегда был с ними счастлив. Но я признавался в любви Рите, в прошлой любви, конечно.

«У тебя такие же красивые волосы, Рита!» — говорил я.

«Я не знала, что ты замечал, какие у меня волосы. Ты меня удивляешь».

«Я все замечал, все помню: и твои глаза, и твою холодную руку тогда, на катке. Ты была так счастлива! Почему же ты в тот вечер, ведь это было как раз накануне твоей свадьбы, пошла со мной на каток?»

«Я сама потом удивлялась».

«А как мы делали новогоднюю стенгазету в стихах, помнишь? У тебя были способности, ты писала неплохие стихи».

«Ты преувеличиваешь».

«Нет. Я же помню. О, как я тебя помню! Все светило, все как будто наполнялось жизнью, как только ты появлялась в коридоре или входила в аудиторию».

Я говорил ей это и смотрел на ее черные волосы, аккуратно и красиво уложенные на голове в уже как будто не модную, но так идущую ей высокую прическу, — она, впрочем, всегда носила высокую прическу, и колебания моды как-то обходили ее; я видел ее теперь так близко и рассматривал так пристально, как не мог тогда, и с каким-то странно приятным и радостным чувством отмечал, как стройны и красивы ее плечи и шея, как красивы белые и не прикрытые волосами уши, как нежны и серебристы теперь, при боковом оконном свете, ворсинки на ее бледном виске; она всегда была немного бледна, но бледность ее не казалась болезненной, в ней была какая-то особая привлекательность. Да, я действительно помнил все, о чем говорил ей. Вместе с тем я видел ее перед собой такой, какой она была теперь, я видел ее в своем воображении и той, какой она была тогда. Передо мною одна за другой вставали картины нашей студенческой жизни: вот он, коридор института, вот я с товарищами у дверей аудитории, мимо проходит Рита, она улыбается, разговаривает с подругами и, конечно же, не обращает внимания на меня, а я слежу за ее походкой, смотрю на ее высокую прическу, на высокую и тонкую шею. Я помню все: и как она была одета, ее темные платья и самодельные, толстой и грубой вязки свитера; помню наше общежитие, зал на четвертом этаже и большой, как терраса, балкон, выходивший на запад, — мы

собирались там вечерами и, облокотившись о перила, наблюдали удивительные закаты (теперь вот как-то нет таких или мы просто не замечаем их): краски бывали настолько разнообразными и каждый раз так неповторимо расцветивали облака, то полыхая заревами, то спокойно и нежно разливаясь по небу оранжевыми отсветами, каждый раз так по-своему менялись очертания домов и улиц, погружавшихся в синий и будто таинственный вечерний сумрак, так удивительно и неповторимо казалось мерцание уличных фонарей и звезд на фоне угасавшего закатного неба, что невольно всех нас охватывало романтическое настроение, и мы как будто уходили в природу, растворялись в ней, как некая Мери, дочь знаменитого капитана, сойдя с корабля, ушла по волнам к желтому, садыщемуся в океан солнцу. Это был мир, в котором мы жили, рассказ, и мы любили слушать его, и Рита слушала с упоением, и я восхищался ею. Все это было, и обо всем этом я вспоминал теперь, глядя на Риту. Но вот странно: тогда, в студенческие годы, будто все было проще, вроде и чувство во мне было много слабее и не так волновало, как теперь, будто я любил ее не тогда, любил теперь, любил даже не ту, а эту, сидящую возле меня.

«Рита, Рита, — повторял я, — как было тогда хорошо, боже мой!»

«А ведь я вскоре разошлась с Игорем, — как-то неожиданно и просто сказала она. — Я только думала, что любила его, но я ошибалась».

«Ты разошлась с Игорем?»

«Да, мы жили с ним в Чите. Его направили туда работать, и я уехала с ним. Тогда же, после свадьбы. А через год мы разошлись, и институт я заканчивала уже заочно».

«И он не мог оценить тебя! Что же он за человек!»

«Я сама ушла от него: лучше сразу, чем потом мучиться всю жизнь».

«Ну а теперь как ты живешь? Почему ты в Таллине? Ты замужем?»

«Да. Я вышла замуж за летчика и вот живу здесь. У меня подрастают двое сыновей; старшему восьмой. Этой осенью он пойдет уже в школу».

«Ты счастлива?»

«Да. Живем мы неплохо. А как ты?»

Я рассказал о себе. Ведь я действительно живу хорошо, мои семейные дела никогда не были для меня вопро-

сом. Я ни в чем не могу упрекнуть жену, она красива и умна; я люблю ее и люблю своих девочек и, право, просто не могу представить себя и свою жизнь без них. Не знаю, как выглядел мой рассказ, как будто бы она верила мне; во всяком случае мы оба казались друг другу счастливыми, хотя чувство это, как мне думается теперь, было вызвано в нас другим, тем, что мы встретились, что сидим рядом, смотрим друг на друга и разговариваем. Вот сколько волнений иногда приносит неожиданная встреча. Однако по порядку. Заседания этого дня уже заканчивались, мы вышли из подъезда последними. Меня ожидала машина и друзья (нас, архитекторов, поместили в Ныме, в небольшой, уютной, дачного типа гостинице), и мы стали прощаться. Она приглашала меня в этот вечер к себе в гости. «И Володя и я, мы будем очень рады», — говорила она. Мне же приглашение это казалось странным, я чувствовал, что нельзя и не нужно идти, и решительно отказывался. Я держал ее за руку и вдруг почувствовал, что она холодна, холодна так же, как тогда, на катке, и я сказал ей об этом.

«Неужели ты действительно все помнишь и все было так, как ты говоришь?»

«Да».

«Но я помню другое: ты был странен и молчал».

«Еще бы! Я держал руку невесты. Чужой невесты. Разве я мог говорить о своем чувстве, когда ты казалась такой счастливой?»

«Неужели все так было?» — с грустью повторила она.

«Было, — подтвердил я и слегка пожал ее, уже согревшуюся в моей ладони руку. — Если найдешь время, покажи мне завтра Таллин, приходи часам к двенадцати, и мы уйдем с совещания».

«Я с удовольствием сделаю это».

«А вечером вместе пойдем на банкет. Ты получила пригласительный?»

«Нет. Я же не участник совещания, а только гость».

«Пойдешь со мной. Я приглашаю тебя».

«В качестве твоей дамы?»

«Рита!»

«Ладно, согласна».

«Да, но как же твой муж?»

«Я скажу ему, он не будет возражать».

«Может быть, все же...»

«Я скажу ему, что встретила старого друга».

И мы простились. Я сел в машину, и мы поехали по узким таллинским улицам в Ныме.

— Это что, уже Ленинград? — после минутного молчания спросил он, откидывая белую шторку окна и вглядываясь в мерцавшие и пробежавшие мимо огни.

— Рано еще, какая-нибудь станция, — возразил я.

Пока за окном мелькали огни, Федор Иванович смотрел на них и не начинал говорить. Лицо его казалось спокойным, но в то же время было заметно, что нелегко давалось ему это внешнее спокойствие, он, в сущности, переживал сейчас снова все то, что пришлось испытать ему в эти дни, и хотя он смотрел на пробежавшие за окном огни какого-то станционного поселка, — видел он, несомненно, другое, может быть, ее, Риту, может быть, себя в столь необычных и столь неожиданных для себя обстоятельствах; во всяком случае, он был очень взволнован, и я нисколько не сомневался в глубине и правдивости его чувства. «Не оскудел век, однако», — снова сказал я себе и теперь уже мельком, чтобы не смущать, посмотрел на его широкие и грузные плечи. Неожиданно я поймал себя на мысли, что вижу в Федоре Ивановиче лишь доброту, и сердечность, и то несоответствие (или, может быть, вернее будет сказать, несовместимость) между внешним видом этого спокойного, солидного семейного человека и тем почти юношеским чувством, какое, оказывается, жило в его душе, — это несоответствие, так вначале бросавшееся в глаза и настораживавшее меня, теперь представлялось естественным и незаметным. «Наверное, она и в самом деле была очень красива прежде, — подумал я, вспомнив и теперь снова и совершенно ясно представив ее себе, ее черное платье и особенно белые и разбежавшиеся, словно кривой андреевский крест, линии отделки на груди. — Она ведь и сейчас производит впечатление».

— Имел ли я право говорить ей все это, вот что мучает меня, — сказал Федор Иванович, как только за окном снова потянулась сплошная чернота ночи. — У нее семья, муж, дети, имел ли я право тревожить ее сердце? Я ведь полагал, что она счастлива, но она и в этом своем втором браке, как я узнал потом, тоже несчастна. Вы представляете, какие мысли и чувства волновали ее в этот вечер, после встречи со мной, какую она провела ночь! Я бы мог дать ей счастье, мог бы сделать ее впол-

не счастливой — я знаю это, потому что просто хорошо знаю себя и свое отношение к людям и к жизни; я мог бы дать ей многое, во всяком случае, ту теплоту, какой всю жизнь, как она говорила, не хватало и не хватает ей; и она, как мне кажется, поняла и почувствовала это. Надо же думать, какую она провела ночь, но и для меня предстоящая ночь оказалась невыносимо мучительной, тяжелой. В Ныме, в этой маленькой гостинице, очень тихо; такое впечатление, будто домик стоит не в пригороде, а где-то в тайге; все вокруг заснежено, под самые окна подступают ели с отяжелевшими от снега ветками; даже двери открываются тихо, будто их совсем нет. И тишина, знаете, после нашей шумной столичной жизни оглушительная; оказывается, не только шума, но и тишины иногда могут не выдержать нервы. Я ворочался с боку на бок и не мог заснуть. Курил, открывал форточку, проветривал и снова курил. Думал же я не о Рите, а о себе, и вопрос: «Имел ли я право?» — стоял для меня уже по-другому. Я говорил себе: «Я ведь всегда любил и люблю свою жену, что же я делаю? Разве я в чем-нибудь могу упрекнуть ее? Нет. Тогда, спрашивается, заслужила ли она то, что я делаю?» На душе было скверно и гадко, как будто я как-то подло и недостойно предал свою жену, предал семью, которая была дорога мне и перед которой я теперь был униженительно и непоправимо виноват. «Главное, я же еще пригласил ее на банкет, — думал я. — Для чего?» Я не знал, для чего сделал это; во всем мне виделась теперь одна глупость, и я никак не мог простить себе этой глупости. Я встал, спустился вниз к телефону и заказал разговор с Москвой. Соединили как-то неожиданно быстро. Ну да, была уже глубокая ночь, было около трех, конечно, могли соединить быстро. Как будто уже через минуту я услышал в трубке:

«Что случилось, Федя? Федя, это ты? Что случилось?»

«Да, это я. Как вы там без меня?»

«Что случилось? Почему так поздно звонишь?»

«Ничего не случилось, просто мне хотелось узнать, как вы там».

И опять:

«Что-нибудь случилось?»

«Да нет же, нет, нет!»

Разговор этот, конечно, не только не успокоил меня, но, напротив, внес в мою душу еще большее смятение.

«Зачем я звонил? — говорил я себе, вышагивая по номеру от окна к двери и обратно. — Лучше бы не звонить, и она бы не волновалась и ничего не знала. Ну, было со мной, было и прошло, попереживал бы сам, и на том все кончено. Но теперь? Как она может истолковать этот мой неожиданный ночной звонок?» Временами мне казалось, что жена все поняла, и уже одно сознание того, что я причинил ей боль, несказанно угнетало меня. «Что я делаю? — снова и снова продолжал упрекать я себя. — И еще этот завтрашний банкет и приглашение...» Отказать Рите я уже не мог, это было бы, как мне казалось, тоже унижительно; в общем, я находился в тупике и не видел выхода, был виноват перед всеми, виноват своей несдержанностью. Говорят же: язык мой — враг мой. Штора на окне была немного раздвинута, на востоке уже светлело небо, занимался новый день, но он не сулил мне никакой радости. Я оделся и вышел на улицу, чтобы освежиться — и хоть как-то встряхнуться. Красивые же места в Ныме! Удивительно красивые! Вы знаете, есть, однако, прелесть в маленьких городах и одноэтажных домиках, право же, есть. Смотришь на них, и чем-то они радуют глаз, что-то напоминают древнее и непреходящее. Во всяком случае, мне так казалось, когда я шагал в тишине этих коротких кварталов. Все вокруг еще утопало в бледной синеве рассвета: и крыши, и стены, одинаково темные, и окна, занавешенные изнутри и еще более темные, чем стены, и темный высокий штакетник от калитки к калитке — все представлялось особенным среди белого снежного покрова. Но, хотя я и смотрел по сторонам и любовался видами Ныме, я ни на минуту не забывал о том, что случилось со мной и в каком я был теперь положении. «Черт возьми, надо же было пригласить ее на банкет!» — снова и снова говорил я себе, как будто это являлось самым главным моим грехом и что, не будь этого, все остальное казалось бы пустяком, нелепостью, эпизодом. «Может быть, притвориться больным, не ходить, не встречаться с ней больше? — колебался я, стараясь найти хоть какую-нибудь более или менее достойную причину, чтобы не испытывать еще и еще этого неприятного, всю ночь терзавшего меня гадливого чувства предательства. «На банкете будут все мои друзья, — думал я, — увидят незнакомую даму, начнут спрашивать, кто, как, откуда, и надо будет что-то говорить, как-то объяснять; люди разные, одни поверят, другие нет, и вся эта история переключает за

мною в Москву, дойдет до жены и причинит ей боль. И еще: этот мой глупый ночной звонок...» В общем, картина представлялась ужасною, тем более что я всегда презирал подобные истории и никогда не попадал в них. «Но ведь проще простого сказать ей: нет, занят, невозможно или еще что-либо такое веское; просто надо быть решительнее и тверже, — старался убедить я себя. — Быть тверже!» Более всего меня мучило то обстоятельство, что как раз при встрече с нею я не смогу быть твердым и решительным, что все то, что уже было, что я испытал, все повторится со мною и я вновь буду говорить не то, что думаю и что надо, а нечто другое; снова попаду во власть иных, если хотите, возвышенных чувств, против которых все рассудочное бессильно. Между прочим, за все время моих мучительных раздумий я ощущал в себе эту власть иных, возвышенных чувств, и оттого, наверное, минутами казалось мне, что как будто что-то сладостное растекается в груди. Казалось бы, что проще, чем следовать рассудку, тем более в моем возрасте? Со мною же словно происходила какая-то игра, как щепку в океане, швыряло меня с волны на волну чувств, и не было даже соломинки, за которую я мог бы ухватиться. Я шел и размышлял обо всем этом. И вдруг неожиданно увидел перед собою сосновый бор. Жаль, что вы не были в Ныме. Вы, кажется, жили в гостинице «Таллин»? Сосновый бор подступал прямо к дороге: с одной стороны — дома, а с другой — эти невысокие и стройные балтийские сосны. И накатанная дорога, и обочина, и снежные сугробы перед бором, и сами сосны, особенно их ровные и желтоватые стволы — все было как бы выхвачено из синевы брызнувшими лучами всходившего солнца. Но самое удивительное: стволы сосен были наклонены в одну сторону, от солнца, как будто испугались его и защищались теперь от удара. Все это, конечно, от постоянного и сильного ветра, но первое впечатление было таково: от солнца, от света, от яркости. Я остановился и тоже как будто откачнулся, и светом показалось мне не солнце и не сияющая белизна снега, а Рита, и откачнулся я будто от нее, от ее бледного лица. Ничего не могу понять, как, что и почему произошло это со мною, но, как сейчас, помню ту минуту. Странные вещи иногда случаются с людьми, как во сне, хотя никакого сна не было, а все вокруг было вполне реально: и снег, и лес, и дорога, и дома с красными черепичными крышами, и морозец такой, что вернулся я в гостиницу изрядно озябшим.

Жаль все же, что вы не видели Ныме, — заключил Федор Иванович.

Я не стал говорить ему, что ездил в Ныме и видел все то, о чем он рассказывал; был я там в тот же вечер и в той же небольшой гостинице, но в другом номере, у нашего общего знакомого и давнего моего приятеля архитектора Слепова. Мы ходили с ним по тем же коротким улицам, по которым бродил Федор Иванович, видели домики, сосновый бор, дорогу, но ничто не произвело на нас такого впечатления, как на Федора Ивановича. Все представлялось простым, обычным и напоминало скорее новые уютные деревенские усадьбы, чем нечто прошлое, древнее и непреходящее. Но, как видно, мы смотрели на мир иными глазами, чем он, мы были спокойны, говорили о деталях совещания, с чем-то соглашались, с чем-то не соглашались, и все окружавшее нас выражало то же будничное и деловое спокойствие. «Вероятно, мир гораздо разнообразнее, чем мы полагаем, — подумал я. — Каждый человек и каждый раз видит его по-своему и в зависимости от настроения и чувств. Обычное может быть прекрасным и прекрасное обычным».

— На другой день, как и договаривались, ровно в двенадцать она уже ожидала меня в фойе, — между тем продолжал Федор Иванович. — Она выглядела бледнее, чем обычно (бледность ее, однако, всегда казалась заметной и особенной, и всегда что-то благородное, как я уже говорил, проступало за этой бледностью). На лице ее не было ни вчерашней радости, ни вчерашнего удивления; какие-то другие и пока еще не понятные мне чувства и мысли владели ею, и этот внутренний мир ее, как всегда, светился в ее глазах. Она улыбнулась, нежно и сочувственно, и с этой непривычной и новой для нее улыбкой подошла ко мне. Она была одета так же, как и вчера, в том же черном платье с белой отделкой, но на этот раз как будто все на ней сидело лучше, необычнее и неповторимее, как будто только она могла выглядеть так и в таком простом сочетании черного и белого. Она стояла рядом, я чувствовал ее дыхание, чувствовал всю ее не очень высокую, с почти незаметной, но в то же время приятной полнотой фигуру, ее плечи, шею, руки, белые и тонкие, с маленьким золотым браслетом у запястья, и близость эта волновала меня и возбуждала воображение. Ни о какой твердости и решимости, разумеется, я уже не думал; все было позабыто и я снова становился

как бы бессознательным исполнителем чьей-то воли, чье-то настоящего веления; все прежнее и пережитое (не то, давнее, студенческое, а пережитое вчера) вновь словно наполнило меня, и я уже не мог выйти из этого состояния. Я молча стоял и смотрел на нее. Какой был у меня вид — очевидно, растерянный и глупый; что было написано на моем лице, я не знал; да если бы я и хотел, все равно не мог бы, видимо, ничего скрыть, так сильно и непосредственно было во мне чувство.

«Пойдем, чего же мы стоим», — сказала она.

«Да, пойдем».

Мы оделись и вышли на улицу. День был морозный и солнечный, говорят, редкий для Таллина. Здесь большей частью туманы и сырость, но этот день — да что я вам рассказываю, вы же помните, каким солнечным был вчерашний день. Она взяла меня под руку и повела по узким и кривым таллинским улицам. Я смотрел на все, на что она указывала, слушал ее как будто радостный и веселый голос, но, сказать по правде, все это проходило как бы мимо меня, было словно мимолетным фоном, рисунком ковровой дорожки, по которой идешь и от которой обычно остается в памяти лишь сочетание цветов и симметричности или несимметричности линий и фигур и ничего более определенного и конкретного. У меня осталось такое впечатление, будто во всем городе всего-навсего один светофор, что машины ездят там, где хотят, что никаких правил движения и переходов нет и в помине — люди шагают по середине улиц, пересекают площади в самых неположенных местах. И все это в то же время имеет какой-то свой ритм, движется спокойно, привычно, деловито. Рита держала меня под руку, и мы шли тоже посередине улицы, как таллинцы. Это была улица Пикк, самая длинная, самая кривая и самая оживленная. Стояли у какого-то высокого, неуклюжего, с небольшими, тюремного типа высокими окнами здания с медной дощечкою на каменной стене: «Пакгауз, памятник архитектуры»; были у «Старого Томаса» (и вы, наверное, ходили в это удивительное, я бы сказал, средневековое кафе), стояли у каменной стены знаменитой ратуши — камни замшелые, потемневшие и выветренные, такая, представляете себе, невообразимая древность, но зато внутри, говорят, все современно. В одной из ниш ратуши, под аркой, выходящей к площади, вделаны в стену толстые железные цепи. Они любопытны своей старинной ковкой. Мы рассматривали ратушу, рассма-

тривали цепи, к которым, как рассказывала Рита, приковывали в старину неверных мужей. Не берусь судить, действительно ли есть такое предание или оно было выдумано ею, — тогда сразу я как-то не обратил на это внимание; но теперь я знаю, слова эти были обращены ко мне, и произнесла она их, конечно же, с каким-то торжеством. Но это была лишь минута, когда она выпустила мою руку и пошла вперед одна, будто ратуша и цепи на каменной стене, под аркой, напомнили ей что-то, и она торопилась уйти отсюда. Я теперь только все это вижу и понимаю, но тогда, вчера, я тут же догнал ее, ничего не замечая и по-прежнему лишь восхищаясь ею, ее осанкой и походкой, ее поворотом головы и движением губ, когда она говорила; я чувствовал себя так, будто всю жизнь стремился к этой минуте — быть с ней рядом, — и вот эта минута настала, и ничего в мире не существовало для меня, кроме этой минуты. Мы поднялись на крепостную стену Вышгорода и смотрели на Таллин, на его изумительные рисунки улиц и остроугольные черепичные крыши домов; на соборы и башни, на маленькие желтые трамвайчики, сновавшие по улицам, на новый, из стекла и бетона вокзал, казавшийся маленьким с высоты и будто лежавшим у наших ног, на синюю полосу залива и словно игрушечные на рейде корабли. Потом мы спустились по какой-то довольно крутой каменной лестнице и вышли к трамвайной остановке.

«Теперь в Домик Петра», — сказала Рита.

«В Домик так в Домик», — ответил я, потому что, в сущности, мне было все равно, куда идти или ехать, — главное, она была со мной, я видел ее глаза, полные той удивительной жизни, какою, как мне всегда казалось, живут особенные и возвышенные женщины. Я восхищался ею, каждым ее движением; мне хотелось быть с нею добрым и нежным. Я не думал, к чему все это может привести, и отдавался полностью тому ощущению радости и счастья, какое испытывал в эту минуту. Мы сели на остановке в маленький желтый трамвайчик (я говорю «трамвайчик», потому что действительно узкоколейные таллинские трамваи производят такое впечатление); народу было немного, вагон не гроыхал, двигался плавно, даже как будто бесшумно, или, может быть, это только мы, занятые разговором, не обращали внимания ни на шум, ни на входивших и выходивших людей. Я не помню, о чем мы говорили; на конечной остановке все вышли из трамвая, и лишь мы продолжали сидеть, увле-

ченные и не замечавшие ничего вокруг. Право же, бывает какое-то такое затмение, человек как будто отключается от всего земного и живет вне времени. Именно это было с нами. Я вдруг почувствовал тишину, точнее, почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. На нас смотрела кондуктор-эстонка, улыбаясь доброй и понимающей улыбкой. «Ничего, ничего, сидите, я задержу трамвай», — выражали ее глаза. Я взял Риту за руку, и мы, что-то говоря эстонке и в чем-то извиняясь, немного смущенные и удивленные собою, поспешно вышли из вагона. Вокруг лежал парк Кадриорг, или, как говорят таллинцы, долина Катрен. Белый снег, чистое голубое небо и яркое, почти слепящее солнце; и только стволы деревьев как будто черными штрихами разрезали эту белизну, этот заснеженный, взбегавший от моря к вершине простор. А Домик Петра был закрыт. Меня это не огорчило, потому что все мысли мои и чувства находились как бы в другом мире, я жил иными тревогами и волнениями. Для Риты же это было неприятной неожиданностью, на лице ее появилось выражение недовольства. Ей, наверное, хотелось показать мне что-то особенно примечательное, и теперь она была разочарована. Мы молча обошли вокруг Домика и затем медленно направились через парк в сторону моря, к Кадриоргскому дворцу. Удивительно, знаете ли, не то, что парк и дворец красивы, что удачно выбрано место, что, наконец, закладывалось и строилось все по указанию самого Петра, удивительно другое, — что красоте этой предшествовало великое чувство любви. Оно пробудило в Петре лучшие помыслы. Ведь строился дворец для Екатерины — это прежде всего, а потом уже все остальное: государственные и прочие соображения. Мы не говорили с Ритой об этом, но именно так и чувствовал я, когда мы шли с нею по парку и когда затем стояли перед колоннами Кадриоргского дворца. Теперь вот я рассказываю вам, и мне самому представляется странным, но в те минуты, как мне казалось, я вполне понимал движение души и порывы Петра; я как будто в себе самом ощущал то его большое чувство. В каждом должно жить такое чувство, и каждый, по-моему, должен оставлять на земле свой дворец во имя этого чувства.

Поезд шел быстро. Но до Ленинграда было еще далеко. За окном по-прежнему тянулась сплошная чернота ночи. Федор Иванович, рассказывая, то и дело отодвигал шторку, будто непременно хотел уловить тот момент,

когда замерцают вдали огни города; он как будто торопил поезд и торопил время, словно ехал не в Москву, а в Ленинград, и ожидание встречи с родным городом и семьей рождало в нем это, впрочем обычное для всех людей нетерпение. Но семья его жила в Москве, а значит, что-то другое приковывало его к окну. В душе его, очевидно, было так же беспокойно и темно, как за окном, и он как бы тянулся к свету, к прояснению, тянулся бессознательно, не задумываясь и не отдавая себе отчета, для чего ему сейчас нужно видеть огни в ночи. Он сидел все так же грузно, навалившись своей тяжелой и широкой грудью на столик; ладонью он подпирал щеку, и три глубокие и розовые от напряжения морщины пролегли от глаза по виску к редким и седеющим волосам. Мне казалось, что он то и дело отодвигал шторку окна еще и потому, что с приближением огня приближалась и развязка его гнетущего состояния; было видно, что он теперь снова и, может быть, даже еще сильнее, чем в день встречи с Ритой, переживал свои волнения и, главное, не мог таить в себе, — ему хотелось говорить и говорить, рассказывать о своих чувствах в той последовательности, в какой ему довелось испытать их. Я видел, что он вполне искренен; ни в выражении лица, ни в тоне голоса, ни в движениях — ни в чем нельзя было заподозрить хоть малейшей доли наигранности или любования собою; но вместе с тем у меня возникало впечатление, что во всей этой истории было что-то такое, чего Федор Иванович не досказывал. Мне казалось, что его теперешнее чувство к Рите не было лишь простым продолжением прежней, студенческой любви, и вспыхнуло оно сейчас с такой силой не оттого, что Рита и теперь выглядела особенной и возвышенной, как он говорил, — причиной всему была, разумеется, неудовлетворенность собственной жизнью, неудовлетворенность, которую он не замечал в себе прежде, но которая как раз и открыла в нем теперь эту отдушину накопившимся и хлынувшим наружу чувствам. Мне казалось, что хотя он и говорил о своей семейной жизни так, будто в ней не существовало для него никаких проблем, но именно здесь пролегла трещина, которую он скрывал от меня, может быть, скрывал и от себя. Я вдруг представил себе, что, вернувшись домой, он уже не сможет жить так, как жил прежде, что именно та трещина, в существовании которой я почти не сомневался, станет очевидной и явной для Федора Ивановича, все привычное он увидит другими гла-

зами, и это будет мучительно; но и изменить что-либо он вряд ли сможет, потому что, во-первых, у Риты дети и муж, во-вторых, это в его-то годы и с его многолетней привязанностью к семье! Я воображал картину неизбежного разлада, мне представлялся драматический конец всей этой истории, и оттого я смотрел теперь на Федора Ивановича с жалостью, как будто все уже было предрешено и ничего уже нельзя изменить. «У Риты, конечно же, своя жизнь. Как еще все это отразится на ней? Может быть, все обойдется, все останется по-старому, но так или иначе, а две семьи уже не будут испытывать того спокойствия, какое испытывали прежде. И все это от большого и чистого чувства?» «Нужно ли, правомерно ли *такое* чувство?» Я вслушивался в каждое слово Федора Ивановича, стараясь уяснить себе, как и почему возникает в людях это удивительное, созидающее и в то же время разрушающее все чувство, как и почему взбудоражило оно сидевшего передо мной доброго и растерявшегося теперь перед жизнью человека.

— От Кадриоргского дворца аллея ведет прямо к морю, к заливу. Вид на залив, конечно же, изумительный: синяя кромка воды и синяя, лишь чуть посветлее, кромка неба. Все это создает неповторимое впечатление округлости и простора. Теперь-то, — Федор Иванович усмехнулся, — я уже на все смотрю глазами архитектора: и на дворец, и на аллею, и на памятник нашим морякам, «Русалку», что в конце аллеи, у берега; и восхищаюсь тоже рассудочно, разумно; но в те часы все представлялось особенным, будто не я, не во мне, а во всем том, на что я смотрел, жило и билось испытываемое мною чувство, будто все было одухотворено и наполнено радостью. Я не замечал ни холодного и сырого ветра, дувшего с моря, ни студеного дыхания серых мраморных плит памятника, ни даже того, что Рита замерзла, что ее охватил мелкий, простудный озноб. Она уже почти не говорила, побледневшие, как будто обесцвеченные губы ее шевелились медленнее, и бледное лицо она прикрывала от ветра перчаткой.

«Пойдем в какое-нибудь кафе», — наконец сказала она.

Мы вышли на дорогу, взяли такси и через двадцать минут уже сидели в «Старом Томасе».

Мы заказали по бокалу вина, разумеется сухого, белого, немного закуски и черный кофе. Столик наш стоял у окна, и яркий дневной свет как-то особенно и весело

освещал лицо Риты. Надо ли снова говорить, как она была хороша в этом падавшем на нее радостном потоке света, какой белизною и нежностью дышали ее шея и плечи, обведенные вырезом черного платья, как выразительно и оживленно смотрели ее глаза, — я бы мог часами рассказывать об этом, о каждой ее черточке, о каждом движении ее тонких белых рук; все, что было во мне самого доброго к ней, все вновь как бы поднялось и заполнило собою каждую клеточку.

«Рита, — сказал я, поднимая бокал, — если бы тогда, на катке, я взял бы тебя за руку и увел, ты бы пошла за мной?»

Она ничего не ответила, взглянула на меня, и я почувствовал, что не должен был говорить это. Но как и в первый день встречи, как почти во все часы, пока я был с нею, я не мог подчиняться ничему рассудочному.

Я снова спросил:

«Пошла бы?»

«Не знаю. Ты меня удивляешь», — ответила она уже знакомыми мне словами.

«Но я действительно любил тебя. Очень любил».

«Очень?»

«Люблю и сейчас очень».

«Ты думаешь, что ты говоришь?»

«Да».

«Но ведь ты же счастлив, не так ли? Зачем я тебе? Замужняя, с детьми, зачем? А если я скажу сейчас: «Да, согласна, бросаю семью и иду с тобой», — что ты будешь делать? Что молчишь, скажи!»

Но что я на это мог сказать ей!

«Молчишь, — снова начала она, но уже с неприязнью и отчужденностью (теперь-то мне совершенно ясно: именно с неприязнью и отчужденностью). — Ты не решился тогда, на что же ты можешь решиться теперь? Разве только на это: унижить и оскорбить (да, да, она произнесла эти слова, ничто другое, а эти, хотя, рассудить так, что унижительного и, главное, оскорбительного для нее могло быть в моих поступках; я говорил лишь то, что действительно чувствовал и о чем не мог не говорить). Я не солгала тебе, верно, — между тем продолжала она, — я не могу похвалиться своею жизнью, не так уж все у меня хорошо, но сделал ли бы ты меня счастливее? Вчера я еще думала, что да, что, наверное, сделал бы и что я тогда, в юности, совершила ошибку. Но теперь

я не думаю так. Между прочим, тогда, в институте, я ведь обо всем догадывалась и на каток с тобой пошла не просто. Я ждала, что ты заговоришь, но ты не решился. Что же, и любви, значит, в сущности, никакой не было, и все это ты теперь лишь вообразил себе? Да ты влюблен в себя, ты играешь, игра эта забавляет тебя, и ты не видишь и не хочешь знать, что при этом могут испытывать другие. Нет, ты никогда и никому не можешь дать счастья, кроме как самому себе, и сколько бы ни возражал сейчас, это так. Ты не лучше моих Игоря и Володьки. То же делал Игорь — признавался в любви своим геологичкам, когда уезжал в тайгу с партиями; то же делает Володька, влюбляясь в своих стюардесс; то же делаешь ты сейчас. Разница лишь в том, что ты объясняешься в любви мне. Я не завидую твоей жене, нет».

Глаза ее сузились и наполнились какою-то холодной гордостью. Я же был потрясен и растерян. Поведение ее мне казалось необъяснимым и неожиданным, хотя на самом деле все, конечно же, было и объяснимо и ожидаемо. Во все время нашей встречи я пробуждал в ней добрые чувства, я как бы представлял ей тот счастливый и согласный мир, которым жил сам, но которого, увы, оказывается, не было у нее, и в конце концов, это раздражало ее. Сам того не замечая, я как будто и в самом деле играл с нею, дразня ее хорошим, чистым и благородным чувством, дразня тем, к чему она лишь стремилась, но чего не могла достичь ни в первом своем, ни во втором замужестве. Но я ведь еще не знал ничего этого; я думал, что и она и я, оба мы счастливы. Нет, нет. Все во мне было бессознательно, я уже говорил вам, что я просто впервые в жизни вдруг ощутил себя вне власти рассудка, и мне нравилось это состояние, может быть, самое естественное состояние человека. Счастье, если рассматривать его как философскую категорию, может быть продолжительным и может быть мгновенным. Я имел и то и другое. У Риты же не было его — ни продолжительного, ни мгновенного; все мои слова, поступки, взгляды она оценивала и воспринимала по-своему; она подходила ко мне с меркой той жизни, какая окружала ее, к какой она привыкла уже и какою, как видно, теперь жила сама. В общем, раздражение ее началось еще с утра, почти с первых минут встречи. Хотя бы эта ее реплика о цепях на ратуше, к которым якобы приковывали неверных мужей! И еще, тогда не замечаемое

мною, но сейчас видимое и ясное; как мы все же бываем слепы, и не только в молодости, да, не только в молодости. Ведь что дальше произошло в кафе? Что бы я ни говорил, она лишь с холодной усмешкой смотрела на меня, ничему не веря и видя во всем и понимая лишь то, что ей хотелось видеть и понимать. Она попросила заказать еще по бокалу вина; когда выпили, встала и сказала:

«Идем».

«Может быть, еще посидим, — возразил я. — На улице холодно, а на банкет еще рано».

«Нет, нет, идем».

«Но куда?»

«Со мной! Ведь для чего-то ты объяснялся мне в любви».

«Я не понимаю тебя».

«Боишься в гостиницу, пойдем ко мне. Не волнуйся, он в рейсе, а дети у бабушки».

«Ты с ума сошла, Рита!»

«С ума? Нет. Я просто хочу сделать то, что делаете вы. Вы, вы! — несколько раз повторила она с какою-то торжествующей холодностью. И вдруг сказала: — А впрочем, какая разница, кто будет у меня сегодня: кто-то другой или ты».

«Рита!»

«Я знала, что ты не решишься. Да и на что ты можешь решиться?»

Она взглянула на меня чуть искоса и насмешливо и медленно направилась между столиками к выходу.

Я догнал ее уже в гардеробной. Мы оделись и вышли на площадь. Больше она не сказала ни слова, села в трамвай и уехала, и я остался один. Представьте теперь, каково было мое положение, что я должен был думать о себе и о ней (главное, о ней, потому что в ушах все еще как будто звенела сказанная ею фраза: «Какая разница, кто будет у меня сегодня...») А на город уже опускались сумерки. Все только что радостно сверкавшее в закатных лучах, ясное и четкое: очертания домов, памятников, очертания башен на вышгородской стене — все как будто стусывалось и сливалось в один сплошной с землею и небом серый фон, на котором зажигались огни. В общем, все преображалось, тускнело и угасало, хотя, очевидно, и в вечернем Таллине есть своеобразие и прелесть. Я стоял и не знал, что делать. Я ведь не очень большой оптимист, несчастий на земле не мало,

и случаются они от разных причин. Но я не могу признавать эти, да, эти, которые происходят от самих себя, от неуважения и нелюбви, когда растаптываются самые нежные человеческие чувства; я не могу понять те существа, подчеркиваю существа, в которых низменная, животная страсть возвышается над благородством и чистотой, для которых красота заключена не в силе духа, а в подчинении минутным слабостям. Я говорю вам теперь эти слова, но тогда, на площади, они жили во мне так же, как только могут жить в людях ненависть и любовь, являлись как бы стержнем души, мыслью и плотью; никогда не бывав в ее доме, я представлял себе ее комнату (как позволяло мне мое воображение), чужих мужчин, представлял ее разоблачающейся, ее бледное лицо, глаза, шею, плечи и ту холодную усмешку, с какою она, посмотрев на меня, выходила из кафе; дети, муж, стюардессы, снова она — все это кружилось в моей голове, как нечто унижительное и непристойное, и отдавалось болью. «Так ли все? — думал я. — Может, все не так, а лишь игра, лишь какая-то защитная реакция?» Когда мы стояли на вышгородской стене, она, показывая на церковь Оливесте (святого Олая, вы видели, наверное, она построена в стиле готической базилики), говорила, что живет где-то в этом районе. Я взял такси и помчался к церкви Оливесте. Мне хотелось еще раз увидеть Риту и поговорить, — ведь могло же быть такое, что она все придумала о себе; хотелось сказать о чистоте своих чувств, — ведь действительно я же ничего дурного не думал и не желал; но я напрасно кружил около церкви и бродил по прилегавшим, темным и малоосвещенным улицам, напрасно смотрел на дома и окна, говоря себе: «Здесь? Нет?» — я все равно не решился бы войти к ней, если бы даже знал дом и квартиру, а делал все, как вижу теперь, лишь для очищения души, для собственного успокоения, когда, знаете, думаешь, что ты исчерпал все, что мог, и уже от тебя ничего не зависит. Но вот ведь как устроен человек! Нехорошо говорить об этом, еще более плохо испытывать это, но так было: чувство облегчения и даже как будто радости минутами охватывало меня, и я знал, отчего эта радость, — я мог теперь идти на банкет один, и вся история с Ритой останется лишь в моей памяти, и никто ничего не будет знать. Да, я радовался этому, ведь была же бессонная ночь в Ныме и телефонный разговор с женой, были тревоги, которые, оказывается, постоянно жили во мне; жила, сказать яс-

нее, какая-то болезнь, какое-то, как тормоз, сдерживающее и неприятное чувство, и оно лишь заглушалось, когда я был с Ритой и смотрел на нее, но не уничтожалось, нет. Именно оно овладевало теперь мною. Но от этого мне не было лучше, напротив, состояние раздвоенности как будто даже сильнее угнетало. На банкет я пришел с опозданием, правда, никто, кажется, этого не заметил. Были тосты, вино, да что я вам рассказываю! Банкет, как все подобные банкеты: как будто и весело, как будто и душевно и беззаботно, а в общем-то продолжение деловой встречи. Это всегда так. А после банкета друзья пригласили меня в ночное варьете «Астория». Я не охотник до подобных зрелищ и развлечений, но теперь мне было все равно, куда идти, где проводить время, лишь бы не оставаться одному. Расположено варьете, кажется, в самом центре, чуть ли не на площади Победы. Представляет оно собою низкое и сводчатое подвальное помещение с ареною посередине, нишею для музыкантов и многочисленными нишами — отсеками для посетителей. Столики, лица, прически, голые плечи, лоснящиеся, как змеиные шкуры, мини-платья и мини-юбки, белые воротнички и малиновые кафтаны официантов — все это копошилось, гудело и тонуло в тяжелом и чадном облаке табачного дыма, духов и пота, и трудно было понять, зачем и для чего выдумали это для себя люди. Вы когда-нибудь бывали в азиатских банях? Те же своды и те же ниши, шум, пар, чад, возня, звон медных тазов и громкие шлепки массажистов... но там люди отмывались, очищались от грязи, а здесь... Во всяком случае, мне так казалось. Я думал о Рите, и вся окружающая обстановка, вся атмосфера варьете как будто специально существовала лишь для того, чтобы подтвердить нехорошие мои мысли о ней. В самом деле, для чего, вернее, для кого существуют варьете? По-видимому, для несчастных. Для кого же еще?

В темноте, за окном, снова промелькнули огни какого-то полустанка, вагон швырнуло на стрелку, и опять ровно, глухо и однообразно застучали колеса. Федор Иванович молча принялся закуривать новую сигарету. Поезд мчался, все более отдаляя нас от Нарвы, и в этом его движении, в ритме бежавших по рельсам колес, в мягком и плавном покачивании было что-то свое, грустное, шемящее и бесконечное. Ночь подходила к зениту, и темнота за окном, когда теперь Федор Иванович приподнимал шторы, и мне представлялась гнетущей.

Я тоже думал о Рите, о ее судьбе, но, может быть, потому, что она существовала для меня лишь в рассказе, нарисованная воображением влюбленного Федора Ивановича, а сам Федор Иванович с беспокойным и взволнованным лицом сидел передо мною, более я думал о нем. Он представлялся мне теперь жалким, способным лишь приносить огорчения. «И ведь он не замечает этого, — рассуждал я. — Ему кажется, что он переполнен добротой и чистыми и возвышенными чувствами, но могут ли считаться чувства возвышенными, если они не приносят никому счастья. Верно говорят: доброта иногда оборачивается злом». Нет, я уже не верил в искренность его слов, мне казалось, что не все было так, как он говорил, что, наверное, он лишь хотел, чтобы все было благородно и возвышенно, но благородства, в сущности, не получилось. «Не то считается добрым делом, что радует и удовлетворяет тебя, а то, что радует и удовлетворяет других, и ведь это так просто и ясно», — думал я. Я не верил, что Рита вполне серьезно звала его к себе домой; ее поведение в кафе мне представлялось совершенно иначе, чем толковал Федор Иванович.

— Однако по времени должен быть Ленинград, — заметил Федор Иванович.

— Да, пожалуй.

— Но где же огни?

— Мы их увидим сразу, как только поезд выйдет из лесу.

— Ах, вот как! Я по этой дороге впервые. Но я люблю панораму ночных городов. Тысячи огней, как опрокинутое в океан небо. Право же, есть в этом что-то звездное, таинственное. Мы ведь все время как бы варимся в одной и определенной (ее еще можно назвать «деловой») сфере мыслей, и поиски наши и, если хотите, открытия тоже, в сущности, определены все той же деловой сферой, определенными целями и задачами, и оттого так иногда хочется выйти из этой сферы, выйти и ощутить вдруг всю огромность и непостижимость мира. Я всегда робею перед величием природы, но это очистительная робость, потому что именно в такие минуты рождается страстное желание познавать и открывать величайшие тайны. Природа любви — тоже далеко не раскрытая тайна и, я бы сказал, непостижимая тайна. Хотя бы вот что было со мной. При здравом рассудке я бы никогда не позволил себе ничего того, что было, но дело-то все в том, что ожили вдруг во мне какие-то иные

силы. Собственно, я и теперь ощущаю их, и, появившись сейчас здесь Рита, наверное, все повторилось бы снова. Тайна, казалось бы, не где-то и в чем-то, а во мне самом, и я не могу ее объяснить. Некоторые утверждают, что все величайшие глупости и все великие дела творились людьми именно в таком состоянии. Великие не знаю, но глупости — несомненно. Ведь я, в сущности, и на другой день, вернее, в день отъезда, совершал одни глупости. Раз пять подъезжал к церкви Оливесте, надеясь найти Риту. А надо было всего-навсего зайти в архитектурное управление, где она работает. Я же знал это и теперь вижу вполне свою нерешительность, но вчера весь мир казался мне иным. Все же не верится мне, что так изломала Риту жизнь. Что она несчастна — это да, но что до такой степени — в это невозможно поверить. И вот почему. Она ведь была на вокзале, когда мы уезжали. Стояла она далеко в стороне, и увидел я ее уже из окна, когда поезд тронулся и вагон наш медленно поплыл вдоль платформы. Она тоже увидела меня, немного прошла вслед за вагоном и помахала рукой. Было сумрачно, да вы же помните, как мы уезжали; и вроде уже не светло, и огни еще не зажигали, и я никак не мог разглядеть ее лицо, что оно выражало. Но, главное, она пришла. Пришла же, — повторил Федор Иванович.

Теперь он замолчал надолго. Огней Ленинграда все еще не было видно. Федор Иванович выкурил еще сигарету и начал укладываться спать. Уже раздевшись и лежа на полке, он вдруг обернулся и тихо и грустно сказал:

— А девочкам своим я никаких подарков не купил. Какой же я отец после этого?

Не знаю, спал ли Федор Иванович или просто лежал в темноте, не ворочаясь и лишь стараясь заснуть, но я долго не мог сомкнуть глаз. Проехали Ленинград. Пока поезд еще стоял у платформы, сквозь окно падал в купе слабый свет вокзальных огней и слышались за стеной вагона чьи-то голоса, шаги, грохот катившихся по асфальту тележек носильщиков; но теперь снова все было черно, поезд мчался, казалось, со все нарастающей скоростью, вагон раскачивало; иногда глуше, иногда явственнее стучали бежавшие по рельсам колеса, и лишь по этим звукам можно было предположить, вырывался ли состав из лесу или опять втягивался в него. «Неужели он сам не понимает всего того, что произошло с ним?» —

говорил я себе, снова и снова восстанавливая в памяти подробности рассказа Федора Ивановича. Я не думал теперь о драматическом конце этой истории; все будет просто, он ни о чем не станет говорить жене, а сделает вид, словно ничего не случилось, и не поедет в Таллин к Рите (да нужен ли он ей!); жизнь его потечет в тех же берегах, как она текла прежде, и с той же мерою счастья, какую всегда бывают довольны такие люди.

«А ведь в нем нет любви, ведь вот в чем дело», — уже засыпая, подумал я.

Содержание



Версты любви

Роман 5

Повести

Тень Иисуса 366

Козыри монаха Григория 428

Федор Иванович 534

Ананьев А. А.

А64 Собрание сочинений. В 4-х т. Т. 2. Версты любви: Роман; Повести.— М.: Худож. лит., 1985. — 559 с.

В том вошли широко известный роман «Версты любви» и три повести. Все эти произведения талантливого советского писателя А. Ананьева посвящены социально-нравственным проблемам нашего общества.

А 4702010200-200 подписное
028(01)-85

ББК 84Р7

Р2

Анатолий Андреевич Ананьев

**СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
ТОМ 2**



Редактор *Н. Иванова*
Художественный редактор *Е. Ененко*
Технический редактор *Е. Полонская*
Корректор *Л. Овчинникова*

ИБ № 3505

Сдано в набор 13.08.84. Подписано к печати 12.02.85. А 10331. Формат 84 × 108^{1/32}. Бумага тип. № 1. Гарнитура таймс. Печать высокая. Усл. печ. л. 29,4. Усл. кр.-отт. 29,4. Уч.-изд. л. 31,55. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-1779. Заказ № 1546. Цена 2 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

